Мих. Старицкий

МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ

Твори у восьми томах

Видавництво художньої літератури
„ДНІПРО“
Київ—1965

МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ

Том восьмий

ОПОВІДАННЯ

СТАТТІ

ЛИСТИ

Видавництво художньої літератури
„ДНІПРО"
Київ — 1965

У1
С-77

Упорядкування
В. У. Олійника та *В. Й. Петраківського*

Примітки *В. У. Олійника* та *Є. С. Хлібцевич*

Редактор тома *І. І. Пільгук*

КИЇВСЬКА ФАБРИКА НАБОРУ

7—3—3

Оповідання

ОСТРОУМИЕ УРЯДНИКА

Недалеко от г. Могилева-Подольска есть с. Конатковцы. В этом селе, как и подобает, есть корчма, а в корчме арендатор Шмуль. Пьют, разумеется, у этого Шмуля и свои селяне, заставляя сиряки и свытки, пьют изредка и проезжие люди. Зашел как-то к нему в первых числах сего февраля незнакомый прохожий, по-видимому крестьянин, пожилых лет; попросил он осьмушку горилки, сел себе в сторонке, вынул хлеб и тарань да и принялся скромно за вечерю. Было уже поздно; в корчме, кроме Шмуля и незнакомца, сидело еще два гостя из своего же села, да и тех Шмуль желал вырядить поскорее, так как они, пропив наличные, приставали сильно, чтоб им Шмуль сыпав горилки набир. Едва отделался от них Шмуль, объявив категорически, что больше нет водки, и начал уже запирать на засов двери, как вдруг незнакомец поперхнулся, закашлялся и упал. На гвалт Шмуля прибежала испуганная жена его Сура. Начали несчастному обливать холодной водой голову, но все напрасно: крестьянин был мертв. В ужасе выскочил Шмуль и побежал по улице догнать двух односельчан, которые могли быть единственными свидетелями происшествия. Не отдавая себе отчета, он кричал и стучал в окна соседних хат. Одна только мысль неотвязно вертелась в его мозгу, что это ужасное несчастье, разорение: старшина, становой, лекарь, урядник... главное урядник! «О! Этот сдерет, не помилует... А что, если крестьянин, боже храни, отравлен? Скажут, что его отравил Шмуль, чтоб выкрасть деньги! Непременно скажут!.. Ох, ферфал *, ферфал!»

---

* Ферфал — все пропало (*евр.*).

Догнавши своих односельчан, Шмуль задыхающимся голосом рассказал им о несчастье и упросил возвратиться в корчму, вынесть мертвеца в сени и быть свидетелями, пообещав за это горилки досхочу, не только набир, но и даром. Горилка уладила дело сразу: мертвого перенесли в сени, и двое вернувшихся крестьян согласились сторожить тело, а Шмуль побежал за сотским. На другой день все село уже знало о загадочной смерти неизвестного человека в корчме; староста дал знать в волость, волость известила станового, становой — доктора... Но пока это совершилось, мертвый лежал в сенях корчмы; стекалось немало любопытных разведать, кто, что и отчего. Шмуль всех их угощал и рассказывал каждому о подробностях смерти, заискивая сочувствия и с томительным трепетом ожидая урядника и комиссии. Некоторые крестьяне смотрели на факт философски: что правда, мол, як олія, наверх вирне, или что начальство точно... але на те ж воно і начальство, щоб страху нагонити; другие же некоторым образом злорадствовали, что это Шмулю господь кару послал за здырство. Шмуль только вздыхал.

Наконец приехал и становой с доктором. На дворе стояла оттепель, а потому труп начинал уже разлагаться. Его вскрыли поскорее и нашли, что смерть произошла естественно — от какой-то хронической причины — и никаких подозрений не возбуждала. Посему, составив акт, начальство приказало старшине приготовить могилу, гроб, известить батюшку и предать тело земле; что для наблюдения за сим прибудет, может, и урядник. Приказало и — уехало. Шмуль, перетрусивши за эти дни до холерины, молился уже мысленно богу, что пронес он благополучно над его головой грозу, но... молитва была преждевременна: к ночи явился урядник и принял начальство над погребением неизвестного тела.

Почесывал Шмуль голову, что принесла-таки нелегкая урядника; почесывал голову и урядник, что дал маху, поехавши на ярмарку собирать ничтожную дань с торговок, а такое прибыльное дело да и упустил. Он накинулся с руганью на Шмуля, почему-де тот не дал ему знать о происшествии заблаговременно; но Шмуль, сознавая некоторым образом свою неуязвимость, хладнокровно отвечал, что начальство уже все видело и нашло исправным; что же касается брани, то на нее смотрел

Шмуль даже с снисхождением: «Нехай лається,—йому таки справді досадно, сцо нитка урвалася».

Местный Марс приказал на завтра приготовить все необходимое для похорон и, закончив свою речь трехэтажным словом, уснул только на той мысли, что не теперь, то в четверг, а он возьмет с Шмуля свое. На следующее утро действительно урядник проснулся рано, и проснулся в прекрасном расположении духа. Шмуль из ванькира (нечто вроде загородки для спальни), где почивал с своей Суркой купно, заметил хитрую улыбку на урядничьих устах и поспешил было приступить к утренней молитве; но едва он успел из скрыни, в которой хранились, кроме денег, священные принадлежности и книги, вынуть талес, как урядник позвал его к себе.

— Ступай, Шмуль, к телу: нужно, чтобы при хозяине его вынесли.

— Для цого нузно? — спросил оробевший Шмуль.— Бох з ним!

— Ступай, слышишь?.. Разговаривает еще, жидова!..— крикнул уже не любивший возражений урядник.

Делать было нечего. Вышли все в сени, посреди которых лежал рогожкой прикрытый труп. Сняли рогожку — зловоние так и ударило; все расступились, а Шмуль, зажав нос, отскочил к дверям.

— Чего прячешься? Нежный какой! Подступи-ка ближе, пересмотрим, не пропало ли что в твоей хате из трупа?

— На сто мине, ваша благородия? Нам по жакону не можна и ближко стоять коло мертвого.

— Вздор!.. Что врешь?!. Подведите его ближе: нужно при нем пересчитать, все ли? Мне поручило начальство; нужно, значит, аккуратно и полностью все предать земле.

— Ваша благородия, не обиждайте! Я завсигда вас жаловать буду,— просил Шмуль.

— Ведите его, говорят вам! — крикнул урядник.

Взяли бедного Шмуля, не понимавщего, что от него хотят, и подвели поближе к трупу. Шмуль закрыл руками лицо и отворотился.

— Присядь-ка сюда ближе, не церемонься. Мы с тобой разошьем и пересмотрим требухи,— продолжал, улыбаясь, урядник.— Знаешь, чтоб потом ты не сказал, что я утаил что-нибудь да на тебя поклеп взвожу. Ведь

ваш брат горазд на доносы! Ироды вы, христопродавцы! Тащите его сюда! — шипел уже урядник.

Но бедный сын Израиля дрожал, как лист, и болезненное чувство омерзения исказило его черты.

— Гевулт! Рятуйте!!. Паноцку любий! Ідіть, я вам сось сказу! Не чіпайте тільки мене!.. Я вам сось цікаве сказу!

— Ну, ну!.. Что ты там скажешь? А ты, сотский, припри двери, чтоб не ушел.

Урядник отошел с Шмулем в сторону.

— Ваша благородія!.. Паноцку мій!.. Возьміть карбованця та пустіть мене! Цур узе йому! Нехай воно сказиться!

— Что? Карбованца?.. Шутить вздумал?..

— Паноцку! За віщо з мене рабувати? Адзе я вам...

— Молчать! — крикнул, побагровевши, урядник.— Ступай, держи руками легкие: я пересмотрю их.

— Паноцку, возьміть два!

— Ступай к легким, паршивец! Я тебя знаешь как?..

— Ох, вей мір! Возьміть трояка! — умолял Шмуль, едва стоя на ногах.

Урядник наконец взял отчипного и вытолкал Шмуля, так как последнему начинало делаться дурно.

«Трояком думаешь отвертеться, мошенник? — ругался со злостью урядник.— Шалишь!» Он подошел к трупу и начал стоически-напряженно его рассматривать.

Вдруг урядник отскочил; лицо его вспыхнуло благородным негодованием:

— Неладно! Шов нарушен!.. Совершилась кража. Подайте сюды Шмуля! Где стража была, что допустила такое святотатство? Позвать старосту! Акт составить! Я вас всех под суд! — кричал уже на всю корчму урядник.— Неси сейчас покойника в корчму: нужно вынуть внутренности, спрятать их в скрыню и запечатать, пока начальство прибудет для проверки. Тащи его сюда!!

Ни жив ни мертв стоял Шмуль. Он понимал, что это напасть, что урядник хочет только еще раз сорвать, но он понимал также и то, что никто не остановит его и что через минуту вся эта мерзость может очутиться в скрыне и осквернить все для него священное.

Со слезами на глазах начал Шмуль умолять урядника:

— Сто ви од мені хочете, ваша благородія? Я бідний цоловік, маю зінку і діти... Ох, гевулт! Я не маю більсе сцо вам давати. Сурко! Проси ласкавого пана, соб зглянувся, не паскудив нас!! — уже всхлипывая и утираясь полой, просился Шмуль, а Сура ловила у господина урядника руку, чтоб облобызать ее.

Слезы, конечно, только потешали начальство; необходимо нужно было сделать вторично более существенные приложения. Неизвестно, на чем бы остановился торг, если б не пришло в голову Шмулю ввернуть случайно в мольбу и такую фразу:

— Паноцку, їй-богу, більсе не мозу... Я бідний зидок! Шо ви на мене одного насіли?.. Хіба мало в насому селі хазяїв, багатих сце?!

— Ну, черт с тобой! Давай еще трояка,— заключил урядник.— С паршивой собаки хоть шерсти клок!

«А в самом деле,— подумал он,— остроумную мысль сообщил мне Шмуль: нельзя же телу лежать все у одного человека, пока выроют могилу и сделают гроб; нужно эту повинность разделить между обществом».

Приказано было тотчас же привезти санки, на которые и положен был труп. Покрыв рогожкой клажу, урядник приказал двум сторожам вывезти санки из корчмы на улицу. Двинулась эта странная процессия к первой попавшейся хате: впереди — урядник, позади — сотский. Подъехали. На призьбе сидит лет восьми девочка в материнском кожухе; на руках у нее грудной ребенок.

— Дома батько или мать? — спрашивает урядник.

— Нема тата, поїхали з хурою, а мама слабі,— отвечает пискливым голосом девочка.

— Отвори сени! — приказывает ей урядник.— Снимайте с санок покойника! — обратился он к запряженным в сани сторожам.— Да несите в хату.

С ужасом вбежала девочка к матери и сообщила ей, что хотят мертвяка несть в хату. Переполошилась и больная, слезла с печи, накинула на плечо опанчу и вышла, дрожа, в сени. А в сенях уже лежит на рогожке обезображенный, погнивший, разлагающийся труп, и начальство приказывает отпереть дверь в хату, чтобы там поберечь покойника, пока сделают гроб.

— Паночку! — возопила обезумевшая хозяйка.— Що

се за напасть? За віщо знущатись хочете? Я сама тільки з дітьми у хаті, слаба... Змилуйтесь!..

—Я не могу, за всех отвечать не стану! — настаивал урядник.— Ведь это не жид, чтоб его можно было и в хлев швырнуть, между свиней; ведь это христианин. А где ж видано, чтобы христианское тело лежало в сенях или в хлеву до погребения? Его нужно с честью положить в хате на столе, под образами, пока батюшка отправит панихиду.

— Та уже воно, прости господи, смердить так, що і мене, і діток вижене з хати!

— Так что ж ты, дура? Я за тебя грех буду брать на душу? Из-за тебя в пекло мне идти, что ли? — кричал уже урядник, отворяя двери в хату.

Повалилась перепуганная хозяйка ему в ноги:

— Паночку, серце! Не робіть цього! Не паскудьте моеї хати, пошануйте, бо я й на ногах ледве стою! Я вам чим-небудь одслужу за вашу ласку.

— Давай трояка, так черт с тобой! Я повезу своего деда в другую хату!

— Ой лишенько! Де ж я вам візьму трояка! У нас таких грошей і в хаті нема! Зглянетесь, паночку, на нашу бідність!

— Давай! Что там слюнишь!.. Не то положу у тебя тут сейчас на столе... Три дня по закону выдержу!

— Ой, хоч заріжте — нема! Що мені в світі робити? От напасть! — ломала она руки. Дети ревели навзрыд.

— Неси сюда покойника! — командовал между тем урядник, не обращая внимания на слезы глупой бабы.

— Стійте! — вскрикнула жинка, подбежав к скрыне; дрожащими руками она отперла ее, вынула оттуда в тряпочку завернутые медные деньги и почти швырнула их на стол.

— Беріть все, що є. Подавіться ними!

Урядник пересчитал медные гроши; оказалось восемьдесят копеек. «Обижаться или нет?» — подумал он и, махнув рукой, велел покойника опять уложить на санки.

— Ты думаешь, мне нужны деньги? — оправдывался он, уходя из хаты.— Не мне, а покойнику: кто ему даром будет гроб делать, копать могилу, служить отправу? Вот я и собираю с христиан. Тебе за то бог зачтет, вот что!

Но на эти утешения женщина ничего не ответила; она болезненно всхлипывала, прижимая детей.

Двинулись опять санки, покрытые рогожей, дальше: впереди — урядник, позади — сотский. Остановились возле следующей хаты. Урядник вошел в нее сам. Возле окна, на небольшой самодельной табуретке, сидел старик и тачал чобит; больше никого в хате не было.

— Здравствуй, дед,— сказал урядник, входя.

— Здравствуйте,— произнес старик и, приставивши руку к подслеповатым глазам, начал рассматривать гостя.

— Встань-ка, братец! — продолжал урядник.— Да выдвинь стол: мне на нем нужно положить покойника, пока сделают гроб.

Старик засуетился, встал, подошел ближе к уряднику и тогда только сообразил, с кем имеет дело.

— Якого покойника? — спросил он, недоумевая.

— Какого? Да вон того, что у жида в корчме скоропостижно умер.

— Змилуйтесь, пане! Та він там лежав, то хай і лежить. Та кажуть, що до його і підступити не можна.

— Да потому я и привез его к тебе в хату: ты старик один, стерпишь, а семейным людям трудно.

— Що ж це за нахаба, добродію! Не робіть мені пакості! Я нікого нічим не чіпаю.

— Да что мне с тобой возжаться? Не бросать же христианина в хлев!

— Та, паночку, його давно вже поховати треба; адже мені казали, що його ще вчора потрошили.

— Не учить меня! Сам знаю, что делать! Эй,— крикнул он в окно,— снимайте покойника, несите сюда в хату.

— Що ж це таке? Це чиста напасть! — протестовал старик.— Я не дам паскудити своєї хати! Я до самого справника піду!

— Молчать! Я тебе на голову положу мертвеца!

— Що ти за один? Це моя власна хата: не дам паскудити!

— А!.. Грубиянить? — кричал уже рассвирепевший урядник, хватив за шиворот деда.— Взять его, бунтовщика!

Но и дед не унимался.

— В'яжи, бий! — кричал он.— Здирник каторжний!

Урядник остановился; бить не входило в план его действий: скандал мог прервать его путешествие с мертвецом, обещающее немало прибыли.

— Бий же! — кричал неистово дед.— Бий, розбишака, рабіжник! Мало дереш з людей шкури? Бий!

Неизвестно, чем бы кончилась эта сцена, если бы не прервала ее молодая красивая девушка, вбежав неожиданно в хату. Она была в кошаре и услышала крик своего деда.

— Паночку, голубчику! Пустіть діда! — бросилась она к уряднику, ловя его ноги.— Не бийте діда, не бийте!

— Я его в тюремный замок, в Сибирь запакую! Он смеет начальство ругать!

— Паночку, лебедику! Простіть! Змилуйтесь! — молила с рыданиями внука и, вынув завязанную в хустку желтую бумажку, сунула ему в руку.

Бумажка произвела свое действие. Урядник и без того жалел, что связался с сумасшедшим дедом; он его выпустил из рук.

— Слушай, дед! — спокойнее уже, но с большим достоинством сказал урядник.— Только уважаю твою старость да твою внуку. А то бы ты у меня знал, где козам роги правлят!

Старик и сам, опамятовавшись немного, струсил, а потому и прошептал:

— Простіть, ваше благородіє!

Урядник плюнул в ответ и хлопнул дверьми. Тронулись сани и подъехали к третьей хате; но тут баба оказалась самая толковая и бывалая. Она прямо начала торговаться. Порешили на четырех злотых, куске воску и четырех фунтах меду (у бабы была пасека).

Таким образом двигалась медленно по селу процессия, не пропуская ни одной хаты; повторялись приблизительно схожие сцены и собиралась, по удаче, большая или меньшая лепта. Поплатившиеся сходились друг к дружке, передавали свои огорчения и шли за радою в корчму. Здесь к вечеру собралась порядочная толпа. Неудовольствие росло. Слышались уже протестующие крики:

— Що се за здирство? Такого ще й не чували! Їздить по селу з мертвяком, як кацап з крамом, та й обдира кожну хату!

— А со ви мовците отому гаспиду? — научал толпу

Шмуль.— Ідіть до батюски, росказіть йому все, та й уже! Я сам буду свідчити!

— А й справді, що мовчать? Ходім! — кто-то крикнул решительно.

Толпа заволновалась и двинулась к батюшке; тот принял дело к сердцу и сейчас же послал письмо к становому.

Между тем поезжане делали визиты до самых сумерек с страшным гостем. Даней набралось достаточно: куски холста, воску, решето сыру, яиц, масла, а в кармане — множество пятаков и злотых. Поработавши день, наш остроумный урядник стал табором посреди улицы на ночь и послал сотрудников по горилку. Устроилась пирушка. Поздно уже совершенно пьяный заснул он, мечтая о завтрашнем дне, сколько соберет он с другой половины села...

Чем кончилось дело — не известно.

НАД ПРОПАСТЬЮ

(Быль)

Это было на одной из южных железных дорог. Я ехала в вагоне первого класса совершенно одна. Все широкие диваны были пусты, а одно купе было заперто на ключ.

Если бы это было ночью, то я бы не решилась оставаться в пустом вагоне, но роскошный рассвет загоравшегося летнего дня вселял к себе полнейшее доверие, и я даже была рада отсутствию назойливого дорожного спутника.

Курьерский поезд мчался с страшною быстротой, желая, вероятно, наверстать полтора часа опоздания. Чистое, ясное небо глубоко синело, в растворенные окна вагона веяла бодрящая свежесть, наполненная чудным ароматом еще зеленеющих роскошных степей.

Я долго стояла у окна, любуясь бегущими к нам навстречу мягкими картинами и наслаждаясь молодым расцветающим днем; он так гармонировал моему жизнерадостному чувству и сливался с расцветом моего юного счастья... Да, много радости сулил мне сегодняшний день: я ехала в свое родное гнездо уже вольною птицей, сбросивши докучливую ношу ученических лет, проведенных далеко, на неприветливом севере, в давящих своею громадой городах. И гимназические учителя, и курсовые профессора, и товарки, и маленькие задымленные квартиры, и шум неизменных споров, и полуночные занятия при лампе с прогорелым бумажным абажуром, и слепые туманные дни, промозглая сырость, и слякоть — все это оставалось там, где-то далеко-далеко, и потонуло в фантастической дымке, в каком-то уходящем в пространство

мираже, а ближе и ближе летели ко мне дорогие образы и наполняли восторгом трепетавшее от радости сердце.

Я прилегла на диване и начала мечтать. Еще пройдет немного часов, и я выйду из вагона, брошусь на шею моей нежно любимой матери и замру в объятиях обожаемого мною отца... Ах, боже мой! Как я о нем стосковалась, о моем дорогом седеньком папе; а он-то, родненький мой, как мне обрадуется! Мама найдет, конечно, что я выросла и похорошела, а отец немедленно начнет исследовать мое нравственное развитие, начнет читать мои начатые работы, будет разбивать мои положения, но я без боя теперь тоже не уступлю... и будем спорить, спорить... Ах, как весело, какое счастье быть вместе с ним! А придет ли встречать меня Жорж? Он уже теперь Георгий Васильевич, учитель гимназии и института,— важная птица, подумаешь! Пишут, что похорошел и держит себя надменно; посмотрим, как-то вы со мной понадменничаете. Вот уж кому так не уступлю — ни-ни!.. В шахматы будем играть, в лодке кататься... в бурю, например... ух, славно!

Всего только осталось восемь часов, даже меньше... ах, когда бы скорее шел поезд!..

Солнце уже наполняло рассыпанным золотом весь вагон. Меня начало клонить ко сну; приняв более удобное положение, я закрыла глаза, но мысль еще не устала работать и рисовала мне много заманчивых картин. Родные мои собрались осень провести в Ялте, а потом, к зиме, поехать вместе со мною в Италию, Францию, Англию... Жорж, кажется, с научной целью, тоже поедет в Европу; а хорошо, если бы вместе... веселее бы было... Зеркальные лагуны, изумрудные острова, снежные горы, уютные долины, пышные дворцы, готические соборы, обольстительные магазины — все это стало сливаться в какую-то пеструю картину... Я заснула.

В вагоне было уже жарко; полусон еще приятной истомой сковывал мои члены, а дрема смежала глаза, когда я заметила пристально устремленный на меня взор, заставивший меня неприятно вздрогнуть и приподняться: против меня на диване сидела какая-то барыня и бесцеремонно меня рассматривала, не отводя очей от моих глаз, словно желая в лице моем или узнать своего давнего друга, или открыть скрывающегося врага.

Даме на вид было лет под сорок: ее волосы с сереб-

ристым отливом слегка вились и были низко подрезаны; необычайно бледное лицо носило печать сосредоточенности и нервности, а темные глаза от этой матовой белизны казались еще темнее и по временам сверкали мрачным огнем. Дама была изящно одета и неподвижно сидела, устремив на меня холодный, стальной взгляд.

Мне становилось крайне неловко, и я, чтобы скрыть смущение, оправила свой костюм и начала смотреть в окно. Солнце стояло уже довольно высоко. Поезд мчался между скалистыми отвесами, открывавшими изредка синеющую даль.

— Какая рифма к слову «озеро»? — услышала я голос, и кто-то дотронулся до моего плеча рукой.

Я обернулась — это была моя новая спутница; она ждала от меня ответа, и ждала, по-видимому, с нетерпением.

— Я не люблю два раза повторять вопросы,— заметила она нервно.

— Извините, я не расслышала... была занята другим,— оправдывалась я.

— Нехорошо, не следует быть рассеянной; я спрашиваю: какая рифма к слову «озеро»?

— Право, не знаю,— недоумевала я.— За рифмами никогда не охотилась.

— Неправда, вы знаете! — резко заметила дама.

— Это странно,— воскликнула я,— почему вы изволите предполагать во мне поэта?

— Ха-ха-ха! — засмеялась сразу собеседница, и что-то дикое послышалось в этом смехе.— Все вы такие, все! Сейчас уже и в поэты, и в писатели, и в драматурги!.. На других ведь свысока, через пенсне смотрите, потому что другие ничтожество, а мы-де только призваны в мир поведать людям великое слово, поведать его божественным языком, исполненным небесной гармонии и дивной музыки... Ха-ха-ха! А вы только все стихоплеты, рифмоплеты, виршеплеты,— это верно!

— Только, пожалуйста, меня не причисляйте к их цеху,— возразила я.

— Нет, причислю: вы непременно должны быть стихоплеткой.

— Почему?

— В ваших глазах бегает что-то такое... вроде поэтической дури.

— Ничего такого, поверьте! Мне просто весело, и больше ничего.

— Весело? Почему весело?

— Еду домой, соскучилась... вот и весело.

— Очень поверхностно. От такой пустой причины не может зависеть расположение нашего духа.

— Это не пустая причина. Я люблю страшно и отца, и мать.

— Мелко. Нужно любить весь мир или никого не любить; а если вы не любите всех, так ваши папенька и маменька не стоят любви!

— Почему вы так выражаетесь? Вы не знаете моих родителей,— обиделась я.

— А потому, что они не внушили вам мировой любви, а постарались лишь развить в вас мелкую эгоистическую натуру; папашенька и мамашенька баловали, покупали бомбошки, а потому, по-вашему, их одних и нужно любить, а остальных нет, потому что остальные — чужие, бомбошек не покупали! Да для чего же и для кого они такой экземплярчик подарили миру?

Взволнованная дама не позволяла мне возражать.

— Вот ей весело, ей радостно, что домой едет,— продолжала моя странная соседка,— а обратили ли вы внимание, что другому-то,— например, мне,— совсем не весело, совсем не весело?.. Вы с хохотом, с глупою радостью смотрите на эту глупую жизнь, а другие изверились в ее безобразных выходках, в ее отвратительных несправедливостях. Помните, Лермонтов сказал,— продекламировала напыщенно дама:

И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг,—
Такая пустая и глупая шутка...

— Мне не нравится это,— возразила я.

— Что-о? Не нравится? Уж не думаете ли вы стать выше Лермонтова? Это мне нравится! Figures vous! *
Она — выше Лермонтова!..

— Да с чего вы взяли?

— Молчите! Не раздражайте меня! От вздорных возражений у меня всегда начинает болеть голова. Лермонтов — великий поэт, но он слишком мелок; жил он в пустое время и умер молокососом... Другие в этом отноше-

* Уявіть собі *(франц.)*.

нии счастливее его; другие не балами увлекались, а такими вопросами, до которых этому мальчишке и не додуматься! Другие жили в иное время, когда действительно жизнь кипела широкой, могучей волной; другие страдали не их ничтожными муками, а скорбью гражданской... и скорбь эта была необорима! Вы не знаете еще этой скорби, не испытали?

— Я слишком молода...

— Не оправдание. Я еще моложе была, когда меня коснулось дыхание этой скорби и заразило ядом, но я не жалею; яд этот — знание: оно несет за собою муки, но я их не променяю на вашу омерзительную, тупую современную скуку. Словно туман густой — ни солнца, ни света, ни бури, которая бы разогнала этот смрадный мрак... Вот он меня давит, давит; я надышалась им, и мне сквозь его мрачные волны все кажется таким отвратительным!

Она нервно вздрогнула и отшатнулась назад, словно боясь дотронуться до какой-то гадины; лицо ее конвульсийно передернулось от боли, глаза остановились неподвижно, она словно замерла. Вся фигура моей неожиданной спутницы, ее нервный, полный непоследовательности разговор, ее скрытое горе произвели на меня очень тяжелое впечатление.

С ней, в этом tête-a-tête *, невольно становилось жутко, но вместе с тем мне было ее жаль.

Поезд остановился. Я хотела было выйти из вагона и пройтись по платформе, но дама остановила меня упавшим голосом:

— Не уходите, мне одной страшно.

— Не хотите ли, я прикажу подать воды? — спросила я.

— Не нужно. Merci. Пройдет.

Поезд, постояв минуту, помчался дальше.

Дама пересела между тем на мой диван, отрезавши мне путь отступления, и начала гладить по моей руке.

— Да, это правда, вы очень молоды,— начала она более мягким голосом,— но это еще лучше: меньше испытаете неудач, разочарований и этой сиротливой непригодности, да, это лучше,— право, так! Я была тоже молода, изнеженна, глупа; мои юные годы текли между пошлой болтовней, нищенским остроумием, гнусными

* Наодинці *(франц.)*.

интересами мелочей личной жизни, и я бы осталась глупой кисейной барышней, а потом и барыней, произвела бы глупых детей для поддержания глупого рода; но мне встретился один писатель... умница, какого вы никогда не увидите: они теперь вывелись и долго еще не появятся, потому что в этом тумане ничего путного не родится. Он, этот редкий человек, открыл мне всю бездонную пропасть нашей пустой жизни, объяснил, во что обходится наше ненужное существование, сколько на него труда идет, и я стала противна сама себе. Вы еще сами себе не опротивели?

— Нет,— отвечала я робко.

— Самомнение — и только! Впрочем, в ваше ничтожное время всякое ничтожество о себе много думает, а я так возненавидела себя, уразумела, что дура и что составляю бремя, а потому и не захотела быть лишней, не захотела даром коптить небо на счет других тружеников. Я начала учиться, во мне он открыл способности и таланты... Понимаете? Он! Великий ум и необычайное сердце! Вы бы у ног его должны были лежать ниц!.. Да чего вы улыбаетесь, невежественный скептик? Именно,— у ног и ниц! И он во мне признавал талант, а ваши бездарности, кропатели от хамской литературы, наемные виршеплеты на всякие полицейские случаи не признают... Ха-ха-ха! Но довольно об этом, довольно, ни слова!

Дама сильно дернула меня за руку и сдавила ее.

— Ой, больно! — невольно вскрикнула я и попробовала высвободить руку; я уже жалела, что не перешла на станции в другой вагон: меня забирал страх, что я имею дело с ненормальным человеком.

— И это больно? — удивилась дама.— Какая же вы жалкая бабочка! Вы не знаете еще, что такое тоска? Это, когда человек ищет смерти, а ему мешают... Боже сохрани! Я не желаю, чтобы вам кто-нибудь помешал умереть!

— Я и не собираюсь,— попробовала я улыбнуться, но, вместо улыбки, вышла только гримаса.

— Напрасно! Напрасно! Всякий всегда, в каждую минуту, должен быть готовым к этому торжественному, к этому лучшему и самому разумному моменту нашей жизни... Прервать существование, не мыслить, не страдать — восторг! Я, спустя долгое время, встретила того человека, о котором говорила, но он был уже сед, кашлял

и ходил в рубище и все пил. У меня сердце обливалось кровью, а он досадовал на мою чувствительность и советовал тоже пить или эффектно выкинуть, как он выражался, последнее коленце в жизни. Пить я не могла, но коленце... c'est le mot! * Вы читаете что-нибудь, надеюсь, грамотны? — спросила вдруг неожиданно дама.

— Да, конечно, читаю,— ответила я, обрадовавшись, что разговор переходит с мрачной темы на другую.

— И кем же вы теперь увлекаетесь?

— И теперь есть талантливые писатели.

— Ничтожные пигмеи. Ваше время ничтожных, пресмыкающихся пигмеев, заметьте! А в наше великое время были и великие художники слова. Мы увлекались Тургеневым, Некрасовым, Толстым, Гончаровым, Достоевским, Щедриным, Добролюбовым, Михайловым, а не мразью; да и эти великие носители духа раздвоились, не справились с ломящей силой невежества и стушевались; но они, по крайней мере, сознав неравенство борьбы и растерявши в ней все оружие, с честью отступили с поля битвы в могилы; а уметь отступить в могилу — великое дело! Один только Толстой захотел примениться к обстоятельствам и начал проповедовать непротивление злу; отказавшись от всех имений в пользу своей семьи, он начал предлагать другим раздавать их имущества нищим; насытившись всласть, начал советовать другим питаться сеном; нажившись и насладившись всем в жизни, начал требовать от других отречения от ее радостей и поклонения одной только смерти. Вы читали его «Крейцерову сонату»?

— Читала, но мне не нравится...

— Что же именно?

— И идея, и грубый реализм содержания...

— Да, когда нож погружается во что-то мягкое... это должно быть неприятно, это мне самой тоже не нравится; длящийся момент перехода в другое состояние — это все равно, что неумело, долго рвать зуб... Вам зубы не рвали еще?

— Нет.

— Оттого-то вы этого и не понимаете; но сразу вырвать зуб, после долгой и мучительной его боли,— наслаждение! А ожидание этого момента, когда наклады-

---

* Це точне слово *(франц.)*.

вают щипцы, до того поразительно хорошо и в такое необычайное настроение приводит все нервы, что даже неистовая боль унимается... Каково это ощущеньице? А? Восторг! Вот тоже помните Анну Каренину,— как это хорошо описал граф! Когда она, увидев два приближающихся огненных глаза паровоза, нагнулась, стала на колени и ждала... Какие это великие, недосягаемые обыденною пошлою жизнью, моменты! Нужно их пережить, чтобы понять значение высокого! И вот что-то огромное, тяжелое толкнуло ее и потянуло... а что потом — вот интересно?!

Я дрожала; ужас начинал с каждым мгновением охватывать меня все больше и больше.

Дама пронизывала меня своими темными, стальными очами; в них давно уже светилось безумие и разгоралась какая-то дикая страсть.

— Да, это необычайно интересно,— продолжала она, смотря куда-то напряженно вдаль,— это мне не дает покоя, и я все-таки добьюсь, узнаю... Нужно будет написать драму и выставить ясно перед глупыми зрителями момент этого перехода, чтобы они уразумели, идиоты... А вы меня и драматической писательницей не признаете? — вдруг набросилась моя спутница и схватила крепко меня за руки.

— Нет, признаю, признаю вас за великую писательницу, за первого драматурга,— говорила я дрожащим от волнения голосом и чувствовала, что уже слезы подступают к горлу,— только пустите, пожалуйста, руку, так мне неудобно...

— А! Признаете? Ну, хорошо! — и дама освободила мои руки, но все-таки встать не давала.— Только вот видите, чтобы все это хорошо написать, нужно самой изведать ощущение и узнать эту заманчивую тайну... Вы верите в загробную жизнь?

— Верю.

— Да, это так, это непременно так, я в этом вполне убеждена, потому что без этого наша жизнь и весь этот мир были бы опереточным вздором... Да, потому-то и интересно произвести опыт... Не правда ли?

— Мне как-то нехорошо, душно здесь... пропустите, пожалуйста, меня...— встала я решительно.

— Куда? — спросила дама и тоже встала, заслонив мне дорогу.

— На воздух, на сквозной ветер...

— Неправда! Вы хотите уйти от меня? — дама опять схватила меня за плечо.— Вы боитесь меня или опыта? Отчего вы так побледнели и дрожите?

— Да нет же: мне просто дурно...

— Какие у вас дряблые, однако, нервы! Их нужно укрепить непременно, потому что с дряблыми нервами вы доставите себе одни только терзания и изломаете душу.

— Пустите меня! — крикнула я уже почти нервно, боясь перед ней разрыдаться.

Я услышала свист паровоза и, заметив, что поезд вновь подлетал к какой-то станции, решилась немедленно выйти из этого вагона, но поезд, к моему ужасу, промчался мимо, не уменьшая даже хода. Положение мое становилось отчаянным. Дама несомненно была сильнее меня... Хотя бы кто заглянул, хотя бы пришли проверять билеты. Одно только еще меня утешало,— это то, что, судя по времени и по знакомым местам, мы приближались уже к предпоследней станции, где на десять минут была остановка, а там уже и родной город, а может быть, и на этой предпоследней станции меня ждут... Боже, пронеси только эти двадцать минут!

— Пустите меня! — повторила я.

В это мгновение поезд наш загрохотал особенно гулко, и окна покрылись непроницаемым мраком: мы проезжали туннель.

Или стремительность моего движения, или неожиданная ночь поразили исступленную даму,— она выпустила мое плечо, отшатнулась, а я выскочила на крытый наружный коридорчик вагона, желая перебежать в другой вагон или, в крайнем случае, позвать кого-либо на помощь. Поезд между тем вылетал уже из туннеля; овальные стены его светились синеватыми полосами, а вот и широкие волны света, и знойный сверкающий день.

Но на другой площадке никого не было; средняя дверь нашего коридорчика была заперта, и только боковая оставалась полуоткрытой. Поезд несся с ужасающею быстротой; с левой стороны дороги поднимались отвесные скалы, а направо тянулись глубочайшие пропасти, прерываемые иногда острыми утесами. До самого длинного моста оставалось еще версты четыре.

Я не успела и сообразить всего этого, как возле меня уже стояла дама; она вцепилась обеими руками в меня, захлопнув ногою входную в вагон дверь.

— Хотела убежать от меня? Не уйдешь! Не пущу! Ты мне очень понравилась, и мы вместе проделаем опыт... вместе! Ух, славно, весело! Сейчас на одно мгновение налетела ночь, но после нее день стал еще ярче, еще прекраснее... Так и смерть: на одно мгновение мрак, а потом роскошное сияние...

— Оставьте меня! Я не хочу умирать! — кричала я, нервно рыдая.

— Не стоит жить! — шипела уже безумная, метая искры из глаз.— Станемте выше Толстого: он проповедует отречение от жизни, а сам комфортабельно живет, а мы сумеем поступить согласно своему убеждению...

— Уйдите! Я буду кричать! — защищалась я, отстраняя ее руками.

— Ведь это одно мгновение, а после — восторг! Да и это мгновение — одна прелесть! Сколько переживешь, перечувствуешь, пока совершится... Да, вот гениальная мысль! — она рванула меня к боковой двери.— Давайте вместе бросимся в эту пропасть! Ведь это наслаждение лететь в пространство и сознавать, что моя воля выше этих мизерных условий существования, что одна только свободная воля и есть нечто великое в мире! Идемте! Будьте стойки! Оставьте ваше презренное малодушие! Вперед! — и она всеми силами начала тянуть меня.

— Спасите! Помогите! — закричала я в ужасе, отчаянно защищаясь.

Но борьба была неравна, дама была значительно сильнее; вспыхнувшее бешенство придавало ей еще более силы, а сковавший меня ужас отнимал у меня последние силы.

— Не губите меня,— молила я,— я жить хочу... меня ждут... Во имя всего святого!

— Пустое, и там ждут! Кинемся вниз! Это один миг, но великий, торжественный...

— Спасите! Спасите! — кричала я, теряя сознание, а дама, превратившаяся в страшную фурию, старалась столкнуть меня с площадки вагона. Я чувствовала веяние на меня холода могилы и бессильно билась в ее мощных объятиях.

Поезд в это время пошел тише: он въезжал на длинный мост, под которым внизу, на многосаженной глубине, чернели острые скалы. Я уже видела почти под ногами эту разверзающуюся бездну и в последнем порыве самозащиты нечеловеческим голосом крикнула:

— На помощь! Спасите!

От толчка палач мой пошатнулся и выпустил меня из рук; я упала и ударилась сильно головою, инстинктивно ухватившись за порог средней дверки руками.

Но на одно лишь мгновенье выпустила безумная свою жертву; с новой яростью она схватила меня и повлекла за собой... Руки мои бессильно цеплялись за стенки вагона, ногти срывались, а неумолимая судьба влекла меня к глубокой могиле...

— Не спасут! — кричала безумная.— Никто не спасет! Не хотела лететь в моих объятиях, так я тебя и так столкну, а все-таки опыт удастся!

— Мама! Спаси меня! — шептала я, теряя сознание и почти повиснув над пропастью.

Неожиданно кондуктор выскочил из дверей и схватил меня за руку.

Я очнулась уже дома... в объятиях дорогих лиц.

Передаю этот рассказ, слышанный мною, почти дословно. Он не напрасно назван мною «былью», так как имеет фактическую почву и чужд всякого вымысла. Что сталось с безумной: бросилась ли она в пропасть, или была спасена — мне не известно.

ГАДАНЬЕ

Нарядно выглядит село Николаевка. Оделось оно в белую пушистую одежду, убралось зернами крупного жемчуга, украсилось гроздьями серебра и пылью алмазов да и сверкает себе под лучами яркого зимнего солнца.

По-праздничному, нарядно приоделись сегодня и николаевцы. Возле шинка солидно сидят на призьбе белые кожухи, коричневые кобеняки и ведут беседу про злобу дня — про то, чем и как прохарчить до весны скотинку да как озими под снег пошли и т. д. В почтительном отдалении на солнышке стоят и бабы, в кожушанках и длинных суконных халатах. Бабы тоже ведут беседу, но тема ее — сплетни и перемывание косточек ближнего.

— А что, слышали,— обращается одна быстроглазая и суетливая бабенка к компании,— Мыкыта Шнур просватал свою Галину за Охрима, сына старшины?

— За этого пьяницу? — изумилась молодица, дальняя родственница Галины.

— За него ж,— подтвердила бабенка.— Вчера на Варвару и магарыч запили, а сегодня Мыкыта едет на ярмарку в Городище приданое дочке покупать; говорят, на риздвяных святках будет и свадьба.

— Одурел старый, совсем одурел,— отозвалась одна седая старуха.— Родное свое дитя отдавать за такого, прости господи, зверюку; и это он ведь все гонится за богатством да за почетом, чтобы к старшине в родню влезть.

— Да как же ему до начальства не лезть, коли у самого в скрыне мерка карбованцев запрятана! —вставила бабенка.

— Ему бог послал клад,— перебила молодица.

— Скорее нечистая сила! Через этот самый клад и человек перестал быть человеком,— старушка сердито сплюнула и пошла вдоль улицы; к ней подошла было стоявшая вблизи цыганка, но она и ее пугнула клюкой.

А молодежь в это время каталась на пруду. Парубки счистили и смели снег, обнажив длинное зеркало льда; оно блестит зеленовато-синим отливом и отражает в себе группы парубков и дивчат.

Галина — красавица с белокурою длинною косой, с черными бровями и чудным, как кровь с молоком, личиком — несется впереди всех.

За ней гонится удалой парубок... Галина остановилась и удержала за рукав разбежавшегося Дмитра; он обнял ее рукою, чтобы не упасть.

— Серденько мое! Раю мой! — прошептал Дмитро.

— А с батьком ты говорил? — спросила Галина, глядя в его очи любовно.

— Боюсь все... Да вот дядько обещал похлопотать.

— Пусть сперва матерь задобрит,— шепнула, оглядываясь, Галина.

Но тут подлетела вторая пара и, набежав на Дмитра и Галину, и их сбила, и сама покатилась.

Громкий взрыв смеха наградил затейливых шалунов и подал повод дивчатам толкать друг дружку, а то гурьбой нападать на одиноко стоящего парубка.

С высокой звонницы раздался удар колокола. Все сразу прекратили игры и набожно перекрестились.

— Прощавайте! — крикнула Галина своим товаркам, побежав под гору.

Галина бежала домой. Снег хрустел под ее ногами; заходящее солнце красило в алый цвет белые крыши, сверкало яхонтами, опалами в серебре пышных деревьев, играло радугой в ледяных подвесках и рассыпалось бриллиантами по снегу; густой дым неподвижно висел над селом и розовыми клубами выделялся ярко на чистом лиловато синеющем небе.

Добежав до первой хаты, Галя увидела своего батька; он сидел боком в санях, спиною к ней, а потому и не мог заметить, как Галина спряталась за плетнем и покралась к своей хате задворками.

А хата ее батька Шнура была попросторнее, понаряднее других и стояла на видном месте, недалеко от

церкви. Галина, запыхавшись и озираясь кругом, спешила домой и неожиданно встретилась с цыганкой; последняя остановила ее:

— Дай ручку, моя красунечка, всю правду скажу: и что было, и что будет, и какая твоя доля.

Галина вздрогнула и с каким-то испугом отступила.

— Да не бойся, моя квиточка, ничего не сделаю и ничего с тебя не возьму,— уговаривала цыганка, пристально смотря Галине в глаза,— вот сама увидишь, что правду я знаю, а коли в чем потребуется, то и пособить смогу.

Галина взглянула на цыганку; вся обверченная в платки и тряпье, согнутая и горбатая, она похожа была не на человека, а на какое-то подземное чудище. Галина робко протянула руку.

— Ой, ой, ой! — закачала головой цыганка, зорко рассматривая линии на руке.— Ой, как тебя кохает один парубок, высокий, стройный, с синими очами и с русыми усиками, ой, как любит: гинет по тебе, умирает; и славный парубок, тихий, работящий, не пьяница, и верным целый век будет... Уж такая тебе пара, моя счастливая, что и на свете нет лучше!

Галина и радостно улыбалась, и смотрела на цыганку изумленными очами, в которых светилось глубокое счастье.

— Постой, постой! — продолжала цыганка, не пуская руки.— И ты в этом парубке, моя зоренька, души не чуешь: спрятала его в своем сердце навеки, да так, что тебе без этого суженого и на свете не жить!

Вспыхнула Галина ярким полымем и вниз опустила глаза, прикрыв их стыдливо ресницами.

— А вот только тут стоит кто-то поперек,— продолжала таинственно цыганка.— Постой, постой! Близкий человек, уж не батько ли твой? Верно! За другого какого-то, дурного да богатого, тебя сватает... что за чудеса? За пьяницу да буяна?..

— За Охрима? За сына старшины? — всплеснула руками Галина, и алая краска сбежала с ее белых щек.

— Он, он! Сын какого-то начальника,— подтвердила цыганка.

— Ох, пропала ж я! Навеки пропала! — вскрикнула Галина и закрыла руками лицо, побледневшее, как трава от мороза.

— Не убивайся,— успокаивала цыганка,— ведомо, что твое горе большое, да всякому горю можно и пособить...

— Пособите, бабусю, помогите мне, родненькая,— взмолилась Галина,— я вам вовек... все, что хотите.

— Ничего я с тебя не возьму,— ласково сказала цыганка,— ничего: полюбилась ты мне, и я по сердцу тебе помогу, моя бедная, а когда ты уже молодицей станешь да своим хозяйством заживешь, тогда я приду к тебе...

— Бабунечко, родненькая! Ничего для вас не пожалею, только избавьте меня от этого идола, а пристройте к Дмитру!

— Пристрою, пристрою, как голубку до сизого голубя, только слушайся.

— Все, все зроблю, что скажете!

— Ты ведь сегодня, верно, к вечерне перед праздником святого Миколы пойдешь?

— А как же, непременно.

— Ну, так вот: попроси у матери ключи, возьми в скрыне кусок воску, сделай сама свечу и поставь перед образом Миколая, а когда кончится служба, то возьми ее обратно с собою...

— А если пономарь не даст?

— Хоть украдь, а принеси,— сказала строго цыганка,— тогда я на этой свечке загадаю тебе и батька приверну до Дмитра, а того, дурного, одверну от тебя навеки...

— Ох, господи! Если бы святой Микола помог! — промолвила с глубокою верой Галина.— Только вот как гадать, коли мама будет дома?

— Твоя мать пойдет сегодня, почитай что, на целую ночь к куме Супрунихе... это я знаю.

— Може, може! — подтвердила Галина.

— Так беги,— уже приказывала цыганка,— поскорее справься дома, а после службы я тебя здесь буду ждать.

— Приду, приду! Спасибо, бабуся! —и Галина весело побежала до хаты.

Мать встретила Галину с укорами, что та так поздно по гулянкам бегала, зная, что батько уезжает из дому.

— А он и поехал-то на ярмарку для тебя,— добавила мать.

— Как для меня? — спросила Галина, и ее сердце упало.

— Приданое купить... готовиться к свадьбе...

— За кого? — тихо спросила Галина и ухватилась рукою за притолоку.

— Что с тобою, донько? — подошла к ней встревоженная мать и прижала ее головку к своей груди.— Не журись: мало ли кто что думает, а будет так, как бог даст...

— Мамо! — попросила упавшим голосом Галина.— Позвольте мне воску взять: я хочу скатать свечу и поставить угоднику Миколаю, помолиться ему...

— Возьми, возьми, моя ягодка, воск там в скрыне лежит,— говорила Шнуриха, подавая дочке связку ключей,— только не кидай ключи, а держи за поясом... да и хату запри: я на часок сбегаю к куме Супрунихе...

«Вот уж знахарка так знахарка: все знает!» — мелькнуло в уме Галины.

— А это ты хорошо робишь,— продолжала Шнуриха,— что в церковь ко всенощной идешь; помолись, то угодник святой во всем тебе поможет.

Галина вынула из печи горячую воду в горшке, достала из скрыни воск, размягчила его в воде, ссучила фитиль и скатала желтую свечу, да, приодевшись, торопливо пошла в церковь.

Церковь была тускло освещена, но перед образом чудотворца Николая горело много свечей. Только трое седых стариков стояли, опершись на палки, да в бабинце молилось несколько дивчат.

Галина поставила перед образом святителя Николая свою свечу и смотрела долго на ее пламя, как оно высоко подымалось и отражалось в блестящей серебряной ризе. В сердце ее стояла тупая боль, глаза застилал какой-то туман. Ей казалось, что лик чудотворца кротко ей улыбается и не отклоняет от себя пламени ее свечи.

«Молиться, молиться нужно, но как? Не умею, неграмотная я!» — напрягала свой ум Галина, но слов молитвы она не знала, и сердце сильнее начинало болеть.

Она слушала, как дьячок пел «Святителю, отче Николае, моли бога о нас!», и усердно крестилась, но мольба ее, как казалось ей, не могла вместиться в этом припеве!.. А время идет; уже видимо приближается служение к концу...

Что-то словно сдавило ее за горло... подступило под грудь; запрыгали свечи в глазах, закружились огненными

кругами, и Галина упала к ногам угодника божьего, заливаясь слезами.

Долго лежала ниц перед образом Галина, изливая слезами свою печаль; наконец подняла на лик святителя чудотворца свои влажные очи, и, стоя на коленях, она начала порывисто шептать вырванные из глубины сердца слова горячей молитвы:

«Заступниче наш, чудотворче Миколо! Ты там, где никогда не заходит ясное солнце, где в райском сиянии живут праведные души, ты стоишь у подножия престола господа бога. Ты видишь мое великое горе, ты знаешь, что мое счастье, мою долю поломать хотят и забросить куда-то навеки... Заступись же за меня, бедную, передай мою тугу-тоску деве пречистой, перенеси ей мои слезы: пусть она вымолит у бога мне ласку или примет поскорее к себе мою грешную душу... Не жить мне с такой мукой на свете: я верю в твою силу, святый Миколо, глянь на мое сердце — оно все в тебе; сотвори ж и мне чудо, бо ты еси без конца милостив к нам, несчастным!..» — и она снова упала ниц.

Когда уже почти все вышли из церкви и пономарь тушил последние свечи, Галина проворно встала и, робко оглянувшись, взяла свою, еще дымящуюся свечу и спрятала ее.

Цыганка уже была на условленном месте; они направились к хате.

Войдя в большую светлицу, Галина зажгла сальную свечку и поставила ее в каганец. Цыганка между тем пристально осматривала все углы светлицы, особенно скрыню, будто бы разыскивая для гаданья удобную мисочку или тарелку.

— Сядь вон в той кимнате,— указала цыганка на отдельную комнату,— там лучше; а здесь вот я на огне в печи растоплю воск и выкличу черную силу...

— Ох, бабусю, я умру! — задрожала Галина, закрыв очи и уши руками.

— Для необкуренной зельем дивчины оно так может и статься,— угрожающе прошамкала цыганка.— А мы вот что зробим: ты садись в той кимнате спиной к дверям, а я обвяжу тебе добре голову обкуренным платком, и никакая нечисть тебя не зацепит.

Цыганка закутала длинным платком и очи, и уши Галины, приговаривая:

Отсуньсь, отвернись
И ее не коснись,
А черная сила та
Пусть летит на болота!

И все водила по Галине руками, причем незаметным образом ключи, висевшие у Галины за поясом, очутились у ворожеи.

— Ну, сиди ж смирно и читай вслух все молитвы, какие ты знаешь, чтобы через порог сюда ничто не перелетело...

Трепеща от ужаса, сидела закутанная Галина, а из соседней светлицы долетали к ней какие-то завывания, взвизгивания, брязг цепей и лязг стали.

Девять раз прочла подряд все известные ей молитвы Галина, пока управилась с «нечистою силою» цыганка; наконец она торжественно вошла, развязала Галину, показала ей на дне миски какую-то из воска фитюльку и объявила беспрекословно, что доля ее — за Дмитром, что буян навеки отброшен и что ждет ее полное и долгое счастье.

Галина, не помня себя от прилива счастья, бросилась было целовать у цыганки руки, но последняя торопливо ушла, объявив, что сейчас возвращается мать.

Все пошло своим чередом, благополучно; но перед праздником обнаружилось, что мешочек с выкопанными под старой хатой карбованцами, из скрыни исчез.

Поднялся в семье и ужас, и гвалт. Старый Мыкыта чуть с ума не сошел, чуть не повесился. Дознались, что это было делом рук цыганки, но, несмотря на все поиски, на усердие даже сельского начальства, след ее и поныне простыл.

Долго бушевал и воевал над семьей старый, много она натерпелась и наплакалась; но наконец смирился душою и покаялся батько, особенно после обиды от старшины, сказавшего ему привселюдно, что без карбованцев он и знать не хочет его дочки.

Ответив старшине тем же, Мыкыта пришел домой и немедленно послал за дядьком Дмитра, хлопотавшим о своем племяннике раньше. Перебили они руки — и в следующее воскресенье счастливая Галина стояла на рушнике перед налоем со своим ненаглядным Дмитром.

Свадьба была справлена на славу, на всю Николаевку,— ведь Мыкыта был и без старых карбованцев зажиточный и добрый хозяин.

Горячо молилась Галина под венцом святому Николаю и теперь молится; и перед его образом в заветном углу вечно горит неугасаемая лампада...

БЛАГОДЕТЕЛЬ

(Очерк)

В приемной земского врача совершенно пусто. Небольшая, низкая комната, с ухабистым потолком и маленькими окнами, выкрашенными в зеленую краску, выглядит как-то сонно и скучно. На окнах, за белыми занавесями, посеревшими при участии мух, стоят горшки гераниума и фуксии; на подоконниках между ними валяются некоторые медицинские инструменты — кривые ножницы, ланцеты, трубка; на небольшом столике лежат две-три разорванные книги и висят на деревянном станке несколько стеклянных цилиндров с желтоватыми жидкостями; в двух шкафах, при входной двери, помещается аптека.

За столиком сидит в халате врач Калинский, небольшого роста, лет тридцати, с обозначившимся брюшком; он рассматривает в небольшое зеркальце свою заспанную, помятую физиономию.

— Однако,— волнуется он вслух,— поизносилась как физиономия-то! А? Глаза подпухли, обрюзглость расползлась, морщины легли... Эх, эх, старость подкрадывается... и подкрадывается так глупо! Не успел оглянуться, как жизнь подводит итоги... и на какую ерунду она разменялась! Куда унеслись радужные надежды, сверкающие блеском идеалы, кипучие порывы любви к меньшему брату, могучие силы энергии и таланта? Куда? Разбились в непосильной борьбе с непреодолимым врагом, да!! Среда хоть кого заест...— вздыхает успокоительно Калинский, но внутри, в каком-то уголке сердца, все еще чувствуется тупая боль. Калинский подошел к окну и видит, как через улицу по лужам бредет мокрая

свинья, как баба, накинув на себя рядно, выбежала и загнала ее в ворота, и снова пусто,— только вот села на мокрую крышу противоположной хаты ворона и нахохлилась... На окне в углу стекла притаилась полумертвая муха... Калинскому становится неимоверно тоскливо, досадно и обидно; чувство обиды переходит в чувство злости на весь мир, ополчившийся своей тупой пошлостью на его идеальную, преждевременно якобы появившуюся на свет натуру. Доктор поймал сонную муху и, оторвав ей крылья, бросил на пол, прошипев злобно: «Тоже воображает, что живет!»

У Калинского еще тяжелее, отвратительнее стало на душе, и он, чтобы перебить это ощущение, крикнул раздражительным голосом:

— Гей! Кто там? Софрон!!

Вышел какой-то верзила в странной куртке.

— Ты что же это мне до сих пор не даешь чаю?

— Вже кыпыть.

— Что кипит? Чай? Ты меня опять дубильным настоем угостишь?

— Нит, самовар кыплять.

— А ты вот, я заметил, опять начал мои папиросы таскать?

— Ей-ей, только недокурки.

— У тебя все недокурки! Ну! Стакан чаю скорее! — закончил Калинский и уселся снова на кресле перед зеркалом.

«Да, вот вам и народ, для которого трудишься, для которого состоишь и врачевателем телесных недугов, и воспитателем нравственным!.. Эхма! Издали-то эти меньшие братья как привлекательны, а вблизи только грязь, да отупение, да отсутствие всяких высших интересов и потребностей,— думал Калинский, рассматривая в зеркальце свою физиономию.— Даже дивчата, эти поэтические образы, созданные в душе, подогретой фантазией и музой поэта,— даже и они, эти хваленые украинские красавицы, оказались в действительности какими-то грязными, загорелыми бабами... Притом и в чувствах их не сказалось ни южной, опьяняющей страсти, ни поэтических грез, ни томной элегии. Так, какая-то наивность и прямолинейность, да иногда слезы, и только! Одна вот встретилась в Моцоковке, куда я на вскрытие ездил, так действительно прелесть, восторг! —Калинский закурил

папиросу.— Да, восторг! Маруся?.. Кажется, Маруся! Я раза три ездил в этот хутор; но... опять слезы пошли, скучно и мелко: ни порыва, ни увлечения! — Калинский затянулся и выпустил кольцами дым.— А оглянись кругом на эту местную, так называемую интеллигенцию, так еще станет тошнее: ну, бьешься, бьешься, бросаешь закваску, проповедываешь свой катехизис, развиваешь, и все эти перлы тонут даром на дне стоячего болота! Поневоле и сам сядешь за винт да начнешь пропускать рюмочки. Даже вот не читаешь: то приходы пациентов, то поездки мешают. Вот даже этого романа не могу за две недели дочесть»,— и Калинский развернул перед собой «Большую Медведицу».

Софрон, осторожно ступая босыми, мокрыми и грязными ногами, поставил перед паном стакан чаю и робко сообщил:

— Там баба пришла до вашей милости.

— А ты снова напускаешь целую переднюю? — вскинулся на своего прислужника врач.— Почему не отсылаешь к фельдшеру? Просто в книгу взглянуть не дадут, читать разучишься.

— Да я их третий день отправляю,— оправдывался Софрон,— бо вас, пане, не было дома, а то в карты гралы, ну, а баба дуже просится.

— Что там у нее?

— Не могим знать, пане, а только дуже, стало быть, крестится.

— Зови уж ее! — Калинский с досадой хлебнул чаю и бросил на стол книгу.

Сгорбленная старушка, с слезящимися глазами, повязанная платком, вошла на цыпочках в приемную, подошла к столу и осторожно высыпала из старенького платочка десяток яиц и просвирку.

— До вашей милости, благодетелю наш, батько родный,— начала она нараспев жалобным голосом,— не обидьтесь, чем спромоглась, тым и дякую.

— К чему это? — возразил нехотя Калинский.— Будто я требую... я ведь даром готов...

— Та я знаю, благодетелю наш, родителю,— кланялась баба,— а не обидьте...

— Ну, ну,— уступил смягчившийся врач,— говори, что там у тебя?

— Та тут, благодетелю, не то хвороба, а ежели рассказать как след, так и чистое горе... одно слово — напасть и погибель!

— Что же там такое? — любопытствовал врач, прихлебывая чай и затягиваясь папиросой.

— Да так... выходит... стало быть, сироты мы, беззащитные, да и только,— и поплакаться некому, и пожаловаться некуда. Жили мы спокойно и довольны были куском хлеба, да завистливым людям и наша доля поперек горла стала... взяли да и наслали обморок...

— Какой обморок? — удивился Калинский.

— Обморок, пане благодетелю наш, хвундаментный обморок... Вот это сидит себе и ничего — только уставится куда-нибудь, хоть убей... Ну, и ничего, а то вдруг вот начинается обморок и этак клубком, клубком покатится, под горло подступит... ну, значит, оченьки под лоб пойдут и зараз застонет: «Матушка, пить!»

— Кто застонет? Кто? Ничего не понимаю — поскладнее хоть рассказывай.

— Да бачите, благодетелю мой, у нас там есть соседка, дьячиха; так она у меня недавно льнувала!..

— Как льнувала?

— Это, стало быть, ихнее сословие осенью ездит и собирает себе во всякой хате доброхотные даяния; ну, и выпрашивает, и вымаливает... всяко случается... Так я, грешная, пожалела ей, дьячихе-то, обидчице моей, целого куска полотна, а она и давай похваляться, что нашлет на меня напасть... ну, и наслала!

— Что ты, баба, как бы так она наслала обморок?

— Наслала, благодетелю, наслала! Через наш хутор бежала раз бешеная собака, ну, она, стало быть, от нее воздух и нагнала... а теперь и пропадай — и краса, и коса, и моя утеха!

— В своем ли ты уме, что ли? О своей молодости да косе задним числом горевать начала?..

— Как о своей, паночку голубчику? Не о своей... да я сейчас готова на себя принять обморок, а то она-то, моя зоренька, моя квиточка, за что, через этот кусок полотна, погибать должна? — и баба залилась слезами.

— Да кто же, наконец, болен, говори толком! — начинал горячиться врач.

— Да кто же, как не моя донечка, как не моя последняя утеха! Такая-то она росла тихая, да покорная, да моторная, такая-то она была гожая, да хорошая, да разумная... радость моя, подстреленная горлинка! — голосила баба, не скрывая уже больше горя и не отирая очей.— Все любовались на нее, все мне завидовали... и я только одной думкой жила, что найду ей дружка милого да с внуками стану нянчиться... а вот через злобу людскую теперь она извелась! В могилу бы мне легче лечь, чем смотреть, как мою надломанную квиточку болезнь эта мучит...

— Все-таки в чем же дело? — уже более теплым тоном спросил Калинский; видимо, старческие слезы его тронули.

— То было она всегда такая веселенькая, цокотушечка, щебетушечка, песни все распевала, да таким звонким голоском, что аж левада смеялася, а то я раз вернулась домой, смотрю — моя Маруся плачет...

— Маруся? — вскрикнул Калинский, и краска сбежала трусливо с его пухлых ланит.

— Маруся, благодетелю наш, Маруся!

— Белокурая, с черными глазами?

— Так, паночку, с черными и с черными бровями.

— В Моцоковке? — глухо спрашивал врач, чувствуя, как отхлынувшая кровь заливала ему все лицо, и уши, и шею.— В той Моцоковке, куда я приезжал, когда у вас было найдено мертвое тело?

— В Моцоковке ж, паночку, благодетелю наш, Моцоковке; там же и наша хата, и наше хозяйство... Я к ней — за головку взяла, приласкала, а она как заголосит, как упадет ко мне на грудь: «Мамо! — кричит,— возьмите нож и ударьте им меня в самое сердце!» — «Что ты, доню моя? Какое тебе горе, какая напасть?» — «Все равно — не жить мне! Забыл,— говорит,— он меня!» Да как бросится на землю, так и залилась, так и залилась... Ну, и замутился совсем ее разум... А раз вечером застала я ее — на пояске висела... я так и упала! Сбежались соседи, сняли, отходили... и она ничего себе, тихая, покорная, только смотрит нехорошо, страшно так... Вянет, тает на глазах моих, та теперь, кажись, и совсем с ума свихнулась...

Старуха залилась надрывающими душу слезами и повалилась доктору в ноги:

— Спасителю наш, благодетелю! Помогите ей! Вас господь бог не оставит, и моя грешная молитва долетит, может быть, до высокого неба...

Калинский встал, взволнованный, встревоженный, сунул синенькую в руки старухи и сказал, задыхаясь:

— Поезжайте скорее домой, не оставляйте больной, а я к вечеру буду! — и, не дав старухе поцеловать три раза руки, выпроводил ее и велел Софрону отвезть немедленно в Моцоковку.

Оставшись один, он вытер платком крупные капли пота на лбу, освежил лицо одеколоном, понюхал нашатырного спирта, долго в тревожном волнении ходил по комнате и наконец произнес решительно:

— Нет! Бежать отсюда, и моментально! Тут очумеешь в этой глуши, без света и воздуха!..

В ВАГОНЕ

(Картинка с натуры)

Три часа ночи. Поезд мчится быстрее нормальной скорости, желая наверстать время. Вагон набит пассажирами и, слегка покачиваясь, однообразно дрожит. Две догорающие свечи в противуположных углах его слабо освещают группы лиц, сидящих во всевозможных позах; между световыми пятнами вверху пестрят темные линии теней и сливаются посредине в расплывчатые формы.

Все спят или, по крайней мере, страстно желают, приспособившись кое-как, забыться хотя на минуту. На средней полке, направо от меня, сидит у окна в оборванной и засаленной дубленке дед; длинная, белая, как молоко, борода его спускается по груди и прячется в космах грязной овчины; шапка надвинута низко на красные, слезящиеся глаза. Против деда, нагнувшись к нему, сидит в шинели солдатик, посасывая окурок папиросы; в полумраке фигура его кажется необычайно тщедушной, а лицо подозрительно желтым, особенно при сравнении с дородной тушей багрового соседа, по видимости купца, украшенного рыжей косматой бородой; последний, протянув через проход ноги, похрапывает или, вернее сказать, похрюкивает с сильным присвистом. Против меня поместился, согнувшись калачиком, какой-то худенький, с острой бородкой не то репортер, не то художник; а через спинку его скамейки почти на него навалился в старом пальто совершенно уже бритый субъект, по всей вероятности актер, а по свирепости выражения лица — еще и трагик.

Позади солдатика дремлет заверченная в платок молодуха, прижимая к груди плачущего тихо ребенка; мне

только виден ее профиль, освещенный мягко полусветом, и опущенные неподвижно ресницы. Против нее, на другой скамейке, дремлет у края прохода старуха, покачивая головой и накреняясь сильно вперед; по временам, при потере равновесия, она вздрагивает, выпрямляется и с тревогой осматривает свою корзину, загородившую наполовину проход.

Среди монотонного стука— тик-тик-так, тик-тик-так— слышится иногда то проклятие, то всхрап, то задушевно-ругательное словцо.

— Вот, выходит, дело,— шепчет отрывисто деду солдат,— таперича рассыпным строем... в цепи... Ну, тогда, стало быть, ложись за кустом али за камнем, а то и руками выгреби ямку и поглядывай, а коли ежели что — пали!

— Ох, господи, помилуй нас, грешных! — набожно замечает дед.

— А он тоже палит.

— Палит? Стреляет, что ли?

— Стреляет... ого, еще как! У них, дедушка, ружья еще почище! Лежишь, а тут тебе над самым ухом пули: дз-з! дз-з!..— вот как шершень... А иная, шельма, свистит таково жалостно, словно плачет, что не ударила в человека...

— Господи, спаси и помилуй! — вздыхает дед.

— Так точно, дедушка, спервоначалу, как это она завизжит, ну, и передернет тебе все суставы, а опосля ничего... Вот как зачуешь «тчик!», ну, дак это уж беспременно кого-либо цапнула, глядишь, ан уже корчится и стонет сосед...

Поезд заколыхался сильнее и загромыхал гулко по какой-то пустоте. Некоторые фигуры зашевелились.

— Остави и прости мне, грешному,— прошамкал дед, осеняя себя длинным истовым крестом.

— Хрю! — вскрикнула рыжая борода, на минутку открыв красные подпухшие очи и почесав всласть себе подбородок.

— Строители тоже! — проворчал и сосед мой с острой бородкой, безнадежно стремясь повыгоднее приладиться на узкой скамье.— Тоже называются вагоны! Скотобойня какая-то, а не вагоны! — И, заметив, что я не сплю, обратился ко мне: — Позвольте на вашу скамью протянуть ноги?

— Сделайте одолжение,— отодвинулся я к окну.

— Нас ведь и за людей не считают эти мостогубители, эти кукуевцы,— не унимался мой желчный сосед.

— Да, не понимаю,— поддержал и я,— почему бы не устроить длинных и более широких скамей? Ведь на это никакой лишней затраты не потребовалось бы.

— Почему? — вскинулся мой собеседник.— Особый расчет, хищнические мотивы. Если дадим-де, думают, и третьему классу некую выгоду, то пассажир не полезет во второй класс. Так вот и выходит, коли не имеешь от трудов своих лишней для железнодорожника мзды, то и терпи до вывиха костей, до сотрясения мозга.

— Это верно,— согласился я,— интересы нашей братии в расчет не принимаются.

— Еще бы! Нашли дураков! Им ведь, заправителям частных дорог, не только нет дела до наших с вами удобств, но дела нет и до интересов страны. Я ведь все эти места изъездил и репортерствовал в большие газеты. Правительство, слава богу, обратило внимание, взяло их в свои руки и прекращает безобразия.

— Дельно! Давно бы на них узду,— слышится из темного угла одобрительное замечание.

Дверь вагона отворяется с шумом, и дорожный страж входит переменять свечи, смело отодвигая колени сидящих, наступая на ноги, с явным желанием побеспокоить.

— Нельзя же, господа, загораживать проход! Сядьте правильнее, господа!

— Проходи, проходи мимо! Не тревожь! — бормочет ему рыжая борода.

— Проходи?! С нас тоже требуется,— косится страж на бороду и идет дальше; натолкнувшись на корзину, он срывает на ней досаду.

— Батюшки! — вскинулась баба, защищая корзину руками.— Не трожь, родимый! Не побей: яйца ведь!

— А ты не тащи яиц в вагон, а в багаж сдавай! — гремит страж.

— Да как же мне их в багаж? Побьют! — защищалась старуха.— Ведь я за ними, кормильцами, как за глазом смотрю. Мне недалече: вот туточки, через две станции, полустанок будет и станция. Мне недалече, касатик.

— А вот жандарму скажу, и выкинет вон. Проходу нет!

— Тише там! — зарычал трагик.

— Не тревожь, слышь! — отозвалась и рыжая борода.

— Да затворяй дверь! — крикнул репортер вслед удаляющемуся с злобным ворчанием стражу.— Тоже начальство нашлось! Силу свою показать желает!

— Отцы родные, господа милосердные! Заступитесь хоть вы за старуху! — плачется баба.— Яйца хочет выкинуть... озорничает... За что же мне такая обида?

— Не плачь, баба,— успокаивает рыжая борода,— не дадим тебя в обиду, ну, и шабаш! Поняла?

В это время раздался свисток, по вагону пробежало несколько светлых пятен. Поезд подходил к полустанку.

— Станция? — засуетился трагик.— Стало быть, можно выпить.

— Никак нет, это полустанок,— возразил солдатик,— а станция будет следующая, а это полустанок махонький, тут и капли провизии нет.

— Досадно! — рявкнул басом трагик и закрылся воротником.

Свистнул вновь охрипшим голосом паровоз, и поезд, стуча по переходным рельсам, вновь закачался. Вошел в двери какой-то молодой парень из мастеровых, в выпускной рубахе и поддевке, с гармоникой под мышкой; вошел и, усиливаясь удержать равновесие, произнес многозначительно:

— Качает!

— Качает, брат, качает,— заметила рыжая борода, голосисто зевая,— особенно, ежели нагрузимшись, так и дюже...

— Никак невозможно, ваше степенство...— улыбался радостно вновь вошедший и сел на лавку.

— Качает, это верно,— добавил он, попробовав несколько звуков на гармонике.

— Это еще что? — вскинулся купец.— Тут все в успокоении, а он гармонией тревожить? Положь ее! Нишкни!

— Можно и положить. Почему не положить? Можно, это правильно...

Наступает вновь тишина. Все тоскливо поправили свои позы и погрузились в злобное молчание, один только мастеровой улыбался блаженно да надрывающим душу голоском стонал ребенок. Мать, стараясь всеми силами унять его, макала в воду, настоянную на ржаном хлебе,

тряпицу и совала ее в ротик ребенку, но последнего еще более раздражала эта тряпица и вызывала еще более болезненные крики.

Вошел страж и накинулся на молодуху:

— Уйми дитя, чтоб не орало, не то — высажу.

— Родимый, что же мне делать-то? Хворое оно,— и молодуха сильнее закачала ребенка, припевая: «А-а! А-а!!»

— Уйми, говорят! — настаивал страж.

— Что ты пристал? Не тревожь ее,— вступился купец.

— Беспорядок,— огрызнулся страж.

— Бахвалится тоже перед бабой,— заметил трагик.

— Как же! Тоже ведь — начальство,— вставил и репортер.

— Да вы, господа, не очень-то,— обиделся страж,— это мое дело смотреть за беспорядками... за беспокойством...

— Не за ту роль взялся,— поднял голову трагик.— Ребенок нас не беспокоит, а твоя милость — весьма, так не угодно ли лучше очистить вагон от своего присутствия, освободить сцену.

— Ваших глупых замечаний не спрашивают,— отрезал страж.

— Ах ты, дурак! — поднялся трагик.— Да я тебе за такие реплики глотку заткну!

— Как вы смеете ругаться? — вскипел благородным негодованием страж.— Я протокол составлю... Господа! Прошу вас быть свидетелями, что этот господин обругал меня дураком.

— Да я еще тебе ремарку положу! — ревел трагик, потрясая кулаком.

— Под микитки! Важно! — восторгался мастеровой.

— Что же это, господа? —протестовал страж.

— Правильно, потому — не лезь! — отозвался купец.

— Сам первый сказал дерзость, да еще смеет претендовать,— вскинулся репортер, ставши на скамейке.

— Да вы не смеете на меня говорить «ты»!

— Почему не смею? — кипятился репортер.— Слышите, господа, какое нахальство? Ты служитель, сторож, потому и «ты»!

— Я агент общества.

— Агент? — захохотал мастеровой.— Занятно!

— Ах ты, агент макаронный! — засмеялся и купец.— Подойди-ка, я посмотрю на тебя поближе, в руках подержу...

— Не позволяйте себе дерзостей! У меня тоже... я тоже... начальнику станции буду жаловаться! — пыжился страж, багровея до синевы.

— А ты не позволяй себе отсебятины,— подчеркнул трагик,— а то ведь можно такой монолог прочитать... Мне и антрепренер после монолога заплатил все до копейки!

Эта схватка разбудила и развеселила всех; заинтересованные физиономии понадвинулись к центру действия.

— Тоже требует еще, чтобы ему говорили «вы»! — горячился больше и больше, стоя на скамейке, как на трибуне, сосед мой.— Сам позволяет себе на пассажиров тыкать, а ему преподноси «вы»? Не ты будешь жаловаться, а на тебя весь вагон,— вот что!

— Не испужались — стреляные! — отбивался все еще страж, хотя уже пониженным тоном.

— А ты помалкивай, мотри, не то — встану! — потянулся купец.

— Ах, важно бы спужать его этаким манером... Для порядку! — подвинчивал, потирая руки, мастеровой.

— Да что же это, господа? Жандарм!

— Вон! Из вагона вон! — кричал репортер.

— Проваливай, пока цел! — подчеркнул и купец.

— Господа! Я остановлю поезд...— уже струсил страж.

В это время поднялся мастеровой, потерял равновесие и при толчке подходящего к станции вагона грузно обрушился... в корзину старухи...

Баба оцепенела от ужаса, крикнув отчаянно:

— Караул! Яйца!!

Это обстоятельство сразу изменило настроение толпы: злоба уступила место общему гомерическому хохоту... Веселье было настолько заразительно, что даже и сторож не мог удержаться от смеха.

Мастеровой, растерянный, поднялся наконец из корзины.

— Вот оказия-то! — сконфуженно бормотал он.

— Мараль! — хохотал до упаду купец.

— Яичница! — орал кто-то.

— Ох, провал тебя возьми! Вот комик! — развеселился трагик.

Одна только баба благим матом причитала:

— Ах ты, разбойник, грабитель! Да что ты мне, горемычной, наделал? Разорили, разорили! — рыдала неудержимо старуха над своей корзиной, из которой со всех сторон текла мутная, желтая жидкость.

Растерянный мастеровой начал предлагать бабе в возмещение ее убытков свою гармонию.

— На что мне твоя гармоника? — плакала неутешно старуха.

— Сложимся, господа, заплатим ей, бедной,— предложил я.— Ведь отчасти и мы все принимали хотя косвенное участие в ее горе!

— Правильно,— заметил и купец.

Немедленно была собрана сумма, которой старуха вполне утешилась.

Поезд подошел к станции.

БУДОЧНИК

(Рассказ из железнодорожной жизни)

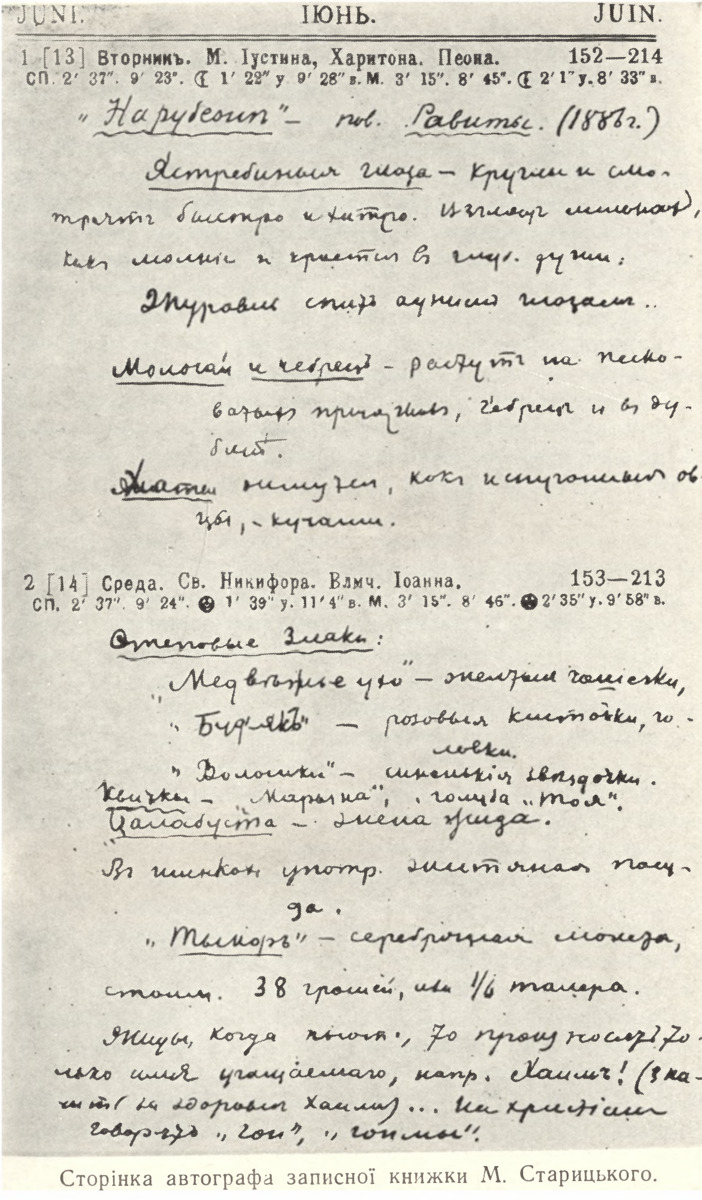
В общей зале, на станции Лозово-Севастопольской линии, сидел я с некоторыми пассажирами за отдельным столиком и с нетерпением ожидал запоздавшего поезда.

Дело было в июне. Сильная гроза с проливным дождем только что миновала. По чистой, яркой лазури неслись отставшие, оторванные клочья пронесшейся тучи; она далеко уже клубилась темно-синей массой, прорезанною наискось светлыми полосами и отороченною красноватою каймой; по ней иногда вспыхивали отблески молний и изредка еще доносились к нам мягкие перекаты грома, лаская уже успокоенный слух. В открытое окно врывалась чудная свежесть воздуха, напоенная ароматом белых акаций.

Мы благодушествовали за чаем, сдобренным недурным коньяком, предложенным нам буфетчиком ввиду сырости, и поругивали железнодорожные порядки: каждый из нас торопился к месту своего назначения; но особенное нетерпение обнаруживал юный следователь, еще и не потертый жизнью, но уже обозленный. Рыжеватая тощая фигурка его напоминала собою полишинеля, которого кто-то постоянно дергал за ниточку: он то и дело бегал то на перрон, то на телеграф, то к начальнику.

— На что это похоже! — горячился следователь, жестикулируя и не выпуская папироски изо рта.— Добро бы зима, ну — заносы, а то в этакую благодатную пору и вдруг — опоздание!

— Хе-хе-хе! — добродушно ему подсмеивался старичок, чистенький, кругленький, с пресимпатичною улыб-



JUNI. ІЮНЬ. JUIN.

1 [13] Вторникъ. М. Іустина, Харитона. Пеона. 152—214
СП. 2′ 37″. 9′ 23″. ☾ 1′ 22″ у. 9′ 28″ в. М. 3′ 15″. 8′ 45″. ☾ 2′ 1″ у. 8′ 33″ в.

„На рубежъ" — пов. Равиты. (188[illegible]г.)

Ястребиныя глаза — круглы и смотрятъ быстро и хитро. Взглядъ мимолетъ, какъ молнія и прячется въ глуб. души.

Журавли смотр. [illegible] глазами..

Молочай и чебрецъ — растутъ на песковатыхъ пригоркахъ, чебрецъ и въ дубахъ.

Хаты жмутся, какъ испуганныя овцы, — кучами.

2 [14] Среда. Св. Никифора. Влмч. Іоанна. 153—213
СП. 2′ 37″. 9′ 24″. ● 1′ 39″ у. 11′ 4″ в. М. 3′ 15″. 8′ 46″. ● 2′ 35″ у. 9′ 58″ в.

Степовые злаки:
„Медвежье ухо" — желтыя чашечки,
„Будякъ" — розовыя кисточки, головки.
„Волошки" — синенькія звездочки.
Кличка — „Марына", „голубка моя".
Цалабуста — жена жида.

Въ шинкахъ употр. жестяная посуда.

„Тымфъ" — серебряная монета, стоим. 38 грошей, или 1/6 талера.

Жиды, когда пьютъ, то произносятъ только имя угощаемаго, напр. Хаимъ! (значитъ за здоровье Хаима)... На христіанъ говорятъ „гой", „гоимъ".

Сторінка автографа записної книжки М. Старицького.

кой, никогда не сходившею с его добродушного лица,— не последняя, как оказалось потом, шишка в железнодорожном персонале.— Жить торопитесь? Успеете еще, молодой человек, успеете!

— Да тут дело не в жизни, а в исполнении служебных обязанностей,— возразил несколько свысока искатель истины.— У меня очень важное дело в руках, и для расследования обстоятельств время очень дорого, а у меня его, по милости каких-то железнодорожных неурядиц, отнимают и дают тем возможность преступнику скрыть путеводные нити.

— Батенька! Да что уже можно было скрыть, то давно скрыто,— подтрунивал старичок.— Ведь пока обнаружилось преступление — прошло время; пока дали знать полиции — еще прошло время; пока полиция собралась сделать предварительное дознание — опять прошло время; пока, наконец, дали вам знать... верьте, что все концы уже спрятаны, и вас только встретит: «Знать не знаю, ведать не ведаю!»

— Ну, нет! У меня запоют и другую! — хорохорился следователь, поглаживая свою низко стриженную щетинку.— Я умею выворачивать им нутро... Я знаю ведь, что этого мужичья теплотою да ласковым словом не прошибешь: для него нет ничего святого!

— Будто бы? — усомнился старичок.

Я и сосед мой глубоко возмутились таким голословным обвинением нашего простого народа, но молодой следователь не унимался:

— Полноте, господа, разводить маниловщину! Я этот пресловутый народ изучил достаточно: верить ему нельзя ни в одном слове; только искусственными, келейными мерами и можно иногда добыть истину.

— Ой, не думаю! — возразил старик.— Я сам долго служил следователем по железнодорожным делам и к простому народу присмотрелся: верить-то можно и слову его, и преданности, а разгадать иной раз поступки его трудновато; меришь его по своей мерке, признаться, таки гниловатой, а она-то к его здоровой натуре и не подходит, ну, и никаких мотивов-то не доищешься. Иного человека, кажись, уже как знаешь, как свои пять пальцев, соли с ним чуть не полтора пуда съешь, а выйдет случай, и окажется твой изведанный человек сфинкс сфинксом... Да вот, господа, эта гроза напомнила мне...

какой был со мною раз случай, так верите ли, чуть под суд не попал... насилу отделался!

Мы все, заинтересованные вступлением, попридвинулись к словоохотливому старичку, и он, закурив сигару, рассказал следующее.

Дело было давно. Я еще служил на Кавказе начальником одной небольшой станции на только что отстроенной линии, недалеко от Тифлиса. У товарища моего по соседней станции служил сторожем некто Петренко Степан, уроженец Полтавской губернии, типичный хохлятина; гигант ростом, силищи непомерной, и при этом — добродушнейшая физиономия с кроткими карими глазами и длиннейшими усами, опущенными по-китайски вниз.

На меня сразу он произвел самое благоприятное впечатление; особенно подкупил его ясный, чуждый всякой лжи взгляд, да и товарищ мой о нем отозвался как о самом честнейшем труженике и на службе, и в жизни, на которого можно более чем на себя положиться.

Потом, по мере знакомства с Петренком, у меня симпатия к нему еще увеличилась, и кончилось тем, что я таки упросил моего товарища уступить мне Степана.

— Ради бога,— говорю,— отдай мне его: у тебя все-таки порядочные люди, а у меня такая сборная, бесшабашная дружина, что и руками разведешь.

Помялся товарищ, помялся:

— Ну,— говорит,— жаль мне его — лучший человек на всей линии, да делать нечего, если он согласится... разумеется...

А у меня уже с Петренком дело было слажено: я ему тоже, кажись, по душе пришелся.

— Желаешь ли служить у их благородия, на соседней станции? — спросил у него мой товарищ.

— А що ж? Де не служыты, абы служыты,— ответил Степан с хохлацким акцентом.

— А не боишься их? — усмехнулся товарищ.

— Не съедят... Да на то в лиси и волк, щоб вивци знали,— улыбнулся Петренко.

Так мы и поладили.

Переехал Петренко ко мне на станцию; дал я ему в ведение ближайшую будку, и зажили мы с ним отлично, душа в душу.

Этакого усерднейшего сторожа-служаки мне не встре-

чалось и видеть, да, вероятно, и не встретится: целый день на ногах — или у своей будки, или по своей линии; на ходу и ел, а уж когда спал-то, аллах его ведает.

— Да что ты, Степан, трехжильный, что ли? — бывало, спросишь его.— Никогда тебя спящим не вижу!

— Э, пане, от этой отпочивки только беда, балует она нашего брата,— почешет он затылок,— зараз тебе и горилка на ум пойдет, и всякая пакость, коли вылежишься добре; а ежели я в трудах, так никакая думка и в голову не полезет, бо и думка любит больше покой, а до ходячего человека не пристает...

— Да чего же тебе? Ведь водки не пьешь?

— Сдавна; раз было, еще на родине... с радости напился, да чуть было не вскочил в напасть, дак я и дал зарок, чтобы ее, каторжной, и не нюхать... ну, и не нюхаю.

— Молодец,— одобрил я.— А на родине давно не был?

— Давно,— вздохнул тихо Степан.

— И скучно по ней, тоскливо?

Степан взглянул на меня, потом устремил глаза куда-то в синеющую даль и ничего не ответил, только по глубокому, подавленному вздоху видно было, что этот вопрос затронул ему дорогую струну и она печально заныла...

— Там у тебя семья, верно?

— Никогошенько, сирота.

— Так чего ж тебе? И тут хорошо!

— Хорошо-то оно хорошо, да не то, что дома: народ тут чужой, своего слова не почуешь... куда ни глянешь — все чужое... Вот на что горобец и сорока — такие же, кажись, а ни! Там те, свои-то,— и лучше, и роднее... эх, пане! — и он в волнении отвернулся.

— Да ты бы обзавелся бабой, женился бы... и не так бы сиротливо стало!

— Хе, бабой,—улыбнулся Степан,— тоже при нашей-то службе — одна спокуса!.. Воно точно,— вдумывался он, почесывая за ухом,— баба, да ежели бы еще из родной сторонки, из Украйны... одно слово — утеха, да хиба ее тут найдешь?.. Ну, и нашему брату тоже несподручно. На этот счет, знаете, пане, у нас есть пословица: «Колы не хочеш на послугу до чорта, так не знай бабы»! — заключил он и добродушно уже рассмеялся.

И точно, не знал Петренко ни горилки, ни бабы, ни трынки, ни орлянки; вечно стоял у своего поста или работал по линии, и никто от него кривого слова не слыхал. Сначала было его сослуживцы вооружились даже против такого неподходящего к их компании товарища, а потом смирились и начали относиться к нему с полным уважением за его добросовестность и правдивость.

Бывало, провинится в чем рабочий, надебоширит, призовешь его:

— Ну, сказывай, как было дело? Пьян был?

— Никак нет, ваше благородие, капли во рту не было, разрази меня господи!

— А позовите-ка сюда Петренка, он с тобой разговаривал.

И при одном имени этого свидетеля наглость у рабочего сразу пропадала, и сразу он винился во всем; так что в последнее время только и требовалось установить лишь факт, что Петренко был при этом, и никто уже запираться не смел,— такова была к нему вера.

Да я, если случалось куда отлучиться, то детей своих не на жену оставлял, а на Петренка.

Мы все засмеялись невольно, а старичок, взволнованный воспоминаниями, подлил себе в стакан коньяку и продолжал:

— Прослужил я этак с Петренком на станции лет пять и — ни сучка ни задоринки! К наградам его представлял ежегодно. А тут меня переводят в правление — агентом по всей линии... Ну, повышение, конечно, обрадовался я и семья... одного Петренка жалко.

Прощаюсь я с ним:

— Ненадолго,— говорю,— непременно переведу к себе, выхлопочу место с повышением.

— Спасыби, благодарим вам, пане, а то привык я к вам дуже, нудьга будет! — и он смахнул с ресниц набежавшую слезу.

Мы обнялись с ним дружески. Новый начальник станции, мой наместник, отнесся к этому прощанию с саркастической улыбкой.

— Увидимся скоро! — крикнул я, отъезжая, Степану.— Да там и женю тебя.

— Та, може, и тэе...— улыбнулся в ус себе и Петренко.

Не успел я приехать в Тифлис и осмотреться, как

получено было по телеграфу известие о крушении товарного поезда на бывшей же моей станции. Само собой разумеется, что я немедленно был туда командирован для совместного с судебным следователем расследования катастрофы, отягченной и человеческими жертвами: кондуктору переломило ногу, кочегару разбило голову.

Приезжаю. Новый начальник станции сейчас на меня:

— Вот ваш хваленый Петренко! Через него случилось несчастье, проспал, пьяный, сигнал, не выставил идущему поезду задерживающих щитов.

— Простите,— возразил я, взбешенный таким несправедливым и наглым нападением на неповинного человека,— я этому не поверю. Если бы вы меня вот сейчас обвиняли в преступной небрежности, то, быть может, я за себя бы сдался скорее, чем за Петренка: во-первых, я его лично знаю пять лет за самого усердного, неусыпного сторожа; во-вторых, мой бывший товарищ, сосед Н., тоже знает Степана еще раньше меня и подтвердит, что в продолжение восьмилетней службы ни я, ни он не заметили со стороны Петренка ни малейших упущений; в-третьих, Степан водки и в рот не берет! Тут что-нибудь да не так!

— Да помилуйте,— горячился мой преемник,— у меня на главном пути стоял товарный поезд, следующий в Баку, а из Тифлиса через два часа по тому же направлению должен был прибыть другой. Только вот первый поезд опоздал на полтора часа, я и распорядился отправить его поскорее, а следующий поезд по прибытии задержать. Вдруг депеша: «Остановите поезд, путь-де испорчен дождем», а у меня уже следующий поезд с соседней станции вышел, а тут еще ожидается по тому же пути и пассажирский. Я бью тревогу; выставляю слева красные фонари, поднимаю диск, что почти у сторожевой будки, а зловещая туча уже насунула с гор и разразилась над нами грозой с ужасающим ливнем. Сторож должен был быть, по обязанности, в это время у своего поста в ожидании прибытия поезда и не мог, разумеется, не заметить тревожных сигналов станции, по каким обязан был немедленно поднять стоящей у его же будки машиною предохранительные щиты, находящиеся от него в полуверсте, и тем остановить идущий поезд; но ваш протеже несомненно у поста не был, сигналов не видел,

щитов не поднял, и товарный поезд налетел на стоявший на рельсах товарный; итак, по злостному нерадению сторожа, несчастье предупреждено не было, и катастрофа совершилась.

— Это на Степана не похоже,— упорствовал я, не доверяя показаниям преемника.— И что же он говорит?

— Да классическое «знать не знаю и ведать не ведаю», что он стоял, как и всегда, у самых рельсов, никаких знаков за ливнем не видел и тому подобное.

— Ну, если это Степан утверждает, то он совершенно прав,— успокоился я.— При наших ливнях, смею заверить, в двух шагах ничего не увидите. Да, я вам без преувеличения скажу, господа,— убеждал и нас старичок,— вы о закавказских ливнях понятия не имеете; это нечто ужасное, это просто низвергается с небес какая-то Ниагара; в пять минут целая долина может быть залита словно морем, и если вы не найдете надежного убежища, то погибли! Юный представитель карательного правосудия, вот как и ваша милость,— ласково улыбнулся следователю старик,— не хотел, однако, принимать в расчет таких простых соображений, а доискивался везде преступлений, злостной испорченной воли, возмутительных целей, ну, одним словом, мнил себя новым Лекоком; всех допрашивал, подозревал, устраивал очные ставки, изводил на протоколы и дознания массу чернил и бумаги, но тем не менее никакой Америки не открыл: из молодых, знаете, да из ранних! Степан Петренко, несмотря на все ухищрения и атаки следователя, не изменил своих показаний: стоял-де у поста и за ливнем никаких сигналов об опасности не мог видеть.

— Скажи мне, Степан, по совести, ты ведь правду говоришь? — обратился и я к нему.

Обиделся даже моим недоверием Степан, словно передернуло его, и он дрогнувшим голосом ответил:

— Что ж, пане, хиба вы меня заметили когда в брехне?

Мне даже совестно стало за свой вопрос; я подтвердил, что ручаюсь за Степана головой, да и прочие все свидетели показали в его пользу: и что он водки в рот не берет, и что ни разу за всю свою службу не был замечен в неаккуратности, и что в ливень, действительно, стоя у вагона, нельзя было видеть другого.

Сам начальник станции убедился в невинности Степана, да и следователь, конечно, хотя все-таки артачился, и мне пришлось Степана взять на поруки.

Дело о крушении поезда, конечно, клонилось к прекращению: никаких улик ни на кого не было найдено, и катастрофа случилась не по воле человека, а по воле стихий, но г[осподин] следователь, против всех очевидностей, такого заключения к своему следствию не дал, а в конце концов оставил-таки в подозрении будочника Степана Петренка, отказавшегося якобы по упорству и загрубелости сердца от сознания своей вины.

Ну, так вот, благодаря назойливости следователя, и потянули всех нас в окружной суд; приехал и мой наместник с Степаном, и пострадавшие — кондуктор и кочегар, и другие свидетели; я, таки признаться, дорогою не раз ругнул вашего собрата! — кивнул старичок рыжему следователю, записывавшему какие-то заметки в памятную книжку.

— Ну-с, явились мы в залу заседания; сел Степан на скамью подсудимых, несколько оскорбленный обидным положением: примерный служака, можно сказать, образцовый служака, и вдруг на скамье подсудимых и обвиняется в довольно тяжком преступлении... Вы знаете, господа,— прервал свой рассказ старичок,— за недобросовестное отношение к своим обязанностям, особенно, если через оное последовало несчастье, железнодорожный сторож несет огромную ответственность: тюремное заключение, арестантские роты и еще хуже.

— Слабое все-таки наказание,— заметил следователь,— их бы надлежало всех на каторгу или сквозь палочный строй.

— Опоздали, милостивый государь! — возразил раздражительно старичок.— Таких и наказаний уже в настоящее время не существует, очень уж жестоко, и то уголовщина не малая, да еще такому, как Степан, человеку обидно, как хотите, господа, а обидно!

— Так вот-с,— продолжал старик рассказ далее,— хотя я знал наверное, что Степана-то никто и обвинить не подумает, а все же мне его было жаль, и я таки успел ему шепнуть: — Не бойся, это только формальности.

— Да кто же на меня? Хиба бог,— ответил он с сознанием своей правоты, хотя и несколько взволнованно: обстановка суда и разложенные на столе вещественные

доказательства как-то удручающе влияют на наивную, честную душу нашего простолюдина.

Ну-с, прочел это г[осподин] прокурор не то обвинительный акт, не то полемическую статью, в которой натуживался доказать, как трудно правосудию добиться истины в делах железнодорожных крушений, что в этих случаях даже высшие железнодорожные чины становятся не пособниками правосудия, а скорее врагами его, укрывателями преступников... «вот, например, и в этом печальном инциденте»... И пошел, и пошел... да все камешки в мой огород, а потому-де и просит суд обратить на это дело особенное внимание, произвесть более полное следствие на суде, так как на предварительном следствии, по причине пристрастия железнодорожного агента, сделано было много упущений.

«Ладно, мол,— думаю,— производи хоть пять тысяч лет самое тщательное расследование, а все же, кроме дождя и бури, никого к ответственности не привлечешь».

Ну, председатель по обычаю объявил нам всем, свидетелям, что мы, как и на предварительном следствии обязались, так и должны будем подтвердить все свои показания присягою.

Затем приглашен был батюшка, и, по принятии присяги, нас, свидетелей, пригласили удалиться в отдельную камеру. Проходя мимо Степана, я заметил, что он стоял несколько растерянным: по необычайно бледному лицу его струился крупными каплями пот, грудь высоко поднималась, и затрудненное дыхание вырывалось какими-то болезненными вздохами... Видимо, он страдал, и мудреного в этом ничего не было!

Когда пришла моя очередь и я вошел в залу суда, то на Степане уже просто лица не было; он весь дрожал как бы в сильном ознобе, и измененным до неузнаваемости голосом окликнул меня, когда я остановился перед зерцалом:

— Ваше благородие! Вы ведь присягали?

— Присягал, как и все,— ответил я, изумившись вопросу.

— Так ничего за меня, пане, не показуйте,— продолжал, давясь словами, подсудимый,— не хочу я, чтобы вы через меня брали грех на душу, не хочу я за вашу ласку ко мне да оддячить вам тем, что еще под грех подвести.

Мы все были поражены, как громом; в зале воцари-

лось гробовое молчание, и слышался только захлебывающийся стон несчастного Степана.

— Простите, господа судьи,— после долгой паузы, преодолев душевное волнение, снова заговорил Петренко,— каюсь, во всем я виноват; я насправди не стоял коло своей будки в то время, как следовало, потому что кабы я стоял, то какой бы там ливень ни был, а я бы сигналы заметил, если не по свету, так по стрелке, какая у самой железной дороги, при моей будке и находится; коли поворачивают близкий ко мне диск, то и она поворачивается.

Председатель переглядывался с судьями, у торжествующего прокурора не сходила улыбка с уст, а у меня даже разгоралась злость на Степана: ну, кто его за язык тянул? Да еще так беспощадно все на себя валит... вот и за стрелку. Никто из нас при следствии на эту злополучную стрелку и внимания-то не обратил.

— Где же ты в это время был? — спросил наконец у подсудимого председатель.

— В своей будке, ваше превосходительство.

— Спал? Пьян был?

— Никак нет, ваше превосходительство, я истинно говорю, что горилки и нюхать не нюхаю... и от, стало быть, за день до несчастья та прибыла до нашей станции дивчина из нашего села, Орышка,— конфузясь и заикаясь, продолжал свою исповедь Петренко,— дак я ее признал... знакомая... да не удалось мне с ней перекинуться словом, а тут, на мое счастье или на горе, дождь и загони ее в мою будку... Ну, обрадовался, себя не помню: свое, значит, увидел... про родное село начал распытывать, как там у нас живется,— кто народился, кто оженился, кто помер?.. Ну, слово по слову, а грех и попутал... Вот все, по чистой совести, как перед богом, так и перед вами сказал; карайте меня, потому виновен; восемь лет верой и правдой служил... и их благородие знают, а баба вот подвела! — закончил уже спокойнее свое признание Степан и, вытерши рукавом пот на челе, с облегченною душой сел на скамью.

Чистосердечное, ничем не вызванное сознание подсудимого тронуло всех и облегчило ему наказание; но все же карьера его была совершенно испорчена, а сколько я вытерпел за него, бедного, объяснений, выговоров, замечаний, так и не поверите! Насилу все это перемоло-

лось и забылось; а Степана вот только недавно успел вновь пристроить и добавлю — женатого уже на той же злополучной хохлушке Орышке, виновнице всех его несчастий.

— Так вот,— заключил добродушно рассказчик,— какие бывают истории на свете и как иногда трудно постичь движения души человека.

В это время раздался в зале звонок и окрик швейцара: «На Мелитополь, Симферополь, Севастополь — первый звонок!»

Мы засуетились.

— А все же, согласитесь,— резонировал, догоняя старичка, рыжий следователь,— все-таки мы оказались правы: нельзя с добродушною доверчивостью относиться к этим грубым животным, нельзя: снаружи-то они святы и невинны, а покопайтесь только хорошенько...

— Нет-с, вы не правы,— садясь в вагон, резко ответил старик,— мой-то Степан потому и сознался, что чересчур был благороден душой... Неужели вы этого не поняли?

«П О Н И З И В!»

(Розповідок старого мисливця)

Ех, пане, не сперечайтесь! Уже не то заєць, а коли кішка перебіжить дорогу, то киньте діло, що задумали, а вертайтесь мерщій назад: це вірно! От ви киваєте головою і сумніваєтесь, а то гріх, бо через те саме зневір'я душа у нас задубла і серце перевелось на чорти батька зна що! От через згубу отієї самої віри і народ тепер не той став, що за наші часи,— та й тільки: нема допрежньої статечності, душевності, щоб, стало буть, од серця робити, по душі, значить, а тепера кожен націля урвати що нашвидку, одурить кого похапцем чи цапонути що в зам'ятні...

Що вже там про насущник провадити, за його, може, й перш бився люд і добував кривавицею — вже це набік! А от візьміть навіть утіху яку, приятність душевну, і тієї тепер не шукають люди, а уганяють навіть і з неї карбованця видушити! Та не тільки наш брат, гречкосій, що йому вже по нужді й бог простить, а то ваш брат, панство! Взять от, приміром, полювання — охота б то повашому; уже вона й зветься для того охотою, що чоловік на неї йде не по неволі, а по охоті, по цікавості душевній, по утісі... А тепера гляньте кругом,— чи хто по душевності на полювання йде? Та провались я на цьому місці, коли йде! Біжить крадькома злодіяка, щоб божої тварі знівечити побільше та продати її під полою,— а до сердечної радості, до мисливського запалу йому й діла чортма, він і смаку в йому не зна нікоторого, їй-богу!

От для цих шелихвостів стали вигадувати тепер і рушниці чудернасті та хитрі, щоб більш ото лісовому та болотяному створінню пакості учинити, накалічити більш

бідного звіра: трах-тах-тарарах!.. як почне розбишака палити, так би, здається, все випалив, щоб одразу тобі по всіх усюдах одно гробовище сталося... Ну, й виходить одна жорстокість та користь, замість першої втіхи! Ні, не поважаю я отих і рушниць-самопалок; пукалки — одно слово, а настоящого смаку в них нема! От смійтесь не смійтесь, а я цієї рушниці, що з прадідівського кремньовика переироблена, на вашу самопалку не проміняю, та й уже: я з неї як торохну на сто ступенів вовка, так ані дригне, от що, а не то що! Ви не дивіться, що вона мотузками зв'язана та сокирою ніби витесана, а стволина в неї статечна — два аршини й два вершки! Так знаєте, я як насиплю в неї пороху мало не жменю, та приб'ю клейтухом добре, та всиплю шроту зі жменю, так ви з своєю пукалкою сховаєтесь, їй же то богу, сховаєтесь; уже воно хоч трохи й плече защемить, так зате ж гуконе так, аж ліс розлягається!

Тепера, виходить діло, через оті самопальні пукалки і стрільці настоящі перевелись, викорінились,— бо яка ж там штука тепер і попасти, яка там хитрість — нікоторої! Навів, стало буть, цівку чи на звіра, чи на птицю, та знай тільки за собачку торкати, а вона тобі палить та палить... Уже ж яка-небудь шротина із чотирьох пострілів та попаде! Тут і мала дитина націлить, і сліпий навіть! Ні, от умудріться ви от з такої гаківниці упевнено гакнути на звіра, так ото так! Тут уже другого або третього пострілу не пошлеш наздогін: отаку восьмирядну рушницю треба й набивать чверть години,— так! — а зате вже зовсім певно! Зате вже перший мисливець і набої цінив, і звір те почував; зате перші стрільці були не вашим рівня, кулею не то звіра, а й птицю доганяли, он воно що!

Ех, як згадаю я покійного дядька свого, Антона Стрільця,— нехай над ним земля пером! — так аж душа заболить: от був стрілець так стрілець,— недаром йому дали таке й прозвище! Гривню з руки вибивав кулею на п'ятдесят ступнів,— от щоб я луснув, коли брешу; я ще хлопчиком був і раз у раз ходив з ним на полювання, так руку і око його узнав добре і не боявся гривні держати, аніже! Оце, бувало, поб'ється з ким об заклад у корчмі і зараз гукне мене: «Ану, Стецю, держи гривню!» Я, було, так і прилечу: раз — цікаво держати, а друге — і з заклада шо-небудь та перепаде, це вже вірно!

Ех, та й красень же був дядько Антін, так таких уже тепер і нема, вивелись: зростом високий, як явір, а станом стрункий та гнучкий; лице біле, мов панське, погляд орлиний, вус соболиний... Ех, мліли по йому дівчата, і всяка з радістю пішла б за нього заміж, так він накинув оком одну дівчину, Марину Соколівну, коли чули! Ну, й вона про Антона, стало буть, нишком думку гріла в душі, а до часу тільки не хотіла себе виявити і все ото жартувала: вогонь була не дівка, з голими руками, бувало, і не підступай — опече! Жити б ото людям таким на утіху, та от, на горе, і дядько втратили віру, ну, так ото їх і згубило зневір'я!

Раз якось я біжу пізно ввечері по леваді, а місяць уже стояв височенько на небі і в чорній темряві, під деревами, стріблисті плями тремтіли; от я біжу у тій тіні непевній, аж моторошно мені; а тут, чую, хтось гомонить на ясній прогалині: зрадів я людині живій і притаївсь під калиною. Бачу — стоять мій дядько Антін спиною до мене, заломивши шапку, і підперлися в бока рукою, а другою — вуса крутять; а прямо за ними, біля криниці, видом до мене, стоїть Марина,— я її зразу й пізнав: стоїть у віночку з жовтих гвоздиків, опершись на коромисло, стоїть і усміхається; місяць всю її залив сяйвом, а вона ж тобі така чарівна та гарна, що і я, хлопча, почухав собі добре потилицю.

— Що ж, Марино,— кажуть дядько,— довго ти мене будеш за носа водити?

— А я винна, що він у тебе довгий? — засміялась Марина і заяскрила двома рядками перлин.

— А тобі хіба безносі більш до смаку?

— Безносі; от одріж собі носа, коли хоч, щоб я тебе покохала.

— Не варто живого псувати, коли єсть на твій смак готовий.

— У кого? — спитала вона і насупила брови.

— У Петра Стрільця,— одмовили, прищуривши око, й дядько.

А Петро Стрілець був одноліток з дядьком Антоном і таки йому якийсь кревний; вкупі вони і полювали, і товаришували. Ще за покійних старих панів, за кріпацтва, так були до панського столу цілі сім'ї призначені: панщина їх в тім і була, щоб щодня ото постачали дичину до панської кухні,— з того ж їх і прозвали стрільцями.

Це було заведено з давніх-давен, і наука переходила од діда до батька і од батька до сина... Ну, так, стало буть, через те саме рука і око у стрільців набивалися, ну і другим мисливцям нема вже було чого до них і соватись... А Антін та Петро хоч жили уже і не в кріпаках, а науку свою од батьків одібрали і на всю околицю були першими! Хто з них краще стріляв, трудно було рішити: по-моєму — дядько, а проте гріха на душу брати не хочу.

— Ти Петра не займай,— огризнулась Марина,— над нещастям ніхто не сміється!

А з Петром, точно, було ще в маленстві нещастя: звалилась якось балка при панській будівлі і розплющила йому перенісся, мало, кажуть, на смерть не забила.

— То,— каже Марина,— нічого, що йому ніс покалічено, а він парень друзяка! Не з носом жити, а з людиною.

— Так, стало, він тобі любий? Признавайся! — крикнули дядько і схопили її за руку.

— А хоч би й так. Тобі що? — засміялась знову Марина та так із-під чорних брів на дядька поглянула, що вони аж рукою за серце вхопилися.

— А те, що коли ти ще довше будеш мене дурити, то я тебе у цей колодязь закину: уже коли не мені, так і не безносому,— ото й знай!

— Ото, який страшний, подумаєш! — усміхнулась Марина, а таки, запримітив я, зблідла.— А ти от не казись, а розумом розкинь, то й побачиш, що моя правда: чим-то ти будеш сім'ю содержувати?

— Як чим? Та хіба у мене рук чортма? За всякого другого справимось, та, крім того, єсть і рушниця-порадниця.

— А крім того, ще й шинок,— додала єхидно Марина і знов засміялася.

А правди ніде діти: долюблювали покійний дядько часами в шинку попосидіти, не те щоб п'яничити, а так кумпанію, бесіду любили.

— Ну, при жінці можна буде Лейбу й набік,— усміхнулися теж і дядько.

— От бач, а Петро й тепер обходить шинок третьою вулицею, а щодо рушниці, то він, може, й вашу милость за пояса заткне,— не втерпіла-таки укусити Марина.

— Мене? Отой безносий? — як закричить дядько, так я аж злякався, щоб, борони боже, чого не скоїлось.— Та

не народилася ще й на світі така рука, щоб мене за пояса заткнула, не настромилася ще на шиї така голова, щоб мене передумала!

А дядько таки справді розумні були на все село і гострі, як бритва.

— Побачимо,— усміхнулася лукаво Марина,— а поки добраніч! Спи спокійно! — глянула вона з-під брівок і скинула коромисло з відрами на плечі.

— Слухай, не пущу! — вхопили її дядько за руку.— Скажи мені правду щиру, чи любий я тобі, а чи ні?

— А кортить знати? — моргнула Марина і нахилила своє личко до дядька та таким поглядом опекла, що аж мені стало душно.

— Не муч! Скажи! — шепотіли дядько, і в голосі не чути уже було гніву, а тремтіла якась інша струна.

— Будеш все знати — швидко зістаришся,— кинула йому жартливо Марина і побігла далі.

А дядько тільки кулаком по цямрині вдарили, та так ловко, що й цямрина одскочила.

— Хоч голову провалю, а будеш ти моєю!— і, завівши пісню козачу, посунули дядько левадою, а я мерщій додому.

Таки другої ж неділі зібралась коло Лейбиної корчми наша молодь. У нас здавна був такий звичай, що в свято і старі й молоді — всі сунуть до Лейби. Сивоусі, бувало, за столами засядуть в шинку та з чарками в руках бесіду важну ведуть, а молодь уже собі на вигоні зараз же за корчмою казиться, шаліє. А то, бувало, розщедриться Лейба та музику ще за чарку горілки найме; і розпочнуться гопаки, та горлиці, та метелиці! Землю виб'ють так гладко, як на току, хоть просо молоти, не то що: аж дзвенить земля під підківками, та гомін, та жарти, та сміх; а бубон, знай, гуде та скрипка голосить... Ех, весело бувало в старовину! Розігріється молода кров, спалахнуть полум'ям личка дівочі,— ну, парубоцтво й розперізуйсь: гля — уже з шинку Лейба й тарабанить і пляшки горілки, і кухлі пива, і келехи меду! Ні, пане, тепер і веселитись так не вміють, як за наші було часи: душі нема, завзяття пропало!

Так ото й кажу, зібралась наша молодь до Лейби — і парубки в сивих смушевих шапках, і дівчата в стьонжках та коралях; танцюють, гомонять і попивають собі з розвагою; і дядько мій тут, і Петро Стрілець, і Марина.

Дядько мій протанцювали з Мариною горлиці, та так хвацько, що всі аж задивилися: «Ну й парочка так парочка!» А другі так навіть і таке слово кинули вголос: «От незабаром осінь надійде — окрутимо!» Марина чує ті речі та палахка, як зірниця на небі, а у дядька мого очі горять, а радість та щастя так у них і яскрять, аж промінням грають.

Ну, сіли ото на розпочивок, стало буть, за доброю чаркою нового духу набратися, і всякі завели теревені,— хто про що: про пригоди, про диковинки і про всякі чудасії на світі. От зайшла річ про полювання й про стрільбу. Зібралося там до гурту, крім Петра та дядька, і мисливців чимало: наше село Гриньки, знаєте, для полювання дуже придобне — і ліски, і степи, і поємисті луки, і болота,— так дичини тієї всякої скільки хочеш, чого просиш... Ну, й розвелося нашого брата, звірополоха, до чорта!

От гомонять там, що кому трапилось на віку, розказує, стало буть, всякий про свої мисливські пригоди, ну, й брешуть же зручно, аж зубами крешуть, про такі чудеса, яких не буває і на світі: наш брат, правди нікуди діть, за словом не полізе в кишеню і прибрехнуть та прихваснуть любить.

Ну, й Петро Стрілець розпустив губу: всі ото обступили його — дівчата усміхаються, очами їдять, а парубки аж качаються по землі.

— Ні,— каже Петро,— от раз зі мною була штука так штука! Вам же, братця, звісно, що я на всю округу первий стрілець...

— Ну, це ще баба надвоє ворожила,— перебили його дядько.

— Та не руш! — зупинили тут дядька другі парубки.— Нехай бреше!

— Та воно даймо — язик без кісток! — згодилися дядько і почали набивать собі люльку.

Петро поглянув отак на всіх згорда та й знову:

— Як вам, стало буть, звісно, що я на всю округу первий стрілець, так і виходить діло, що ні звіру, ні птиці, ні якій хоч тварі од моєї кулі не втекти: уже куди моє око сягнуло — куля там, в самім осередку. Я оце звіра — вовка, чи лисицю, чи куну — так ніколи в бік не б'ю, щоб шкури не псувати, а завжди в голову, та й то

ще в око: як ляпнеш, так куля в одно тобі око вскочить, а в друге вискочить, а шкурка цілісінька!

— От зручно, так зручно! — підхвалив його хтось з молодих хлопців, а другі аж за животи вхопилися.

— І так-таки кожного звіра у око й б'єш? — не втерпіли дядько і, добре затягшись мархоткою, сплюнули вбік, через зуби.

— І так-таки кожного звіра у око і б'ю! — одказав Петро, посунувши шапку набакир.

— І вовка, і лисицю? — допитувались дядько.

— І вовка, і лисицю! — кивнув головою Петро.

— Приложивши рушницю до мертвого звіра?

— То ваш брат, може, таким робом дичину б'є, а ми за сто ступенів висадим око вовку!

— Овва! — йому на те дядько.— Та за сто ступенів не можна вгледіти й ока!

— Не дуже-то й овва: я стріляю вовків уночі, а звісно всякій хрещеній людині, що поночі у вовка око світить, як свічка!

— От бреше, так бреше! — зареготали кругом.

А дядька роздосадували такі хвастощі, і закортіло їм приборкати Петру язика — та й уже. Ех-ех-ех! чи їм, бідним, і в голові клалося, що потім сталося.

— Ну, от ти брешеш, що на сто ступенів уночі вибиваєш кулею вовку очі,— встали дядько і підперлися в бік однією рукою,— а я тобі докажу, що ти й шапки на сто ступенів з голови не зіб'єш.

— Не зіб'ю, кажеш? — встав і Петро; зачепили його за живець таки дядько.

— Не зіб'єш!

— На сто ступенів?

— На сто ступенів!

— Давай об заклад!

— Давай!

— Що ставиш?

— Два відра горілки!

— Добре, згода!

— Тільки слухайте, хлопці,— повернулися до нас дядько,— щоб збив з голови, щоб шапка упала! Попасти — не штука, а от збить, щоб упала.

— Знаю, знаю: впаде, аж покотиться!

А вся суть у тім, що в нашому селі любили хлопці носить шапки з круглими твердими днами, так що

шапошники вставляли в саме дно кружок підошви; ну, так от бачите, коли куля попаде в саме денце, то вона впоперек підошви не проб'є, а тільки ковирзне її й зіб'є шапку. Всі стрільці розуміли труднацію завдачі, для того й почали сумніватись, а це ще більше розпалило і мого дядька, й Петра.

— Та кинь! — раяв дядьку завзятий його друзяка Микита.— Пропаде два відра горілки.

— Не моя буде горілка, а Петрова.

— Та й не пропаде,— підхопив хтось,— вижлуктаємо!

— Ну, так шапка пропаде!

— Коли не влучу в вершок, а проб'є смушок, так я ставлю шапку нову! — сказав Петро й виміряв оком Микиту.

— Збавиш шапку, та й годі! — ущипнув його Микита.

— Ні, не збавить, а зіб'є з голови! — вставила своє слово й Марина.

Уже така була дівчина — стрижене-смалене, аби наперекір.

Як зачули ж дядько Маринине слово, так враз і спалахнули, аж вуха налились кров'ю.

— Так і зіб'є з голови, кажеш? —опекли вони оком Марину.

— Шапку? Безпремінно зіб'є! Щоб Петро та не збив? — аж покотиться! — одрізала Марина; їй, стало буть, заманулось тільки ущипнуть дядька словом.

— Так думаєш? — глянули на Марину дядько й око одно прищурили.— Ну, побачимо! Міряйте ступні!

Встали дядько й пішли вигоном уперед, а тут де не візьмись — уже іменно нечиста сила, та й годі, — чорна кішка як шмигоне йому під ноги! Я до дядька:

— Дядечку, голубчику, не бийтеся сьогодні об заклад — програєте: чорна кішка перебігла дорогу.

— Начхать! — буркнули дядько; уже, видимо, їх так розлютували.

— Та це відьма Созонтиха, єй же то богу, вона! — упрохував я дядька.

— Хоть би й сама чортиха! Геть!! — гуконули на мене і пішли далі.

Я подумав собі, що дядько ж розумні, так знають краще за всіх, ну й заспокоївсь. А Петро мені й гука:

— Побіжи-но, хлопче, та принеси мою рушницю й набої! Знаєш де?

— Знаю, як не знати, знаю! — крикнув я і побіг уже весело.

А! бодай би уже мені ноги уломилися, аби я не вертався!

Коли я приніс рушницю, дядько уже стояли далеко на вигоні, за сто ступенів, а йому Микита ніс зріз, щоб було на чому добре сісти, а то стоять довго, поки цілиться другий, важко; бува, як-небудь, утомившись, схитнеш — ну, і заклад не в щот.

Я було схотів стать коло дядька, так не дозволили:

— Ідіть,— кажуть,— всі геть, не мішайте мені рівно сидіти.

Ну, я й одійшов, але все-таки недалеко.

А Петро почав набивати рушницю: порох ото насипав на ліву руку та й давай його з однієї жмені пересипати в другу,— вивіряв, стало буть, оком та видував непотрібну потерть; потім ото як зачав прибивать штомпулом клейтух, так бив доти, аж поки штомпул не став із цівки вище голови вискакувати, а далі ще як почав молотком заганять кулю, так у мене аж на серці застукало; думаю собі: «Програють бідний дядько заклад, бо здорово взявся за справу Петро».

А дядько спокійно сиділи собі на зрізі і, хитро усміхаючись, пускали клуботні диму.

«Ой-ой,— сказав я сам собі,— либонь, уже дядько щось та придумали: недаром же вони усміхаються, недаром же вони і розумні на все село!»

Коли гляну ще раз,— а це дядько запустили-запустили клубками дим, щоб ото, бачите, не заприкметили, та хіп рукою та й насунули шапку аж на самісінький лоб, ще й вершок придавили...

Я, як завважив оте все, так аж за живіт ухопився, от, думаю, утруть носа Петру, так утруть!

А Петро уже гука:

— Готово, сиди смирно!

— Сиджу! — одгукнули й дядько, засміявшись собі в вуса.

Став ото Петро на одно коліно і почав цілитись в шапку: то одведе од ложа щоку, то знов приложить, то одведе, то знов приложить. Ми всі й дух притаїли.

Тарррах! — розлігся постріл, і синій димок довгою цівкою по траві покотився.

Я глянув на дядька: шапка не злетіла, а буцім ще міцніше до чола влипла; тільки дядькова голова нагнулася нижче.

— Не збив шапки! Виграв Антін заклад! — загомоніли кругом.

Я підбіг перший до дядька і остовпів: вершок шапки пробитий був кулею, та разом була пробита і дядькова голова; із-під шапки довгими краплями сочилась темна кров по побілівшій як полотно щоці.

Всі надбігли до дядька і мовчки стали, як громом прибиті.

А нещасний Петро подивився на покійника пильно, почухав потилицю і тихо сказав:

— Чи ба! Понизив!

А Марина як глянула, так як підкошена трава і впала; а уночі знайшли її на леваді: висіла на тім самім яворі, під котрим я її з дядьком бачив.

Так як же після цього в прикмети не вірити?

ВАРЕНИКИ

Был конец февраля. Село Качки, занесенное снегом, оттаивало понемногу под дыханием мягкого южного ветра. С соломенных крыш, одетых в остеклившуюся белую броню, сбегала по сосулькам вода. По небу неслись светло-желтоватые клочья, в сыром воздухе уже пахло весной.

За селом, возле водяной мельницы, стояло несколько подвод. Из мельницы доносился крупный разговор с перебранками. Двое односельчан, один в сивой шапке, а другой в картузе, сидели равнодушно на завалинке и, смакуя коротенькие трубочки, молча следили, как из проруба вырывалась с шумом пенистая вода и медленно вращала колесо, дробясь на противуположном конце его в целый дождь радужных сверкающих капель.

У самой двери, облокотясь о косяк, стояла, подперши рукой голову, не молодая уже, но сохранившая остатки прежней красоты женщина. Нужда и горе положили на лице ее печать какой-то пришибленной и тупой покорности.

Появился хозяин мельницы, Шлема, в длинном сюртуке, припудренный сильно мукой, и, почесав азартно бороду, крикнул по направлению к подводам:

— Пане сотский, несите ваши мешки!

— А когда же дождусь я? — робко запротестовала женщина.— Ведь и то почитай с утра стою, а у меня в хате деток четверо, сирот: некому-то и присмотреть за ними.

— Что же ты, баба, хочешь, чтобы я ради тебя пропустил старшину или сотского?

— Да у меня ж только полмешочка пшеницы да гречки полмерочки, духом бы смололи.

— Духом? — прижмурил правый глаз жид.— Какая ты разумная! А после твоей гречки чисть камень? Сказано — баба! Не понимает, что такое гречка, а что начальство!

Сотский в это время взвалил на плечи два огромных мешка и, влезая в двери, оттолкнул бедную женщину.

Она отошла на дорогу и остановилась среди лужи, погрузив в воду свои босые, потрескавшиеся красные ноги.

Стоит Софрониха в воде и не чувствует ее резкого, жгучего холода, а в голове у нее мелькает, как детки просили маму поскорее вернуться, как она обещала им к обеду сварить гречаные вареники. А вот и обед прошел, и полудник, а они, голодные, сидят в нетопленой хате да ждут... Хотя бы им, борони боже, не приключилось какой беды!

— Намерзнется Софрониха,— заметила сивая шапка с завалинки,— особенно, если простоит до вечера.

— Одубеет,— лаконически ответил картуз.

— Звисно — вдова,— философски закончила шапка, сплюнувши в сторону и передвинувши люльку во рту.

В это время из переулка раздалось шлепанье конских копыт и на саночках выехал прямо на вдову сам старшина. Она посторонилась, но старшина все-таки счел долгом выругаться.

— Ишь, стоит на дороге,— не видишь разве начальства?

— Выбачайте,— извинялась, низко кланяясь, вдова.

— Чего стоишь? Зачем пришла? — допытывался старшина, поворачивая к мельнице лошадь.

— Да принесла на помол полмешочка пшеницы да полмерочки гречки,— докладывала Софрониха, шагая за санками старшины.

— Гречки? —изумился последний, вытаращивая на нее глаза.— Да где бы ты могла раздобыть гречки? В прошлом году она вся на пне погорела.

— У меня, пане голова, еще позаторишняя осталась,— улыбнулась самодовольно вдова,— славная гречка, сухая, зерно в зерно, деткам берегла на масляницу, варениками гречаными побаловать.

— Скажите на милость, какие нежности! — осклабился старшина.— Да у меня самого, на что уж началь-

ство, а и то таких вареников не будет: негде гречаного борошна достать, хоть село запали!

Он встал, почесал с досадой за ухом и начал привязывать к плетню лошадь. Мужики, завидя его, с завалинки поднялись и пошли в мельницу.

— Так, так! — продолжал ворчать старшина.— А гречаные вареники — это первая вещь на свете, после горилки, конечно,— поправился он и пошел было к мельнице, но потом вдруг остановился.

— А подойди-ка сюда, подойди,— поманил он вдову.— Покажи твою гречку.

Покачиваясь почтительно, подошла Софрониха к завалинке, взяла небольшой мешочек и поднесла к старшине; тот вынул из него горсть гречихи, пересыпал зерно с руки на руку, понюхал его, а потом еще ткнул носом в самый мешочек, чихнул, утерся рукавом и одобрительно кивнул головой.

— Хорошая гречка, добрая гречка! И кто б мог подумать? Все беднится, беднится, а какую гречку прибрегла.

— Для деток,— оправдывалась как бы виноватая в чем вдова.

— Для деток? Придбать их постаралась, а для податей небось грошей не придбала? — все грознее допрашивал старшина.— Недоимка, почитай, не только за этот год, а и за тот?

— Что же мне делать самой, да еще без надела? — дрожащим голосом испуганно взмолилась Софрониха.— Дело вдовье, только бог да я...

— Знаем мы вашу братию: как только приструнь, так зараз до бога, а отвернись, так с чертом под руку. Ишь, туда же! Гречаные вареники! — уже совсем свирепел старшина.— Да постой, постой! — вспомнил он.— Ты ведь у меня прошлою весною позычила четверть овса и две меры гороху, а отдать и не думаешь?

— Простите, пане голова, недород... чужая земелька... сами знаете, не вернулось и зерно...— уже плакала вдова, поминутно утирая нос.— Я бы всею душою... только что я с детками?

— Да хоть бы честь знала, поклонилась бы подарочком каким...

— Где же мне, пане, достать? — простонала Софрониха.

— Где? Захотела б — нашла. Да вот,— спохватился он,— хоч бы этой гречкой поклонилась начальству, так и оно б тэе... Да что я? След-таки этот мешочек взять за процент,— и старшина положил на него свою властную руку.

— Воля ваша! — упавшим голосом всхлипывала вдова.— Детки только, ждут все...

— Пустое! — решил голова, хотя у него заскребло что-то на сердце.— Они и пшеничным вареникам будут рады.

Уже в сумерки возвратился старшина в свою хату и весело окликнул жену:

— Жинко! А угадай, что я тебе привез?

— А что бы такое? — выскочила на зов немного полная, но еще молодая женщина с вздернутым носом и маслянымы глазами.— Бьюсь об заклад, что мне набрал на корсетку или купил парчовый платок, чтобы урядничиха носа не драла?

— Вот и видно зараз, что баба: только про свои тряпки и думает.

— Ну, так что ж? — сконфузилась жена.— Я и в думку не возьму, что бы?.. Разве, может быть, доброе намисто, что я торговала у дьячихи?

— Тьфу! — даже плюнул старшина.— Ей про образа, а она все про лубья.

— Так не знаю, что бы могло тебя так обрадовать? Уж не люлька ли какая, чтобы табачищем чадить по хате?

— Нет, не люлька, а вот что! —и старшина торжественно поставил на лавку мешочек с мукой.

— Борошно? — презрительно улыбнулась жена.— Эка невидаль!

— Борошно! Да какое только? — развязывал зубами затянутый узлом снурок старшина.— Гречаное, взгляни-ка! — и он внушительно поднес ей кулек.

— Гре-ча-ное? Откуда взял? — изумилась теперь и жена.

— Откуда? Отнял у Софронихи за проценты, и баста: ей это баловство лишнее, а у нас вот на масляницу вареники важные будут.

— Уж на что лучше, как гречаные вареники: сыр у

меня есть свежий, только что оттопленный, масло хорошее, да и сметана — хоч ножом режь.

Старшина только чмокал и глотал слюни, поглаживая руками уже заметно округленное брюхо.

— Знаешь что, жиночко моя любая, уж я тебе и гостинца за это куплю: навари ты этих вареников полную макитру, чтобы их и на вечер, и на ночь, и на завтра хватило.

— Добре, добре! — засуетилась и жена, любившая тоже покушать, а главное заинтересованная подарком.— Я сейчас с наймичкой и примусь.

— Только знаешь, любко, не меси очень круто тесто, а так, чтобы вроде лемишков,— смаковал старик,— да в сыр яичек вбей, да разотри хорошенько, посоли по вкусу; а с горшка на сковородку, подрумянь, а потом в масло, в сметану и ложкою... Эх, важно! — обнял жену он игриво.— А я бегом к Шлеме, да возьму доброй, неразведенной горилки; а наливка у тебя припасена, вот мы и начнем масляницу. Да, вот еще что,— остановился он у дверей,— как думаешь, не пригласить ли и кума?

— Ну его! — махнула рукою жена.— Он все полопает, утроба.

— И то правда,— согласился супруг,— наперво сами всласть наедимся, а потом уж и гостям...

А Софрониха добрела до своей хаты с заплаканными, распухшими глазами, усталая и голодная; она со стоном опустилась на лавку, сбросив с плеч мешок пшеничной муки. В нетопленой хате было холодно и сыро. Дети, укрывшись рядном и кожухом, сидели за печкой; много было пролито без матери слез, но голод да холод укачали младших, и они заснули, а старшие, мальчик и девочка, притаились со страху. Завидев мать, они бросились к ней с радостью:

— Мамо, мамо! Нам хочется есть! Чи будут гречаные вареники?

— Нет, мои детки,— обнимала и ласкала их мать,— гречаного борошна нема.

— Как нема? — вскрикнул старший мальчишка.— Ведь вы понесли гречку?

— Понесла, да старшина отнял... Бог с ним!

Дети подняли плач, а Софрониха, вместо того чтоб утешать их, и сама расплакалась:

— Беззащитные мы; кто не захочет, тот лишь не обидит! Только, деточки мои, кветики милые, все от бога, все от его ласки. Нет у вас другого защитника... Молитесь ему единому...— крестилась она, шепча какую-то бессвязную, но горячую молитву и прижимая к груди своих сирот.

Прошло несколько тяжелых минут; наконец вдова Софрониха встала и бодро подошла к печи.

— Годи, детки! Не такое еще это горе, чтобы так побиваться: вместо вареников я вам зараз нажарю млынцив *: у меня масло есть, заробила, а яичек нам рябушка снесла, вот и у нас будет праздник.

Коротко детское горе. Материнское слово сразу прогнало его и осветило их личики радостью.

— Млынци! Млынци! —забили они в ладоши и начали помогать матери.

Вскоре запылал в печке огонь, и мрачная хата улыбнулась, оживившись светлыми пятнами.

Когда возвратился старшина с двумя сулеями в руках, то в его хате уже носился приятный запах поджаренного гречаного теста. Наймичка кидала со сковороды в огромную миску вареники, перекладывала их кусками свежего масла и, покрывши другой миской, усердно трясла, а жена старшины снимала с нескольких глечиков белую да густую сметану.

— Эх, добре пахнут, славно пахнут! — повел плотоядно старшина носом и, поставив горилку на стол, потер себе руки.— Что-то значит господь: всякий праздник пошлет, и на всякий праздник призначит тебе всякую утеху — на великдень, например, пасха, порося, яйца; на риздво — сало, колбаса, буженина; на масляну — вареники й млынци...

— А на Петра,— отозвалась жена,— мандрыки **, на Семена — шулики ***, на Столпника стовпци ****, на Варвару...

— Стой, жинко! — перебил старшина.— Всего мило-

* Род блинов. (*Прим. автора*).

** Род сырников. (*Прим. автора*).

*** Шулики — коржі з маком.

**** Гречневые пышки. (*Прим. автора*).

сердия божьего не сочтешь, а лучше вот что: внеси-ка к горилке, к первым чаркам, шаткованой капусты и огурчиков, годится при встрече с масляной напомнить ей и о великом посте, чтобы не очень чванилась, да не забудь и наливки вточить.

Когда все было принесено и наймичка, покрывши стол белой скатертью, поставила на нем три пляшки, три тарелки, миску кислой капусты и миску соленых огурцов с кавунами, тогда старшина, помазавши оливою чуб, залез, кряхтя, в почетный угол, под образа, а против него поместилась и дородная супруга, уже принарядившаяся в красную с зелеными усиками корсетку и в глазетовый блестящий очипок.

— Ну, Палажко,— обратился старшина к наймичке, несколько рябоватой, но здоровенной девке,— садись и ты за стол, на то свято.

Палажка поклонилась низко и уселась почтительно при конце.

— А теперь,— налил чарки хозяин,— боже, благослови, поздравляю с масляницей, дай господь и на тот год ее дождать, и чтобы все християне по всему свету встречали ее за чаркой да за варениками.

Все пожелали того же самого и выпили. Старшина посмаковал капустой, похвалил огурцы и кавуны. Хозяйка отдала в этом честь своей наймичке. Выпили еще по другой и по третьей, и за здоровье хозяина, и хозяйки, и даже за наймичку, причем старшина как-то особенно крякнул.

— Ну, теперь подавай, Палажко, вареники,— торжественно произнес он, расстегивая жупан,— пора и им, голубчикам, честь воздать.

Наймичка поставила на стол дымящуюся соблазнительным паром макитру, где в растопленной золотой влаге плавали сероватые подрумяненные с боков вареники.

Старшина пододвинул к себе макитру, полюбовался содержимым и, положив в миску белой дрожащей сметаны, стал погружать в нее вареники, приговаривая выученную от бурсака виршу:

Вареники, вареники!
Вареники ви мученики;
В окропі кипіли,
Тяжку муку терпіли,
Очі маслом позаливані,

Боки сиром позатикані...
Чим же вас величати?
Хіба в сметану вмочати!

Закончил старшина и, опрокинувши шестую чарку, послал в рот целого вареника.

Смакуя и чавкая, старшина только мычал одобрительно и в промежутках между глотками произносил, давясь, едва внятно: «Добри вареники, настоящие». Дальше, впрочем, за недосугом и эти короткие восклицания прекратились.

Жена глотала вареники тоже усердно, но с некоторыми передышками, обращаясь изредка то к мужу, то к наймичке:

— Пухкие вышли. Вот положишь в рот, трошки придавишь, и сразу тебе расплываются, так и тают... так и тают... и сыр хороший, аж рыпит... Борошно хорошее попалось: и сухое, и белое; такой гречаной муки давно не видывала!

Миска быстро опорожнилась, на дне только плавало два-три вареника. Наймичка подала новую макитру.

— Только ты, голубь сизый, не жри без толку,— предупреждала супруга,— а переливай наливочкой, так оно легче пойдет...

Несколько медленнее, с большими паузами для наливки, и вторая макитра опросталась.

Старшина еле дышал, сильно качался и два раза угодил чубом в самую миску с сметаной. Жена уже не обращала на него никакого внимания, а рассказывала, пошатываясь, наймичке смелые анекдоты, от которых последняя хохотала до упаду. Дошло до того, что хозяйка, обнявши Палажку, вскрикнула:

— Эх, отчего у тебя усов нет?

Наконец старшина, ударившись порядочно лбом, промычал: «Спать!» — и тем прекратил пиршество.

Лег старшина, да не легче от этого стало. В голову молотами стучит, а на груди пудовики лежат, дышать трудно.

Храпит старшина, онемели руки и ноги, да крикнуть сил нет, что-то сдавило за горло, а очи раскрыты широко.

И видит он, как в темной хате месяц играет на глиняном полу, как от этого блеска сгущается в углах мрак и принимает странные формы; и слышит он, что далеко что-то воет и стонет, что от этого стона дыхание у него

становится невыносимо тяжелым, так что жизнь улетает. Мороз пробежал по спине старшины, и холодный пот на лбу выступил: он хотел крикнуть, но ужас сковал его голос.

Безвладно лежит старшина, устремив в угол неподвижные очи, а в углах уже волнуется не мрак, а темнеют какие-то силуэты, словно католические монахи, закутанные сверху донизу в серые мантии с насунутыми на головы капюшонами; хочет старшина сомкнуть глаза, но не слушаются веки, а раскрываются еще шире.

А месяц светит все ярче да ярче; пятна от его света горят на полу каким-то фосфорическим блеском и наполняют всю хату светящимися зеленоватыми волнами. Монахи в углах шевелятся, делаются серые, принимая форму треугольных мешков. Всматривается старшина — нет, это не мешки, не монахи, а огромные вареники, да, гречаные вареники!.. Они уже злобно глядят на него залитыми сметаной очами, оскаливши белые, сырные зубы... Вот они встали и шипят, словно на сковородке, только шепот их мрачный, зловещий, от этого шепота цепенеет мозг, сжимается сердце, и чует старшина всем существом, что изрекается над ним приговор, приговор смертный...

Стоны и плач раздаются уже близко, под окнами... А воздуху становится в хате все меньше да меньше; дышать нечем, с страшным усилием едва уже подымается грудь. В соседней комнате молотками сколачивают гроб; протяжный похоронный звон врывается в окна: от него шатаются рамы и гнутся стекла...

А вареники в серых мантиях медленно приближаются к неподвижному старшине, и видит он, что нет у них ни милосердия, ни пощады.

— Смерть тебе! Смерть грабителю! — шипят вареники-судьи.— Давите его, братья, пока из этого хищника не выйдет душа!

Застонал старшина, но уже и стон не вылетел из окоченевшей груди, а остановился в сдавленном горле. А вареники у его изголовья шепчут надгробные речи:

— Натешился ты, налопался на этом свете, да не своим добром, нажитым честным трудом, а чужим, накраденным тобою, награбленным; с чужого, кровавого поту ты себе брюхо припас и жену свою раскормил, распоил... Куда ни глянь — все твое богатство смочено

сиротскими да вдовьими слезами, и нет за них прощенья у бога...

— Нет, нет! — повторило эхо.

Раздался дикий хохот, и вздрогнула от него хата; полетели стекла из окон на землю... Яркий месячный свет помрачился уродливыми, страшными тенями... Холодный ужас остановил в жилах старшины кровь.

А вареники продолжали мрачно:

— Что ты сделал с Софронихою? Когда скоропостижно умер ее муж, ты, вместо того чтобы поддержать вдову, отобрал у нее надел и отдал его за взятку своему куму, а вдову начал жать за недоимки. К кому перешли и овцы ее, и волы, и коровы — к тебе, да еще задарма! У тебя и без того были коровы, а у нее детки-сироты остались без молока, на сухом хлебе. Берегла она для них хоть гречневой мучицы на масляную, а ты и последнее лакомство у детей ее отнял, поласился на сиротские крохи... Так вот слезы-то их и прожгут твою душу и потянут ее в самое пекло!

— В пекло! В пекло! — загоготали чудовища и начали по старшине выплясывать адского гопака.

Умирающий собрал последние силы, крикнул ужасным, отчаянным воплем и... проснулся.

В хате было все мирно; месяц кротко заглядывал в окна... но перед глазами старшины еще реяли страшные образы и в ушах его стоял сатанинский хохот.

Схватился он с постели, перекрестился перед образом, утер рукавом холодный пот и выступившие на глазах слезы да и стал торопливо одеваться.

— Жинко! Палажко! — растолкал он и супругу, и наймичку.— Вставайте живо! Разведите сейчас мне в печке огонь и разогрейте макитру с варениками!

— Что ты? Очумел? — начала было протестовать сонная жинка, но муж на нее так притопнул, что она сразу вскочила и стала помогать наймичке.

А старшина, надевши кожух и шапку, пошел быстро к Софронихе. Перепугалась страшно вдова, думая, что воры к ней ломятся в сени, а, услыхав голос старшины, еще пуще того затряслась.

— Не бойся, Софрониха, отвори! Я с добром к тебе, а не с лихом,— успокоил ее старшина и вошел в хату, освещенную уже трепещущим светом каганца.

Недавно здесь кутил он с покойным Софроном, и тепло тут было, и всякого добра полно, а теперь в хате ютилась промозглая сырость и дырьями да заплатами смотрела бедность с углов.

— Прости меня, Софрониха,—поклонился низко старшина,— виноват я перед тобой, согрешил, нечистый попутал алчностью! И надел у тебя отобрал я не по правде, не по закону, и худо́бу твою перевел, и на последний сиротский кусок поласился... Так прости ты мне и пробач милосердно, несчастная вдова, а то моей душе несказанно тяжко.

Большими глазами смотрела на него ошеломленная Софрониха, а сама все кланялась низко; слезы у нее беззвучно лились из очей и уста шептали:

— Бог простит, бог простит!

— Надел я тебе поверну, вот перед угодником Николаем клянусь, поверну на первой же сходке,— глотая слезы, дрожащим голосом продолжал старшина,— корову свою возьми и сейчас, без гроша отдаю: я и без того попользовался...

— Благодетель наш, батько родный! — повалилась в ноги вдова, громко рыдая.— Пусть за это милосердный бог... и на том... и на этом свете.

— Мне у тебя нужно валяться в ногах, а не тебе! — поднял ее старшина.

Но Софрониха под наплывом нежданной радости бросилась к печи, разбудила своих детей и поволокла их до начальства.

— Детки! Целуйте руки и ноги нашему пану голове, нашему батьку! Бог через него нам счастье послал!

— Нет, вот что,— гладил их по головкам растроганный старшина,— зараз одевайтесь и идем со мною в мою хату: я у тебя отнял ихнее гречаное борошно, так вот, чтобы они ели у меня целую масляницу и вареники, и млынци, и всякие ласощи.

Живо собрала вдова деток, и все отправились к старшине да и начали весело вместе и вареники есть, и запивать их всякою всячиною; вареники легко и игриво, как по маслу, отправлялись в желудки, разливая на лицах потребителей добродушие и довольство.

Светлое, сверкающее утро заглянуло в маленькие окна начальничьей хаты и застало масляничный пир в самом разгаре. Развеселившийся не в меру хозяин, раз-

горяченный напитками, танцевал с бабами по хате, обнимал их и просил умилительно:

— Жинко! Софронихо! Палажко!.. Потешьте меня, голубочки, потешьте, зозулечки, повезите на санках вашего старшину по селу... ведь теперь масляница!..

Бабы охотно исполнили просьбу господаря, запряглись тройкою в сани и покатили по селу свое начальство; с визгом и хохотом побежали за санками дети, а счастливый старшина только покрикивал:

— Гей! Набок! Прибавь ходу! Пристяжные, не затягивай!..

БУЛАНКО

Під повіткою запрягає коня у санки молодий ще господар і староста Степан Жвавий, запрягає і лютує:

— Куди ти? Не любиш? Та ба! Хоч і підбився, і ногу засік, а поїдеш! Думаєш, мені весело по казенній справі?.. Чого ж хропеш? Чого вухами шиєш? Не поможе!.. Голову! — крикнув уже Степан, насовуючи коневі на шию хомут.— Ну, ідоле! — і Степан штовхнув коня ногою у груди.

Кинувся кінь від жаху, вдарився виразкою об оглоблю і, підкорчивши ногу, почав з болю тремтіти, не розуміючи, навіщо його господар образив. Уже років з п'ять він йому служить і пильно, і вірно, не знаючи за оту працю розкоші, і хоч частіше він недоїдав, так зате ж хоч чував було слово ласкаве та тепле, а тепле слово — більше за ласощі варт... Ну, а оце кілька день лютує та й лютує на його хазяїн не знати і за що, а це вже і битись почав...

— Куди це ти, Степане? — вибігла з хати його жінка Оришка, а за нею, держачись за кожушанку, і її донька Ганнулька.

— Та в Моцоківку,— знехотя відповів Степан.

— Чого се? Все з дому та з дому...

— Що ж ти удієш? Начальство... через цього ідола,— додав він стиха крізь зуби.— Та я, дай-но, на хвилину... надвечір вернусь.

— Не забарись же, голубе, не застрянь де... Он чи не віхола здіймається... яке насуває...

Тим часом Ганнулька підбігла до свого коханого Буланка і дала йому з своїх рученят шматок хліба. Буланко вельми зрадів своїй упадниці любій, простяг до неї голову і заіржав стиха, а потім легесенько своїми

м'якими губами узяв хліб і став жувати, а Ганнулька гладила його і промовляла дзвінким голосочком:

— Буласю мій, любий, цяцяний! Який ти славний, як лялька.

Буланка так тая ласка розчулила, що він язиком лизнув в самі губи Ганнульку.

— Ой! Бусю! — зареготалось дівчатко, утираючись рукавом.— Ти краще погуляй...

Буланко затупав жваво ногами, і Ганнулька постерегла у його на лівій нозі кров.

— Ай, тату, мамо! У Бусі он вава — кров.

— Справді,— зауважила і Оришка,— де це він ногу так збив?

— Ет! Засікається... ледачий став; я оце його в Моцоківці і продам...

— Що ти? — звонтпила * жінка.— Буланка продати?

— Тату! — кинулась до Степана і його дочка-одиначка Ганнулька.— Не продавай Бусі, не продавай! Я його люблю...— ридала вона, схопивши рученятами батьків чобіт.— Краще мене продай, а не Бусю!

— Не плач! — погладив по головці мазунку Степан.— Я другого коника куплю, молодого, баского...

Буланко повернувся до нього і докірливо похитав головою.

— Я не хочу другого, я хочу Буланка... нема на світі кращого...— хлипала ревними слізьми Ганнулька.— Він мене любить... і я його...

— Ну, годі ж, годі! Гостинця привезу...— затягав гужі Степан.

— Я не хочу гостинця... мені Бусі шкода! — кинулась Ганнулька до матері.

— Справді, не продавай Буланка! Він такий щирий робітник...

— Щирий! Був кінь, та з'їздився...— відповів їй чоловік, насовуючи кобеняка на шапку і сідаючи в сани.

— Вертайся ж, голубе, не барись... та і Буланка...

— Мені жалко...— схлипувала на руках уже у своєї нені Ганнулька.

— От знайшли собі кревного — голосять! — уже м'якшим голосом кинув Степан, рушаючи за ворота Буланим.

— Не плач, угамуйся! — цілувала і розважала свою

* Звонтпити — злякатись.

доньку Оришка.— Татко пошуткував... він не продасть, ні!..

А Степан повернув коня навпростець степом до Моцоківки і пустив його тюпки, а сам чогось журно замислився.

Уже восьмий рік, як він одружився з Оришкою, і бог послав йому щастя не жінку — тихе та вірне подружжя, добру матір і господиню хорошу; зажили вони, як у бога за пазухою, любо та мило, хоч і не купались в добрі, як сир у маслі, так зате ж і нужди не знали... Господь їх благословив одною тільки дочкою, і росла вона на втіху батьку та матері! І як же вони її кохали, як пестували! Та було й за що — таке воно дитинятко вдалося і ласкаве, й покірливе, а добре та чуле, мов янгелятко... Отож батько, хоч і постановив Буланка продати, та згадав Ганнульчині сльози, і йому стало шкода своєї любки, а й на Буланка досада не гасла...

А Буланко ось чим провинився. Любив він свого господаря і чи в дорозі, чи в бороні, чи в супрязі працював не тільки що ревно, а старався навіть сам постерегти волю хазяйську і чинити її без принуки. От коли, на лихо, обрали його господаря на старосту, то став він його возить по хуторах і по селах задля розпорядків. Ну, приїдуть вони у село, то де ж зупинитись, як не коло корчми: там і тепло, і затишно, і сіна коневі можна дістати, і під повітку його у негоду поставити. Заїде ото Степан до корчми і сяде у шинку дожидати то соцького, то того, то другого,— загадать, щоб податки готовили, греблі гатили, шляхи лагодили... Поки зійдуться, шинкар або який і гість старосту почастує, ну, а як зійдуться люди, то вже начальство мусять вітати, а їм і відмовити трудно — образа! Ну, чарка-друга, дума Степан,— то не вада, а тільки друга тягне за собою третю й четверту, і незчується Степан, як та отрута опанує і розум його, і серце: уже йому не манеться до праці, уже йому і перед його любою жінкою треба вибріхуватись, а в серці росте злість і досада, в голові гуде і ломить все тіло... Погано, треба провітритись, де-не-де щось загадати, і знов їде Степан, і знов влуча у шинок...

Постеріг хазяйську волю й Буланко, і як тільки забачить шинок де, чи в хуторі, чи в селі, чи й у полі,— так і летить до його навзаводи та під самим ганком і стане. Степан, було, тільки усміхнеться й промовить: «Розумна

тварина, розумна!» На повороті любив слухать Буланко довгі, безкраї господарські речі... слухать і йти собі ліниво, поволі, куди лучає, то постояти, попастись на смачній ярині, то в гайок який завернути на молоду травичку з суницями... а потім уже і додому чвалати; хазяїн за той час й виспатись встигне, і придумає яку вибрехеньку.

Правду кажучи, йому від того дуже боліло, і не міг він прямо у ясні жінчині очі дивитись, не міг і на ласки свого янгелятка відповісти щирою радістю, але чим далі заживалась отрута, тим кам'яніли більше і серце, і мозок.

Пройшло літо, минула осінь, настали пилипівки, а з ними прийшли і морози. Буланку уже не було користі тинятись по гаях та по стернях, от він і хапався додому мерщій — і привозив господаря свого часами і зовсім п'яненьким. Постерегла жінка біду, але не сказала прикрого й слова, а тільки дрібними умилась і почала ласкаво, кохано благати... Ох, як від тих сліз і покірної ласки запекло чоловіку у грудях, як він зненавидів себе в ту хвилину; але самому на себе і злість, і огиду носити у серці— то тяжко, от всяк і шукає, на кого б половину, а то й всю [вину] свою скинути? Ну, звичайно, у Степановій справі став винуватим Буланко, бо то він його завозив до шинків і призвичаїв до чарки! В останні часи він проступився і перед урядом: частина податків кудись випливла з рук, і він двічі уже за непорядки відсидів в холодній і мусив крадькома від жінки четверті зо дві пшениці продати...

А Буланко уже давно йшов ходою. Хутір Степанів зник за горбком, і кругом ширів степ, рівний та білий, як обрус; далину кутала сиза мла, у якій гинуло око; віяло докола сумом і холодом; серед німої тиші в степу тільки рипіли полозки та часами над головою крякало гайвороння.

— Ти, іполе! Заснув уже? — похопивсь Степан, стьобнувши Буланка віжками.

Кінь здригнувсь і жваво побіг по межі. Чим далі санки посувались вперед, тим більше здіймалася, густішала мла і зривавсь вітер: починало знизу мести... Степан поганяв добре і, може, за годину часу доїхав до чотирьох верб, звідкіля уже шлях спускався з гори у долину, де коло невеличкої річки Моцоківка й притулилася. Тепер тільки вбачалися укриті снігом хатки; немов ті білі гор-

бочки, вони збігалися у долині до річки, а та широким, розлогим ровом біліла, вилискуючи де-не-де голим льодом; з коминів над хатами куривсь дим і клубочками слався у морознім повітрі; поміж горбочками і вздовж річки стояли сріблисті дерева і вирізувались чарівниче на темно-сизому небові; починав у повітрі літати дрібними метеликами сніг...

Степан пустив з гори вільно коня, не керуючи віжками, хоча і мав на меті заїхати по казенній справі до волості, а потім до кума; Буланко, не відаючи потайної волі господаря, побіг з гори вулицею просто і став коло шинку, як звикле...

— Ач, сатана! — вилаявся Степан, а проте зліз із санок і увійшов в двері.

А в шинку уже зранку сидів і чаркувався з приятелями кум.

— А, пане старосто! Слихом слихати, видом видати!— схопився той весело.

— Здоров, куме! — обтрушував з кобеняка сніг Степан і тупав ногами.— Якраз мені нагодився... Я осе мав до тебе заїхати.

— Ну, й чудесно! Сідай же до гурту! Гей, Шльомо! — крикнув кум у другу кімнату.— Дві кварти ще та чогонебудь на заїдку!

— Та я, куме, тієї ледащиці.. мабуть, годі...— слабо сперечався Степан, гріючи руки об піч.

— Ото вигадай! Розчудесна, бра, горілка нова, так і пробирає з п'ят до лопат...

— Та воно хіба з морозу...— підходив уже до столу Степан.— Вітер піднявся такий, аж ріже, аж голками шпигає...

— Завірюха буде,— постановили два сусіди.

Присів Степан, і почали чаркуватись. Жид приніс чабака, й оселедця, і солоних огірків. Перші дві-три чарки випив Степан якось ніяково, з прикрістю: він давав уже своїй любій жінці двічі слово не пити, а собі — так присягався і заклинався у руки чарки не брати, а тут... ех! — вихилив він четверту уже з горя, а п'ята пішла легше, а шоста все лихо зняла, заспокоїла серце і затуманила розум...

Коли вже підпили приятелі добре,— а за чаркою всі приятелі,— кум якось обернувсь до Степана:

— А славний, бра, у тебе коник буланий.

— Чудовий,— згодився Степан,— хочеш, я тобі продам його? Нікому б у світі не продав, а для кума не жалко... для кума — все, що маю... Одно слово — кум, та й годі!

— О? — зрадів кум.— Продай! Зараз куплю; завтра гроші, а сьогодня могорич.

Недовго й торгувалися; сусіди теж помогли: всім, бачите, хотілося могоричу швидше... І перебив Степан через полу руку з кумом, і продав свого щирого робітника, свого вірного приятеля, забувши і про жінку кохану, і про сльози своєї зірочки Галі!

Уже й вечір посунувсь, а Степан з приятелями розпиває могорич; уже темна, непрозора ніч глянула сліпими очима у вікна, а Степан все кружляє... Нарешті кум заснув при столі, а сусіди, хитаючись, повставали, то й Степан повинен був вийти.

Надворі ж грала уже страшна завірюха. Вітер аж свистів і крутив на всі боки; білими хвилями нісся сніг зверху, і знизу, і в лице, і в потилицю; мороз міцнішав щобільше; Буланко, наполовину занесений снігом, тремтів і з холоду тупав ногами...

— Ху, як душно надворі! — здалось Степану, і він, скинувши кобеняка, сів на санки.— Ну, відпочив, ідоле? Тепер мерщій додому! — свиснув він коня батогом і погнав, не повертаючи додому назад, а далі за Моцоківку.— Тепер уже не будеш мені пакості більше чинити,— стьобав він Буланка,— продав тебе, за гроші продав... От спробуєш ще ласки у кума, спробуєш! Згадаєш не раз ще мене!

Буланко, промерзши, біг би і сам прудко, а тут, ображений батогом, він порвався навзаводи скільки сили. Моцоківку хутко минули, знялись знов на горбочок і поїхали навмання. За селом завірюха лютувала ще гірше. На два кроки несила було прозирнути; і під ногами, і з боків, і вгорі хвилювала, мов збурене море, біла, непрозора пітьма. Ні шляху, ні тропи, ні признаки!

Коли б Степан був пустив віжки Буланкові вільно, то кінь би нюхом довіз його до рідної стріхи, а то ні, Степан, отруєний горілчаною негіддю, нерозсудливо керував ним і немилосердно бив батогом. Спочатку Степан був пустивсь проти вітру, так дошкулив і йому жалкий холод,— от він і повернув вбік, але й тут почало у ліву

щоку і у ліве вухо пекти; Степан повернувся за вітром і погнав ще прудше коня.

Нещасний Буланко вибивався з сили; ходором йому ходили боки, парою курилася спина... а проте він все по заметах ще біг... Тільки з кожним кроком вони здіймалися вище та вище, а сили в коня ставало менше та менше...

Пройняв нарешті мороз і Степана, вигнав йому чад з голови, підступив до самого серця... і збагнув Степан, що він заблудився у глупу ніч, в завірюху страшну, серед степу німого... і перед очима йому повстав жах...

— Пропав, пропав! — шепотіли його побілілі уста.— Тільки стане Буланко — і смерть! — Він у розпачі знову періщити став коня батогом і віжками.— Жінка, дитинка! Рятуй мене, боже! — звонтпив він, але стогін бурі забив його покрик... помутилося в голові у Степана, в серці піднявся жаль і пекучий докір, перед очима з'явилося бліде, заплакане обличчя жінки і перелякані, великі Ганнульчині очі...

Коли се раптом порвався згори кінь; не встиг і опам'ятатись Степан, як санки збігли на лід, як лід затріщав і як сам він пірнув у воду... «Смерть! — промайнуло йому в голові.— Сироти!» — і він одно тільки: стис якомога руками віжки...

На щастя, коли Степан виїжджав з дому, то гужі не добре затяг; до Моцоківки вони ще послабішали, а в блуканні по степу й розв'язалися. Коли кінь зірвався з кручі у річку, то від стусана й попиху геть розпрягся, так що санки за віжками тільки збігли на лід...

Буланко, чуючи останню погибель, захріп страшенно, напруживсь і став розбивати дужими персами лід та й витяг-таки за віжки Степана на той бік і зупинився над задублим господарем.

Підвівсь на ноги Степан, перехрестився широким хрестом і обняв чуло свого збавителя; кінь ласкаво дмухав на його своєю теплою парою, у якій хоч трохи відклякли Степанові руки, і він спромігся-таки сісти на коня верхи, попустивши йому на волю віжки. Буланко повів надокола головою, розширив ніздрі і кілька раз у свої перса втяг холодне повітря та й пустивсь по білій пустелі кудись у пітьму...

Ждала цілий вечір чоловіка Оришка; виходила з Ганнулькою аж за хутір його виглядати, та все дарма; боліло

у неї серце, що він зламав слово, а як знялась хуга, то вона одного просила у бога, щоб чоловік у таку негоду не пустився в дорогу.

Нагодувавши свою доню кулешиком, вона на печі їй послала.

— Мамо! Я не буду спати, я ще погуляюсь... пожду тата, Буласі...

— Уже пізно, засни, моя дитино! — улещала її мати.— Я тебе збуджу.

— А тато не продадуть Бусі?

— Не продасть, не продасть, заспокойся... От коли б тільки сам благополучно вернувся!

— Чого, мамо? — розімкнула злякані очі Ганнулька.

— А того, що надворі таке коїться, не доведи господи!

— Мамо, я помолюся бозі за татка...— схопилась Ганнулька і хотіла було скочити з печі.

— Помолись тут,— зупинила її мати,— на долівці холодно...

— Так бозя звідсіля не почує.

— Почує, почує, моя квіточко,— цілувала Ганнульку Орися,— бозя усюди, скрізь... і кого-кого, а любих діточок завжди слухає.

Зложила побожно рученьки Ганнулька, підвела до образів на покуті очі і почала дитячими устами промовляти:

— Бозю, любий, хороший! Я тебе кохаю... я голубків тобі нароблю, квіточок... і свічечку манесеньку, жовту... тільки проведи до нас тата і Бусю... щоб Буся у нас був, щоб у його не було на нозі вави... Бозю, мій милий, послухайся!

Ганнулька перехрестилась, ударила поклона і обвила маму за шию руками, а та почала цілувати кучеряву голову своєї красунечки доні...

Спить уже Ганнулька. Шиє сорочку мати на припічку, тільки робота не робиться, опускаються руки...

Сумно і хмуро у хаті. Миготить на виступці каганець; якісь химерні сутіні хитаються по стінах і по стелі; в кутках тумою сів морок; більмами дивляться вікна, занесені снігом; щось стогне у сінях, виє у комині...

Болить у матері серце, думки розбігаються... Яка-то щаслива вона була, як жила з дружиною любо та вірно, як працювала ревно і як достатки у них потроху зростали... А тепер... чоловік зовсім не той став, від хати

одбився, вовком дивиться... і все ото через начальникування: унадився до шинків та й покотився згори... Що то далі буде?

Вогкі її очі зупинились у німому благанні на образі пречистої діви; із довгих вій перлинами по щоках покотилися сльози, а уста шепотіли безгучно: «Владичице, захисти! Зглянься!»

У сінях загавкав Барбос і почав дряпатись у причільні двері. Ганнулька прокинулась, схопилась на подушці і спитала:

— Мамо! То Буся?

— Не знаю, не знаю! — похапцем відповіла мати, накидаючи кожушанку на плечі...

Але раптом відчинилися двері і на порозі з'явився Степан, посинілий, аж білий, обмерзлий льодом і занесений снігом...

— Степан! Ти? — скрикнула вона з радості й скам'яніла.

— Прямо від смерті...— хриплим голосом, ледве відводячи дух, простогнав той.— Одно тільки чудо... божа ласка... та Буланко... відрятували.

Хоч і при здоров'ї був Степан, але та ніч далася йому взнаки: прокачався він і від остуди, і від переляку.

Зате з того часу кинув він навіки й шинки, і старшинування, яке часто доводить до гріха й до спокуси, а горілки — і в рота більше не брав.

Зажили вони з жінкою іще краще, іще любіше та приязніше. Хазяйство йшло їм у руку; Ганнулька росла на втіху, на щастя. Буланка, звичайно, Степан куму не дав, а лишив до самої смерті у себе; розкошував кінь у великій шані і ласці,— всі його любили, як найщирішого, найвірнішого друга.

ОДИНОЧЕСТВО

(Из альбома)

I

Солнце спускалось над городом, золотя верхушки акаций, бросая последние огненные стрелы на изнемогающих прохожих, заставляя гореть заревом оконные стекла.

В одном из домов Е-ской улицы, у раскрытого настежь окна, в прекрасно убранной комнате, служившей своему хозяину и спальней, и гостиной, и кабинетом, сидел массивный краснощекий блондин с добрыми голубыми глазами, слегка косившими из-под золотых очков. Он допивал третий или четвертый стакан чаю в серебряном подстаканнике, с плававшими в нем тоненькими кружочками лимона. То и дело вынимал он белоснежный фуляр и вытирал влажный лоб, лоснившийся крупный подбородок и щеки.

Время стояло тревожное — приближалась эпидемия, и Василий Петрович с большим интересом, глубоко затаенным в себе от знакомых, но изредка прорывавшимся малодушным страхом, следил за ее грозным ходом. Она уже опустошила несчастный Баку и ползла вверх по Волге, как безобразное стоглавое чудовище, захватывая в свои челюсти некоторые местности Кавказа и уже вторгаясь в область Войска Донского.

II

Василий Петрович боялся болезни, как чистоплотный, изящный эстетик, как поклонник здоровья и красоты; боялся смерти, как жизнерадостный сангвиник,

в котором, впрочем, в иные минуты сказывался и холерик, развивавшийся в нем понемногу в течение десяти лет его педагогической деятельности, усеянной крупными и больно терзавшими его выхоленное тело терниями.

Мнительность Василия Петровича доходила до того, что он даже грустил при пустой горловой боли, происходившей, может быть, от ссадины после утомительного урока греческого языка или бурного заседания педагогического совета.

Каждый раз давал себе слово Василий Петрович молчать, не выходить из роли спокойного созерцателя совершающихся событий, мелких происков, ревнивого соперничества, неусыпного взаимного контроля и всяческой игры раздраженных самолюбий,— и не выдерживал, вступая то в единоборство с инспектором, язвительным меланхоликом, то с холодным, положительным О., так увлекательно прочитавшим публичную лекцию о романтизме, то с педантом и формалистом Z., с которым Василий Петрович мирился только тогда, когда тот в маленьком кружке знакомых читал с необыкновенным чувством стихотворения в прозе. «Как хороши, как свежи были розы!» — читал Z., и голос его дрожал и замирал, и сладкая нежащая грусть сообщалась очарованным слушателям. Чувствовалось, что в эти минуты он действительно поднимался на высоту этой возвышенной задумчивой скорби стареющего художника, скорби, возбуждающей в нас сочувственный благоговейный трепет... Но увы! На советах и на экзаменах у Василия Петровича не розы, а шипы преподносил он своему товарищу. Если б он превратился в змея и подполз бы и ужалил беззащитного Василия Петровича, то последний был бы не более поражен и уязвлен этой метаморфозой, чем той переменой, какую он замечал в нем, хотя тот и сохранял свой человеческий образ. Жалея Василия Петровича, он разглаживал свою прекрасную шелковистую бороду и говорил тихим, вкрадчивым баритоном...

Или же, что было еще хуже, Василий Петрович вступал в бой со старыми членами совета, казавшимися ему рутинерами. Они держались тесной группой в верхнем конце стола, и от них исходила самая едкая, убийственная критика, самая поверхностно незаслуженная оценка всех деяний Василия Петровича и его единомышленника и пособника, лукавого, остроумного малоросса Вельченка.

Василий Петрович называл их палатой лордов, а себя с своей группой — палатой общин. Действительно, для чиновника Василий Петрович Горяинов отличался характером независимым, слишком независимым, и странно, что он не скитался по округу, причем с его полнотой он мог бы это проделывать с легкостью эластичного мяча или шара, катящегося по навощенному паркету или по песку дорожки,— не скитался, как тот, ставший притчей округа, учитель, печально влачивший свою одиссею уже на восьмом месте. Впрочем, после некоторых крупных объяснений в гимназии он говорил с напускной бравадой, что у него чемодан всегда наготове. Расстаться с большим городом ему не хотелось: здесь он хотя в частной жизни своей был свободен, не шнырял никто любопытно мимо его окон, ничей глаз не заглядывал в скважины дверей, не получал он угрожающих писем от недовольных, негодующих родителей (здесь они были дисциплинированы, так сказать, большим городом); здесь нога его ступала всегда на прекрасный асфальт или гладкий песок бульваров и скверов, а не погружалась в грязь, как в каких-нибудь Сороках, Бельцах и других «городах изгнания». Здесь он мог позволить себе изысканно позавтракать между третьим и четвертым уроком; сидя в первых рядах партера, наводить бинокль на женские головки, как живые фантастические цветы распускавшиеся в ложах бенуара и бельэтажа; мог упиваться и сложными перипетиями тонкого благоухающего флирта с знакомыми девицами; мог искать и других sensations... * В уездном городе такая программа была решительно невыполнима для педагога.

III

Итак, Василий Петрович Горяинов пил чай с лимоном, подобно многим, считая это серьезно противохолерным средством.

Между тем жара спала; мимо понеслись обычные экипажи, ландо, коляски и эгоистки. В них сидели женщины с смуглой оливковой кожей, матовыми, неприятно черными, без глубины и блеска глазами,— красивы были только длинные ресницы,— женщины не столько южнорус-

* Вражень *(франц.)*.

ского, сколько восточного типа, одетые элегантно, но эксцентрично. Впрочем, Горяинов относился к ним с безусловным восхищением северянина перед новым женским типом.

Мимо окон Горяинова потянулись целые процессии пешеходов, направлявшихся к бульвару.

Мысленно перебрал он всех своих знакомых, наименее его, последнее время требовательного и скучающего, тяготивших, и его ни к кому не потянуло ни в городе, ни на дачах. Вместо того, чтобы облечься в изящный летний костюм из светло-серой легкой ткани и надеть столь же изящный серый фетр, обвитый лентой, ослепительный жилет и белый галстух, он предался совсем необычному в душный летний вечер занятию: достал из письменного стола, обремененного ученическими упражнениями, книгами и начатыми, но неоконченными работами, целый ворох писем, исписанных беспорядочным женским почерком, за подписью: «Nathalie», «Наташа», «ваш друг Натали»... Около часа проведя в перечитывании этих писем, пожелтевших и истрепанных, он задумчиво всматривался несколько минут в фотографию, изображавшую недурную собой молоденькую девушку лет восемнадцати-девятнадцати, с высоким рюшем в три ряда у тонкой шеи, с цветком в корсаже, в шляпке Henri IV с большим пером, спускавшимся на низко положенную косу.

IV

«Этому портрету шесть лет... Оба мы были тогда моложе и, конечно, лучше, неиспорченней. И если даже тогда я заподозрил ее в обмане, в хитром расчетливом кокетстве, то что же было бы теперь? Да, в самом деле, что может выйти из нашей новой встречи? К лучшему она изменилась духовно или к худшему? Полюбила ли она в свою очередь, узнала ли эти муки, эти бессонные или, во всяком случае, скверные ночи, тоскливые пробуждения, когда уверен, что наступающий день ничего не изменит, не приблизит ни на волос к тому, чего желаешь и что на время заслоняет все другие интересы,— и заранее измеряешь всю его продолжительность и скуку».

Он вспомнил, как он школьнически был рад, когда

расстроилась одна публичная лекция («приспособленная к пониманию дам, с наукой в виде десерта»)... Он увлек ее за город, на ближайшие, в эту пору наполовину опустевшие дачи. Была темная сентябрьская ночь. Таинственно чернели очертания дачных коттеджей, на дачной улице заливалась собака; этот звук переносил в деревню вместе с запахом сена. Таинственно-загадочно шумело море, разбиваясь чуть слышно о берег, и смутно виднелись остовы лодок целой небольшой флотилии... Загадочно смотрели на него ее глаза, как-то странно-пристально. Его ли она любила или готова была полюбить в этот вечер или любила любовь, по выражению Стендаля, хотела узнать это чувство, открывающее такой же простор для мечты, как и обступившая их, мягким и влажным объятием окутавшая их ночь? Обдаваемые солеными, уже холодными брызгами, они с час просидели на камнях рука в руку... Так сближала их эта ночь, эта сонная тишина дач, обитателям которых, должно быть, уже наскучил берег, что они совершенно естественной и дозволенной нашли эту невинную ласку. И, кажется, эту тихую беседу вполголоса, в унисон с прибоем, слышали только акации, как призраки тянувшиеся вдоль берега. Но странно: они не обменялись ни одним значительным словом, говорили о вещах нисколько не имевших отношения к тому, что они переживали в этот вечер. А вечер был несомненно решительный: от него зависело многое. Но, кажется, что они без слов понимали друг друга. Они, должно быть, говорили машинально и нарочно о пустяках, чтобы прислушиваться к тому, что в них совершалось... Говорят, что папоротник дает цвет в Иванову ночь; может быть, и в них в этот вечер распускался таинственный сказочный цветок, и стоило только протянуть руку, чтобы его сорвать; но ни та, ни другая сторона этого не сделала.

Такие минуты надо ловить на лету: они не повторяются. Позже, в конце этой тесно сблизившей их зимы, он попробовал вызвать ее на что-нибудь определенное, решительное, но сделал это грубо, неловко, оскорбил ее, и она сложила лепестки, как noli mi tangere... * Она съежилась, стала избегать его, пока совсем не скрылась, даже не простившись...

---

* Бальзамін, «не-чіпай-мене».

V

Но в воздухе Н. летом носятся какие-то раздражающие чары; так и тянет в живописные окрестности или просто на улицу, чтобы смешаться с толпой, забыть себя, со всем, что тревожит и гнетет. Эти чары разгоняют мечту и зовут от жизни призрачной к пользованию жизнью реальной.

Около девяти часов Горяинов оделся и вышел на бульвар, к которому выходили окна его квартиры. На середине бульвара он задохся от пыли, поднятой тренами, и голова у него заболела от носившихся в воздухе крепких духов. Он свернул на боковые дорожки; но здесь шептались, близко придвинувшись друг к другу, влюбленные пары. Он почему-то еще болезненней ощутил свое одиночество и пошел к памятнику, неудавшемуся памятнику, с слишком массивным крупным бюстом на сравнительно невысоком гранитном цоколе. Навстречу Горяинову плавной, грациозной поступью не шла, а плыла красивая молодая женщина под руку с мужем; впереди их, легкая, как козочка, мелькая резвыми ножками в белых чулочках, бежала хорошенькая девочка с веревочкой в руке.

«Счастливая пара,— подумал почему-то Василий Петрович,— прелестный ребенок. Вот оно где счастье-то настоящее, неподдельное!.. Незачем далеко ходить...»

Дама заметила, что он любуется ребенком, и улыбнулась ему благосклонно. Муж нежно прижал ее локоть и показал глазами на столики, расставленные за оградой ресторана, отчасти под открытым небом, отчасти под навесом. Но они, эти счастливые люди, искали уединения, а не бежали от него, и заняли столик у самых перил, повисших над обрывом, откуда как на ладони свободно виден был рейд, электрические огни судов и ослепительное электрическое солнце на эскадре, то потухавшее, то разгоравшееся ярким светом, столбом тянувшимся по морю, соединяя эскадру с берегом. Видны были и меняющиеся огни маяка на самом дальнем пункте обширной дамбы.

VI

Василию Петровичу почему-то захотелось подразнить, помучить себя картиной чужого благополучия, и он сел неподалеку от них. Он скромно потягивал вино, когда к нему подошел возвращавшийся из купален, с лестницы заметивший его учитель русского языка Вельченко. Он имел привычку слегка прищуривать один глаз, и это, вместе с общей подвижностью и выразительностью лица, придавало ему лукавый, насмешливый вид. Самолюбивый и щепетильный Василий Петрович ему одному позволял подтрунивать над собой и делал ему меткие реплики.

— Здравствуйте, Василий Петрович,— сказал Вельченко приятным баритоном и крепко потряс ему руку.

— Здравствуйте,— отозвался жирным баском Василий Петрович.— Экий у вас голос приятный и сильный!.. Помню, как вы эффектно пели на вечере у профессора К.: «Нет, только тот, кто знал свиданья жажду...» Глинка, Рубинштейн, Чайковский у вас бесподобно выходят. Во времена Разумовских и вы сделали бы себе карьеру, состоя в придворной капелле... Признайтесь, это было бы куда веселей, чем исправлять тетрадки и слушать, как после ревизии тебя шельмуют на совете... А воображаю, как у вас звучит «люблю тебя»...

— Никогда никому не говорил — не приходилось... И, по всей вероятности, не скажу,— отвечал Вельченко, живописно раскинувшись на стуле и блеснув своими белыми ровными зубами. Он снял широкополую, некрасивой формы соломенную шляпу и провел по густым черным волосам, отливавшим синевой. Черные глубокие зрачки его глаз, плававшие в синеватом белке, как-то хищно и чересчур бесцеремонно уставились на красивую соседку.

— Вот так скептик! — сказал Василий Петрович и тоже снял свою изящную фетровую шляпу и пригладил свои короткие, щеткой подстриженные русые волосы.

— Как вам нравится эта барыня? — слишком громко спросил у него Вельченко.— Какие у нее алые губы, если только это не губная помада! Хотел бы в этом убедиться, но присутствие супруга мешает...

— Только это?

— Конечно. Она того типа женщина, за которыми надо наблюдать неусыпно. Разве вы не видите, близорукий вы человек? Если задумаете жениться, мне сначала покажите вашу избранницу: я очень проницателен. Помните, как вы неудачно сосватали беднягу Грачевского. Ведь он, говорят, совсем спился.

— Ах, не напоминайте мне об этом! — поморщился его vis-á-vis *.— Но насчет этой четы вы ошибаетесь: они, несомненно, счастливы. Вот они, женатые-то люди: для них их home ** — весь мир, и ни до кого им нет дела.

— Очень печально, если им ни до кого нет дела. А действительно, полное семейное благополучие как-то разобщает этих людей с остальной массой... Я всегда видел в этом источник самого бессовестного эгоизма. И вот отчасти почему я не женюсь.

«Ну, не потому только ты не женишься, а богатых невест, к сожалению, мало»,— подумал Василий Петрович.

— А напрасно вы спросили мороженого,— обеспокоился он вдруг,— хоть коньяку влейте...

— А что,— удивился Вельченко,— разве бывали случаи отравления?.. Но при чем же коньяк?

— Нет, совсем не то, но вы забываете об эпидемии. Ведь она растет, как гидра; не сегодня-завтра пожалует к нам. Вы прочтите в «Фигаро»,— продолжал он,— предписание одного парижского доктора: point de melon, point d'eaux glacées, point d'amour ***,— прибавил он, понизив голос.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся его vis-á-vis,— так вы держите полную диету! Пожалуй, вы так войдете во вкус, что навсегда останетесь верны этому режиму. Вы доставите удовольствие автору «Крейцеровой сонаты»; его голос, таким образом, не останется голосом вопиющего в пустыне.

— О нет, нет! — торопливо заговорил Василий Петрович, слегка задыхаясь, как всегда, когда говорил скоро и волнуясь.— Я слишком большой поклонник вечной женственности, светлой и лучезарной красоты...

— Но это совсем не то, против этого поклонения,

* Співбесідник *(франц.)*.
** Дім, сім'я *(англ.)*.
*** Ні в якому разі не їсти динь, не пити сирої води, не кохати *(франц.)*.

я думаю, ничего не имеет и строгий парижский доктор. Не заговаривайте зубы, почтенный Василий Петрович. Не о том речь...

— Нет, вы меня всего не знаете,— прервал его собеседник,— вы не знаете, что я способен к самому чистому, братскому общению... Я любил иногда женщин, которые были от меня, как звезды небесные. Была тоже одна девушка... Ее чистота делала ее для меня недоступной; я ни на что не мог и не дерзал надеяться, а между тем я ее любил... Жениться я тоже не намеревался. Меня всегда удерживала от этого шага моя беспокойная мнительность, которой я на этот раз благодарен. Как Позднышев, как герой «Mensonges» *, никак бы я не мог ужиться с женской ложью, с обманом... даже с этим вечным страхом быть обманутым. Но исключить совсем любовь или хоть бледное подобие ее — да ведь это вырвать цветок жизни... Это бессмысленно и жестоко. Да и что тогда останется?..

— Останется получение жалованья двадцатого числа, прекрасный театр, то есть здание театра, строго говоря, чудесные окрестности, рестораны, где можно славно закусить и выпить...

— Ну, полноте, вы, конечно, не серьезно считаете любовь таким ничтожным придатком к жизни. Природа? Но она, как сказал один наш писатель, гонит в другие живые объятия; музыка, особенно Верди, Вагнера? Но послушайте «Тристана и Изольду», этот непрерывный гимн любви, песню Лоэнгрина в «Парсифале», и вы более чем когда-нибудь захотите любить. Я особенно имею в виду людей, обманутых жизнью, измятых ею, чуть не исковерканных. А как часто я врачевал себя в тихом, спокойном дружеском общении с женщинами милыми и понимающими! Я с ними высказывался легко, без усилий... Они умеют слушать...

— Отчего вы не женитесь на одной из хорошеньких классных дам в гимназии, где вы читаете педагогику? — спросил Вельченко.

— На классной даме или учительнице? Но они — манекены на пружинах; в молодости они из papier-mâché ** сделаны, которая около тридцати лет твердеет и обра-

* «Брехні» *(франц.)*.
** Пап'є-маше *(франц.)*.

щается в пергамент. Если у них и есть поползновение любить и внушать любовь, то это так глубоко запрятано — по привычке,— что и не разглядишь. Я бы мостика, понимаете ли — мостика к ней не нашел!.. Служба убивает в ней женщину: я не вижу женщины за этим форменным платьем. Недавно один мой товарищ сделал предложение одной такой сухой, бесстрастной девице. «Завтра,— говорит она,— я вам дам ответ на большой перемене... Я дежурная по коридору. Обождите меня после звонка в учительской...»

В это время хорошенькая девочка бросила свой большой пестрый мяч так неловко, что угодила прямо в щеку Василию Петровичу. Он со страхом оглянулся кругом — не заметил ли кто-нибудь (пуще всего он боялся смешного), но успокоился: терраса опустела в этом месте. Пока он морщился и потирал припухшую щеку, девочка плакала. Вельченко весело смеялся.

— Gare le bonheur *. Берегитесь счастья, как своего, так и чужого. Вот вам и созерцание семейной идиллии с играющими амурами. Я люблю богиню, но не люблю амуров.

— Pardon, monsieur,— лепетала девочка и подняла на него глаза, полные слез.

— Ничего, милое дитя, ничего,— снисходительно успокаивал ее Василий Петрович.

— Не беспокойтесь, барышня, до свадьбы заживет у моего товарища,— подтвердил Вельченко.

Девочка весело расхохоталась так же неожиданно, как и расплакалась... быстро высохли ее слезы.

— Вот оно, женское-то раскаяние, как мимолетно! — заметил Вельченко.

Через четверть часа Горяинов входил в свою комнату, освещенную одной луной, свободно проникавшей сквозь редкую зелень акаций. Лучи ее лежали на полу вместе с прихотливым узором кружевных занавесок.

«Славный этот Вельченко!.. Николенко тоже отличный человек. Тот и другой не любят интриг и никогда не раздражат желчи себе и другим... Однако надо зажечь лампу: этот свет, эти тени расстраивают нервы... Сколько ночных бабочек налетело! Удивительно, как эта багровая луна, музыка какая-то тревожная проникнуты ожида-

* Не захоплюйтесь *(франц.)*.

нием чего-то... Так бывает перед грозой... Но не гроза носится в воздухе, а эпидемия. Говорят, она давно уже гостит в порте... Может быть, есть и в городе... но скрывают. Сегодня, глядя на эту зловещую, макабрскую * луну, я почему-то вспомнил «Пир во время чумы»...»

VII

Он разделся и в просторном домашнем сюртуке сел у окна. «Жажда томит, а зельтерскую воду пить не советуют. Профессор Вериго сделал анализ вод и нашел их вредными. Мой сосед, доктор, отправился в Париж изучать холерных бацилл. Удивительно! Зачем так далеко, когда они под боком, у себя дома... Есть, говорят, холера-молния: был человек и сгинул, как червь!.. Опасность в одиночестве гораздо сильней чувствуется. Положим, и вся эта толпа, что расходится теперь с бульвара, подвергается той же опасности, но я как-то не чувствую себя солидарным с ней, не чувствую этой связи, общности и в радости, и в горе, как с близкими существами. Здесь, в этом гарни **, я обособлен, как Робинзон на острове. Между мной и самыми короткими знакомыми всегда остается какая-то незримая перегородка... Жаль, что Вельченко живет далеко! Впрочем, он обзавелся если не женой, то подобием ее. Но, по-моему, всякие подобия не хороши. И охота была себя связывать! Где этот густой, протяжный звон? В греческой церкви или в католической? И звонят будто сдержанно и осторожно».

Ему пришло в голову, что это хоронят первых умерших, и ему стало жутко. Вчера в окрестностях он заметил что-то вроде желтого флага на стоящих в карантине судах. Впрочем, может быть, это был не желтый, а просто грязный флаг или действие солнечного заката.

Он открыл небольшой буфет. Здесь на одной полке стояли закуски: золотистый, янтарный балык, икра, швейцарский сыр; на другой — ваза с крупной желтой и красной черешней и абрикосами. Но он фруктами не соблазнился, а из закусок позволил себе после маленького колебания тоненький ломтик сыру.

---

* Макабрская — мертвотно-бліда.
** Гарни — обстановка.

«Микробов-то, воображаю, сколько,— думал он, поднося его к огню, как будто он мог их рассмотреть.— Отчего это мне так не по себе? Надо бы позвать горничную и добиться у нее правды: кипел ли сегодняшний самовар? Впрочем, горничная прежде всего женщина, и добиться правды будет трудно. Однако все-таки позвоню. Кстати, сделаю замечание насчет супа; таким супом только голову мыть, что это за суп!»

Заспанная горничная, запахивая на груди платок, явилась на отчаянный звонок Василия Петровича.

— Вы, барин, нашли письмо? — спросила она его прежде, чем он успел предложить ей вопрос о самоваре, испытующе глядя на нее сквозь очки.— Письмо почтальон принес, иногороднее.

— Где же, где? — заволновался Горяинов, очень жадный до всяких известий в своей монотонной жизни.

Горничная приподняла его фетр, которым он впотьмах прикрыл это послание.

— Можете уйти, милая, вы мне не нужны,— сказал ласково повеселевший Горяинов.

У него шевельнулось смутное, едва сознанное предчувствие чего-то хорошего, когда он нетерпеливо, дрожащими пальцами вскрыл конверт.

Он быстро пробежал первые строки, и сердце у него радостно забилось. Изумлению его не было границ. Он вскочил и в волнении прошелся несколько раз по комнате. Наташа, сама Наташа, почти им забытая, которой он уже год перестал писать, писала ему ласково и просто, как будто они вчера расстались, что она едет на морские купанья.

Приедет она не по железной дороге, а с пароходом из Н. Он вынул часы: было около часу ночи, а завтра к семи часам он хотел поспеть на пароход. «Нет, я сам ни за что не проснусь, а будильник испорчен...» Пришлось опять позвать девушку, которая пришла с недовольным, но послушным лицом. «Нечего делать господам, вот и не спится. Поработал бы с мое...» — думалось ей.

— Завтра, голубушка,— искательно заговорил Василий Петрович,— разбудите меня в половине седьмого. Я должен ехать в гавань... встретить невесту,— солгал он и покраснел.

Но у него был такой счастливый и растерянный вид, какой бывает у людей, еще не освоившихся со своим

счастьем, что горничная легко поверила его невинной лжи. Любезно усмехнувшись и поздравив Василия Петровича, она вышла, а он быстро разделся и бросился в изнеможении на кровать.

Луна еще слабо светила сквозь плотно сдвинутые сторы, но теперь это его не беспокоило. Мрачные, как черные птицы или как чайки-буревестницы, реявшие вокруг него предчувствия разлетелись, как будто их не бывало.

«Если я женюсь, то, конечно, теперь,— рассуждал он, лежа в постели.— Теперь или никогда!»

Но вдруг его точно ужалило воспоминание о приятеле, которого он так уговорил жениться на одной их общей знакомой. Они венчались здесь, в N.; он был шафером, пил шампанское, усадил молодых в купе второго класса, оставил там роскошный букет и конфекты от Робина, поднесенные им новобрачной. Но когда поезд тронулся, унося с собой счастливых людей, лихорадочное оживление его спало, он уже ревновал друга к его молодой жене. Его светлое, праздничное настроение понемногу уступало место обычному будничному пессимизму.

— Voyage de noce... * — язвительно улыбаясь, бормотал он, идя по зданию вокзала.— Voyage de noce... Посмотрим еще, что дальше будет; пожалуй, уже завтра рассядутся по разным вагонам.

Но случилось гораздо худшее, хотя и значительно позже, чем ожидал Горяинов,— через два года. Приятель его остался с ребенком на руках, брошенный женой, которая бежала с драгунским офицером. Друг Василия Петровича стал пить, все больше, все непоправимей стал погружаться в уездную тину.

Все это с печальной ясностью припомнил теперь Василий Петрович. Вспомнил невинную, тонкую, как у ребенка, шейку невесты, ее широко раскрытые, тоже как у любопытного ребенка, глаза, красивый взмах ее низко спущенных ресниц, которых она не поднимала все время, пока длился обряд.

«...И все-таки я женюсь теперь или никогда не женюсь, потому что теперь я чувствую в себе такой прилив любви и доверия к ней, что могу еще справиться

---

* Весільна подорож (*франц.*).

с обуревающими меня сомнениями... А позже, когда приду в спокойное, уравновешенное состояние, войду в обычную колею, чувствую, что это будет невозможно. Нет, она не такая,— думал он уже засыпая.— Душа у нее прозрачная, невинная... Cristal de roche *... — сравнивал он, вспомнив хорошенькие камешки, виденные им в этот день у ювелира.— Прозрачна... как cristal de roche...»

---

* Гірський кришталь *(франц.)*.

ОРИСЯ

I

Весна. Жваві ластівки метушливо й весело клопочуться коло свого гнізда. В одчинене вікно доносяться в хату з палісадника пахощі від бузового цвіту. В кімнаті, прикрашеній кретоном і вставленій м'якими будуарними меблями з явною претензією на кокетування, не дивлячись на ясне сонячне сяйво, горить перед овальним люстром на столі лампа. На кріслі сидить перед нею молода, струнка панночка, русява, з кирпатеньким носиком і трошки примруженими короткозорими очицями, що виблискували часом задерикуватим вогником. Панянка нагріває на лампі металеві частини ручки до писання і на ній закручує спереду кучері. За спиною у неї стоїть із кофточкою в руках дівчина років тринадцятьох, що, видко, допіру прибула з села. Впалі груди та випнуті від худорлявості лопатки не дозволяють дати їй цих років. Її каштанове волосся, що, вигорівши на сонці, змінило яскравість свого кольору, причесане гладенько і заплетене в одну тоненьку кіску з червоним кісником; на блідому, трохи вилицюватому, але з правильними рисами личку тремтить вираз полохливості й переляку.

Коло вікна на канапці напівлежить зовсім уже одягнена до виходу, доволі повна чорнява панна, трохи старша за русяву панянку і, видко по схожості, сестра її. Вона нетерпляче б'є парасолькою по черевиках і нарешті не витримує:

— Та цьому кінця немає! Сиди й чекай! Чому ти не купиш завивалок? Не надокучить хіба морочитись із цими ручками: чадить завжди?.. Фу! Навіть відчинене вікно не допомагає!

— А ти вийди, хто тебе тримає? — огризнулася білявенька.— Ой! Ось тільки через тебе обпекла пучку!.. Купи! Стану я на дурниці викидати гроші...

— Дивно,— усміхнулася недбало чорнява,— з одного боку стільки претензій щодо вбрання і всіляких нісенітничок, а з другого — скупість на шага...

— Справа йде не про нісенітнички, а про витонченість та порядність,— підкреслила білявенька,— що про них ваша милість і тями не має; адже ж вам байдуже вийти на вулицю і в подраних рукавичках, і в невичищеній кофточці, і з кучмою, що стирчить з пом'ятого капелюша... Адже ж ви з лінощів не подбаєте про себе, так що іноді сором іти поруч...

— І не ходи! — відповіла байдуже чорнява.— Хто тебе прохає? А я не стану на цю порядність витрачати половину життя...

— А звісно, на романи з цигарочкою приємніше витрачати час?

— Атож, значно приємніше: менші принаймні витрати на жовч...

— Подумаєш, яка добротлива! — заперечувала ущипливо русява і роздратованим рухом шпурляла шпильки, прищіпки й папільотки.— Чорти прокляті! Ніяк не тримаються... стирчать... Де це довгі шпильки? Завжди закинуть... Це ти їх, Наталю, береш, щоб напихати в гільзи тютюна.

— Та відчепися,— флегматично відвернулася та,— мені й потреби немає в твоїх шпильках!

— Та де ж вони, каторжні? — тупала ніжкою білявенька, наморщуючи свого кирпатенького носика.— Хто їх із'їв? От і вдягайся! Незабаром сонце зайде... і ботанічного садка замкнуть! Куди ти їх, Оришко, заділа? — повернулася вона раптом войовниче до дівчини.

— Не знаю!..— затремтіла та й почала розгублено дивитися на всі боки, шукаючи; в одній руці вона тримала кофточку, а другою лапала по столі.

— Стій! — вирвала білява з рук переляканої дівчинки кофту.— Ще вбереш у чорнило! Адже ж ти сама вся не варта того, що коштує ця кофточка!

Дівчинка відійшла й насупила брівки по-дитячому, неначе збиралася заплакати.

— От іще й брошка запропастилася! — роздратову-

валася ще більше прибрана панянка.— Як на зло, як шукаєш, так і немає... адже ж тут-о лежала?!

Вона з серцем висувала й засувала в столі шухляди одну за одною.

— Та покинь ти ту брошку! — з досадою сказала сестра.— Вдруге надінеш!..

— А мені, може, сьогодні тільки й треба!

— Ага! — догадалася старша й злегка посміхнулася.

Наталин сміх був заразливий і заставив навіть Орисю посміхнутися, що остаточно роздратувало біляву.

— Це ще що за фамільярність? — накинулась вона на неї.— Чого ти стоїш? Шукай! — тупотіла ногами виведена з рівноваги й порядності панна.

Орися кинулась шукати й ледве не перекинула лампи.

— Обережніше, опудало! Не тут шукай, а в передпокою, в шафі! —кричала, паленіючись усе більше та більше, білява.— І наймають отаких ідіоток, штурпалів... Теж своєрідний дотеп!

— Вона зовсім не дурна дівчина! — сказала, встаючи з канапи, чорнява, коли вийшла Орися.— І старанна, а ти тільки залякаєш її зовсім, не може ж вона зразу звикнути...

— А, не може, то й нехай тягає відра з водою та жне, а не лізе в покоївки!

— Соромно тобі, Катре, бути такою злою та несправедливою до простого народу.

— Лизатися з ними не стану й хизуватися цим, як ви всі хизуєтесь, не буду! — кричала Катря, розчервонівшись і надіваючи вже перед люстром капелюша.— Переконана, що всі оці хамуги страшенно дурні й лізуть сюди обдирати панів.

— Таж у них голод,— спалахнула Наталя,— безробіття, вони шукають шматка хліба... а з Орисі може вийти, та й вийде ще добра покоївка... тільки не залякуй!

— Покоївка! — презирливо засміялася Катря, натягаючи рукавички.— Ще що-небудь потягне!..

— Це навіть гидко! — відрізала їй сестра стриманим шепотом і вийшла до другого покою.

Остання фраза зачепила готову до виходу виряджену панянку й охолодила трохи її роздратованість.

— А що, відшукала брошку? — звернулася вона до Орисі, що ввійшла до покою.

— Ні, нема там! — відповіла Орися боязко.

— Щоб була! — грізно підкреслила білява панянка і спинилася коло дверей.— Гляди! — повернулася вона знов до Орисі і додала суворим, розміреним голосом: — Щоб котлети були мені цілі: є ж що й без того жерти! А їх розігрієш на бензинці і подаси до вечірнього чаю... Чуєш?

— Чую! — відповіла ледве чутно дівчинка і заморгала очима.

— «Чую»! — передражнила її панянка.— І щоб усе в мене було ціле, гляди! — і вона нарешті вийшла, хрьопнувши дверима.

II

Орися залишилася в хаті зовсім сама: старої пані, що взяла її з села, не було вже два дні в місті; куховарка, відбувши обіда, замкнула пекарню, а панянки пішли гуляти.

Орися замкнула за ними двері, пройшла вітальнею та їдальнею до свого передпокою й сіла на дзиглику біля вікна. Воно виходило до сусіднього двору; з другого поверху здавалося, що він лежить коло її ніг; а за цим двором виходили кутками ще інші двори, нагромаджувалися зелені покрівлі домів, роблячись дедалі все кучнішими й дрібнішими; а за ними далеко-далеко на околиці видко було смужку поля, за нею синів уже стьожкою в тумані й ховався за обрієм золотистого неба ліс.

Дівчина потопила очі в далекі сизі торочки, і її обхопило жагуче бажання вилетіти з цієї кам'яної клітки.

«Ой, коли б мені крила, як он в тієї малої пташки,— думалося їй,— полинула б я далеко до моєї матінки, до моєї єдиної радості на всьому божому світі!.. Що-то вона пороблює? Як перебивається в своєму горі? Ой і зажурилася ж я за тобою, звелася серцем, та далеко тільки звідсіля моя рідна сторононька! Хоч би за той ліс: там ідуть луки й поле, а за ними, мабуть, села. Жито тепер по коліна буде, викинуло давно стрілку, а то й колос уже виставив із зеленої пазухи ясні вусики. І робити там веселіше: тепер пішла пóлонка городів, баштанів, а може, й на буряки єднають. Весело полоти, як збереться багато дівчат: довгі ряди їх рябіють, як той мак, співають вони пісень та сапками вимахують... не душно ще, вільний вітерок повіває, жайворонки підносяться стрілочкою до-

гори й заливаються радісно, а понад нивами та сінокосами кібчики високо на однім місці тремтять... Ох! А тут?»

Розмова й сміх, що почулися з сусіднього двору, перервали нитку її думок. Вона перевела очі донизу й побачила, що на дворі гралися панські діти; у грі брали участь дві покоївки та два хлопці, мабуть, фурманів син та кухар. Гра йшла весело: діти захоплювалися тим, що дорослі їх забавляли, а дорослі раділи не з паненятами, а між собою погратися: м'ячі раз у раз влучали в якусь дівчину, а та намагалася помститися напасникові, ганяючись за ним із м'ячем; діти допомагали ловити втікача. Весела метушня розгоралася, і вибухи невтримного реготу змішувались із верескливими криками. В міру наближення вечора до тих, що грались, приєднувалися ті, що визволялися від праці — швець із ремінцем на лобі, молоденька, треба гадати, куховарка і просто захожий позіхайло... Невтримна веселість обхопила всіх і зчинила цілу бучу...

«Еге, ось і тут радіють,— подумала Орися,— теж, хоть і не так вільно, як у нас: тут і розігнатися нігде, а все ж весело!.. Отак тільки піти до них пограться, та я тут і не пішла б: засміють, гляди, проженуть, бо я по-їхньому, по-городському, й розмовляти не вмію, всі мене хохлушкою лають... Хоть би постояти там, послухати їхні балачки... Тужно мені тут, тоскно, неначе в острозі сиджу. Старша панна ще добра, заступається, та й сама пані не била і разу, а от білява, так на неї нічим не догодиш, усе вона кричить, лютує; очима б із'їла, та так словом дійме, як ножем гострим... а чи я ж не дбала, не намагалася? Нічого тільки не виходить: погляне вона, а в мене вже душа в п'ятах, нічого не розміркую, що робити, й виходить капость!.. Нещаслива вже я, видко, така безталанна... чи справді, як панна каже, ні до чого не здатна?!. Та невже ж і матері я не можу стати в пригоді?.. Господи! Краще тоді й не жити!»

У сусідньому дворі зразу стихли всі вигуки й забавки, мабуть, пани повернулися... та й темно стало; здалека по вулицях засвітилися ліхтарі. Посвітлішало. Орися зачинила в передпокої вікно. Вуличний гомін мало доходив до цієї частини квартири, а при зачинених вікнах по всіх хатах залягла похмура тиша, що серед неї виразно й глухо розносилося тільки цокання маятника. Орисі зробилося моторошно самій поночі сидіти, але лампочки

вона не зважалася засвітити, боячися суворої й бережливої панночки, а через те тільки забилася в куток і заплющила очі.

Сидить Орися, тремтить із незвички, а думки далеко летять у її рідний край і малюють їй картини дитинства, що вже промайнуло; тільки не веселі й не радісні ці картини...

Їй ввижається похмура хата, темна, низька, з крихітними, підсліпуватими вікнами. В хаті ліворуч сидить її бліда, худорлявенька мати. Орися припала до неї навколішки, а мати жалує і обливає її голівоньку дрібними сльозами... Вона почуває, як на її голу шийку крапають теплі крапки... Плаче її мати та все прислухається до заліпленого папером вікна, все чекає вона свого чоловіка... Каганець тріщить; страшні тіні миготять, вітер виє в комині. А вони сидять і дрижать.

— Ой моя ж дитиночко,— голосила мати,— нещасливі ми з тобою: унадився батько твій до шинків, не мине його лихая година... погубить його горілка!

А батько аж на ранок увійде й хилитається — такий слабий та смиренний, і не кричить, і не лається, як інші, а тільки до матері підійде і так жалібно прохає, щоб простила, руки, було, в неї цілує.

— Нема, жінко,— неначе стогне він хрипким голосом,— правди на світі... пограбували мене, відняли землю, й суда не знайшов... Із заможного, бач, на віщо перевівся?.. Як же мені знову копійку збивати? Сили дастьбі,— от з горя й п'ю... І шкода мені вас, а п'ю...

Мати починає прохати його... тато плаче й схлипує, а в неї, маленької, серце перевертається, так шкода його! Пригорнеться, було, до нього, почне обіймати, голубити...

От на деякий час у хаті й запанує спокій. Та робота якось-то в батька не ладилася, і не щастило йому ні в чому.

Спочатку, як Орися була ще зовсім маленька, всього було досить: і пироги пеклися, і курка святками на обід з'являлася, і вареники, й молочна каша; а хата була світла й чепурна, і мама часто сміялася і пісні виспівувала хороші.

А потім все далі та гірше: менше чулося сміху, і пісні пішли сумні, а тоді й зовсім стихли. Їжа дедалі все вбогішою ставала і перевелася нарешті на самий пісний борщ із хлібом. Одежина кудись теж ізникла;

і хата зробилася холодною, вогкою пусткою; почалися сльози, а за ними пішли охкання та прокльони...

Раз вона з мамою взимку,— неначе вчора це було,— лежала на тапчанці в нетопленій хаті, вкрившись рядном. Ніч була ясна та морозяна; на темному небі виблискували променисті зорі, а блідий місяць заглядав у віконця, занесені снігом, виблискував по них сріблястими голками й малював на долівці довгасті плями, сповнюючи холодним півсвітлом проморожену хату. Пізно рипнули двері; боязко ввійшов батько і, розкахикавшись, поліз на холодну піч. Він в останній час кашляв глухо й важко... Мати зітхнула глибоко й загорнулася тугіше рядном. Орися, притулившись до неї, почала засипати.

Раптом із грюкотом відчинилися двері й до хати ввалилися двоє людей.

— А де ця п'яниця, злодюга? Кажіть, поганки! — крикнув один грізно.

Мати й Орися схопилися з постелі і, розгубившись, не рухалися з місця.

— Почекай, братику, я зараз дістану вогню і обшукаємо хату! —відізвався другий.

Спалахнув сірник, і зайди враз побачили батька: він сидів на печі, широко розплющивши очі.

— А, ось він де!

Дядько в кожусі, що ввійшов у хату, схопив його за рукава. Це був сусідній шинкар. Він здоровим стусаном скинув батька з печі.

— Віддай зараз украдене, а то я з тебе дух витрясу!

— Я нічого не крав, побий мене біг! — тремтів батько і кахикав у кулака.

— Нічого не крав? Ах ти ж поганець!

І він хвацько ляснув батька по щоці.

Нещасний не встояв на ногах, звалився й ударився ще головою об лаву.

— За віщо ви мене б'єте? — простогнав він, втираючи полою кров, що потекла з носа.

Орися заверещала і обняла руками батька, охороняючи його від нового нападу.

— Не бийте, не бийте! — кричала вона, як божевільна.— В тата кров іде!

А мати навколішках прохала помилувати, присягалася, що ніколи він не крав нічого... що це наклеп.

— Не слухай бабів,— кричав шинкар,— а волочи його... протокола!

Чотири здорові руки відштовхнули жінок од батька, що стояв, і повели його з хати кудись далеко.

А коли, опам'ятавшися від жаху, вибігли на вулицю мати з дочкою, то «розбійників», як думала Орися, вже не було, а вдосвіта вони знайшли свого батька в рівчаку: він ледве дихав, на пазусі було декілька темних крів'яних плям, а сніг у головах яскраво червонів.

— Били! — промовив батько і впав у непритомність. За допомогою дядька, що проїздив повз них, одвезли вони батька до хати... Відходили трохи, та недовго він мучився; кахикав усе... та кров'ю харкав, поки не вмер... Панотець допомагав їм, розпочав був і слідство, та лікарі признали сухоти, й нічого не вийшло... а тільки незабаром продано було їхню хату і все... Паніматка взяла її матір до себе через те, що під голодний рік нікуди було й найнятись, а її, Орисю, влаштувала в місто до знайомих панів.

Щось неначе зашаруділо поза дверима. Дівчинка здригнула й схопилася... Нічого: мертва тиша... тільки в ухах її неначе згучить жахливе слово «протокола!». Орися стрепенулася й повела рукою по очах: вони були мокрі, як і все її худорлявеньке личко...

III

Ні, це не здається, а хтось і справді шарудить коло дверей, неначе шукає клямки, хочучи нишком увійти. Орися скочила й почала прислухатися; що б це могло бути? Куховарка Мелашка? Так вона б кулаком постукала, гукнула б неодмінно, а це, мабуть, хтось чужий і недобрий... злодій; а може, й розбійник. Орися заклякла від жаху, згадавши, що вона в квартирі сама та що допомоги не дасть ніхто... Що робити? А може, вона забула замкнути на запора двері? Ось зараз чіпне, ввійде й заріже її... гострим ножем по горлі... ой!.. страшно!!

Дівчина кинулася до дверей і повернула ключем. Замок клацнув і виявив її присутність.

У двері хтось ізлегка постукав. Орися не відгукнулась. Ще постукало, трохи дужче,— мовчання. Нарешті почулося тихе запитання:

— Чи тут пані Березовська?

Голос був очевидячки жіночий, а згук його заставив Орисю затрепетати.

— Хто там? — спитала вона боязко.

— Свиридиха з Тереників.

— Мамо! — скрикнула, неначе збожеволівши від радості, Орися, намагаючись тремтячими руками швидше відчинити двері.

Вона кинулася на шию до своєї матері й гірко заплакала. Вся туга й біль од образ і сирітства, що накипіли за останній час у її серці, вилилися тепер в бурхливім і невтримнім риданні. Орися цілувала материне заплакане обличчя, очі, руки, обіймала її судорожно, нервово і все ридала і ридала... В цілковитій тиші й темряві якось дивно відбивалися ці хлипання, змішані зі згуками жагучих поцілунків. Нарешті мати притиснула її до своїх грудей і почала гладити по голівці. Ця ласка якось гіпнотично вплинула на дівчинку і трохи стишила її гістеричне роздратування.

— Чого ти, моє безталанне, так плачеш? — спитала пошепки мати.— Чи тебе кривдять тут?

— Ні! — ледве чутно відповіла дівчинка.— Мене ще ні разу не били...

— Так чого ж ти?

— Занудилася, скучила за вами, моя нენько! — пригорталася вона до матері і цілувала її зморщені руки.

— Що ж робити, сирітко моя? — розважала її мати.— Не влаштуюся ніяк, щоб тебе й себе прогодувати... Божа воля! Залишилися ми вбогі, та й найнятися нікуди; всяке й свої руки віддасть за прохарчування. З ласки прийняла мене благодійниця наша паніматка, а двох їй прогодувати важкенько. Може, згодом легше стане, а зараз потерпи.

— Та я й терплю, тільки нудно мені... нудьга!

— То що, звикнеш!.. Бо старцям вибирати ні з чого.

— А як же вам, мамо? — зітхнула важко Орися.

— Нічого, хвала богові, ось тільки я хвора чогось... відпросилася в паніматки, хочу відговітися в Лаврі святій.

— Господи, що ж це у вас, лелечко? — захвилювалася Орися.

— Нічого, так; ослабла, видко, з голоду, ноги й руки тремтять... та в спині кольки. Ти не турбуйся... минеться... Мені й то вже полегшало... ось як на селі хліб уродить...

— А на селі ж що? — трохи віджививилася Орися.
— Бідують: у кого була хоч одна вівця, то й ту попродали... з дахів солому здирали, та й тієї не вистачило...
— А Катря, а Пріся — здорові?
— Пріся на цингу хвора лежала, все у роті попухло, зуби рукою витягала... дохтур наїздив, кислу капусту велів їсти... та й ліків дав. Виходилась на весну, тільки шамкає... а Катря в огневиці лежить... у нас на весну огневиця пішла — страх!.. Багацько повмирало: і Ганька Литовка, й Петрусь...
— Петрусь?! — змахнула руками Орися й затулила ними очі.
— Шкода тобі? — спитала з співчуттям мати.
— Шкода!—глухо відповіла дівчина, важко зітхаючи.
— Ох, доля така! — зітхнула й мати.— Хороший був хлопчик... І з тобою часто грався.
Обидві замовкли й безпорадно замислились.
— Хоч би засвітила ти, чи що? — нарешті перервала мовчання мати.— А то я й не бачу тебе, дитинко, яка ти стала?
— А, правда, що ж це я? — заметушилася Орися й швидко засвітила лампочку, приготовану на столі.
— Мамо! Ви ще схудли й пожовтішали! — сказала вона, дивлячись на матір великими очима й ламаючи руки.
Перед нею справді стояла зморщена й згорблена бабуся.
— Нічого, моя ягідко,— захоплено милувалася своєю дочкою мати,— це від голоду: три дні в дорозі й ріски не мала... в роті... взяла з дому малий шматок хліба, на всю дорогу... а простягати руку не вистачило сили...
— Голодні? Три дні не їли? — прожогом кинулася Орися до шаховки, де стояли котлети, й застигла на хвилину в пориві. Їй пригадався суворий наказ панночки. «То що, хай і приб'є! — майнуло в неї в голові,— а я матері дам... три дні не їла, бідна! Еге, хоч би як прибила, а мені навіть радісно буде!» — всміхнулася Орися й рішуче відчинила дверчата.
— Ось попоїжте, мамо! — подала вона тарілку з котлетами й шматок булки.
— А чи можна? Адже це панське... щоб тобі ще не дісталося?

— Це не панське, це мені на вечерю від обід залишилося...

— Щось дуже багато,— не повірила стара, пильно поглянувши на Орисю.

— Їй-богу! — забожилася Орися, але не витримала материного погляду, почервоніла й, щоб сховати своє збентеження, кинулася її обіймати.

— Їжте, ріднесенька, не бійтеся... Панночки дозволяють мені брати... вони добрі... ніколи не гніваються, а самі не вечеряють...

— Хіба? — заспокоїлась трохи стара; запах від котлет дратував хоробливого апетита.— Та чи й не гріх ще перед говінням скоромне жерти?

— Бог простить, мамо! — умовляла дочка.— А так, не ївши, ще захворієте...

— Воно-то правда,— спокушалася стара й наважилася-таки покуштувати котлетки.— Ой, яке ж добре, смаковите! — ламала вона м'ясо по крихті й заїдала більше булкою.

— Ще, ще одну з'їжте! — частувала радісно свою матір Орися, підкладаючи їй третю котлету; від четвертої вже стара рішуче відмовилася.

— Ну, доню, спасибі, більше не стану їсти, і то наперлася на тиждень,— встала вона й поцілувала свою донечку в голівку.— Час вже мені, коли б не спізнитись ще; на мене чекають прочанки, ось тут на базарі... Ти й не проводь мене: не можна так кидати покоїв... пани прийдуть, а тебе нема... не добре буде, не по-хазяйському... Ну, щасливо, моя дитино! Господь з тобою!

Вона міцно поцілувала Орисю й вийшла чорним ходом.

— Зайдіть же, мамо, після причастя, бога ради, зайдіть! — прохала Орися, присвічуючи їй лампочкою.

— Зайду, зайду!

Не встигла знизу вигукнути їй мати, як у парадному передпокою задзвонив нетерплячий дзвоник.

IV

Кинулася Орися відчиняти парадні двері, забувши навіть прибрати котлету, що залишилась.

Панянки повернулися в супроводі знайомого їм студента, що вже скінчив навчання. Панич по зовнішності

належав до пшютів, а по певних ознаках до цікавих гостей.

— Куди ж ви? — надувши губки, граціозно здивувалася білява на простягнуту до неї паничеву руку.

— Додому, вже пізно! — усміхнувся панич, світячи скляним блиском своїх карих очей.

— Ми так рано не спимо,— загравала білявенька,— може, вам, дитинці, час уже спатоньки?

— Я таки рано лягаю,— сяяв широкою усмішкою панич,— завдяки науці: візьму книжку, та зараз же й засинаю...

— Який ви щасливий! — підвела брови білява і сумним голосом додала: — А я завжди мучуся безсонницею... але в помсту я вас зараз не пущу до вашої солодкої науки. Заходьте. Книжки не дам, а замість цього почастую цяцю-хлопчика котлетками та чаєм із бубликами... згода?

— Навіщо ж мені книжки,— ще більше всміхався він,— як ви самі...

— Така снотворна? — підхопила образливо панянка, спустивши очиці і глибоко присідаючи.— Дякую за комплімента!

— Ні... така цікава,— спалахнув гість,— що книжка...

— Та годі вам торгуватись,— перервала нарешті цього діалога чорнява,— або входьте, або дайте замкнути двері, а то надокучило чекати: я досить виголодалась.

Орися ні жива ні мертва стояла при цій розмові: хоробрість, що на неї в певну хвилину вона була поклалася, швидко залишила її, руки холоділи, тремтіли, дихання ставало нерівне, в грудях щось стукало. Як пани рушили, вона не могла зсунутись із місця, і тільки недобрий панночин шепіт «двері» заставив її кинутися; але швидкий рух похитнув на лампі скло, і воно впало із жалібним брязкотом. Полум'я захиталося й почало мутно коптити.

— Ай, яка ти...— почала була панянка, але зразу змінила тона,— незграбна... Чого ж ти злякалася, любко? Дурниці! Загаси тільки лампу, щоб не начаділа, й зачини двері. Допіру з села, чистокровна! — звернулася вона вибачливо до гостя.— Не зачеплена ще загубною цивілізацією... Якраз на ваш смак...

— Облиште! — запалив сигару знайомий.— Ніколи не мав таких смаків.

— Еге! — всміхнулася білява.

— А що ж ти — розігріла котлети? — звернулася вона ласкаво до дівчини.— І настановила самовара?

— Ні! — ледве чутно, тремтячим голосом відповіла Орися.

— Як?! — піднесла була голоса білява, але сестра перервала вибух байдужою заявою: — Не хвилюйся, Катре, я все це поладнаю!

— Сірники хоч подай — штовхнула в темряві Катря Орисю.— Та моторніше там!

Лампи було позасвічувано, і панянка сіла на тапчана забавляти свого гостя, сподіваючись, що сестра все приготує в їдальні.

Не дивлячись на всі зусилля здаватися перед гостем лагідною й дотепною, роль її на цей раз не вдавалася: це ще більше дратувало сповнену порядності панянку, і вона з нетерплячкою, що все збільшувалася, чекала заклику до їдальні.

А в чорному передпокою відбувалася тим часом така сцена.

Коли запалила Наталя бензинку і звеліла подати котлети, то Орися кинулася до неї, обняла коліна й почала цілувати її, хлипаючи й тремтячи всім своїм худорлявим тілом.

— Що з тобою, Орисю? — підвела її Наталя.

— Простіть,— хапала та її за руки,— помилуйте й пожалійте!

— Та що ж таке? Заспокойся! Котлет нема? Повечеряла, дівчинко? Не бійся!..

— Не я...— хлипала Орися.

— Кіт поїв? Еге?

— Ні...— уривчасто з конвульсивними зусиллями цідила слово за словом Орися,— мама моя були тут, голодні... мало не падають... Я дала три котлети й булку...

— Матері дала? Ну й добре, так і слід! — заспокоїла її Наталя й погладила по голівці.

Орися стояла, роззявивши рота від нерозуміння і не йняла віри своїм вухам.

— Тільки ось що,— додала, кваплячися, чорнява,— щоб сестра не розгнівалася, то ти зараз же настановляй самовара та й збігай до крамнички по бублики,— подала вона гроші,— а я зварю яєць.

— Наталю! — гукнула білява в напрямі до їдальні.— Чого ж ти пораєшся так довго? Юрко Павлович дуже голодний.

— Зараз! Трошки терпіння...— почувся з їдальні Наталин голос.

— Та я таки захляв... виходили багато...— позіхнув гість у руку.

— Може, вам учену книжку дати швидше? — прижмурила панянка, шуткуючи очиці.

— Ні, тепер зайве...

— Через те, що я тут?

— Та ні ж бо, через те, що котлети...

Яке ж то було здивування й гнів Катрі, коли сестра оповістила, що котлет немає, а вона зварила замість їх яєць.

— Як нема? — схопилася з місця білява.— Це що значить?

— Впустила, розігріваючи, каструльку, та й вже! — пояснила байдуже Наталя.

— Шкода! — зітхнув гість.

— Цього бути не може! — блискала гнівом білява.— Не дивлячись на твою природжену спритність і грацію, це річ неможлива!

Вона вискочила до передпокою.

— Де ж це котлети? — зашипіла вона до Орисі, що дуже розгубилася.

— Не знаю, не брала!.. — бурмотіла вона побілілими губами.

— Ага, ось вони! Так це ти, паскудо, злодійко? — сіпнула вона за рукава дівчинку, що вся тремтіла.

— Не буду! Помилуйте й пожалуйте! — верескливо заголосила Орися, і це голосіння при ніяковому мовчанню донеслося до їдальні.

— Катре! Йди сюди! — підвисила голоса, наливаючи чаю, Наталя.— Це я не перекинула, а з'їла, бо... голодна була.

— Неправда! — різко їй заперечила, входячи до їдальні, Катря, вся розчервонівшися від роздратування.— Не дивлячись на вашу здібність робити всілякі капості, такої б і ви не зробили...

— А от же й зробила! — всміхнулася Наталя.

— Хоч яке хвальне ваше християнське бажання взяти на себе чужу вину,— в'їдливо вимовляла сестричка,—

а все ж, по-моєму, неморально потурати дику розбещеність і огидні інстинкти.

— Одначе ви з динамітцем, хоч нехай...— почав був, мигкаючи очима, її молодий філософ.

— Та ні ж бо, я винна...— енергійно перервала їх Наталя,— з'їла, зжерла... Юрко Павлович мені пробачить; я йому завтра зроблю добріші котлети, а зараз він з'їсть пару яєчок.

— Та я можу й яєчка! — погодився він усміхаючись.

Катря хоч і замовкла, але не могла перемогти своє роздратування, воно мигкотіло в її стемнілих очах і блискавкою перебігало по м'язах личка, що гаряче палало.

Не дивлячись на всі зусилля Наталі розсмішити сестру й гостя, обидва вперто мовчали: перша від обурення, що все зростало, а другий — від сну, що налягав на нього. Вечір не клеївся, і білява, нарешті, перша підвелася, поклавшися на головний біль.

V

Коли, випровадивши гостя й погасивши лампи у вітальні та їдальні, Наталя увійшла до панянської хати, то на неї з нестримним натиском враз налетіла сестричка.

— Це з вашого боку огидно виставляти мене перед чужою людиною в непривабливому вигляді! Я розумію ваші погані наміри!

— Та опам'ятайся ти, покинь свої лайки: чим же я винна?

— А навіщо брехала?

— Та хоч би навіть брехала, так на те, щоб зам'яти вашу порядність, що зійшла з рейків.

— Недотепно й пошло! Ви своїм заступництвом та потураннями оцій паскуді найбільше мене дратуєте: ви мене з матінкою в домовину хочете загнати... Отаке зухвальство: не дивлячись: на мого наказа, насмілитись ізжерти...

— Та вона не їла!

— Я з тобою й розмовляти не хочу, хамська тіточко! — не стримуючи вже себе й закусивши вудила, лютувала білявка.

Вираз її обличчя становився з кожною хвилиною все неприємнішим: очі світилися холодним, зеленкуватим вогнем, чубок розпатлався й негарно стирчав.

— Та хай тобі всячина! Надокучила! — огризнулася нарешті Наталя й запалила цигарку, важко опустившися на ліжко з журналом в руці.— До неї заходила її мати, от що! — додала вона, простягаючи ноги.

— Як?! — підхопилася, неначе вжалена скорпіоном, білява.— Ось що! Якісь парії заходять ночами, хазяюють тут самовладно... жеруть усе... й тягнуть, звичайно... Атож, тягають!—підкреслила вона на направлений на неї докірливий сестрин погляд.— Напевно, щось та вкрали!

— Ти просто слаба,— показала на голову Наталя й відвернулася до стіни, вирішивши не звертати уваги ні на які сестрині вихватки.

— Це правда, що з ідіотами ошалієш! — не переставала білява.— Гей ти, ідоле! Ступай сюди! — гукнула вона в двері.— Ще нарутишся...* сюди, кажу!

Орися несміливо стала в дверях і нервово підняла руки, неначе затуляючись від стусанів, що їй загрожували.

— Підійди, підійди сюди! У! З матінкою порядкувала? — потягла вона за рукава свою жертву.— Оце що? Прибрано? А книжки як лежать? А шпильки на своєму місці? А крісло як стоїть? Рівно? Тварино ти погана! Бити б тебе... по пиці... тільки рук не хочу паскудити... Жерти з матусею вмієш, а робити, так хай, мовляв, панянка прибирає!

— Не буду! — заливалася слізьми Орися та намагалася вловити панноччину руку, але та відсунула її загрозливим рухом.

— Не буду! А це що? Чого тут в туалетних шухлядах таке безладдя? Надушилася, мабуть, помадилася, пудру брала?..

— Хай мене хрест уб'є! — божилася Орися, лякаючись дедалі все більше.

— Повірю такій поганці! Щоб завтра твого духу не було! — тупнула ногою панночка і хотіла була виштовхати Орисю за двері, та згадала про брошку.

— Стій! Я не бачу брошки! Де вона? Знайшлася?

— Ні! — прошепотіла беззгучно Орися й побіліла вже вся як стіна.

— Ні? Ха-ха-ха! Так нема її? Он як? Ага, це прегарно, чудово! Значить, підчепили з матусею?

---

* Нарутитися — виспатися.

— Катре! — з загрозою промовила Наталя й підвелася з ліжка.

Орися перестала плакати, а, широко розплющивши очі, остовпіла. Вона почувала, що неначе хтось ударив її в серце ножем та ще й повернув його в рані... В цьому болючому почуванні обпекла її образа не за себе, а за матір... За віщо її, нещасну? Вона й без того від вітру хиляється, жовта, з запалими щоками...

— Милуйтеся-бо вашою протеже! — злобно язвила, почуваючи тепер за собою силу, білява.— Вкрала брошку та й передала вкрадену річ матері.

— Та що це ти, пошукай!

— Шукала, спробуй вже ти!

Наталя почала пильно скрізь нишпорити, але, поспішаючи, рилася все на тому самому місці.

— Шукай, шукай: вона тут сьогодні лежала... Ти знаєш, що я завжди в цій шухляді кладу золоті речі, що часто в розході,— все стриманішою та стриманішою робилася Катря, накопичуючи всередині запаси злості.— Признавайся! — сіпнула вона раптом дівчину за рукав.— Скільки ти вкрала речей? Скільки передала матері?

Від несподіваного стусана Орися впала навколішки й почала руками бити себе в груди, не можучи вимовити ані слова. На личку в неї застиг вираз болісного страждання.

— Де поділа крадене? Кажи! — наступала й тупала ніжками панянка, що так любить естетику,— а то в поліцію відправлю... піймають і твою матір!

— Хай мене хрест уб'є! Нехай я матері своєї не побачу, нехай я без покаянія...— глухо бурмотіла заклинання дівчина, трясучися, як у пропасниці; потім вона раптом скочила, шатнулася до образів, схопила лампадку і рвучко випила з неї оливу,— нехай мене ця олива задавить...— якось неприродно голосно вигукувала вона,— коли я що-небудь або мама...

— Фе! Гидота! — гидливо заверещала Катря і штовхнула Орисю до дверей.— Геть, паскуднице! Щоб була мені брошка — й усе! А то завтра ж протокола!..

Орися захиталася, зробила декілька кроків назад і безсило сіла, майже впала на підлогу поночі у вітальні. Дивно: вона позбулася враз їдкого болю почуттів, потопаючи в якомусь трансі: руки й ноги в неї одубіли, в грудях здавило, в голові зашумів якийсь хаос сполоханих

думок, а проміж них катом стояло — «протокола!» З цим словом у неї злився образ закривавленого, напівживого батька.

А тим часом у панянській хаті не спинялася бурхлива сцена.

— Та її нема, й не шукай — вкрадена! — чувся Катрин голос.

— По-перше, я переконана, що не вкрадена, а закинута, а по-друге,— доносився різкий Наталин голос,— я радила б обережнішою бути з такими безпідставними обвинуваченнями: знущатися над беззахисною сиротою, звичайно, легко, але на те, щоб ображати другого, треба мати докази, а інакше — це наклеп, а за наклеп можна й відповідати!

— Прошу, без навчань,— огризнулася та,— в мене крадіжка, то я заявлю поліції, а підозрівати наймичку я можу... хай шукають, складають протокола.

Катря причинила двері, й Орисі вже трудно було почути, про віщо сестри сперечалися; та вона й не цікавилася зовсім цією суперечкою: окремі слова, що долітали до неї, майже не торкалися до її слуху. Одно тільки слово стояло перед нею, що клякло жахом, і це слово було — «протокола». Ні приниження, ні обрáзи за зведений на неї наклеп, ні болю за обвинувачення матері Орися тепер уже не відчувала, а почувала тільки всією істотою, що над нею і над її матір'ю стряслося якесь невідсувне горе у вигляді крадіжки, що за горем стоїть протокол, а за протоколом — смерть; що від нього, цього протокола, як від чуми, треба тікати. Орисю почало обхоплювати божевілля...

VI

Минула година. Замовкли голоси в панянській, погасло світло, і в усій квартирі зробилося поночі й тихо. А Орися напівлежала на підлозі в тій самій позі, вставившись очима в темряву, і раптом їй здається, ні, не здається, а вона мало не бачить, як уловили її матір і виштовхали з церкви... У матері вирячились очі, вона посиніла, ламає коло грудей своїх кістляві руки, кличе в свідки бога... але її не слухають, а волочать. «Задайте їй протокола!» — чується серед натовпу, що біжить за нею, панянчин голос, і чийсь кулак піднявся й упав на

її матір... Нещасна бабуся, підвівши догори руки, захиталася й упала на сніг, а сніг почав густо червоніти й розтавати навкруги... На передсмертний стогін її хтось відповідає реготом: «Коли б не вловили твоєї дочки, то й тебе не займали б, а тепер пропадай! Протокола!» І зривається зворушливий зойк...

Орися схопилася на ноги й почала обмацувати себе, чи не спить вона? Але ні: крізь спущені завіси невиразними формами пробиваються зеленуваті світові плями, щось прискорено стукає. Чи в неї в грудях, чи в їдальні. А лоб, це ж її лоб укритий краплями холодного поту... Раптом перед нею з усім жахом стала дійсність: ніч минає, а вдосвіта її поведуть у поліцію, пошлють по матір, зв'яжуть, і почнеться протокол... коли б над нею тільки, то дурниця — хіба мало вона терпіла? Може, це буде остання мука. Але ж мати хворі, голодні... ні! Треба бігти, не губити ні хвилини, попередити її, врятувати... Кажуть, за мостом десь Лавра... Орися, не розуміючи яскраво, що робить, викралася навшпиньках із вітальні, ввійшла до їдальні і почала помацки, затаївши дихання, проходити поміж розставленими стільцями до передпокою. Кожне скрипіння мостини, кожне шарудіння зачеплених меблів доводили її до тремтіння; нарешті вона обережно відчинила двері до своєї хати, і все ж двері заскрипіли. Орися заклякла й завмерла в чеканні; але скрізь було тихо, тільки в дальній хаті шкреблася й шаруділа полохлива миша...

Орися вийшла до передпокою, причинила двері й з полегшенням зітхнула; тут у хаті було зовсім видко: в незавішене вікно дивився блідолиций місяць і фарбував усі речі в м'які тона.

«Світ незабаром! Вже блідішає край неба!» — майнула в неї блискавкою думка.

І Орися, забувши про всяку обережність, не стямивши навіть того, що втікання якраз може навести на неї підозріння, відчинила прожогом вихідні двері й побігла вниз. Утікачка з божевільним виразом очей вискочила надвір, оглянулася й прошмигнула в напівзачинену на ланцюжок хвіртку; побачивши, що на вулиці нікого не було, вона побігла боса по брукові, завернула в уличку, пробігла ще одну вулицю, ще одну вуличку та й сіла в бульварчику на лавці під липою в холодку, щоб перевести дух. Роззявивши широко рота і вдихнувши з

напруженням повітря, вона обома руками здавлювала собі груди, боячися, щоб не вискочило серце, що так болісно тріпотіло; вона безглуздо дивилася наперед, неначе той заєць, що присів на часинку під кущем і прислухається до далеких гонів собак. Раптом вона з жахом помітила, що недалечко від неї під тінню другої деревини промайнув огник від цигарки; вона схопилася й остовпіла на мент, роздумуючи, в який бік тікати... Вогник рушив, і з-під дерева вийшов непевної зовнішності панич.

— Захекалася, красуню? Прийди, відпочинь на моїх грудях! — захихикав він хрипким голосом.— Чого витріщилась? Може, потягла що, то поділимось! — доторкнувся він рукою до дівчинки, що мало не стерялася з переляку; але дотик і відчай повернули їй сили, і вона шарпнулася від напасника вихрем вперед.

— Ух його! Держи! Злодій! — почулися вслід за нею вигуки.

Десь відгукнувся свисток. З перекрученими від жаху рисами обличчя летіла без оглядки Орися, перебігаючи безлюдні вулиці, напружуючи всі сили; їй здавалося, що за нею погоня поспішає, що лунають поза спиною свистки, і вона все бігла та й бігла, не знаючи куди й чого, не помічаючи навіть, що вже спустилася з крутої гори просто до широкої річки... У виски в неї стукало, груди з трудом дихали, в голові мутилася свідомість... але вона все ж таки добігла до складених дров, що широко розкинулися по всій набережній, і припала непритомною грудкою в узькій і темній щілині до землі.

Але ж незабаром прохолода й живлюще й вогке від річки повітря повернули до неї самопочуття, та смертельна втома не давала їй змоги рухнутися з місця; розбиті груди, руки й ноги нили від тупого болю, що розслаблював украй...

Лежить недвижимо Орися і бачить у щілину, як дві постаті бродять із ліхтарем і шукають когось поміж сажнями дров... До її слуха долітає яскраво їхня розмова.

— Кажу тобі, що злодійка сховалася тут: її треба знайти й зв'язати.

— Та де ж її поночі знайдеш? — відповідає другий голос.— Почекаємо до ранку, тоді слобідно...

Постаті відійшли, а Орисю знову жах підхоплює на ноги: вона напружує останні зусилля, вилазить із щілини і проходить набережною вперед... Поміж розкинутими

вербами тінь її непомітно пливе, а все ж Орися чує за спиною свист... але вона вже не може бігти, здерев'янілі ноги відмовляються служити остаточно... Ось спереду перед нею висить граціозно в повітрі міст... аби добратись тільки... адже ж за мостом Лавра, й мати, й порятунок...

Позбиваними, закривавленими ногами ступає нарешті Орися на цей казковий міст, плентається по мостинах, хитаючись із боку на бік, хапається за залізні поруччя, не помічаючи навіть сторожа, що, проходячи, гукнув до неї двічі, і майже падає на поміст біля другого бика.

Широка річка темним люстром чорніє в неї під ногами, то там, то тут тремтять у ній рідкі зблідлі зорі; прозорий місяць ледве хилитається в глибині, а далі на схід річка вже яснішає світлою просторою дорогою, з відбитими торочками зелених берегів, з темними плямами заснулих, нерухомих барок, з вітрилом раннього човна, що біліло в імлистій далечині. З-за цієї сизої імли сріблиться вже ясними плямами й біжить перспектива міста, що спить... Ліворуч на темній межі гір вирізаються силуети церков, і хрести їхні починають вже виблискувати золотом....

Велична картина травневого ранку, що допіру прокидався, не відбила ніяких радісних почуваннів у потьмареному погляді Орисі; її знеможене личко заховало тільки сліди жахливої муки... Голівка з розпатланою кіскою тулилася до кам'яного бика. Худорляве тіло щулилося, тремтіло під диханням свіжого вітру. Руки безвільно лежали вздовж витягнутих колін, у думках у неї стояв блідий Петрусь, а в серці щеміла туга чи до чогось незрозуміла жалість...

Раптом кроків за десять од неї за спиною щось засвистіло, а спереду з'явився другий поліцай і скрикнув, розмахуючи руками:

— Держи її, злодюгу, ось вона!..

Орися рвонулася наперед і прожогом, без усяких думок і хвилювань, ринулася з високого мосту в воду. Голова її вдарилася об виступ бика, і розпростерте в повітрі тіло з шумом і плеском зникло в хвилях річки, що розступилася широкими колами...

А радісний день загорався червоними фарбами і ніс байдужому світові нові радості та печалі...

ВЕРБА

Верба б'є — не я б'ю,
За тиждень * — великдень.

Народн. причитание

I

Эх, и хороша же речка Псел! В зеленых кудрявых берегах, словно в дорогих рамах, она ласково, тихо плывет; с правой стороны высятся над ней горы, то обрезанные желтыми кручами, то окосмаченные темной гривой лесов; левая же, ровная сторона закутана светлым пологом приречных зарослей, сизых лугов **. Русло реки в иных местах, особенно в летнее время, так узко, что чрез нависшую густую листву почти не заглядывает в него небо, отчего вода, отражая в себе темную бахрому берегов, кажется и сама темно-зеленой. Только в иных местах, на крутых изломах, где высокие заросли отходят подальше, а к реке стелются мягкие ковры изумрудной травы, стекло Псела проясняется и блещет лазурью отраженных небес... Да, хороша речка — тениста, прохладна и задумчива; многих рыбалок щедро кормит она, а иных и наделяет богатством — столько в ней водится рыбы, да и какой!.. Оттого охотно и селятся у ее безмятежных берегов рыболовы и любят ее, свою речку, душевно.

Шла четвертая неделя поста. Погода стояла ясная, теплая, с свежим запахом сырости; леса еще чернели голые, раздетые, только красноватые лозы и вербы начинали серебриться барашками; по глубоким оврагам и

* Через неделю. *(Прим. автора)*.

** «Лугом» в Малороссии называется прибрежный мягкий лес; а сенокос — луг — называется «лука». *(Прим. автора)*.

рвам лежал еще издырявленный снег, но льда уже на речке не было, и она бурлила теперь мутными водами, потопляя низины. Было уже под вечер. С нагорного местечка Белоцерковки донесся призывной звон колокола и повторился мягко на реке эхом...

Из густой заросли выплыла на середину реки лодка и направилась вниз по течению к хатке, уединенно стоявшей вблизи дуплистой вербы. На корме сидел без шапки, с развевающейся серебристой чуприной пожилой уже крестьянин, очевидно, рыбалка; на его бронзовом с запавшими щеками лице резко белели длинные волнистые усы; на его раскрытой груди неуклюже торчали выдававшиеся грудные кости и ребра, изобличая страшную худобу владельца. Напротив этого пожилого рыбалки, на гребках, сидела молоденькая дивчина, тоже худенькая, но не от болезненной истощенности, а от стройности гибкого тела; миловидное личико ее, с прекрасным овалом, тонкими чертами и вздернутым носиком, выглядывало игриво из-под накинутого на голову оранжевого платка; одни только большие карие глаза, отененные длинными ресницами, противоречили его общему выражению и вдумчиво смотрели в туманную даль.

А старик, перекрестившись на благовест, установил рулевое весло неподвижно и задумался; невеселые думы обсели его серебристую голову — сиротливая старость, нужда и лишения стояли перед ним грозно и требовали новой жертвы... А давно ли это было? На этой же самой лодке сидела жена его Настя, любовно смотрела ему в глаза, а на руках у нее лежала веселая девочка и, звонко, баловливо смеясь, тянула свои ручонки к отцу... Как тогда на душе у него было радостно! И луг, и река, и высокое небо — все улыбалось и тешило его душу отрадой... А и дома, в его богатой хате, всего было вдоволь — и в кошарах, и в амбарах, и в скрынях... Да, видно, возгордился зажиточный рыбак Остап Глыва, и господь посетил его неожиданно: когда он был в местечке, вспыхнул у него на дворе пожар, все истребил дотла, не пощадя и жены; перепуганная до смерти, пришибленная бревном, она умерла скоропостижно, оставив в живых единственную дочку Мокрину. Поехал Остап на торг богатым, счастливым, а вернулся сиротой, нищим; утопил бы он свое горе великое в омуте, да остановила сиротка... И вот он посвятил всю свою жизнь ей, заменивши собой и

няньку, и мать; так она и выросла, и расцвела в батьковой лодке... Легко ли подумать, пятнадцать лет уже минуло, а за эти пятнадцать лет все силы ушли на непосильный труд, старость подкралась... Порадоваться бы хоть перед смертью счастьем своей дытыны, да опять новое, страшное горе нависло тучей над ним: сдавил в клещах его Пуд Трофимович, пан Лубковский! Положим, когда все погорело, он первый помог ему, Остапу, и помог ему даже здорово: ссудил денег и на новую хату, и на снасть, и процент положил, кажись, не очень уж чтобы безбожный... Да только вот всю рыбу стал забирать по низкой цене... и по такой уже низкой, что никакими уловами нельзя было откупиться не только от долга, но и от процентов, так что векселя не уменьшались, а росли... А теперь еще что он задумал? Мороз по коже идет... Отведи, господи!

— Наляжь, доню,— промолвил наконец старый Остап, забирая веслом,— тут самая быстрина, стрижень.

— Не бойтесь, тату, не снесет,— улыбнулась грустно Мокрина, откидываясь далеко назад и расширяя взмахи весел.

— Смотри, чтоб рыба не выплеснулась,— заметил перегодя батько,— хорошая ведь, жалко.

— Уж правда, редко такая и ловится,— укрыла она сетью поднятый нос лодки,— лещ в лещ, фунтов по десяти штука, а короп вон вывернулся, как кабан, брюхо аж золотом отдает... На базаре бы дали по три рубля с лишком за пуд.

— Ох, дали бы,— вздохнул Остап,— а ее-то у нас наберется пудов на восемь... И на одежинку было бы тебе, и на праздник...

— Так повезем, тату,— задорно сказала Мокрина, и глаза ее сверкнули огнем,— вы станете в затоне, а я побегу покликать или жида Лейбу, или Мавру-торговку.

— Не можно, дытыно моя, не годится слово ломать, да и скрутит, как доведается... Вон смотри, возле хаты на завалинке никто, как он,— сидит и с нас глаз не спускает.

Мокрина взглянула на свою хату и побледнела: она узнала этого коршуна и, несмотря на все усилия, не могла скрыть от отца чувства ужаса и отвращения, пробежавшего по ней мелкой дрожью.

Желая перебить это впечатление, она, приставая к берегу, заметила умышленно равнодушным тоном:

— Срубили бы, тату, эту вербу, а то упадет: ишь, как ее корни подмыло,— уже вся полегла на воду.

— Нет, доню,— вздохнул батько,— коли ее заберет вода, то значит — судилось, а своей руки на нее я не подниму: верба эта ютила еще под своими ветвями мою мать, а потом меня, хлопца, а потом у нее расцвело мое счастье... Так это старое дерево нам родное,— отвернулся он и потом как-то торопливо, не поворачиваясь, сказал:— Собери ж, дочко, в мешки рыбу, а я пойду к моему пану.

II

А верба была действительно стара и держалась лишь своей оболочкой, так как середина довольно толстого ствола давно уже представляла зияющую черную пустоту, в которую свободно мог влезть семилетний ребенок; но на утолщенной, шишковатой макушке росли еще, словно торчащие волосы, молодые побеги и длинными прутьями склонялись над рекой, купая в ней гибкие, шелковистые ветви. Воробьи и ласточки любили на них колыхаться и болтливо щебетать небылицы.

Мокрина принялась выкидывать на мураву трепетавшую крупную рыбу, а потом уже вышла на берег и, вытрусив большой мешок — лантух, начала в него укладывать ее счетом, отделяя коропов от лещей.

— Здравствуй, Мокрино! — дотронулся вдруг кто-то до плеча дивчины и заставил ее вздрогнуть.

— Ой! Это ты, Лука? — улыбнулась она приветливо.— Оттяни этот лантух к вербе — сама не подыму, а другой принеси из човна.

— Ого-го-го! — побагровел от натуги стройный, коренастого сложения парень, изловчаясь приподнять лантух.— Да тут больше семи пудов будет: я семь пудов поднимаю легко, а от этого аж пот выступил. Фу-ты, да и важная ж рыба! — заглянул он вовнутрь.— И все этому кровопийце вашему?

— Все ему,— вздохнула Мокрина, укладывая рыбу в другой мешок.

— И ты в придачу к этой рыбе пойдешь? — сверкнул парубок злобно серыми глазами и побледнел.

— Може...— потупилась Мокрина.

— Что ж ты со мной робишь? — отщепил он злостно от вербы прут и изломал его в куски.

— Не тронь дерева, оно не причиной,— грустно взглянула на него Мокрина, и в больших глазах ее засверкала роса.— Только лаешься да о себе мыслишь, а другого пожалеть и не можешь! — махнула она рукой.

— Да как же жалеть, коли своей волей идешь! — швырнул он от себя изломанную ветку.— Не батько же приказывает, коли он в тебе не чует души...

— Слухай же, Лука, у пана Лубковского на батька всяких документов сила... вот он и нахваляется, коли что, скрутить батька, забить в тюрьму...

— Чи это ж можно? Целый век пил с него кровь, все знают, да еще в тюрьму?

— Ох, может, может,— покачала Мокрина грустно головкой,— и старшина приходил говорил... и писарь... Да и кто супротив пана Лубковского посмеет? Всех затянул гужом...

— И тебя затянет... и батька не вырятуешь...

— Нет, пан Пуд обещает все документы раньше вернуть, иначе не пойду.

— А батько их примет за дочку? — уставился Лука пристально в дивчину, стиснув зубы.

— Слухай, Лука,— остановила она на нем заплаканные глаза,— ты знаешь, что я тебя люблю, но чтоб я кинула себе под ноги батьков покой,— так вон видишь у этой вербы омут — скорее бы там... И если бога не побоюсь...

— А-а! — заскрежетал зубами парень.— Вот ты какая! Батьковская дочка! Ой, на погибель пхнул меня сатана спознаться с тобой!

— Эх, Лука, Лука! — всхлипнула дивчина с горьким укором.— Нет тебе, видно, дела до чужого сердца — только свое ведаешь! — уже зарыдала она навзрыд и бегом бросилась к хате.

III

А в хате шел тихий разговор между батьком Мокрины Остапом и паном Лубковским, сидевшем на почетном месте под образами.

Пан Лубковский был родом из того же местечка, сыном простого казака Лубка. Батько захотел выучить

грамоте сына и отдал его в училище. Окончивши его, Пуд отправился в Юго-Западный край и пристроился там к одному польскому помещику конторщиком, а потом экономом, вошел в доверие, стал из Лубка паном Лубковским, ополячился и начал исподволь своих просветителей грабить, пока наконец, после долгой практики, его не выгнали. Он возвратился тогда снова в свое местечко, остроился и начал заниматься ростовщичеством. Народ в нужде к нему шел, но любить не любил и звал за глаза обляшком.

— Пуд Трохимович, помилосердствуйте,— дрожащим голосом просил тихо Остап,— статочное ли дело, чтоб такие страхи влетели вам в голову? Ведь это... Господи, боже мой!.. Она дытынка... Внукой вам годна быть... Да чи можно ж в наши лета закохаться?

— А вот, проше пана, можно,— глухо хрипел пан Лубковский.— И не спится, и не лежится, все твоя дочка передо мною, не могу оторваться от ее очей — до правды! Да и не стар я,— откашлялся он в платок и, помяв, засунул его за обшлаг.— Значит, не стар, коли молодое на уме...

— Ох, грехи, грехи! — заломал руки Остап.— А ей-то как? Чи вы об этом подумали? Еще, почитай, и не расцвела, да просто в холодную домовину!

— Не в домовину, вацпане! — заскрипел Пуд, стукнув палкой.— А в роскошь да в негу!.. Собирал я целый век добро, копил, во всем себе отказывал... Ну, и хочется теперь, проше пана, пожить всласть: полюбилась мне твоя дочь своей кротостию да покорностию...— чмокал он губами и вытирал их часто платком.

— Пане Трохимовичу! Благодетель мой, добродию любый! — молил старый Остап, и в его голосе слышались слезы.— Сердце-то молодое ищет не золота, а другого сердца...

— Ах ты, старый галгане! Да у меня разве нет сердца, что ли? — зарычал Пуд.— Тебе бы, дурню, радоваться за гонор... да и сам же заживешь паном, не будешь помыкаться...

— Да распадись я прахом,— поднялся гордо Остап, и голос его окреп до отваги,— издохни я под тыном, как пес, а не польщусь на этот покой за счастье моей дытыны!.. Коли пропадать, так и пропаду, а своей дони с кручи не пхну в омут...

— Да ведь дочка твоя, проше пана, сама за меня хочет, сама! — стучал палкой Лубковский, свирепея все больше и больше.— Я говорил с твоей дочкой... она согласна, понимаешь, согласна,— вынул он табакерку и понюхал с ожесточением табаку.

В эту минуту отворилась дверь и в хату вошла тихо Мокрина; наступившая ночь не позволяла уже различить в темноте ее стройной фигуры, а только тихая поступь заставляла догадываться, что это была она.

— Согласна ли ты за меня выйти замуж? Скажи при батьке! — ошарашил пришедшую сразу Лубковский по возможности сдержанным голосом.

Мокрина не ответила. Длилось молчание. Слышно было, как ее батько тяжко вздыхал и сопел пан Лубковский.

— Согласна,— произнесла наконец она упавшим голосом едва слышно,— только если пан исполнит условие...

— Исполню, вот все здесь! — выкрикнул тот каким-то неприятным фальцетом.— Вот все здесь, и полный квит да еще кругленькая сумма на розжиток... При заручинах все передам в твои руки!

— Дытыно моя! Недоля моя! — захлебнулся Остап, но Лубковский схватил его крепко за руку и не отпустил к дочери.

— Нишкни! — прошипел он ему на ухо.— А не то!.. Спасибо тебе, голубка Мокринко, за ласку,— вдруг изменил он голос и, потрепав по плечу Остапа, игриво прибавил: — Пойдем-ка, проше пана, похвастайся рыбкой да снеси ее ко мне...

Дверь затворилась. Мокрина осталась одна и, постояв с минуту в оцепенении, повалилась перед образом в горячей безмолвной молитве.

IV

Лука было кинулся за Мокриной, когда та побежала к хате, но, сорвав с головы шапку, бросил ее оземь и остановился.

«А-а! — схватил он себя за виски.— Не сносить мне буйной головы, но и тебе, чертов обляшек, не владать Мокриной! Правду сказала дивчина, что не заступаюсь: до сих пор ведь точно с досады ничего я не делал, а только пилил докорами ее, безвинную... А и то — за

батька она погубит себя... але батька-то как вырвать из рук этого аспида — и не придумаю?»

Сел снова Лука под вербой и начал нервно тереть себе лоб да руками сдавливать голову, словно желая выжать из нее для себя пораду.

«Эх, кабы у меня гроши! Швырнул бы их в глаза ему, клятому, выкупил бы батька Остапа, да вместе и стал с ним хозяиновать и рыбалчить... А Мокринка б нас ласкою согревала да улыбкою светила б нам в хате... Эх, доля! — дернул он себя за чуприну.— Поклониться хиба ему? Поваляться в ногах? Так разве этот кремень сглянется? Ему бы только корысть да барыш!.. Что ж, коли на то пошло, запродам ему свою силу,— у меня-то ее на троих выстачит... А если ему заманулось греха? Ведь этот зверь не пощадит никого... Ну, тогда уж не прогневайся!»

Встал энергично Лука и пошел понад Пселом охладить на просторе жар, охвативший огнем его сердце. Побродивши по берегу, он подумал было подняться на гору к шинку и опрокинуть осьмушки две горилки на свежую рану, да захотелось ему утешить хоть словом Мокрину, которую он напрасно обидел. Лука вернулся вновь к старой вербе, но застал там возле мешков Мокрининого батька и пана Пуда.

— А вот и кстати...— заметил Остап,— помоги мне, Лука, отнесть пану Лубковскому вот тот лантух с рыбой, а этот меньший я сам дотащу...

— Да, помоги, хлопче,— отозвался и пан,— подякую.

«Ну, вот и горазд»,— подумал Лука и взвалил лантух на спину.

Долго, с остановками и передышками, поднимались наши носильщики на гору к местечку, где около крайней лавки Лубковского он и велел свалить мешки, приказав сидельцу отпустить Остапу всякого товару на пять рублей, а Луке приказал за собой следовать. Проплутавши по узкой тропинке между зарослей и кустов, они достигли наконец высокого частокола с крепкой брамой. Раздался страшный лай собак и лязг десятка цепей.

Вынув из кармана ключ, Лубковский отпер калитку, пропустил в нее парубка, а сам вошел за ним вслед и запер ее снова на ключ. В небольшом дворе, застроенном амбарами да рублеными коморами, у каждой двери прыгало на привязи по разъяренному псу, а на длинной

веревке, протянутой через весь двор, бегал на подвижной цепи огромнейший злющий бульдог, не доставая до входных дверей в домик на пол-аршина, не больше.

По-под стенкой пробрался вслед за Пудом Лука и вошел в какую-то комнату; Лубковский остановил его здесь в темноте, а сам прошел в боковую дверь, зажег там свечу, повозился и через несколько времени возвратился назад с рюмкой водки в одной руке и с старыми рукавицами да свечой в другой.

Лука выпил чарку горилки, а от рукавиц отказался.

— Спасибо, коли так, за услугу,— обрадовался хозяин.

— А я до панской милости,— поклонился низко Лука; он дорогой уже решил приступить прямо к своему делу, да вот начал и осекся...

— А что там, проше пана? — поморщился немного Лубковский, подумавши, что парень хочет вместо рукавиц больше сорвать.

— Да вот,— запинался и заикался Лука,— сдумалось мне ослобонить Остапа Глыву, дак отдайте мне, пане, все его, стало быть, документы, а я отроблю за них, что положите: у меня ведь больше силы! — расправил он плечи.

— О? — изумился Лубковский, отступая на шаг и смеривая просителя взглядом.— Да тебе, проше пана, какое до него дело?

— Жалко! — тряхнул головой Лука.— Целый век он в ярме працевал, теперь уже из сил выбился, только кожа да кости...

— А-а! Ты сердобольный такой? — прищурил глаза пан Пуд.

— Вскоре свалится, маракую себе, так и пану корысти нема...

— Ага! И меня пожалел? — захихикал ехидно Лубковский.

Лука, переминаясь с ноги на ногу и наморщив брови, смотрел на носок своего сапога, а пан Лубковский зеленел от поднимавшейся злости, а когда его небритое морщинистое лицо зеленело, то нос багровел и синел... Длилось молчание.

— А не за Мокрину ли ты, проше пана, думаешь ему прислужиться? — нагнулся наконец к нему хищно Лубковский, поднявши даже для лучшего наблюдения свечку.

— А хоть бы и за Мокрину! — встрепенулся словно ужаленный хлопец, сверкнув вызывающе на пана глазами.

— Гм! Гм! — зашамкал Лубковский и после паузы спросил хриплым голосом: — Свататься хочешь?

— Так, пане! — еще смелее и громче ответил Лука; у него уже кипела на сердце смола.— Мы давно с дивчиной любимся.

— Лжешь, блазень! — почернел даже Пуд.— Мокрина меня любит и за меня идет замуж!

— Ха-ха-ха! — рассмеялся нагло Лука, теряя самообладание.— Любит? Да хиба она навеки дурна, чтоб закохаться в такого шкарбуна-дида? Батька хочет выкупить из неволи...

— Цо-о? * — зарычал в неистовстве пан Лубковский и бросился с кулаками было на Луку, но последний осторожно отвел его своей железной рукой и, подымая высоко богатырскую грудь, процедил тихо сквозь зубы: — Обережней, пане, чтоб греха не случилось... С меня по згоде хоть веревки вей, а коли за сердце зачепишь, так оно уже надо мною пан, и что прикажет, то и сделаю... За силу же мою, може, слыхали? А то вот на память! — и Лука взял стоявшую в углу толстую железную кочергу и согнул ее обручем.

Лубковский отшатнулся к дверям и осмотрелся кругом; никого не было в домике, кто бы мог прибежать на помощь: перед ним стоял страшный зверь с сжатыми кулаками, с налитым кровью лицом и расширенными от внутренней бури ноздрями. Ушла душа пана Лубковского в пятки, побледнел он как стена и дрожащим голосом попробовал отшутиться:

— Молодец, проше пана, таких парней люблю... Коли горячий, значит, и до работы горячий... Только вот кочерги не след было портить... или меня тоже старостью попрекать... А Мокрину, коли она с тобою... хе-хе-хе!.. слюбилась, так и бери, мне что? Я не насилую, за кого хочет... хе-хе-хе!.. за того и пойдет...

— А батьковские документы? — мрачно спросил Лука.

— Документики? — понюхал взатяжку табаку пан Лубковский и крякнул, утершись платком; он уже начинал оправляться, заметив, что парень, тяжело вздох-

* Цо — що (*польськ.*).

нув, опустил снова голову.— Что ж? Посчитаемся, проше пана, порахуемся с Остапом, и если он согласится... без его же согласия этого сделать, проше, нельзя! Ты вот ступай себе с богом, а я тут пороюсь да соберу их,— в голове же у Лубковского стучала одна только мысль: «Ничего не пожалеть, а общественным приговором сплавить Луку в Сибирь».

А Лука стоял все еще в нерешительности, не зная, что предпринять.

— Что ж, хлопче, добраночь,— повторил Пуд.

Почесал себе затылок Лука и снова поклонился низко:

— Простите, пане,— тихим, упавшим голосом заговорил он.— Если что не до речи... уж больно тут запекло! — ударил он себя кулаком в грудь.— Коли не тронете Мокрины, рабом вашим буду до смерти. А коли нет — так и каторги не побоюсь!

— А, дай покой, хлопче, бог с ней! То я пошутил,— отворил он приветливо дверь и, выпроводив опасного соперника за калитку, запер ее на замок и спустил собак с цепи.

V

На другой день отправился пан Лубковский к старшине и, затворившись с ним да с писарем в хате, долго вел таинственную беседу. Старшина, находившийся в лапах у пана, старался его угощать и чаем, и наливкой, но на предложение Пуда Трофимовича только разводил руками, находя его невозможным; не мог ничего солидного придумать и писарь. Наконец порешили на том, что Лубковский подаст заявление о покушении Луки Бережного на поджог и на его жизнь, а старшина арестует временно покусителя, пока Лубковский наймет себе нужных свидетелей. Так и сделали: нежданно-негаданно был схвачен Бережный и посажен в холодную.

Но пан Лубковский опрометчиво понадеялся на свои грóши: к кому он не кидался, даже к своим безмолвным, скрученным расписками, жертвам, а на такой грех не подбил никого. Старшина, не получая веских улик, должен был наконец выпустить Луку, прочитав ему для острастки нотацию.

Молча выслушал ее Лука и, не проронив слова, пошел из волости к своему приятелю, Сидору Верызубу, бывшему писарю-доке, находившемуся в контрах с сельским начальством.

— А! Панский арестант, здоров будь! — обнял тот Луку по-товарищески.— Что? Выпустили? Налякались? Тут ведь, брате, задумал было тебя этот перевертень в места Сибири сплавить!

— Ишь, дьяволы! — ударил кулаком по столу Лука.— Опозорили, пустили на все село славу... да чтоб так им минулось? Вот перед образом клянусь — нет! Слухай, Сидоре, я к тебе, как к брату, зашел, потому что один ты у меня... Дороги этой дальней, сибирной — не миновать мне; на роду, знать, написано! Так вот ты отнеси Остапу Глыве, что сберег я, да скажи Мокрине...— замялся он и начал вынимать из-за пазухи какой-то сверток.

— Стой! Не развертывай! — остановил его Сидор, глядя ему в глаза.— Что ты задумал? Нехороши у тебя очи... признавайся!

— Да что ж крыться... ты не выдашь. А задумал я покончить с моим лиходеем.

— Что ты? Перекрестись! — отступил в ужасе Сидор.

— Не так за свою обиду, как за Мокрину... Уж если пропадать мне, так хоть ее спасу.

— Вон оно что,— протянул растерянно Сидор,— так из-за дивчины это дело и вышло?

— Из-за нее! — вздохнул глубоко Лука и рассказал отрывочно, с недомолвками про свою любовь, про насилия над Остапом Лубковского и про самопожертвование Мокрины.

— Так неужели ты хочешь из-за этого падлюги заковать свой век молодой?

— Коли другого выкрута нет...

— Овва! — уже весело щелкнул языком Сидор.

— Есть способ? — ожил, схватился Лука и, подбежав к Сидору, стиснул ему руки.

— Ой, ну тебя к черту! Отдавишь! — замахал тот руками.

— Скажи, посоветуй, порадь! Век буду помнить, и детям, и внукам...

— А ты вон пошли кого к Лейбе за квартой, так что-нибудь и придумаем, а то сухая ложка дерет рот,— смеялся Сидор.

Вскоре появилось на столе у Сидора две внушительных фляги горилки, полдесятка тарани да миска соленых огурцов.

Когда несколько рюмок ледащицы уравновесили расположение духа товарищей, тогда наконец приступил Сидор к нетерпеливо ожидаемой Лукой пораде.

— Видишь ли, друже,— уверенным тоном начал приятель,— пакостей тебе этот обляшек сделать не сделает: громада тебя знает и в обиду не даст... Значит, погибать из-за пса было бы уже чисто дурницей, а вот проучить этого перевертня добре, да так, чтобы никто и ногтем не уцарапнул за то,— так это следует!

— Эх, с радостью бы! — потер себе руки Лука.— Да как же?

— А вот как: завтра вербная суббота, а весь мир хрещеный и пан даже Пуд верно знает, что в этот день и закон требует погладить святой вербой всякого, а особенно того, кто не был в церкви, погладить с добрыми пожеланиями, приговаривая: «Верба б'є — не я б'ю» Так кто помешает тебе пойти с молодцами и поздравить с вербной субботой почтенного пана?

— Сам бог тебе такую думку натхнул! — вскрикнул восхищенный Лука.— Только вот у него запоры и псы.

— Пособим,— улыбнулся Верызуб,— у меня там есть хлопчик-приятель, сын его куховарки,— он услужит: я ему для псов дам пампушек, а калитку он отопрет.

— Поздравим! Поздравим! — ходил энергично, весело по хате Лука.

— А насчет Остапа тоже не бойся,— продолжал Сидор,— в тюрьму теперь за долги не садят, да еще за такие шахрайские; коли пойдет дело на суд, так найдутся и свидетели, не такие, как они искали, а настоящие, справедливые.

— Ой ли? Да чи правда ж тому? — не знал уже, что и делать от радости Лука.

— Как перед богом! — даже перекрестился Сидор.— Так вот моя рада: женись на Мокрине, обзаведись на свое имя хозяйством, прими к себе Остапа, а пану зрадныку подсунь под самый его расписной нос дулю.

Долго толковали приятели и обнимались сердечно. Только поздней ночью вышел из хаты Верызуба Лука жизнерадостный да счастливый и затянул грудным голосом на просторе:

Ой не шуми, луже, зелений байраче!
Не плач, не журися, молодий козаче!

VI

В субботу, рано утром, стоял уже у вербы Лука, дожидая радостно своей дивчины.

Вышла Мокрина по воду с ведром, да как увидала своего ненаглядного сокола, вскрикнула, бросила ведро, да так и повисла у него на широкой груди, прижимается, вздрагивает да причитает, рыдая:

— Любый мой, радость моя! Что мне делать, что мне начать? И батька — господи — как жаль, и за тобой сердце разрывается!

— Не тужи, не журись, моя краля! — прижимал ее к сердцу Лука.— А богу молись! Не дам я тебя в обиду, ни тебя, ни твоего батька!

— Как же это? — взглянула она испуганно на него своими ясными, большими глазами.

— А вот увидишь! — улыбнулся Лука и молодцевато сдвинул набекрень шапку.— Одним словом, не журись! Дозволь только к сегодняшней вечерне нарезать немного вашей вербы; она, говорила ты, для вашей семьи была утехой, так посвятить бы ее след.

— Режь, голубе мой, для святого дела, только не всю.

И Лука, весело болтая, выбрал штук семь хороших, довольно толстых ветвей и поволок их на цвинтарь.

Когда солнце, обогрев лаской землю, закатилось за гору, раздался торжественный благовест, и все поселяне в праздничных одеждах пестрыми волнами потекли в церковь. Там уже кругом нее на погосте лежала кучами верба и лоза; возле каждой кучки стояла особая группа молодежи. Прихожане, разобрав вербу, внесли ее в церковь, а Лука со своей поместился у самого входа.

А пан Лубковский, неодетый, небритый, мрачно сидел в своей неприветливой, заваленной всякой дрянью светлице и думал печальную думу. Вся эта история с Мокриной и Лукой потрясла его и сразу осунула: сбыть этого лихого соперника он не мог, а при нем какая утеха в Мокрине?

В это время почудилось ему, что заскрипела входная дверь и торопливые шаги раздались на крылечке. Схватился пан Пуд и застыл на месте:

«Что б это значило? Кто б посмел? Впрочем... не слышно собак... Верно, Горпина!» — начал было успокаи-

ваться он. Но нет! Отворилась в передней дверь, слышен смелый стук мужских сапог.

— Кто там? — не своим голосом крикнул Пуд и подавился, язык одеревенел, скорчились судорогой губы.

— Это мы! — злорадно произнес Лука, отворяя дверь.— С праздником пришли поздравить.

С Лукой вошло в светлицу еще шесть парубков; у всякого было в руке по доброму пруту «свяченой» вербы.

Пан Пуд стоял неподвижно, трясясь, как осиновый лист; ужас раскрыл ему широко беззубый рот и глаза.

— Что ж, поздравляйте, хлопцы! — заметил Лука.

Подошел первый парубок и, произнеся набожно: «Верба б'є — не я б'ю!» — хлестко стегнул по спине пана лозиной.

Пан еще шире раскрыл глаза, но не мог даже крикнуть от перепугу, а парень продолжал причитать:

Верба б'є — не я б'ю,
За тиждень — великдень!
Будь здоров, як вода, і багат, як земля!

За каждой фразой отвешивал он оцепеневшему Пуду добросовестные удары. Сорочка в двух, трех местах прилипла к спине и треснула, а парень вежливо поклонился и, промолвив в конце: «С вербною субботою будьте здоровы», скромно отошел к сторонке. Приблизился второй парубок.

— Караул! Езус-Мария! Режут! — закричал наконец Пуд Трофимович и бросился было к двери, но хлопцы заступили дорогу, а Лука спокойно ему сказал:

— Не кричи, пане, и не надрывай даром глотки, в дворе у тебя никого нема, а до местечка с полверсты доброй... Да мы же и не грабить пришли, а по-христиански поздравить святой вербой, как везде в родном краю водится... Ты вот, пане, обляшился, свой народ не возлюбил, и в церковь свою перестал ходить, так мы и пришли напомнить тебе и великое свято, и наш честный, обычай.

Раздалось опять в хате «Верба б'є — не я б'ю», а за ним и свист, и хлесткий звук гибкой вербы...

Взмолился наконец пан Пуд, стал пощады просить:

— Смилуйтесь, на бога! Пустите душу на покаяние!.. Не выдержу я такого поздравления!.. Ой, больше не выдержу! Проше пана... стар я, слаб!..

— Пан Пуд жартует, хлопцы,— улыбался Лука.— Какое он стар, коли на Фоминой неделе женится!

— Не женюсь, будь я проклят! Як маму кохам! Простите меня, хлопцы! — всхлипывал пан Лубковский.— Берите все, только не истязайте!

— На что нам нужно чужое? — отозвались парубки.— Мы не такие, чтоб поласились на сиротское да на вдовье...

— Вот квытки и расписки вдовы Ткачихи, сироты Рубця, дида Грача... возьмите,— швырял он.— Я им дарю все на Христов день.

— За это спасибо! Это по-христиански! — поклонились поздравители.

— Что же, братцы, нужно и мне шановного пана поздравить,— вышел вперед Лука,— пан так обо мне заботился.

— Лука! Пощади! Бога бойся! — задыхался в ужасе пан Лубковский.— Прости! Каюсь! Вот все документы Остапа...— протянул он ему кипу бумажек,— отдай ему... будь счастлив...

Опустил вербу Лука; что-то горячее шевельнулось у него в сердце:

— Прости, пане, и нам! С праздником святым,— сказал он,— будь здоров... хай он тебе сердце согреет! А за Остапа век дяковать буду... хоть запрягай теперь!

Всхлипывал Пуд, как ребенок, утирая уже не платком, а кулаками глаза.

. . . .

Не жаловался никому пан Лубковский, а притих совсем и подобрел к народу, который с того времени перестал называть его обляшком, а стал величать паном Вербовским.

А Лука повенчался с Мокриной в то же Фомино воскресение. Свадьбу сыграли на славу! Сидор напился до смерти, расточая пожелания парочке, старшина и писарь тоже качались из стороны в сторону, даже и от Пуда Трохимовича молодым был прислан подарок... И зажили ж они счастливо да любовно! Остап расправил свои наболевшие кости, нянчил внуков и часто-часто от избытка сердечной радости смахивал с седых ресниц слезы... Старая верба таки в воду свалилась, но Лука из ее побегов засадил целую рощицу возле хаты, а заповедная, святая ветка старой вербы висела всегда у них за образом Христа-спаса и хранилась в роду как святыня.

«ДОХТОРИТ»

Только что сгустились сумерки над затерявшимся в глухой балке селом; мокрый, лопастый снег закрывает белесоватою пеленой покосившиеся и потонувшие в грязных сугробах хатки. Стояли они беспомощно и угрюмо, как нежилые пустки, неотогретые приветливым огоньком очагов, хотя в воздухе и слышится гарь от навоза. Глухо и пустынно кругом: ни лая собаки, ни человеческого говора — словно все вымерли или уснули непробудным сном. Только в крайней хатке, почти вросшей в землю, сквозь залепленные снегом оконца тускло мелькают красноватые пятна. В ней за убогим столом сидят две женщины: одна молодая, с бледным, измученным лицом, с темными красивыми глазами, в которых застыло выражение какой-то безнадежной муки, а другая — старуха. Слабый свет от каганца, стоящего на карнизе печки, освещает только середину хаты и отбрасывает от этих двух женщин неуклюжие, расплывающиеся тени по стене и потолку; в углах же хаты стоит мрак. Тут же, возле молодой женщины, лежит на полу *, на грубых подушках, прикрытый рядном четырехлетний ребенок; по разметанной позе, по пылающему личику, по тяжелому дыханию видно, что он лежит в тяжком забытьи.

— Что мне начать в свете божьем, куда броситься — и ума не приложу! — говорит тихим, дрожащим голосом молодица.— Один ведь он у меня, бабусю, как сердце одно... Что его отнять — что сердце из груди вырвать!

Глаза у молодой матери полные слез, но они не набегают на длинные изогнутые ресницы, а только блестящей поволокой покрывают зрачки.

---

* Род низких полатей. *(Прим. автора)*.

Старуха подперла морщинистую щеку ладонью и, облокотясь локтем на другую руку, качает головой, повторяя уныло:

— Кто-то сглазил тебе сынка твоего, дочко.

— Да кто бы? Никому я, кажись, зла не учинила... Вот разве Ткачиха?.. Так, так, она!.. Никто, как она!.. Приходила занять творогу, а у меня его осталось с горсть, не больше; ну, и пожалела я, правда... Думка была побаловать своего Ивасика вареничком,— а она аж зашипела, так разъярилась: хлопнула дверьми и крикнула: «Ой, смотри, чтоб эти вареники тебе боком не вылезли!»

— Ну, вот видишь... Только с чего бы это она по сыр пришла, ведь у них же была своя корова?

— Ой, лелечко! Да хиба и у нас не было? Дак ведь горе-то какое сталось! — даже оживилась молодица при воспоминании об этом горе.— Пала корова у Бублия, а потом еще через неделю подохли бычки и Свырида... Ну, что ж? Ничего и дивного нет. Господь нас наказал пашей... Как пошли дожди день у день, и сено погнило, и солома на корню почернела.

— Ох, ох! — вздохнула старуха.— И у нас на хуторе просветлой годинки не было... Только вот что у нас бугры.

— Ну, а у нас низы... Пошли к осени недостатки, начался голод... Много за харчи пошло служить... а тут и скотинка от бескормицы стала болеть. Ну, собрали сход, дали знать старосте, чтоб по начальству — помощь какую: либо деньгами, либо из запасного магазина... Так их сюда и налетела целая свора: и земский, и веринар, да еще земский рвач.

— Какой такой рвач? — всплеснула старуха руками.— Что ж он грабит, что ли, рвет все, что его так дразнят?

— А как же, бабуся! Грабит... оттого так и бранят. Ну, вот наехали, пошли по хатам, по хлевам... с этим рвачом-то, чтоб ему пусто было, осматривают скотину. Кричит этот рвач: «Сибирная скотина!» Чи ее нужно забрать в Сибирь, чи в резницы, кто их ведает?.. Согнали это разную скотину к шинку,— говорят, хворая... Ревет она ревом — беду чует, а и бабы голосят, детвора кричит... Такой сум да плач! Хозяева было вздумали не давать, так начальник кричал, что, мол, дурные вы хохлы, вам за ваш скот заплатят, а хворых нужно палить.

— Ну, ну? — вся обратилась в слух старуха.—Мы вот и не слыхали про такое.

— Что ж, поплакали, поломали руки, а скотинку отдали, потому — порядок! Так ее и погнали. Здоровых коров по-ихнему оказалось только две, да и то яловые... Наше волостное начальство за скотинкой пошло, ну и жиды... Кто их знает, откуда и взялись!

— Ой, господи! Так вы все так и остались без вола, без коровушки?

— Ани рога!.. Да и денег не шлют еще. Все говорят в волости — жди да пожди, покамест бумага придет... А мы ждали, да и жданки поели... Вот в ту самую пору Ткачиха и скажи мне такое слово. Что ж бы вы думали? На другой день, вот на этой неделе в четверток, встал мой Ивась свеженький, как огурчик, и отпросился на скобзалку, что возле Ткачихи. Ну, вечером приходит — мокрый... Говорит, что толкнули его в корыто с водой. А к утру у него огневица — так и пышет... Жалуется все на горло... Чего-то я ни делала — бураки клала к вискам, запаривала шейку ему, горшок на животик скидала, поила крещенскою водой — ничего не помогает, все мечется, стонет, царапает себе горло ручонками. Вот послала чоловика к старосте, чтобы до дохтора знать бы дал, либо что.

— Ох, донечка моя! — закачала отрицательно головой старушка.— Спаси тебя Христос, не допущай дохтора: ведь это через них и пошла хворость на детей,— они, они напустили!.. Так и зовется хворость «дохторит» *, так и косит детвору, так и косит!

— Ой, боженьку мой! — забилась молодица в испуге.— Так и есть, так староста и сказывал... что если, говорит, дохторит, так чтоб сейчас беспременно по доктора, потому, выходит, эпитемия.

— Как же не эпитемия, коли настоящая покута? Как только наедет это дохтор, так зараз и дохторит... а ты вот, коли сынка печет в горле и в нутре, так обложи снегом и шейку и грудку, растает, а ты другого свеженького, да переверни сорочку пазухой назад, да дай ему меду с хреном... а то и молочком тепленьким напоить бы, только что вот у вас коровы бог даст, а у нас на хуторе, слава богу, аж три есть.

---

* Дифтерит. (*Прим. автора*).

Стон ребенка прервал беседу; он заметался, захрипел и задушевным голосом начал просить с плачем у матери воды. Мать и старушка бросились к больному.

В то время в старостиной обширной, хорошо обставленной хате заскрипела робко сенная дверь. Староста как раз восседал за столом с дьячком-приятелем и пил чай; был он в одной белой сорочке, без свитки и без медали; распущенный пояс едва у него держался на бедрах. На столе стояли самовар, керосиновая лампочка, миска с капустой и солеными огурцами, а за всем этим стыдливо прятался штофик. По обильно катившемуся поту с чела старосты и по частому вытиранию дьячком своего возлобия можно было заключить, что дружеская беседа велась усердно.

— Кто там? — оглянулся недовольно староста на скрип двери, хватаясь инстинктивно рукой за кафтан, украшенный регалиями.

— Я... Харчук Дмитро,— робко ответил вошедший, отряхивая украдкой снег с своей свитки.

— А! — промычал староста, бросая угрюмый взгляд на дерзкого нарушителя начальнического покоя.— Так и лезет, свинья... Не знаешь порядку?.. Не мог отруситься в сенях? Ну, чего тебе в такую пору?

— К вашей милости, не прогневайтесь... Сысой Гаврилович,— запинался вошедший крестьянин.— Я бы не осмелился, так коли — скрут... *

— Не весьте убо ни дня, ни часа, дондеже...— изрек величаво дьячок и, освободив косичку, полез за огурцами.

— Так-то оно... гм! — кивнул староста.— Одначе не мажь... что там?

— Дытынка у меня занедужала... на горло... Жинка вот что ни делала, так не пособляет... Нельзя ли к дохтуру...

— Что-о? — даже выпрямился староста.— Стану я для твоего хлопца беспокоить кого?.. Да в такую погоду добрый хозяин и собаки не выпустит, а он еще по дохтура! Вот разбалованный народ... ни порядков, ничего знать не хочет! — развел он руками.

---

* Безысходное положение. (*Прим. автора*).

— Н-да,— кивнул головою дьячок,— разбалованный... охладел и к церкви, и к благостыне... Во время оно так первое бы дело к батюшке во скорбех — за молитвой, за водосвятием, а теперь пренебрежительно... дохтура! Ох, ох, ох!.. Все сие зло от школьного учения, именно!

— Совершенно... А и то возьмите в резон — как мужве немытой втолковать, что, примерно, земский рвач может приехать только для пидемии... Понимаешь ты, необразованная тварюка,— для пидемии... порядок такой! А как хочешь сам, так бери записку от фершала... и вези...

— Чем же я виноват, что нет пидемии,— воскликнул крестьянин.— Сынок у меня один-одинешенек... жалко...— давился он слезами.

— Ну, ты еще молодой,— как-то тихо заговорил староста,— еще того... придбаешь...

— Смилуйтесь... Сгляньтесь! — взмолился наконец Харчук, чуть не падая старшине в ноги.— Одно ведь... жалко! — пошатнулся он и закрыл полою глаза.

Такое горе тронуло, видно, даже и старосту: он посмотрел уже человечнее на просителя, вздохнул, как-то особенно крякнул и пошел, не сказавши слова, в кимнату.

— Что ж, Дмитрие,— поскреб себе в волнении бороду дьяк,— все в руце божией. Пригласи на требу... акафист ли, молебен ли... ведь он,— поднял перст дьяк,— единый врачеватель... а ты приди поклонись.

— Нечем поклониться-то, панотче...— вздохнул безнадежно крестьянин,—оттого и боязно.

— Ну, вот...— вышел из комнаты староста с какой-то бумажкой,— прочти ему, дьяче, чтоб он знал, как начальство.

Дьячок вынул окуляры, скрепленные какой-то веревочкой, отер их тщательно полой своего кафтана и, утвердя методически на носу, начал читать:

«От волостного правления всем сельским старостам оповещение. На основании предписания господина земского начальника предписывается неукоснительно старостам и сотским, что ежели в котором селении появится эпидемия дохторита, то чтобы без промедления давать знать у волость и врачу, дабы последний мог своевременно прибыть с сывороткой, которая употребляться будет не токмо для больных, но и для здоровых детей, во ограджение эпидемии, или же, чтоб привозил который

записку от фершала для получения сывороточного пособия...»

Дьячок снял очки, сложил бумагу и, наливши рюмку «монополии», поспешил очистить свой голос.

Дмитро Харчук с трепетом сердца прислушивался к этой бумаге, он ждал, что авось найдется в ней какое-либо слово, которое спасет его сына, беспомощно метавшегося на подушке в холодной хате, но как он ни прислушивался к громко выкрикиваемым словам, а ничего не понял; его только поразили два слова: враждебное для его интересов «пидемия» и знакомое, показавшееся ласковым,— «сыворотка».

— Вот видишь ли! — сделал убедительный жест староста.— Бамага, порадок, кто же что может супротив бамаги?

— Да смилуйтесь, ваша милость! — начал было Харчук, но, убедившись и сам в бесполезности просьбы, только махнул рукой.

— Чудной ты, ей-богу, человек! — почесал староста чуприну.— Сказано ж, что когда пидемия, давай знать, а нет пидемии — сиди и пей чай.

— Н-да, если б это пидемия приспела! — потер себе дьяк руки.

— Конечно, если пидемия, а то одно, понимаешь, как тебя не жалко, а одно — не пидемия; пятеро, десятеро, ну, другое дело!.. Ты попробуй найди в Дмитровке хвершала да возьми записку на сыворотку.

— Где же искать? — протянул тоскливо Харчук.— Его, почитай, и дома не бывает, а до Дмитровки верст пятнадцать.

— Ну, а мне что? — кинул староста.— Без хвершала — нельзя записки, без записки — нельзя до дохтора, без дохтора нельзя сыроватки... такой порадок. А сыроватка, значит, средствие и для хворых, и для здоровых, а без нее шабаш! Ну, а теперь знаешь какие времена — поищи коровы? То-то! А ты вот думаешь так сразу. Ты хоть сдыхай, а без бамаги нельзя утруждать начальство. Разумеешь — возбраняется!

Но Харчук уже и не слушал рацей своего старосты: он понял, что в «сыроватке» находится чудодейственная сила, и, точно оживши от надежды, торопливо поклонился старосте и дьячку и зашагал быстро к своей хате. Дома застал Дмитро, кроме бабуси, еще Мокрину, Шпа-

чиху и Настю Глевтякову — своих дальних родственниц и соседок, обремененных большими семьями.

Составился семейный совет. В сыворотку, как в лечебное средство, свое домашнее средство, все сразу уверовали: ведь всем, например, по опыту было известно, что сыровец * очень помогает и в горячечном жару, и в похмелье... Но вот вопрос, где этой сыворотки достать? Идти в Дмитровку, а оттуда к доктору, верст еще десять, было безрассудно. Оказалось, по справкам, что в хуторе, где жила бабуся, можно было ее раздобыть, и до хутора было верст восемь, не больше. Утром бы пойти, по видному, и ничего, пустяки; но ночью, во вьюгу? Да и кому идти? Дмитро, конечно, пошел бы не задумываясь, но он совсем там чужой. Не сумеет, пожалуй, и разведать, где у кого попросить... Так зря, без денег, пожалуй, и не дадут... Бабуся? Но когда она добредет?

Между тем ребенку становилось хуже: жар усиливался, дыхание спиралось, он схватывался в беспамятстве с подушки, обводил всех большими, полными ужаса глазенками и с бессильным стоном падал и метался по своей жесткой постели.

Бабуся зажгла страстную свечу перед образом. Соседки как-то многозначительно замолчали. Растерявшаяся, изнемогшая от страданий мать то припадала к своему ребенку, ласкала его, прижимала к груди, то склонялась на колени перед образом, не произнося ни одного слова молитвы, то кидалась как-то беспомощно по хате... Наконец она выпрямилась, встряхнулась и произнесла решительным голосом:

— Я иду зараз в хутор за сыроваткой!

Напрасно было отговаривать ее от этого ужасного путешествия — она никого не слушала, а торопливо одела кожушанку, поймала в сенях курицу и, попросив бабу доглядеть без нее несчастного Ивася, перекрестилась и вышла за дверь. Само собою разумеется, что и Дмитро пошел вслед за своей женой.

К утру как будто легче несколько стало ребенку; хотя хрипы в горле не уменьшались, но сам он как-то спокойнее стал лежать, только грудь у него еще конвульсивнее подымалась да лицо синело.

---

* Род кислого квасу. (*Прим. автора*).

Соседи с раннего утра пришли в хату и привели еще своих сынишек и дочек, чтобы проведать больного, а тайным умыслом у них было раздобыть и себе сыворотки, напоить и свою детвору — для безопасности.

Только в раннюю обеднюю пору вернулись Харчуки; молодицы нельзя было узнать — так она была бледна и измученна. Она только глянула испуганными глазами на своего сына, заметила, что дитя дышит, и, передавши драгоценную ношу — горшочек сыворотки — бабусе, повалилась, почти теряя сознание, на лаву... Баба и соседки сейчас же приступили к больному дитяти, чтобы напоить его целебным чудодейственным средством. Одна приподняла ребенка под плечи, другая стала придерживать его голову, а баба принялась поить. Но Ивасик, этот шустрый огурчик, теперь никого не видел, ничего не слышал и вряд ли что сознательно чувствовал; помутившиеся зрачки его глаз неподвижно стояли, головка падала безвладно, из широко раскрытого рта вырывалось со свистом гнойное дыхание; губы были изъязвлены трещинами от жару. Как ни приспособлялись баба и молодицы залить больному в горло сыворотку, но она выливалась обратно и причиняла лишь мучительные спазмы страдальцу.

— Нет уже,— после долгих опытов отвела наконец горшочек от ребенка старуха,— не пить ему... не проглотит... еще захлебнем... чего доброго!.. Пусть он уже лежит на божьих руках!

Оставили в покое больного. Соседки, воспользовавшись этим обстоятельством, напоили оставшеюся сывороткой своих детишек и поспешно разошлись по домам.

В полдень скончался ребенок; он все время лежал неподвижно, безвладно; только в последний момент агонии он конвульсивно схватился руками за горло и прохрипел сознательно: «Мама! Ратуй!» — да и замолк навсегда.

Благо, что мать не слышала этого последнего крика: она спала бесчувственным сном. Бабы стали сами обряжать Ивасика в далекую дорогу.

А к вечеру и все соседские дети слегли от такой же болезни и всполошили весь закуток. Сотские доложили старосте, и он, несмотря на усилившуюся метель, должен был побрести по селу освидетельствовать больных.

Выходя из хат, староста почесывал затылок и говорил сотскому:

— Придется... того... стало быть?

Наконец он завернул и в Харчукову хату. Ребенок уже лежал на лаве в чистой сорочке с голубой лентой, со сложенными на груди ручонками. Мать все еще бессознательно лежала на лаве, а отец с бабой, словно окаменелые, как-то бесчувственно стояли возле своего любимца Ивасика.

— А, уже! — промычал сконфуженно староста.— Ну, вот теперь порадок...— словно с оправданием обратился он к Харчуку.— Теперь видно, что пидемия, стало быть, можно и беспокоить начальство... А то ропщут!.. Чудной, ей-богу, народ — не может никак приучиться к порадку.

И он, довольный своей сентенцией, вышел.

А надворе злилась метель, завывала каким-то надорванным стоном и окутывала затерявшееся в глухой балке село беспросветным, безрадостным мраком.

ЗАРНИЦА

РАССКАЗ ИЗ НЕВОЗВРАТНОГО ПРОШЛОГО

(Из эпохи 70-х годов)

Ценой жестокой искупила
Она сомнения свои...
Лермонтов

В небольшой полукрестьянской светлице было невыносимо парно и жарко. Яркий огонь в варистой, простой печи с широкими сводами шумно и весело пылал; у печи суетилась молодая женщина в очипке, повязанном темным платком, и в мещанской кофте. Молодица то подбрасывала в огонь толстые прутья, разламывая их ловко о колено, то забегала взглянуть на тесто, что всходило в макитре под кожухом, то подбегала к столу, на котором красовались и крашеные яйца, и масло, и ощипанная желтая курица, и оскобленный белый поросенок.

Несмотря на полдень, смотревший через четыре маленьких окна светло и весело в хату, красноватые пятна от огня дрожали на полу и бегали по ближайшей стене, вспыхивая ярким блеском на рогаче и ухвате; когда же молодица наклонялась к очагу, то желтый платок загорался на ней чистым золотом, а раскрасневшееся молодое лицо светилось жизнерадостно.

У ее ног вертелся лет пяти хлопчик в одной белой рубашке, подпоясанный красной тесемочкой; черные шустрые глазенки его сверкали любопытством и радостью, прехорошенькое личико, выпачканное в жир и сажу, горело здоровым детским румянцем. Мальчуган совался во все углы, все трогал своими ручонками. Молодица

грозила своему сынку пальцем и ласково покрикивала на него.

У окна, близ лежанки, на топчане, на высоко намощенных подушках, лежала молодая женщина, изможденная вконец тяжелым недугом; тощее ее тело было покрыто белым рядном, высохшие руки бессильно были закинуты за голову; из-под тонких пальцев выбивались целые волны черных волос, обрамляя темным овалом прозрачно-бледное, почти сквозящее на свету лицо с явной печатью интеллигентности. Красивые, строго очерченные черты его хранили следы не только физических страданий, но и душевных невзгод. По черным кругам под глазами, по запекшимся губам видно было, что больную снедает какой-то внутренний жар. Воспаленными глазами она смотрела в открытое возле нее окно и, видимо, наслаждалась ароматным дыханьем весны, щекотавшим живительной свежестью ее надорванную грудь.

А весна уже царила в роскошном венчальном наряде.

У самого окна, словно укрытая пушистыми комками снега, серебрилась цветущая вишня; несколько нежных лепестков занес ветерок на подоконник и на голову больной. За вишней дальше, внизу огорода, зеленела яркой зеленью распустившаяся верба, увешанная золотыми сережками, за ней вырезывался на ясной лазури неба пирамидальный тополь, весь унизанный красно-коричневыми листиками, а дальше, дальше за огородом синела полоска широкой, многоводной реки. В мглистой дали, заворачиваясь влево дугой, она яснела уже металлическим зеркалом, подернутым дымкой тумана; из-за нее подымались легкими очертаниями сизые с пестрыми пятнами горы, на верхней линии которых словно висел в воздухе и сверкал серебристыми куполами грациозный контур пятиглавой церкви стиля ренессанс. Издали доносился шум суетливой жизни и протяжный звон одиноких колоколов. Под окном чирикали веселые воробьи, сизые ласточки мелькали в воздухе быстро и взмывали у окошка крылом; в кудрявых кустах шныряли суетливые куры и сбегались взапуски на призывный крик петуха...

Больная отвела тоскливый взор от чарующей дали, пытливо взглянула на синее безответное небо и, глубоко вздохнув, закрыла свои усталые очи.

— Эй, сядь мне, не путайся под ногами! — крикнула молодица.— Смотри, Гриць, не серди мамы, а то

вместо червоного яичка прикатится к тебе березовая каша!

— Я не хочу березовой каши, ты мне, мама, молочной свари! — подбежал Гриць к молодице и закутал в ее сподницу свою головку.

— Ишь, что выдумал в пост! Прочь, балованный,— чуть не опрокинула горшка с кипятком, ступай играть во двор, не мешай тут, а то, помяни мое слово, не понюхаешь завтра ни поросятины, ни пасхи!

— Мне не хочется...— плаксиво наморщился Гриць.— Я буду тихо... Ей-богу, тихо...

Больная открыла глаза и поманила слабым голосом хлопчика:

— Ко мне, голубчик!

Гриць подбежал и припал всклокоченной головой к подушке.

Больная начала его гладить сухой и горячей рукой.

— Вот, Гриць, сегодня святая великодная суббота...— заговорила она слабым голосом, прерывая мучительной задышкой свою речь,— а завтра... рано, рано... воскреснет Христос и всем, всем людям принесет... и счастье, и радость... и нас с тобой не забудет: тебе принесет он и пасху, и красные яички, и всякие ласощи, а мне пришлет мою донечку, дорогую мою Лесечку.

— А какая она? — заинтересовался Гриць.

— Немножко выше тебя... беленькая, хорошенькая, с каштановыми волосиками... с карими глазками... с серебряным голоском... Ты полюбишь ее... будете вместе играть, яички катать, взапуски бегать...

— А она не пришибет меня?

— Нет, она добрая, ласковая,— успокаивала Гриця тоскующая мать, но и от мысли о своей нежно любимой дочурке глаза ее уже загорались счастьем.

— А ведь правда, вот-вот должна приехать ваша Леся, Анна Павловна,— заметила и молодица, сажая в печь тесто.

— Да, да, я ее жду и не дождусь,— улыбнулось с подушек бледно-желтое личико, облокотившись на руку.— И кажется мне, что сейчас вот она радостно отворит дверь... А то вновь защемит такая тоска, что ее не увижу...

— Полно, голубушка,— звякнула молодица заслонкой, закрывая печь.— К чему такие мысли? Даст бог,

поправитесь!.. Вот весна только устоится, и сейчас же поправитесь, как и в прошлом году...

— Эх, в прошлом году не та я была,— глубоко вздохнула больная, упавши вновь на подушку и сжимая костлявой рукой запавшую грудь,— в прошлом году еще много у меня было жизни... хоть и побитой, потоптанной лихими людьми, да все еще не потухшей, а теперь подправила меня вон та обитель...

— И не вспоминайте, серденько! — смахнула с ресниц слезу молодица.— Знаю, знаю... Будь они... прости господи! Все по наговору, все за напраслину... вот и выявилось же, вышли вы оттуда, как и вошли — чистой голубкой...

— Только без крыльев...— глухо простонала больная и попросила воды.

Молодица всплеснула жестяную кружку, набрала из ведра свежей воды и подала Анне Павловне.

А Гриць между тем нашел на лежанке в миске вареники с капустой и начал уплетать их втихомолку.

— Если б не дед ваш...— глотая с паузами воду и ежась от какой-то внутренней боли, продолжала страдалица,— если бы не он приютил... то куда бы мне... такой... одно разве, под тыном пропадать...

— Не думайте об этом... цур йому,— поставила молодица кружку на окно,— что с воза упало, то пропало, а вот лучше о живом подумаем... бог милостив...

— Да [я] ни на кого не ропщу... Если претерпела, то, значит, это было нужно... значит, и моя слеза потребовалась для общего блага... Ох, много слез прольется, но... это благо все-таки придет.

— Господь с ними, и со слезами, и с горем! — махнула рукой молодица.— Теперь не такие дни, теперь радоваться нужно и веселиться... Вот поговорим лучше о вашей донечке.

— Да, о донечке, о моей радости, о единой утехе! — заволновалась больная.— Вот письмо от нее... я выучила наизусть... Пишет, родненькая, что мама меня простила и ждет к себе в деревню...— и больная дрожащей рукой достала из-под подушки письмо и начала его целовать да прижимать к сердцу.

— Слава богу, слава богу, там наверно поправитесь, а то на родную, на единую доню да гневаться матери, и за что?

— Было за что... мама ведь по-своему думает, а дочка по-своему... Ну, теперь уже простила... и Лесю взяла, как мне приключилась беда... приютила, и вот на великодные святки шлет ко мне похристосоваться и за себя, и за нее... обменяться писанками, и потом вместе с донькой к ней, к своему родному гнезду... Свое ведь гнездо, Оксаночко, хоть бы гвоздями было выстлано... а мягче чужого пуха... Ах, моя родненькая, как мне хочется под свою кровлю! Как мне...— больная не смогла окончить фразы. Долгая взволнованная речь истощила последний остаток догорающих сил и сжала спазмами грудь.

— Дышать тяжело... к окну...— прошептала она, закатывая глаза.

Оксана с испугом бросилась к ней, подняла ее на своих мощных руках, словно перышко, и приблизила, придерживая за спину, к открытому окну.

Жадно, раскрывши широко воспаленные уста и подымая с напряжением грудь, ловила больная живительный воздух... Через несколько минут она начала ровнее дышать, в побледневших зрачках снова появился слабый луч света, на желтых щеках выступили два ярких пятна.

— Устала... положите... капель! — пошевелила бесцветными губами больная.

Оксана уложила ее вновь на постель, поправила подушки, рядно, дала капель.

— Только не говорите больше, вы еще слабенькие, лучше бы заснули, набрались сил, а то, почитай, неделю не спите.

Больная грустно улыбнулась, пожала плечами и показала мимикой, что ей бы только похристосоваться донечкой, увидеть ее, а там — воля божья.

— И увидите, и приласкаете, и не наглядитесь...

В это время в открытое окно влетела изумрудная мушка, а за ней в погоню ласточка; сделав круга два под потолком в хате, она изумилась, что попала в такую темную клетку, и со страху присела на изголовье больной.

Гриць первый заметил нежданную гостью, крикнул: «Ластивка!» — и с вареником во рту бросился к ней.

— Стой, не тронь! — остановила его жестом Оксана.— Это благодать божья, а ты хочешь вспугнуть... Видите ли, хворенькая моя, ласточка вас навестила,— это ведь она вам несет радостную весть. Вот побей меня бог,

если сегодня же не прилетит к вам такое счастье, какого вы и не ожидаете!

— Благовестница! — вскинула на птичку глазами больная и снова их закрыла в истоме.

А ласточка чирикнула что-то приветливо, вспорхнула и улетела в открытое окно.

Оксана, приметив ровное дыхание у больной, отошла на цыпочках от ее постели, надела на Грицю шапку и свитку и шепотом выпроводила его за дверь.

— Налопался уже, так и поди погуляй по двору, да не бегай мне в хату: тетя заснула, и тесто может в печи маком сесть.

Вырядив Грицю, она положила в продолговатую рынку поросенка и курицу, смазала их маслом и поставила тоже в печь, а сама умылась и начала уже по-праздничному одеваться... Да и было пора: солнце, обойдя большую половину неба, начало уже клониться к закату.

* * *

Анна Павловна была дочерью зажиточной дворянской семьи, принадлежавшей к старым малорусским родам Свичек; родители ее необычайно кичились своей фамилией.

Анеточка родилась в начале пятидесятых годов, чрез пять лет после появления на свет божий первородного братца ее Пьера, и закончила собой продолжение славного рода. Первые годы ее прошли в родном селе Жовнине, в просторных, светлых комнатах старинного помещичьего дома, под тенистыми липами роскошного парка, на золотом песке игривой речки Сулы.

Нежная заботливость и ласки родителей,— особенно отца,— любовь всех окружающих, улыбающийся рассвет ее дней — все это клало на ее детскую душу светлые блики и наполняло головку радужными мечтами.

Когда Анета со своей maman, институткой Смольного монастыря Катериной Степановной, прошла и поглотила всю мудрость из «Education Matèrnelle» *, то, для восполнения образования дворянской дочери была приглашена гувернантка с музыкой m-elle Adéle.

Сначала Анета дичилась своей новой наставницы, не хотела с ней заниматься, но потом вскоре заметила, что

* «Материнське виховання» (*франц.*).

m-elle Adéle очень покладиста и что с ней заниматься гораздо легче, чем с maman.

Вскоре, впрочем, старики решились для воспитания детей переехать в К. Тоскливо прощалась Анета со своим дорогим, родным гнездышком; но вскоре шумная городская жизнь, полная новых впечатлений, заглушила ее сердечную пустоту и тоску. В городе Екатерина Степановна отдала дочь в гимназию, а репетиторами, вместо гувернантки, приглашены были студенты.

И вот у Анеты, предоставленной почти самой себе, под влиянием молодых горячих умов начали складываться мировоззрения и стал формироваться характер.

Между студентами-преподавателями нашелся один из малорусских народников, некто Ткаченко, и, подметив у своей ученицы врожденные симпатии ко всему сельскому, простонародному — языку, песне, поэзии,— начал приносить Гале — как она теперь просила себя называть — разные книжки на малорусском языке. С искренним восторгом читала она всю эту беллетристику, заучивала наизусть лучшие стихи Шевченка и других современных поэтов. Для укрепления интереса к родной словесности студент подбивал Галю писать и саму на малорусском языке или переводить, но Галя чувствовала, что для успешных литературных работ ей недостает знаний и широкого умственного развития. Тут-то впервые и заронилось в ее душу желание продолжать учение дальше гимназии, на женских курсах. Молодежь одобряла и поддерживала в ней эту мысль, но маменька вооружилась страшно против «хохлацких тенденций» и против курсов. Она серьезно грозила отречься от дочери, если той вздумается когда-либо поступить в толпу «стриженых девок».

Страшно возмущали Галю мнения матери, поддерживаемые братцем, но она, не смея пока возражать на них громко, таила в душе неуклонное решение пойти по избранному пути, когда дорастет до своей собственной воли.

В занятиях, в чтении и в спорах с молодежью, кружок которой все возрастал, проходили юные годы Галиного развития.

Смутно, обрывочно все это наслоялось в ее молодом мозгу и будило к тревогам и борьбе ее чуткую душу. Уже иногда ей казалось, что одни литературные труды

вряд ли удовлетворят ее деятельную, увлекающуюся натуру, уже она мечтала о многом... как вдруг неожиданная смерть отца прервала сразу нить ее мечтаний и перевернула всю жизнь.

Похоронивши отца, единственного своего друга, Галя молча переживала тяжелое первое горе. Она как-то ушла в себя и занемела... А жизнь вокруг текла своим чередом... Брат отправлялся в столицу; ему нужны были деньги, а имение, запутанное в долгах, не давало уже почти никаких доходов. Нужно было закладывать его в банке, продавать леса... И Екатерина Степановна, для спасения последних ресурсов, должна была бросить шумный город и возвратиться в свое скучное пепелище. Галя даже обрадовалась этой перемене декораций; ее влекло и прежде село, а теперь уединение ей казалось особенно привлекательным... И точно,— постаревший, погнувшийся дом и заглохший, одичавший парк приняли ее в свои дружеские объятия и навеяли элегическое затишье на душу.

Освоившись со своей душевной тоской, Галя принялась с новым вниманием наблюдать крестьянскую жизнь; познакомилась со многими дивчатами и молодицами, расспрашивала о их житье-бытье, вникая в их злобу дня, собирала этнографические материалы. Изредка лишь доносились к ней в письмах друзей отголоски студенческой жизни, которая начала бурлить и обостряться...

Несмотря на земельные банки, дела их имения становились все хуже и хуже; все выручаемые суммы уплывали в столицу на братца, а недоимки и долги возрастали.

Мать с каждым получением нового требовательного письма от Пьера становилась все раздражительнее и злее и срывала свои обиды на неповинной Гале. Эти сцены сначала возмущали ее, потом досадовали, а потом просто надоели: ей становилось дома скучно, и она с нетерпением ждала своего совершеннолетия.

Наконец оно настало, и Галя почтительно заявила матери о своем непременном желании учиться. Поднялась целая буря и слез, и истерик, и угроз, и проклятий... Галя выдержала стойко первый натиск сопротивления, но от своей воли не отступила.

Мать выписала Пьера, и кончилось дело тем, что Галя подписала какие-то бумаги, получила три тысячи рублей

на руки и сундук тряпок, простилась холодно со своими родными, трогательно с селом и отправилась в К.

Вырвавшись из дому родительского, Галя вздохнула полной грудью и почувствовала всю сладость свободы, но вместе с тем и непривычность к ней. В силу последнего обстоятельства, она приютилась в К. у давней хорошей знакомой, Марьи Ивановны Матковской, отнесшейся к ней дружески, даже родственно.

Новая покровительница посоветовала ей не ехать в столицу, а остаться пока в городе К. и дождаться здесь открытия женских медицинских курсов, о чем слух циркулировал уже довольно упорно; этот совет пришелся по сердцу Гале, так как она и сама побаивалась столиц. Подготовляясь в элементарных занятиях для будущего слушания медицинских наук, Галя решила прослушать пока и акушерские курсы. Лихорадочно, страстно принялась она за давно желанную работу; обложилась книжками, тетрадками и начала читать, зубрить, бегать на лекции акушерии и, наконец, ходить в родильное отделение. Прежних ее воспитателей, друзей из серии мирных украинцев, уже в городе не было; один получил где-то место учителя гимназии в провинции, а другой место судебного следователя. От новых знакомств и сближений Галя уклонилась и держала себя в стороне.

Занимающиеся в клинике студенты относились вообще к акушеркам несколько свысока и фамильярно, а к ней холодно и даже отчасти враждебно, особенно один из них, Васюк, как его звали товарищи, оканчивающий курс медик. Остриженный низко, с всклоченной русой бородой, в запачканной блузе, он властно распоряжался в своем отделении и давил авторитетом товарищей. На бледном личике Гали он останавливал иногда свои серые проницательные глаза и смущал ее презрительным взглядом. Галя боялась его, но вместе с тем и питала некоторое уважение к его нравственной силе.

Раз как-то им пришлось работать возле новорожденного ребенка. Васюк был видимо не в духе и с раздражением на нее крикнул:

— Да держите же, барышня, пуповину!

— Укажите где, а не кричите,— вспыхнула Галя.

— Вот где,— еще более раздражался студент,— да не брезгайте, не бойтесь загрязнить свои дворянские ручки.

— Не беспокойтесь, дворянские руки в иных случаях постоят за мужичьи.

— Будто бы? — прищурился он.

— Верно! — взглянула и Галя смело ему в глаза.

— Значит, мы с перцем?

— Не с перцем, а с щирым сердцем.

— Любопытно! — загадочно произнес он и отошел к больной.

С этого времени он иногда перекидывался с Галей то деловым словом, то остротой, на которую и она не оставалась никогда в долгу; эта перестрелка начинала даже ей нравиться, и когда ей удавалось тонко отпарировать удар, она была весьма счастлива.

— Что вам за охота здесь пачкаться? — задел он как-то ее.— Не барышнянское развлечение.

— Я не для развлечения здесь, а для приобретения знаний,— строго заметила Галя.

— А на кой вам черт такого рода знания?

— Для возможности быть полезной, не черту, конечно, а людям.

— То есть чтобы отбивать хлеб у этих голодных? — указал он на акушерок.— Истинно дворянское призвание!

— Простите, но это истинно мужицкая манера бросать оскорбление, не ведая обстоятельств! Во-первых, я, быть может, бескорыстно желаю народу служить...

— Тем сильнейшая конкуренция.

— Но тем больше дающая доступ для помощи истинно нуждающимся и больным... а во-вторых, я могу быть и сама из толпы голодных...

— А! Из разоренных дворян, лишенных средств на форейтора или на восьмое блюдо к жратве, тоскующих об утрате крепостного права...

— Да, из дворян, конечно,— вспылила она,— а не из чумазых, набрасывающихся на нас с завистливой злобой и жаждущих при первой возможности поехать в той же карете с форейтором.

— Ну, нет,— ядовито улыбнулся Васюк,— настоящий чумазый кареты не купит.

— Совершенно не цивилизованный, репаный — да, зато он сумеет выжать сок из своего селянина-собрата получше пана... А цивилизованный непременно заведет карету.

— По каким это законам социологии предполагаете

вы, что идеалы образованного чумазого должны слиться с идеалами вашей маменьки?

— Законов социологии я не знаю, но едва ли порядочно затрагивать в споре третьих лиц! Вы матери моей не знаете, наконец, я с ней не живу... Я сама по себе.

Васюк саркастически поклонился ей, Галя не обратила на это внимания и продолжала с оскорбленным достоинством:

— Пора бы уже передовым людям, к которым несомненно вы себя причисляете, относиться к другим просто, как к людям, без предвзятых ненавистничеств...

«Гм! Она не без мозгов»,— подумал Васюк и начал осматривать больных. Но, выходя из клиники, он вдруг небрежно спросил Галю:

— Где же вы квартируете?

Галя сообщила свой адрес, и он отошел мирно, пожавши ей крепко, дружески руку.

Галя, возвратясь домой, долго не могла потушить поднятого душевного волнения: ее возмущали наглые нападки этого злобного «выскочки», но вместе с тем и льстило ее самолюбию то, что она его срезала. Она принялась было за записки, но занятия в этот вечер не спорились: все почему-то стоял перед глазами этот воинственный Васюк, и ей хотелось доказать ему воочию, что она хотя и дворянка, а больше всего способна на всякие лишения и жертвы ради идеи.

Прошло несколько времени, как вдруг неожиданно, не постучав даже в дверь, появился в ее комнате Васюк.

— Вот и я тут, сердитая барышня,— сказал он весело.

Галя смешалась, подала как-то неловко руку и бросилась приводить в порядок свой туалет.

— Чего вы всполошились, барышня? — улыбнулся он, разваливаясь в кресле.— Я ведь не паныч, не сумею даже оценить ваших оснащений — я из чумазых, чернорабочих.

— Ишь, все еще злится...— оправившись, присела и Галя.

— Ничуть, видите — даже пришел. Я люблю и сам называть все настоящими именами, а не деликатными псевдонимами: проще и яснее... Курить, конечно, можно?

— Сделайте одолжение,— Галя подвинула спички.

— А вот бы еще что,— закуривая папиросу, заявил неожиданно Васюк,— распорядитесь-ка, барышня, насчет бутылочки пива, мы разопьем ее и поболтаем.

— Сейчас, сейчас! — засуетилась Галя и послала горничную в пивную. Ей понравилась такая товарищеская бесцеремонность.

С этого времени Васюк начал заходить к Гале довольно часто и принялся за ее развитие. На столе у его воспитанницы появились и Спенсер, и Маркс, и «Азбука социальных наук».

Галя читала, читала, но усвоить себе многого не могла, а со многим не могла согласиться. Она чувствовала, что в ее голове произошел какой-то сумбур, в котором она не могла разобраться: старые вехи мышления были поломаны, выброшены из гнезд, а новых никто не давал.

О всех этих жгучих вопросах она часто спорила с Васюком за полночь. Эти споры их сближали невольно. Конечно, он бил ее своей эрудицией и хлесткими фразами, но она в душе сознавала, что правда была в стороне, что и Васюк, и она бродили вокруг да около и что ей не хватало знаний для уяснения верной дороги.

Все это подзадоривало ее к новым пытливым стремлениям.

Раз вечером пришел Васюк к Гале особенно чем-то взволнованный. Не поздоровавшись даже, он молча сел и начал курить папироску за папироской, уставившись в одну точку. Галя знала, что это случалось с ним, когда на него обрушивалась серьезная неприятность или когда настигала беда кого-либо из его друзей, а потому не только извинила ему грубость, но даже почувствовала прилив симпатии.

— Чем вы взволнованы? — спросила она его наконец тихим, ласковым голосом.— Случилось что-нибудь? — дотронулась она слегка до его руки.— Неприятность какая?

— Коля и Дикий заболели внезапно и взяты в больницу,— сказал он.— Простите, Галя,— поднял он свое бледное с сверкающим взглядом лицо,— пошлите за водкой, у вас ее, вероятно, нет, так пусть из ближайшего кабачка принесут мне косушку... вот деньги!

— Что вы! Не нужно, не нужно,— я распоряжусь! — выскочила Галя в другую комнату и чрез минуту возвратилась с графинчиком и рюмкой.

— У хозяйки нашлась, еще настоянная на чем-то хорошем... хвалила... Вот только закуски нужно...

— Никаких закусок! — остановил Галю жестом

Васюк.— Мне просто нужно защемить боль, вот как заливают водкой у скота раны.

Он налил рюмку и сразу ее выпил, а потом, перегодя немного, выпил еще две.

— Жалко, пропадут хлопцы...— несколько будто спокойнее, но давясь каждым словом, начал он снова.— Сильные верой, теплые душой... так и рвались на доброе дело и вот заболели! Дикий еще, быть может, выдержит: у того крепкая, мужицкая натура, а вот Коля хрупкий, да нежный, да сердечный... куда ему, бедному дворянчику!

— Да, может быть, ничего опасного и нет... и выпустят из больницы... а вы все так мрачно...

— Эх, нет! Знаем мы эти больницы! — махнул он рукой и выпил с ожесточением еще одну рюмку.— Они не выпускают легко своих жертв... То вы, незлобивая душа, на все привыкли смотреть благодушно, с христианским смирением и верить, что мир может обновиться любовью, подвигами отдельных добродетельных лиц... Нет, тысячу раз нет! Нужно изменить условия, тогда и вашим добродетелям будет больше места. Мир полон гадов и скорпионов, а и друг человечества не может на них смотреть без желчи, без злобы, и должен с ними бороться насмерть...

— Но вы же говорили, что гады эти и скорпионы от миазмов,— кротко возразила Галя,— так уничтожьте прежде миазмы, оздоровите воздух, допустите больше света, тепла, и гады исчезнут...

— Да поймите же, невинная голубица, что эта гнилятина, питаясь миазмами, сама их размножает, так что одиноким силам с вашим оздоровлением и не справиться...

Он хотел было снова налить себе рюмку, но потом раздумал и отставил графинчик:

— Уберите это, а то я напьюсь и толку никакого не выйдет. Теперь вот и в современных, настоящих войнах, этих омерзительных бойнях, побеждает не удаль, не мужество, а капитал...

— А все-таки современные войны по результатам менее губительны, чем прежние рукопашные: они по быстроте наносимого вреда хотя более ужасны, но зато скоротечны, и этот самый ужас есть лучший стимул для их уничтожения.

— Черта пухлого! — ударил по столу Васюк кулаком.— Ваша наука прислужится еще и создаст такую разрушительную силу, которой одна из воюющих сторон взорвет земной шар!

— Значит, прислужиться вашим! — ядовито заметила Галя.— Но я верю, что разумная борьба идет и будет идти в мире за жизнь, а не за смерть...

— Да, за жизнь, но насмерть! — взглянул строго на Галю Васюк и притих, и задумался.

— Нет,— начал он после длинной паузы более спокойным и глубоко убежденным тоном,— я сам не стою за разрушительные теории: они всегда поднимали темную силу и понижали общественную свободу... Конечно, бурный поток может увлечь и на нежелательный путь; но нашей задачей должна быть тоже, если хотите, просветительная деятельность, только направленная исключительно в лагерь обиженных и безоружных. Мы только выбираем для достижения блага кратчайшие, и хотя рискованные пути, а не блуждаем по окольным дорогам. Мы можем ошибаться в ближайших результатах, но не можем ошибаться в стремлениях; нас могут сметать со сцены и топтать под ногами, но уничтожить и искалечить нравственно — нет! Мы фанатики, пусть и так, но фанатизм есть результат глубокой, неизменчивой веры!

Васюк встал и отворил окно, очевидно, нуждаясь в струе чистого воздуха.

— Есть вот и такие благодушные просветители, особенно из ваших, которые додумались до следующего абсурда, что для воздействий на ход прогресса нужно стремиться стать поближе к рубке судна, а для этого-де нужно пока припрятать свои заветные идеалы и поступиться временно даже символом веры, чтобы потом уже... и т[ак] д[альше]. Такой синтез принимается всеми охотно — во-первых, потому, что он льстит зашкурным интересам, во-вторых, не налагает никакого срока для обязанностей и, в-третьих, избавляет от нареканий и угрызений собственной совести... а в результате-то выходит, что и самые искренно убежденные люди при этих компромиссах теряют душевную чистоту, привыкают к грязи и никогда не имеют решимости остановить разыгравшийся аппетит,— я уже и не говорю о настоящих шулерах убеждений и мошенниках слова...

Чем более увлекался Васюк, тем речь его становилась

плавнее, восторженнее и даже подымалась до красноречия; в эти мгновения черты его лица преображались — глаза темнели и загорались огнем, бледные, бесцветные щеки покрывались румянцем, во всех движениях мускулов пробивалась сила и отвага. Гале, находившей его обычно неуклюжим и грубым, он казался в такие минуты даже красивым. Она и теперь не хотела своими возражениями прерывать потока его речи, а молча лишь любовалась им. А Васюк долго и увлекательно говорил.

А теплая, нежная ночь смотрела в открытое окно мириадами кротких очей и наполняла комнату благоуханием цветущих белых акаций.

Когда Васюк ушел, было давно уже за полночь, но Галя, несмотря на дневную усталость, не могла уснуть и все прислушивалась к трепетанию своего сердца: она не могла еще уяснить себе, новый ли прилив неведомого чувства вторгается властно в ее сиротливую душу, или это просто неулегшееся волнение мысли. Не соглашаясь во многом с Васюком, она находила, что во многом он прав и что бурное море заманчивее тихой реки. Широта его задачи и молодецкая удаль охватывали ее восторгом.

Уже при свете бодрого, свежего дня сон на время смежил ее очи, но и он под сетью золотисто-розовых лучей утра был полон радужных грез о затерянном людском счастье.

С этого времени чаще и чаще начал заходить к Гале Васюк: и состояние больных требовало дружеских услуг, и разные другие осложнения вызывали новые хлопоты. Галя незаметно, силой вещей, втягивалась в интересы партии Васюка и становилась его помощницей. Теоретические споры уступали место практическим нуждам, на которые откликнулась Галя искренно, горячо. К Васюку она совершенно привыкла, и их дружеские отношения принимали все более и более сердечный, теплый характер. Когда поднятая бурей тревога поулеглась и жгучая опасность для больных миновала, то Васюк не только не прекратил хождений к Гале, а даже участил их.

— Вот и опять я к вам, моя барышня,— бывало, весело растворит он к ней дверь.— Надоел, должно быть, чертовски!

— Ничуть, я даже сердилась, что вы запоздали,— ответит просто Галя и даже не покраснеет.

— О! — улыбнется он широко, пожимая в мощных

дланях ее нежную ручку.— Да этак скоро «барышня» потеряет у меня бранное значение и примет оттенок самой нежной ласки!

— Что же? Я рада: по крайней мере нами не будут браниться.

— Нет, без шуток,— уже рассаживался он в кресле,— вы хороший человек, честный — не гнилье... Вот я и по вашим деликатным вкусам работу принес: прочитайте-ка эти книжки да переведите их по-хохлацки или лучше даже переделайте подоступнее — это составит для народа здоровую пищу.

Галя охотно бралась за такие работы и занималась ими с увлечением под наблюдением Васюка.

Эти занятия сближали их еще больше и радовали взаимным обучением. Нередко беседы их продолжались за полночь, и Васюк от текущих вопросов переходил к к своему прошлому: рассказывал Гале про свое раннее беспомощное сиротство, про свою безотрадную юность, полную лишений и борьбы за право знания, за право быть человеком; описывал ей картины насилий, с которыми ему пришлось познакомиться с детства и которые наложили на его характер печать непримиримой злобы ко всяким баловням мира. Между прочим он как-то раз ей сообщил, что он женат, что женился без любви, без всяких прав на лицо, а лишь ради идеи, чтобы дать преследуемой девице права.

Последнее известие страшно поразило Галю. Не раз до этого задумывалась она над своими чувствами к Васюку и не допускала даже и мысли, чтобы он мог для нее стать чем иным, как другом; но теперь она в сердце почувствовала какую-то неопределенную обиду и боль: или ее поразила неожиданность, или поднялась на друга досада за позднюю откровенность, или... кто его разберет, почему иногда в сердце девушки после шутливого смеха поднимаются скрытые слезы... Одним словом, Галя, браня самое себя за несдержанность, простилась с Васюком сухо, сославшись на головную боль, и долго проплакала, бросившись ничком в подушки. Успокоившись несколько, она снова проанализировала свои чувства и даже засмеялась, подумавши, что ее слезы вызваны были ревностью.

Вздор! Она любила Васюка лишь как друга, это было ей ясно и неопровержимо; но почему известие о его жене

причинило ей боль, она объяснить не могла, и эта загадка вызывала снова досаду и гнала Галю из душной комнаты в сад, где уже стройные лилии готовы были распустить свои серебристые лепестки. Однако и ночная прохлада не умерила наплыва бурных мыслей и едких волнений.

«Правда,— думалось Гале,— его поступок очень красив и возвышен, ведь он для блага ближнего пожертвовал своей личной свободой, но вместе с тем это рисует и его безразличность: в его сердце, вероятно, нет и инстинктов для теплых симпатий, нет и позывов к личному счастью. Да! Он не прав: он должен был до дружеских сближений об этом оповестить... Хорошо, что я застрахована, но этого могло и не быть!» — и досада не улеглась, а разрасталась еще в какое-то нервное раздражение.

Прошло несколько дней. Васюк не показывался на глаза.

Сначала Галя была тому рада, находила даже, что это с его стороны в высшей мере тактично, она боялась, что неулегшееся волнение помешает ей взять прежний простой дружеский тон, и хотела побыть несколько наедине с собой и со своим настроением... Но временное волнение улеглось и досада притихла, а Васюк все не приходил. Галя начинала уже о нем беспокоиться, не случилось ли снова беды, как вдруг, будто угадывая ее тревогу, он неожиданно отворил дверь и молча, подавши ей руку, уселся в свое любимое кресло и закурил папиросу.

Галя смотрела на него с тоской, ожидая потрясающего известия, но Васюк долго молчал, а потом каким-то несвойственным ему голосом ошарашил ее следующим вопросом:

— Скажите, как вы насчет попов и обрядов? Пристрастны или свободны от этих привычек?

— Я бы вас просила,— оторопевши и несколько обиженно ответила Галя,— этих вопросов не касаться и над этим не трунить: я религиозна и нахожу в этом для себя большое утешение.

— Положим... но не в том дело,— зачастил как-то Васюк, ища спичек.— И в религии, как и в жизни... есть более ценные и менее ценные догмы. Как вы думаете, последними можно поступиться для высших целей?

— То есть,— остановила она на нем пристальный,

недоумевающий взгляд,— следует ли жертвовать менее важным для более важного?

— Да, именно так,— кивнул он головой.

— Конечно, ведь я не враг логики; но только в этих вопросах всегда трудно решить, что важнее.

— Да вот, например,— оживился Васюк,—какого вы мнения насчет брака, т[о] е[сть] насчет обряда? Ведь во всяком случае это акт юридический, устанавливающий известные правовые отношения.

— Согласна. Но брак — одно из важнейших людских отношений, порождающих сложные права и обязанности. У нас они устанавливаются и констатируются религиозным таинством, а за границей нотариусом... Но так или иначе, а нельзя же оставить вне закона такой факт, от которого зависит судьба третьих лиц.

— Ерунда! Все это можно оградить и другими мероприятиями... несколько более сложными...

— И более ломкими,— добавила тихо Галя.

— Поверьте мне, что не в тех или других мероприятиях сила этого общественного учреждения, а в нас самих. Крепки мы в слове и своих обязанностях — и все будет крепко... Но дело не в том,— закурил он снова папироску,— иногда этот факт становится настолько необходимым в жизни, настолько кричащим и вяжущим по рукам и ногам борца, что тот готов бы был для его достижения пройтись по всем религиям и обрядам, да если окажется это невозможным?..

— Как невозможным?

— Да просто: субъект может быть на это лишен прав... так что тогда делать? — он облокотился на обе руки и уставился глазами в нее.

— Если так, то, конечно, отказаться...— смущенно ответила Галя.

Разговор этот и волновал ее, и тревожил: она вспомнила последнее признание Васюка и вспыхнула заревом.

— Но если этот отказ, это самоотречение выше сил... если он обращает человека в тряпку, в негодную подошву, не способную ни на какое дело...

— Но ведь второе лицо неповинно в этом...

— Хотя бы и так; но неужели оно могло бы быть настолько жестоким, чтобы ради личного, пустого удобства решилось отнять от нуждающегося единственное утешение в жизни, единственную поддержку на

тернистом пути, единственную среди пыток общественных ласку?

— Не знаю...— все более краснела и чаще дышала Галя.— Тут все зависит от убеждений, от сердца, от чувств; если кто беззаветно любит другого, то может пожертвовать для него многим...

— Да, если любит искренно,— вздохнул он глубоко, закрывши ладонью глаза,— но какой черт полюбить может нашего брата, бездомного бродягу, бесправного сироту, да еще полюбить беззаветно? Проклятые ведь! А между тем я всем своим бренным существом теперь сознаю, что самое слово любви, над которым я прежде смеялся, имеет страшную силу эмоции, способной поднять энергию в человеке на подвиг и убить ее окончательно...

— Откуда это у вас такое романтическое настроение? — попробовала было отшутиться Галя, боясь, что не справится с возрастающим волнением, но шутка прозвучала грубо, неловко.

— Откуда? Вы сами хорошо это знаете! — горьким, укорительным тоном ответил Васюк.— Вы даже знаете, в каком отчаянном положении находится ваш друг, лишивший сам себя легкомысленно права на легальное счастье. Ведь на жертвы способны лишь героини, да и нам ли, общественным отброскам, мечтать о таких жертвах? Эх, что и толковать! — встал он и порывисто прошелся несколько раз по комнате.— Однако жарко у вас, воздуху мало...— спохватился он, ища свою с широчайшими полями шляпу.— Прощайте! — подал он вдруг руку Гале.— Мне от всех этих треволнений становится очень дурно...

— Бедный вы, бедный! — пожалела она его искренно.

Васюк не выпускал ее руки и непривычно нежным голосом попросил:

— Проводите меня, ночь чудная — освежиться нужно.

Они вышли вместе и молча пошли по опустевшим уже улицам. Ночь была светлая, благоухающая, но даже на обрыве — над темной рекой, не дышало прохладой.

— Присядем здесь на скамеечке,— остановил он Галю,— в воздухе чересчур душно, вероятно, перед грозой.

— Да,— ответила она как-то странно,— вдали сверкают зарницы...

Они замолчали и так просидели довольно долго. Наконец Васюк порывисто взял Галю за руку:

— Нет, не могу больше...— начал он словно не своим голосом, давясь словами.— Вся машина к черту пошла... Сердце расшаталось, мозги не реагируют. Вы мне стали необходимы, как этот воздух!

Галя ждала этого слова, и все-таки оно ее поразило; но не чувство радости захватило ее дыхание, а скорее чувство страха, смешанного с ядом гордости; она молчала и только ниже наклонила голову.

— Скажите мне, только короче и яснее,— продолжал он,— питаете ли вы ко мне чувство привычки, или физиологического родства, или... ну, одним словом... вы понимаете...— ему, видимо, трудно было досказать свою мысль.

— Не знаю,— ответила она, вся растерявшись, и схватилась руками за виски: сердце ее сжималось от усиленного прилива крови, в голове стучало.

Она этого не знала действительно: до сих пор она еще не испытывала настоящего чувства любви; прежнее обожание своего ментора было детской вспышкой, а после жизнь не дала материала. К Васюку она сначала чувствовала страх и обиду, потом чувство это заменилось некоторой долей уважения к его уму и нравственной силе, потом она начала преклоняться перед широтой его задач, потом привыкла к нему и сблизилась в спорах, а потом начала опьяняться торжеством самолюбия.

— Нет, не барышнянствуйте,— довольно! — встал он и так сжал себе руки, что они хрустнули.— Вы должны сказать, имеете ли настолько чувства ко мне, чтобы побороть предрассудки... принести жертву для погибающего через вас безумца?

— Стойте! Этак нельзя,— встала она и пошла частыми шагами, как бы убегая от грозящего нападения,— ведь это выше сил... всю жизнь на карту,— торопливо говорила она.— Разве так рискуют безумно... сразу... очертя голову?

— Чего ж вы боитесь? Общественного мнения? — шел он по пятам.

— Самой себя... жизни... вас... всего окружающего,— шептала она.

— Значит, вы не любите меня? Мужик вам противен? — почти скрежетал он зубами.— Ах, а я-то, я-то!..— он рванул себя с ожесточением за бороду.

— Боже мой! Я не хочу причинять вам страданий, но ведь это ужасно! — послышалась мольба в ее дрогнувшем голосе.

— Стойте! — крикнул он хрипло.— Здесь моя квартира... Я хочу попрощаться с вами. Пора положить конец этому безумству... пора! Ну, оказался тряпкой, неспособным противустоять искушению, так и долой!

— Что вы, что вы? — остановилась она и раскрыла испуганно глаза, на которых блестели уже капли слез.

Он схватил ее за руки и привлек к себе:

— Или прощай навеки, или спаси! — шептал он порывисто-страстно.— Сила моя, упование мое! Войди в этот дом подругой моей на всю жизнь, товарищем на боевом пути!

Она ничего не ответила, но только побледнела страшно и шатнулась к нему...

В каком-то смутном чаду потекли первые дни семейной Галиной жизни. Но не трепетание счастья, не опьянение жизнерадостной, новой отрадой волновали ее потрясенный внутренний мир, а скорее преобладало в ней чувство унижения и обиды. Галя не могла еще разобраться в хаосе своих ощущений и дать себе в них полный отчет; но она с первых же дней начала предугадывать, что чувства любви и влечения к Васюку у нее не было и что на бурные ласки его она могла отвечать лишь стыдом да возмутительным самопринуждением.

Пылкий темперамент Васюка, встретив в Гале отталкивающий холод пассивного сопротивления, раздражался капризом страсти, а потом и обидой.

Чем дальше шло время, тем более их взаимные отношения теряли дружеский характер и становились натянутыми, нервными. Возрастающее у Гали чувство недовольства собой ложилось на все окружающее, и те идеалы, что увлекали ее прежде величием и заманчивой прелестью опасной борьбы, теперь порождали уже горечь сомнения и едкий анализ. Вскоре она начала разочаровываться и в Васюке: никакие ловкие софизмы не

могли обелить в ее глазах хотя бы и нравственного над ней насилия, не могли оправдать и ее самое перед собственной совестью: логика говорила одно, давала ему сухие выводы, а в сердце обида росла. Прежде, появляясь перед ней изредка и эффектно, Васюк казался загадочной натурой, терзающейся мировыми скорбями, мощной по силе, таинственной по необъятным намерениям,— и она перед этим величием души умилялась, перед этой мощью падала ниц, теперь же, наблюдая его ежедневно, без грима и без подмостков, она находила в нем и избыток самомнения, и деспотизм авторитета. Кроме того, она никак не могла примириться с бесцеремонностью взаимных отношений некоторых членов кружка, доходивших иногда, с точки зрения Гали, до цинизма; она не могла освоиться с той неряшливой бравадой, какой являлся иногда протест молодых, увлекающихся сил против изветшалых, вредных традиций, против общественных неправд; она не могла успокоиться, что и сам Васюк в общем потоке с каждым днем становился более крайним и непримиримым.

Гуманно-просветительные идеи шестидесятых годов, начавшиеся великим фактом освобождения народа от рабства, породили множество других вопросов, касавшихся развития народного благополучия. На некоторые из них европейская жизнь и наука давали свои выводы, хотя и не подходившие к условиям нашей жизни, но тем не менее поражавшие молодые умы своими новыми, смелыми перспективами, на другие — подыскивались априорные решения. Отрицание существующего общественного строя и его катехизиса, начавшегося далеко еще раньше, получало теперь новую, более острую окраску и вливало в юную энергию заманчивый яд.

Живая и чуткая к движениям мысли юность, подогретая лихорадочным пульсом Европы, искренно увлекалась новыми теориями, доводя их иногда в своем увлечении до крайности, до фанатизма.

При горячих спорах собиравшихся у них единоверцев-друзей Галя чаще молчала и этим молчанием, раздражавшим Васюка, подчеркивала свой пассивный протест против грубых выражений, против отрицания всего, что было ей дорого, против ненавистничества и деспотизма... Но иногда она не выдерживала своей роли и прорывалась в бурном неодобрении их парадоксов.

— Вы на каждом шагу противоречите себе, господа! — бывало, встанет она, побледневшая, с сверкающими глазами, с дрожащими от внутреннего волнения ноздрями.— Презираете кодексы, основанные на привилегиях, а свои мнения желаете возвесть в беспощадный абсолютизм; оплевываете выработанную веками мораль, а взамен ее предлагаете разнузданность, оправдываемую какими-то целями, т[о] е[сть], предлагаете старые, иезуитские правила; боретесь против насилия и предлагаете те же насилия!

— Во-первых, similia similibus curantur *,— отвечает ей кто-либо свысока,— во-вторых, à la guèrre, comme à la guèrre **, голубица; на войне не миндальничают и одеколоном рук не моют, а каждая сторона старается нанести противнику побольше вреда.

— Да ведь вы же, господа, теоретически восстаете против войн, обзываете их узаконенным разбоем; вы же утверждаете, что этот разбой и был прародителем великих мировых неправд, и рабства, и привилегий, и захвата; вы же кричите, что войны всегда понижали и мысль, и свободу, и общественную мораль.

— Война войне рознь! За что дерутся! — раздаются уже приподнятые со всех сторон голоса.— Знамя оправдать может вооруженную руку!

— Да ведь для каждого, поднимающего меч,— свое знамя священно, а результат-то один: погибают лучшие силы, теряется уважение к людским правам и закону...— начнет нервно, раздражительно Галя, но ее слабый голос терялся в возрастающем крике.

— Плевать! — покроет всех какой-нибудь зычный голос и, не желая давать Гале серьезного возражения, бросит лишь ходячую фразу: — Наша задача развалить негодное общественное здание, расчистить площадь... А новой постройкой займутся другие поколения.

— А какое вы имеете право разрушать здание, воздвигнутое не вашими руками? — вспыхнет полымем Галя.— Это здание строил совместно и народ, так его в этом вопросе решающий голос...

— Собственно, не ломать,— поправит Васюк,— а вразумить жильцов, что здание становится неудобным для жизни и что полезно перестроить некоторые его части.

---

* Подібне виліковують подібним *(лат.)*.
** На війні як на війні *(франц.)*.

— Да разрушенное здание и не расчищает места, а забрасывает его еще больше мусором,— кричит уже Галя, надрывая свою слабую грудь.

Но ее крик заглушает буря упреков:

— У вас заскорузлые, отсталые взгляды, дворянская кровь!

— Вы ретроградка легальная, неспособная к широте мысли!

— Барышня, попавшая с бала в дом рабочих!

Кончалось дело тем, что Галя не выдерживала града ругательств, выкрикивала сама какое-либо оскорбительное слово и заливалась слезами, обнаруживая, к вящей досаде Васюка, действительную слабость своих нервов. Хотя потом за пивом и восстановлялось перемирие, но внутренняя связь с каждым разом рвалась больше и больше.

— Нет, не могу я примириться, Вася, с царящей у вас безапелляционностью мнений, доходящих до возмутительных парадоксов,— обратится, бывало, Галя наедине к мужу.— Топчется в грязь и наука, и культура, и прогресс человеческой мысли, а вместо всего этого предлагается вера в какие-то чудеса, которые по мановению вашей чародейской руки будто бы изменят все законы этого мира, даже, пожалуй, и самое тяготение.

— Нам до законов, созданных не человеческой волей, дела нет,— ответит ей брезгливо Васюк,— а мы только имеем в виду общественные законы; что же создано человеком, то им может быть и пересоздано, да-с! Не нужно быть и пророком, чтобы ясно видеть, что наша программа ведет к общему счастью, которое, при известных положениях, должно без всякого чуда, а неизбежно настать.

— Законы человеческой природы так же неподвижны, как и законы физики, химии,— горячится Галя.— Хотя бы, например, эгоизм, управляющий людской волей, а если даже и он может подлежать изменению, то чрезвычайно медленному и ограниченному, под долгим давлением цивилизации и культуры, а не вследствие ваших тоже полицейских предписаний, упраздняющих личную волю... И вообще этот цинизм, проявляющийся у некоторых твоих друзей, просто претит мне душу, переворачивает меня всю.

— Да, ты оказалась действительно пришибленной дворянской культурой,— язвил уже Галю Васюк,— ты, главное, не можешь ужиться с демократизмом, который не моет хорошим мылом рук, одёры-то * чернорабочих тебя и мутят.

— Да неужели же и чистоплотность есть зло?

— А чистоплотность, сударыня, есть тоже удел известной обеспеченности, зажиточности, это тоже своего рода привилегия избранных.

— Нет, нет и нет! Она уживается и с бедностью... возьмите крестьян...

— Дослушайте же, наконец,— уже напряженным, сдавленным голосом подчеркивал Васюк,— перебивать речь ведь, кажется, и у вас считается неприличием. Я повторяю, что чистоплотность стоит и денег, и труда; вот хотя бы перемена белья: или его нужно иметь большой запас, или его нужно через день мыть... А если наш труд и наши силы требуются для высших целей, то вашу мелочную, барскую чистоплотность нужно побоку!.. Как вы полагаете? Апостолы, проповедовавшие слово божье, ходили по тернистым путям с запасами белья и мыла? Постойте! — остановил он ее раздражительный жест,— я ваши возражения знаю, слыхал не раз, я имею право провесть параллель,— она не так возмутительна, как вам кажется. Если бы вы могли предпослать кому-либо из наших укор в заведомой фальши, в умышленной лжи, в гаерстве — вы были бы правы, но упрекнуть нас в неискренности вы не смеете: все это хотя и до фанатизма горячие, но честные головы и сердца. Горячность, экзальтация может возбуждать иногда мысль и до парадоксов, а самую практику в жизни во имя протеста доводить до смешных крайностей, до ошибок, до проступков, но ведь это в природе вещей: за такие, хотя бы и болезненные увлечения, нельзя порицать беспощадно огулом людей, посвятивших себя на служение общественному благу!

— Да я и не осуждаю, а желаю только отрезвления,— пробовала возразить Галя,— я ценю...

— Я сам не принадлежу к крайним,— продолжал, не слушая Галю, Васюк,— и готов даже руку поднять за просветительную энергическую эволюцию, но в горячем деле строго разбираться нельзя: регулярные войска на

* Одеры — запахи.

что уже дисциплинированны, а и там мародерства бывают... Так-то! Конечно, кто трус, тот сиди за печкой...

— Я не трус,— вспылит Галя,— и где будет, по-моему, нужно — отдам и жизнь! Себя-то я — знаете сами — не очень щажу...— съежится она, уйдет в себя и замолкнет надолго.

Васюк тоже закусит с болью себе губу и отвернется, не будучи в силах подавить внутренней муки.

Таким образом, отношения между молодой четой обострялись: взаимная уступчивость падала, дружба тускнела, страсть, не встречая отзывчивости, озлоблялась. Жизнь с каждым днем становилась невыносимой для Гали, обрывала ее надежды и радости, как ветер осенний рвет с дерева померзшие листья; все это довело бы Галю до крайних порывов отчаяния, если бы неожиданное открытие не ворвалось ярким лучом в ее душевную темень и не разбудило умиравшего интереса к жизни: Галя почувствовала себя матерью. Она не сказала пока ничего Васюку, а затаила в себе эту искру будущей радости. Думая постоянно о ней, она верила и убеждалась, что это будет новым звеном их мирных супружеских отношений, что во имя этой третьей ожидаемой жизни сделаются взаимные уступки, возродится дружба, доверие... А может быть, у этой колыбели приютится и счастье...

Но не судилось сбыться этим надеждам...

Налетел нежданно-негаданно ураган, разрушил легкомысленно устроенное гнездо и разметал чету в разные стороны...

Галя, впрочем, меньше пострадала от бури и могла возвратиться в свою прежнюю квартиру, к своей покровительнице Матковской.

Марья Ивановна приняла ее трогательно, не коснувшись ни одним намеком до открытой раны; молча в ее объятиях выплакала Галя резкую боль подступившей муки и молча поселилась в своей комнате.

Жизнь ее после бурных порогов снова начинала входить в русло, хотя и мутной струей. Впрочем, внешнее спокойствие восстановлялось, тем более, что и Васюк вскоре скрылся из города.

На акушерские курсы Галя не возобновляла хождений, а принялась за чтение исторических и общеобразовательных книг, причем и малорусская словесность вновь привлекла ее симпатии. Вскоре получены были положи-

тельные известия, что в К. женских курсов вовсе не будет, что Бестужевские отживают свой век, а новые, преобразованные, последуют в отдаленном будущем. Это известие, совершенно упразднявшее задуманную карьеру, поразило ее как-то тупо: она уже и раньше потеряла к ней прежнюю веру; ей, полупришибленной, прошедшее казалось каким-то кошмаром, который она старалась, хотя и напрасно, забыть; будущее представлялось неинтересным туманом, а настоящее текло безразличными, тусклыми днями. Один только жгучий вопрос стоял теперь перед ней, вокруг которого группировались все ее желания и надежды. Марья Ивановна вскоре догадалась об этом и с крайней деликатностью заговорила с Галей, боясь, чтобы последняя в отчаянии не наделала какихлибо глупостей; но после беседы она на этот счет совсем успокоилась и начала вместе с Галей, как нежная мать, готовить приданое для желанного гостя. Такое участие тронуло до слез Галю и оживило ее скорбную душу: она теперь после работы часто болтала с Матковской, как с другой матерью, строила с ней разные планы. Наконец трепетно ожидаемый момент наступил, и Галя стала матерью. Вся сила таившейся в ее сердце любви вспыхнула теперь ярким пломенем и обвила ее донечку; весь мир с его невзгодами, с его бурями и грязью словно исчез там вдали, а сконцентрировался лишь возле люльки, кокетливо задрапированной белой кисеей и розовыми бантами. Галя просто переродилась, развилась, похорошела, стала снова веселой и жизнерадостной, только иногда нарушала эти безоблачные дни тревога за здоровье боготворимой Лесюни.

Раз, когда она, счастливая мать, держала у груди свою донечку и следила восторженным взором за расцветающей на крохотных губках улыбкой, хозяйка подала ей заказное письмо: оно было адресовано из далекого края неизвестной рукой. С тревогой и любопытством распечатала Галя письмо и сразу же узнала, что оно было писано Васюком. От неожиданности или от волнения кровь ей ударила в голову; она положила ребенка, глотнула воды и все-таки не могла себя взять в руки...

«Что с ним? Почему вспомнил? Новое ли горе или старая блажь?» — били ей в голову вопросы и раздражали в ране притихшую боль. «И почему я волнуюсь?» — досадовала на себя Галя и все-таки еще больше волно-

валась. Наконец она решилась и стала читать. Мотивом для письма, видимо, послужило известие, полученное Васюком, о ребенке. Сознание, что он отец, что у брошенной им женщины трепещет на руках новая жизнь, новое проявление его бытия, умилило его сердце до непростительной слабости. Письмо вообще было написано искренно, тепло и дышало неподдельным чувством. «Простите,— писал он между прочим,— что я мужичьими руками дотронулся до вашей нежной жизни и невольно сломал ее; я вас любил и люблю, и это не по нашему рылу чувство ослепило меня, опоило сладким угаром мой мозг: потворствуя своему эгоизму, я забыл, что воину, идущему в битву, нельзя обзаводиться семьей, что голубица не может быть счастлива с ястребом... Нет! Это была фальшь, она породила между нами разрыв... Правда, и вы меня полюбить не смогли... Эх, вспомнить больно! Все так случилось... потому что сложившиеся обстоятельства были всесильны: они сломали тогда нашу волю, как другая, необоримая сила ломает теперь нашу жизнь. Но и эта сломанная жизнь, и наша даже смерть делают свое дело, подвигают микроскопический винт движения человечества к благу... Мы — дрожжи для роста общественного самосознания, для подъема его жизненных эмоций; смерть единиц вызывает новые ферменты брожения. Химическая работа произведет благодетельный подъем... без ломки, без ужасов... этому и я верю так же, как и вы. Я знаю: вы отдаете всю силу сохранившейся у вас любви этой сиротке, так не завейте же в ее чистую душу презрения к бродяге-отцу, а шепните ребенку хоть один раз, что его любит дико, без границ и отверженец доли, увлекаемый в водоворот неизбежности...» Рыдая, окончила чтение письма Галя и положила его под подушечку Леси.

— Сиротка ты, моя донечка! — шептала она, склонясь над люлькой и омывая разгоревшееся личико своими слезами.— Много у тебя впереди и стыда, и горя... Только ты не кляни ни твою мать, ни отца — они тоже были страдальцами.

Долго потом, унявши слезы, сидела Галя с поникшей головой и с глубокой тоской на сердце; ей было жаль своего прошлого: если оно принесло и много разочарований, много невзгод, так зато дало много и высоких порывов... Да и сам Васюк, несмотря на многие несимпатичные черты своего озлобленного нрава, все-таки был человеком

хорошим. Теперь, когда от нее отлетела разъедавшая ее жизнь атмосфера, ей уже вдали и все герои пережитого эпизода казались не демонами, а увлекающимися энтузиастами, и фигура самого Васюка принимала в тумане доблестный облик.

Она хотела сейчас же ему писать, и писать много, но не знала адреса. Месяца три-четыре справлялась она о муже, но все безуспешно... Наконец поднятая было сердечная тоска вновь улеглась при возрастающих радостях, какими дарила ее ненаглядная Леся.

Так прошло почти два года, самых счастливых у Гали, но как ни отгоняла она докучной заботы о будущем, а нужда разбудила ее. Из Галиного капитала пятьсот рублей были прожиты раньше, тысячу пятьсот она отдала на неотложные нужды, а последнюю тысячу упорно сохраняла для будущего ребенка — и она была на исходе. Сидеть на шее у Марьи Ивановны, женщины небогатой, Галя ни за что бы не согласилась, и вот она начала искать себе службы или работы.

Раз как-то случайно встретила она на улице своего прежнего ментора Ткаченка и, обрадовавшись, пригласила его к Марье Ивановне. Ткаченко, как оказалось из разговоров, был уже отцом семейства, занимал место инспектора в одной из южных губернских гимназий и стоял на пути к повышениям, но тем не менее оказался человеком сердечным. Пораженный судьбой своей прежней ученицы, дочери богатых помещиков, он принял в ней большое участие: пригласил к себе в семью, обласкал и, выслушав ее печальную повесть, выхлопотал ей место учительницы в местечке Заньках. С неописанной радостью и трогательной благодарностью приняла Галя это место. Она в нем видела не только отраду, но и безбурную, последнюю пристань. На прощанье Ткаченко пригласил Галю в кабинет и сказал ей теплым, искренним голосом:

— Мои юношеские симпатии вам известны, они и теперь вот здесь,— показал он рукой на сердце,— но скрыты в глубине, чтоб никто не открыл их. Состоя на службе, мы должны не только подчиняться прямым требованиям закона и его представителей, но мы должны идти навстречу их желаниям. Помните изречение: «Рабы, своим господием повинуйтесь!» Вот, видите ли, меня уже жизнь помяла, время юношеский пыл остудило, а опыт на слу-

жебном пути умудрил, а вы еще юны и с фантазией; так знайте, что такого рода симпатии у нас не в чести, а потому прячьтесь с ними и не обнаруживайте их никому — ниже словом, ниже делом, ниже помышлением... Ну, а теперь храни вас господь!

Так как это было каникулярное время, то Галя заехала сначала в К. погостить у Марьи Ивановны, отдохнуть и взять свою Лесю. Здесь она раз встретила какого-то деда, привезшего Матковской дрова; оказалось из разговоров, что он родом из Галиного села, служил в молодости у старых панов поваром и ее помнит, когда она еще крохотной по двору бегала. Старик растрогался воспоминаниями, даже прослезился и просил убедительно Галю посетить его хатку; он-де теперь остался один-одинешенек на свете, лишь со внучкой, которую, слава богу, замуж отдал, а сам, пока ноги служат, сторожем состоит при черном дворе тюрьмы, чтобы все-таки не садиться детям на шею. На другой день Марья Ивановна с Галей посетили старика в той самой хатке, в которой теперь лежала больная, и потом каждый раз, когда приходилось Гале бывать в К., она не забывала деда со внучкой, навещала их, привозила гостинцев, и они все полюбили ее, как родную.

Отдохнувши летом и вооружившись всякого рода учебниками и элементарными книжками, Галя под осень отправилась со своей Лесей на место служения, в Заньки. Сразу же она была приятно поражена: и школа, и ее квартира оказались чистыми, уютными, ребятишки — смирными, девочки — ласковыми, местечко — довольно живописным. Галя познакомилась там с одним лишь батюшкой, очень симпатичным старичком, у которого она по субботам, бывало, и отводила в кротких беседах свою душу. За школьные занятия она принялась с увлечением, с энтузиазмом; они захватывали ее всю и приносили отраду усталой душе, а успехи детей доставляли ей истинное счастье. Дети вскоре почувствовали, что учительница относится к ним сердечно, с материнской лаской, и полюбили ее по-своему — крепко, стараясь друг перед дружкой угодить ей в занятиях; когда между ними и «учителькой» установилась крепкая связь, дела учения пошли еще быстрее. Галя давно уже не чувствовала себя так покойной душой и счастливой, как в эту зиму: в школе радовали ее успехи и старания учеников,

замеченные даже посторонними, дома ее утешала подраставшая умница Леся и наполняла часы отдыха счастьем... Чего же еще было нужно? Разве одного здоровья, так как после серьезной прежней простуды грудь у Гали ныла и силы падали, а школьные занятия переутомляли.

На лето Галя снова ездила в К. и, не застав Марьи Ивановны, поселилась у деда. Там она отдохнула и совершенно поправилась к осени. В Заньках встретили ее дети шумно и радостно, как старого друга, и занятия опять потекли своим чередом. Положение ее в школе казалось вполне прочным и надолго обеспеченным. Правда, местная администрация — в лице старшины, писаря и урядника — смотрела на нее несколько искоса за нежелание водить с ними знакомство, но значение этой администрации для учительницы было неважно и ограничивалось лишь содержанием здания, топливом, огородом.

Старшина даже ни разу не заглянул к ней, а урядник, однако, не выдержал и явился по какому-то предлогу, чтобы иметь возможность, как он сам выразился, «проникнуть в обиталище таинственной незнакомки». После первого визита он бесцеремонно явился к ней на квартиру и начал «отпущать» комплименты относительно ее преподавания, ума и красоты. Галя хотя и заметила ему, что не любит, когда ее хвалят в глаза, но на первый раз отнеслась к гостю довольно снисходительно, прощая ему многое ради его невежества. Но когда он, придя в третий раз, начал вести себя развязно и объясняться в любви, то она осадила его сразу, выгнала вон и пригрозила написать об этом мировому посреднику. Урядник вышел с злобной угрозой отомстить — и отомстил. Он донес надлежащему начальству, что учительница завела склад малорусских книг и читает их по вечерам у себя на квартире сельским детям. Налетел ревизор; склада, конечно, не оказалось, но несколько дозволенных цензурой малорусских книг он нашел у нее и удостоверил дознанием факт, что раз она читала какую-то книжку мальчику. Ревизор сказал ей, уезжая, что хотя он не нашел важных правонарушений, но тем не менее обнаружил в ней украинофильские симпатии, каковые для учительницы неудобны.

Ревизор уехал, и Галя, всполошенная неожиданной напастью, ждала уже решительного удара; но время шло, а его не было, надежда начала воскресать.

Но как-то вечером был получен пакет о ее отставке, а через день становой потребовал ее к себе, и пошла она, горемычная, скитаться по мытарствам, оставивши на произвол судьбы свою пятилетнюю Лесю, успевши лишь написать отчаянное письмо Марье Ивановне.

Время шло. Неизвестность о судьбе ребенка, губительная душевная тоска и всякого рода лишения быстро подтачивали хрупкий организм Гали; наконец сырость и новая простуда ожесточили ее прежний недуг, и больная отправлена была в госпиталь, но медицинская помощь при окружающих условиях оказалась бессильной.

Марья Ивановна, получивши от Гали письмо, стремительно полетела в Заньки, взяла Лесю и отвезла ее к бабушке, рассказала той все про Галю и подействовала так на больную, забытую совершенно сыном старуху, что она разрыдалась и начала проклинать себя за жестокость к дочери. Само собой разумеется, что внучка была обласкана и водворена под родительским кровом, а бабушка с Матковской стали ходатайствовать об освобождении ни в чем не повинной страдалицы. Хлопоты увенчались успехом, так как само следствие обелило пострадавшую, и она через полгода была освобождена и перевезена на днях из больницы, по просьбе деда, в его гостеприимную хату.

* * *

Оксана, одевши чистое белье и праздничную, но еще темную юбку, подошла тихо к больной, посмотрела на нее пристально и подумала: «Спит, дал бы бог, чтобы подольше: сил бы набралась, а то тонко прядет...» Потом она подошла к скрыне, вынула яркий очипок, шелковый золотисто-сизый платок, синюю с красными усиками корсетку и хотела было вынуть материнскую дорогую картатую плахту, да вспомнила, что в городе их не носят, и отложила, а вместо нее достала шерстяную мененую сподницу,— все это она сложила на лаве и прикрыла скатертью; потом она вынула из печи пасху и бабу, положила их бережно на подушку и начала осматривать, выпеклось ли тесто. Осмотр оказался удовлетворительным: пасха и баба были легки, зарумянены и разливали по хате аромат сдобного теста. Оксана улыбнулась, ее хозяйская гордость была удовлетворена: ожидаемый ею

на завтрашнее утро супруг, вероятно, одобрит все ее хлопоты... А может быть, он приедет и раньше?

Дверь отворилась. Оксана вздрогнула и шатнулась к ней. На пороге стоял сгорбленный дед и молча крестился к иконам, что занимали целый парадный угол. Вдавленная между плеч лысая голова старика была обрамлена серебристой бахромкой, красные, словно осокой прорезанные, глаза едва светились из-под нависших косматых бровей, жиденькая, желто-бурого цвета бородка висела клочьями вокруг беззубого запавшего рта, и только длинные седые усы, не знавшие никогда бритвы, выделялись внушительно на этом скомканном и изрезанном морщинами лице.

— Причащаться сподобился,— зашамкал дед, садясь на лаве возле стола,— вот вам и просфорка с часточкой за здравие болящей.

— Спасибо, дидусю, поздравляю вас со святым причастием,— поклонилась внучка Оксана и поцеловала у деда почтительно руку.

— А что, как ей? — еще тише спросил он, приставивши к глазам руку.

— Ох, дидусю,— прошептала Оксана ему на ухо,— я так было переполошилась: вот-вот отходит... А теперь что-то затихла, как будто заснула.

— Спит,— успокоился дед, отходя к лаве и тряся головой,— а только травки ей не топтать...

— Ох, ох, ох! — вздохнула Оксана.— Дидусь мой любесенький! Я бы пошла теперь с Грицем к плащанице... приложиться, а вы тут посидите.

— Добре, добре, побеги, поклонись святой и за нашу страдницу ударь поклон.

Оксана вышла из хаты.

Долго сидел дед, остановивши на лежавшей против него Гале свои мутные очи. «Вот оно,— думалось ему,— какие мы все темные перед божьим разумом: мне бы давно пора на тот свет, и кости тяжело носить, а все дыбаю... А оно молодое, только что расцвело и в цвету вянет... В счастье да роскоши родилась, бегала веселенькая, здоровенькая, счастливая, всех тешила, а вот же без всякой вины, без всякой причины как начала бить ее доля, дак горше нашего брата: мы-то к битью привыкли, научены смалку, а ей-то, деликатной да нежной, было оно невмоготу,— не выдержала, сдалась. Вот и лежит

тень тенью... А сердце какое было — золотое сердце! Видно-то, всем добрым да милосердным тут не житье, туда, до божьей хаты, требуются...»

— Воды! — слабо простонала больная, метнувшись, и открыла глаза.

— Зараз, зараз, моя сердечная,— засуетился дед, поднося ей кружку,— вот и просфорка от великомученицы... А как вам, квиточко? Кажется, лучше? Веселее будто глазки глядят... чтоб только не сглазить! — взглянул он на ногти и три раза в сторону плюнул.

— Диду мой, спасибо вам... спасибо и за просфору,— поцеловала она ее,— и за все... как у отца родного, у вас мне... Пусть вот распятый Христос помянет вашу ласку...

— Полно, полно, дитятко мое...— начал он как-то неловко утирать слезящиеся очи.— Недостоин я... пусть его ласка святая на вас упадет да на вашу донечку!

— Я ее, диду, во сне видела...— беззвучно и несколько торопливо зашептала Галя.— Такая славненькая, моя зоренька ясная, бегает, яичком катится, серебряным голоском ко мне отзывается... меня аж зажгло от радости... Я и проснулась...

— Хороший сон, добрый сон...— кивал бородой дед.— Вот, того и гляди, впорхнет сюда в хату Леся наша, и стены засмеются от радости...

— Ах, когда б зглянулась матерь божья, когда б послала мне это счастье!..

Галя опять смолкла и закрыла глаза, вытянувшись пластом; только изредка поднимавшаяся грудь обнаруживала еще тлеющую жизнь.

Дед, согнувшись, молча сидел у изголовья и, закрыв глаза, или думал свою старческую думу, или от истощения и усталости дремал.

— Дидуню! — дотронулась до него через несколько времени Галя и взяла его за руку.— Мне как будто легче, заснула немного, и в груди ничего не щемит. Так вот я хочу сказать вам... когда меня не станет, то попросите Марью Ивановну, чтобы она заменила меня для Леси... ей я верю... жаль вот, что ее нет в городе, не увижу... а то мама моя слаба, брат может приехать... я мамы моей не хочу обидеть... я ей все прощаю... и всем, всем, они тоже по-своему были глубоко верующие... и мама... только ошибалась, а по-своему любила меня... лишь бы она меня простила... Так и передайте, что вот у вас за нее...

прошу прощения,— и она неожиданно поцеловала его мозолистую, сморщенную руку.

— Галочка, Анна Павловна, что вы? Меня, мужика, слугу вашего! — разрыдался навзрыд дед, всхлипывая по-детски и ловя ее руки.— Не думайте... господь смилуется...

Он отошел в угол и, склонивши голову на руки, начал что-то беззвучно шептать.

В это время вошла в хату с Грицем Оксана и, заметив, что Галя несколько бодрее на вид, стала весело рассказывать ей про нарядность церквей божьих, про суету в городе... А Гриць, подбежавши к Гале, поцеловал ее и торжественно объявил:

— Теперь ты будешь совсем, тетю, здорова: завтра встанешь и будешь... навбитки яичком биться... Я кланялся бозе и просил его... чтобы тебя не держал на подушке: он добрый и послушается...

Галя поцеловала Грица в кудрявую головку и, приподнявшись на одном локте, начала смотреть в окно. Солнце садилось уже за горой; его не было видно, но прощальные лучи горели еще на верхушках тополей ярким, красным огнем и сверкали на кресте колокольни. На огороде и ближайшей улице лежали длинные тени с расплывающимися линиями контуров; между деревьями сгущался уже сумрак, а вся даль с светлым зеркалом реки покрывалась лиловатой мглой, одевавшей горы легкими, чарующими тонами; только на потемневшем фоне небес еще ярче и фантастичнее вырезывались силуэты далеких церквей.

Галя жадно, с тоской смотрела на эту картину, словно желая остановить потухающий день. Солнечный луч вдруг вспыхнул на золотом кресте и через мгновенье сразу погас; все потемнело.

Галя отвернулась от окна и опять легла на подушку. А Оксана убирала уже праздничный стол: покрыла его белой скатертью, декорировала по краям зеленью, барвинком и начала уставлять на нем яства.

Послышался густой металлический звук далекого колокола; за ним через несколько мгновений донесся дрожащий второй, и, наконец, с ближайшей церкви раздался благовест. Дед встал, перекрестился и начал собираться на всенощную. Гриць тоже засуетился искать свою шапку.

— Гриць, ты не ходи теперь, с вечера,— остановила его мать,— не выстоишь всю ночь, а лучше вот ляжь дома, сосни, а я тебя разбужу, когда дочитают до Христа... Ведь я дома останусь, так и разбужу.

— Оксана, вы для меня остаетесь? — отозвалась Галя.— И не думайте! Мне, слава богу, легче... Я здесь с Грицем дождусь великой минуты... Только вот воды приготовьте, а то мне хорошо...

— Я, мама, возле тети не засну, буду лучше сидеть и ждать, а то не разбудите, как и торик,— надул губы Гриць.

— Да как же вы одни...— пробовала слабо возразить Оксана; ей, видимо, было жаль и пропустить такое торжество, и оставить больную.

— Нет, нет, идите... Мы с Грицем отлично тут... мне лучше...

— Коли лучше, хвала богу, то, может быть, и вправду... тут недалечко... дед в Лавру пойдут, а я в свою приходскую,— радовалась Оксана.— Если не дай бог что, так Гриць меня вызовет; ты знаешь ведь, где наша церковь?

— Еще бы не знал,— знаю! — даже обиделся Гриць.— Зараз за дубильнею, направо.

— Так, так, ты у меня молодец,— поцеловала сынка своего молодица.— Так ты прибеги на бабинец — я буду скраю стоять, у дверей.

— Добре,— кивнул головой Гриць и, подбежав к Гале, начал тереться возле подушек: — А тетя мне про красное яичко расскажет и про рахманский великдень...

— Расскажу, расскажу... — погладила она его по голове,— только мне чего-то холодно сделалось... руки и ноги окоченели,— обратилась она к Оксане.

— Еще бы не холодно,— всполошилась та,— окно до сих пор отворено! — и она бросилась запереть его и укрыть лучше Галю, а потом торопливо стала одеваться в приготовленный праздничный наряд.

Когда Оксана и дед вышли из хаты, Галя, опершись на локоть, посмотрела с грустной улыбкой на стол. По ее бледной, дрожавшей при трепетном свете щеке медленно скатилась слеза и беззвучно упала на землю.

Гриць смирно и тихо все ждал, но наконец не вытерпел:

— А про яичко, тетя?

— Про яичко? — вздрогнула Галя, оторвавшись от глубоких, неразрешенных вопросов и дум.— Расскажу, расскажу, родненький мой,— и она прижала к себе его головку.

— Далеко, далеко,— начала она тихо и с частыми передышками и паузами,— за семью морями и за семью горами есть долина, а в той долине никогда не бывает ни морозу, ни снегу, а вечно цветут деревья и зеленеют луга, там растет сад, такой славный, такой роскошный, какого нет нигде на земле.

Хотя Галя говорила и тихо, с большими передышками, остановками, но речь до того утомила ее, что она больше не имела силы не то что продолжать рассказ, а ни шевельнуться, ни вздохнуть, кроме того, видимо, у нее начинался жар — губы сохли, внутри жгло... Она простонала слабо и попросила Грицля подать ей железную кружку, но тот давно спал безмятежным сном. Галя собрала последние силы, потянулась к окну, где стояла кружка, и, расплескав ее наполовину, отпила глотка три холодной воды. В ушах у нее поднялся какой-то звон, и она бессильно упала на подушку, но и сквозь закрытые веки она видела ясно, как светлица начинала вертеться, сначала медленно, а потом скорее и скорее...

В вихре водоворота показалось Гале, что она погружается в какие-то горячие, кровавые волны, которые жгут ей мозг, забивают удушьем дыхание... Но вот мутные воды как будто немного светлеют и превращаются в прозрачную мглу, среди которой словно плавает, то приближаясь, то удаляясь, знакомая тень.

— Бедная ты, несчастная! — шепчут его побелевшие губы.— Зачем ты, слабая и кроткая, оторвалась от охранявшего тебя крова и бросилась на трудный путь, в бурю? Вот она тебя и сломила, и лежишь ты, беззащитная, и несешь не заслуженную, а чужую кару... Прости и меня, виноватого перед тобою,— у тебя ведь всепрощающая душа!

Галю давят слезы, ей жаль этого бледного, изможденного человека; прежнее чувство симпатии шевельнулось в ее источенном муками сердце; она хочет даже протянуть к нему руку, но боится.

Галя крикнула от боли и очнулась, но сознание медленно вступало в свои права: впечатления внешнего мира едва проникали к ней и снова подергивались туманом.

Галя смутно узнавала хату; перед ее воспаленными глазами мелькали и окна, и убранный стол, и печь... Но она не могла, как ни силилась, фиксировать их форм: они то удлинялись, то съеживались и принимали фантастические очертания. Галя чувствовала страшную муку,— ей казалось, что она брошена в какую-то огненную печь; раскаленный воздух жжет ей все внутренности, пепелит мозг и не дает силы собрать разбежавшихся мыслей. Пол горит, кровать колеблется, изголовье понижается больше и больше. Галя инстинктивно взмахнула рукой, хотела удержаться за Грица, но тот лежал уже на полу, раскинувшись привольно на скатившейся к нему подушке.

Спасенья нет! Она пробует крикнуть, позвать кого-либо на помощь, но железная рука схватила ее за горло и прижала к кровати... Галя присматривается к владельцу ее — она видела где-то это лицо, желтое, с маленькими бачками, с приторной и ядовитой улыбкой, с злобными оловянного цвета глазами и портфелем в руках... Галя мечется, хочет вырваться, но бачки только хихикают и бьют ее портфелем по голове.

Все покрывается непроницаемым мраком...

Сквозь шум, похожий на падение воды, ей слышится говор и спор, сначала бесформенный, непонятный, а потом... вдруг обращается кто-то к ней:

— Для чего вы у себя держите написанные на малорусском наречии книги?

— Для того, что люблю их читать,— отвечает просто и искренно Галя,— люблю родину...

— А отечество? При чем же останется отечественная литература? — что-то черное вытянулось до потолка вопросительным знаком.

— Любовь к родине не исключает любви к отечеству, а даже обусловливает ее,— преодолевши страшную боль, отвечает Галя и ощущает у себя на шее какое-то кольцо, холодное, мягкое... оно сжимает ей горло.

Гадливый ужас поднял ее с кровати: она схватилась обеими руками за кольцо, силится оторвать, но оно сжимается все сильней и сильней, а по рукам скользит раздвоенный язык.

Ей кажется уже, что бегает она в лесной чаще, прутья ее хлещут, а она кличет на помощь... За ней, перескакивая с ветки на ветку, гонятся обезьяны со смехом, а другие звери воют...

Этот смех и гадливый вой становятся Гале невыносимы, она отмахивается и кричит, теряя самообладание:

— Что вам от меня нужно?

— А вот что! Скажите, в каких вы отношениях были с Василевским, именуемым в просторечии Васюком?

Галя смутилась; кровь бросилась ей в лицо, дыханье сперлось в груди; она отшатнулась за сосну и замолчала.

— Ну-с, так в каких, сударыня, состоите отношениях?

— Он был моим мужем...— с воплем негодования хочет вырваться от него Галя, но напрасно.

— Венчались вкруг ракитового куста или в овраге в темную ночь?

— Не издевайтесь! Я не позволю! — крикнула возмущенная Галя, но тут поднялся такой гвалт и лай, что она почти потеряла сознание. В хаосе ощущений, в какой-то бессильной борьбе она сознавала лишь смутно, что все ее тело содрогается от мучительных жал скорпионов, голова трещит от ударов, нервы рвутся от пытки.

— Оставьте меня! Пощадите! Я ничего худого не сделала, я никому не думала делать зла! — молит она напрасно, ломая слабые руки.— Мама! Где ты? Заступись за свою бесталанную дочь!!

Но вот клубы черного смрадного дыма врываются и покрывают все непроницаемым мраком... Галя мечется, силится уйти, убежать, но со всех сторон сдвигаются железные стены и заграждают ей выход; она бьется о них до крови, но в мертвой тишине сдвигаются стены все больше и больше. Галя уже не может двигаться, ей тесно, ее давит со всех сторон холодное железо... Грудь стиснута, мозг застывает... дыхания нет... смерть... смерть!

Рванулась Галя с последним напряжением отчаяния, и на минуту озарило ее сознание, но эта минута была таким ужасом, который испытывает человек только раз в жизни. С страшными, мучительными натугами силится Галя вдохнуть воздух, но неподвижна ее грудь, как гробовая доска, и последним содроганием трепещет в ней жизнь.

Наконец прорвался из сдавленного горла раздирающий душу крик: «Воздуху!» — и разбудил даже Грица; тот схватился и большими глазами стал смотреть на бедную тетю, а она конвульсивно металась и рвала на груди рубаху, подкатывая глаза и обливаясь кровавой пеной...

Гриць зарыдал и, перепуганный насмерть, бросился на улицу бежать в церковь.

В конвульсиях агонии Галя как-то ударила рукой в окно и оно отворилось; струя чистого воздуха попала несколькими глотками в ее истлевшие легкие и раздула опять на мгновение потухавшую искру. Беспомощно склонила страдалица голову на окно, как смертельно подстреленная птица, только вздрагивала иногда да трепетала; но ей, видимо, становилось легче: хотя в голове и стоял смутный хаос, мешавший ясности самосознания, но зато какая-то нечувствительность охватывала все члены, боли унимались в груди и зарождалось взамен их безотчетное чувство блаженства.

Ночь стояла благодатная, южная; глубокое темно-синее небо широко обняло землю, нагнувшись к ней ласково и любовно; на его необъятном куполе торжественно сверкали и мерцали мириады лампад; дальние горы казались теперь силуэтами причудливых облаков; на них по всем направлениям, словно светлячки, двигались разноцветные огоньки; ветер совершенно утих и едва колыхал сонный, напоенный ароматной влагой воздух.

Галя устремила свои полузакрытые глаза в волшебное небо, что с материнской нежностью раскинуло над ней свои драгоценные ризы; ей чудится, что в природе совершается что-то торжественное, что она таинственно занемела в ожидании великой минуты; ей грезится, что плавно движутся звезды и строятся в дивные сочетания, что между ними реют светозарные, легкие образы и тонут в безбрежной, недосягаемой выси... Но вот ее чарующие глубины становятся яхонтовыми, прозрачными, и все загадочное, непонятное прежде, кажется доступным ее облегченной душе.

Галя уже не чувствует ни тяжести своего болящего тела, ни его мучительных ран; вместе с тем и душевные ее бури и скорби отлетели куда-то далеко, далеко и уступили место неизведанному еще умилению и покою.

Голова Гали сползла с подоконника на подушку, а с нее скатилась вниз и повисла над полом, одна рука упала и коснулась земли... В хате воцарилось глубокое молчание смерти, а в открытое окно неслись звуки ликующей ночи...

* * *

Молодица прибежала и упала с рыданием к не охладевшему еще трупу: ей было невыносимо жаль этой молодой, безвременно увядшей жизни.

Гриць тоже тихо и безутешно плакал, уткнувшись в подушку; его потрясла до ужаса картина насилия смерти.

Поголосила над покойницей панной Оксана и начала снаряжать ее в последнюю, далекую дорогу: надела на нее вышитую занызуванням * рубаху, коричневую сподницу и синюю с красными кантиками корсетку, на голову положила венок из зеленого барвинка и, принарядив ее в лучший любимый костюм, положила на лавке, застланной ковриком, под образами.

Загоралось уже ясное утро; голубоватый свет врывался в окно и обливал с одной стороны холодными тонами худое и прозрачное лицо Гали, а с другой — красновато-желтый свет от свечи отражался теплыми бликами на ее безмятежно спокойном челе.

Оксана, обрядив усопшую, долго и пристально всматривалась в эти милые и дорогие черты; смерть еще не коснулась их своим тлетворным дыханием, и лицо, в кудрявой зелени барвинка, при эффектной игре двух освещений, было величаво-прекрасно и улыбалось застывшей улыбкой.

Вошел, спустя несколько времени, дед и, не удивившись давно ожидаемой картине, ударил набожно три поклона и дрожащим от слез голосом начал причитать ей:

— Настрадалась, натомилась, моя дытыночка, все за других побиваючись, а теперь легла отпочить.

* * *

С шумом растворилась дверь, и маленькая девочка, раскрасневшись от ходьбы и волнения, влетела в светлицу с веселым криком: «Мама!» Но, подбежав к маме, она занемела от ужаса и, всплеснувши руками, упала перед ней на колени.

---

*Занизування — особливий вид вишивання.

ПАН КАПИТАН

ИЗ ГАЛЕРЕИ СТАРЫХ ПОРТРЕТОВ

(Быль)

Свежо предание, а верится с трудом.
Грибоедов

В сумерки жизни, когда наступающая тьма холодной, беспросветной ночи навевает какой-то таинственный трепет, душа особенно чутка к невозвратному и всеми надорванными струнами силится пробудить угасшие звуки и слить их в последний аккорд. Минувшие годы, ушедшие вереницей в туманную даль, начинают выплывать из забытой полосы жизни неясными обликами, и странно — чем дальше вглубь, тем яснее они обрисовываются: видно, отзывчивее было молодое сердце, и давние, дорогие образы и картины запечатлелись глубже в нем... Вот и теперь, на краю голубой мглы, они встают светлым миражем... давно забытый сон мерещится пред тусклым взором, вспыхивает, как догорающая лампада: открываются могилы, оживают бледные лица, протягивают холодные руки, зажигаются лаской глаза... и какой-то далекий вздох пробегает теплым дыханием по усталому сердцу.

Полстолетия уплыло, а вот как будто стоит у меня перед глазами маленький, сгорбленный домик, словно вросший в землю грибок: высокая кровля крыта соломой, гривками, с двумя наддашниками и выступающим посредине ганком; подслеповатые окна смотрят с одной стороны на широкий, обнесенный постройками двор, а с трех остальных — упираются в густые заросли вишен и терна, обступившие домик тесной стеной· Внутри он напоминал

собой гроб,— такой же был мрачный, сдавленный, полный затхлого запаха,— но мне он казался уютнейшим уголком, особенно летом, когда можно было в пяти проходных комнатах бегать кругом, через темные сени.

Я был еще хлопцем лет восьми, девяти... не больше, когда мы жили в этом домике, в своем родовом поместье. Старый, предковский дом был совершенно в другом месте, на краю села, но он стоял уже тогда развалиной, среди заглохшего парка, а семья наша, впредь до обновления его, перешла в служебный домик — в официну, стоявший посреди села, да так в нем и осталась, забывши совершенно о прежнем пепелище... Некому, впрочем, было и позаботиться о возведении новых построек: над нашей семьей перешло черной полосой тяжелое горе — один за другим скончались в короткое время отец мой, дед, сестра и два брата... Оттого-то и не выходил из наших комнат запах ладана. Только трое нас и жило там в полном уединении: мать моя, вся в черном, бледная, худая, с крупными черными глазами, повитыми неслетавшей печалью, да согнутая маленькая старушка в белом чепце, обрамлявшем сморщенное, но бесконечно доброе личико — мать моей матери, моя бабуня, да я,— единственный сын и единственный внук,— на котором и сосредоточилась вся любовь этих женщин: и берегли же меня эти два дорогие существа... пуще глаза!..

Жизнь наша текла ленивой, сонной струей, не возмущаемой ни бурями, ни подводными камнями. Приходили с раннего утра, удосвита, приказчик да ключница, и с общего совета, в котором участвовала и няня, делались распоряжения по хозяйству, потом являлся повар, за ним баба-молочница... Затем переносились хлопоты на меня, общего баловня: начиналось одевание паныча, проходившее, конечно, не без капризов... Впрочем, большая часть дня тратилась на панское кормление: пили чай, кофе, снидали, обедали, пидвечиркували, вновь пили чай... и вечеряли; в антрактах между кормежками я немного занимался с мамой: арифметикой, законом божиим, географией, а с бабушкой — языками и игрой на клавикордах; остальное время я проводил в забавах с хлопцами и дивчатами, или же на дворе — летом, или в девичьей — зимой. С весны в открытые окна нашего домика врывались и песни рабочих, и гомон улицы, и запах шелюги,

что росла по той стороне озера, вверх по песчаным холмам... и минорные стоны лягушек. Но с глубокой осени, когда вставлялись двойные окна, пропускавшие только мутный, зеленоватый свет, когда в углах залегал сумрак и двери закрывались в темные сени, жизнь наша замыкалась в этой тьме, как в тюрьме, и замирала почти в однообразной, безмолвной тоске.

В комнатах воцарялась тишина, прерываемая лишь изредка какой-либо фразой или моим шумом; но и моя детская резвость угасала скоро в присутствии молчаливых лиц бабушки и матери, вечно занятых каким-либо делом: бабушка, например, или вязала чулки, или пряла на кужиле, или раскладывала пасьянсы, а мама все вышивала на пяльцах да тачала что-то и только в сумерки иногда садилась за клавикорды и пела заунывные украинские песни... да так пела, что приковывала и меня, неугомонного, к месту, вызывая в детском сердце страдание, а в глазах непрошеную слезу...

Когда же наступал вечер и подавали сальные свечи, наш флигелечек несколько оживлялся. Приходили к нам постоянно из села и бабы, и молодицы — на посиденье. Мама и бабуня оживлялись при этих гостях, угощали их чаем, наливкой и коротали с ними длинные вечера в общей работе — большей частью пряже,— за теплой беседой об интересах села, о семейных радостях и печалях. Под шелест тихих речей, под журчанье веретен, под лепет причудливых сказок я засыпал... и такой патриархальной идиллией заканчивался наш день.

Единственным соседом у нас был капитан, пан Гайдовский, живший на конце села, рядом с заброшенной нашей старой усадьбой, в своем, как он выражался, курене; пан капитан обладал двадцатью душами «мужеского пола» крестьян, которые размещены были в четырех хатах, стоявших с капитанским будынком в одном дворище; вся усадьба Гайдовского обнесена была глубокой и широкой канавой с высокой насыпью вроде вала, поросшей непролазным колючим кустарником, люцией, и замыкавшейся крепкой дубовой брамой. В этом маленьком укреплении помещался и садик из низкорослых кудрявых яблонь и слив. На противуположном же конце нашего села стояла старая, покосившаяся церковь, а к ней теснилась полуразвалившаяся усадьба с заколоченным наглухо длинным и низеньким домом,

с заглохшим садом, над которым простирались вверх засохшие ветви, словно покорченные руки скелетов. Усадьба эта принадлежала какому-то отсутствовавшему владельцу, приобревшему эту часть селения; о нем ходили таинственные и страшные слухи.

Каждое воскресенье, каждый праздник мы отправлялись пешком в церковь и заставали там капитана, стройная, высокая фигура которого возвышалась над массой голов и виднелась еще издали; стоял он всегда на правом клиросе вместе с дьячком и исполнял почти всю его должность, то есть читал молитвы, псалмы, паремеи, апостола и пел вместе с ним священные песни, причем дьяк, подперши щеку рукой, заливался страшно высоким, визгливым фальцетом, а пан капитан подтягивал ему баском, спускавшимся в эффектных местах до октавы. Одет был капитан по праздникам всегда в неизменную казачью форму (он служил на Кавказе в Черноморском полку): синие широкие с красными выпушками штаны и казакин-жупанец с беленьким крестиком и тремя медалями.

Я всегда считал за особенное счастье примоститься к капитану на клирос и не отводил глаз от его лица,— таким он казался мне симпатичным и милым; в действительности же наружный вид его был скорее суров: большой, подбритый на висках лоб прикрывался серой, подстриженной грибком чуприной; широкие, сросшиеся на переносье брови разделялись глубокой вертикальной складкой; длинные, закрывающие рот усы возвышались какими-то двумя холмиками над худыми, гладко выбритыми щеками и падали волнистыми концами на казакин, касаясь почти медалей,— все это производило впечатление некоторого страха, и у каждого, встречавшего капитана в первый раз, шевелился невольно вопрос: «А что, как этакому попасться в руки?» Но, всмотревшись в его глаза, иссера-карие, бесконечно добрые и бесконечно грустные,— вопрос этот сам собой падал, и чувство страха заменялось чувством полной безопасности и даже влечения...

Из церкви капитан всегда заходил к нам, к добрым, как выражался он, сусидонькам поздравить с праздником, выпить две чарки деревиевки, закусить пирогами, колбасами и драченым, выпить иногда и филижанку кофе, но на обед никогда не оставался.

— Не могу, моя люба пани,— всегда отговаривался он,— семья дома ждет.

— Да какая там семья,— возразит, бывало, мама,— две собаки да кошка?..

— Хе, сусидонько, и те к семье... Но, кроме их, у меня еще четыре подсусидка (так он называл крестьян своих) с бабами, дидами, жинками и детьми... Мы так целым кошем и садимся за стол. Значит, остаться мне и нельзя: будут ждать...

— Ты вот это хорошо, что с крестьянами ласков... побожески...— заметит на то бабуня,— а вот панибратничать с ними все-таки не годится... Ты ведь дворянин, пане, и род твой, я знаю, старый... шляхетский...

— Казачий, моя шановна пани,— поправит капитан,— а эти самые крестьяне были тоже тогда казаками, так что же мне перед ними кичиться?.. Вместе мы добываем себе кусок хлеба, вместе и поживать его надо. Не гневайтесь уже на меня, старого бурлаку,— целовал он руку бабуни,— сжился я с ними, как с родными...

— Да я что!..— смирялась старушка.— Женить-то, конечно, тебя уже поздно...

— Да,— вздыхал капитан и сейчас же перебивал речь: — А вот позвольте вашему хлопцу, Михайлу, к нам, на запорожский обед?!.

Мать и бабуня чаще уклонялись давать мне позволение на эти обеды, ссылаясь на мое слабое здоровье,— и объестся, мол, и простудится,— но я иногда успевал неотступными просьбами выканючить разрешение и с неописанным восторгом спешил с паном Гайдовским в его куринь.

Это была та же крестьянская хата, немного больше размером и с ганком — навесом на двух колонках; с ганка дверь вела в обширные сени; слева от них была комора, а справа — простая кухня с варистой печью, а за ней уже помещалась и капитанская кошевая светлица.

Помещение кошевого представляло из себя небольшую комнату с дощатым полом и двумя довольно высокими окнами; в нем поражал меня особенно темный дубовый сволок, выделявшийся резко на побеленном потолке, испещренный крестами да изречениями из священного писания; кроме сволока, еще врезалась в память мне изразцовая печь, большая, широкая, с высоким гребнеобразным карнизом; блестящие изразцы ее пестрели

невиданными цветами и неслыханными чудовищами. Вся мебель комнаты состояла из кровати, топчана, двух деревянных стульев, точильного станка, большого дубового стола с подвижными досками и винтами, должно быть, столярного верстака.

Над кроватью у капитана прибит был ковер, увешанный саблями, шашками, кинжалами и двумя ружьями, с бандурой в центре; там же у изголовья висел акварельный портрет какой-то красивой дивчины... Кто была она — я не знал, да и капитан не любил, когда я касался этого вопроса: «Годи,— бывало, оборвет,— ты ще мале!»

Противоположную стену украшали две литографированные картины: одна изображала турка, покупающего невольницу, а другая — какую-то распатланную деву с ребенком на руках и надписью: «Под вечер осенью ненастной»; над входной дверью висела тоже картина, писанная масляными красками, темная и протертая, изображавшая казака Мамая с чудовищными усами. В углу еще, высоко над кроватью, прибит был образ, уквитчанный весь сухими васильками и гвоздикой... Вот и все, что находилось в капитанском коше.

Капитан меня очень любил, а я... я просто обожал «дядька-атамана», как он просил, чтоб я называл его. Да и как было не обожать?.. И кубари он мне точил, и бумажные змеи клеил, и луки делал, и стрелять учил, а то рассказывал про старину, про Запорожье, про набеги черкесов, про боевые схватки,— да так рассказывал хорошо, что даже няня, без которой меня редко пускали, увлекалась этими рассказами до слез.

Капитан постоянно говорил по-украински,— иной речи он не знал и не признавал, считая, что и печерские святые говорили лишь по-запорожски, а себя он считал потомком запорожцев; он показывал мне портрет своего прадеда, настоящего запорожца, в запорожском уборе, а сам он служил в черноморцах, где так свежи были предания Сечи; оттуда-то он и занес в свой крохотный уголок обрывки дорогих для него воспоминаний. Со своими крестьянами он жил совершенно по-братски: вместе с ними обрабатывал свой клочок земли и делился поровну урожаем, вместе с ними трапезовал и проводил праздничные досуги, вместе с ними делил общие семейные радости и печали. С соседними помещиками пан Гайдовский почти не знался; они смотрели на него с

некоторым высокомерием за его «мужичество», а он в них не нуждался; только и бывали у него изредка пан Моцок да пан Александр, мой дядя, которого капитан уважал и любил искренно.

А как пел хорошо дядько-атаман! Словно вижу его с бандурой в руках, с поникшей головой, с строгой печалью во взоре; высоко тогда поднималась у него грудь, голос дрожал, слова вырывались из тайников сердца, сопровождаемые тихим звоном бандуры, и наполняли светлицу стонущими, безотрадными звуками... У меня сердце ныло, и я начинал плакать.

— А что, дошкуля, моя любая дытынко? — улыбнется, бывало, он и перейдет сразу на веселые игривые песни.

Так-то мы жили в своем захолустье, тихо да мирно, как вдруг приехал в заброшенную усадьбу ее владелец и взбудоражил всю нашу жизнь.

Раз вечером поздней весной пришла на посиденье раньше обыкновенного баба Шептуха и объявила встревоженно, что в заброшенную усадьбу приехал новый пан, генерал, и собирается здесь жить, что она его мельком даже видала — с здоровенным носом и хромает на одну ногу. Весть эта взволновала бабуню и маму и взбудоражила все село: чувствовалось, что в патриархальную жизнь его вторгается какая-то разрушительная тревога.

Капитан, всполошенный тоже, не замедлил прийти к нам и сообщил некоторые подробности о прибывшем.

Новый сосед, оказывалось, был выслужившийся в Петербурге чиновник темного происхождения, какой-то статский советник Заколовский; он награбил на службе деньжищ и купил эту часть нашего села с публичных торгов.

— Я его мельком видел,— ворчал капитан, пуская из-под усов клубы табачного дыма,— пьяная харя, желтая, старая, с совиным носом, с бычачьими, навыкат, глазами, с костылем,— или армянин, или выкрест,— не дойди я до своего куреня!

Все село заволновалось, а особенно крестьяне купленной части: новый пан страшный, генерал какой-то... пойдут новые порядки, притеснения... было чего затревожиться!..

Через несколько дней прибежал к нам пан капитан, возбужденный до бешенства.

— Знаете ли вы, моя пани кохана,— сообщил он торопливо,— что за птица этот воряга-пришлец? Только что были у меня его люди... Собрал сегодня крестьян и сразу же начал кричать, что приехал их, хохлов, подструнить, чтоб они забыли прежние льготы, что он выварит из них олею, что за малейшее ослушание или лень будет порка, что он насадит еще побольше для них шелюги! А?! — потрясал капитан кулаками.— А бей его нечистая сила!.. Посмотрим, побачим!..

Бабуня, заслышав голос капитана, вышла поспешно в гостиную, заинтересованная новостью; она была бледнее обыкновенного и видимо волновалась. Вслед за ней появились и ключница, и молочница, и няня, и повар, и, кажется, даже вся дворня; лица у всех были встревожены и напуганы.

— Да как же так? Неужели он имеет право бить людей? — возмущалась моя мать.

— Кто ему позволит? Это подсусидки! — стукнул капитан энергично рукой.

— Что ты там все подсусидки да подсусидки?! — заворчала бабуня.— Крестьяне, а не подсусидки... а крестьян закон дозволяет наказывать, конечно, за дело и в меру... но в том-то и беда: коли этот окажется зверь зверем, да при деньжищах еще, так он своих людей обдерет, обездолит!

Из группы столпившейся у дверей дворни вырвался тяжелый вздох и смутил всех... Капитан стал дергать усы... Наступила минута молчания...

— Бедные они, горемычные,— заговорила стонущим голосом моя мать,— и заступиться-то за них некому!

— Как некому? — возразил капитан, побагровевши, как бурак.— Да я первый не позволю ему над людом знущаться!.. Закон? Разве такой может быть закон, чтобы одну людыну давали другой на потеху, на муку? Вот пусть только этот шельма попробует, так я ему наложу по-кавказски! Еще генералом себя величает, суцига!.. Взяточник, чернильная душа — вот кто он!

— А ты тоже не очень горячись, чтобы не влопаться! — заметила серьезно бабуня.— За чужое жито — буде тебе быто! Ишь, уже сыве, а туда ж, словно юнак!

— Меня, моя шановна бабуню, он не испугает! — задорно возразил пан Гайдовский.— Пуганый уже,—

потряс он с гордостью белый крестик,— а за свой народ я горло перерву!

Мать моя подошла к капитану и поцеловала его в голову. Эта ласка глубоко его тронула и смирила сразу его гнев. Он бросился целовать ей и бабуне руки. Среди дворни послышались сочувственные восклицания: «Ог пан так пан!» — и все несколько успокоились на той мысли, что — в случае чего — есть у них верный защитник.

Стал капитан хаживать к нам ежедневно, и наши вечерние беседы стали оживленнее, шумнее: центром всякого рода сообщений и обсуждений был, конечно, Заколовский. Выяснилось вскоре, что он действительно привез уйму денег, что горько пьет, что необыкновенно дерзок со всяким, а в пьяном виде бесчинствует, что с крестьянами крут и с каждым днем становится жесточе.

У Гайдовского также с каждым днем нарастала злость на этого, как он выражался, паршивого генерала, но он пока сдерживал ее, дожидаясь со стороны врага каких-либо буйных поступков и бесчинств; но когда к нему приходили генеральские крестьяне с жалобами, то капитан впадал в неистовство, советовал, чтобы они сами расправились с дьяволом, предлагал им противозаконные меры. Его советы доходили до пьяного Заколовского и поднимали в необузданной душе статского советника жажду мести. Крестьяне последнего, особенно после посещения станового и его внушений, покорились своей участи, струсили и стали волей-неволей, за исключением лишь некоторых непокорных, во враждебное отношение к остальным селянам, а новый помещик растравлял их и поблажками, и лозой. Село в конце концов разделилось на два враждебных лагеря: во главе одного стоял капитан с преданным ему беззаветно кошем и с большинством сочувствовавших ему наших крестьян, а во главе другой стоял ненавистный, осатанелый Заколовский с туго набитым карманом и значительной группой своих крестьян, дисциплинированных страхом.

Столкновение между этими, не скрывавшими уже своих чувств, врагами должно было произойти неизбежно — и оно произошло.

Раз я переходил с Гайдовским майдан,— вдруг застучали колеса и наперерез нам выехал из-за угла в

дрожках пан генерал, как его величали. Я в ужасе прижался к байбараку * дядька-атамана.

— Не бойся, хлопче,— взял он меня за руку,— мы вот с ним побалакаем...

И когда дрожки поравнялись, то он схватил за узду запряженного коня и крикнул громовым голосом:

— Стой!

Генерал побагровел от злости; его длинный плотоядный клюв наморщился, губы затряслись.

— Как смеешь?! В порошок сотру!..— застучал он костылем.

— А ты на меня, пес, не тыкай,— подвинулся к нему капитан,— на меня вот кресты царь натыкал,— распахнул он байбарак,— да не за грабеж, а за то, что грабежников бил, и тебя, скаженый собака, не испугаюсь. А ты лучше вот что послушай: если ты не кинешь бесчинств и не будешь с крестьянами обходиться по-людски, то будь я вражий сын, коли не укорочу тебе нос!

— Бей его, бунтаря, гайдамаку! — затолкал генерал костылем своего кучера.

— Попробуй, попробуй! — засучил рукава капитан.

— Я тебя в Сибирь, на каторгу! — хрипел, осматриваясь кругом, струсивший генерал.— Ты, ты...— ударил он кучера,— свидетель!.. Он бунтарь... Он меня, генерала... О, я его доеду! В Сибирь!

— Паршивец ты, а не генерал! Да хоть и в Сибирь, а от моих рук не втечешь!

— Пошел, пошел! — завопил неистово Заколовский.— Это разбойник!.. Я... я...

Лошадь тронула. Капитан было сделал движение, но потом махнул рукой и только плюнул. А возвратясь домой, послал за горилкой и, собрав свою верную дружину, задал пир. Тешились верные слуги первой победоносной схваткой своего кошевого, а капитан, снявши бандуру, ударил по струнам и запел:

Розвивайся, а ти, старий дубе,—
Завтра мороз буде!

А селяне подхватили:

Убирайся, молодий козаче,
Завтра поход буде!

---

* Байбарак — верхній одяг на зразок каптана.

Об этой стычке сейчас же узнало село. Все радовались, хотя и побаивались, чтобы не досталось их заступнику за такое важное лицо... даже бабуня при первой встрече одобрила Гайдовского:

— Вот за это,— сказала она,— хвалю, что ты отчитал ему акафист!

— А все-таки будьте осторожнее,— добавила мать.

— Не боюсь я, пани кохана, такого харцыза, а за свой люд постою до последнего,— ответил тот весело.

Заколовский сначала видимо присмирел, куда-то уехал... А недели через две налетел в село становой, созвал всех вообще крестьян, накричал, погрозил и для примера выпорол несколько душ из крестьян Заколовского. С капитаном же имел тайный разговор, после которого последний стал еще больше клясть и генерала, и взяточника станового, и всех суциг да панов... Вообще же после этого капитан загрустил, занудыв свитом. Меня удивила и огорчила перемена в характере дядька-атамана; он стал раздражителен, суров и, наконец, запил, а в возбужденном состоянии разражался на кого-то громами, потрясал кулаком, а иногда плакал и изливал предо мною свои жалобы на обидчиков:

— Знущаются эти паны, друже мой, и над людьми божьими, и над нами... Вот и она,— показал он на портрет дивчины,— убили, запаковали! Эх, горлинка была! И из себя, как весенняя зорька, как квиточка, а сердцем такая — не найдешь на целом свете нигде,— ангел бы позавидовал... И как она меня любила, а уж я ее... Эх!— ударил он себя кулаком в грудь и, припав головой на стол, задрожал и заколыхался...

Я встревожился и стал было плакать, но капитан поднял голову, взглянул на меня мутными глазами и обнял; по щекам у него струились слезы.

— Выпьем! Зальем! — вскрикнул он, налил стакан водки и протянул было его сначала ко мне, но, сообразив что-то, махнул рукой и опрокинул в свой рот.

— Крепостная, видишь ли, раба! Всех в рабы повернули! — продолжал он хриплым голосом.— Как я не молил, что не давал — не согласились отпустить... не захотели выдать за меня замуж, да мало того — чтобы меня отвадить, вздумали еще выдать ее за своего крестьянина... Ой, как она плакала передо мной... и все просила, чтобы я себя не губил, чтобы забыл ее... что уж такая

доля! Ох, как плакала... Слезы те вот здесь стоят и жгут, пекут... Ну, я его, мерзавца, поймал-таки, схватил вот этак за барки и стал просить, чтобы не губил молодого веку, чтобы меня не доводил до греха. Струсил пан, пообещал, а потом тайком удрал на Кавказ, а управителю велел обвенчать ее... Ну, и утопилась! — простонал капитан, уставившись куда-то вдаль глазами.

— Белая как полотно лежала... черные мокрые косы... и ресницы дугами... а на них капли воды, как роса... Я потрошить не дал... отнял, избил управляющего и сам на Кавказ... Все искал пана... не привел бог... ну, да еще подождем!.. Ой, какая она была белая-белая, и устоньки сциплены! — всхлипнул он, схватившись за голову, и потом вдруг бросился к двери с бешеным криком: — Всех выдушить, всех вырезать этих жироедов! Заграбили, запропастили Украину! Наймычка теперь, попыхачка! Ах!— И, уставившись на меня страшными глазами, спрашивал диким шепотом: — Правда, мой любый, лучше теперь в землю лечь... там все, что дорого, а тут что? Убить двух-трех псов — и лечь по-казацки! Правда?

Я смотрел, дрожа всем телом, на моего дорогого дядька-атамана и повторял машинально:

— Да, лучше... по-казацки!

Но мне было жаль его так бесконечно, что я начинал рыдать навзрыд, и долго не могли ни няня, ни мама, ни бабуся унять моих детских рыданий.

А Заколовский между тем стал неистовствовать после визита станового и свиданий кое с кем в городе. Порка у него завелась теперь почти ежедневно, и не только своих крестьян, но даже иногда казаков и проезжих; заболеет, например, кто-либо в казачьем хуторе — генерал сейчас туда (лечить любил страшно), повезет лекарства, сделает строжайшие наставления, и если, упаси господи, узнает, что больной чего-либо не выполнил, то затянет его или сейчас, или по выздоровлении к себе — и порка! Услышит, например, что у проезжего скрипит колесо, или увидит, что у него конь не подкован,— сейчас же к себе — и порка! В пьяном виде позволял он делать даже кощунства... Для ограждения же своей личности от возможных со стороны обиженных покушений Заколовский завел себе особую стражу; последняя не только стояла вне дома и внутри на часах, но и сопровождала всюду своего деспота, а выезжать уже иначе

и не выезжал он, как окруженный по крайней мере шестью-десятью всадниками.

К Гайдовскому генерал предъявил иск, а пока тот тянулся, наносил ему всякого рода убытки и обиды: то срубит в гайку́ его дуб, то вытопчет ему озимь, то захватит у него часть земли...

Капитан презирал всякие сутяжничества, а искал в свою очередь случая отомстить ему, суциге, тем же и раз даже сжег курень, построенный последним на капитанской земле; а генерал сжег капитану за то мельницу, ветряк; между ними началась правильная партизанская война, ожесточавшаяся с каждым днем и грозившая дойти до чудовищных размеров... Гайдовский за последнюю обиду поклялся перед образами у нас отблагодарить дегтярному генералу, хотя бы пришлось поплатиться за то каторгой, и, несмотря на просьбы моей матери и бабуни бросить эту безумную мысль, а подать лучше жалобу, он был непреклонен и мрачен как ночь.

Подходили рождественские святки. После строго соблюденных постов и воздержаний великодные и риздвяные праздники вносили в сумрачную труженическую жизнь села светлый луч отрадного отдыха, заставляя хозяек приготовиться к обрядам их по заветам седой старины, а потому перед святками, а особенно накануне, подымались в каждой семье усиленная работа и суета: приготовлялись всякие снеди и всякие печива, прибирались светлицы, белились стены и потолки, чистилась и исправлялась праздничная одежда — вообще господствовал исключительно женский труд, а потому мужчины по большей части изгонялись на это время из хат, а зашедший гость в эти дни считался хуже татарина. Потому-то и меня в день сочельника, ввиду уборки комнат, отправили тогда к пану капитану поиграть и непременно вместе с ним возвратиться в святой вечер домой при появлении первой звезды.

Помню, как теперь, что тогда на свят-вечер погода была роскошная: легкий мороз, невозмутимая тишина, ровный, сверкающий пласт снега, разубранные пушистым серебром деревья, словно вырезанные на синем пологе неба, и прямые струйки золотистого дыма, стоявшие неподвижно на сахарных кровлях хат.

Не слыша земли под собой, я побежал через сад к широкому и глубокому рву, занесенному теперь снегом.

перебрался по сугробам через майдан и очутился перед капитанской брамой; она была заперта дубовым засовом, и только маленькая форточка в воротине позволяла проникнуть в дворище кошевого. Четыре огромные собаки, побрязгивая цепями, ходили у брамы и стерегли вход в нее чутко; но меня они хорошо знали и приветствовали, помахивая кудлатыми хвостами, ласковым лаем. На кошевом дворике стояла необычная суета — не та предпраздничная суета, что сосредоточивается в хатах и кухнях, а серьезная плотничья, какую встретишь лишь в горячую рабочую пору.

Среди двора в куче золы смолились и парились не кабаны, а ободья и толстые обручи. На ганке капитан с двумя рабочими что-то мастерил и прилаживал к двум столбам; стучали топоры, звенели долота, визжали пилы; из кухни тоже доносились шипящие звуки струга и гембля: кипела какая-то спешная работа.

— А, мой любый джуро! — обрадовался мне капитан; раскрасневшись от работы, он выглядел теперь бодрее, моложе, и глаза у него горели не мрачным, а светлым огнем.— Сюда, сюда, до нашего гурту! — притянул он меня к себе и поцеловал, обмочивши мне мокрыми усищами все лицо.

— Что это, дядько-атамане? — воззрился я с удивлением на прилаживание какой-то диковинной машины.

— Катапульта, domine... *

— Как? Что?

— А вот смотри: вот этот расправленный обод стянем шнуром, и выйдет лук.

— Лук? Тот, что стрелять? Как же его натянуть? Кто сможет? — засыпал я его вопросами, сгорая от любопытства.

— Да, да, любый, тот лук, что стреляют, и будем стрелять,— подчеркнул он злорадно,— а натянем вот этой штукой, что шины натягивает, а вот сюда приделаем желобок для стрелы, а сюда курок...

— Ах, как весело! — прыгал я от восторга.— А стрелы где? Давайте, дядько, я сделаю: у нас на повитках чудесный очерет, ровный-ровный и крепкий.

— Э, голубе мой,— усмехнулся дядько-атаман,— мы не такие приготовим стрелы... вон посмотри в кухне.

* Пане (*лат.*).

Я бросился к двери. В кухне и светлице шла тоже спешная работа; на верстаке стругались из соснины стрелы, на точиле острились наконечники, у печки в жаровне грелась какая-то смесь, на столе кухонном вместо пирогов и рыбы чернели кучи растертого пороха, угля, селитры и серы.

Я был на седьмом небе, бегал от верстака к печке, от печки на ганок и ждал с адским нетерпением, как такой чудовищный лук будет стрелять? Под впечатлением прочитанной мною сказки про какого-то колдуна-кузнеца, перекидавшего стрелы свои через море, я был просто опьянен восторгом и убежден, что это дядько для меня придумал такую забаву.

Баба-кухарка приходила несколько раз, смотрела с недоумением на непонятную ей работу и качала головой укоризненно.

— Уже вот-вот свято заходит, а наш пан атаман розпочал работу, да и дытыну держит — ведь оно, верно, голодное? То нам, старым, до звезды не следует есть, а ему, малому, можно. Пойдем, панычу коханый, пирожков покушаешь,— приглашала она меня ласково.

— Нет, нет, бабусю, мне есть не хочется,— не соглашался я отойти ни на шаг, да и взаправду было не до еды,— так захватили меня всего эти воинственные приготовления.

Уже загоралось на западе зарево и багряно-огненный шар спускался за бахрому дальней шелюги, зажигая рубинами верхушки серебряных тополей, когда в светлицу вошел капитан и объявил, что там все готово, а вот только как стрелы? Принес есаул Грач из-за печи целый жмут высушенных древок с прилаженными уже к ним наконечниками и какими-то втулками. Капитан потребовал еще приготовленный черный состав вроде мази и стал им наполнять втулки, прикрепляя к каждой по куску трута. Когда обсохли некоторые стрелы, то дядько взял одну из них и поджег ее трут у печки: засверкали искры и начали разлетаться с треском, а через мгновенье вспыхнула и масса во втулке; с страшным шипением начал вылетать из нее с едким дымом зеленоватый огонь, пламя которого постоянно усиливалось, и это продолжалось минуты две. Я восторгался, хлопал в ладоши и обнимал порывисто дядька за такой фейерверк.

— А ну пойдем, любый мой джуро, пробовать, как этот фейерверк полетит и как он кого-то потешит,— насунул Гайдовский на лоб смушевую шапку и, захватив стрелы, вышел на ганок.

Там уже возле катапульты стояло два есаула.

— А ну натягивай, как-то оно будет стрелять? — затревожился капитан, налаживая рычаг.

Со скрипом согнулся обод, натянулся шнурок и заскочил на крючок.

— Постой-ка, направить нужно,— стал он поворачивать и нацеливать ложу с желобком.— Как только поднять? Гм! Ну, вот: если перекинет — поправим... А ну, джуро, зажигай стрелу да отскакивай подальше!

Я зажег торчавший из стрелы трут и отскочил... вспыхнул синий дымок.

— Назад! — скомандовал капитан и начал давить собачку в курке. Видимо, трудно было спустить с крючка шнур, потому что дядько даже побагровел от натуги, а может быть, охватило его и другое волнение.

У меня замирала душа; я дрожал и не отводил глаз от этой чудесной машины. «Что-то будет? что-то будет?» — стучало у меня в висках.

Вдруг раздался какой-то взвизг, стук — и задрожал от сотрясения ганок.

Мы все уставились в небо смотреть за стрелой: сначала ее совершенно не было видно, но потом высоко, над нашим уже домиком, я заметил струйку дыма, несущуюся по направлению к церкви...

— Вот, вот, на церковь летит,— махал я рукой.

Капитан было побледнел, но, присмотревшись, успокоился:

— Нет, церковь вправо... Рука не схибила.

Хотя солнце уже зашло, но небо еще не стемнело настолько, чтобы было удобно следить за полетом слабого огонька: он терялся в светло-лиловом просторе.

— А ну-те, хлопцы,— обратился капитан к есаулам,— вылезьте который на дах, оттуда виднее, где и что.

Я пристал, чтобы и меня взяли.

Из окошечка на чердаке все наше село было видно как на ладони — и кривые улицы, обставленные серевшими уже в сумерках хатками, и наша затерявшаяся среди них усадьба, и церковь на другом конце села, и генеральская, влево от нее лежавшая, усадьба. Уже во

многих хатах зажигались красноватым огнем окна, словно вспыхивали тусклые звездочки; на быстро стемневшем своде небес начинали тоже мерцать робким сиянием огоньки... Теперь с каждым мгновением полет стрелы был заметнее: появится искра высоко над селом и потянется огненной ниткой, точно крохотная ракетка, описывая растянутую дугу, спускавшуюся уже более круто огненным язычком... Зрелище было для меня поразительным, и я выражал громко с высоты крыши свои восторги.

— А куда, куда падает? — тревожно спрашивал капитан.

— За дом генерала, за его кухню... А вот на ток,— докладывал я сверху о результатах каждого выстрела.

— Славная катапульта, добрая катапульта,— радовался и потирал руки атаман.— Неси, неси ему, собаке, на свят-вечер гостинец... Натягивай! Уж какая-нибудь да угодит же... Бог не без милости — казак не без доли!

Уже два раза прибегали послы от бабуни, чтобы шли мы с капитаном скорей на вечерю, что уже ждут, и два раза капитан отпрашивался, чтоб повременили минутку... впрочем, и сами послы, захваченные невиданным зрелищем, не возвращались назад, а тут же оставались глазеть. На улицах не было видно ни души: все сидели уже в освещенных и прибранных хатах за святой вечерей.

Но на генеральском дворе, вероятно, уже заметили, что летят огненные змеи до ихнего пана, да еще в такой вечер,— стало быть, он знается с нечистой силой. Мне видно было, как сначала там поднялась было суета, а потом все попрятались по хатам...

Вдруг на генеральском току вспыхнуло красное зарево. Помню, что это зарево сначала восхитило меня, а потом, когда от него покраснели и постройки, и дом, и церковь, я испугался и сбежал по крутой лестнице с чердака вниз.

— Горит, горит что-то там,— сообщил я с ужасом.

— Где, где саме? — затревожился капитан.

— На току у генерала.

В это время донеслись медленные удары колокола; печальные звуки наполнили тревогой воздух и всполошили мирную вечерю в селе.

— На току? У него? У этого аспида-пришлеца? — вскрикнул радостно капитан и вдруг смолк, заслышав набат.— Нет, ток его далеко... особняком... для села

никакой опасности...— бормотал он, поглядывая с тревогой на мигавшее зловещее небо.— Ха, никакой,— засмеялся он потом, потирая руки.— О, таки дождался отплатить за витряк и поздравить идола с святом! Много он свят мне наделал... а крестьян своих разве не извел, не обнищил? Пусть же тешится! О, я ему залью еще сала за шкуру! Теперь, мой любый джуро, можно на радостях и на святую вечерю пойти... Кохана пани и ясновельможна бабуся извинят меня ради такого случая,— и он, сделав распоряжение, чтоб его подсусидки готовили себе стол, стал сам принаряжаться по-праздничному. Но не суждено было ему прийти к нам на вечерю.

Не успел капитан надеть всех регалий, как послышался за его окопами шум, и есаул, влетевши растерянно, заявил, что генерал прибыл с войском, ломает браму...

— Как? Сюда? В мой дом? — гаркнул, побагровевши Гайдовский, и, схватив топор, бурей вылетел на свой дворик.

— В колья его! В дрючья его! В камни! — завопил он, выскочивши на вал.— Гей, за мною, мои верные казаки, мои друзи! — и, хватая лежавшие у ворот кучей камни, стал осыпать ими наступавших врагов.

Верные казаки тоже бросились на окопы и поддержали своего атамана.

Огорошенная градом камней дружина Заколовского отступила; но он, разъяренный, осатанелый от злости и водки, стоя в санях, орал:

— Засеку, запорю! Сгною всех! Руби ворота! Жги гнездо этого разбойника!

Дружина колебалась; некоторые, накрывшись кожухами, пробовали было перескочить по сугробам ров, но встречали везде отпор и летели кубарем в снег; некоторые зажигали навороченную на палки просмоленную паклю и бросали эти факелы на ближайшие крыши строений... Благо, что они покрыты были снежной корой, а то, при малочисленности рук, не отстоять бы их от пожара.

— Что вы слушаете этого ирода, дурни? — вопил капитан.— Не он ли ограбил вас? Не он ли знущается над вашими семьями? Не он ли с вас три шкуры дерет? А вы еще потворствуете его бесчинствам! Эх, перевертни, запроданцы!.. Да я бы на каторгу пошел, а здыхался б такого зверюки!

— Тебя, хохла, упрячу! — ревел и статский советник.— Берите же его, или всех закатую! Розог ему, кнутов!

Гайдовский спустил четырех церберов; они с страшным рычанием бросились на толпу; завязалась свалка... Собаки с остервенением рвали врагов; те отбивались руками, палками, но сыпавшиеся сверху на них камни мешали самообороне... Ушибы, раны, увечья и задор ожесточали в борьбе обе стороны.

Пожар между тем разрастался; все село было на ногах, но тушить его никто и не думал: с одной стороны, это было невозможно, а с другой — люди, убедившись, что им не угрожает опасность, смотрели на него равнодушно, даже с затаенным злорадством. Теперь все генеральское гумно было залито уже морем огня; полымя взлетало страшными языками, целые снопы искр вырывались вверх, пронизывая клубы багрового дыма, стоявшего волнующимся пологом над генеральской усадьбой... и церковь, и все хаты казались облитыми светящейся кровью... Набат тревожно гудел... А на противоположном конце села при отблеске зарева драка росла и начинала принимать серьезные размеры.

Крики, брань, стоны и вопли оглашали тихий морозный воздух; вместо мирных хождений с вечерею, возвещавших людям нарождение новой братской любви, воцарение в людских сердцах благоволения, здесь теперь рядом с разъяренной стихией стоял разъяренный гвалт, и озверелые братья бросались друг на друга.

Капитан, распаленный угрозой Заколовского, не выдержал, и, воспользовавшись смятением в рядах неприятеля, выскочил с четырьмя казаками из брамы и ринулся ураганом на центр, где сидел в санях ненавистный ему враг.

Неожиданным натиском да кольями и кулаками были разметаны окружавшие пана ряды, и исступленный капитан доскочил-таки до Заколовского.

— Ты, крапивное семя, ворюга, собираешься сечь меня, георгиевского кавалера? — зарычал он.— Вот же тебе! — и страшная пощечина свалила статского советника в снежный сугроб, но при сильном размахе потерял равновесие и сам капитан; этим воспользовались пьяные клевреты Заколовского и накинулись на него сзади... другие бросились в ворота...

В это время у нас во дворе происходила драма. Мать, узнавши, что Заколовский с вооруженной ватагой напал на Гайдовского, где находился и я, ее единственный сын, и что там происходит кровавое побоище, закричала в ужасе и лишилась чувств; бабушка вместе с ключницей бросились приводить ее в себя, а двор между тем наполнился взбудораженными селянами нашей части. Когда моя мать очнулась и стала с истерическими рыданиями рваться и умолять всех, чтобы спасли ее сына, то бабуня, одевши шубенку и капор, взяла палку в руки и крикнула:

— Гей, берите колья,— за мной! Гайда выручать панича и Гайдовского!

Парубки первые бросились за пани маршалковой (дед мой был предводителем дворянства), а за ними двинулись и хозяева.

Эти силы с бабушкой во главе прибыли на место битвы как раз в тот момент, когда Гайдовского вязали, а окровавленный Заколовский собирался всех пересечь и сжечь капитанский кош.

— Бейте его моею рукою! — кричала запыхавшаяся, возбужденная до исступления старуха.

Стоя на ганке под защитой двух присланных прежде слуг, я не узнавал даже своей бабушки: глаза ее, всегда добрые, сверкали теперь отвагой, выбившиеся из-под капора серебристые пряди волос волновались от ее энергических движений, лицо пылало гордым негодованием.

— Бейте его, я отвечаю! Я к маршалку, я к губернатору поеду... и уйму бесчинства этой твари.

Оторопел Заколовский, оторопели и его клевреты, а парубки и селяне, окрыленные словом старухи, бросились дружно и обратили в тыл неприятеля: первым убежал статский советник.

Гайдовский был немедленно освобожден; он с глубокой признательностью целовал руки бабуни; я обнимал ее и кидался на шею каждому из нашей дворни, нахлынувшей на место побоища.

Пришла или, лучше сказать, привели сюда и мою бедную мать, совершенно разбитую, изнеможенную от пережитой тревоги и муки; увидя меня живым и здоровым, она снова, уже от прилива радости, чуть не лишилась чувств.

Когда улеглись бурные проявления страстей, то, обсудивши положение дел, решили, что лучше провести эту ночь, впредь до приезда моего дяди Александра, в укрепленном месте. Гарнизон крепости был усилен нашими парубками; двор тоже наполнился целым лагерем поселян.

Перенесены были в капитанский курень из наших кухонь и погребов все яства и напитки, а от Шлемы истребовано было еще несколько бочонков горилки.

Поздно уже мы уселись за святую вечерю; но зато и в светлице капитана, и в его кухне, и в нашем дворе она прошла в шумной радости, братском единении тесно сплоченных общей напастью людей. Капитан был особенно возбужден и говорил в приливе восторга:

— Нет большей радости на земле, как сломить хоть один раз угнетателя моего дорогого народа.

. . .

Но не долго тешился капитан своей победой. Праздники, правда, прошли мирно и весело. Мой дядя Александр, любивший Гайдовского и разделявший его думки и симпатии, провел первые дни рождества с нами, сожалея лишь о том, что ему не посчастливилось участвовать в битве, а то бы он подержал в руках этого «советника»; пили много, пели казацкие песни и танцевали под звон капитанской бандуры... Заколовский же в ту злополучную ночь скрылся из села и не возвращался; это обстоятельство наводило на его крестьян панику и охватывало все село беспокойством.

Действительно, после крещения явился к нам сам исправник с становым, письмоводителем, с оравой сотских, усиленной еще двумя десятками инвалидных солдат.

Началось формальное следствие, открытое предварительной поркой крестьян по указанию Заколовского; только подсусидки капитана на этот раз ее избежали, так как последний распорядился заблаговременно отправить их всех к пану Александру, а исправнику показал, что крестьяне разбежались со страху неизвестно куда.

Волей-неволей пришлось капитану судиться. Кроме отзывов и ответов по допросам за поджог, нужно было ему еще отписываться по гражданскому иску, начатому против него Заколовским; нужно было подавать

встречные иски за свои убытки и потери... а для всего этого необходимо было найти знающего ходатая, а главное — разыскать побольше денег.

Отпер капитан заветный свой сундучок, в котором хранились завязанные в кожаном мешочке пятьсот карбованцев,— это накопившееся сбережение за многолетнюю службу береглось капитаном нерушимо на день смерти, на день похорон; вынул он эти саквы и отправился с ними на биде* в город... и началось толкание его то в становую квартиру, то к исправнику, то к ходатаю...

Прошел год... уплыл и другой. Саквы капитана скоро истощились и, несмотря на уверения ходатая, клявшегося в пьяном виде, что он упрячет этого генералишку туда, где козам роги правят,— иски Заколовского брали верх, а уголовное дело начало принимать для пана капитана угрожающий характер. За саквами вскоре был продан жиду на сруб хорошенький гайок, а после гайка начал капитан распродавать казакам по кускам землю... все пожирал ненасытный процесс, но куда было бедному капитану тягаться с набитой мошной Заколовского!

Мрачнее и мрачнее после каждой поездки возвращался домой капитан, и хотя он уверял мою мать и бабуню, что вскоре вот-вот арестуют этого дегтяря, но по лихорадочному огню его глаз, по усилившейся худобе ввалившихся щек можно было сразу понять, что капитан страдал и что это страдание развивало у него страшный недуг. Самого капитана уже хотели было арестовать, но дядя Александр взял его на поруки. Это обстоятельство подсекло наконец его силы, и он слег...

Правда, сильный его организм боролся еще с недугом, и капитан, повалявшись, как он выражался, насильно вставал и отправлялся к нам выпить деревиевки, но силы его видимо оставляли; он шел уже по улице не бодро и прямо, грудью вперед, а согнувшись и покачиваясь из стороны в сторону...

— Эх,— говорил он, покашливая глухо,— не сломили казака ни бури, ни непогоды, ни битвы, а заела его канцелярская ржа, сломала кривда! — махнет, бывало, безнадежно рукой и, опустив голову, долго безмолвно и неподвижно сидит.

---

* Б и д а — двоколісний візок.

— Да ты бы хоть полечился, бесталанный мой,— промолвит было к нему растроганная бабуня,— а то посмотри на себя, на кого стал похож!

— Ох, шановная пани,— вздохнет капитан,— да на какого дидька я кому сдался? И для чего мне на этом свете торчать? Лишний, зайвый!.. Теперь вот драпижникам воля... а я ни себя, ни своих подсусидков защитить не могу! Нужно бы было еще раньше издохнуть старой собаке!

Я со слезами бросался к капитану, прижимался к его коленям и кричал:

— Не нужно, не нужно! — а потом перебегал к матери с воплем: — Мама! Не нужно!

Но и мать не могла, видно, утешить ни меня, ни капитана: она только тихо плакала да гладила меня по головке.

Вскоре капитан перестал к нам ходить и залег в своей запорожской постели; стали его навещать и мать и бабуня, и дядя мой, даже за знахарем для него посылали. Мне тоже было разрешено бывать у больного дядькаатамана, тем более, что на дворе стояло жаркое лето.

Пан кошевой всегда бывал очень рад моему приходу и ласкал меня с трогательной нежностью, пробовал мне рассказывать про старину, про былую славу... только уже рассказы эти не лились то плавным, то бурным потоком... а обрывались часто то подавленным стоном, то удушьем... Иногда он совершенно смолкал и просил жестом воды; я подносил ему глиняную кружку и с ужасом смотрел, как конвульсивно подымалась его широкая костлявая грудь и как с шипящим свистом вдыхался и выдыхался ею воздух...

— Не плачь, голубе,— притянет, бывало, меня он к себе.— Жаль дядька? Не бойсь, еще поборемся с кирпатой... не на такого напала! Казака не злякает... видали мы ее кирпу не раз... Плюнь и ты, вот что! А коли вырастешь, то вспомни дядька... он любил тебя... юнака... Да не забудь и всего того, что я тебе рассказывал... люби простой народ — он когда-то был таким же вольным, как ты... Так коли доля тебя над ним вознесла, то ты поделись с ним своим разумом, своей волей... ведь это братья твои: перестанут они стонать, повеселеют да разогнут спины — тогда лишь и ты будешь счастлив... Ведь все родное твое у них, у этих приниженных харпаков — и

мова, и дума, и сердце... вот ты и не цурайся. У тебя, я знаю, казачья душа... так не запаскудь ее в панском болоте!

Я еще не все понимал в речах капитана, но слова его пронизывали меня огнем, пробуждали в моем молодом сердце и первую общественную любовь, и первую ненависть.

Раз капитан, усевшись на кровати и подмостивши себе под спину подушки, попросил, чтобы я ему подал бандуру.

Ударил он по струнам — они как-то жалобно зазвенели, и в нестройном их хоре послышался надорванный вопль.

— Ге, и бандура сбилась с ладу, как и ее пан! — улыбнулся печально дядько-атаман и начал настраивать бандуру.

Долго он возился с этим, усиленно дыша,— не слушались пальцы, не поддавались уже им колочки... Наконец струны были подтянуты и зазвенели созвучным, стройным аккордом, только зазвенели печально и рассыпались, разлились тоскливыми, хватающими за сердце звуками, какими разливается мать над могилой своей дытыны, и капитан запел, запел слабым, рвущимся голосом, в котором вылилась вся его исстрадавшаяса душа, а пел он народную песню...

Голос его слабел... звуки таяли... бандура дрожала в руках... наконец вдруг одна струна лопнула и, жалобно взвизгнув, заныла.

— Урвалась! — простонал капитан и, выпустив бандуру из рук, запрокинулся на подушку, а бандура, соскользнув по шинели, упала на пол и тоже гулко и тяжело застонала...

Вскоре пришли к капитану недобрые вести. За убытки, присужденные Заколовскому, капитанский хутор с населенными на нем крестьянами продан был с публичного торга и остался за Заколовским. Последний громко об этом кричал и ждал только приезда временного отделения для ввода своего во владение, грозя, что он через час после ввода вышвырнет этого хама, а дворню его всю перепорет... Не стерпел капитан такой обиды...

— Лучше умереть, лучше в каторгу, чем отдать свое родное гнездо этому кровопийце! — кричал и стонал он, метаясь на своей постели.

Наконец нравственное потрясение до того ему подняло нервы, что он, словно в горячечном бреду, встал, созвал крестьян и объявил им, что все движимое добро и скот, и хлеб, и хозяйские орудия он им дарит: пусть они все это немедленно продадут вместе со своим добром и пожитками, да с деньгами и тикают на бессарабские степи... потому что иначе их заберет Заколовский и надругается...

Крестьяне и сами давно уже порешили было тикать, не видя другого исхода, но они стали просить, чтобы и пан вместе с ними бежал, что они его самого здесь не кинут.

— И я вас не покину, друзья мои,— успокоил их капитан,— только вот сначала поквитаюсь с ворогом нашим, с лютым зверем... попрощаюсь с ним! — захохотал он дико.

И мать, и бабуня заходили к капитану, старались его успокоить, но он был словно в бреду, целовал им руки, меня обнимал, вскакивал и порывисто куда-то бросался, а потом в изнеможении падал на стул или на кровать.

Бабуня моя посылала даже сына своего Александра к предводителю дворянства, чтобы тот принял участие в обнищенном и болезненно расстроенном Гайдовском, но предводитель ответил уклончиво, что он не может покрывать преступников и что ему известно уже определение суда — взять капитана под стражу, а что касается его болезни, то тюремное начальство об этом уже позаботится... Такое отношение маршалка к своим дворянам до того возмутило старуху, что она решилась поехать сама к нему на другой день.

Но на другой день случилось следующее: прикатило в наше село временное отделение вводить Заколовского во владение бывшим имением капитана Гайдовского.

Я был в это время у дядька-атамана по поручению от бабуни; он торопливо одевался в праздничную одежду. Выражение лица было у него мучительно страшное. Глаза горели безумным огнем. Он шепнул мне:

— Помни-то, помни... Подсусидков и следу нет... А вот это возьми себе на выручку,— засунул он мне за поясок два пистолета и повесил через плечо бандуру; затем, снявши небольшой образок, надел его себе на шею, а в боковой карман положил портрет дивчины да и застегнул казакин на все крючки; наконец подпоясался еще

кожаным кавказским поясом с кинжалом и начал заряжать винтовку.

Я был до того поражен всем этим, что стоял, окаменевши, с торчавшими пистолетами, с достававшей до полу бандурой и только лишь повторял просьбу:

— Бабуня просила, чтобы дядько-атаман сейчас пришел... бабуня просила!..

— Зараз, зараз, мой сокол! — ответил порывисто капитан.— Видишь, собираюсь в дорогу. Ну, прощай, хато, прощай, мой кош! — сказал он торжественно и вышел со мною на опустевшее дворище.— Стой только! Темно что-то,— прохрипел он,— нужно посветить ведь новому пану...— и он торопясь вернулся назад, зажег паклю и бросил по горящей пряди и на свой чердак, и на чердаки других хат; а на чердаках везде набросаны были кучи стружек и пакли... Пока мы вышли за браму — капитан шел медленно, шатаясь из стороны в сторону и спотыкаясь на каждом шагу, а я, нагруженный пистолетами и бандурой, едва тащился за ним, постоянно останавливаясь, чтобы подтянуть волочившуюся по земле бандуру,— так пока мы вышли, черный дым тяжелыми клубами валил уже из-под стрих и прорывался вокруг труб. Капитан оглянулся, поклонился своему пепелищу и захохотал.

— Пойдем... скорее, хлопче, вон до того дуба...— говорил он невнятно, задыхаясь совсем,— он стоит на моей меже... там и встретим гостей...

Пока мы дотащились до дуба, пламя уже охватило все постройки... от жару повспыхивали и холодные строения... огненный вихрь закружился, зашумел над капитанским двором... В селе заметили пожар... ударили в набат... А чиновники в это время сытно завтракали у статского советника...

Капитан стоял, опершись о дуб, и дрожал, потрясаемый лихорадочным ознобом; глаза у него искрились, расширенные зрачки были направлены в одну точку... побелевшие губы шептали какие-то заклятия.

— Смотри ж, дружино моя,— хрипел он, подняв винтовку наперевес,— не зрадь!

Ни жив ни мертв, я лежал у его ног под дубом; первое мое побуждение было при виде пожара бежать, и бежать без оглядки; мне врезался в память неизгладимо прежний страшный набат и ужас кровавой драки... Страх

заглянул мне снова в лицо и оледенил сердце, но бежать я не побежал — и капитана мне было жаль, и бандуры, а может быть, и ноги мои не двигались...

Но вот послышался стук экипажей: впереди бежали дрожки, и на них восседал с костылем в руках сам генерал, а за ним в тарантасе ехали чиновники, за которыми по сторонам скакал кортеж всадников.

Капитан медленно поднял винтовку и начал прицеливаться. Заколовский заметил это и, подняв костыль, закричал кучеру, чтобы тот заворачивал назад... Кучер остановил на мгновение лошадь... Заколовский привстал, чтобы соскочить с дрожек, и открыл свою грудь капитану... Раздался выстрел... расщепленный костыль вылетел из рук генерала, а последний, ухватившись за плечо, снова сел. (Как оказалось после, пуля попала в костыль и рикошетом уже слегка ранила в плечо Заколовского).

— Ай! Проклятие! — крикнул не своим голосом капитан, охватив руками родной дуб; последняя вспышка его жизненной силы ушла на эти объятия... Сердце капитана не выдержало такого удара и в судороге страдания занемело навеки; но руки не разжимались, застыли в объятиях и поддерживали у дуба, на рубеже батьковщины, безжизненное тело последнего представителя рода Гайдовских, последнего ярого защитника несчастной сиромы...

НЕДОРАЗУМЕНИЕ

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ СЛУЧАЙ

(Из галицкой жизни)

Андрей Степаныч Короп проснулся пятого января довольно поздно: накануне он ужинал в большой компании и совершил обильное возлияние. Открывши на мгновение глаза, раздраженные полоской бледного света, прокравшегося сквозь щель опущенной драпировки алькова, и потянувшись сладко, он снова закрыл их, повернулся к стенке и обнял... несмятую соседнюю подушку; это непривычное ощущение отрезвило его сразу от грез: он осмотрелся и вспомнил, что его жена уехала в Вену.

Вставать Андрею Степанычу не хотелось,— голова была тяжела; он закурил папироску и, нежась в постели, предался мечтаниям.

«А сильное впечатление произвел я вчера речью,— вспомнил он,— всех затмил, поразил и уничтожил! Мысли неслись у меня жгучим вихрем, слова звенели, как сталь, а речь бурлила каскадом, переливала бриллиантами... Это поднимет меня в общественном мнении как адвоката... Да и завинтил же я им, патентованным, на их либеральненькие заигрывания,— даже переглядываться все стали и притворять двери — трусишки! А я им сплеча и за скасование классического образования, и за уничтожение привилегированного произвола, и за децентрализацию, и за автономию, и за черт его знает что... Хорошенько уже не припомню: в памяти осталось только, что много кричали и что из соседней залы сбежалась молодежь... чуть ли даже не качали меня. Успех во всяком случае был необычайный, и популярность моя

поднялась... Как бы только не дошло?.. Э, вздор!» — успокоился он и начал думать о другом.

— Да, я и забыл! — проговорил Короп вслух.— Вчера ведь я получил письмо от Нюнчика! — и он достал из ящика в ночном столике письмо и стал его снова перечитывать.

Среди сердечных излияний и радужных надежд жена писала ему про его первый роман, посланный в редакцию одной столичной газеты: роман был прочитан и одобрен, за исключением лишь развязки; редактору не понравилось, что герой романа Ясь стреляется на ковре, а героиня Сара вешается на чердаке; он требовал непременно закончить роман счастливо: в середине-де допускал редактор всякие зверства, насилия и лужи крови, но к концу, по его мнению, мрачный колорит обязательно должен был перейти в успокоительную ясность. При последнем условии, исполненном не позже, как к 6 январю, он обещал поощрить юного писателя и пустить роман фельетонами в своей газете; но при опоздании хотя бы на один день он брал свое слово назад, так как и без того портфель редакции переполнен произведениями известных уже литературных имен.

«Да,— мечтал, затягиваясь ароматным дымом, начинающий писатель,— роман принят, и где же? В столичной газете, где помещают свои произведения крупные тузы... и среди их, среди этих звезд литературы, буду блистать и я! Значит, судьба моя решена: я — писатель, литератор, беллетрист, ро-ма-нист!» — и Андрей Степаныч от радости так подпрыгнул в постели, что чуть не свалился на пол; впрочем, такие порывистые движения оправдывались приливом понятного всем восторга, а главное — молодостью: Коропу было не больше двадцати трех-четырех лет. Окончивши Львовский университет по юридическому факультету, он приписался кандидатом к присяжному поверенному, желая посвятить себя адвокатской карьере; сначала она манила его страшно: блистательные речи, изумленные судьи, умиленные присяжные, растроганные до слез преступники и восторженная толпа... громы рукоплесканий, мелькающие в воздухе дамские платки, звонок председателя... Но вскоре эти иллюзии побледнели и превратились в скучную и кропотливую работу, в беготню за справками по канцеляриям... И вот поэтическая, жаждущая шума и славы душа

нашего кандидата не удовлетворилась такой мизерной работой, а стала искать себе другого исхода; в период этих разочарований и женился молодой мечтатель на хорошенькой, шустрой панне Марье.

Новое семейное гнездышко, новый упоительный чад наслаждений погрузили душу счастливца в поэтическую истому и возбудили у него зуд к писательству; результатом всего этого вышел роман, о котором теперь и сообщала жена — Нюнчик.

«Конец-то переделаю сейчас же, вдруг,— решил в уме Короп, закуривая вторую папиросу,— поженю их — да и шабаш! Только вот в чем затруднение: полиция будет преследовать... Разве покаяться, принести повинную, отговориться соблазном, подкупами, чрезвычайными обстоятельствами?.. Впрочем, придумаем,— успокоился он и закурил третью папиросу.— А гонорар там, вероятно, платят порядочный,— копеек пять, а может быть, и десять... Что, если десять? — отдался уже совершенно фантазии Короп.— Ведь сколько-то деньжищ загребу! За фельетон до пятидесяти рублей, а фельетонов выйдет в моем романе штук шестьдесят... итого тысячи три! Недурно! Сейчас же кандидатуру по боку и квартиру переменю — эта маловата... Кабинета нет, спальня да гостиная!.. А для писателя нужна отдельная комната, уставленная шкафами, бюстами, с большим письменным столом... Нюнчик все это отлично устроит — у нее много вкуса... Ну, и ей нужно будет соорудить шикарный гардероб... А потом перешагнем мы из газеты в пузатый журнал и перелетим в столицу... Устроимся там, назначим журфиксы: все лучшие литераторы у нас... Меня обнимают, поздравляют... Слава растет, гремит... Я захлебываюсь... и творю, творю и захлебываюсь!..»

В это время скрипнула дверь и оборвала Коропу грезы.

— Живы ли вы, пане, или померли уже, не доведи боже? — раздался вслед за скрипом старческий голос.

— Что ты, Матрена? — засмеялся Андрей Степанович.— С чего бы мне помирать?

— Да что-то вы долго спите! — проворчала с укором старуха, исправлявшая должность и кухарки, и горничной.— Добро бы с паней, а то сам вылежуется: ведь я уже и узвар, и кутью вон под образами поставила, и три раза самовар грела...

— Что-о?! — вскрикнул от изумления Андрей Степанович и потянулся к часам: стрелки показывали два часа дня!

— Чего ж ты меня не разбудила? — заволновался Короп.— Занавеси спущены, в спальне темно... мне и невдомек, что поздно... даже лежать надоело,— оправдывался он, надевая носки и туфли.

Кухарка между тем не торопясь раскрыла занавеси, подняла стору в окне и проговорила спокойным голосом:

— Чего не будила? Жалко было; думала: промарновал где-то ночь, так пусть уже дрыхнет... Вон и меня разбудили удосвита... телеграмму принесли... тоже недоспала...

— Телеграмму, говоришь? Кому? Мне? — встрепенулся Короп.

— А то кому ж?

— Да где ж она?

— Вот... в кармане...— и Матрена достала из него засаленный пакетик.

Андрей Степанович вырвал депешу из ее рук и от тревожной торопливости даже разорвал ее в двух местах.

Депеша была от жены и гласила следующее: «Снабди паспортами Сару и Яся; пусть скроются немедленно в Швейцарии. Помни, что сегодня должно быть все покончено, выслано; завтра будет поздно. *Нюнчик*».

Короп, прочитав ее, расхохотался весело и сделал какое-то танцевальное па.

— Нюнчик мой, родненькая! — воскликнул, целуя депешу.— А какая она у меня умница, старушенция,— ударил он ласково по плечу выпучившую на него глаза кухарку,— видишь ли, и конец роману придумала... Я вот ломал голову, как бы это и от полиции их укрыть, и привести к благополучию, а она сразу придумала, и ловко так... Теперь-то наш роман... ого-го!!

— Какой такой Роман? Знакомый, что ли? — развела старуха руками.

— Э, что с тобой толковать! — махнул рукой Короп.— Ты подай лучше мне сейчас пообедать.

— Что вы, пане, в такой день обедать? Креста на вас нет, что ли? Да сегодня до звезды ничего и не едят... Сегодня ведь голодная кутья... Чайку, пожалуй, напейтесь, да пирожков два принесу вам, а то — обедать!!

— Что ни давай, то давай, только мгновенно, потому что каждая минута дорога... и без того запоздал, проспал...

— Зараз, зараз,— заторопилась старуха,— только вот сбегаю к соседям за святой водой...

— Брось ты эти пустяки, — крикнул раздражительно Короп, — а тащи сию минуту сюда чай и пироги.

— Ой, поплатишься, пане, за такие речи, — проворчала старуха и хлопнула дверью.

Теперь Короп сообразил, что осталось очень мало времени, а работы масса,— и заволновался.

Когда старуха внесла самовар и пироги в комнату, то он объявил ей строго:

— Поставь все это здесь и не входи больше ни за чем... хотя бы горело здесь — не смей! Да слушай еще,— добавил он раздражительно,— кто бы ни пришел ко мне — не пускай! Всем говори, что меня дома нет, что я умер, издох... и гони просто в шею! Если кого впустишь — убью! Вот револьвер положу на столе и буду стрелять всякого, кто подвернется...

— Что вы, паночку, белены объелись, что ли? И слушать-то вас страшно! — перекрестилась старуха.— Напейтесь-ка святой воды, а то — не при хате згадуючи...

— Молчать! — рявкнул вне себя Короп.

— Тьху! — плюнула только старуха и молча удалилась в свою кухню.

Андрей Степаныч набросился на пироги и, налив стакан чаю с ромом для вдохновения, принялся за работу.

Чем больше он торопился и волновался, тем меньше ему давалась работа: фраза не клеилась, слова повторялись, местоимение «который» совалось в каждую строку... Приходилось рвать четвертушки, перекрещивать их, делать приписки, перемещать фразы... а время как нарочно шло быстро, неудержимо. Короп прихлебывал постоянно и чай с ромом, и ром с чаем, не выпуская папироски изо рта... и все писал да писал... Пот выступил у него на лбу, глаза потускнели, строки стали путаться и слова вертеться, а он все писал; но, к ужасу его, увеличивалась лишь куча изорванной бумаги, а годных листиков на столе все было мало; полфельетона, не больше! А нужно было не только докончить фельетон, но просмотреть и подогнать предыдущее, а главное — все переписать.

Андрей Степаныч взглянул на часы и обомлел: было уже шесть, а и трети работы не сделано!

— Пропало, погибло все! — простонал он. — Очевидно, не успею! И вот через пьяную болтовню и глупый сон лопнула карьера! Это нечто фатальное!

Он вскочил с кресла и начал в исступлении ходить быстро по комнате.

— Да что же, неужели спасенья нет? — завопил он, ломая руки.— Вздор, вздор! Я малодушничаю, как баба, и теряю лишь время: кончить фельетон, как-нибудь кончить и переписать, а остальное после, — солгу, что забыл упаковать, что ли...— и Короп с новой энергией принялся за работу.

Наконец он поставил точку и взглянул на часы: было без пяти минут восемь.

— Фу, устал! — вздохнул он облегченно. — За три часа перепишу... и — на вокзал!

Короп сбросил для большей свободы движений халат, приготовил бумагу, подтасовал черновые шпаргалы и прилег на кушетке расправить усталые члены; но только что он, потянувшись сладостно, направился было к письменному столу, как у парадной двери раздался резкий звонок.

— Не пускать никого! — крикнул Короп вышедшей из кухни старухе. — Меня дома нет, слышишь? Пропал без вести! — и он принялся быстро писать.

Но усиленные звонки и дерзкий стук в дверь оторвали его снова от работы. Перепуганная кухарка появилась и объявила, что это ломится полиция.

— По-ли-ция?!— вскочил Короп и окаменел.— Отвори! — прошептал он коснеющим языком, натягивая машинально халат.

В гостиную вошли с шумом нежданные гости: его мосць пан Иван — адъютант, знакомый Коропу по деловым столкновениям, пан Николай — полисмен, Циркула, еще больше знакомый, жандарм, два полицейских, два дворника в качестве понятых и два сотрудника.

Андрей Степанович стоял ни жив ни мертв и переводил испуганные глаза от адъютанта к приставу и к понятым, но пан Иван был непроницаем, пан Николай пожимал лишь плечами в знак того, что «не его в том вина», а дворники почесывались совершенно безучастно.

Длилась тягостная минута молчания.

— Простите, пане,— прервал наконец молчание адъютант, и его лицо выразило сожаление и непоколебимость,— простите, что потревожили, но прежде всего долг службы.

— Да, прежде всего, конечно, долг...— повторил растерявшийся Короп, улыбнулся глупо и еще больше смутился.

— Совершенно верно,— протянул его мосць, пронизывая испытующим взглядом хозяина.— Так не будемте терять золотого времени,— обратился он к сотоварищам,— и приступим к исполнению печальных обязанностей... Позвольте ваши ключи, пане, от шкафов, ящиков, шкатулок и прочего... Не мешает осмотреть и чердак,— мигнул он околоточному.

Теперь только понял Короп весь ужас своего положения и почувствовал, что под его ногами разверзается бездна... Молнией пронеслись в его голове вчерашние безумные речи и представилась въявь сидорова коза...

— За что же? По какому поводу?— запротестовал было он дрогнувшим голосом.

— Узнаете своевременно,— ответил ему сухо блюститель и подчеркнул строго: — Прошу ключи!

— Вот мои... а жена свои увезла... Я ничего не понимаю... как хотите, вельможный пане, но с хорошими знакомыми так...— путался совершенно Короп и вместе с ключами подавал адъютанту и чернильницу, и коробку спичек.

— Нет, мне пока только ключи,— отклонил тот любезно чернильницу,— что же касается ключей супруги вашей, то и без них обойдемся... замков не испортим.

Полисмен в знак сочувствия к Коропу вздохнул и стал подкручивать себе бакенбарды.

Приступили. Сначала осмотрели тщательно обе комнаты и переднюю, освидетельствовали помещения под кроватью, под диваном и стульями и даже в печке, но никого не нашли.

— Здесь решительно никого нет,— доложил мягко и пристав.

— А в кухне?— спросил с раздражением адъютант.

— Ни в кухне, ни на чердаке!— пробасил хрипло солдат.— Кухарка клянется, что никто здесь, окромя сторожа из суда, не бывал.

— Неужто успели? — процедил злобно блюститель.— Гм, гм! Из молодых, да ранний!

Стали перебирать бумаги и письма Андрея Степаныча.

— Это что? — спросил адъютант, рассматривая исписанные листики на столе и на полу.

— Мои сочинения,— вздохнул грустно Короп и почувствовал холодное лезвие в своем сердце.

— Какого сорта?

— Романические...

— Романические? — усумнился было адъютант, но, рассмотрев несколько листиков, бросил их небрежно на стол.

Отперли ящики в бюро, перебрали все до строчки, но подозрительного ничего не нашли. Это бесило сотрудников, и они в поте лица изощряли свои способности: все ящики, сундуки, шкатулочки были перешарены... и все напрасно! Чем ближе приближалась работа к концу, тем мрачней и мрачней становился егомосць: подрывалась его распорядительность, компрометировалась бдительность, страдал авторитет... Короп же до того был убит, что и не радовался даже отсутствию улик.

Наконец все было вскрыто, обнажено, растерзано и, к ужасу пана Ивана, ничего в оном не усмотрено.

— Напишете протокол там, в участке,— произнес наконец он глухо,— что никого и ничего не нашли; возьмите для подписи двух понятых... мы после... а остальные — по домам!

По уходе околоточного и гостей адъютант пригласил Коропа сесть и приступил к допросу.

После обычных опросов относительно лет, звания, вероисповедания и проч[его] пан Иван поинтересовался следующим:

— Скажите, пожалуйста, много у вас бывает молодежи?

— Какой молодежи? — побледнел Короп.

— Такой, всякой... студентов, наприм[ер], и тому подобное.

— Никто, никто у меня не бывает...— поторопился как-то искусно отречься от такого предположения Короп.

— Странно,— улыбнулся саркастически адъютант,— вам молодежь так сочувствует, и вы, кажется, симпатизируете зеленым порывам...

— Я? Помилуйте!.. С какой стати?.. Весь погружен в кропотливую канцелярскую работу... у меня и времени нет на порывы... да и вообще я к этим глупостям ни малейшего...— путался Андрей Степаныч, а в голове у него гудело: «А что, ужин? Публичные речи? Язычок?»

— Так к вам молодежь не питает доверия и вы ей не сочувствуете?

— Боже меня сохрани!.. Напротив...— заикнулся и смолк Короп, а в виски ему стучало: «Ой, значит, качали, наверно, качали! Ну, теперь и отправляйся к Макару с телятами!»

— Слушайте, Андрей Степаныч,— заговорил серьезным, громовержным тоном испытующий.—Бросьте играть роль, хотя вы и прекрасно ее исполняете, умеете концы хоронить, но лучше бросьте! Для нас ведь формальных улик не нужно, достаточно одного убеждения... и вот это убеждение вы поколебать можете лишь полной откровенностью и детским чистосердечием, а своими увертками и формальной казуистикой вы лишь утвердите нас в нем и сами себе выроете яму... Заметьте себе, Андрей Степаныч, что правосудие не спит, а имеет тысячу глаз и две тысячи ушей.

— Ради бога, вельможный пане,— залепетал плохо ворочавшимся языком Короп,— я ничего... никакой комедии, потому что у меня здесь,— показал он на голову,— никогда ничего не было... такого, боже сохрани! Разве под пьяную руку... Но кто же за бессознательное состояние может быть ответчиком? Я никогда не пью... и если что — сразу теряю сознание, и мне тогда все кажется навыворот, верьте! И язык тогда... совершенно противоположное моим убеждениям, клянусь честью! Если я пьян, то мне кажется, что в сухой комнате полно воды, и я порываюсь плавать...

— Хорошо, мы увидим сейчас, как вы плаваете,— прикрикнул, теряя терпение, адъютант.— Скажите, от кого вы получаете по телеграфу приказы?

— Я? Приказы? — побледнел как полотно Короп и ухватился за стул, чтоб удержать равновесие.

— Что, и тут станете запираться? — вонзил адъютант прищуренные глаза в свою жертву.

— Клянусь, ни от кого...

— А это что? — вынул адъютант из кармана депешу и поднес ее к выпученным глазам Коропа.— Вы полагали,

что, уничтожив оригинал, замели и следы, а у нас-то оказалась копия... Сообщите немедленно адрес и личность этого Нюнчика!

— Нюнчик — жена моя,— ответил машинально Короп.

— Неудачно! — прикрикнул возмущенный наглостью Иван Саввич.— Жену вашу зовут паней Марьей.

— Да, Марьей... но я придумал, ласкаясь, звать ее Манюнчик, Нюнчик и даже Чик...

— Так это жена вам депеширует, чтоб вы немедленно доставали фальшивые паспорта и помогли бы бегству преступников в Швейцарию?

Короп взглянул расширенными глазами на адъютанта, а потом внимательно прочел телеграмму.

— Конечно, жена, это от нее телеграмма, такую самую я получил утром, вот...— и он между разбросанными на столе шпаргалами нашел и показал свою телеграмму.

— Так от жены? —растерялся несколько адъютант.— А по какой надобности отправилась она в Вену?

— Похлопотать за мой роман, чтоб приняли его в газету...

— Гм! А поручение делает по чьей просьбе? Снабди, мол, паспортами Сару и Яся?..

— Постойте, позвольте, пане,— спохватился наконец Короп.— Эти поручения от редактора про роман...

— Что-о? Про роман? — оторопел совсем адъютант.

— Ей-богу! Это герои моего романа — Сара и Ясь, а Нюнчик телеграфирует мне, как я должен закончить.

— И вы можете доказать это?

— Да вот и письмо ее, полученное вчера, здесь она подробно...— подал Короп адъютанту конверт.

Тот осмотрел его и начал с неудерживаемым волнением пробегать глазами исписанные мелко листки; по мере чтения лицо его стало принимать угрюмое выражение, и по нем заходили тревожные тени.

А Короп, овладевши собой и догадавшись, что в телеграмме лишь заключается corpus delicti *, продолжал донимать адъютанта неопровержимыми доказательствами:

— У меня, видите ли, герой, преследуемый полицией, стрелялся, а героиня вешалась; ну, это не понравилось

* Речові докази (*лат.*).

редактору, и Нюнчик придумала закончить роман весело и телеграфировала, чтоб я не убивал Сару и Яся, а чтобы, снабдив паспортами, отправил их в Швейцарию... Я так и сделал.

— Черт знает что! — вскочил как ужаленный адъютант и бросился к шпаргалам.

— Непостижимо! — развел наконец руками молчавший все время полисмен.

Короп поспешил тоже вслед за адъютантом к столу и двумя четвертушками убедил его окончательно в справедливости своих слов.

— Черт знает что! — бормотал сконфуженный и смущенный блюститель.— Разве можно посылать подобные телеграммы? Только женщины способны на такую безрассудную выходку!.. Да еще и подписалась мужским псевдонимом! Ведь поймите же, что наш первый, священный долг — охранять общественное спокойствие, пресекать... так сказать, в интересах же ваших, господа. Ведь для того, чтобы вы спали спокойно, мы должны бодрствовать, полунощничать. И вдруг такая штука, можно сказать... насмешка!.. Ну, поблагодарите за всю эту чепуху свою супругу... Мы ни при чем! Конечно, вышло недоразумение, и даже глупое недоразумение, но долг службы и общественное спокойствие — прежде всего!

— Но я погиб! — возопил наконец Андрей Степанович, успокоившись относительно дамоклового меча; он теперь ясно сознал, что время ушло, что фельетон переписан не будет, а значит, и роман его не появится в свет.

— Что вы? — успокоил его Иван Саввич, добродушно улыбнувшись.— Я сейчас же протелефонирую и лично разъясню это водевильное недоразумение: последствий никаких не будет.

— Да не то... не то! — махнул отчаянно рукой Короп.— Погиб мой роман... погибла моя литературная карьера! Жена же пишет и телеграфирует, что если я сегодня не вышлю конца, то редактор не примет... Я вот и сел было переписывать... а вы вдруг... Теперь уже я не успею... Половина десятого... в половине двенадцатого рукопись должна быть сдана!

— Скажите пожалуйста... какая неприятность! — отозвался тронутый полисмен.

— Да, не по вине кара,— заметил и адъютант.— А помочь этому нельзя ли?

— Нет, нет, ничто не поможет,— простонал Короп,— нужно к сроку послать... без разговоров... Разве вот что,— встрепенулся он,— если б вы помогли переписать... втроем, быть может, успели бы,— ухватился Короп за эту мысль, как утопающий хватается за соломинку.

— А что ж? Это идея!— засмеялся пан Иван.— Наши служебные обязанности окончились; мы тéперь гости у нашего доброго знакомого, так почему не помочь ему в том, в чем мы, хотя и невольно, а повредили?

— Совершенно правильно,— согласился пан Николай,— только я, как гость, попрошу разрешения у хозяина снять сюртук... свободнее будет, да здесь и тепловатенько.

— Сделайте одолжение, господа,— оживился радостно Андрей Степанович,— пожалуйста, пане Иван, и вы, пане Николо, без церемонии... разоблачайтесь, дам нет, и я халат скину...

Через минуту все уселись за открытый ломберный стол и дружно принялись за работу; среди молчания раздавался только торопливый скрип перьев да вырывались изредка отрывочные фразы: «Не разберу!» — «Куда это выноска?» — «Как это слово?!»

Андрей Степанович метался во все стороны и писал, писал...

Как бы то ни было, а фельетон был окончен к половине двенадцатого и отправлен вестовым на вокзал с особой запиской.

— Спасибо вам,— обнял своих гостей Андрей Степанович,— выручили, воскресили! Только я вас так не отпущу... Сегодня ведь кутья... прощальная, святая вечеря, так нас старуха накормит, угощу такой настоялкой и такой наливочкой, каких вы, господа, и не пробовали!

— Что же, по трудам и довлеет,— потер руки пан Иван.

— Основательно,— крякнул и пан Николай.

Призвана была к исполнению своих обязанностей кухарка; на столе появились и пироги, и борщ с карасями, и грибные котлеты, чиненный кашею короп, и кутья, и узвар...

Все набросились с одобрением на плоды Матрениных рук; но особенно пришли все в восторг от настоялки

и наливки... Оживились речи, посыпались шутки, остроты, раздался смех... С каждым новым стаканом наливки неслись и новые пожелания; а к концу сулеи все перешли уже с Коропом на ты...

— Ты вот пойми их,— держался за ворот рубахи Коропа полисмен, указывая глазами на пана Ивана,— они не спят... бдят... а ты, обыватель, дрыхнешь спокойно... стало быть... для твоего бла-го-по-лу-чия...

— Бла-го-де-те-ли! — ухмылялся растроганный до слез Короп и лез целоваться...

УЖАС

(Поэма в прозе)

Смертельный обморок сковал забвением ему мозг... тяжесть навалилась на грудь страшным камнем... затруднила дыханье — и он открыл изумленные ужасом очи... Холодно, сыро, темно, словно покрыто все черным сукном, и тихо — ни шелеста, ни звука... так тихо, будто звенит. Он пластом распростерт... скрещены недвижные руки... под спиной доски... жестко и тесно — а ни пошевелиться, да и силы у него нет чем-либо двинуть, только мысль лишь трепещет мятежно, силясь вызвать воспоминания, уяснить себе, где он и что с ним. Но и сама мысль так слаба и бессильна, что не может прийти в сознание, не может ответить на мучительные вопросы: обрывки лишь грез вспыхивают миражами в черной тьме и гаснут кровавою мглой...

Он — хлопчик... склонил головку маме на грудь... шелковистые и пепельные кудри сбежали кольцами на свежее, как вишенка, личико; гладит мать головку ему нежной рукой и печальным голосом молвит про издеванья людей над людьми, про скорбь, облекшую трауром все родное, про насилие, гнетущее мозг, вяжущее волю, разрушающее добро... Горят у дитяти синие, как васильки, глазки, просыпается в сердце незнакомая боль, пылают отвагою щечки, а родимой тоска льется, журчит ручейком и падает теплыми каплями ему на чело.

Вот школа, шум, крик, суета; все чуждо, враждебно: глумятся над его убеждениями, смеются над ним, ругают мужвой и брезгливо отходят. Сам учитель кричит, чтоб забыл он свою холопскую речь, или иначе его вышвырнут

со скамьи. Полюбил его один лишь товарищ, подружился с ним искренно, братски, и они часто мечтают вдвоем отдать все свои силы на помощь униженным да обнищенным, и клянутся не изменить этой мысли вовек ни ради страха, ни ради соблазнов и прелестей.

А вот и университет... он улыбнулся юноше холодной, неприветной, а все же улыбкой,— по крайней мере наука пригрела его, как друга, и он прильнул к ней душой и отдался весь; но горячий, усидчивый труд не обессилил его заветных мечтаний, не высушил в сердце слез меньшего, темного брата, а, напротив, еще окрылил святые порывы...

Но вот исчезло виденье; еще чернее в глазах, еще сильнее пронизывает его холод и садится морозом в костях... Уже не виденья, не грезы, а воскресают какие-то смутные впечатления — то отголоски жизненных бурь: ложь, невежество, зависть, насилие, кривда стоят на пути и бичуют прохожих; крик висит в отравляемом миазмами воздухе, а безоружные люди, как овцы, кидаются в смятении и туда, и сюда да и попадают как раз под батожья... и он, отважный, бросается смело в борьбу, но чует, что ему заступает дорогу неодолимая еще сила... только это сознание не ослабляет мышц его сердца, не гасит удали...

Вот в непроглядной тьме снова затеплился луч — и встрепенулось у него радостью сердце, и побежало по жилам тепло. Он не один: чья-то нежная рука обняла его, а другая стиснула ему руку; прекрасное, как весеннее утро, личико улыбается ему такою любовью, от которой тает лед его сердца, а звезды-очи глядят ему в самую душу и врачуют целительно раны. «Тяжело тебе, не под силу одному бороться со злом,— слышит он, как упоительную мелодию, серебристый голос,— пойдем вместе, вдвоем, ненаглядный мой друг, моя радость, станем дружно плечо с плечом, рука об руку на вечный союз, на борьбу с непосильным!»

Этот певучий голос встрепенул ему сердце отрадой, наполнил волнением грудь, и сбежали две горячие капли с неподвижных ресниц... Но с приливом жизненных сил поднялись и страдания: снова почуялся на груди камень, рубец вокруг шеи зажегся огнем, гортань сдавило удушье... С страшным усилием поднял он наконец руку, и она ударилась в крышку...

Молния у него сверкнула в мозгу и пронзила сердце стрелой.

— Где я? Что со мною? — вырвался из сдавленной глотки хриплый, глухой звук.

Несчастный повел еще раз руками — и окаменел, занемел; лишь в голове у него загудело, словно колокол: «Гроб!»

Как гром, оглушило его это слово: ужас заглянул ему в душу слепыми очами и оледенил тело. «Смерть! Погребен... зарыт в земле!» — стучало ему в виски, словно молот забивал крышку у гроба. «Когда же? Как?» — силился припомнить все мозг, но изможденные, полумертвые мысли не взлетали уже, а лишь трепетались, беспорядочно бились о череп и могли только вызвать смутные обрывки каких-то воспоминаний: темные, сырые подвалы... кандалы, цепи... зияющие язвы и суд; да, кажись, суд... Высокая, светлая зала... зеленый стол... за ним блестящие судьи... а за спиной — часовые... Кто-то грозно обвиняет его в злодеянии... Он силится спросить: «Неужели любовь к родине — злодеяние? Неужели преступно любить своих братьев, искать света и правды?» Но у него коснеет язык, а в зале уже раздается: «Виновен! Смерть!» Вихрем закружилось все в его голове и оборвалось в сердце, словно заныла лопнувшая струна... Вот и площадь... колышется густыми массами жадная до зрелищ толпа... слышится лязг оружия и бой барабанов... а издали доносится дорогого товарища голос: «Мужайся, друг мой, и радуйся! Взгляни — вон плачут, а это уже победа!» Кто-то кинулся к нему, ломаючи руки... но в этот миг он сорвался и ринулся в бездну... не упал, а понесся, поплыл... зелено, светло, ало... красно, багрово до темноты, черно... и ничего... все исчезло!

Итак, он мертв; но сердце еще дрожит... жизнь очнулась в гробу, под землей... на новую ужасную агонию, на невообразимую пытку! Холодный пот выступил на лбу у него росой... зашевелился и дыбом встал волос. В безумии отчаянья он напряг все силы и ударил руками и ногами в стенки гроба, но доски даже не дрогнули, и самый стук, не проявившись, заглох.

— Спасите! Я жив! — крикнул, теряя рассудок, живой мертвец и не услыхал своего голоса.

Тихо, глухо, мертво... Какое-то косматое чудище налегает, давит его страшною тяжестью... а вот что-то

грохнуло на гроб и с шумом скатилось. «Земля! Засыпают землей... Значит, гроб еще не зарыт?» — сверкнуло в голове его искрами и возбудило такую жажду к жизни, какая в минуту смерти пронизывает все наше существо, пепелит мозг, повивает душу тоской, и она готова просить мук и страданий, но только лишь не забвения.

— Не губите меня! Дайте мне глянуть еще раз на свет божий! — застонал он беззвучно.— Я не преступник... я не сделал зла никому! Я лишь стремился к правде, к добру и за братьев-друзей отдавал душу!

Но никто не слышал его воплей, его стенаний... земля сыпалась и стучала о крышку гроба... но вот обрушилась тяжелая груда, проломила доску и ударила мертвеца в грудь... и он... вдруг проснулся.

На груди у него лазила, копошилась его дочурка Орыся и будила своего тата; ее хорошенькое, как у купидончика, личико смеялось заразительно весело, а ручонки ее все тянулись достать татуню за ус; счастливая мать держала одной рукой свою девочку за алый поясок в белом платье, а другой приводила в порядок растрепанные волосы мужа, целуя его любовно в чело; в глазах ее светилось столько радости, сколько ее можно собрать на печальной нашей земле... А он? Он схватился порывисто, прижал к своей широкой груди и свою дорогую подругу, и своего херувимчика... и стал обнимать и целовать их страстно, безумно... а из его глаз катились по щекам прозрачные, как кристалл, слезы.

А сквозь открытые окна врывался волнами в спальню напоенный ароматами воздух, сверкающие лучи весеннего солнца ложились золотыми прядями на полу, на шпалерах и радугой играли в стекле, а из роскошного сада неслось веселое щебетанье пичужек...

ЛИХО

(Картинка з життя голодних)

В містечку Б., на прикінці, де стояли задумані, з сивими пасмами верби, а за ними тяглись по дорозі стрункі осокори з срібним тремтячим листом, там, геть на одшибі, ховалась між корявих яблунь і поламаних слив горбата хатинка. Кругом неї не видко було ні тину, ні загороди; хазяйські збудовання стояли руїною, порозвалені, порозламані, та і сама хата була мало не зовсім без покрівлі, і крізь дірки на їй світили ребрами крокви.

У тій хатці жила собі удова Марта Супониха з своєю єдиною донькою Прісею, дівчиною літ дев'яти-десяти. За покійного чоловіка, якого брусом при будуванні церкви убито, сім'я Супоні вважалась за заможну і жила по теперішніх часах навіть з достатком. Чоловік Марти, крім свого наділу, держав у посесії ще два, мав пару волів, корову і кілька овечат, та теслярством ще заробляв копійчину. У ті благословенні часи оця хатка визирала білим грибком серед кучерявих дерев; вся садиба була огороджена на диво плетеним тином з воротами, всі хазяйські збудовання були опоряджені, добре укриті; серед них здіймалась догори високою пірамідою клуня, а округ неї уосени одбивали золотом стіжки жита, пшениці, червоніла гречка, зеленіло в добу упоране сіно,— і скрізь тут грало веселе життя: метушні кури нишпорили повсюди, поважні качки никали переваги-ваги то туди, то сюди, мекали овечата, ревла, вертаючись з паші, корова і вищала, плигаючи то до хазяйки, то до її маленької донечки, кудлата Найда.

І от минуло чотири роки по смерті Супоні — і з цього відрадісного куточка сталось німе кладовище.

Хазяї зараз, за плечем старшини, відібрали у вдови свої наділи; а на власний наділ її чоловіка знайшовсь опікун, якийсь родич, та й загарбав його за небезпечністю ніби оплат. На всі Мартині скарги старшина тлумачив одно: «Виходь заміж або видавай свою дочку,— тоді й пошукуй наділа». Марта любила свого небіжчика, а ще більше дочку, то й не захотіла побратись удруге, а від того й лишилася без земельки.

Отож худобу содержувати вдові було годі, то й почала вона її потроху збувати; отим, мовляв, і жили, та ще поденщиною, де траплялась. Хутко повіялось за вітром пóтом надбане добро: запанував недорід, скотинка пішла за безцінь, а про руки ніхто й не питався... Довелось продати на знос і комору, і клуню... Повітки та тини розвалили негоди та бурі, а решту рознесли добрі люди...

Все спродала уже Марта, навіть одежу; однієї тільки корови не мала вона сил збути: Бура ніби стала кревною у сім'ї і приросла до серця матері й доні... Останнім шматком хліба ділилась з нею сім'я, і корова в подяку наділяла її молоком та приплодком... Але надійшов скрут, і ні за що було уже бідній вдові рук зачепити... Недорід в останній рік змінивсь справжнім голодом — і тепер випадало, очевидячки, їм усім трьом загибати...

Уже два місяці з голоду пухнуть і сім'я, і корова; уже Пріся була занепала смертельно, та господь поки підняв її, тільки чи надовго, бо ледве-ледве хату перейде, аж світиться, мов з хреста знята...

Думала Марта, думала, чим розважити своє горе велике, та й думок не зібрала: втисся в її хату убогу зелений, з запалими очима голод і застукотів своїми кістками по лавах; за ним розляглась на долівці зубата, ненатла нужда, а темна, як північ, нудьга сіла на покуті.

Нарешті наважилась Марта своїй доньці сказати, що нема більше сили, що треба Буру зá що не зá що, а продать.

Пріся заломила руки в сльозах і стала свою матір благати, щоб заждала хоч тиждень, хоч трохи — поки ось-ось уже буде травичка.

— Поки здохне корова? — усміхнулась гірко мати і вийшла на подвір'я. Пріся кинулась до вікна і припала личком до шибки; на її рясних віях ще бриніли перлини і росою спадали на зеленкувате мутне скло. Дівчинка пильно зорила, чи не пожене куди мама її Бурки?

А Марта, насмикавши мокрої, трухлої соломи з покрівлі, понесла її до корови; але та лизнула у господині руку, а трухи не взяла й в губу; хазяйка набрала ще відро води і хотіла її напоїти, але Бура й голову одвернула... Ударилась руками об поли вдова, обдивилась кругом свою добродійку, погладила її по шиї та й вернулась змертвілою в хату.

— Не випаде, дитино моя, продавать нам корову,— промовила вона, відчиняючи двері,— прибере її, певно, господь!

— Мамо! — сплеснула тоненькими, як прутики, ручками Пріся, вирячивши з жахом чорні, як терен той, оченята.

— Ох, прогнівали ми, либонь, бога, і нема від його ні ласки нам, ані милосердя! Хвора наша Бурка, зовсім слаба: не їсть і не п'є, а якось жалібно стогне... Може, від голоду... бо чим і кормили? Всю хату обдерла... та хіба ж то паша? Ну, й подалась...— Марта утерла хвартушиною ніс і заплакані очі.— Уже як я виглядала тієї весни, сонця красного, як сподівалась на зелений моріжок,— та не діждались ми з Бурою ласки божої... От ти прохала мене, щоб не продавала корови,— та хіба мені самій не шкода її, не жаль? Все їдно, що серце вирвать з грудей: адже ж у тій корівці зникли всі мої радощі, все моє щастя минуле! То ж покійний мій батько, а твій дід, подарував мені на весіллі теличку, а з телички виросла он-то яка корова... Як же вона тішила мене й твого тата, як ми упадали за нею,— і тебе, мою зіроньку, вона вигодувала... а коли, з волі божої, я овдовіла, то Бура ще в більшій пригоді нам стала. Як же мені не вболівати за нею? Остатня ж худобина, та ще рідна, та кревна... А от, не здолала догодувати її... самі пухнемо з голоду,— і пропаде, згине...— докінчила мати, хлипаючи, свою ка́зань і осіла під тяжарем безпорадного горя на лаву.

А дівчинка все стояла, устромивши кудись свої очі, стояла нерухомо, безмовно, тільки немов пропасниця трусила її все дужче та дужче, а це раптом як заголосить: «Ой ненечко, ой лишенько!» — та так і залилась буйним плачем, так і захлинулась, та й упала на стіл.

Довго розлягалось по хаті дитяче ридання, і мати спинить його не здолала,— бо й у самої гіркі спадали дрібним дощем на поли протертої кохти. Нарешті Марта встала і підійшла рішуче до Прісі.

— Не плач, дитино,— поцілувала вона її в голову,— я ось піду до дядька Охріма: він знахар, він порадить... і вівсяної соломи випрошу у старшини... або краще — на одробіток у жида,— той швидше зглянеться... А ти пожди, помолись богу, та гляди не виходь з хати: надворі холодно, а ти ледве на ногах стоїш,— і Марта, хапливо накинувши на плечі діряву свитину, вийшла з хати.

Пріся, утерши кулаками заплакані очі, сіла собі під образом в кутку і замислилась. Невеселі, не дитячі думки окрили хмарою їй голівку: ясні дні недавнього дитинства мрілись їй з-поза хмари якимсь непевним промінням... ясніше вирізувавсь вже на очі пожовклий труп її батька з проламаною, кривавою головою... далі — піп, дячок і тиск люду... А потім уже пішли нудні, самотливиї дні... нужда та сльози... а радощів та сміху — ані прóслідку... от тільки пестощі матері; але й ті були якісь поривчасті, болісні, і відбивалась безкрая нудьга. Дитячих забавок Пріся майже не знала: селянські діти цурались її, та й вона їх боялась; от тільки й тішила її Бура: їла з рук її капустяне листя, моркву, гарбузові скибки, а то й хліб. І знала ж як, мов своє телятко: ледве, бувало, Прісю забачить,— зараз замука радісно і протягне до дівчини свої м'які губи; а то й язиком лизне по щоці,— так уже ото одна одну любили! І от, коли не дай боже... у дівчатка заворушились справжні бажання умерти, а не зостатись на цім нуднім та труднім світі без останньої втіхи...

— Господи!.. мати божа!.. свята Варваро... богородице,— схопилась вона на ноги і стала молитись збурено, палко, притискуючи рученята до свого лона.— Рятуйте корівку, бога ради, рятуйте!.. Отче наш, іже єси... Рятуйте, зглянътесь! А не то прийміть краще мене! — І вона впала навколішки і стала ревно бити поклони.

А тим часом мама її з дядьком Охрімом наближались до хати, і мати, кланяючись знахареві у пояс, все прохала його:

— Дядечку, голубчику! Пошануйте й пожалійте та дайте пораду: послідня ж худобинка, як сорочка на нищому...

— Що ж, це ми можемо, здолаємо,— глибокодумно відповів знахар, чухаючи потилицю,— небіжчик то, земля над ним пером, гордував нами, все, було, до хвершала в хутір... Гм! А ось і прийшлось! Проте — байдуже: оком

накину — і зразу все, як на долоні,— чи з вітру, чи з нашепту, чи від порухи... А то часом скотина з'їсть що уредне — паука абощо... Ну, дак її шилом в бік шпортонеш,— і тільки засвище: значить, у дірку тобі хвороба і вилетить... Так-то воно — еге!! Все у наших руках... і коли, звичайно, за труд...

— Подякую, заплачу, як зароблю чи продам корівку, щоб я п'ятінки святої не діждала!.. А тепер от богом клянусь, копійки нема за душею! — ударила себе Марта кулаком у груди.

— Гм! — замугикав знахар та й додав: — Ну, що ж, обіцянки-цяцянки, а дурневі радість!

Більше не зронив і слова, а мовчки підійшов до корови, що серед двору лежала.

Марта стала пильнувать за виразом його обличчя; не віщувало воно добра: зелене, опухле, воно здавалося іще більш негарним од неголеної щетини; клочкуваті, об'їдені вуси під закандзюбленим носом робили його ще гіршим; найбільш неприємне враження чинили мов осокою прорізані, олив'яного кольору очі,— з-під навислих рудих брів вони світились якимсь лиховісним вогнем.

— Ге-ге-ге! — протяг знахар нарешті, ударивши двічі кийком корову, щоб звелася на ноги.— Он воно що! — бурчав він, заглядаючи пильно їй в очі.— Хто б і подумав! — Знахар ухопив корову рукою за ріг, а кийком силувавсь роззявить їй рота і тикав у зуби. Корова крутила головою і від кийка ухилялася.

— Не відкрутишся! Бачу! Накинув оком — і як на долоні,— доводив знахар корові з докором,— а ти не махай писком! Ач, каторжна, сибірна!

Ні жива ні мертва стояла Марта і нарешті наважилась спитати:

— Що ж з нею, дядечку, що з моєю корівкою скоїлось?

— Та що, сказилась, та й годі! Сказилась — і квита!

— Як сказилась? З якої причини? Її ніхто не вкусив, хоч огляньте!

— Та що там глядіть? Накинув оком — і квита... як на долоні! Ет, ляпнула: «Не вкусив!..» Та скажена собака, коли тричі духом дихне — чи на людину, чи на скотину, чи на звіра,— дак уже те й сказиться небезпремінно: коли двічі — то ще дарма, а коли тричі — заплющуй

вічі! Та що там базікати? Сказилась твоя корова, та й край!

— Не може бути, брехня! — обурилась Марта.— На нашім кутку і скаженої собаки не було!

— Ти мені, бабо, брехні не завдавай! То, може, твоя мати брехала, як на лаві лежала, он що! А мені з тобою не куматися: мені треба довести начальству, що корова, не доведи господи...

— Та бога бійтесь, хіба скажене так тихо та покірно лежить?

— А от ти побачиш, як вона за яку там годину тихо лежатиме! Вона уже проковтнула щенят, що під язиком їй сиділи... Ну, так от незабаром і задере хвіст...

Марта стала була знахаря слізно благати, щоб він перед старшиною й урядником хоч до завтрього покрив її горе, але знахар був невпросимий і відкупне правив... Нарешті Марта, розпалившись, стала похвалятись, що побіжить зараз у хутір до хвершала і той її захистить від напасті.

Це аж розсатанило знахаря.

— Іди собі хоч до чорта пухлого! — сплюнув він люто.— А я піду теж, куди треба,— і він справді попрямував хапливо до містечка. А прибита горем вдова, не завернувши й у хату, кинулась у другий бік — до хутора, що був верстов за дві — за три від її садиби.

Пріся, почувши сварливий гомін коло хати, кинулась перелякана до вікна; глянула, аж її мати з якимсь дядьком кудись-то пішли, а корівка лежить собі безпешно на дворищі,— глянула й заспокоїлась. Тепер, після турбот, її опанувала тиха знемога, що ні руки, ні ноги не звести, і Пріся ледве-ледве допленталась до полу, де лежало рядно й подушка, на превелику силу зіп'ялась на його, упала й зразу ж таки заснула.

А за яку годину у вдовину пустош ввіходила юрба селян: перед вів знахар, за ним пишно виступав старшина з «мегдалією» на шиї, за старшиною плівсь з урядником писар, подалі плутались двоє соцьких та двоє хазяїв-понятих, з заступами на плечах, а на хвості процесії замітали слід чотири баби.

— Добра садиба була,— завважив ро́здумно старшина, як наблизивсь до хати,— а тепер пустка та пустош... Ач, на що перевела ледача баба таке добро!

— Рук дастьбі,— обізвався урядник.

— Голови чортма,— додав знахар.

— Н-да, мозоку брак,— завершив писар.

— Мене за покійного Супоню аж заздрощі хапали, як гляну, було, на його придоби, а тепер аж сум огортає,— зітхнув старшина.

— У ваших руках, Никихвор Іванович, і ниньки може оця руїна перевернутись чарівним робом, як у казці, в розкóші,— усміхнувсь писар визнáчно.

— Та даймо,— мотнув головою старшина і обернувся до знахаря,— а де ж та корова?

— Ген,— показав знахар і застеріг: — Близько, глядіть, не підходьте, бо вона вже щенят з-під язика проковтнула.

Обережно, віддаля обступили присутні корову й, спершись на високі ціпки, глибокодумно замислились; цікаві баби зупинились поштиво поза колом старших.

Корова глянула на гостей нудливим, байдужим поглядом і не звелась навіть перед начальством на ноги.

— Що ж... теє... убить, та й уже! — сказав старшина. Поняті повели плечима й кивнули шапками, знати — на певну, безперечну згоду.

— І зараз же мені закопать, щоб часом не зідрали ще шкури,— додав старшина, а потім до писаря: — Ви там досвідчите, що теє... і проче...

— Само собою,— буркнув той і поправив на голові картуза.

— А чи захопив хто сокиру? — гукнув старшина соцьким.

— Еге, єсть,— одмовив один чоловік з бляхою, знявши шапку, і підійшов до корови.

— Тривай, стій! — зупинив знахар.— Хіба скажену скотину можна вбивати? Адже ж вона, конаючи, скажений дух витхне, а вже коли тричі отим скаженим духом на кого дихне, то той неминуче сказиться... себто ми перші... та і пріч того, скажений дух може і на містечко повіятись...

— Ох, моя матінко!.. Не доведи господи! — почулись між бабами сполохані вигуки.

Чоловіки переглянулись.

— Що ж його теє... чинити? — запитав стурбований старшина.

— Що чинити? — аж здивувавсь знахар.— Закопати живою, та й край!

— Живою??

— Живісінькою! Так і слід в такій пригоді... так скрізь і водиться... бо земля зразу прикриє скажений той дух — і шабаш!.. А інак неминуче лихо.

— Так, так,— підтримала несміливо одна баба,— чула і я, що скажене закопують живим.

— Ой боженьку! — промовила друга, жалісливіша, стара Сохрониха,— та, може, корівка ще й не скажена, щось не скидає...

— Товчи! — зневажно кинув їй знахар.

— А цікаво, як вона, ота корова, чи буде ревти під землею? — заохотився писар.

— Та воно якось ніби не теє... живу і в яму... якось моторошно,— розвів старшина руками,— адже і скотина чуствує, а на великдень дак і говорить у святу ніч... а тут раптом на зрячі очі земля... та чи то ж і порядок?.. Щоб, бува, не теє... і проче,— не зважувавсь він, обводячи гурт очима, мов шукаючи ради.

— Що ж тут такого, пане старшино? — подалась сміливіше вперед ота баба, що згодилась з знахарем; вийшла, утерла пальцем заїди і вклонилась начальству.— Ось у сусіднім селі, в Корбачах, та не з скотиною, а з людиною трапилась пригода... От, щоб я луснула, коли не правда, хоч довідайтесь самі здорові! Одна молодиця — Ївга Скулиха, коли чували, та привела... уже господь його святий зна, з якої причини, а тільки привела песиголовця... усе в шерсті, а писок — точнісінько, як у собаки, так вам і скавчить, як щеня... Ну, що його було в світі божім чинити? Порадилась бабка з родом, пішла до батюшки, поблагословилася та й закопала того песиголовця живим.

— Закопала? — ах скрикнув старшина.

— Закопала, хрест мене вбий — закопала; так живим і засипали... ще й під землею скавчало. Та інак нечистої сили і збутись не можна,— запевнила вона.

Дві молодиці зашепотіли про щось нишком і захихикали.

— Так копай ген там яму, ближче до річки,— загадав старшина і, геть заспокоївшись, сів собі на призьбі і став цигарку палити.

Кинулись поняті з соцькими справлять наказ старшини; цікаві баби подались теж до річки, а писар з уряд-

ником стали на горбочку пильнувать за робочими. Робота йшла споро. Кілька день уже стояла одлига і земля одтала й розм'якла. Почорнілий сніг хоч і лежав ще де-не-де лишаями, а проте паводь леліла затокою і з веселим шумом спадала бурчаками до річки; пронизуватий вітер розгонив туман, що зривавсь із таловин хвилями. В повітрі пахло уже весною, хоча й стояв іще мокрий холод.

За яку там годину була викопана край річки глибока яма, і соцькі довели про те старшині.

— Візьміть на налигач корову і волочіть туди! — заверховодив той, підводячись з призьби.

Соцькі кинулись до корови, залигали їй роги налигачем і стали тягти, щоб звести на ноги; а корова, проте, і не важилась уставати, а уперто лежала. До соцьких пристали і поняті та мерщій за киї, щоб підбадьорить корову; надійшли і баби допомогти своїм вереском... Чоловіки заходились з запалом молотити Буру по ребрах і нарешті-таки гуртом примусили, бідну, підвестися на ноги: спочатку вона з надмірною натугою зіп'ялась на передні, а далі, смикнувшись кілька разів, згарячу звелась і на задні; проте, ставши на всі чотири, уперлась і стала опинатись назад... Молотьба і гвалт подвоїлись, баби стали корову ззаду штовхати...

— Уперта,— зауважив старшина,— насилу зрушили.

— Ох, видима смерть усякому, пане, страшна,— зітхнула Сохрониха, що не брала участі в гвалті.

Від галасу, крику прокинулась нарешті і Пріся; обвела вона круг себе зляканими очима і не постерегла спросоння, в чім річ, а потім уже, розміркувавшись, зараз кинулась до вікна і уздріла, що юрба людей кудись тягне її корову.

Стерялась вона з жаху і як стояла у одній сорочці та спідничці, босоніж, так і кинулась прожогом у двері, так і майнула на леваду, розбиваючи в бризки босими ніжками крижняну воду і без пам'яті лементуючи:

— Ой, пробі! Хто в бога вірує... Корову грабують!

Озирнувся на той дитячий крик старшина і гукнув до бабів:

— Умкни котора дурну дитину!

Добра Сохрониха переняла дівчину й обвела її тоненький станик руками.

— Куди ти, безталанна сирітко? Нічого ж не вдієш!

— Скажи їй, що за корову казна заплатить,— пояснив старшина,— хай і матері перекаже!

— От бач, які добрі та милостиві пан старшина, поклопочуть і вернуть за корову гроші... А ти біжи собі до хати: ач, аж посиніла... дрижаків наїлась! І як-таки у такий холод та на сніг виходити босою й голою? Ходім лишень у хату!

— Не піду, бабусю! Ой, не піду!.. Я до корівки, до Бурки! Рятуйте!! — кинулась була вона уперед, так баба ж не випустила її з рук, а міцно тримала.

А корову притягли аж до ями і силкувались тепер туди її впхнути; але бідна скотина, забачивши смертельне провалля, стала жахатися і відкидатись навіжено назад; видима смерть підживила в їй знеможені сили, і чим більш гвалтували озвірені люди, тим дужче вона упиралася. Від боротьби і шаленості у корови зайнялись вогнем очі і виступила піна із рота.

— Гей, вирветься! Налигач увірве! — кричали соцькі, хапаючись обіруч за віроьвку.

— Не подужаєте, чи що? — затривожився старшина.— Ще вирветься й насадить кого на роги!

— Ого, ще й як насадить! — підхопив знахар.— Всіх переколе: а чи ж я не казав, що щенят проковтнула, ну й зайнялись...

— Та що ж ви, йолопи? — перелякався ще гірш старшина.— П'ять чоловік і три баби на одну корову! Страмовище!

— А ось що! — відізвавсь знахар, ухопивши у руки добрий уломок голоблі, що валявсь біля ями.— Я її улагоджу, уконтентую! — І з усієї сили, наодмаш ударив голоблею корову по задніх ногах.

Почувся різкий, уразливий хряск... Баби ойкнули... Одна нога у корови вип'ялась рогом, тяжкий тулуб, рішившись підпори, згубив рівновагу і, схилившись над ямою, всею тяжею урвався на дно... Корова забилась передніми ногами у ямі, а на задні уже звестись не могла, певно, і друга нога була перебита.

— Закидай, засипай її швидше землею! — верховодив знахар.

Писар з цікавістю став доглядати, як чотири лопати проворно кидали вниз вогку землю, як грудки розбивались на голові і на спині у корови і скочувались дрібним

градом під ноги; помалу-малу земля покривала корову, зростала угору: уже й червона скривавлена кістка, і всі чотири ноги сховались під нею, уже груз лежав зверх спини, а спереду сягав аж до шиї... Бура перестала уже борикатись і борсатись; конвульсійні пóрухи стихали, і тільки дрижаки пробігали часами по її нерухомім погрудді; навіть головою вона перестала ухилятись од грудок землі і тільки помимо волі щулила вії, коли попадала в око гостра скалка. Чуючи тяжку хвилину сконання, корова жалібно, з протягом заревла, застогнала, немовби хотіла отим болісним стогоном виблагать у байдужих людей милосердя...

Сохрониха цупко тримала Прісю, що билась і рвалася з її рук, і старалась прикрити полою їй голову, аби не бачила і не чула, як катували її корову. Але ледве розлігсь Бурої стогін, як Пріся з несамовитою силою виприснула із бабиних рук і стрімголов кинулась на жалібний поклик своєї коханої. Ніхто і не постеріг дівчинки, як вона бурею прорвалась до ями і, забачивши свою Бурку уже по шию в землі, порвалась до неї з страшним криком «рятуйте!». З розгону ударилась вона грудиною об ріг корови і непритомною звалилась під її голову; але, гублячи й стямок, вона встигла ще охопить рученятами шию своєї питимої Бурочки... Корова, пізнавши свою любу годованку, промукала жалібненько до неї, стала лизать її побіліле, як полотно, личенько.

— Убилась дівчина! — скрикнули кати-копачі.

— От тобі й халепа! Новий протикол! — почухався писар.

— І як не догледіли, ідоли! — гримнув стривожений старшина.— Чорти б убили вашого батька! Та дурна випустила з рук, а ці прояви прогавили!.. Гей, жвавіш мені! — репетував він, мов од завійни.— В яму скакай! Віръовок сюди! Добувай дівча проворніш, а не то я вас! Попущеніє боже, та й годі!

Кинулись соцькі й поняті, навіть урядник вскочив у яму, й вихопили на світ нечуствéнне, похололе тільце дівчатка. Баба Сохрониха й знахар припали мерщій їй до лона і об'явили, що серце ще стука і що дівча тільки зомліло.

— Може, що й переламане чи понівечене, а проте поки що житиме,— порішив знахар.

— Хоч би поки що,— побажав старшина

— Відтерти б її снігом та горілки всипати в рот,— дорадила Сохрониха.

Понесли дівчинку в хату і завзялись відтирати її, забувши навіть про корову.

Гуртом таки якось відхаяли її помалу; але хоч дихання їй і стало буйнішим, а проте вона не відкривала очей і тільки часом верзла щось непутяще. Гарячка розпаляла її тільце тщедушне і займала полум'ям мозок.

— Ну, годі! — порішив накінець старшина.— Що здолали — зробили, а там уже не наше діло, а боже. Всі ми під богом,— завершив він поважно.

Всі понурились, зітхнули й занишкли. Але знахар відразу порвав сумний настрій:

— А що ж корова? Так же не можна її лишити!

— Ге, і забули! — похопився писар.— Ходім, цікаво!

З галасом, з оживленим почуттям рушила з хати юрба. При слабій лишилась-но жаліслива бабуся, якій і старшина наказав не кидати дівчатка, поки не поверне додому хазяйка.

Сіла Сохрониха і зажурилася, не зводячи погляду з трудної, нещасної Прісі. А та лежала розметано з тьмяними очима; груди їй здіймались поривчасто, важко; крізь пазуху розірваної сорочки вбачалась враза, навкруги якої аж чорнів страшенний синяк.

«Не жить тобі, сирітко, не жити,— думала, хитаючи головою, стара,— уже і в горлі клекоче, і від тіла аж пашить, мов із печі... Де ж таки такому худесенькому та слабесенькому подолать таке лихо? Від голоду аж підвело, висмоктало останні сили... а тут ще сніг, та вода, та вітер... Вискочило і босе, й голе, та ще ударилось тяжко,— може, й печінки відбило».

Тут почулася від левади якась тупотня, немов там вибивали пари три або й чотири доброго гопака, навіть долітав між тупання й сміх; бракувало тільки музики. Баба догадалась, що то утоптували свіжу могилу корови...

— Зобидили безпорадну вдову,— промовила вголос Сохрониха,— корова скаженою й не була, а просто охляла від голоду... Напосіли на беззаступну, щоб поживитись останнім притулком... Ех, жироїди, багатирі! — зітхнула вона важко.— Всі ви одним миром мазані!

Час збігав. Панувала тиша, яку зрідка будив ледве чутний стогін слабої...

Смерком уже рипнули двері, і в них тихо, крадькома ввійшла Марта.

— Бабусю! Це ви, Сохронихо? — придивлялась вона пильно, з подивом до старої.

— Я, безталанна, я...

— От, спасибі, що навідали... А хвершал — добра душа,— поквапилась вона поділитись радістю,— забіжить сюди і сповістить зараз земського лікаря...

— Ех, не поможуть уже земські,— перебила її стара і переказала хутко про корову і про Прісю, якої й не запримітила за бабою у померках мати.

Спочатку слухала вона бабу з якимсь запеклим спокоєм і тільки тремтіла, але як дійшла річ до Прісі, як глянула на свою почорнілу дитину, то несамовито, нелюдським голосом скрикнула: «Вбили!» — і витяглась правцем, заніміла, каменем стала.

Кинулась бабуся її рятувати; але ні рук, ні ніг не можна було у Марти зігнуть: тіло їй взялось деревом, очі нерухомо, непритомно стояли, а вираз обличчя зробивсь страшним, холодним, байдужим...

Цілу ніч упадала Сохрониха; хоч вона і домоглась-таки одігріти і віджити помалу тіло Марти, та не домоглась повернути її до розуму, воскресити їй душу...

Перед світом віддала дух богові Прісся. На сконанні вона страшенно металась і кричала в гарячці: «Рятуйте, рятуйте корову!.. Ой, її мордують, катують!.. Ой, стогне вона! Закопайте і мене з нею краще!»

Марта байдуже слухала лемент своєї єдиної втіхи, єдиної доні; тільки останній викрик немов запав їй в душу, і вона шепотом переказала: «Закопайте,— так краще!»

Поховали Прісю на громадський кошт. Хату й садибу за недоїмки продали з молотка... Купив усе старшина...

А Марта? Одійшла трохи... ходить з довгою рукою по містечку: хто хліба дасть — з'їсть, хто що заставить — зробить... але все мовчки і до людини не промовить і слова... Тільки часами на самоті, в глуху ніч, прошепоче собі, устромивши у темряву очі: «Закопайте,— так краще!..»

НЕОБЫЧАЙНАЯ «ГОЛОДНА КУТЯ»

Это было давно... Это было в то невозвратное время, когда жизнь казалась еще ликующим праздником, а весь мир словно был создан для наслаждений и счастья.

Окончивши университет и подавши кандидатскую диссертацию, я спешил на рождественские праздники домой, конечно, не в вагоне, а на перекладных: в то блаженное время и не мечталось еще о железных дорогах, а потому сани да хорошая тройка с колокольчиком не оставляли желать ничего лучшего... Закутаешься, бывало, в шубу, мелкая снежная пыль щекочет лицо, ямщик посвистывает, кони мчатся стрелой, колокольчик то застонет-замрет, то рассыплется дробью... а на душе тоже звенит что-то радостно, и она рвется туда, в серебристую даль, откуда бегут навстречу серые пятна сел и сизая бахрома леса.

В тот год дела меня задержали, и я боялся, что опоздаю даже к крещенскому сочельнику — голодной кутье, так как предстояло далекое путешествие в глубь Полесья, к одинокому дяде, моему единственному родственнику. Я от него получил письмо, что имение свое родовое на юге он продал, а сам переехал в другое поместье, с. Боровичи, на Полесье.

«Зарылся,— писал он мне,— как медведь в берлоге, и живу отшельником в непроходимых и дремучих лесах — нашей тайге... Так приезжай, родной, развесели искренно любящего тебя старика: хотя и скучно праздник встретишь, да зато поохотишься: тут зверья всякого — сила!»

Помимо охоты, которой я был страстный поклонник, помимо желания видеть дорогого дядю, меня тянули в село и праздники. С самого раннего детства я привык к этим торжественным моментам жизни, чувствуя при

приближении их чистую, детскую радость: эти светлые полосы всегда бодрили уставшую душу пиетическим настроением, без которых проник бы в нее холод непроглядного мрака... И вот, даже теперь, на закате жизни, праздники все еще затрагивают в моем сердце давние, заржавевшие струны, и они начинают вибрировать светлыми отзвуками пережитых мелодий...

Когда я уже садился в сани, рассыльный принес мне депешу: дядя телеграфировал, чтобы я спешил, так как жена его с Роной возвратились уже из-за границы. Мной овладел такой пароксизм буйной радости, что я, бросив рассыльному полтинник, вскочил в сани и крикнул ямщику:

— Пошел во всю прыть! Рубль на водку!

Ямщик оглянулся, проверил, не шучу ли я, и, подобрав вожжи, ухарски свистнул; полозья взвизгнули, кони рванули... Посыпались на станциях двухзлотники, полтинники — и сани мои вихрем помчались по снежной равнине, по серебристой ленте, убегавшей в мглистую даль...

Я остался рано круглым сиротой, отца я даже вовсе не помнил, а мать — смутно; но образ ее запечатлелся, как святыня, в моем сердце вместе с радужным сиянием детских грез. Меня приютил в своей семье двоюродный мой дядя, полковник в отставке, назначенный мне и опекуном. Луценко был в уезде тузом, но это не мешало ему быть добродушным и отзывчивым на всякое горе. Тетя, напротив, кичилась своим положением и относилась ко мне хотя и снисходительно, но часто давала понять, что я не их линии... После теплого родного угла и ласк матери мне было холодно и тяжело в этом барском доме, среди чопорной и надменной семьи: бывало, защемит сердце, и спрячешься с своей тоской от людей да только подушке выльешь слезами безутешное горе.

У опекунов моих было единственное дитя — девочка, моложе меня лет на семь, на восемь; звали ее Роной, хотя настоящее имя было у нее Екатерина. Девочка с первого нашего знакомства поразила меня своей миловидностью: беленькая, с живым румянцем и темными продолговатыми глазками, в которых светилось столько доброты, сколько может ее отразить прозрачная ангельская душа; вся головка девочки была окружена светлым ореолом вьющихся пепельного цвета волос... а фигурка напоми-

нала изящную куколку,— так ее и рядили. С ней-то, с этой восьмилетней Роночкой, я и сдружился, сначала, конечно, по-детски, а потом и всерьез. Когда же опекуны мои для окончательного образования своей уже полувзрослой дочери переехали в университетский город, где я фланировал в синем воротнике, то в число Рониных учителей был включен и я.

Началось, само собою разумеется, сознательное сближение наших душ... и дружба незаметно перешла в глубокую, нежную привязанность, а наконец и в любовь... Да, я полюбил Рону всеми силами молодой, пылкой души; и она, мой кумир, ко мне привязалась не менее сильно...

Тетка, поощрявшая прежде нашу детскую дружбу, заметив у дочери крепнувшее глубокое чувство, возмутилась и вознегодовала: она не могла допустить и мысли, чтобы Рона ее вышла замуж за какого-то нищего родича, а прочила ее или титулованному сановнику, или генералу. За Роной она стала зорко следить, присутствовала даже на уроках, а после них сейчас же уводила ее в свою половину, но дядя меня любил искренно, и, кроме того, я был ему необходим по его пошатнувшимся и запутанным делам; он принял мою сторону, и тетка должна была отчасти смириться; изредка даже выпускалась из домашнего заточения Рона, но бедный ребенок выходил с заплаканными глазами, и это разрывало мне сердце...

Так прошло три года. Непримиримое преследование тетки имело, конечно, противуположные ее намерениям последствия: Рона привязалась ко мне еще больше, еще глубже, а авторитет матери при ее деспотизме и несимпатичных убеждениях в глазах дочери совершенно упал. Наконец, на четвертый год, воспользовавшись последними выкупными свидетельствами, тетка задумала увезти Рону для освежения года на два за границу: она была убеждена вполне, что два года разлуки при шумной, пестрой жизни, при калейдоскопе впечатлений заставят непременно Рону забыть свое глупое детское увлечение.

Неожиданный отъезд Роны в далекие страны на долгое время поразил меня громовым ударом: от страшной тоски и мучительных сомнений я забросил было работу и стал поддаваться одной неподвижной идее... Спасло меня от безумия полученное от Роны письмо; оно дышало

такой силой любви, такой трогательной тоской, что отогнало от меня все сомнения и подняло энергию к борьбе: я принялся с лихорадочной деятельностью за занятия и сдал экзамены.

Писем от Роны я больше не получал, но дядя меня извещал, что дочь его немного было прихворнула, но опасность прошла, и семья отправилась в Париж, где пробудет более года... и вдруг телеграмма о неожиданном возвращении.

Во всю дорогу я не мог освоиться с своей радостью: меня что-то подмывало, рвало вперед, и бег саней мне казался таким медлительным, черепашьим. Все мысли мои и я весь были уже там, в этой трущобе, куда скатилась звездочка с неба и озарила своим светом мрачные дебри...

«Ох, осталось ли в ее сердце то теплое чувство, что согревало всю мою жизнь? — думалось мне.— Мать ведь нарочно увезла ее на этот базар житейской суеты, чтобы шум и пестрота его выветрили из ее души все нажитое богатство и заменили бы его пустотой чванства и холодом тщеславия. Неужели же она достигла своей цели и искалечила эту чистую душу?»

— Не может быть! — вырывался у меня стон, и я кричал ямщику: — Трогай!

Но неотвязные мысли кружились и жалили меня, как осенние мухи: отчего же они так скоро вернулись?.. Тут кроется что-то неладное: или Рона затосковала, занемогла, или, может быть, тетка нашла ей подходящего жениха и поторопилась назад, чтобы приготовиться к свадьбе... И я кричал ямщику:

— Живей!

Чем ближе мы подвигались к поместью, тем тяжелей становилась дорога: снежные заносы и завалы попадались на каждом шагу, сани ныряли, забегали, иногда даже опрокидывались и плохо подвигались вперед. В лесу дорога стала еще тяжелей, и часто целую станцию приходилось ехать почти шагом. Я приходил в бешенство, видя свое бессилие, и отчаивался поспеть на крещенский сочельник, к голодной кутье; но, к счастью, предчувствие мое не сбылось, и я приехал в с. Боровичи еще накануне сочельника, вечером.

Дядя меня встретил на крыльце с распростертыми объятиями и шепнул на ухо:

— Барыня-то вернулась с парижской придурью, но мы ее тут понемногу смирим... а Ронка такая же, за нами стосковалась.

Еще раз я обнял безмолвно моего дядю и вошел взволнованный в обширные сени. Дядя меня из них повел прямо в свой кабинет, заметив мне, что дамы заняты туалетом. В кабинете, отделанном дубом и через то несколько мрачном, пылали с потрескиванием дрова; веселое пламя вилось и сплеталось в высоком камине, играя светлыми пятнами по темным стенам, оснащенным всякого рода охотничьими доспехами и трофеями, тени от этих оснащений вытягивались и прыгали на резном потолке.

— Сюда вот, к огню поближе,— указал мне дядя на стоявшее у камина кресло.— Ты прозяб, а я велю принесть чаю с романеей. А то, может быть, сначала зубровки? Ты еще не пробовал? Важная, братец! Да к ней медвежьего окорочка для фундаменту, пока там барыни соберутся еще с своими чаями да вечерями... а?

— Дядя, голубчик, не беспокойтесь: я не голоден,— отклонил я поцелуем суетливую заботливость старика.— Чайку стаканчик, пожалуй, выпью, а то подождем.

— Ну, подождем... Да какой же ты стал славный да статный, хоть в кирасиры, ей-богу! Эх, жаль, что упразднены! Хорошие были полки... Как мы стояли, помню, под Волей: ядра свистят, бомбы гогочут... Да что же это я и не представил тебя моим милым гостям?! — спохватился дядя, увлекавшийся всегда боевыми воспоминаниями, и, взяв меня за руку, подвел к камину.

За яркой полосой света, несколько в тени, сидело два господина: один — коротенький, бритый, с брюшком — напоминал собой ксендза, а другой — длинный, с подкрученными усами, в ботфортах и венгерке — представлял тип эконома.

— Господа, сын мой... то бишь, ха-ха! — племянник! — поправил дядя.— Да все равно, я его как сына люблю... Так вот, прошу жаловать: мой сосед и приятель пан Август Шлейхер и милейший лесничий наш пан Дембовский — знает наперечет все зверье, что в его обширных владениях обретается.

Оба гостя встали и, проговорив: «Бардзо пшиемно! *» — пожали мне руку.

---

* Бардзо пшиємно — дуже приємно (*польськ.*).

Мы уселись вокруг камина. Вскоре нам подали чай и солидный графинчик ароматной золотистой влаги.

После первых глотков дядя заговорил снова:

— А мы без тебя затеяли на завтра охоту, и вот ты кстати! Эх, даже старые кости ходят, а у тебя, верно, запрыгают: таких охот ты еще и не нюхивал! Это не то, что у нас было в Жовнах: несчастная зайчура да иногда лисичка, а волк за редкость! А тут, братец, тебе коза, кабан, лось и медведь-лапуха!

— Будто бы и медведь здесь держится? — удивился я и почувствовал, как пробежала по спине у меня охотничья дрожь.

— Да вот,— указал дядя глазами на лесничего, затягиваясь вахштабом из длинного черешневого чубука.

— Неодменно, пане,— осклабился Дембовский, подкручивая вверх свои усики.— Вчера я надыбал берлогу и певен, что там залег здоровенный ведмедь.

— Фортрефлих! * — одобрил соседний помещик из немцев.

— Да мы с этого шельмеца завтра и начнем,— заметил мой дядя,— а потом на кабанчика-одинца...

— Можно, вельможный пане маршалку,— отозвался Дембовский.— Того добра, проше пана, как сметья. Коло Багновиц берлога, а трошки дале зараз идет болото, с очеретом и трасиною, там и одинца можно злапать: у пана маршалка добрые псы, не спустят с тропы... А то я, проше пана, хтелем ** еще за болото в Вилы, в Долгий бор, там можно и лося рогатого сдыбать, як маме кохам!

— Отлично,— потер руки дядя,— только в один день всего не захватишь: завтра ведь свят-вечер, голодная прощальная кутья, вилия *** — большой пост... так вот оно бы даже не след и кровь проливать, да вот потешить хочу племянника.

— Дядя! Если для меня, то напрасно: я могу и подождать дня два-три,— поспешил я отречься от предложенного мне удовольствия: несмотря на охотничью лихорадку, у меня брало верх другое, более властное чувство — остаться дома с Роной, за которой я так стосковался.

---

* Фортрефлих — прекрасно (*нім.*).

** Хтелем — хотів (*польськ.*).

*** Вилия — свят-вечір (*польськ.*).

— Проше пана,— возразил Дембовский,— ведмедь чекать не станет: тен шельма уже рушеный и с берлоги зараз может уйти.

— О-о! Зо, зо! * — протянул немец.

— Так, так,— кивнул головой дядя, выпуская густые клубы дыма и носом, и ртом.— Ну, так завтра — и шабаш! — хлопнул он по колену ладонью.— Только к звезде уже нужно быть дома!

— А неодменно, вельможный пане!

— Корошо,— согласился, потянув сильно ноздрями, немец-помещик.

— И ко мне милости просим, панове добродзеи! Прямо с охоты на святую вечерю: попробуйте и украинской кутьи, ей богу! — радушно пригласил дядя.

— О, кутя,— протянул грустно немец,— блягодару!

И помещик, и лесничий приняли охотно приглашение дяди, так как сами были бессемейные люди.

Дядя стал сговариваться с ними относительно завтрашней охоты. Я рассеянно слушал ихние распоряжения, слушал, как говорят, одним ухом, а другим ловил звуки из-за двери гостиной и заглядывал постоянно в щель, не мелькнет ли там легкая тень. Но время тянулось мучительно, а полуоткрытая дверь стояла все неподвижно. Наконец вдруг она распахнулась, на пороге появилась горничная и провозгласила:

— Пожалуйте, панычу!

Я бросился опрометью, чуть не опрокинув дивчины, и через секунду был в гостиной.

Посредине комнаты стояла в парадном, дорогом платье ma tante ** с лорнетом у глаз и держала за руку... боже! Я отшатнулся и обезумел... Все, что могла нарисовать моя фантазия, было бледно в сравнении с оригиналом: предо мной стояла дивная девушка... Сразу даже трудно было узнать в ней прежнюю Рону; хотя черты ее лица и выражение глаз остались почти те же, но в художественном развитии приобрели они столько прелести, такое совершенство гармонических сочетаний и красок, что все это создало новое, неведомое прежде очарование.

— Что же, Michel? Вы не узнаете нас? C'est sublime! *** — пропела тетя, держа крепко за руку свою дочь.

* Зо — так (*нім.*).
** Тітка (*франц.*).
*** Неймовірно (*франц.*).

— Ах, простите! — вскрикнул я.— Голова кружится... такая радость!..— и я поспешил облобызать протянутую теткой руку и порвался к кузине.

— Роночка! Ты ли это? — я окаменел в нерешительности: прижать ли ее к своей груди или холодно, официально поздороваться? Но Рона с порывом протянула ко мне обе руки и произнесла, задыхаясь от волнения:

— Я, я, дорогой Миша! Как я рада!

Я горячо поцеловал протянутые мне руки, а Рона припала к моей щеке.

— Ronete! C'est assez! * — прервала строгим голосом тетка эту теплую встречу.

— Что же это вы так церемонно? Хе-хе! — расхохотался подошедший к нам дядя.— Точно чужие! С пеленок, кажется, вместе...

— Ах, horible! ** Что за слова! — запротестовала тетка.— Ronete, ведь, взрослая девушка, demoiselle complette! *** Что же вы хотели бы, dites de grace! **** Чтобы она бросалась на шею? Они ведь почти чужие,— подчеркнула она.

— Эх, матушка! — закачал головой дядя.— Да я считаю Михна таким же близким, по крайней мере, мне, как и она!

— Это ваше дело... Но, lessons! ***** — прервала тетя.— Садитесь же, Michel, и расскажите, что вы без нас поделывали? А у нас найдется тоже что-то интересное,— повела она бровью таинственно и пригласила меня грациозным жестом в столовую.

Я не сводил все время глаз с Роны. При первой фразе отца она зарделась было, как заря в знойный, безоблачный день, а при ответе матери побледнела как полотно, но когда дядя заступился за меня, то она бросила отцу такой благодарный взгляд, что у меня горячей волной бросилась от сердца в голову кровь.

Когда я уселся за чайный стол, Роны не было уже в комнате: мне показалось, что она не могла скрыть своего волнения, ушла от людских глаз.

---

* Рона! Досить! *(Франц.)*.
** Жахливо! *(Франц.)*.
*** Доросла дівчина *(франц.)*.
**** Скажіть на милість *(франц.)*.
***** Повчання *(франц.)*.

К чаю приглашены были и охотники. Хотя появление их и шокировало опарижанившуюся тетку, но она вскоре разошлась, увлекшись рассказами о прелестях заграничной жизни, о великолепии парижских магазинов, салонов, а главное — о том страшном впечатлении, которое произвела она дочерью на посланников и attasches *: все, все без исключения были поражены ее красотой... Тетка старалась при всяком удобном случае намекнуть, что будто бы у нее с дочерью хранится еще какая-то тайна, которая будет разрешена, когда они через месяц-другой поедут снова в Париж... Дядя двусмысленно мычал на фантастические планы своей жены, но болтовни ее прерывать не хотел.

К ужину вышла и Рона, но она была замкнута в себе, молчалива; бледное ее личико обличало, что она страдала.

Целую ночь я не мог сомкнуть глаз. Бурные приливы разнообразных, смешанных чувств волновали мне сердце, мутили ум: я сознавал лишь одно, что тетка ни за что не уступит и что она, вероятно, имеет уже кого-либо в виду; я бесплодно искал, чем бы противодействовать ей, но воспаленный мозг отказывался служить мне.

Когда на рассвете дня засуетились дядя и гости, торопя друг друга к выезду в лес, то я с радостью схватил винтовку и отправился с ними: мне хотелось хоть с зверем диким вступить в смертельный, отчаянный бой.

День был пасмурный и слегка морозный. Изредка появлялись снежинки и, лениво поплававши в воздухе, падали куда-то беззвучно. Откормленные лошади бойко мчали три пары саней. Сейчас же за селом обступил нас со всех сторон лес, и чем дальше, тем становился он рослее и чаще. Стройные сосны в снежных, накинутых сверху коротеньких ризах стояли рядами, словно ксендзы на процессии, и заступали дорогу; пирамидальные, лохматые книзу ели протягивали свои лапы, желая захватить в холодные объятия проезжающих. Дорога до того суживалась, что нужно было постоянно пригибаться, уклоняясь от веток, хлеставших справа и слева.

Свежий, бодрящий воздух, быстрота бега и гимнастические упражнения отчасти успокоили мои нервы; когда мы приехали к сборному пункту и отправились после

* Аташе *(франц.)*.

легкой закуски к назначенным номерам, то я зашагал по глубокой тропе с некоторым даже задором. Мы все вытянулись гуськом и старались ступать возможно осторожнее, чтобы не всполошить зверя...

В снежную зиму густой старый бор производит на душу какое-то величественное, но не радостное впечатление: верхушки сосен, прикрытые сплошным пологом снега, напоминают грандиозный серебристый плафон, поддерживаемый бесконечными рядами желто-бурых и красноватых колонн, и кажется, что идешь по заброшенному опустевшему храму, в котором, вместо бывших теплых молитв и торжественных песнопений, воцарилась теперь холодная, могильная тишина...

Меня поставил лесничий на лучшем месте, на самом лазу из берлоги.

— Отсюда пан будет смалить прямо в лоб шельме,— шепнул он мне на ухо.

— О, не сомневайтесь, пане! — ответил я слишком небрежно, чтобы скрыть подступавшее ко мне дерзко смущение.

— Слично *, пане! — одобрил лесничий и добавил еще: — Там, проше пана, с тылу находятся еще и рогатники.

Я оглянулся: за молодыми елками сквозили действительно какие-то тени.

Лесничий исчез. Наступила тишина. Лес до того притаился, что малейший звук, самый легкий — хруст веточки, падение легкого комочка снегу, был отчетливо слышен и отзывался в моем сердце отраженным ударом.

Вытянувшись за толстой сосной и держа на перевесе винтовку, я замер на месте, глаза мои впились в пятно, черневшее в куче валежника, и застыли в убийственном ожидании; в стволе сосны, на который налег я, словно что-то стучало, и этот стук отдавался в моем ухе звоном, пронизывая иглами сердце; несмотря на все мои усилия держать твердо ружье, прицел его почему-то дрожал и колебался из стороны в сторону...

В эти мгновения я не мог себе дать отчета, о чем я думал. Хотя мысли про Рону и не оставляли меня, но их заглушало другое, более могучее ощущение, в котором сосредоточивалось все напряжение жизни... При

---

* Слично — чудово (*польськ.*).

переезде в лес фантазия рисовала мне разные картины предстоящей охоты: то будто бы медведь ринулся к дяде, а я бросился на помощь и защитил его своей грудью от зверя; меня, победителя, везут домой вместе с трофеями... Ну, конечно,— впечатление, триумф... а далее рука Роны и бесконечное счастье!.. То будто я ранен и, страдая на руках Роны, шепчу ей, что сам искал смерти... То будто привозят домой охладевший мой труп, Рона падает на него с рыданьем и пронизывает себя кинжалом, а дядя с горьким укором восклицает: «Это вы, надменная эгоистка, убили свое единственное дитя!»

Последняя картина наиболее тешила мое сердце в его мстительном настроении... Теперь же все эти образы исчезли, и весь свет сузился, съежился и спрятался за это пятно, смотревшее на меня черным, ужасающим глазом...

Вдруг за валежником раздался робкий лай собаки: к визгливому голосу присоединился другой, более резкий, а потом и третий... Вслед за этими голосами послышались пугливые крики загонщиков.

У меня что-то зашевелилось под шапкой, словно мурашки поползли от затылка к вискам. Я смотрел, затаив дыхание, на пятно, а оно запрыгало, закружилось и растущими концентрическими кругами двинулось на меня... Что-то захрустело, посыпался то в одном, то в другом месте снег... и вдруг из-под валежника вывалилась огромная, косматая, присыпанная снегом фигура; зверь, переваливаясь, направился ленивой трусцой почти на меня... Я не сводил с него глаз, но рук поднять не мог: они застыли, да и весь я прирос к сосне...

— Стреляйте! — кто-то крикнул мне сзади.

С страшным усилием я поднял винтовку и выстрелил, почти не целясь, в медведя; зверь пошатнулся, но, мгновенно оправившись, стремительно прорвался вперед и скрылся тотчас за пригорком.

— Раненый! Го-го! Раненый! — крикнул рогатник, бросаясь за зверем.

Впереди меня пробежал наперерез дядя и крикнул мне:

— Молодец!

Вдали еще промелькнула по балке фигура, немец скатился кубарем с пригорка в лозняк... а я все стоял у сосны неподвижно и не мог прийти в себя... Наконец,

когда все голоса уже смолкли, я осилил себя, отошел от сосны и стал разминать свои одубевшие члены. Я поднялся потом на косогор, чтоб не утерять из виду охотников, но их уже не было видно.

Присев на пне, я стал анализировать переиспытанные мной впечатления и нашел их трусостью. Это сознание заставило меня покраснеть, хотя, с другой стороны, служило мне оправданием то, что я не убежал от поста, а ждал врага, в ощущениях же я не властен: стоит только свыкнуться с ними, и жуткость исчезнет бесследно...

«Да, вот сейчас сделаем второй опыт»,— и я побрел по сугробам вперед, проваливаясь в иных местах по колени, а то и по пояс. Но вскоре я должен был отказаться от надежды догнать товарищей: когда я достиг следующего подъема, то, к моему огорчению, следы разбились на три направления, точно в сказке перед Иваном-царевичем: одни шли налево, вниз к болоту, другие тянулись прямо, в густые заросли камыша, а третьи поворачивали направо по пологости вверх. Я растерялся и, не желая лезть ни в камыш, ни в болото, пошел направо.

След четырех ступней резко обозначался в снегу и, выбравшись на пригорок, потянулся извилинами среди елей и кустов можжевельника; под сплетавшимися ветвями начинало уже темнеть — очевидно, мы выбрались из дому несколько поздно и задержались еще на сборном пункте зубровкой. Теперь я стоял среди глухой дебри, закрывавшей просветы со всех сторон: небо прояснилось от туч и светилось сквозь щели лохматых ветвей бледно-голубыми пятнами, но по кровавому зареву, лежавшему лишь на верхушках елей, можно было судить, что солнце стояло уже низко.

Я заторопился идти, чувствуя, что мне изменяют силы и что легкая дрожь опять начинает прокрадываться мне за спину.

Я чаще стал останавливаться и прислушиваться, но зловещая тишина лежала в бору и ни один звук не доносился ко мне от опередивших меня товарищей. Я спустился в какую-то котловину, и следы привели наконец меня к месту, где они, смешавшись с другими, шедшими им навстречу, разбились в разные стороны. Внизу в трущобе стлался уже темной пеленой мрак: еще полчаса, и не будет совсем заметно следов... а кругом стояли стеной

тонкие-тонкие заросли, сквозь которые пробираться было совсем невозможно...

Меня начинало охватывать неприятное чувство: я пошел поспешно по одному следу, но он, покружившись, вывел меня снова на старое место... На лбу у меня выступил холодный пот, и я, вместо того чтоб пробовать другую тропу, остановился и стал махать себе шапкой в лицо... Вдруг раздался выстрел, и раздался недалеко, но совершенно в противоположной стороне моему направлению — направо, вверх... Я перекрестился от радости и пошел быстро на звук, боясь утерять направление. В свою очередь я выстрелил тоже, и чуткое эхо понесло перекатами грохот по дремучему лесу. До сих пор я удерживался стрелять, чтоб не вспугнуть зверя, а теперь я уже не боялся открыть канонаду...

На мой выстрел загремел другой, с того же самого места: очевидно, меня разыскивали, выкликали и ждали. Теперь уже я не обращал внимания ни на надвигавшуюся ночь, ни на ветки и пни, а шел с обновленными силами напролом, вперед и вперед...

Прогремел еще выстрел, но только далекий и с другой стороны... Я повернулся в недоумении и вдруг... нога моя скользнула, и я, сорвавшись, полетел в какую-то пропасть...

Все это случилось так неожиданно и так ошеломляюще быстро, что я только почувствовал боль от удара плечом о бревно да сотрясение, когда ноги мои, скользнув по чему-то мягкому, стукнулись о мерзлую землю; от разгону у меня согнулись колени, и я ударился еще с размаху головой об острую льдину. Оглушенный ударом, я присел, потеряв на время сознание... а потом, и пришедши в себя, не мог сдвинуться с места от сильной головной боли. Ко мне донеслись еще отзвуки двух-трех удалявшихся выстрелов, но я не мог ответить на них, так как при падении выронил винтовку из рук. Вскоре выстрелы смолкли, а вместе с ними угасла и надежда на мое освобождение.

Мало-помалу стали улегаться в моей голове шум и звон, и я попробовал доведаться, хотя ощупью, куда провалился. Пошарив руками направо и налево, я понял, что стенки моей темницы замыкались кругом и что она была не что иное, как яма; это подтверждало и круглое

отверстие вверху, сквозь которое виднелось темным пятном небо.

Я всмотрелся снова в висевшее надо мной горло ямы; оно было не высоко и отстояло от дна сажени на две, не больше, но яма была вырыта по типу пашенных ям — воронкой, опрокинутой широким основанием вниз: вылезть из нее самому, без посторонней помощи, было невозможно.

Разбитый, уставший до изнеможения, я тупо подчинился судьбе и был рад по крайней мере покою. Всматриваясь через дыру в небо, я заметил на нем трепетавшую бледными лучами звездочку,— она точно смигивала на меня слезинки. Мне стало невыносимо горько и больно: вот он наступил святой вечер, но где я его встречаю? В яме, в могиле!

«Да, в могиле,— путались у меня мысли,— заживо погребен: отсюда выхода нет! Разве возможно меня найти в безбрежном бору, среди непролазных трущоб, да еще в скрытой, глубокой яме? Даже для чуда это невозможно; значит, крышка: жизнь оборвана, и так нелепо! Впрочем, что ж, коли сердце раздавлено, то я, быть может, и сам пришел бы к такому решению, а тут судьба,— старался я найти умиротворение в философии, но вывод все-таки возмущал меня.— Нет, зачем я на себя лгу? Неужели в одном только личном счастье заключается весь смысл жизни? Есть высшие интересы: низменные, животные инстинкты падут, а за альтруизмом будет победа! Общественное счастье выше единичного, да и последнему оно придает большую прочность и силу. Разве я не мечтал потрудиться для блага моего народа, для правды? И неужели я мог бы быть настолько узок, что устранил бы себя из жизни ради малодушия? Нет, я бы этого не сделал, а вот глупая случайность распорядилась, и я вычеркнут из списка живых! Да еще приговорен к такой ужасной казни — к голодной смерти! Бррр!..— холодная дрожь пробежала по моему телу, и я съежился.— Впрочем,— мелькнула у меня мысль,— холод спасет меня от мучений голода, а замерзать не страшно, а даже, говорят, приятно».

Мороз между тем крепчал и начинал иглами проникать в мое тело. Я выехал на охоту в коротенькой легкой бекеше и в мягких валенках, прикрывшись в санях еще теплой шинелью. Ходить по лесу в одной бекеше было

тепло и удобно, но при неподвижном положении на мерзлой земле она не представляла никакой защиты от холода.

Я согнулся калачиком, засунул за обшлага руки и поджал под себя ноги; плечо и крестец начинали у меня коченеть, но вообще я чувствовал только усталость и позыв к дремоте, ко сну. Мысли мои приняли более спокойное течение, но все же вертелись около уютной столовой, освещенной восковыми свечами, с покрытым белоснежной скатертью столом, уставленным блестящей посудой. Они там уже, вероятно, в тепле и в ярком свете сидят с комфортом за вечерею, а я здесь в мраке и холоде корчусь и поистине справляю голодную кутью. Но нет, и там ее расстроила потеря меня в лесу: проискав меня до глубокой ночи, они, конечно, возвратились домой в надежде, что я украдкой поспешил вернуться туда раньше всех... Но потом, приехавши, всполошились уже окончательно... Тетка? Она, пожалуй, отнесется к этому равнодушно, даже станет успокаивать всех, что я вне опасности, чтобы не нарушать своего праздничного настроения, но Рона, моя светлая радость, закатившаяся теперь для меня зиронька? О, она, во всяком случае, разливается потоками слез, да и дядя... даже гости должны быть смущены и ужасным случаем, и горем семьи... Конечно, вечеряют, но не весело, а как на похоронах... А может быть, дядя и к столу не приближался, а снарядил десяток верховых с фонарями и снова вернулся в лес, на всю ночь... тогда и гости... Но где им меня разыскать? Пуща неисходима, яма глубока, а крещенская ночь бесконечна. Нет, конец, конец! Прощайте, милые, дорогие мои: вас больше не увижу!

Теплая волна медленно колыхала мне грудь, остывая постепенно и успокаивая холодом нервы; мне хотелось немного забыться и вытянуться... Что-то давнее, далекое шевельнулось в душе... Что это? Детская комната... да, она самая! Я лежу в кроватке, а вытянуться трудно... тесно и душно! Я отбросил одеяло, но заботливая рука прикрывает меня снова и крестит... Кто-то наклонился... я слышу теплое дыхание... открываю глаза: боже, это мама! Это ее любящие глаза; они смотрят в самую душу...

— Мама, дорогая моя! Как давно тебя я не видел! — вскрикиваю я радостно, обвивая ее шею руками.

— Нет, я всегда с тобой, дорогое дитя, только меня ты не видишь,— и она застонала, припавши к моей груди; ее слезы стали огнем меня жечь... и я от боли проснулся...

Та же мрачная яма. Мороз жжет. Какая-то яркая звезда глядит на меня с высоты неба. Мне чудится, что кто-то действительно стонет. Что-то тяжело дышит: или это у меня галлюцинация слуха, или это далекий шум долетает в мою могилу слабым шорохом? Я задвигал руками и крикнул что есть мочи:

— Го-го-го-го!

На мой крик что-то зашевелилось близко и прорычало здесь же, в яме, рядом со мной... Я занемел... протягиваю вперед осторожно руки и нащупываю мохнатое чудище... Боже! Спаси меня! Кто мне товарищ по заключению? Неужели?! Слепой ужас заглянул мне в глаза...

Со смертью от холода я был примирен; он меня уже и держал в своих леденящих объятиях... Но быть растерзанным — это лишняя пытка! Такой конец, хотя и скорый, был бы, во всяком случае, слишком жесток!

Все во мне содрогалось, и я инстинктивно жался к стене, но отодвинуться назад было некуда. Я вспомнил, что у меня лежала в кармане бекеши коробка восковых спичек, и мне смертельно захотелось удостовериться, кто именно попался со мной в западню? Огонь вспыхнул и осветил лохматую бурую массу, вытянувшуюся под противоположной стенкой: это был огромный медведь, кажется, тот самый, по которому я стрелял. Морда его лежала боком на лапе; глаза, обращенные ко мне, сверкали диким огнем, но в нем искрилась не злоба, а скорее страх и страдание; открывши пасть, зверь дышал тяжело, с каким-то хрипением; темный, запекшийся язык лежал, свесившись, у него на клыках... Все это я заметил в несколько мгновений, пока горела спичка, не упустив из виду даже того, что огонь страшно раздражал зверя: он конвульсивно вздрагивал, жмурил глаза и начинал сердито рычать...

Я задул огонь и стал ждать, но темнота и жуткость от такого соседства раздражали меня, и мне захотелось рассмотреть получше своего соузника и угадать его намерения; я во второй раз зажег спичку; теперь я обратил внимание на другую переднюю лапу зверя: она была неестественно приподнята вверх и торчала,— очевидно,

при падении лапа была вывихнута,— а под ней весь бок у медведя был залит полосой сгустившейся и замерзшей комками на шерсти крови: она сочилась из раны, черневшей в боку...

«Это мой выстрел! Это от моей руки рана!» — мелькнуло у меня в уме; но, боже, какая разница была бы во впечатлении, если б я произнес эту фразу в лесу! Там она бы звучала гордым криком победы, хвастовством удали... а здесь, при виде моей жертвы, обреченной на совместную смерть, сердце у меня содрогнулось от жалости и от раскаяния в моем поступке, неотразимый укор стал судьею моим на рубеже жизни...

«Что мне сделал этот медведь? За что я нанес ему столько страданий? Что руководило моей рукой? — ставил я себе обвинительные пункты.— Праздная потеха, игра в ощущения, страсть к спорту, к борьбе? Но какая же это борьба вооруженного винтовкой с безоружным, полусонным и убегающим? О, эти инстинкты жестокости, унаследованные нами с каменного периода, и человек зверее всякого зверя!»

Совесть начинала меня больше и больше терзать, чувство сострадания язвило мне сердце, и если б не этот мороз, леденивший все ощущения, то я, вероятно б, заплакал... А холод пронимал меня насквозь: я коченел и, к несчастью, еще ощущал это: мне казалось, что внутри у меня все покрывается снежным налетом и само сердце превращается в льдинку; ни рук, ни ног я уже не чувствовал, голову мне сжимало до боли... но мозг еще работал. Если я попал в западню-яму, то на рассвете должен же явиться за своей добычей хозяин... Значит, если я переживу ночь... И мне вдруг так захотелось жить, что от этого безумного желания даже кровь заиграла и воскресила уснувшую было энергию.

— Тепла, хоть немного тепла пошли мне, всевышний! — воскликнул я в порыве отчаяния.

И вдруг сверкнула у меня мысль, что тепло под рукой: медведь!

«Как медведь? — запротестовал я мысленно.— Сраженный мной должен отогреть палача своим последним дыханием? О, это было бы для меня страшной карой! Нет, не ему мне, а мне ему нужно отдать свою жизнь, чтоб облегчить хоть минуту страданий!» И я вспомнил о вывихнутой лапе: ведь боль при вывихе нестерпима...

А что, если попробовать помочь ему? Если зверь инстинктивно почует во мне врага, то снимет мне череп — и квит! Я подумал, взвесил безотрадное свое положение и решился...

Из нескольких восковых спичек я слепил и скрутил импровизированную свечу и воткнул ее в стенку, а потом зажег еще одну спичку, чтоб бросить взгляд на пациента перед операцией. Медведь лежал в той же позе и слабо стонал; бока у него высоко вздымались, но глаза уже были закрыты, и свет теперь не раздражал их. Мне казалось, что зверь находится при последнем издыхании, и это ободряло мое безумие. Я зажег свечку и подполз к медведю: я искал сильных ощущений, чтоб переломить тупой ужас отчаяния... Сначала я провел осторожно по спине зверя рукой: он вздрогнул и задержал на время дыхание, но, увидя, что я ему не причиняю страданий, успокоился и стал по-прежнему тяжело, но ровно дышать... Ощупав больную лапу, я убедился, что она даже не вполне вывихнута, а только сдвинута немного с чашечки... Призвав все свое мужество, я попробовал осторожно вдвинуть кость в свое гнездо. Но едва я слегка нажал, как зверь бешено заревел и конвульсивно подпрыгнул от боли; конечно, он должен бы был меня растерзать, но передними лапами зверь не владел, а головы поднять не мог в смертельном бессилии... Однако порывистым, конвульсивным движением он помог делу: головка бедровой кости с хрустом вскочила в свое гнездо, и лапа стала подвижной; зверь, по-видимому, сразу почувствовал облегчение, так как рев его перешел в тихий, жалостный стон. Я лапу его стал потихоньку сгибать и бережно уложил возле морды... и вдруг я ощутил... да, ощутил, что зверь два раза лизнул мою руку, ту руку, которая нанесла ему смертельный удар. Потом я объяснил себе это обстоятельство тем, что, укладывая лапу, я сам дотронулся, вероятно, рукой до висевшего языка, но тогда, в тот момент, у меня не было на этот счет никакого сомнения, и лобзание жертвы полоснуло ножом меня по сердцу... Я крикнул: «Прости меня, прости!» —и припал с глухим стоном к умирающему зверю...

Я долго так пролежал. Животная теплота и мех стали согревать мое тело; их благотворное влияние подняло в моем организме жизненные инстинкты, и я незаметно стал примащиваться к медведю, стараясь протянуться

вдоль и подлезть под него самого. Помнится, что все эти манипуляции проделывал я почти бессознательно, не ощущая уже ни малейшего страха... Только через некоторое время, отогревшись под двойной шубой, я почувствовал какую-то сладостную истому... и вдруг эта яма исчезла...

Я сижу у печки. Посреди залы стоит и сверкает хрусталем стол; но ничего еще нет... В зале полумрак; только в углу перед иконой теплится синяя лампадка; там же на косынчике стоят в сене две вазы — кутья и узвар; на кутье сверху водружен небольшой крестик из воску. У меня на душе тяжело; беспощадная тоска надавила, гложет грудь; моя зиронька завтра же уезжает за границу, надолго, может быть, навсегда, гнездится в голове моей дума,— сегодня последний вечер вместе... Конечно, мать не допустит сказать нам друг другу и двух искренних слов. Но что это? Она, моя квитонька, счастье мое — впорхнула и села рядом со мной... Сердце у меня загорелось... захватилось дыхание.

— Я на минутку,— уронила она мелодическим голосом, словно пропела.— Слушай, я хотела тебе давно сказать,— заторопилась она, глядя на меня ясно и нежно,— давно хотела сказать, что я люблю тебя, дорогой мой, милый, люблю, как никого на свете! — и она обняла меня и поцеловала.

— Ангел небесный! Рай мой! — воскликнул я, охваченный приливом неземного блаженства.— Ты — моя жизнь, моя молитва!

— Стой,— прервала Рона,— я знала, что ты меня любишь; но знай и ты, что где бы я ни была, ты всюду будешь со мной. Недобрая мама... бог ей прости!.. Но тебя у меня не отнимет! — и она снова поцеловала меня и убежала.

Отворилась одна дверь и другая. В залу вносят свечи. Дядя и тетя чинно занимают места. Входят попарно гости и молчаливо садятся за стол. Начинается святая вечеря. Лакеи медленно, словно сонные, разносят кушанья... Время тянется томительно долго; от одного блюда до другого проходят часы — а ее нет! Я не отрываю глаз от запертой двери: мне кажется, что моя зирочка должна явиться перед кутьей. Еще миг — и распахнулась действительно дверь, а на пороге появилась Рона, в белом подвенечном платье, очаровательная, как первая улыбка

весны. Рона торжественно приближается и садится рядом со мной. Все гости обращают взоры на нас... Дядя провозглашает заздравицу за жениха и невесту, я задыхаюсь от счастья... Но тетка ударяет по столу кулаком... От удара гаснут свечи, накреняется пол, и все столы с посудой и гостями наваливаются на меня и давят, душат своей ужасающей тяжестью... Грудь моя раздавлена... дыхание остановилось... смерть! Я сделал последнее усилие и... проснулся.

Медведь всей своей тяжестью лежал на мне, и я с трудом мог выкарабкаться из-под него и отдышаться; в предсмертных конвульсиях он, вероятно, на меня навалился. Я встал на ноги и оглянулся: зверь был уже мертв, а в верхнее отверстие смотрело юное утро. Яма моя наполнилась переливами голубого с розовыми оттенками света. Утренний мороз пощипывал резко, но мне он был даже приятен: я не только отогрелся под моим благодетелем, но даже распарился, и теперь усиленными движениями стал разминать свои члены; на душе у меня становилось светлей и светлей...

Я взглянул на бедного медведя и заметил за спиной его что-то блестящее... нагнулся и вскрикнул от радости: то была моя винтовка! Она упала вместе со мною в яму и завалилась за спину медведя. Теперь уже была в руках у меня надежда на спасение, и я, прижавши винтовку к груди, взглянул на лазурное небо с таким порывом благодарной души, какой не повторяется в жизни.

Вскоре послышался отдаленный выстрел. У меня дрогнуло сердце, но я выждал второй, раздавшийся ближе; поднявши высоко над головой ружье, я выстрелил из двух стволов в самое отверстие. Мои выстрелы были услышаны — и началась ружейная перекличка. Мои спасители быстро приближались, но вблизи запутались, и никому не приходило в голову искать меня под землей, а на поверхности меня не было видно; крики же мои из ямы не долетали...

На счастье, среди искавших меня был и лесной сторож, которому принадлежала эта западня-яма; он заодно зашел взглянуть, не попалась ли за ночь добыча — и открыл меня.

На его крики «Го-го! Бывай!» стали остальные сходиться, а сторож, не дожидая их, притащил лесенку (она тут же у него и хранилась), и я по ней вылез на свет

божий. Не успел я и оправиться, как подоспел, запыхавшись, дядя и, прижав меня к своей груди, стал горячо целовать.

— Да, меня спасло только чудо,— вздохнул я.

— Бедная Роночка чуть не умерла... Вон они! Гей, сюда, сюда! — стал он кричать и махать шапкой на сани, в которых сидела моя тетя с дочерью.

Когда я двинулся к ним, то Рона, завидя меня, сорвалась с саней, как помешанная, и бросилась с истерическими воплями ко мне на грудь.

Тетка попробовала было образумить свою дочь, но дядя прикрикнул на нее по-военному:

— Оставьте, матушка, вашу дурь! Разве не видите, что они друг без друга не могут жить. В гробу, что ли, вам желалось бы видеть свою дочь? Так опомнитесь! Баста!!— и дядя поднял властно и торжественно голос:— Всем объявляю я, что это жених и невеста!

Тетя смирилась. Мы, опьяневшие от счастья, бросились обнимать дядю-отца и целовать руки матери-тетке.

Вскоре после праздников была наша и свадьба.

Шкура моей жертвы, моего спасителя, висит и теперь на стене под образами в нашей спальне, но с тех пор я не подымаю на творение божье руки...

ГОРЬКАЯ ПРАВДА

Под лазоревым небом Подолии раскинулась пышная осень; брызнула она золотом на темные грабовые леса, заткала нежными серебристыми нитями бархат отав, покрыла бронзой высокие тополи, одела в пурпур виноградники, залегшие каймой у подножия скал, уставила разноцветными стогами крестьянские токи у кокетливых хат и обошла лишь одну, спрятавшую свое убожество далеко от подруг, за камнем, на склоне горы, у опушки вырубленного леса.

Прежде эта халупа была нарядной хатой лесника и ее окружали хорошие хозяйские постройки; но помещик лес продал, лесник Гудзь умер, а вдова его Устя, лишенная жалованья, с малолетним сыном Харьком не могла уже поддержать и сохранить усадьбу: хата сгорбилась, покосилась, сложенные из камней оборы обвалились, холодные постройки разнесены были по бревну...

Впрочем, хата внутри и теперь была выбелена чисто и подведена внизу красной каймой, а доливка * ее, убитая щебнем и глиной, даже нарядно желтела. Согнутый сволок поддерживался посредине деревянным столбом; широкие берестовые лавы покрыты были хотя и старыми, но чистыми веретами; в красном углу, выклеенном двумя полосами шпалер, висели почерневшие образа; там же стоял и стол, покрытый белой скатертью, а за ним ближе к глухой стене помещался ткацкий станок — верстак. У самой же глухой стены с небольшим лишь окошечком вплоть до самой печи прилажен был пол — род нар.

Несмотря на яркий день, в хате царил полумрак; сквозь небольшие, вросшие почти в землю и закрытые

---

* Пол. *(Прим. автора).*

стеблями бурьяна окна проникало мало света. В приподнятые рамы струился в светлицу душно-влажный воздух, пропитанный запахом гнилых листьев; но несмотря на согретые солнцем струи, тянуло из углов хаты затхлой сыростью...

На полу были постланы и накрыты серым рядном два кожуха; на этой постели лежал обложенный подушками, в забытьи, молодой, но исхудавший до невозможности парубок. В чертах его лица, обостренных худобой, виднелись следы красоты и некоторой доли облагороженности,— только нижний овал его был несколько груб; смело взмахнутые брови теперь резко чернели на бледно-пепельном лбу, темные волосы беспорядочными космами лежали на подушке, из глубоких орбит сомкнутых глаз вырезывались бахромой дуги ресниц и бросали на желтые, втянутые щеки больного широкие тени; едва заметная складка между бровей придавала лицу его холодное, равнодушное выражение.

Кроме больного, в хате находились еще женщины: одна, средних лет, с повязанной платком головой, сидела на полу, у изголовья больного, и по временам прикладывала руку то к голове его, то к вискам, а другая, постарше, худенькая, с сморщенным темным лицом, в грубой сорочке, вышитой черной заполочью, да в самотканой джерге, сидела на скамеечке у его ног, склонив безнадежно голову; во всей согбенной фигуре и в выражении глаз старухи сказывалось столько горя, столько мучительной, беспощадной тоски, сколько могут дать на земле бедность, приниженность да горькая сиротская доля... Повязанная платком, очевидно, знахарка, продолжала важным методическим голосом излагать худенькой старухе результат своих исследований.

— Нет, кости у него целы, а нутро все попечено... перетлело... Прибегает это ко мне ваша Ликера, голосит, бьет себя в грудь: зализныця, мол, пришибла Харька, тобто вашего сына... замертво, говорит, привезли... а оно, выходит, не зализныця, а просто огневица.

— Будет жить? — спросила хриплым, надтреснутым голосом старуха, мать умирающего.

— Ох, навряд! — покачала головой знахарка.— Не топтать ему уже рясту: и голосники попорчены, и мозок почернел... вон где уже у него душа,— ткнула она пальцем в выдавшийся кадык,— в самой горлянке, на вылете.

— Рятуйте! — завопила и затряслась старуха от бесслезных рыданий.— Одним один, как палец... единая порада и утеха. Господи, прибери лучше меня, а продли ему дни! Ой, тяжко сироте расти меж чужими людьми, а старому-то остаться сиротой так уж так тяжко, что не вымолвишь!.. Спасите дытыну, пани знахарко, отходите моего сокола ясного — ничего не пожалую: ни хаты, ни злыднив, ни моей жизни ненужной... Ой, на бога! — заломила руки старуха и готова была упасть перед знахаркой на колени.

Знахарку, видимо, тронуло отчаяние матери; она подхватила старуху и, усадив на скамеечку, стала утешать ее.

— Еще нечего тужить загоди: на бога надия! Бог все может... у него все готово. Ну, и я не сложу рук... Вот Ликера прикатит шаплык, нагреете воды, и сделаем ему купель: первое, хворого нужно попарить, добре попарить; потом следует надеть на него пазухой на спину сорочку и напиться дать материнки: може, с потом оно хворобу и вытянет. А то можно будет еще и горшок на живот вскинуть,— тоже добре потянет. А коли он хотя мало придет в себя, в те поры нужно будет его посадить и встряхнуть раза три, чтоб душа пониже опала: тогда уже все станет гаразд.

Старуха несколько успокоилась. Знахарка, положив руку на голову ее сына, начала что-то шептать и по три раза сплевывать в сторону. Вдруг в хате раздался пронзительный крик, и больной, сорвавшись с постели, ринулся прямо в красный угол, к окну. Это случилось так неожиданно, что бабы опешили и, растерявшись, не знали, что предпринять.

— Геть, iдоле! Не зазирай своїми гадючими очима менi в душу, не мигочи отрутним жалом! — захрипел он глухим, клекочущим голосом, звучавшим глубоко где-то в груди, и повел вокруг хаты безумными мутными глазами с поблекшим зрачком; потом он уставился в одну точку, принял театральную позу, и, подняв грозно правую руку, заговорил едким, укоряющим тоном: — Ты выпил уже мою кровь... Чего же ты хочешь еще? Чего тебе нужно? Слез моих... а? Были... а теперь высушил их огонь... да, огонь, что горит здесь,— ударил он себя в грудь кулаком,— палит и горло, и грудь.

Он рванул за ворот сорочку, с обнаженной грудью

двинулся было к верстаку, но пошатнулся и чуть не упал, ухватившись инстинктивно за угол стола.

— Маты божа! Что с ним? — опомнилась наконец Устя и бросилась к своему сыну, за ней поспешила и знахарка.

— Огневица помутила, знать, розум... нужно уложить,— и они обе взяли исступленного Харька под руки и хотели было подвесть к постели, но больной с невероятной силой потянул их обеих [к] верстаку.

— Не могу я! Йосып Степанович, видит бог, не могу,— заговорил он снова с горячечной быстротой, захлебываясь и задыхаясь.— Хоть годынку отдыху дайте — подорвался вконец! Гей, сюда, сюда... Кто там? Сундуки навалились... Ой, мочи нет! Самовара не успею... а мне еще два выхода... Га? Жалованье? Ха-ха! Какие там это гроши — пятнадцать карбованцев? На харчи не хватает! Ваши-то харчи вышли недоедками... помоями с тарелок, что и собака б не ела... а что языком звонили? Го-го! Казав пан: кожух дам, та й слово його тепле! Ха-ха-ха-ха! — засмеялся он дико, выпячивая грудь и опрокидывая назад голову, и посинел даже от захвата дыхания.

— Вы его, господыне, поддержите отак под руки,— обратилась тревожно знахарка к Усте,— а я захвачу кухоль воды, а то захлебнется.

Устя обняла одной рукой костлявый стан своего сына, а другой прижала его горячую голову к своей мокрой щеке и стала засматривать в его тусклые очи, нашептывая давящим, всхлипывающим голосом:

— Глянь же на меня, Харьку, глянь же, мой орле! Ужели не узнаешь своей неньки? Я ж твоя бесталанная мама... Сирота-старуха! Узнай же меня... да промолви хоть единое теплое слово, дитя мое, зневаженное лихими людьми, запропащенное ни за що!

Больной вслушивался в тягучий голос старухи, и последний словно пробуждал в его воспаленном мозгу какое-то смутное воспоминание; нервная дрожь пробегала по его телу, голова тряслась и вытягивалась вперед, словно он вслушаться хотел в неуловимые, улетающие звуки. Знахарка поднесла к его запекшимся устам кухоль воды; с жадностью отхлебнул он несколько глотков и стал понемногу успокаиваться; потом, обернувшись к матери, скользнул бесследно взором по дорогим, знакомым чертам и заговорил снова, только протяжно и тихо:

— Годи! Час пошабашить: уже череда потянула к селу... коровы мычат... Как ты славно поскладала копны, Ликера, точно пышные панны выстроились рядками в золотистых уборах... Натомилась? Нет? Со мной работать так весело, что и устали уже не чуешь? Правда, правда, моя любая, и мне так весело, что аж звенит и смеется что-то в груди. Как солнышко ясно заходит! Переливается, словно большая капля крови... а ручеек журчит и играет искрами, словно намистом, вот как я твоим... А чуешь, как все притихло: и ветерок упал, и пташки смолкли, спать умостились, а вот реченька Дерло целую ночь не заснет, а все будет ворковать да ластиться волной к корням вербы.

— Сыне мой, дытыно моя родная! Кто подкосил тебя? Кто у нас счастье ограбил? — причитала старуха, давясь слезами.— Что с ним, голубонько? — обратилась она к знахарке.— Христа ради, пособите!

— Что-то в мозгу завелось,— развела знахарка руками,— только вы не катуйте себя, паниматко, это к лучшему, что божеволиет... все же по крайности говорит... а если говорит, то поговорит-поговорит и перестанет... А то горше, коли мертвым трупом лежит... Только вот постарайтесь его уложить: рушник намочим в холодной воде и положим на голову.

И мать, и знахарка снова стали тянуть незаметно к постели Харька; но он упирался и отступал все к столу.

— Ах, сколько света... гляньте! — заговорил снова с восторженной улыбкой больной, разводя руками и освобождаясь от своих спутниц.— Куда оком не кинь — все блестит, всюду пышное панство... а панянки и пани, как мак в огороде... все на меня зорят... плещут. Аж сердце в груди замирает... и страшно, и сладко...

— Ой, стратыв розум! — закричала Устя так, что даже Харько вздрогнул и, наступая на знахарку, заговорил возбужденно и буйно:

— Я пропиваю? Я пьянствую? Если поднесли когда товарищи, так мне уже и очи выбивать тем? Эх, грех вам, Йосып Степанович! Пой, пой на холоде, танцуй, а потом в сорочке под сцену... в льох, а оттуда в толщинке на сцену — в пекло... ну, и хватило за горло, за грудь... Прогоните? Так и след! На что я теперь годен? Кому теперь я потребен? Ногою такого паршивого пса! В потылыцю, в загривок калеку!

Больной схватился рукой за грудь; все его тело затряслось в судорогах, и он закашлялся, захлебываясь и задыхаясь; лицо его побагровело, глаза выкатились, белки обнажились вокруг зрачков, и на нижней губе заалели брызги крови...

— Убили, убили дитя мое! — заголосила старуха, едва удерживая шатавшегося Харька под руки.— Ой, зарезали сокола моего ненаглядного!.. За что? За что? Что мы кому лихое вчинили? Налетел коршун и расшарпал сердце у горлицы, а детей ее меж хижое птаство занес... Ой, занес на смерть, на поталу!

Между тем Харько совсем обессилел и повис на руках женщин; его дотащили до полу и уложили в постель. Знахарка положила ему на голову мокрый рушник, и больной снова впал в бесчувственное состояние.

А мать голосила над ним, как над покойником:

— Господи, на что перевелся! Тень одна. А какой же был красень, что за сила была, что за голос — такого и не чуть! Ох, голос-то этот и погубил его: подбито орлу сизому крыла, и упал он, лежит недвижимо... Кто ж теперь меня доглянет, пригреет, кто утешит в нужде беспомощную?

— Да заспокойтесь, голубочко, еще надия у бога,— утешала ее знахарка.— Расскажите лучше, где это он был, что верзет все такое чудное да непонятное? Какой его пан обидел и тяжкой работой, и жалованьем?

— Ох, моя любая! Нашелся такой обидчик, чтоб ему ни на том, ни этом свете добра не было! — и старуха, отерев рукавом рубахи глаза, уселась у ног своего сына.— Ох, нашелся напастник,— закачала она головой.— Господь попустил,— а все старшина...

— Старшина, кажете?

— Старшина! Он с покойным чоловиком не ладил, бо тот не давал ему шахровать панским лесом, а как я овдовела, так этот пес с лихой души и насел на меня мокрым рядном. Что я могла, одна-одинешенька, с малым лишь хлопцем, супротив его силы? Насчитал за покойным какие-то недоимки, и продали худобу, а дальше, как у меня не было работника, то и надел передали опекуну, его же родичу. Потом уже, когда подрос Харько, то брали мы и земельку наспол, да еще я ткацтвом зимой помогала... Ну, так и перебивались. Приняла я еще сиротку Ликеру в хату и ее тканью выучила... Уж что мне за помощницу

в ней послала пречистая, так и не сдумать! Полюбила я ее, как родное дитя, да и она меня больше матери. С Харьком моим так и росли вкупе, как брат с сестрой, уж так срослися душой, что одно без другого не съест и не спьет, а потом и покохались. Ох, горенько, не судил господь счастья, злые люди разбили его!

Старуха склонила на постель голову и замолчала, словно подавляла ее тяжесть воспоминаний.

Знахарка долго ждала продолжения рассказа, наконец не выдержала и спросила:

— А как же старшина?

— А? Старшина? — словно очнулась старуха.— А вот, когда сын стал доходить своих лет, и рабочий вышел с него лучший на все село, и до грамоты вдатный... школу всю перешел и по розуму первый... а таких старшина ненавидит,— так вот я тогда и задумала отобрать от опекуна наш надел, а детей одружить... Ну, кинулись мы к старшине, а он выщирил зубы: по закону-то отнять надела не смеет, так насчитал снова недоимку и стал ее править: «Уплати, мол, и получай!..» Да мало того: «Как недоимка,— говорит,— на твоем наделе, а сын твой уже здоровый балбес стал, то во всяком разе уплати, а то и верстак твой, и кур твоих выпродам!» Так-то! Думали мы, думали, что чинить, и порешили, чтобы Харько пошел на заработки, на строк куда нанялся, выкупил бы землю, а потом уж всей семьей и стали б хозяйничать... Ох!..— и старуха снова умолкла.

— Ну, и нанялся на строк? — не давала и задуматься ей знахарка.

— Искал службы... да все не находил доброй... Раз ото вечером тчем мы с Ликерой скатерти да ждем с косовицы Харька — запоздал чего-то... Коли он идет уже поночи, да не сам, а с каким-то паном, огрядным таким. Ликера засоромилась, выскочила из хаты, а я тоже ни в сых ни в тых... «Пану, вот, Йосыпу Степановичу подночевать нужно,— говорит сын,— заполевался на наших низах».— «Что ж, мол, милости просим, чем бог послал, тем и витать рады!» — «Спасибо, старушко добрая,— отозвался и пан,— завели,— говорит,— меня сюда не голод да ночь, а голос твоего сына... Как запел он там в поле, так я и рушницу бросил да к нему... Смотрю, говорит, а он как картина: казак не казак, а что твой гетман!» Ей-богу, так уже стал хвалить мою дытыну и

все балакает по-простому, да ласково, улеслыво... Ну, а как матери похвалят ее дытыну, так что с ее сердцем подеется? Забьется оно радостно и согреет душу утехой. Подумала и я, дурная, в ту пору: «А чем же, справди, сын мой не гетман?» Да кланяюсь низко добродию, благодарю его за ласковое слово, и к печи: яичницу ему изжарить да кулиш разогреть, что был припасен у нас на вечерю. Пораюсь я коло печи и чую, как пан подсел к моему сыну да все торочит ему: «Бог дал, мол, тебе целый скарб, голос у тебя редкостный, напрочудо; за такой голос, коли его в науку, большие гроши заплатят; он и тебя, мол, и твою старушку озолотит... Ты,— говорит,— брось землю да глину, а иди ко мне собирать золото: грех, говорит, и от бога такой талан закапывать в смитнык!» — «Куда же,— отозвалась и я,— куда, паночку, хотите вы запроторить мое дитя? Ведь оно одно у меня, как солнце на небе».— «Куда? — говорит.— На стену!» — «На какую такую стену?» Стал он тлумачить мне, что сын мой будет и панов и королёв представлять, ажно страх взял от речей его: понять ничего не понимаю, а очипок сам на голове шевелится... Эх, и вспоминать больно!

— Да нуте-бо, нуте! — понукала знахарка, захваченная любопытством.

— Что же? Подала я яичницу и кулешик; выпил пан из своей фляги горилки, попотчевал и меня, и сына... ест себе за обе щеки да все подмовляет сына, а оно еще молодое, света не видело, лиха не знало, ну, и загорелось. Гляжу я — прирос мой Харько до лавы, глаз с пана не сводит, рот раскрыл... А пан все ему забивает гвоздки в голову: «Твоя,— говорит,— доля не в хуторе преть, а в великих светах пышаться; тебя,— говорит,— и толстые пани, и панночки писаные на руках будут носить, на бархате сажать да на серебре откармливать...» Говорит, говорит, а то еще и на ухо давай нашептывать... Смотрю я — загорелся мой хлопец, в очах искры, грудь подымается...

— Скушение! — усмехнулась знахарка.

— Сатанинское скушение! Сын мой говорит ему, что куда, мол, мне в такие света: ни сказать по-пански, ни ступить не сумею. А тот сатана ему: «Так, мол, балакать будем по-нашему, вот как и тут, а всему прочему я,— говорит,— тебя в два года выучу, и за науку ничего не

возьму, а еще тебе положу добрую пенсию; будешь,— говорит,— петь, представлять, ну, и мне чем-ничем помогать — самовар там, чеботы...» — «Что ж,— отозвался Харько,— коли такая легкая работа, так я рад: все равно хотел на строк ставать, чтоб оплатить недоимки и вырвать надел, чтоб маму заспокоить». Вижу я, что сынок мой на принаду идет, не вытерпела и спрашиваю: «А сколько же ваша милость положит ему?» — «На первый год,— говорит,— сто восемьдесят карбованцев и харчи».

— Сто восемьдесят? — вскрикнула знахарка.— Да такой цены у нас и не чуть! И восемьдесят за редкость.

— Слушайте еще, что дальше, моя любая. «На первый год,— говорит,— сто восемьдесят, на второй год триста карбованцев, на третий шестьсот... а там уже пойдет и тысячи по три в год...»

— Ой лышенько!

— Так, так! Голова у меня закружилась... такая пустая работа и столько грошей. Думаю себе: как же такого счастья зректысь? Да и спрашиваю, не шутит ли пан, не дурачит ли нас, темных? Уставилась это на него очами, пронять хочу, чтоб зазырнуть в его душу. А пан ничего, усмехается ласково; оседлал нос какими-то мудреными окулярами и говорит: «Не шучу я, старушко божья, не жартую, и готов хоч сейчас в волости заключить такое условие».

— Так, значит, правда?

— Так и я подумала, да как подумала, так у меня и захололо внутри, что, мол, завезут мою дытыну за тридевять земель. Захотела я еще посоветоваться с старыми людьми и вышла из хаты. Коли чую, в сенях кто-то плачет, да так ревно, да жалостно... «Ликеро, ты это?» — спрашиваю. А она ко мне прямо на грудь, да как зарыдает... «Не тужи,— говорю,— еще кто его знает».— «Ой, матусю,— всхлипывает,— завезут его на край света и погубят!» — «Господь, мол, с тобою: ведь если пан не брешет, так богачом его сделает — и тебе и мне будет счастье!» — «Не будет нам счастья, не будет! — аж захлебывается.— Да если паном он станет, то нас зацурает... Куда мне и думать тогда! Его панночки на руках будут носить...» И забилась она у меня на груди, как подбитая горлица... Обняла я ее, целую, утешаю, а сама думаю: «Правда, что нам с тобой не будет утехи, а ему,

как ни кинь,— счастье!..» А для матери, сердце, лишь бы дытыне счастье, а сама она и думкою про его счастье будет счастлива.

— Ох, правда, правда,— вздохнула сочувственно знахарка и переменила рушник на голове больного.— Словно бы спадать стала горячка,— заметила она радостно Усте.

Та только подняла глаза к образам и сжала у груди своей руки.

— Что же дальше? — стала вновь допрашивать после небольшой паузы знахарка.

— Побежала я ото по селу посоветоваться,— как-то неохотно и с подавленной болью продолжала старуха.— «Что ж,— говорят,— коли бумагу в волости даст за такую цену, так ты, баба, только крестись да богу молись!» Иду я себе домой и думок не соберу — гудут в голове, что шмели, а ни одной не поймаешь: и сердце за сыном щемит, и жалко отнимать от него счастье, и страшно самой с Ликерой заплесневеть в пустке...

Вошла я в сени, как в темную яму: ночь уже везде черною хмарою стлалась, только щелки кругом двери светились и свет лежал на личку у Ликеры. Взяла я ее за руку: «Пойдем,— говорю,— в хату»,— и таки втянула в двери. «Что ж, сынку,— промолвила я,— а как же ты эту несчастную дивчину кинешь?» Глянул он на Ликеру, схватился, словно кто его облил окропом, и к дивчине, да почервонел и засоромился... Глянул и пан на Ликеру, накинул на нос окуляры, да и говорит, усмехается: «Ге-ге! Вон оно что: коханка?» — «Невеста,— поправила я,— на тот год и одружиться мают».— «Что ж,— смеется,— боже благослови! Ловкая дивчинка, как тополенька, а с личика хоть воды напейся. Э, хлопче, губа-то у тебя не дура! Что же, на тот год прибудем и весилля справим, аж небу будет душно... Я и посаженым батьком буду». Бигме, шутит все да забивает паморэки приговорками да жартами! «Э, не плачь же, дивчино, да усмехнись, чтоб тебя гуска вбрыкнула, да вот возьми от посаженого на намисто себе». Вынул из гаманца он зеленую бумажку и сучит ей в руки; та не хочет брать, а он ей насильно за пазуху... Уже и я вмешалась: «Возьми, мол, коли пан будет батьком». А он и меня по плечу ласково: «Эх,— говорит,— старушка, не сумлевайся: и бумагу в волости сделаю, и тебе сверх цены четвертную дам. Вот через

год повенчаем их, и как пойдет ему лучшая пенсия, так он обоих вас заберет... Свет увидите, на роскошах отдохнете, на него не нарадуетесь...» Да как завел, как завел, словно бы дурманом нас окуривает.

Больной застонал, и какие-то конвульсии пробежали по его телу... Рушник упал с головы. Устя и знахарка сорвались с места, но спустя две-три минуты грудь его, начавшая было судорожно и бурно вздыматься, стала вновь почти неподвижной, тело тоже вытянулось пластом. Знахарка положила свежее полотенце на голову и, прислушавшись к груди и к полуоткрытому рту, шепнула в ответ на перепуганный взгляд матери:

— Дышит!

Устя не сводила глаз с своего сына; в выражении их и всего ее лица отражалась неодолимая мука, импонировавшая и знахарке: как ни жгло ту любопытство, но она не решалась нарушить это молчание горя и сама смирялась перед веянием смерти, носившейся в хате.

— По-моему, хворому лучше,— промолвила она после долгого молчания, желая отвлечь Устю от отчаянных дум и завязать интересный разговор снова.

— Отчего ж лучше? — уронила тихо и печально старуха, не отрывая глаз от своего сына.

— Не так пашит, словно бы спадает горячка.

— А лежит мертвец мертвецом... Очей не закрыл... Ой, боже мой!

— Это всегда так... Из сил выбила огневица, ну, и не может... А вот полежит тихо... да отпочинет, а мы его в купель. Э, у меня, паниматко, есть надия теперь...

— Господи, заступи и помилуй! — вырвался у старухи вопль, и она опустилась на колени.

— И помилует, только не отчаивайтесь, паниматко... сразу не встанет, а вам для него ж нужно беречь себя. Думайте и говорите про что другое... Ей-богу, лучше!

Устя снова села и повернулась лицом к знахарке: по-видимому, слова последней подбодрили ее.

— Да вот хоть скажите,— подступала хитро знахарка к интересовавшему ее эпизоду,— дал ли тот пан вам четвертную и сделал ли условие в волости?

— И четвертную дал, и условие,— ответила неохотно и односложно старуха.

— И увез зараз вашего сына?

— На другой день... Я побивалась... На Ликере лица не было; чуяло ее сердце, что прощается навеки... И сын было хотел назад... и я гроши вертала, да пан уперся... ну, и завез... Я боялась долго, что Ликера наложит на себя руки... Ой, запала с той поры в хату нудьга, разляглась туга... а слез сколько вылилось... так не знаю уже, где они теперь и берутся.

— Ну, а писал же сын? Высылал гроши?

— Обещал по десяти карбованцев высылать в месяц... да трудно было... высылал по пяти...

— Скажите, работа трудная, стало быть... И чему ж учил его пан?

Старуха поникла головой и молчала.

— На что, говорю, муштровал? — повторила настойчиво свой вопрос знахарка.

— Ох,— вздохнула тяжело Устя,— доведались после... и не спрашивайте!

— До чего ж пан приставил Харька? — не унималась знахарка, сгорая еще больше от любопытства, по мере того как Устя тяготилась рассказывать об этом.

— Старшина меня потом призывал,— начала оживленнее Устя, желая перевести разговор на другое.— «Ты,— говорит,— большие теперь получаешь гроши, так плати недоимку!» — «Бога бойтесь,— говорю я,— какие там гроши? Да коли опекун надбал недоимку, то пусть он и платит, а мы и макового зернятка с этой земли не имели... Хай он платит, хоть ваш и родич!» А старшина как затопает ногами: «Языка не распускай,— кричит,— ваш надел, ваш и грех! Твой сынок не откаснулся ведь от надела,— ну, и плати! Он там, мол, горилку лыгает да горящее клоччя глотает, а общество за лодаря отвечай!.. Нет, с тебя сдеру, лохмотья твои все продам, оставлю,— кричит,— только подушку да образа!» — «Сдерите,— говорю,— лучше последнюю шкуру мою себе на чеботы».— «И до шкуры,— сычит,— доберусь до твоей, а найпаче до шкуры твоего паршука безсоромного...»

— От каторжный,— заметила сочувственно знахарка.— Нуте, нуте, так чем же, выходит, Харько был?

Старуха молчала.

— Мне это нужно, чтоб знать лучше хворобу,— подчеркнула знахарка.— Так чем же сын был?

— Кумедиянщиком,— проговорила с усилием едва слышно старуха.

— Кумедиянщиком?..— всплеснула руками знахарка.— Так, значит, и тот пан был...

— Над кумедиянщиками кумедиянщик...

— Ну, и писал сын, как и что?

Долго молчала старуха, наконец с видимой болью произнесла, отрывая слова:

— Сначала часто... а потом реже... а дали... с год... перестал... Сколько было горя! — словно простонала она и припала к ногам своего сына.

В хате стало тихо, как в могиле. Только муха где-то уныло жужжала и билась в сетях паука.

Время шло. Вдруг больной приподнялся, конвульсивно повел головой и, взмахнув руками, рухнулся вновь на подушку. Мать и знахарка к нему бросились, но он уже спокойно, неподвижно лежал с открытыми глазами, не видя и не чувствуя, как склонилось над ним дорогое, искаженное мукой лицо.

Неслышно отворилась дверь, и появившаяся на пороге Ликера объявила, что шаплык стоит уже в сенях.

— Вот и гаразд,— засуетилась знахарка,— хворый успокоился, заснул, а ему скорее приготовим купель, так он и очнется; пусть дивчина посидит тут, посторожит, а мы, паниматко, пойдем с вами готовить окроп: нужно, нужно проветриться, силы-то ваши и для него пригодятся.

Безмолвно поднялась Устя, перекрестила сына и, как приговоренная к смерти, вышла из хаты.

Вошла Ликера, придерживая рукой фартук, и остановилась у столба; час тому назад она видела на этом самом полу бесчувственно лежавшего своего нежно любимого друга и присмотрелась уже было к этому изможденному лицу, таившему в холодном выражении какой-то бессильный упрек, но теперь оно показалось ей еще мертвее, еще ужаснее. Косые лучи заходившего солнца падали алым пятном на стену и, отражаясь от нее, обливали розовым отблеском лицо лежавшего навзничь Харька, но эти лучи не только не оживляли тона лица, а, напротив, придавали ему зеленый оттенок; вырезавшийся отчетливо профиль с резкими тенями на виске, на впадинах щеки и глаза с стекловидным белком, полуоткрытый рот, обнаживший верхние зубы до оскалины,— все это придавало голове Харька вид недотлевшего черепа. Ликера взглянула на этот потрясающий образ, и ужас оцепенил ее холодом, раскрыв широко ей

глаза; она схватилась руками за голову, отшатнулась назад и оперлась об столб. Не будь его, она бы, наверно, упала. При этом движении фартук развернулся и из него посыпались к ее ногам цветы — гвоздики, оксамытки, зирочки, васильки да зеленые листья канупера и любистка. Стройная, несколько худая фигура девушки с приподнятыми руками, с опрокинутой назад головой, освещенная с тылу заревом заката, была в это мгновение, среди груды цветов, необычно эффектна: бледное, симпатичное лицо ее от опавших на него прядей черных с вороньим отливом волос выглядело еще бледней; на нем резко выделялись томные, оправленные в черные овалы глаза, казавшиеся на бледном тоне лица непомерно большими. Вся фигура девушки, застывшая в ужасе, напоминала собой статую Ниобеи.

С минуту Ликера стояла словно окаменевшая, но потом она рванулась вперед и припала к Харьку; грудь его была почти неподвижна, но из глубины ее доносились слабые отзвуки неимоверно частых ударов сердца, да и тело было горячо, как огонь. Успокоившись, что больной еще жив, Ликера подошла к образам и упала перед ними ниц в безмолвной мольбе; ни слов, ни мыслей не было в этой молитве, а был в ней один лишь вопль наболевшей души.

Смягчив умиленьем холод души, Ликера сняла с божницы изображение покрова пресвятой богородицы, припала к владычице с глубокой верой устами и, прикоснувшись образком к челу Харька, положила его на сердце больного. Но вдруг вспомнила, что так кладут образа только мертвым, и, торопливо снявши, поставила иконку на соседнее окошечко.

Оглянувшись по хате, Ликера заметила разбросанные на полу цветы и стала подбирать их: любимые Харьком гвоздики и оксамытки она собрала в два горшочка и поставила их у его изголовья; под подушку ему положила любисток, а канупер разбросала перед пóлом, остальные же цветы сложила в букетики и позатыкала их за образа; потом переменила на голове больного компресс, закрыла ему осторожно нежной рукой глаза и, облобызав их, стала оправлять постель и подушки своему суженому. Опорядивши все и подметши даже хату, она опустилась на колени у изголовья умирающего и впилась глазами в эти искаженные недугом дорогие черты. Как обожжен-

ный молнией тополь вряд ли может своими поникшими черными прутьями напомнить пышное, убранное серебристыми листьями дерево с приподнятым гордо челом, так изможденное, высохшее, как мощи, лицо Харька не могло напомнить прежнего, полного обаятельной красоты, смеющегося и сверкавшего карими очами обличья, но для Ликеры этот скелет был еще более дорог, и в каждой черточке его воскресал милый образ и будил сладким ядом застывшее в ужасе сердце. Склонив лицо на приподнятые руки, она не сводила своих больших глаз с закрытых, подведенных синими кругами очей своего друга. Глаза ее были сухи и лучились мрачным огнем, но в темной глубине их таилось столько безысходного горя, что, казалось, оно-то и пережгло все источники слез... О чем думала дивчина, что чувствовала — и самой себе не могла бы она дать отчета; она лишь ощущала в сердце страшную пустоту и щемящий холод, а в голове непосильную тяжесть, давившую все ее мысли... Из таинственной мглы... лишь пережитое выплывало перед ней самовольно.

Знойный день... Жаворонки заливаются трелями... трепещущие кобчики неподвижно стоят в воздухе... а в недосягаемой высоте кругами плавают коршуны. Она идет узкой межой, а по обеим сторонам высокая колосистая пшеница... Трудно пробираться: колос ей хлещет в лицо, щекочет шею... а она идет; отслоняет стебли рукой и поет какую-то песню: весело, светло у ней на душе, как и на небе, ясном да синем. Вдруг на перекрестке кто-то, подскочив с тылу, закрыл ей руками глаза и давай целовать в вспыхнувшее обличье... Она крикнула, рванулась и хотела было оборвать сорванца за такую дерзость, но глаза ее встретились с глазами Харька, а в этих карих очах светилось столько кохання, столько зноя, сколько было его в солнце ярком, что обливало их потоками света. Она побледнела и потупилась; резкое слово застыло на ее устах; сердце забилось сладко и жутко...

— Харьку! Что это значит? — запротестовала она нежно.— Никогда такого не было...

— А теперь будет... раз у раз будет... пока не сдохну я — будет! — заговорил как-то странно, словно задыхаясь, Харько, притягивая ее за руку к себе.

Она давно его любила, как брата, как друга... как радость, как жизнь, но ей не приходило и на мысль, чтоб

и Харько так полюбил ее; он же стоял теперь перед ней и жег ее обаятельной красотой и неотразимой силой.

— Харьку! Я сирота,— промолвила она дрогнувшим от слез голосом,— если ты вздумал обидеть меня... насмеяться, то грех тебе...

— Тебя обидеть? Мою перлыну? Да я всякому обидчику перерву горло... Да я за тебя и в прорву и в пекло! Если ты меня не кохаешь, то я не сдолаю: уйду свет за очи...

— Соколе мой, свете мой! — вскрикнула она и, полная невыразимого счастья, упала ему на грудь...

Ликера сдавила руками до боли свою голову, но память воскрешала перед ней уже другую картину... Черешня... тишина... лишь вдали слышится протяжный унылый стон болотной лягушки... Они сидят на влажной траве под нагнувшимися ветвями... Ласковая ночь обвевает их своим нежным дыханием. Сквозь полог листьев дробится месячный свет и прихотливой сетью лежит на ней и на ее милом; а он, прижавшись щекой к ее щеке, шепчет коханые речи... но у нее на сердце мрачно, как в темную осеннюю ночь, сжимается оно до боли непобедимой тоской...

— Ох, завезет тебя пан в чужие края... останусь я сиротой,— вздыхает она тяжко.

— Не бойся, моя зозулько, моя зирочко. Не забуду я тебя, где бы ни был, вернусь до своей голубки, и станем мы на рушнику перед алтарем божьим.

— Ой, чую я, что пропала моя головонька,— стонет, голосит она, но он клянется и месяцем, и ясными зорями не променять ее ни на кого, ни на что... Она прильнула к нему и чует, как его сердце бьется в груди... а ночь плывет и прислушивается к шепоту и вздохам коханцев, последняя короткая ночь...

Больной зашевелил бескровными губами и начал что-то шептать. Ликера вся обратилась в слух, но сначала трудно ей было уловить в этом клокочущем шепоте слово, а потом, хотя шепот стал и яснее, смысла его не могла понять дивчина,— только иногда вздрагивало у нее, как на ноже, сердце.

— Не могу,— шептал то торопливо, то затягивая и удлиняя слова, Харько,— простите. У меня там далеко невеста... она выплачет свои очи... изведет свое личко журбой, я присягал ей... Господи, что вы со мной твори-

те? Я вас поважаю... молюсь на вас, а кохаю там... ту... У ней и у матери я... Они ждут меня, как рассвета в зимнюю долгую ночь. Возненавидите меня? Да на что я вам? На жарт и на прихоть?.. Бог вам прости!..

Больной стал дальше беззвучно лишь шевелить губами и смолк; но потом вдруг весь затрясся и стал говорить с возрастающим волнением, быстро, возбужденно:

— Не поеду... ни за что не поеду... убейте меня, а туда не поеду! Зачем поите? Что же это? Насильно заливать? Чего смеетесь, что я красная девушка? Разве в этой пакости товарыство? Ой, не глумитесь!

Он смолк и долго лежал, едва дыша, словно одним лишь горлом, а потом снова заговорил, силясь открыть тяжелые веки:

— Боже мой, какой я паскудник. И голос, и силу, и совесть — все обобрали, ограбили! Ой! — не то вскрикнул, не то простонал Харько и открыл наконец глаза.— Воды! — уронил он едва слышно, но уже совсем другим голосом.

Ликера вздрогнула, бросилась в сени и, набрав из ведра в кухоль свежей воды, поднесла его торопливо больному. Приподняв одной рукой его голову, она стала осторожно поить своего Харька, а тот, прильнувши жадно к кухлю устами, остановил изумленные глаза на Ликере, и вдруг в них вспыхнула и стала разгораться искра сознания.

— Ликера, ты ли? Где это я? — вздрогнул он, оторвавшись от кухля и отшатнувшись от дивчины.

— Я, я! Харьку, мой любый! — вскрикнула Ликера и почувствовала, как повернулся нож в ее сердце; что-то горячее переполнило его, поднялось к горлу... и из глаз ее брызнули, наконец, слезы.— Я, я, счастье мое, раю мой! — шептала она, припадая к нему, целуя его в уста, в щеки, в глаза, рося его обличье горячими каплями слез.

Харько, хотя и слабо, отвечал на ласки своей дорогой суженой, но с каждым поцелуем ее в нем пробуждалось, крепло и едва мерцавшее пламя жизни. Сознание становилось ясней.

— Квиточко моя, ты узнала меня? — спрашивал, оживляясь, Харько.

— Узнала, как не узнать своего сизого голубя? Да выколи мне глаза, я бы тебя и сердцем познала! —

ворковала она, улыбаясь сквозь слезы и согревая своими горячими поцелуями его холодные руки.

— И не забыла? Кохаешь? — склонил он на плечо ей свою голову и начал чаще дышать.

— Господи! — только всплеснула руками Ликера и занемела.

— Ой, стою ли я? — простонал, метаясь, больной.— Прости мне, моя подбитая горлинка. Занапастил я и себя... и твой век... погубил твои радости!.. Забудь лучше меня, завалящего, дохлого, твой век впереди.

— Цыть, Христа ради! Никого. Один ты. Весь свет в тебе!.. Без тебя на что мне эта жизнь? На муку, на тоску беспросветную!.. Тобою только жила, тобою только дышала... Вот услыхала от тебя ласковое слово — и свет мне поднялся, и нудьги словно не было, а уж как она точила, как грызла!..

— Ох, господь сглянулся... привел меня под родную стриху... дал обнять тебя... может быть, и силы вернет?

— Вернет, вернет милосердный и пречистая дева,— подняла она к иконам полные слез глаза и сжала у груди руки.

В это время вошла в хату старуха и, услыша голос Харька, бросилась, заволновавшись, к больному.

— Мамо! — вскрикнула Ликера.— Харько ожил.

Потрясающий вопль, полный радости и накипевшей муки, вырвался из груди матери.

— Дытыно моя! — вскрикнула она и как безумная припала к груди своего сына.

Больной вздрогнул, затрепетал и с страшным усилием при помощи Ликеры подвелся и обнял свою неню.

— Мамо... бесталанная... роднесенькая,— заговорил он, задыхаясь от волнения и осыпая ее сморщенную шею лихорадочными поцелуями.— Ох, какое мне счастье! Не выдержит его грудь... Поневерялся там, побивался за вами... Ой, и какая же это была тоска!.. Смеялись над ней... хлопской дурью дразнили и мучили... Гляньте, каким я вернулся!

— Будь они прокляты, кровопийцы, харцызы! — заговорила было Устя, но сын остановил ее.

— Не проклинайте, мамо! Господь им судья! Там тоже есть и жмыкруты-кулаки, есть и бездольные да голодные... а на голоте везде ездят... и топчут ее под ноги

везде. Такая уж, видно, доля моя: вырвали из родного поля былыну, пересадили на чужой грунт... ну, и усохла.

— Свете мой, орле мой! — заголосила старуха.— Того ли ждала я, на то ли посылала у пекло? Ты ж знаешь, старшина насел... и самому тебе хотелось надел выкупить... Ну, и запродали мы тебя и земельки не выкупили.

— Не мог я, мамо, не мог... в эти часы высылать вам и копейки! — волновался все больше и больше Харько, хватаясь часто рукой за грудь и за голову: упавший было на несколько минут жар, видимо, снова начинал разгораться и пепелить свою жертву.— Когда я потерял голос... и заболел... надорвавшись... мне перестали платить жалованье... стал я перебиваться перепиской — то пьес, то ролей... Все думал заработать копейку на проезд домой... да не хватало и на харчи... а ночевал я то у какого-либо товарища, то под сценой: голодные-то добрее сытых! Оттого и не писал вам, чтоб не бить вас ножом... а когда я уже свалился с ног, то хористы сложились и тот пан директор два карбованца доложил, и отправили меня, спасибо им, на родину... Только не побивайтесь, мамо, и ты, Ликеро,— обнял он их обеих и повис на руках, обессиленный...— Я выздоровею, бог даст... При вас у меня сразу прибыло силы... Вот встану, хату оправлю... нужно будет ее подважить и перекрыть... Я еще и тогда собирался... да оторвали... и окна нужно будет новые... и сволок. Вот я встану и грошей зароблю. Концерт дам... и сразу возьмем сотни три, четыре. Надел непременно выкуплю... А где, мамо, Рябко? Я его что-то не вижу...

— Подох весной,— тихо ответила Устя, едва удерживая рыдания.

— Жаль, жаль, такой славный был песик, меня как любил! То-то, смотрю, не виляет хвостом, а он бы визжал тут,— говорил все тяжелее и глуше Харько, с трудом и свистом захватывая воздух в судорожно ходившую грудь.— Мы, Ликеро, достанем другого щенка... только нужно выбирать с черным поднебеньем... Я поправлюсь скоро! Поздоровею... го-го, еще как! И не буду таким страшным... Ты, моя рыбонько, не бойся и не откидайся, что я теперь такой... я вылюднею... Вы нас, мамо, сейчас же одружите... весилля справим и заживем тихо да лагидно... как у Христа за пазухой. Работать станем вместе... О, все закипит у нас!.. Ты прости, пробач, что

я оторвался было от вас! Подманили легкие заработки... а вот они вышли какие!.. Теперь-то я вижу, что все счастье в тебе... да в своей земельке... Я бы и зараз встал!.. Да вот — голова еще кружится... гудит кругом... и на груди словно камень. Слышите — звон?.. Нет, нет, звон! О! Бов! Бов! К шлюбу... То звонят нам к венцу... Церковь полна народу... Только что же это? Для чего тушат свечи? Ой, темно!..

С ужасом уставились на Харька и мать, и невеста, а он уже терял сознание и потускневшими глазами искал кого-то в наплывавшей на него мгле.

В сенях послышались громкие голоса. Знахарка останавливала кого-то.

— Бога бойтесь, не тревожьте матери: ведь у нее сын умирает... на исходе душа...

— Начальству до того дела нет! — возражал мужской грубый голос.— Помирать — помирай, а недоимки и подати подавай; так бы всякий от платежа увернулся: взял бы да и умер. Нет, брат, мы и с мертвого сдерем — на то закон, на то приказ! — сотский шумно вошел в хату и ударил в землю ципком.

Старуха и дивчина были поглощены в эту минуту такой мучительной тревогой, что не повернулись даже к сотскому, а следили испуганным взглядом за лежавшим, почти бездыханным, больным.

— Что ж ты, баба? — заревел сотский.— Пан старшина требует тебя и твоего Харька в волость... и ведьму, говорит, хоть за косу тяни, и того кумедиянщика... хоть и мертвецки пьяного, а облей водой да и волоки! Что, коли ежели что, так он и сынку, и матери спишет спины... и в потылицу из хаты!

— Креста на тебе нет, что ли? — вскрикнула знахарка.

— Да что языком ляпать! — двинулся было сотский по направлению к полу, но, заметив мертвенное лицо Харька и припавших к нему двух женщин, смутился и стих.— Гм... коли божья воля... так оно, конечно... разве у меня души нет? Коли ежели господь... так уже пускай старшина как знает...— и он, перекрестившись, тихо вышел из хаты.

— Только что с нами балакал... при себе был,— обратилась к знахарке Устя,— а теперь вот опять... Ой, на бога, пани! Что с ним? Рятуйте!

Знахарка зорко взглянула на лежавшего пластом Харька и покачала сомнительно головой, но господыню все же утешила:

— Уж коли он до купели пришел в себя, так после купели и подавно. То он наговорился... натрудил грудь, ну, и духу не стало... изнемогся и заснул.

И Ликера и Устя взглянули на знахарку с такой теплой надеждой, что та от смущения опустила глаза.

Примирившись с положением хворого, все принялись хлопотать о купели. Ликера, таская из колодца в сени ведра с водой, заглядывала каждый раз в хату на Харька: он все неподвижно, спокойно лежал, словно охваченный благодетельным сном. Наконец, ванна была готова и накрыта рядном, и все три женщины вошли в хату, чтобы перенести хворого в сени.

Знахарка подошла к больному и остановилась в нерешительности:

— Не знаю, паниматко, будить ли его, или пусть еще отдохнет?

— Лучше бы его не тревожить,— решила мать.

Но больной неожиданно заметался, забился в постели и заговорил не своим голосом, в бреду:

— Бога ради... на милость, не штрафуйте! Послать нужно матери... с голоду пухнут — и она, и Ликера, моя зиронька... простила меня и по-прежнему... Для чего меня вырвали, пане, от них, на что разлучили? — и потом он зачастил что-то хрипло, захлебываясь кровавой пеной и судорожно царапая себе грудь.

В оцепенении все стояли у его постели и ожидали чего-то ужасного.

Хворый начал было словно стихать и вдруг заметался и завопил страшным, потрясающим душу голосом:

— Чем же я буду петь?.. Чем буду петь? Голос сорван... разбит... духу нет... пусто здесь... Сами видели, как нес сундуки, хлынула у меня горлом кровь... А! Матери нужны деньги? Да, да, спасибо, что напомнили... Да, ей, бедной, неоткуда... Добре... я попробую!.. — и вдруг больной поднялся на ноги и запел:

Коло млина, коло броду
Два голуби пили воду,
Вони пили, буркотіли,
Ізнялися й полетіли!

Голос его, дребезжащий, едва слышный, выводил с передышками бесконечно грустный мотив этой трогательной песни, рисующей разлуку коханцев навеки. Как тонкая, перетлевшая нить, звуки рвались и тонули в мертвой тишине хаты, но в них трепетала догоравшая, исстрадавшаяся душа и захватывала сердце у Ликеры и у матери невыносимой болью...

Но вот на высокой ноте оборвался голос певца; несчастный схватился руками за грудь и, как сноп, упал на постель навзничь.

Знахарка бросилась к Харьку, прильнула к его груди, заглянула в остановившиеся зрачки глаз и промолвила строгим голосом:

— Преставился... упокой, господи, его душу!

Без стона, без рыданий, как подрезанный серпом колос, склонилась мать пред мертвым сыном и, покорная воле небесной, зашептала отходную молитву. Ликера вскрикнула не повторяющимся в жизни криком и упала пластом перед усопшим. Одна лишь знахарка спокойно закрыла ему глаза.

Догоравший на стекле последний луч заходившего солнца вспыхнул яркой искрой и сразу погас... и в хате стало вдруг мрачно и тихо, так тихо, что словно слышался еще последний звук жизни, улетавшей туда, где нет больше неправд и страданий...

«ПОЯРМАРКУВАЛЫ»

(Быль)

— Да годи-бо, жинко! Неужто я дитя малое? Та кто меня одурит? Гай, гай, Соломие! Да я всякого одурю, вот что, а не то что! — распинался, почесывая затылок, Оверко Очкур, молодой еще хозяин, но уже с почтенными, закрывавшими рот усами и широким вздернутым носом: казалось, будто он держит в зубах мышь.

— Так ты и меня дуришь? — вскрикнула, ударивши руками о полы, жена его, недурная собою молодица, стройная, худощавая брюнетка с острым носиком и сверкающими глазами.

— Что ты, жинко? Господь с тобой! — отступил Оверко на шаг, испугавшись подозрений супруги.— Да коли я и в думке...

— Ха-ха-ха! — рассмеялась на это третья фигура, прилаживавшая на возе кормленого, связанного по ногам кабана; последний издавал среди тревожного хрюканья неистовые крики. В воз были впряжены тощие серые волики,— почитай, бычки, а сзади привязана была пара великолепных бланжевой масти половых волов.

— Да вам-то, куме, смех, а мне горе,— выговорила Соломия с тоном упрека на легкомысленное отношение Свырыда Хмыза к ее тревоге.— Хоть сядь та плачь! Дытынка больна, и хату не на кого бросить... Бегала к тетке Хивре — на ярмарок идет, заскочила к бабе Стехе — не встают, поясницу разломило... а сестра обещалась зайти с хутора,— еще вчера ждала — нема та й нема: верно, тоже на ярмарок махнула, бодай ей!

— Да чего ты побываешься, жинко? Да разве я не

справлюсь? — ободрял Соломию Оверко, тупая ногами и хватаясь то одной, то другой рукой за усы.— Ей-богу, я продам, да еще как продам! Го-го! Я б не продал? От побачишь! И продам, и гроши все привезу тебе до копейки, до денежки... Я еще с батьком... вот таким хлопцем,— показал он рукой,— не раз ездил на отпусты, на торги, так все прыкметы и способы на ярмарке знаю: как, стало быть, брехать и прибрехивать...

— Ох-ох! — колыхнула тоскливо головой Соломия, подперши щеку одной рукой, а локоть последней другой.— Души у меня нет: все наше богатство, вся наша надия в этих половых; сама из своих рук их выгодовала, выхолила... и выросли же, с ласки божьей, на славу — ровные, да персистые, да круторебрые... А рога-то какие!.. И маляру не списать таких воликов... Ей-богу! А знают как и меня, и его, словно дети! Позовешь: «Полови, полови!» — и бегут...— Волы действительно повернули на привычный зов свои головы и ласково замычали.— И продавать-то их больно, словно оторвать у себя печенку, да ничего не поделаешь — нужда! Нам, бедным, не вольно иметь и утехи... Так оттого-то я и побиваюсь, чтоб не продешевил да не обсчитался в деньгах или, крый боже, не застрял бы где поблизу манупольки... На вас только, кум любый мой, и надеюсь: догляньте и его, и худобу... а вас за то господь бог доглянет!

— Годи-бо!.. Я ж... таки... вот наказание! — терял терпение Оверко.

— Та будьте покойны, соседка,— произнес уверенным тоном Свырыд и торопливо отворил ворота.

— Прысяйби! — ударил себя кулаком в грудь Оверко.— Ну, прощавай, моя любая! — и он поцеловал горячо Соломию.

— Гляды ж, голубе! Памятай, что у нас есть дытынка,— промолвила уже нежно супруга.

— Ге! — улыбнулся Оверко.— Дытынка? И другая уже наклюнулась... А ты все на мене грымаешь...

— Цыть уже! — вспыхнула полымем Соломия.— Не распускай губы... да смотри мне, до корчем не завертай, горлянки не прополоскуй, от половых не отходи, ока не спускай, а деньги зашей за пазуху...

— Я лучше зашью их ниже и поясом еще прикручу,— заметил убежденно супруг, подтягивая для пущей важности пояс на свитке.

Стояло знойное лето, и солнце обливало потоками жгучих лучей и весь небольшой дворик Оверка, и стоявшую у ворот Соломию, и вылезшего из-под повитки для прощанья кудлатого пса... В такой день в одной сорочке да полотняных шальварах было бы душно, но Оверко считал неудобным пуститься в дорогу в легком наряде, а потому и надел свитку и повязал ее поясом.

— Ты бы прихватил и сиряк, а чеботы пока скинул,— посоветовала жинка.

— Чтоб украли? — резонно заметил Оверко и, добавив: «Щастливо»,— поспешил за ворота.

Из хаты донесся плач ребенка. Соломия остановилась в тревоге: ей, как хозяйке, хотелось и провесть дальше мужа, и сделать ему еще несколько наставлений, но чувства матери удержали ее у ворот и потянули к больному ребенку.

— Оверко! Го-го! — крикнула она.— Догляди ж половых и денег не растрынькай!

Оверко издали развел только руками.

— Да не продешеви!.. Меньше сотни не бери!

— Как дадут! — одгукнул он.

— Найменьше девятьдесят пять... Найменьше! — натуживалась что было мочи выкрикнуть Соломия.

Муж, снявши брыль, замахал им утвердительно. Затем воз повернул направо, поднял целое облако пыли, в котором и потонули совсем ярмарчане. Соломия еще постояла с минуту, приложив руку к глазам, но поднимавшиеся столбы пыли застилали золотистыми волнами даль и показывали лишь направление, по которому удалялись соседи... Наконец, новый крик ребенка заставил вздрогнуть молодицу, и она бросилась опрометью в хату.

Местечко Жовнин, куда к завтрашнему дню спешили Оверко с Свырыдом на ярмарку, отстояло от ихнего хутора верст на двадцать пять, а то и на тридцать: нужно было проехать Мозолеевку, Николаевку, Лебеховку и поспеть к переправе на пароме через Сулу, за которой уже на живописном взгорье среди садов и левад ютилось богатое и торговое местечко.

Жара стояла нестерпимая; раскаленный воздух стоял неподвижно, и наши путники шли в туче густой пыли, поднятой другими возами, другими прохожими, и тянувшейся по дороге бесконечной колеблющейся стеной. Волы, поскрипывая ярмом, переставляли медленно ноги,

и воз еле двигался, убаюкивая своими колебаниями хлопчика, взятого с собой Свырыдом и спавшего преспокойно на спине кабана. Оверко шел по одной стороне воза, Свырыд по другой и во время пути не перекидывались между собой и словом, а только иногда громко отплевывались от залетавшей и в нос, и в рот пыли.

Плелись уже целый день кумовья, а к закату солнца были еще верст за семь от Жовнина.

— Вот спустимся и в Лебеховке отпочинем,— отозвался наконец за всю дорогу Свырыд.

— Эге,— прохарчал Оверко и закашлялся.

Возле корчмы стояло уже два громоздких воза горшков, а к столбу у дверей привязана была какая-то кляча. Когда Оверко со Свырыдом подошли к колодцу напоить волов и утолить свою жажду, из корчмы вышел вместе с Шмулем какой-то молодой селянин, чернявый, смуглый, с кучерявой чуприной и бегавшими быстро глазами. Вышедшие остановились и стали любоваться волами; чернявый, впрочем, скоро отошел к привязанной кляче и поправил на ней попону.

— Ц-ц, ц-ц! — зачмокал Шмуль одобрительно, подходя к Оверку и Свырыду, расположившимся пидвечерять.— Добрые волы... молодые?

— По третьему,— ответил (отдирая кожу с тарани, Оверко.

— Ой-ой, волы! — похвалил Шмуль.— Жаль, что теперь упала цена на товар.

— Упала? — заинтересовался Свырыд, проглатывая с трудом кусок сала.

— Такая спека! А дождя хоть бы тебе капелька... Как же не упадет цена? Ой, мамеле! Если так потянет, то на Семена худоба за шкуру пойдет... И какая цена им? — добавил перегодя он небрежно.

— Сто карбованцев,— ответил Свырыд.

— А половины не возьмете?

— Скажи моей господыне... ого! Попробуй сказать! Девятьдесять и пять... найменьше... эге, найменьше! Так постановила.

Шмуль махнул безнадежно рукой, а чернявый, бросив исподтишка испытующий взгляд на Оверка, отошел с клячей в сторону.

— Вы из Мозолеевки и в Жовнин на ярмарку? — полюбопытствовал еще Шмуль.

Оверко кивнул головой и, побивши тарань о полудрабок, начал ее раздирать на куски.

Чернявый тоже мотнул почему-то головой и, вскочив на клячу, поехал вскачь по дороге к местечку.

Уже поздно ночью добрались наши путники до Сулы и остановились у корчмы, стоявшей близ перевоза. Паром был на той стороне, и какая-то фигура гукала на паромщиков. Оверко подошел тоже к плотине.

— А что они, поглохли? — обратился он к гукавшему.

— Подохли! — оскалил тот белые широкие зубы и засмеялся.

Оказалось, что это был тот самый селянин, что осматривал возле корчмы половых, но Оверко тогда его не заметил.

— Будем их до вторых петухов ждать,— сплюнул с досады чернявый, а потом, словно примирившись с судьбой, добавил весело: — А, будь им всячина! Может, и к лучшему: подночуем здесь, до света переправимся. А то ночью и места не найдешь, и на лихого человека наскочишь... Теперь там цыган и всяких злодиив — сила!

— Ой, не дай бог! — перекрестился Оверко.

— А у вас, дядьку, в местечке своя хата, или вы на ярмарок? — спросил незнакомец Оверка.

— На ярмарок... половые продаю. Мы с жинкою, с Соломиею, коли слыхали, выгодовали их... так Соломия наказала, чтоб доглядел и не продешевил...

— А знакомого у вас нема в местечке — свата либо кума, га?

— Да кто его знает... похоже, что нема. С покойным батьком я сюда не раз ездил, а как одружился, так уже жинка... только вот теперь дытынка заслабла, так уже я...

— Ага! Так, так... однако на ярмарку без знакомого тутешнего... трудно... чтоб меня так любила жинота, коли не трудно...

— А вы ж сами, дядьку, откуда? — поинтересовался Оверко.

— Да, я, положим, тутешний... за местечком... зараз по той бик... Та стойте, стойте! — взял он за плечи Оверка и, нагнувшись, стал вглядываться в его лицо.— Ей-богу, знакомый... вот, чтоб меня крест убил, чтоб я сала никогда в губу не брал, коли я вас не знаю... А присмотритесь!

Оверко воззрился: на него зорко смотрели из обрамленного волнистой черной чуприной и бородкой лица два сверкающих глаза.

— Гм... что-то невтямки: будто и тее и не тее...

— Да тее, тее... Я вашего батька покойного знал... Вы ведь из Мозолеевки?

— Из-за Мозолеевки... из Паленого хутора...

— Так, так, Паленого... А вас зовут Оверком?

— Оверко... да и еще Очкур.

— Ой, лыхо маме! Так, стало быть, то самое Очкуреня, что я знал... сынок Данила...

— Дмитра,— поправил Очкур.

— Дмитра, так, так... Дмитра! От голова! То другой Даныло Очкур... в Недогарках... Так, Дмитра!.. Выходит, мы старые приятели! Я Левонт Гудзь, побратым Дмитра. Эх, покойник любил чарку... Сколько раз я ему говорил: «Не пей, Дмитре, лыхо будет!..» Оттого и сгорел.

— Батька дубом прибито...— заметил Оверко,— рубали дуба... а дуб возьми та на них...

— Знаю, знаю! Я ж и кажу: под чаркой был и не отступился... Ну, да хай уже над ним земля пером! А с сынком бы след и почоломкаться...— и он бросился обнимать оторопевшего представителя рода Очкуров.

— Ну, и рад же я! — принимался обнимать его снова приятель.— Вот говорят правду: гора с горой не сойдется, а человек с человеком...

— Да и я рад,— улыбался добродушно Оверко.— Жинка говорит, что держись, мол, за полу кума Свырыда... Я вот вместе с ним и приехал... У меня половые, а у него кабан... Так держись, говорит. На ярмарку, говорит, нет у тебя знакомого доброго человека, кроме Свырыда... а тут и покойного батька приятель...

— Мало того — родич! — трепал уже родственно по плечу Оверка новооткрытый дядько Левонт.— Ей-богу, чтоб я луснул, коли... что... Моей жинки швагера сват держал с братовою твоей матери у Кнура дытыну. Ге, да мы на радостях выпьем: мой магарыч, мой! И горлянку следует прополоскать,— клятая пыль заклеила чисто,— и познакомиться с добрыми приятелями. За вечерей и обмиркуемо, как и что; я всех купцов знаю, и меня не проведет никой черт. Вот гляну — и вижу, что у него на языке и что на думке... А насчет торга, так дохлятину, шкапу — за арапа выдам... и за подошву рваную добрые

гроши слуплю... черт бы убил его батька, коли не слуплю: умею и очи отвесть, и обморочить...

— Вот спасибо, дядюшка, и за ласку, и за помочь,— обрадовался Оверко,— а то жинка говорит — не найдешь там доброго человека, а вот бог и послал...

— Напредки не хвали, небоже: похвалишь, коли оборудую справу... Жинка твоя положила девятьдесят пять за волы?

— Эге, девятьдесят и пять... найменьше...

— Ну, а что будет, коли я тебе продам их за сто и за двадцать?

— Господи! Вот бы жинка...

— Ге! Тогда уже только держись...— засмеялся весело Гудзь.— А мы вот как сделаем, по-кревному, по-приятельски, чтобы никому не было обидно: что нагоню сверх сотни, то пополам?

— Гаразд!

— Только ты мне не мешай и что б я ни брехал — молчи!

— Я могу и подбрехнуть. Звисно, на торгу без брехни не можно... Жинка вот часом сердится, что я... а как его без брехни?

— Ой, ой! Брехня как смалец до каши... Только ты лучше молчи, как бы воды набрал в рот... а я уже сам... Ну, пойдем же теперь к куму Свырыду: он, думаю, тебя ищет, аж чуприну нагрел... Так згода?

— Згода, дюдюшка, згода!

И новые приятели ударили по рукам, да так сильно, что разбудили ляском дремавшую на вербе ворону, и она с перепуганным криком взвилась темным пятном и потонула в сумраке ночи...

II

Еще не начинало светать, как наших хуторян разбудил новый приятель и поторопил занять поскорее места на пароме: действительно, за ночь понабилось к корчме много возов, драбыняков, шарабанов, и если бы не Гудзь, то Свырыда и Оверка толпа оттерла б назад, и им бы, пожалуй, пришлось попасть в местечко уже после ярмарки. Но Гудзь распинался за них, ругался сильно и виртуозно, употребляя иногда в брани совершенно непонятное слово, толкая локтями, кулаками, затевая даже

настоящую драку, а не уступал никому, и на ярмарке, за церковью, захватил бойкое на юру место.

Переправившись на пароме, он заставил Оверка выкупать продажных волов, и они теперь выглядели красавцами, а кожа их залоснилась атласом. Не успели еще и осмотреться хорошо ярмарчане, как уже накинулся какой-то покупщик — из полупанков или экономов.

— А что, человече добрый, за волы хочешь? — обратился он к Оверку, так как родич его говорил о чем-то в это мгновение с двумя подошедшими цыганами.

— Десять,— ответил небрежно Оверко, занятый разрезыванием купленного по дороге арбуза.

— Десять? — изумился панок.— Значит, одну красненькую? Бери!

— Эге. На сотню...

— А! — протянул разочарованный покупатель.— Ну, и загнул же ты, как за родного батька!

— Да хиба эти волы не стоят родного батька? — подскочил наконец и чернявый родич, заслыша, что Оверко уже торгуется.— Хе! Иной батько и куска сала не варт... Бей меня сила божья, коли брешу... А такие волы и за жинку променять можно.

— Може, за такую, как у тебя, плащувату? — прищурился насмешливо покупщик.

Раздался легкий смех у сбившейся вокруг торговцев толпы. Оверко тоже одобрительно кивнул головой и подпихнул локтем Свырыда.

— Хе! Да я свою пану и даром отдам, ей-богу, да еще в придачу дам доброго дегтю мазницу!

Это предложение вызвало уже в толпе гомерический хохот.

— На шею себе повесь! — огрызнулся покупщик.

— Го-го, пане! — входил больше и больше в свою роль добрый приятель.— А волы — краса! И на око, и до работы, и до корысти... Да гляньте, добрые люди, где таких волов и найти? Хоть вылижи, не то что! Таких пару в плуг — и поганяй беспечно... а чтоб мою маму задавило, коли неправда; а фуру какую хочь навали — и не почухаются... Это добро, это скарб! Работать будут, как волы, а надоест — на барду, на салаган *... и гроши с лихвою вернул!.. Да коли и подохнут, так за такую шку-

* Салаган — бойня, різниця.

ру можно содрать шкуру и с доброго пана... А жинка что? Баба, макуха: выдушил олею — и набок! Вот и добродий цурается, а коли подохнет, никто и папуши тютюну за жинчину шкуру не даст, вот хоть холера на головы всем, а не даст!

— Ну и сатана! Вот бреше! А чтоб ему на язык три болячки! — послышались в толпе одобрительные возгласы.

— Родич-то запросил за мои волы мало,— продолжал приятель,— он еще молод и не знает добре цены... А я за половых меньше не возьму, как полтораста!

— Тьфу! — плюнул панок.— Не из той ли ты братии, что за шматок сала и маму продаст?

— Абы нашелся охотник!

— От проклятый! — засмеялся и покупщик.— Говори настоящую цену...

Начали торговаться. Покупщик больше сотни не давал, а приятель уступил только десятку... Несмотря на то, что он неоднократно подстегивал волов и заставлял подыматься их на ноги, покупщик был непреклонен... Приятель скоро оставил его в покое и, собрав арбузовые корки, стал ими кормить кабана:

— Вацю, вацю, мой родненький! Лопай, серденько, набирайся сальца!

Кабан только отхрюкивался на ласки приятеля да тяжело вздыхал, не пытаясь уже вырваться на волю.

Подходили некоторые из местных мещан справиться и за кабана, но, услышав от приятеля полуторную цену, отходили, почесывая затылки. Один только и давал две красных, то есть цену, какую назначил Свырыд; но приятелю не было расчета на ней кончить.

— Слушайте, свате! — подозвал Свырыд шепотом услужливого посредника.— Не передадим ли мы кутье меду? Дают ведь цену... а люди говорят, что первого торгу держись!

— И у меня души нет! — добавил трусливо Оверко.— Жинка кричала: «Не продешеви... девятьдесят и пять найменьше...» Давали сотню, ну, а как потом не дадут?

— Да что ты, батька покойного сын, мелешь? Разве это торг? Это пока забавка! Вон и люди еще не вышли из церкви... Еще и жидки джерготят в школе... а они-то и поддадут жару... Торг настоящий начнется к полудню, а разгорится над вечер... Я уже по первому разу вижу, что

за волов меньше как сто тридцать не возьму, а за кабана возьму три десятки, хоть бы все выздыхали, а возьму!

Заверения доброго приятеля успокоили хуторян, и они принялись за второй кавун, заедая его паляницей.

Наконец начался трезвон, и из погоста хлынула целая река колеблющихся голов; среди них отливали бронзой и золотом брыли парубков и алели, как мак, разубранные цветами и лентами головки дивчат; река на главной улице разделилась на два потока: один — из парубков та дивчат — устремился к яткам, а другой — из солидных поселян и стариков — двинулся к черному торгу. Добрый приятель придумал в это время снять кабана с воза, так как он на земле показней станет, а то на возу его и рассмотреть трудно.

Само собою разумеется, что двенадцатипудовое чудище не могли снять Оверко со Свырыдом, а потому приглашены были приятелем за магарыч для помощи и добровольцы: душ восемь бросилось к кабану, и бедное животное подняло такой неистовый крик, что вся ярмарка взбудоражилась и много любопытных сбежалось поглазеть на диковинку, как живых свиней смалят. Эта проделка приятеля привлекла, кроме праздных зевак, и покупщиков-колиив; некоторые из них заинтересовались кабаном... Наконец, появились на ярмарке и скупщики скота — евреи. Половые волы бросились всем им в глаза, и оживленный торг как на волов, так и на кабана снова возобновился...

— А что, не говорил ли я вам,— ободрял тихомолком хуторян добрый приятель,— еще только торг начинается, а уже за волов батюшка давал сто пять, а цыган один, хай его маму, сто восемь... А вот появились уже и жидки... А за кабана уже дают двадцать и пять... Только нужно пыльно глядеть, чтоб не ошукали... Ой, народ, какой теперь народ! И деньги всучит фальшивые, и сглазит худобу, и нашлет напасть. Ой, батькови его в шапку, какой народ... только плюнешь — и квита!

— Ох, пыльнуйте ж, дядечку!—затревожился Оверко.

— Та за кабана и кончайте... добрую цену дают... Чего ж вам?.. Получите себе троячку... та й уже!

— Хе! Я на кабане возьму две троячки с хвостом, а на волах — две червоных... меньше не помирюсь... Только сидите себе здесь смирно под возом, у холодку, и не мешайтесь!

— От доброго родича послал нам господь! — умилялся Оверко.

— Добрый приятель, щира душа! — соглашался Свырыд.

А время шло; солнце, поднявшись к зениту, накаливало воздух до нестерпимого зноя; ароматы смолы, дегтя, хлева, конского и людского пота насыщали его больше и больше; поднятые облака пыли стояли густым белесоватым туманом и затрудняли дыхание... Шум, гам, мычание коров, блеяние овец, свиней, людской говор, божба, а найпаче ругань возрастали ежеминутно, превращая торг в настоящее пекло.

Не выдержал Свырыд и послал своего сынка за монополией; у Оверка тоже смоктало тоскливо под ложечкой; один только приятель, забыв об еде, распинался за кабана и за половых, выхваляя их, как родных детей, клялся, божился, спорил, ругался с покупщиком, перебивал с ними не раз руки и снова расходился... Уже с его багрового лица струился в три ручья пот, а он все не унимался, не уставал, и черные быстрые глаза его сверкали такой же энергией, а толстые губы все улыбались...

— И куда мне отак...— изумлялся Оверко.

— Именно...— разводил руками Свырыд.

А хлопец ходил, ходил по базару и, наконец, вернулся ни с чем: он не нашел монопольки и насилу попал к своему возу; если б не крик кабана, которого добрый приятель постоянно дергал за ногу, то так бы и заблудился на ярмарке...

Решили оставить его с родичем при худобе, а самим отправиться за горилкою, за харчами и поскорее вернуться. Но возле корчмы Свырыд нашел знакомых из Мозолеевки и разговорился, а Оверко встретил на базаре сестру своей жинки, и она сообщила ему, что баба ночевала у них и что легче стало дитяти, так что, вероятно, и Соломия с кем-либо приедет.

Между тем добрый приятель, воспользовавшись отсутствием хозяина, сразу перебил с каким-то цыганом за кабана руки; получив деньги, он передал все двадцать шесть рублей на руки хлопцу, а кабана с полы на полу покупщику. Ближайшие соседи были свидетелями передачи кабана и получения за него платы и находили, что мнимый собственник взял добрую цену. А половые тоже привлекли двух-трех солидных покупателей, которые то

отходили с насмешкой, то снова приступали. Надежнее всех оказался еврей Лейба из хутора в двух верстах от местечка; он и сам имел небольшой кусок в посессии и поставлял еще на экономию реманент. Лейба давал уже за волы сто двенадцать, но приятель стоял на сто двадцати и не хотел делить греха пополам. Лейба отошел, чтоб привесть для осмотра волов знакомого коновала.

Наконец возвратился Свырыд и был страшно обрадован, что приятель продал кабана: он уже боялся, что Гудзь запросил чрезмерную цену и что тем в конце концов отвадил всех купцов. С Свырыдом пришли и два знакомых селянина из соседней Мозолеевки и нашли, что кабан продан отлично.

— А где ж гроши? — поинтересовался Свырыд.

— У хлопца... Все до полушки... Я себе ничего не оставил...— подчеркнул Гудзь.

— А не фальшивые?

— Хе! Батька пухлого меня одурят! Я бумажками и взять не захотел. Кто его разберет, какая она, бумажка? Малевана, да и квита! Нет, подавай мне святые отцы карбованцы!

— Так, так, именно карбованцы... Ну и приятеля ж щирого послал нам господь! Получай свою троячку, а магарыч за мною!

В это время подошел и Оверко с пустыми руками: разговорившись с сестрой, он и забыл про харчи...

— А что же, дядюшка, кабана продали, а мои половые лежат? — обратился с укором он к родичу.— Я же просил вас, отдайте за сотню... Я бы тоже троячку... Потом и пять давали... а теперь...

— Давали уже двенадцать — и то не отдам! — перебил с досадой приятель, так как Оверко, забыв условие, заговорил громко и разоблачил перед ближайшими соседями роль своего дядюшки...

— Эге, так он, выходит, фактор! — протянул один из них и сплюнул презрительно через губу.

— Надобно, цыган...— заметил другой, хотя и тихо, одначе достаточно выразительно.

— Ой, дядюшка, отдавайте! — проговорил растерянно Оверко.— Ой, отдавайте!..

— Если будешь мешатыся не в свое дело, так плюну! — прикрикнул на него новый родич.

Оверко струсил, а тут еще на него все насели, что пришел без харчей... Свырыд пригласил, наконец, всех в корчму и потащил Оверка, чтоб не мешал здесь приятелю.

— Разменяйте вот моего карбованца, а своих денег не тратьте,— сказал, подавая рубль Свырыду, приятель.— Мне дрибьязку нужно... А что в харчевне потратите, то я отобью от волов, бо их теперь спущу первому покупщику... и приведу его с волами и с деньгами прямо в харчевню... у меня тоже в животе, словно жиды с цыганами бьются...

— Гаразд,— одобрил Свырыд.

— Так, так, дядюшка, и волоките его до нас с половыми... прямо в корчму...— попросил и Оверко.

Дядюшка только усмехнулся и кивнул весело головой.

III

Вскоре после отхода хозяинов подошел снова к Гудзю Лейба-посессор с каким-то простолюдином; последний осмотрел молча волов и, отведя Лейбу в сторону, что-то сказал ему тихо, а потом громко добавил:

— Как знаете, а по-моему, уже передали вы занадто: больше сотни не стоят.

— Эт! У твоего батька, видно, пусто под шапкой! — огрызнулся приятель, но коновал только плюнул и скрылся в толпе.

— Ну, герш ду *, последнее слово: сто пятнадцать — и ферфал! ** — отрезал решительно Лейба.

И Гудзь вдруг согласился, перебил руку и, взявши волов, отправился для расчета с евреем к харчевне. Не доходя до нее, Лейба зашел в монопольку разменять деньги; там же стояла привязанная к плетню его добрая саврасая лошаденка, запряженная в биду... Приятель, оглядевшись кругом, попросил еврея заплатить ему деньги здесь же: он отказался от угощения в харчевне, боясь оставить на хлопца воз и худобу. Лейба, не подозревая даже, что имеет дело не с собственником волов, охотно вручил Гудзю условленную цену, тем более, что нашлись здесь случайно и посторонние люди, знакомые

---

* Герш ду — чуєш, ти (*євр.*).

** Ферфал — тут: кінець (*євр.*).

ему мещане. Лейба получил из полы в полу от Гудзя налыгач, накинутый на великолепные рога половых, привязал его к задку биды и отправился с доброй покупкой к себе на хутор.

Спрятавши деньги в карман, добрый приятель постоял с минуту в раздумье, а потом весело рассмеялся и, ударив себя по лбу рукой, произнес какое-то гортанное слово да и двинулся через толпу в противоположную от ярмарки сторону. Но вдруг нежданно-негаданно наткнулся на Свырыда с компанией.

— Вот и дядько! — крикнул Оверко.— А у меня и душа ушла было в пятки: хлопец сказал, что половых продали и пошли с ними к нам до харчевни... а мы туда и не заходили...

— Ну, не говорил ли я тебе, что дарма поднимаешь тревогу?.. Разве наш добрый приятель иголка, чтоб затерялся на ярмарке? — заметил добродушно Свырыд, успевший уже пропустить на радостях чарки три.— Ха-ха-ха! Да он, брат, разумнее нас с тобою и с ними; не найдет в харчевне — вернется... да и какой ему расчет затеряться? Получить же ему нужно от тебя две, а может, и три троячки... а такие гроши на улице не валяются...

— Авжеж... где там! — заметили и сопровождающие их земляки из соседнего села и их хутора.

Растерянный приятель завертелся, как пойманный в западню тхор, бросая на обступивших его селян смущенные взгляды. Он готов уже был с сердечной болью возвратить Оверку его деньги... Но вдруг взял себя в руки, решась на отчаянный риск.

— А продал, продал волов,— заговорил он наконец с нервным смехом,— и добре продал, за сто за пятнадцать... Еще б больше взял, коли б не мешался племянник!.. Батьку его сто лих, коли б не взял больше... Так что, по правде, мне с тебя следует... найменьше десятка...

— Да возьмите уже, спасибо вам, и десятку...— согласился сразу Оверко.— А мне, значит, отдайте сотню и пять... Вот обрадую жинку!

— Как отдайте? — изумился приятель.— Деньги же у тебя!

— Что-о?! У меня?! — оторопел Оверко.— Люди добрые, что это говорит дядько?

— Полно шутить! — махнул рукой родич.— Жид

Лейба... при двух свидетелях... Я с ним и с волами пошел к харчевне... и он при них заплатил хозяину волов сто и пятнадцать карбованцев.

— Да я и в харчевне не был! — вскрикнул Оверко.

— Не был, не был...— подтвердил Свырыд, а за ним и земляки.

— Вот штука! — ударил об полы руками побледневший приятель.

— Как же вы, друже, передали волов, не упевнывшись собственными глазами, что деньги заплачены? — укорил мягко Свырыд.

— А как же мне было переться в монопольку с волами? — возразил нагло приятель.

— Правда и то,— недоумевали свидетели.

— Ой, гвалт! Рятуйте! Кто в бога верует! — закричал вдруг Оверко, ломая руки и метаясь из стороны в сторону.— Украли волов! Украли моих половых! Что же мне делать? Ой, что скажет теперь моя жинка?

— Пустите, пропустите меня! — донесся в это время из толпы женский взволнованный голос.— То мой Оверко! Какое-то лихо с ним!!.

— Ой, халепа! Соломия тут! — всполошился Свырыд.— Настружет она морквы и мне!

— Жинка?! Пропал же я! Рятуйте! — завопил отчаянно Оверко и стал бить себя кулаками в грудь.

На гвалт, поднятый Оверком, откликнулся женский вопль, поддержанный другими визгливыми голосами. Эти крики и вопли взбудоражили ярмарку, и любопытные стали сбегаться. Натиснувшиеся толпы мешали Соломии пробиться к своему мужу, но наконец она при помощи сестры и двух молодиц таки прорвалась и увидела своего мужа, обезумевшего, в слезах, и растерянного Свырыда...

— Ой, на бога! Что случилось? — заломила она в отчаянии руки.

— Вот дядько... родич наш... помогали...— едва произносил слова обеспамятевший супруг.

— Видите ли, кума,— стал пояснять Свырыд,— добрый приятель помогал нам в торгу, и, спасибо ему, добре помогал: моего кабана продал за двадцать за шесть... и гроши до денежки отдал... а ваших половых сторговал за сто за пятнадцать... да тут вышла ошибка: приятель думал, что жид заплатил нам гроши, и отдал волы, а мы жида и в глаза не видали!!

— Да где ж вы были? Где ты пропадал? — вопила, заливаясь слезами, несчастная женщина.— Неужто при вас этот розбышака передавал ваше добро, а вы молчали?

— Да кум... сказали... чтоб... Ну, а тут... родич, батька покойного побратым...— путался бледный как полотно Оверко.

— Мы за харчами... вот поблизу...— силился оправдаться Свырыд.

— В монопольку пошли,— поправил Гудзь,— и мне приказали прийти туда с волами и купцом...

— Ой, зарезали! Поярмарковалы! Ой, что же мне, добрые люди, чинить? Топиться ли в Суле, или вешаться? Волы ж мои половые! Для того ли я вас доглядала, годувала, чтоб вас покрали? Ой, рятуйте! Рятуйте!!

— Да с него, молодице, правь гроши! — отозвался соседний продавец.

— Он только был за факторового... а чужого добра передавать не смел... а коли передал, то он злодий!

— Разбой! Грабеж! — завопила Соломия на всю ярмарку, бросаясь к Гудзю.— Отдай мне половых, розбышака! Верни наше единое добро, злодияка! Ой, люди добрые, зарезал! Зарезал!

Толпа озлоблялась на дядюшку.

— Стойте! — гаркнул теперь, подняв руку, приятель.— Не лементуй, баба! Не кричи и ты, чтоб тебя дубом прибило! Ваши волы взял известный здесь всем купец и посессор Лейба, что сидит на хуторе, зараз же за местечком... Если он, дурень, заплатил гроши другому кому, то пускай и ищет этого зуха, а ты волы свои отбери: тебе нет дела!.. Вот и земляки, и я, и соседи посвидчат, что волы твои и что ты за них грошей не брал.

— Я же на вас дуже поклалась, а вы душегубу запродали нас...— продолжала, не слушая Гудзя, молодица.— Ой, маты божа! Ой, покарай же его, антихриста, и на жинке, и на детях, и на всем его каторжном роде!

— Заспокойтесь, сусидко,— говорил смущенный Свырыд,— волы вернутся... они у певного человека... та и сват, видите, щирый...

Но толпа была другого мнения о приятеле, и среди нее начали раздаваться злобные возражения, бросавшие свата то в жар то в холод.

— Не верьте ему! — кричали.— По очам видно, что злодий... Тут завелась шайка конокрадов-цыган... так не дядько ли он им? Обыскать его и коли что, так утопить, шельму, в Суле...

— Вяжите его, злодия! Проби, вяжите! — рассвирепела вконец Соломия.

— Вяжите! — ухватился за полу дядюшки, не помня себя, и Оверко.

— А так! — раздались голоса в толпе.— Урядника сюда — и в волость!

Приятель окончательно струсил: ему были известны случаи расправы с конокрадами... Но он все еще пытался отсрочить эту минуту, затягивая своим упорством узел на своей шее.

— Да идемте же скорей к Лейбе за волами!..— завопил он отчаянно.— Не то за глупой брехней только время уйдет... половых жид перепрячет... а тогда и шукай ветра в поле!..

Этот возглас спас его на время от обыска и расправы, но на что дальше рассчитывал сват — он и сам себе не мог дать отчета: скорее всего на свои ноги и на простор за местечком...

— Идем зараз! Только не пускайте его из рук! — опомнилась Соломия и вместе с Оверком потащила вперед Гудзя. За ними двинулась целая орава.

Дорогой Гудзь все время ругал жидов, рассказывал массу анекдотов, как они обманывают и грабят народ, как обходят всякий закон и взятками, и подставными лицами, и фальшивыми документами. Рассказы эти подкупали слушателей и вызывали сочувствие. Слышались уже одобрительные отзывы:

— Да он правду говорит! Как в око лепит! Верно, проучили его не раз!

Почувствовав перемену в настроении толпы, Гудзь стал нагло и убедительно обвинять Лейбу и оправдывать себя.

— Вот у меня сердце болит и за небожа, и за его бедную господыню, но чем же я, люди добрые, винен? Напасть, на мордер, напасть! Я бился за цену, как последний мерзавец... ну и задурил, заморочил... ради небожа... а он и Свырыд мне приказали: «Кончай и приходи с купцом и волами к корчме...» Как же я мог не послушаться, люди добрые?

— Та так, так! Он правду... по совести,— отозвалось большинство.

— Ну, и погнал я половых,— продолжал самоуверенно Гудзь,— с двумя свидетелями... я их знаю... здешние... Я стою с волами, а они все вошли в корчму... А потом, через какую годыну, я слышу голос Оверка... ну, вот чтоб я на этом месте детей не увидал — его, небожа, голос: «Передай,— говорит,— мои волы, гроши уже в кишени!» А тут еще и два свидка подтверждают... Как же мне было не отдать?

— Он щиро говорит... Это точно,— отозвался Свырыд.

— Ох, моя несчастная головонька! — вздохнула беспомощно Соломия.— Я всему виновата... доручила половых Оверку, а Оверка куму-соседу... Вот теперь и целуйся!

И муж, и Свырыд молчали, не находя оправданий, а Гудзь даже заступался за них и утешал Соломию,— что лишь бы только найти волы... да поскорей урядника... и советовал уже властно толпе, чтоб, как только войдут, так сейчас же к еврею, а он с молодичкой кинется по кошарам... Лишь бы только найти, а тогда смело бери свое добро... никто не отберет... у нас сколько вон свидков!

— О! Зубами ухвачусь! У мертвой разве вырвут! — выкрикивала молодица.

— Так, так! Зубами, серденько, зубами! — одобрял и приятель.

Впрочем, по мере приближения к хутору, напускная храбрость его уходила в пятки и рассыпалась по спине жгучим морозом; отступление у него было отрезано, а сейчас предстояла расправа... и расправа ужасная! «Ведь при первом слове Лейбы,— метались у него в голове тревожные мысли,— обыщут, найдут злополучные деньги... и утопят... а если не утопят, так истерзают... Первая Соломия вырвет глаза!.. И какую я уструганул дурость, не перепрятал денег!.. Ой, мамо! Если бы при мне их не было, то можно еще отбрехаться, что жид врет, а теперь — пропал! Ой, куда б их выкинуть... вот уже и этого дьявола хутор!»

Гудзь с воплем метнулся было отдохнуть на секунду во рву, но Соломия не постеснялась вместе с Оверком и односельчанами проводить приятеля к месту отдохновения...

Впал в уныние дядюшка; силы ему изменяли, вилась вокруг сердца змея; холодный пот выступал и струился с висков, руки и ноги немели... Молча, безнадежно, корясь неизбежности, он подвигался вперед почти на руках у толпы... Вот уже и окоп, и ворота, и дворик посессора... Слепой ужас расширил Гудзю обезумевшие глаза и оборвал все мысли... Толпа вошла осторожно во дворик, и первое, что бросилось Гудзю в глаза,— были половые волы: они стояли привязанные к биде, а выпряженная лошадь паслась тут же, на поводу. Видно было, что Лейба едва лишь приехал и не успел еще отвесть на конюшню савраса, а в кошару запереть половых; прислуга же, вероятно, в это время не находилась дома... Все это молнией вспыхнуло в голове Гудзя и подняло энергию.

— Вот, молодице, твои волы! — крикнул он радостно.— Дякуй бога и меня, голубко! Бери их за налыгач и не пускай из рук... держись за них, как блоха за собаку... А вы, люди добрые, все к Лейбе... вон в ту хату к нему: пускай покажет, кому он выплатил гроши... пускай и свидков притащит! — говорил, захлебываясь и метаясь, приятель.— А тебе, моя ягодка, начхать и на Лейбу, и на его свидков: ни ты, ни дядько Свырыд, ни мой племянник Оверко не получали грошей — так и бери волы... Пусть уже Лейба ищет злодия, а ты своему добру господыня, и никто у тебя не вырвет его из рук...— и он, отвязавши волов от биды, передал налыгач в руки воскресшей от радости Соломии.

Та ухватилась обеими руками за повод и, обливаясь умиленными слезами, стала ласкать своих любимчиков, приговаривая:

— Детки мои любые да коханые; нашлись-таки, мои лебедики, господь смиловался, пречиста сглянулась!

А толпа вместе с Оверком, Свырыдом и свидетелями ворвалась в домик посессора; осталось во дворе только несколько любопытных мальчишек, бежавших за толпой из местечка. Через минуту в домике поднялся бурный говор и крик, среди которого вырезывался визгливый голос еврея.

Наступило решительное мгновение, но оно уже обмыслено было Гудзем: отвязывая и передавая молодице волов, он в то же время отмотал и накинутый на ступеньку повод саврасого. И когда последний из толпы скрылся в сенях, то Гудзь моментально вскочил на коня

и, крикнув: «Урядника зараз сюда! Я приволоку его!» — бросился к воротам.

Соломия, держа волы, не могла да и не думала препятствовать родичу бежать за урядником, а детвора, столпившаяся у ворот, расступилась, и добрый приятель проскользнул в них и, ударив ногами коня, крикнул на прощанье:

— Поклонись от меня, молодице, пану Лейбе и своему дурню Оверку та перекажи Свырыду, чтоб карбованцев на горячее место не клал, а то растопятся!!.

Выбежал наконец из домика бледный, встревоженный Лейба, чтоб уличить злодия, а злодия уже и след простыл да еще вместе с саврасым...

* * *

Не так было легко, как уверял Гудзь, отобрать своих волов Соломии: как ни добивалась она, как ни распинались свидетели, а урядник, подогретый посессором, забрал их как поличное в становую квартиру... За половыми поплелась и Соломия с Оверком...

Фальшивые карбованцы у кума были отобраны, и ему остался за кабана один лишь приятельский рубль. Не мало бы ушло загореванных рублей и у Соломии, если б не сжалилась над ней судьба: Лейба со своими лазутчиками вскоре накрыл-таки цыгана, хотя последний потом снова удрал, но не было уже больше причин держать под арестом волов...

Намучилась Соломия порядком и, вероятно, не забудет до смерти, как чоловик ее поярмарковал с кумом.

КОПИЛКА

Стояли последние дни декабря, не снежные, не морозные, не сверкающие, а мокро-холодные, с бурым месивом снега, с грязью и пронзительным ветром,— дни, какими вообще богаты зимы южных губерний. Несмотря на позднее утро, в мрачной конуре подвального этажа было темно; свет едва пробивался через узкие у самого потолка щели и ложился мутными пятнами на заплесневевшие от сырости стены и на оклеенную афишами дверь, выхватывая из свернувшегося в углах сумрака нищенскую обстановку жилья. У стены, за железной печуркой с протянутой под потолком жестяной трубой, стояла покосившаяся деревянная кровать; на ней под байковым одеялом, прикрытым еще мужским пальто и жупаном, виднелись очертания человеческой фигуры. Под окном торчал колченогий стол; на нем, на белой стороне афиши, валялись остатки немудрого ужина — корки черного хлеба, кости тарани, две целых луковицы и тричетыре обрезка... В углу из открытого сундука выглядывал край плахты и передника, а рукав вышитой малорусской сорочки висел до полу. На стульях лежала женская одежда, детское платьице, венок с каскадом лент и какие-то лохмотья — не то белья, не то тряпок в красках... На табурете стояла миска с водой и кувшин, а на полу из-за черной керосинки выглядывал старыми бликами жестяной самовар. Вообще в этой грязной, промозглой дыре царил полный беспорядок неприкрытой нужды, незалатанной голи...

Только над кроватью, на прибитой полочке, сверкал под лучами лампады серебряной ризой образ богоматери с веткой флер д'оранжа, да там же стояла еще хорошенькая металлическая копилочка.

Когда лампадка вспыхивала, то освещала розовым светом подушку и на ней бледное хорошенькое личико, обвитое волнами рассыпавшихся темных волос; молодая женщина прижимала что-то к груди и по временам, в полусне, прикрывала его тщательно одеялом... Но вот это нечто закашляло и слабым, пискливым голоском прошептало: «Мама!»

Спавшая женщина вздрогнула, нагнулась к крошке и, осыпая ее личико поцелуями, спросила тревожно:

— Что тебе, моя лялечка? Болит что?

— Питки! — откликнулась деточка.

Мать протянула руку, достала со стула чашку с переваренной водой и напоила дочурку.

— А не болит ли что, ляля? Ты ведь опять кашляла?

— Не! — замотала та курчавой головкой и прильнула своим худеньким тельцем к матери; последняя укрыла ее тщательней, прижала к своей груди, согрела дыханием... и дитя снова уснуло. Но мать уже не могла сомкнуть глаз... Тревога в ее сердце проснулась, наполнила ноющей тоской ее грудь, всполохнула рой темных, назойливых дум.

«Господи, когда же это терзание кончится? — подымался у нее в сердце безмолвный ропот.— И прежде с осени плохо платили, а как заехали в эту глушь, так и совсем перестали... Правда, сборы отвратительные, но чем же мы виноваты? Ой, леле! — вздохнула она тяжело.— Что же будет, если муж не принесет ничего? Уж дожили до последнего; сегодня еще святой вечер»,— и на ее уставшую душу дохнуло теплом забытое, давнее... словно сон, сотканный из света и радости: кутья и узвар на сене в углу... лампады... торжественное настроение и дорогие лица, а здесь? Она окинула взглядом свою мрачную берлогу... Думала ли она дожить до такой нищеты! Какие были мечты, какой радугой улыбнулось ей утро жизни, и как скоро эта улыбка сменилась зловещей тоской. Давно ли? И воображение перенесло ее в уездный, закутанный в раины садов городок... Она, только что окончившая гимназию, сирота, у дальней родственницы обучает детишек... Скука, тяжелый труд, одиночество и серый окружающий холод... Но вот заехала случайно малорусская труппа и разбудила сон захолустья... Родные образы, родные звуки захватили властно и ее молодое сердце, да к тому же нашелся в труппе, хотя и

среди хористов, такой же, как и она, сирота... с чуткой душой, полный энтузиазма, любви к сцене, к искусству, к духовному возрождению родины,— и она, не знавшая света, откликнулась на эти порывы...

Служившая в этой труппе чахоточная актриса Дунина подружилась с ней, пригласила к себе, и там она и Павло Зорин часто встречались. Какие это были чудные минуты! Он мечтал выбиться и послужить родному искусству... Он видел и в ней талант...

— Ах! — вырвался у молодой женщины вздох; она вспомнила ужас, охвативший ее при отъезде труппы. Павло был бледен, слезы дрожали у него на глазах... Он говорил, что оставляет здесь весь мир... А она? Она со слезами упала к нему на грудь... Дунина посоветовала ей поступить в труппу. Ее охотно приняли; наружность, стройная фигурка и голосок ее сразу обратили на себя внимание и антрепренера, и режиссера; последний даже принял участие в новой хористке, сулил ей блестящую будущность, если она станет работать, и предложил, что будет сам ей начитывать роли... С открытым сердцем и увлечением отдалась она этим занятиям, оказав сразу успехи, и привела в восторг своего раздобревшего артиста-учителя... Но вскоре восторг покровителя выразился в оскорбительном стремлении... Хористка дала резкий отпор и тем сразу оборвала свою карьеру... Приходилось или бросать артистическую деятельность, или переходить в другую труппу... Но здесь был единственный ее друг, единственная ее радость в мире.

Больная Дунина посоветовала им не ждать повышений, а повенчаться... и тем сразу избавиться от низких покушений... Они любили друг друга... Нести вместе горе жизни казалось отрадней и легче... Дунина повенчала их и подарила в основу семейного благосостояния поднесенную ей когда-то хорошенькую копилку. Зорина взглянула на шкатулочку у благословенной иконы и, отбросив от лица сбегавшие на него волны волос, провела рукой по горячему лбу. А потом жизнь ее понеслась в каком-то чаде блаженства, заглушившего и нужду, и обиду... Режиссер сначала совершенно игнорировал и ее, и ее мужа... Но дальше начал снова подыгрываться... даже пожелал быть крестным отцом. Она заволновалась от вспыхнувшего воспоминания и даже присела, охвативши колени руками...

— Да, да — год тому назад...— произнесла она громко и опустила голову... Перед ее глазами воскресла пережитая сцена... Ночь... пустой театр... она с вещами идет домой... В режиссерской уборной слабый свет... Мерцает одна только свеча... Сам он останавливает ее и зовет на пару слов.— «А что, кумонько, не надоело тебе еще быть в хористках?» — спросил он, вытирая усердно полотенцем лицо.— «Ой, надоело, куме»,— ответила она улыбаясь.— «Да еще досаднее то, что таланты есть и зудят, а проявиться-то негде, — подморгнул он, — бесталанные идут вперед и хвостиками помахивают, а мы награждены богом, да на задворках».— «Ох, если так, куме, то почему же вы меня не пускаете?» — «Ге, ге! Знаешь — сухая ложка рот дерет...» — «Нет у меня ничего на презент!..» — «Ой, есть!» — захихикал он скверно и побагровел весь от волнения... Она взглянула на него строго и побледнела... Обида сдавила ей горло... слово замерло... «Слушай, кумо,— заговорил он снова серьезно,— не обижайся, а ничего на свете не дается даром... и дурень тот, кто зарывает в землю талант. Ты хороша, имеешь голос, одарена талантом, пленяешь, да пленяешь, а связала свою судьбу с человеком, который не только не поможет тебе подняться, а потянет еще, как камень, на дно... Ну, если раз уже сделала глупость, то образумься... не будь щепетильной... скупой...» — «Довольно!» — крикнула она, возмущенная, оскорбленная таким советом... «Гм!.. — потупился режиссер.— Что ж... я от души, а там как знаете!.. Надеюсь, что разговор останется между нами...» — «Я мужу не скажу»,— ответила гордо хористка и, окинув кума презрительным взглядом, ушла... И действительно не сказала мужу. Но положение их в труппе ухудшилось, а потом начались отвратительные дела... Недоплата жалованья, беспросветная, тупая нужда...

Дверь отворилась, и в комнату вошел стройный, красивый, но завявший уже от лишений субъект,— очевидно, муж бедной хористки. Он бросил у печки охапку тонких поленец.

— Ну что, дал? — спросила Зорина быстро.

— Только два рубля... И то насилу выканючил... Степановой и рубля не дал! — буркнул он и стал распаливать щепки.

— Что же мы будем делать? — всплеснула руками

жена.— Есть нечего, квартира нетоплена... и холод, и сырость. Хозяин гонит... а главное Рона начала кашлять.. Я с ума сойду!

— Успокойся, Люню, не отчаивайся, моя перлыно! Бог даст, как-нибудь... Директор божился, что праздниками выплатит... а если хозяин пристанет с ножом, то отопрем копилку.

— Ни за что, ни за что! — запротестовала жена.— В этой копилке — все мои мечты, все надежды! Каждый грош кидала туда со дня свадьбы... Ни за что, ни за что! Вот тебе нужно будет купить фуфайку, а то простудишься. И то, похудел как! Глаза стали большие... хоть это и красиво, а все же лучше, чтоб ты был полней.

— Пташечка моя, счастье мое! — бросился муж обнимать свою Люню и разбудил дочку.

— Татко, Ронку цём! — протянула она ручонки.

Отец схватил дитятко на руки и стал бегать по комнате, прижимая его к груди; детка хохотала от удовольствия, а мать затревожилась:

— Павло! Сумасшедший! Укрой ее: она и без того кашляет.

Ронка была вручена матери, и они вместе стали одевать свою дорогую куколку.

— Вот и ей нужно будет на праздниках купить платье и капор, да и я совсем обносилась... Морозиха предлагает за шесть рублей и юбку и кофту... шикарные — прелесть! Я и мечтаю, что к новому году отопру копилку и все, все куплю! А ты говоришь — хозяину? Ему пусть директор, а копилка моя... Я ею только и тешусь!

— Ну хорошо. Не будем трогать ее ни за что,— согласился Зорин.— Правда, что и жалко — сколько времени копила от крох! Уж какие были беды, лишения — голодали, холодали, а копилки таки не тронули.

— Да, да! — подхватила жена.— Вот только раз, помнишь, когда заболела Роночка, чуть было не открыли, да Наташа Степанова выручила... Ах, какая она добрая да хорошая! Золотое сердце!

— И какая несчастная! — вздохнул Павло.— Все ее обходят, обижают... вот даже сегодня...

— Ах, голубчик мой, запроси ее непременно к нам на вечерю, а я похозяйничаю.

— Я вот и кофейку купил, и сосисок...

— Что ты? — ужаснулась Зорина.— Забыл, что ли, какой великий день нынче? Да ведь в этот день не то скоромного, да и постного не едят до звезды! Я и Ронке не дам скорому, а до звезды и чаю пить мы не будем, не будем!

Муж сконфузился: с голодухи ему давно снились сосиски и кофе, так он и забыл про кутью, а так же чтил всей душой этот праздник.

— Да я-то сама как залежалась,— засуетилась Зорина,— а в конуре нашей сор и мотлох... Вот что: сбегай ты на базар, купи рыбки, маслин, грибков и прочего к борщу, да и не забудь еще — рису и сухих фруктов... Сенца еще захвати горсть на базаре, а потом зайди в булочную и возьми постных пирожков десяток... Покупай на все! А я здесь приберу и начну варить борщ... Нет, сначала сварю узвар и кутью, а потом уже остальное... И у нас, милые, дорогие мои, будет свято!

— Свято! Цукелки! — забила в ладошки Роночка и, запрокинув головку, весело рассмеялась.

Когда вернулся Павло с покупками, в комнатке уже было чисто, тепло; керосинка шипела, а Ронка, напившись чаю, играла весело на полу.

— Заходил к Наташе,— сообщил Зорин,— да не застал. Ну, да я ей оставил записку, чтоб непременно пришла на кутью.

— Хорошо. Зайдешь еще... А теперь помоги мне.

И счастливые супруги, забыв горе, принялись весело за стряпню, отдавшись праздничному настроению.

Когда узвар и кутья были готовы, Зорина поставила в углу на стул табурет, накрыла этот импровизированный аналой чистой простыней, сверху положила несколько горстей сена и на нем уставила два горшочка (кутью и узвар), скрепив их восковой свечой, за горшочками на своей копилке примостила лампаду, сверху над ними повесила благословенный свой образ... а потом уже принялась за остальную вечерю: ей было теперь свободней, так как Роночка, набегавшись и налюбовавшись на бозю, заснула.

Павло ходил еще по делам и вернулся, когда все уже было готово.

— Наташа будет,— заявил он,— забежала только в кассу получить письма.

Сумерки сгущались, а угол, озаренный свечой да лампадой, выделялся из неприветливой мглы.

Наконец и стол был накрыт и на нем уставлены на тарелках, мисочках и в горшках святочные снеди, среди которых возвышалась и бутылка пива.

Ждут счастливые супруги Наташу, а ее нет как нет! Уже на дворе совсем стало темно, уже проснулась и Роночка и, изумленная роскошью, полезла на стул... как вдруг раздались торопливые шаги, и в комнату не вошла, а вбежала... бледная, растерянная, с потускневшим от ужаса взором средних лет девушка... Она шаталась, и, не ухватись за спинку кровати, наверное б, упала...

— Что с вами, родненькая? — бросились к ней Зорины.

— Брат пустит себе пулю в лоб... и я не могу спасти... один... нас всего только... на свете!

Она задыхалась. Ей дали воды. У Зориной нашлись и гофманские капли.

— Вот пишет,— продолжала через несколько мгновений Степанова,— занял товарищу — мать умирала... десять рублей... из казенной кассы... а товарищ заразился тифом и сам слег... Теперь к первому — ревизия... пополнить нечем... Умоляет, чтобы помогла... иначе позор и смерть! Я его знаю: он не врет, не перенесет... и я ничего не могу сделать... Заслужила — и не дают... Нищая я, ничтожная тварь! А он ждет от сестры,— ломала она руки и металась от нестерпимых терзаний.

— Успокойтесь, Наташа,— заговорил потрясенный Павло.— Не звери же все? В таком горе должны помочь! Я побегу к директору... Я вырву у него из горла! А вам советую отправиться к Борецкой: она ведь огромные получает оклады и бравирует защитой малых... Нет! воспряньте духом: найдутся! Идем!

— Скажите ей, что я ручаюсь за вас, мое серденько,— обняла горячо Степанову Зорина.

Обласканная, ободренная, со вспыхнувшей надеждой в глазах вышла несчастная вместе с Павлом. Зорина замерла у дверей: тупое предчувствие защемило ей сердце, что вряд ли они найдут где-либо деньги: ведь десять рублей в такую полосу общей нужды — громадная сумма! Одна Борецкая, пожалуй, могла бы; но кто ее знает,— взбалмошная она: все у нее зависит от минуты, от настроения!.. «Ну, а если нигде не найдут? Боже!

Неужели же им пропадать? Неужели спасения нет? Ах, чем бы помочь?» — напрягала она мысли до боли... И вдруг сверкнуло в ее голове молнией — а копилка?! Зорина с ужасом оглянулась: озаренная свечой и лампадой, копилка сияла. Роночка тихо сидела на полу, словно пораженная тоже горем...

«Неужели же отдать ей все? Больше двух лет по грошу... Все мечты были в ней, все надежды... и вдруг оборвать их, обрезать? Но и там ведь слепой ужас... Ой, владычица моя!» — боролась она, чувствуя, как холодное лезвие медленно погружается в ее сердце... Зорина стиснула руки до боли и перевела затуманенный слезой взор на малютку.

— Что ты, крохотка? — двинулась она к ребенку.

— Жалко тетю... цукелки ма...— пролепетала малютка. Этот бессознательный отзвук детского сердца порешил сразу борьбу Зориной.

Вошел муж ее, мрачный, раздраженный до бешенства.

— Дерево, камень! — крикнул он исступленно... И сразу умолк, завидя Степанову.

Она была, по-видимому, спокойнее, но мрачное выражение ее глаз говорило о бесповоротном решении, о смерти.

— Все кончено,— зашептала она от изнеможения, холодно, безучастно.— У Борецкой мое горе вызвало не состраданье ко мне, а злобу к директору... «Мерзавец,— закричала она,— вот до чего довел всех! Вещи через этого подлеца заложила... все там... гроша нет. Иди прямо к нему, требуй, плюнь в глаза, заяви полиции! А еще лучше, повесся у него на глазах, устрой негодяю грандиозный скандал, а я с своей стороны устрою еще другой... Иди к нему, требуй!»

Зорина смотрела и на мрачное лицо своего мужа, и на убитую отчаянием Наташу с блаженной улыбкой, с лучезарным сиянием глаз.

— Успокойтесь, друзья мои,— заявила она уверенным тоном,— деньги есть... все спасено!

— Как? Где? — встрепенулись и Павло, и Наташа.

— Вон в копилке! — И она указала рукой на кутью.

— Боже! А я и забыл... отшибло! — бросился охваченный радостью муж.— Там, наверное, больше десяти рублей.

Степанова дрожала, окаменев на месте.

Копилку открыли и высыпали на стол из нее целую груду монет — конечно, медных; среди них только изредка блестели беленькие небольшие кружочки. Стали отделять благородный металл от низкородного и вдруг обезумели от неожиданности: среди монет нашлось два империала старого чекана, ценностью свыше тридцати рублей! Рука ли умершей Дуниной или чья-либо другая бросила тайком благостыню — все равно, это было чудо... и всех оно потрясло мистическим трепетом. Только спустя немного высокое настроение перешло в бурную радость.

Денег, кроме этих империалов, оказалось в копилке до пятнадцати рублей. Было еще сравнительно рано, и Павло немедленно отправился с Степановой в еврейскую контору перевесть депешею деньги. Зорина же, одев потеплее деточку, бросилась по магазинам захватить нужное: фуфайку мужу, капор и платьице Ронке, да и за себя не забыла; кроме того, на целый рубль накупила картонажей и лакомств для крохотной елки.

Уже поздно собралась снова компания в конуре Зориных и принялась за вечерю... Но, господи, сколько радости, сколько счастья было в этой вечере!

Когда ушла Степанова, Зорина бросилась к мужу, обвила его шею руками и воскликнула в порыве умиления:

— Знаешь, мой милый, мой дорогой? Нет больше радости на земле, как дать счастье другому!

— Нет, есть еще большая радость,— возразил опьяненный восторгом Павло.— Это иметь дружиной такого небесного ангела, как ты!

На другой день, когда они вернулись из церкви, Зорину ждала еще большая радость. Сам директор завез ей главную роль из пьесы «Не ходи, Грицю, на вечорниці!» и просил в записке спасти спектакль: «Гай-де больна, а Борецкая отказалась... Режиссер же за вас ручается».

Роль Маруси у Зориной была на слуху, она изучала ее в игре Борецкой... и с страстностью накинулась на тетрадку... Вечером прорепетировала она места и пенье, а на другой день сыграла с шумным успехом. После этого дебюта она сразу заняла видное положение в труппе, да и муж ее стал выдвигаться...

ЧЕСТНЫЙ

(Очерк)

Года три тому назад мне пришлось по делам съездить в Каменец. Стояли чудные дни золотой нашей осени, а потому я и отправился в путь без зимней одежи; но вдруг погода через ночь резко изменилась; я схватил в дороге легкую ангину и вынужден был остановиться в уездном городке В. Приглашенный врач порекомендовал мне дня два не выходить из комнаты и, во всяком случае, запастись теплой одеждой. Я призадумался: выписывать из Киева ее — затянуло бы время, а шить здесь, в городишке, было сомнительно. Я стал советоваться с хозяином, и тот заявил решительно, что здесь сошьют лучше киевского, потому что здесь портной Честный, какого нет нигде — честный и по фамилии и так... Его все почитают за рабина.

—Вам даже ходить не нужно! — продолжал он.— Честного все склепы * знают и, по требованию его, принесут сюда все, что угодно... И торговаться не придется: купцы ему отпускают по своей цене за небольшой процент... и за работу он берет, что найдешевле... и слово у него, говорю, что у рабина!

Эти отзывы о Честном меня заинтриговали, да и сидеть одному в карантинном заключении было тоскливо, и я послал мишуриса ** за портным.

Честный явился. Это был субъект небольшого роста, с довольно симпатичным и даже красивым лицом, обрамленным овальною, черною, с сильной проседью, бородой.

* Склепы — магазины. *(Прим. автора)*.
** Мишурис — посыльный. *(Прим. автора)*.

Волосы на голове его были низко острижены, с маленькими височками. Держался он скромно, но с достоинством и сразу внушал к себе доверие.

Спросив обстоятельно, что мне нужно, он посоветовал делать не шубку, не пальто, а двухбортную бекешу, вроде венгерки. Я согласился. Через полчаса нанесли мне мехов, сукна, драпов — целую комнату. Честный внимательно рассмотрел товары, выбрал, как и мне казалось, самое лучшее и, перекинувшись с приказчиками по-еврейски несколькими словами, заявил решительную цену. Я заплатил без возражений. Пока он снимал с меня мерку, мне подали самовар, и я пригласил портного напиться со мною чайку.

Из первых же слов беседы с Честным оказалось, что он человек интересный, бывалый и не без развития — особенно религиозного. Многие остроумные замечания его и высказанные вскользь общие мысли мне понравились, и я старался всевозможными средствами задержать моего собеседника и скоротать с ним вечер. Узнавши, что я из Киева, он стал расспрашивать меня про этот город и сознался в конце, что сам долго там жил и что ему Киев по многому и близок, и дорог. Разговорились, и оказалось, что портной в нем работал года три, на той самой улице, где я постоянно живу.

— Удивительно,— заметил я,— что мне ваша фамилия не бросилась в глаза... Она такая выдающаяся, что сразу бы врезалась.

— Ничего удивительного, пане, нет,— улыбнулся он добродушно,— тогда я не был Честным... Ой-ой, как еще не был!

— Как так?

— А так, ведь это моя не настоящая фамилия, а прозвище... добрые люди навязали; моя же природная фамилия Курманд, и хорошая фамилия — древняя...— вздохнул он невольно и провел по бороде тихо рукой.

Подали к чаю и водочку с закуской — сардины, сыр, ветчину... Я налил рюмку гостю, но он решительно отказался.

— В рот не беру,— повел отрицательно он головой,— вот этот самый шнапс чуть не погубил и меня, и семью мою... волосок только удержал... и дорогой этот волосок! А прежде я это зелье лакал, как пес... прежде даже вот

и трефное жрал, не стесняясь; знал, что обижаю своих, а жрал... задеревенел было на ферфал! *

— Ну, насчет трефу,— возразил я,— то это ведь предрассудок. Ваш старый дедушка, может быть, и был прав, запрещая свинину, потому что она в жарком климате действительно вредна, а если бы ему пришлось побывать в наших холодных палестинах, то, наверное, он и сам бы себе разрешил кусочек ветчинки.

— Хе-хе-хе!! — засмеялся Честный, причем вокруг его небольших черных глаз залучились морщинки.— Конечно, в Пятикнижии многое запрещено по климату или неведению... Но это все вместе составляет, пане, уздечку на нашу волю... и дает ей силу... Без узды ведь и добрый конь собьется с дороги...

— Да вы философ... Только чаще бывает вот что: исполнение мелких формальностей религиозных,— чем особенно отличается ваш старый закон,— совершенно удовлетворяет ревнителя веры, и он сможет, вне этих формальностей, совершать со спокойной совестью против ближнего тысячу преступлений.

— Бывает, бывает,— печально покачал головой Честный,— но это во всякой религии... это уже ганч ** не веры, а нашей души... Вы меня, пожалуйста, извините, а и ваша православная вера... Ох! ох!! Меня хотели принудить креститься... и давали читать евангелие... хорошая книжка и учение в ней ой какое хорошее: и у нас такого нет, чтоб любить врагов и подставлять им свою щеку. Правду сказать,— и то учение реби-еврея ***, и писали про него евреи... Вы меня звиняйте, пожалуйста! И в книжках это хорошо, что всякого нужно любить, как самого себя. А что же на самом деле? Православного ненавидит католик, штундист ненавидит и православного и католика... Я уже не говорю о нас, жидках. Везде христиане нас гнали, вешали, палили... Так было и прежде, так и теперь! Лишили вот всех прав: ни земли, ни хлеба, ни места на свете... а только одно право — умирать с голоду... Ох, пане, пане, разве это не правда? А еще попрекают, если наш брат на плутовство какое пускается. Да и в плутовстве пошла теперь конкуренция. Что же ему, бедному, делать? Дайте ему честный хлеб. Ох, пане,

---

* Н а ф е р ф а л — тут: зовсім, до кінця (*євр.*).

** Г а н ч — недолік.

*** Р е б и — вчитель (*євр.*).

книжка-то хороша, а что на деле? Только извините, пане, за беспокойство и за мой язык...— Он стал прощаться, но мне не хотелось расставаться с интересным собеседником.

— Останьтесь еще... Поговорим, но не о религиозных вопросах... Вы совершенно правы, что хорошие мысли пока только в книжках. Но все же нужно помнить, что они мало-помалу... медленно, а переходят-таки в жизнь: и школы, и больницы, и банки, и всякая помощь да защита несчастному увеличиваются... Конечно, пройдет много веков, когда мы, как настоящие христиане, обнимем друг друга... а все же улучшается жизнь.

— Хе-хе! — махнул Честный рукой.— Улучшается! Вон и теперь, говорят, англичане-христиане буров-христиан вырезывают... Ох, сильный везде бьет слабого себе на корысть, бьет да еще и приговаривает, что во славу бога!.. И так, куда ни посмотришь... везде корысть, своя шкура! И эта помощь — наука, банки и все такое — только для богатых, поверьте... Ну, а все же вот есть что-то,— он не договорил и как-то задумчиво опустился в кресло.

— У вас, вероятно, было что-нибудь очень интересное в жизни,— заметил я,— вот этот, например, волосок?..

— Хе,— улыбнулся он,— что из мерзавца сделал меня честным?

— Если так, то это еще любопытнее.

— Особенно чтоб интересного ничего в моей жизни не было, а так вот что-то непонятное.— Он как-то оживился, потер себе рукой лоб, словно желая прояснить в нем воспоминания, и, отхлебнув немного чаю, начал охотно, пересыпая речь польскими, малорусскими и еврейскими словами.— Видите ли, пане, я из хорошей, древней фамилии... но род наш беднел и беднел... гешефтами жили от панов... а какие теперь гешефты, коли паны разорились?.. А разорившись, сами кинулись на гешефты и у нашего брата отбивают работу... Поверьте, пане, наибольше лают жидов конкуренты по шахрайству... Только я опять, извиняйте, в сторону... Так вот у мамаши моей было нас двое: я и брат... Ну, Абрумка был бледный, худой, все кашлял... и мамаша и все говорили, что ему не жить... а если не жить, то я буду у матери один, значит, мне первая льгота... Так и порешили: мамаша у меня были очень хорошая женщина... дай бог всякому...

любили меня, ох, как любили! Хотели, чтоб я на рабина вышел, и я был не от того. Стал я читать тору, а разом и обучаться портняжному ремеслу. Ну, а тем часом познакомился... нет мы были знакомы с детства... а подружился я с одной бедной девушкой, сиротой, служившей вроде как за наймичку у наших соседей; была она и красивая, ой-ой! золотое ябко!..* и работящая, и кроткая. Знаете, такие глаза ясные, синие, как небо на зорьке... вот, какая бы у вас на сердце ни завелась тоска, как бы ни закипела от ярости желчь в печенке, а стоило только заглянуть в эти ясные очи, и все утихомиривалось, и на душу слетал тихий шабаш... Что тут долго толковать, пане,— мы полюбили друг друга... Ну, известно, виделись, толковали, плакали вместе... и земли под собой не слышали... А мамаша задумали меня при жизни женить... и выбрали, конечно, невесту с приданым. Ну, когда они мне заявили о том, я чуть не упал: так, мол, и так... не могу, люблю другую... «Кого?» — спрашивают. «Ревеку»,— говорю. «Ай, гевулт! — закричали мамаша.— Наймичку, магальницу?!** Ты опозорить хочешь свой род? Я никогда не дам тебе на то благословения!» — Начали плакать, бить себя в грудь, рвать волосы... Так плакали, что аж сердце мое пропекли эти слезы... А все ж таки оставили меня пока в покое, чтоб одумался. Встретила меня потом Ревека. «Лейбушо мой, дукатик мой ясный,— говорит и слезами давится,— нейди против матери... Не пошлет нам бог счастья... Все на свете делается, как в золотой книге написано... без тебя мне бегрубен***, а все ж твоя доля мне дороже своей...» Что я говорил? Я ухватил ее, как мешигине...**** и стал всем талмудом клясться, что для нее все на свете... а без нее пропаду!.. Поплакали мы и разошлись... Все думаю, что будет? Только не пришлось мне долго думать: моя мама вскоре скоропостижно умерли... Ох!! — вздохнул он тяжело и смолк.

— Отчего же умерла? От огорчения? — спросил я, желая прервать молчание собеседника.

— Нет, от холеры,— вздрогнул он и, закурив папироску, стал продолжать: — Прошло с полгода, и я таки

* Ябко — яблуко.

** Магальница — служниця.

*** Бегрубен — тут: могила *(євр.)*.

**** Мешигине — божевільний *(євр.)*.

взял свою сироту и переехал в Киев, так как и больной брат скоро умер... Что мне говорить, вы сами хорошо понимаете, какое счастье жить с тем, кого любишь! Ох, великий бог Авраама послал большое утешение людям — эту любовь. Когда она живет в сердце, то жизнь, какая бы трудная ни была, сдается раем... и все люди кажутся братьями. В наших книгах тоже говорится, что победить всех наших неприятелей может только любовь. Жена наняла квартирку, убрала ее как лялечку, а я стал бегать за работой... Знакомства завел... и мало-помалу — то починку, то пальто, то пиджак... Работал целые дни и ночи. Жена помогала... А потом завел и подмастерье, и вывеску купил, хорошую вывеску! А через год у нас и дитю нашлось. Ой! Ой! Сколько было радости! Сынок такой превосходный, антик, редкий можно сказать сынок! — Честный защелкал одобрительно языком и отпил глоток чаю, а потом взглянул на меня подозрительно.— А может, я пану надоел своей болтовней?

— Нет, что вы! Я с живейшим интересом вас слушаю.

— Так вот выходит,— продолжал Честный,— что и радоваться слишком не след, бо за радостью идет вслед горе. Как у нас говорят: ви ваг из а цуре! * Не успел я натешиться сынком, как общество меня назначило в списки. Не имело права, но я был сирота, бедный — и ферфал! Я должен был брать жереб — и жереб поймал такой, что сразу забрили лоб... Жаловался — ничего не помогло... Погнали, и сразу на край света, в Ярославскую губернию! Ох-ох-ох, пане. Где бедному да бесприютному искать защиты? Ну и началась солдатская жизнь. Попросту сказать — каторга... Что нашему брату достается! Ой, лучше бы это навеки забыть! Одно слово: жид, парх, собака!! Другой и клички нет! Товарищи... гм! Какие у жида товарищи могут быть?.. Разве попадется свой брат... Ну, тогда уже за брата родного станет, а не своего — и деньгами не купишь: пока даешь — он тебе и приятель будто бы, а перестал давать — еще горший ворог,— их бин аид!** Конечно, и меж чужими, как

* В и в а г и з а ц у р е (ви глик, дорт из а цуре) — де щастя там і горе (*євр.*).

** И х б и н а и д (ви бин а ид) — як я еврей, тобто: правда, як я еврей,— клятьба (*євр.*).

говорится у нас, звиняйте, меж акимами, может найтись щирое сердце к нашему брату... Редко, но может... А такое сердце непродажное, некорыстное, а жалостливое к совсем чужому человеку — ой, какую силу имеет... ой, мамо, какую! Ну, там в полку такого не нашлось, и стало мне пекло: раз — муштрой катуют... что вам говорить — вы сами понимаете... Хоть бы относительно этого ружья: я его в руки боюсь взять, а меня заставляют стрелять... Теперь-то смех, а тогда был гевулт. Ну, и мордуют всячески... Так говорю — одно муштра, а другое нудьга! Такая нудьга за Ревекой, за Шмуликом, такая тоска, что смерть, та и уже! Думал я, думал и решился повеситься... Чтобы я свои дети так видел, как не решился: и бечевку купил, хорошую, крепкую... и гак нашел добрый в казармах... и время выбрал отличное, да, слава богу, помешал... вы думаете, кто-нибудь чужой? Нет, свой собственный страх. Стал я на табурет, надел петлю... да как подумал: а куда я скакну? Так у меня и мурашки по спине побежали... Главное, что неизвестно... Как подумал я это... хе-хе! так сейчас веревку с шеи и для храбрости пошел и выпил целый стакан водки, а как выпил, у меня на душе стало веселей, и я решил, что выгоднее лечить грызоту водкой, чем бечевкой. Так и стал поступать: как только чи муштра, чи нудьга допекут, так я стаканчик, и ничего — легче... Одно только,— засмеялся он в бороду,— и мое лекарство, как и докторское, чем дальше, стало помогать хуже. Сначала меня стаканчик совсем облегчал, а потом уже одного было мало, нужно было два, а потом дошел до трех. Но это еще не все: докторская микстура всегда паскудна, сколько ее не принимай, а моя чем дальше, тем становилась приятней... и я уже не ждал большой тоски, а и при маленькой начинал шнапсом лечиться. Дальше и начальство из-за этого лечения стало мне неприятности делать, а мне и на руку: после каждой неприятности нужно было лечиться... Что вам говорить — пьяницей сделался, горьким пьяницей!.. И что мне было б? Но, на счастье мое, узнали, что я портной, и перевели из муштры в швальню... Там уже пошло другое обращение и никакой муки: сиди себе в теплой комнате и шей... Тут уже и гешефт можно было делать... Одно слово, веселей стало. А я все-таки,— и причины нет, а к лекарству — и квита! Так уже затянуло! Да что вам

еще? Работа пошла в полку; я таки хорошо умел и шить и кроить; ну, сделал одному офицеру мундир — заплатил и похвалил, сделал другому тужурку — доволен остался и сказал третьему... А тут и пани полковница присылает: «Можешь сделать мне шубку?» — «Так точно,— говорю,— ваше высокобродие, могу» Ну, сделал ей и угодил... С того часу, пане, Лейба Курманд сделался первый человек: и уважение, и честь, и деньги! Одним словом, Курманд стал Лев Моисеевичем. Ох! А вы, пане, спросите,— перестал ли пить? Ой вей!* Еще больше пьянствовать стал и все заработанные деньги бросать на всякое паскудство! Сначала за семьей как тосковал, ой на гвалт, а потом чем больше стал пьяным валяться, тем меньше было времени вспоминать семью... Сначала было ждешь письма от нее, как мессии, а получишь, так кожное слово выплачешь, выцелуешь: как она, бедная, мой брильянт ясный, побивается, как працует, как ждет меня! Бывало, отписываешь ей... и слезы не дают писать... ну, и деньги, конечно, посылаешь.... А потом — не то денег, а и лысты перестал писать... даже, бывало, как получу письмо из дому, то не распечатываю, потому знаю, что в нем радости нет, а в горе пособить мне было нечем: все шло на баловство да на водку... Ну, что вам долго говорить? Камнем стал, сделался настоящая, звиняйте на слове, свинья! И работу уже мне перестали давать, потому что, случалось, и материал пропивал... И не знаю, до чего бы я докрутился, если б не получил бессрочного билета. Ну, я спродал все, и фур-фур в Киев, к своей семье. Ну, и радость берет, и опять-таки, словно коты царапают сердце. Приехал... и вот тут было повис на волоске, да вот что-то... Одначе простите,— поднялся он со стула,— вам и отдыхать пора...

— Нет, ради бога, я так заинтересован вашим рассказом,— всполошился я,— если только вы сами не устали, а у меня и на маковое зернышко нет сна.

— И у меня прошел,— улыбнулся Честный и снова сел в свое кресло.— Как стал перебирать в памяти, что пришлось пережить, так одно за одним и разбудило сердце... Ох-ох! И что-то, пане, значит? Сколько мук перенес на приеме, сколько имел катувань на службе, аж мало не повесился, а все это теперь не грызет, а стоит

* Ой вей!— Ой горе! *Евр.)*.

перед глазами спокойно, как какой-нибудь сон... А вот такое,— как мамаша хотели женить, как Ревека плакала и как потом еще... так и вспоминать больно... Хватает за сердце, ножницами режет — и будто хорошо, что прошло, и будто жаль, что другой раз не придется пережить такого...

— Да,— согласился я,— в воспоминаниях горечь былого отлетает, а остается лишь трогательное сожаление, что оно не повторится, как не повторится улетевшая с ним жизнь: оттого и больнее вспоминать хорошие, невозвратные мгновенья...

— Йо, йо*,— закачал утвердительно головой мой собеседник,— это вы, пане, хорошо вытлумачили: именно так, сердце болит за хорошим, а на поганое и горькое смотришь себе спокойно, потому что оно тебя не укусит. Да, так вот за Киев... И маете себе, пане, как только вот начинаю про него думать, так начинает сейчас колотиться сердце... как маму кохаю, если неправда! Вот как будто приехал и с вокзала иду... Ой, как мне тогда было прыкро идти! И жену, и детей увидеть рвало меня, и взглянуть им в глаза я не смел, хоть у Рябка очи позычь, как говорят крестьяне... Будет, мол, допрашивать, попрекать, напустится... и герехт...** А я что буду отвечать,— куда девал деньги, чего не высылал, чего не писал? Вей мир! Так крутилось у меня в голове, а в груди как тысяча иголок... Ну что ж, нужно ехать... Взял я извозчика, сказал адрес... на Шулявку. Везет он меня, везет... ищем мы улицу, ищем дома... Номеров нет, забрались в закоулки... грязь... Одним словом, я сначала доволен был, что время идет, а потом уже досадно стало, что извозчику много платить, и эта досада,— что бы пан подумал,— заспокоила трохи мою грызоту... Стал я сам заходить в каждую лачугу... И вдруг в одном подвале нашел ее, мою Ревеку... да еще как, пане? Вхожу: просто яма,— темная, грязная, со свету трудно что видеть... В углу какая-то женщина порается, на кровати,— это я уже так называю, а что это было... ой-ой! — кто-то ворочается... Спрашиваю: «Здесь ли живет Ривка Курманд?!» И как только я спросил, эта самая женщина, что поралась, кинулась, будто кто ее ударил ножом, и повернулась раптом. «Кто

* Й о — так *(евр.)*.
** Г е р е х т — правильно *(евр.)*

там?» — спрашивает, а рукой — за печь, чтоб не упасть. Глянул я,— а свет от дверей на нее упал,— стоит кто-то худой, бледный. Знакомое лицо, но не Ревека... нет: та была красное ябко, как райская квиточка, а эта — бледная и сухая, как маца, только очи такие же, еще большие... Но голос... голос!.. «Ты ли?» — спрашиваю, и верите ли, пане, запнулся, слово в горле застряло... Как она это услыхала, зараз крикнула: «Мейн гот!*» — и ко мне на шею... бросилась и сомлела... Я уже на руках донес ее до топчана... Ой пане, пане, какая это была радость.. у нее, бедной, у моей несчастной Ревеки! А я... нет... я радоваться не мог... У меня на сердце стояла такая мука, что хоть топись! Жена плачет и божеволиет от радости, а я плачу от жалю и за нее, и на себя... Ах, что и говорить! Ревека разбудила сынка моего,— он-то и лежал на постели, бо был болен... Шмулик не познал тата, смотрит и дрожит... а я не могу на него надивиться: такое дитю стало большое да деликатное, просто антик, только худое аж светится и кашляет... Жена мне при этом шепнула, что она за него боится, что доктор наказал, чтобы перевела в лучшую, сухую квартиру, но что она могла? Хоть на гвалт кричи, а не было сил заработать на лучшую квартиру... Говорит она это, а у меня сердце обливается кровью... и в голову, как утюгом, бьет: «А что ты в это самое время делал, коли твоя пропадала семья? На какие, звиняйте, паскудства ты марновал свои деньги? Ой вей!» Сначала я стал ей брехать, что и мне было трудно в солдатской жизни, что ничем не мог им помочь... А жена не дала даже мне оправдываться: «Что ты, мое золото, мой брильянт чистый! Разве я не знаю, что тебе нечем было помочь нам?.. Разве я сердцем не чула, как ты на этой каторжной службе поневирялся? Ой, мамеле**, разве я не знаю твоего сердца, дорогого та хорошего? Ты и писать нам перестал з-за того, что не мог рады дать... Ой не говори, мой любуню! Все знаю!..» — Шепчет это она, ласкаясь, и каждым теплым словом пробивает насквозь. Небольшие-то деньги были со мной... Я дал немного жене, и она справила нам хороший обед и пива две бутылки поставила... От водки я отка-

---

* Мейн гот! — Боже мій! *(Євр.)*
** Мамеле — матінко *(євр.)*.

зался. Ах, вот как вспоминаю все это, так и теперь будто на душе и Гаменово свято, и судного дня скорбь... Вижу это собственными глазами, какую утеху, какое счастье дал семье мой приезд; жена просто, как мешигине,— и бегает, и смеется, и плачет... то примется за работу, то бросится ко мне на шею, то забьет себя в грудь и станет молиться, а потом и сынок мой... когда присмотрелся, стал лепетать «тателе» * и своими тоненькими, как ниточки, руками обнимать мою шею... Мейн гот! Что это было? Я как пьяный сидел... и только думал, чем я заслужил? И знаете, до того это все растревожило мое сердце, что я, когда сынок заснул, а мы остались одни, почти во всем признался моей балабусте... ** Ну, конечно, никто себе не враг,— улыбнулся он,— немного себя я прикрасил, и причин для пакостей трошки прибавил... Ой, ой!! Думаю, что жена начнет меня лаять, попрекать — и мне бы стало легче... а она, поверьте, слушает... глаза полные слез... а все такие кроткие да любовные... и хоть бы одно слово попрека, хоть бы словечко!.. Я уже сам себя браню и паскужу, а она еще заступается: «Что ты, мой котик, не тревожь себя пустяками, я должна благодарить Егову, что ты пил, бо водка тебя от смерти спасла... Ой, ой вей з мир ***, что бы я без тебя делала!.. Ой, был бы нам всем ферфал!.. Так и не журись, что ты там пил и на то потратил копейку... Тут тебе пить не будет потребы, и мы эту копейку вернем... а что до паскудства, то как же молодому мужчине? Такая уже натура! Ведь ты же меня любишь... а паскудство все равно что дорожная грязь,— умылся, и все авег!****»

— Ревека! — вскрикнул я,— не было во всем нашем народе от Авраама и по сей день такой жены, как ты... не было ни у кого! Ты святая... и я твоего мизинца не стою!

— Стоишь, стоишь! — шепчет и в глаза смотрит так ласково, радостно, хоть сквозь слезы.— Только люби!

— Господи, да я разорвусь теперь! — обнимаю ее, целую... а она, как голубка, воркочет да горнется... После уже призналась, что и ей было искушение, да она не

* Тателе — татку *(євр.)*.
** Балабуста — хазяйка, стара жінка *(євр.)*.
*** Ой, вей з мир (ой, вей из мир) — ой горе мені *(євр.)*.
**** Авег — геть *(євр.)*.

поддалась... потому, объясняет, что женщина другое дело... Хе-хе! Уж очень мы себя, пане, высоко ставим и всякие пильги — себе, а по-моему, и мужчина и женщина перед богом равны и одинаково за все отвечают... Вот и жена: какой ей был скрут, когда меня взяли, просто с голоду пропадала, кутка не имела, помочи ниоткуда; после уже она стала то чулки вязать, то на базаре торговать... А прежде — ниц! Так от, когда ей было до зарезу, увидел ее богатый и молодой еще паныч... и так закохался, что предлагал ей десять тысяч сразу и хорошее содержание, чтобы жила с ним... И Ревека моя даже не задумалась... И скорее бы руки на себя наложила, чем продала себя и свою любовь! Да! Так вот как мы встретились... Ох, ох!! — Он вынул папиросу и долго ее не закуривал, а задумчиво смотрел в темное, закоптевшее окно.

— Да,— заметил я сочувственно,— у вас чудная жена... Таких всепрощающих, кротких действительно встретить за редкость... Вот уже именно беззаветная, самоотверженная любовь!

— Ой вей, какая жена и какая любовь! — подхватил Честный.— И этакую редкую жену, можно сказать, просто святую, я таки выгнал из дому на улицу...

— Что вы?

— Йо, правда, правда! Тяжело вспоминать, а уж такая минута нашла... что утаить ничего не желаю, а все, как было... Потому что как ни сильно зло, а все-таки добро, коли захочет поборикаться, то переможет...

Я молча пожал своему собеседнику руку.

— Бросился я в город,— продолжал он после короткого раздумья.— Ну, свои портные, конечно, не дали конкуренту ни гроша, да нашелся один простой мещанин, ей-богу, совсем простой и на веру мне позычил триста карбованцев... да я еще привез несколько десятков рублей, да некоторые вещи — часы, цепочку, булавку... Мы на все это добыли еще рублей с сотню и открыли на Мариинско-Благовещенской мастерскую с двумя уже вывесками: «Военный и штатский портной Курманд». Накупили мы на Подоле мебели и обставили приемную комнату — ой, ой, как слично. Руки у моей Ревеки золотые, их бин аид! Кроме этой приемной, еще было для семьи две комнаты, сухие, хорошие... И жена и сынок

от радости не знали, где сесть и где стать... Да еще балабуста и кормила нас первую неделю, как на пейсах... Что вам говорить пане? Узнать нельзя было жены за неделю, так помо́лодела и похорошела... Что-то значит счастье! Сынок только все еще кашлял... Ну, сразу же было нельзя. Устроились это мы, и стал я бегать по городу за работой. Трудно было сначала: развелось много нашего брата портного, один у другого из рук рвет работу, на убыток хватает заказ, лишь бы перебить. Горек этот кавалок * хлеба, особенно если голодные соберутся в одну купу. Нашел я некоторых моих знакомых, прежних заказчиков... да и те то не имели чего шить, то у других заказали — а цуре! ** Пришлося, ой-ой... тяжко пришлось!.. Я начал было отчаиваться; стали подходить сроки и за квартиру, и мещанину... а тут уже и осень упала — холода, дожди, дров нужно, и купить не за что. Ой! мамо моя! Я, бывало, целый день, как магальник, бегаю и работы ищу. Стал уже квартиры предлагать случайным прохожим... Ей-богу. Знаете, бегаючи за работой, присмотрелся, где какая квартира, заходил даже в каждую, будто для знакомых: поторгуюсь, а тем часом и работу свою предложу... так, так! Ну, а потом выслеживаю, кто ищет квартиры... Ну и предлагаю, что у меня сколько угодно и какие угодно! Для нанимателя проводник — клад, а мне и перепадет и с той и с другой стороны то по два, то по три карбованца, а часом, хоть редко, и пять. Так что эту первую осень мы больше квартирами прожили, а если случалась починка, то справляла жена... Уже только под зиму достал я первую настоящую работу, взял десять рублей! Ну, работали ж мы с женой день и ночь; через пять дней я принес моему пурицу*** беке́шу... ой! ой! Что это была за бекеша и как сидела! Антик! Вся семья сбежалась смотреть на папашу, а он, знаете, большого роста, хорошего стану, и на нем как улито... Ну, хвалят все, рады, пуриц прибавил мне на водку рубль... а пани говорит: «Вот бы хорошо, Лейба, если бы ты и дамские работы брал... и я и дочки мои тебе бы отдавали».— «Что ж, сударыня, ваше высокобродие,— ответил я по-военному,— я могу!.. И пани

---

* Кавалок — шматок.

** А цуре — горе, біда (*евр.*).

*** Пуриц — великий пан (*евр.*).

пулковнице шил!..» На радости так закортело мне выпить, просто на гвалт, да удержался, потому что чувствовал, что раз выпью, то будет шлехт!*

Вернулся я домой, такой радый; рассказываю, даю деньги жене, а она мне: «А что,— говорит,— герехт. Напиши на вывеске, что и штатский, и военный, и дамский портной».— «А когда придет кака́я пани?» — спросил я. «Герш-ту, что я сделаю? — ответила Ревека.— У меня есть знакомая одна мастерица у Каца, она возьмется поштучно помо́гать, а коли заказы пошлет бог, то и совсем перейдет к нам: ей там, у этого Каца, не бардзо».— «А гитес копф!**» — поцеловал я свою балабусту и пошел искать маляра. Нарисовал он мне за три рубля вывеску, теперь уже было три: на одной стоял военный в эполетах, на другой штатский в цилиндре с сигарою, а на третьей — сличная пани, фай, фай!.. В шубке... хорошо намалевал! Ну и, знаете, с этой бекеши мне повезло: то сертук, то жакет, то шинель... а нарешти и дамская шубка... На хутровых вещах то я знаюсь, и без мастерицы сшил так, что пани осталась очень довольна. Ну, а коли пани довольна, то она лучше, чем объявление в газете... И мне стали перепадать чаще и дамские заказы... Что вам много говорить,— к концу зимы у меня явилось такого заказчика, что я даже взял подмастерья и начал переманывать мастерицу от Каца... Мы даже с балабустой гадали переменить квартиру и открыть настоящую мастерскую с своим материалом и припасом — это очень выгодно... Но, как говорят мужики: чоловік міркує, а бог керує!.. Зима то у нас прошла хорошо: и половину долга сплатил, и дома завелась копейка, и балабуста... звиняйте,— у нас это считается большим счастьем,— одно только худо — сынок не поправлялся, а к весне еще горше ему стало... Что я ни дела́л, водил его по всем докторам: берут деньги, дают рецепты, а дитю все кашляет и марнеет. Советовали нарешти, чтоб я отвез его в теплые края, а то здесь, говорят, достанет чахотки. «А чтобы вам так дыхать было легко,— думаю себе,— как мне есть на что везти его в теплые края...» А моя голубка мне порадила, что, мол, и тут можно сделать теплый край,— больше топить комнату для сына, та

---

* Шлехт — погано (*евр.*).
** А гитес копф — розумна голова (*евр.*).

й уже... И мы дров не жалели... Так палили, так палили, что из комнаты вышла настоящая баня... Трудно было высидеть, так и заливает потом, а сынку все однаково, даже от теплоты слабеть стал... Ох-ох! Как то тяжко, когда видишь, что своя кровь гинет, и нет помочи, и не можешь рук подложить... Загрустили мы, затосковали... и до работы не так уже тянет: посмотрим на дитю, и руки опускаются. А Ревека мне: «Не журись так, Лейбуню,— утешает все,— если бог хочет наше дитю взять к себе, значит, оно ему до сердца, а коли до сердца, то оно достанет там хорошее помещение... А нам за Шмулика Егова пошлет другое...» — «Что ж,— улыбнулся я,— и то правда». А все-таки жаль сына; только и тешил себя, что через какие-нибудь пять лет дождусь большого свята: у нас на тринадцатом году сын уже считается по религии совершеннолетним и может надевать талес... И этот день для него и для меня был бы великой радостью... Ох-ох! — вздохнул глубоко Честный и стал продолжать торопливо: — Говорить мне нечего. Лето прошло плоховато... Работы вообще летом мало, а у нас и подавно... Перебивались кое-как... Много было вольного часу, и я часто с сынком ходил в ботанический сад. Сначала почти таскал под руку,— так обессилел он... одни только косточки, а лицо — маленькое, аж светится... Только глаза стали большие-большие да глубокие... Потом ему к концу лета сделалось лучше... даже краска на щеках показалась и повеселел... И стал он просить, чтоб до гимназии... Ну, я обещал к осени. А тут нашелся один студент, Шостенко, такая добрая душа, такое жалостливое сердце... ой-ой! — и Честный, в подтверждение своей мысли, както характерно зацмокал губами.— Этот Шостенко уже почти кончал науку и снял у нас на новой квартире небольшую комнатку; бедный был, но працовал на ферфал... Так мой больной Шмулик стал забегать к нему... и может пан поверить? Этот самый Шостенко даром взялся приготовить дитю в первый класс... Мало того, похлопотал там и бумагу подал... Так что приняли... Господи! Что это было за свято, когда наш родненький пришел в форме: я ему все пошил, как панычу... на последние, заложили серебро... а нашему квартиранту, пошли ему господь всякое счастье, обещал сшить за его працу и за доброе сердце к нам, евреям...— ведь был же Шостенко христианин — так обещал сшить ему даром

весь костюм, когда окончит науку... а он в ту зиму и кончать имел. Смеется только студент таково ласково: «Не нужно мне, говорит, даром... вам и самим, говорит, придется еще долго биться, пока выбьется в люди... а я, говорит, с ним занимался залюбки... Полюбился мне, говорит, ваш сынок... спрытный он, только вы берегите да сдерживайте от лишней праци, а то он слабенький...» Уж мы не знаем, где и посадить нашего квартиранта, а сынку лучший кусок... Ну, что вы, пане, хотите,— первый человек в хате! Пришла осень; стало близиться время жене, и работы прибывать стало... Пригласил я подмастерья, подговорил на всякий случай закройщицу... и жду... Бегаю по городу и жду... Сынком моим начальство не нахвалится, и всякий, кто увидит, так не натешится... хвалит, завидует... Ну, и захвалили! Уже как началась осень, то начался у него снова кашель, а к нашим кучкам простудился совсем наш паныч гимназист... ой, мамо! Мы его так и звали — гимназистик-паныч... Уж как мы его кутали — и фуфайка, и теплые подштанники, и шерстяные панчохи, и ватное пальто... ой, все, что только можно было надеть на дитю... и не уберегли... на наши кучки он простудился... бегал там с панычами, гулял, спотел... а ветер был холодный, пронзительный... Что говорить! Пришел, как сваренный, и гугелю * не захотел есть... а к вечеру — горячка, кашель, и кровью стал харкать... Что мы ни делали... ой! Ничего не помогло! В несколько дней сгорел! А тут и жена... побивалась, знаете, лементовала и что-то себе повредила... да и сбросила, и все это за одну неделю! Ой, какое это было горе, какая грызота! Разорвал я сюртук, просидел босым ночь и день... и не выдержал муки — напился мертвецки пьяным... Ой, как спробовал я того яду — так и пошел: то на похмелье, то на гризоту, то от досады... И работу забросил: ничто не мило, ничто не любо... Даже моей балабусты не жаль, будто она виноватой была и в том, что породила первого без гезунду** сына, и в том, что не доносила второго. У нас, знаете, чем больше детей, тем больше чести, а ежели жена не шанует працу, то можно с такой и разойтись... Ох, что-то натерпелась моя несчастная балабуста Ревека! Как ей было, бедной,

* Гугель — святковий пиріг (*евр.*).
** Гезунд — здоров'я (*евр.*).

смотреть, что муж аж опух от пьянства, за работу ани пальцем... Мало того... еще в пьяном виде на всякое паскудство... звиняйте, пане... Известно, как свинья... А жена, видите ли, хоть бы слово, только просит, чтоб себя пожалел и еще за последний грош старается угостить... даже водку купует, лишь бы дома сидел... Другому бы это зрушило сердце, а мое камнем стало и еще ныло с досады, что жена не упрекает и не жалуется: то бы сам стал дорекать, лаять и сорвал бы злость, а то таи ее, ховай в груди... Ой вей! Ей богу правда! Заказчики при таких делах, конечно, откинулись: новых я не искал, а старые как-то носом чуяли, что тут неладно... Впрочем, жена всеми силами скрывала свою беду и принимала заказы... с подмастерьем сама шила... умолила его остаться... Но я и тут ей устроил шлехтес гешефт...* Раз я встал, проспавши пьяным весь день... Голова трещит, словно рассыпным огнем в ней стреляют... а тяжелая — удержать не могу на плечах... Ой, опохмелиться бы,— так решительно нечем... Обшарил я комод и шкафчик — ни обрезочка! Вышел в приемную, смотрю — на столе лежит мех и кусок дорогого сукна... Не долго думая, я захватил все под полу, а в комнате никого не было, и в ломбард... достал десять рублей и три дня не вертался домой... Пришел, как злодий... не знаю, познал бы кто меня или нет, а жены-то я не познал... лица на ней нет, под глазами синяки, а глаза запали глубоко... лежит, бедная, и стонет... «Ты, Лейбуню,— спрашивает,— взял?» — «Я»,— ответил я и сам не услыхал своего голоса. «Ой, гевулт! — всплеснула она руками.— Что же тебе, бедному, теперь будет? Ведь берется все на твое имя и ты отвечаешь, а принес-то большой чиновник!» — «Зачем же вы берете, не спрашивая меня?» — огрызнулся я, хотя слабо, потому что ответственность начинала меня пугать. «Ой вей мир! Ой мамеле! — залементовала Ревека.— Та я все беру и працую, не складаючи рук, лишь для тебя, чтоб был тебе теплый куток, чтоб был тебе хлеба шматок и чарка водки... А ты еще на меня! Ой вей! А я, несчастная, как тень хожу, от ветру шатаюсь, а все креплюсь, чтобы тебя заспокоить... потому что сердце мое болит за тобой, ой как болит!» — и она упала на подушки и так зарыдала, что в моей груди будто

* Шлехтес гешефт — погана справа (*евр.*).

рвали все ее стоны... «А!— крикнул я.— Так конец же! Псу песья и смерть!» — и как мешигине бросился было к двери... Но жена схватила и удержала меня за полу. «Куда ты, арме? * Что задумал? Не бойся, любый,— я все исправлю... Я выпрошу, вымолю денег и выкуплю залог... Я, наконец, у заказчика буду валяться в ногах. Я всю вину возьму на себя... я за тебя, мое золотое ябко, в тюрьму пойду, на каторгу... в яму... только не бей такими словами меня... Я и без того уже горем побита до краю!» — и она упала на колени и стала обнимать мои ноги... Ох, какие она слова ласковые говорила! Как плакала, бедная!..— У самого рассказчика брызнули из глаз слезы, и он выхватил смущенно платок и закрыл им лицо...— Перепрошую вельможного пана... за мою... неловкость...— произнес он, несколько оправившись,— как все это вспомнил, так словно вот ее на коленях увидел... ну и не выдержал... И что это я в самом деле? Постороннего господина беспокою своими глупостями... Никогда, никому не приходилось мне признаваться про бывшие пакости... а вот первый раз пана вижу... и вдруг... стар уже, видно, стал и болтлив... простите!

— Что вы, что вы! — удержал я своего гостя за плечо.— Мне ваш рассказ доставил необычайное удовольствие... Не глупости в нем, а драма жизни, страданья человеческого сердца... Я глубоко тронут и вашим доверием и вашим рассказом... Ради бога не стесняйтесь, кончайте!

— Ох, спасибо вам! Подождите немного!

Я налил гостю стакан вина, подал сигарету и предложил несколько пустых вопросов о городке, о составе общества, чтобы рассеять тяжелое настроение собеседника, но последний на мои вопросы отвечал неохотно, односложно... и наконец мы замолчали... Прошло добрых четверть часа, пока Честный, вытерши лоб платком, вздохнул глубоко и заговорил снова.

— Правда, коли начал, то уже нужно кончать... Что, бишь, я? Да... Так вот тогда жена меня так растрогала, так зрушила, что я, по правде говорю, готов был наложить на себя руки, а потом, кажется, стал перед ней плакать, целовать ей руки, клясться, что в рот больше не возьму водки... Ревека не давала мне себя грызть.

* А р м е — бідний *(євр.)*.

«Знаю, говорит, что от горя ты да от муки, а сердце у тебя, как дукат...» А от радости и улыбается, и плачет, и ловит целовать мои руки... Я на другой день стал снова бегать по городу, искать заказов... Думаю: уже весна на дворе, шубки не надобно... можно у заказчика отпроситься сроком, а тем временем заработать и выкупить материал... Так бы, може, и сталось, если б не попался лютый заказчик... Он-то, конечно, за свою шкуру, а мне нож в сердце... Встрел как-то меня на улице этот чиновник и давай сразу лаять: «Отчего не несешь шубки? Уже две недели, как прошел срок, а ты и примерять не явился!..» Что мне было ему сказать? Кланяюсь и прошу: «Простите, ваше высокобродие, много заказов было летних, срочных, а я полагал, что вам шубка нужна только на осень...» — «Так чтоб я до осени у тебя, паршивого, оставлял свой материал? Чтобы ты еще замотал его? Вот и свяжись с жидом!» И обидно мне стало, что лается гой, и подумал я разом, что он имеет рацию, бо я не то что замотаю, а уже замотал... Стою я червоный как рак и лепечу, что непременно поспешу... «Слушай! — говорит строго.— Чтоб мне была на этой неделе шубка или же чтоб сегодня же мой материал был у меня на столе — не то дам знать полиции».— «Хорошо, не беспокойтесь, мол, барин!» Остановился я, как отошел он, да и схватился руками за голову: что делать? Беспутная зима отбила у меня заказчика... пронесся слух, что я пьяница... Своя же братия — конкуренты — разнесли, ну, и всяк опасался... А когда я снова начал искать работы, то мне давали лишь починку да переделку — на рубль, на два... Из таких пустяшек ничего не отложишь: нужно же и кушать что-нибудь, и хоть злот какой дать подмастерью... Я уже про встречу с злым чиновником скрыл от жены; она, знаете, на радостях опять была, звиняйте... так не хотел огорчать. Бросился я к тому панству, где в первый раз заказали мне бекешу. «Попробую — думаю,— хорошие паны, любят все по-простому говорить... значит, щирые до простого народу, до бедных...» Прихожу, прошу работы... говорю по правде, что были большие несчастья, разорился. Жалеют, и пани вышла, и старшая дочка. «Вот досада,— говорит пан,— две недели тому назад пальто и летнюю пару сделал, отчего не зашел? А я и искал тебя...» А мы, знаете, перейти уже мусили чуть ли не на Соломенку... «Такая уж, видно, моя доля»,— вздох-

нул я и хотел было уйти, но пан остановил меня. «Разве вот что,— говорит,— я думал к зиме перекрыть шубку и добавить меху, бекеша на большие морозы не годится...» — «Отлично, пане,— ухватился я,— летом все дешевле, особенно меха...» — «Ну, меха,— говорит,— после Ирбитской... а покрывку, пожалуй, я сегодня куплю...» Пошли мы, выбрали... сличное такое сукно — а!.. Дал он мне его, шубу и задатку пять рублей... Господи, как я его благодарил! Лечу домой, земли под собой не слышу... прячу вещи... отдаю дукатик жене... смеюсь и она обрадовалась, страх... «Как бы,— говорю,— еще раздобыть дукатик... так сейчас бы выкупил!»

«Ну, теперь не тревожься, мой котик, половину я спрячу, а другую бог пришлет к осени!..» — «Ой, лучше бы зараз,— вздыхаю,— тяжело этот грех носить!..» «Мейн шац!*» — шепнула она, поцеловала меня и утешила тем, что будет бога просить... Но к концу недели бог не послал мне пяти рублей, а послал пристава: потребовали в участок.

«Что это,— крикнул он на меня сразу,— на тебя жалоба? Ты не только не исполняешь заказов, но даже не возвращаешь материала?» — «Я не виноват, ваше высокобродие,— выбрехиваюсь.— Раз, знаете, сделаешь пакость, то приходится за нее брехать, а раз сбрехал, то уже от брехни не отвяжешься. Не виноват,— говорю,— господин пристав, барин дал мне мех и покрывку, а на вату и подкладку ничего не дал... а своих денег на то у меня нет...» — «Ну, так принеси мне сейчас же сюда его материал, слышишь, сию минуту... я городового пошлю!..» Побледнел я. «Не срамите меня, ваше высокобродие!.. Принесу я и сам!..» — «Ну, смотри!» Вышел я и не знаю, куда идти? На Днепр или на чердак? Пришел домой: жена на базаре... Она не имела уже давно наймички и все сама делала — и квартиру убирала, и шить помогала, и обед варила, и на базар бегала — все сама, последние силы тратила... Так вот стал я перерывать вещи, не найду ли чего в залог... и вдруг наткнулся в шкафу на шубку пана Думенка... «Что ж,— думаю,— заложу ее... пан уже, наверное, до осени, и то до поздней, ее не потребует, а тут зарез...» Еще и то припомнил, что жена про эту шубу не знает: я почему-то дукатик дал, а про

---

* Мейн шац — мое золото (*евр.*).

нее не сказал ей. Взял я шубу в охапку и на извозчике в ломбард... Предлагают двадцать три рубля... Я взял только одиннадцать... Нужно было еще процент заплатить — и выкупил материал, да сейчас же его и отнес приставу... Ну, тот уже ласковее мне заметил: «Никогда не допускай до жалоб, лучше не бери, а не допускай... и нам беспокойство и тебе неприятность... Я уже не говорю про тюрьму, а и за пустяк — в двадцать четыре часа вон из города!»

Ну, сдыхался я одного греха, а другой, тяжчий, взял на плечи... Хоть он пока еще не палил, а все же дряпал за сердце... Однако стал я бегать за работой... И хоть бы вам на петли! Правда, лето, а все-таки и летом кушать хочется, да и квартира... еще хозяева попались добрые... надоедали, правда, а все же терпели... Ну, что там много говорить, уже к осени так было нам круто, просто хоть штарб...* И вот в это время я, бегаючи, как пес с вытянутым языком, встретил неожиданно на улице нашего бывшего квартиранта... Обрадовался ему страх, и он мне... Ей-богу! Ну, что я ему? А вот... Зазвал к себе в малюсенькую конурочку... угощает пивом, распрашивает и про себя рассказывает... Он, видите ли, пане, еще ушел от нас до смерти моего дитю... когда кончал экзамен... Ему далеко было, так он перешел... а потом, как кончил, поехал зараз к своим — мать умирала, а теперь вот приехал еще на другой экзамен... на какой-то, чтоб на профессора выйти... так мусил гонять за уроками, чтоб и себе иметь что кушать и сиротам помогать... Тяжко ему было, ой, тяжко, аж змарнил, вот как бы вылежал большую хворобу... Как он жалел, когда узнал про смерть Шмулика, вей мир, как жалел, будто за своим дитю, их бин аид! А потом и за жену, и за все расспрашивал... Я его прошу, чтобы зашел когда; говорю, что жена будет страх рада... что уже, хвала богу, вот-вот опять... и признаюсь, что мне страшно тяжело — работы нет, а кушать надо... прошу его, чтоб дал мне теперь сшить себе что-кольвек...** только задаром, говорю, денег, мол, хоть зарежьте не возьму... все равно ведь сидим, сложа руки... «Ну,— засмеялся он и ударил ласково по плечу,— даром, говорит, я не дам вам шить себе ничего... Мы обое, гово-

---

* Штарб — помирай *(євр.)*.

** Что-кольвек — щo-небудь.

рит, босяки... бегаем за работою, как псы, и живем своим по́том, своею кровью... так о даровизне не говорите — это мне, говорит, и обидно... А вот, если б были у меня лишние деньги, то дал бы с радостью работу... Мне, говорит, действительно нужно сюртучную пару к экзамену... но это месяца через три-четыре... К тому времени, даст бог, заработаю... а теперь пока, как вам круто, а жена, видно, на днях сляжет, то поделюсь, чем могу... Вот,— вынул он рваный пуляресик *,— возьмите три рубля, а рубль мне останется...» — «Ни за что, ни за что не возьму последних»,— отговариваюсь я, и чувствую, что вот что-то мне стиснуло глотку и будто туман в глазах стал... А студент говорит: «Нет, возьмите, для вашей больной жены копейка нужна... а я что? Один и, слава богу, здоров... Да и то, говорит, как придется мне круто, то просто приду и скажу»,— и засунул мне в жилет троячку... Ох, и так это, вам скажу, меня за сердце взяло, что бросился было поцеловать ему руку, но Шостенко не дал... Покраснел, аж пот ему выступил, и поцеловал меня в губы... Несу я эту троячку домой, а меня на дороге перестречает мой пуриц: «А что,— говорит,— пора за шубку браться, принеси мне ее, так завтра пойдем добирать мех...» Я уже радый домой бежал, а он меня как окропом ошпарил. Что мне ему говорить? Начинаю брехать, что дал подкурить старый мех... что с недели принесу... Пуриц, вижу, недоволен. «Зачем подкуривать? Я не люблю...» — «Ну, так я заберу!..» Одним словом, пан потребовал, чтоб я взял и принес ему футро.

Пришел я домой, застал балабусту в постели... Стонет, бедная... У нее была неприятность с хозяином квартиры,— уже после призналась,— гнал ее вон, кричал... я побежал за бабкою... и ночью родила... ой вей, мертвое! Как сказала мне про то бабка, так я стал рвать себе волосы и лементовать. Так уже мне стало горько, так запекло мне цуре, что и выдержать годи! И в ту минуту я даже возненавидел жену, что она детей мне збавляет... И всю досаду, всю грызоту стал на нее скидать, что через нее, мол, мне и несчастье... Схватился я, принес штоф и напился как сапожник... Проспал и опять напился... Пока не пропил до копейки дарованных бедняком на мою бедность денег... К жене я не зашел, а шубку пурица и

* Пулярес — гаманець (*євр.*).

из головы выкинул... Махнул рукою, значит, на все! Коли маю пропадать, то пропадайте же и вы все пропадом! Одно только в голове — напиться, затасовать хмелем голову, чтоб гуло в ней, как на чердаке... бо как станет хмель проходить, то как горячими утюгами забьет в голову, а как совсем часом пройдет, то так сердце начинает рвать, вот будто кто его на кавалки режет. Только и спокою, коли лежишь колодою пьяный. Мы, евреи, все вообще богомольны, а я, как учился на рабина, то был еще больше, и все приказания, что в талмуде, додерживал: каждое утро молился долго, а в пятницу на шабасе еще дольше, на новолуние молился к месяцу, в школу * ходил и не пропускал отправ... А как взял меня отчай, то я до того озверел, что и бога забыл... Не то перестал молиться и в школу ходить, а стал жрать все трефное и не стыдился даже людей... Перед женой, бывало, брошу под кровать приготовленные мне и талес — по-вашему, ризу, и твили — ремешки такие, а на тфилиме колбасу стану резать... Ой, как она, голубка, руки ломала!.. А!! Ну, нас таки с квартиры прогнали... деньги подарили, а вытурили... На мое счастье, холода рано упали, и появился заказчик — то перекрыть, то переделать теплую вещь... Я уже теперь и не задумывался: получу вещь и зараз же ее в ломбард, а деньги — то на задаток за квартиру, то на кушанье, а наибольшее на водку; а заложу другую и третью,— выкуплю первую... заказчиков вожу, отбрехиваюсь... Станут надоедать — перехожу на новое место, на другую квартиру... там опять сгонят, я — на третью... Только, пане мой, чем дальше, тем тяжче ставало, затягивалась на шее петля, так что и крутиться уже было годи... Иной смирный заказчик ждал, другой искал меня, третий зараз же кричал и бранился, а четвертый норовил бить... Уже мне трудно было и носа показать из дому... Жена стала отбрехиваться, что нет дома, и приймать на себя всю лайку, весь гвалт... Особенно мне больно было за моего первого пурица, что я его обидел! Раза два он приходил и просил, чтобы хоть возвратили ему вещь, потому что становилось холодно. Потом, на другой квартире, зашла как-то его дочь и тоже очень просила, что отец, мол, болен, лежит, простудился, а у него нет средств новую шубу делать... А на третью

* Школа — синагога.

квартиру пришла и пани... Ну, та уже попрекала и кричала, что бессовестно за добро платить так! Я все это через дверь слушаю, сердце у меня, пьяного, болит, а ничего помочь не могу... Ни одного заказа не было такого, чтобы можно было схватить рублей двенадцать и выкупить пурица шубу... все перепадала лишь мелочь... А жену мордували... Лежу, бывало, на бебехах * пьяный и слышу, как на ее, бедную, кричат: «Мошенники, злодии, пархи! В тюрьму вас, подлецов! Подавай, шельма, мои вещи! У, подлая!..» Слушаю и только закрываю голову подушкой. А уйдет разбойник,— жена в слезы, так и ударится головою об стену... А я, чтобы пожалеть ее, да еще сердце давай срывать... Так уже запаскудился, задеревенел... такая, знаете, меня взяла злость, что живьем бы всех перегрыз, всем бы, кажись, вырывал очи из лоба... Сначала то еще просила, молила меня балабуста: «Ой, мамеле, ой, ябко мое, себя пожалей» — не меня, мне чем скорей сдохнуть, тем лучше, а тебя замордуют, вей мир, замордуют... У меня сердце разрывается, как подумаю, сколько ты себе муки накоишь!» — «Авег!» — бывало, я крикну — и до штофа... Раз она пришла ко мне, когда я лежал с повязанною головою от боли... Пришла, как тень, уже не чуть, как и ступает, не знаю, где уже у нее и душа держалась... Пришла и говорит тихо, вот будто осенний лист шелестит, когда маленький дождик, как сквозь сито, сеет: «Брось ты меня,— просит,— дай развод... Может, по правде я уже такая несчастная, что и на твою голову несчастье тяну... Вот лишаю тебя утехи детей иметь... Может, через меня тебя бог карает... Возьми себе другую жену, новое счастье». Стоит бледная как мертвец... Слезы, как перлы, катятся, а она и не шевельнет ресницами, будто и глаза не ее... Даже страшно мне стало и похолонуло в сердце, а все-таки злость перемагает жалость... Коли тут кто-то постучал в двери и спрашивает, дома ли Курманд? Я аж вздрогнул, познал голос моего бывшего квартиранта... И такая досада меня взяла — ой-ой! Думаю, ой, гвалт,— пришел за деньгами... верно, круто пришлось... А что я ему, горло свое перережу? «Скажи, что дома нет!» — шепнул я жене, а сам натянул на себя колдро**. Натянул,

---

* Бебехи — перины *(евр.)*
** Колдро — ковдра.

а все-таки одно ухо открыл: что он говорить будет? А он, слышу, аж вскрикнул: «Ой господи, на кого вы похожи? Да краше в гроб кладут!..» Жена так тихо говорила,— она уже и голоса отвесть не могла,— что я ничего не слыхал. А он опять: «Что вы, бог с вами, да он вас любит... да он без вас и вы без него пропадете... Это он от горя тонет, отчай, говорит, одолел его. Скажите, чтобы ко мне зашел...» Слушаю я это, и злость меня берет, что чего еще он мешается и дорекает... Мало мне этих заказчиков, что травят, как зайца, так мне нужно еще его, учителя... мешигине! А он, слышу, говорит: «Возьмите вот десять рублей в счет работы, что на материал еще у меня нет, а через месяц-два принесу... А мужу скажите-таки, чтобы зашел ко мне». Как только он вышел, я позвал Ревеку. «Дай десять рублей сюда!» Она замялась немного. «Герш ду? — поднял я голос.— А гиб ид! *» Она беспрекословно отдала. Я выкупил какую-то небольшую вещь, за которой бегал ежедневно офицер, а на остальные деньги стал пить... да злобствовать на жену за то, что она, мне сдавалось, жаловалась на меня, а на этого думкопфа ** за то, что отдает последние деньги сдуру, а меня хочет учить и покутовать... А тут еще мой пуриц за шубку пожаловался в полицию... и пришел ко мне надзиратель... ругал ругательски, не хотел слушать меня, чуть не бил... и назначил сроку два дня. Меня и страх взял и такая разом лютость — зверем стал. На жену, несчастную, накинулся... толкнул ее... и кричу: «Просила разводу — авег! Все вы очертели!..» Она, знаете, только побледнела как стена и хоть бы слово!.. Накинула платок на голову и тихо-тихо вышла... Только и сказала на прощанье: «Не по себе я сердце рву, а по тебе, мой несчастный!..» Подмастерье, что из жалости еще оставался, и тот не выдержал. «Гевулт! — крикнул он,— такого ангела прогнать! Арихандe! ***» — и тоже выбрался из хаты... И бросили тогда меня все: евреи отцурались, заказчики кинули, и только ограбленные являлись с полицейскими ежедневно, а я пьяный валялся...

А на утро таки опомнился... Заберут ведь, не сегодня-завтра заберут и посадят, да еще, пожалуй, набьют как гамана. Думал я, думал и одно только выгадал:

* А гиб ид (а гиб агер) — дай сюди (*євр.*).

** Думкопф — дурень (*євр.*).

*** Арихандe! (А рих ин дир) — чорт в тобі (*євр.*).

бежать с этого участка и поселиться в другом... Пока заказчики бросятся меня разыскивать — время пройдет, а кто его знает... Может быть, за это время мне какое счастье выпадет... Знаете, дурень да ледащо всегда гадками богатеют... Спродал я тряпичникам всякую рвань, заложил оставшиеся заказы, сберег только последнее достояние— свои вывески, и перебрался аж в третий участок, где про меня еще не было ни слуху ни духу... Дал за квартирку задаток, отпросился от остальной платы и жду... жду уже трезвый, бо на выпивку а чтоб вам копейка... Так это сижу себе, как злодий, в своей тюрьме... и такая взяла меня тоска да грызота, что и вешаться впору: одно страх, что вот-вот найдут и затаскают, а другое — сердце болит за Ревекой... Ой, мамо, как стало болеть!.. Лежу один себе... сам-самисенький... Тишина в моей конуре... а! Как в яме!.. Хоть бы мышь скреблась!.. Хоть бы какой дидько сопел... В ушах только звенит... а в голове думки такие нехорошие, такие скверные... Вот будто все жужжат и обседают голову... И стоит все перед глазами жена — бледная, заплаканная — и так смотрит на меня жалостно да любовно, что аж сердце мне ее очи проймают ножами... И думка уже, что она умерла, повесилась или утопилась и с того света на меня смотрит, бо где же ей, бедной, было деться? У нее, как говорится, не было ни роду, ни племени... а в Киеве только один был маленький себе купец... свояк, что ли, вот как у вас крестный бывает. Бросился бы я искать ее, но куда, где? Первое дело нужно было заявить полиции, а стало быть, и дать себя ей в руки... Прошло, может быть, так с неделю... и уже, кроме нудьги, стал меня одолевать голод... Сначала лавочка отпускала мне в кредит яйца, хлеб, масло и керосин, а через неделю перестала... Я второй раз стал серьезно задумываться, чтоб повеситься... зарезаться было страшно... И от, когда у меня и керосину не стало... а сумерки каким-то слепым страховищем стали ползти на меня... то я схватился с кровати, чтоб искать мотузки, и в сундуке, где валялся мой скарб... нашел свой талес и тфилем, где десятеро приказаний, и рейцили — ремешки, которыми при молитве перевязываются руки... Я схватил все это... и, вместо того чтоб вешаться, привязал рейцилем на лоб тфилем, накинул ризы и повернулся к окну, через которое виделся на небе серп молодого месяца... Книжки я в руки не взял...

и не видно было читать, и все равно я не читал бы... Я только стал бить себя в грудь и не просить чего-либо у Еговы... нет... а только плакать и стонать... И так, должно быть, я стонал и лементовал, что в конце концов явился ко мне дворник... Ну, а все же у меня пропала охота вешаться, и я решился на другой день пойти в полицию и объявить за жену, а самому хоть в тюрьму сесть... Все равно мне моя яма была горшей тюрьмой... И что бы вы думали? На ранок, когда я хотел идти, вдруг ко мне является первый клиент... правда, пустячный,— подкладку перешить в пальто,— ну, а все ж... Я взял за полтора рубля сделать... засел и к вечеру отнес заказ и получил деньги... Страшно был голоден... третий день ничего не кушал... Ну, и не вытерпел: купил селедку, яиц и монопольки... Выпил и закусил... Не много и выпил, но от слабости захмелел... И тогда только спохватился, что опять стал, извините, свиньей и что утренняя моя решимость пошла опять на ферфал... что, значит, мне уже одно — погибать... И такая опять напала на меня злость, что сразу из моего сердца вырвала жаль... Выпил я с досады и остальное, что принес... Выпил и слышу, что кто-то спрашивает мою фамилию... «Кто бы это?— думаю, а сердце мало не выскочит.— Уж не моя ли Ревека?» Жду... не могу сдвинуться с места... Коли входит мой бывший квартирант... Кому-кому, а ему я должен бы был обрадоваться, а меня взяла досада, что пришел, наверное, мол, делать мне выговоры, а то и править свои тринадцать рублей... А он как нарочно почти с того и начал. «Вот, пане Лейбо,— здоровается,— я рад, что неожиданно напал на ваш след... Был на старой вашей квартире, так никто не знает, куда вы выбрались... В адресном столе тоже не дали справки... а того и не знаю, что вы под боком. Иду,— говорит,— ваши вывески... просто глазам не верю... и зараз же сюда...» — «Спасибо, только не стоило беспокоиться...» — я ему, и так как-то смешался, что не прошу даже и садиться. А он: «Как,— говорит,— не стоило? Да вот я ждал вас, ждал... хотел потолковать по душе... да и не дождался, а кроме того и сюртук понадобился и жилет... мое дело хорошо выгорело...»— «Вот у меня только вам дело не выгорело,— отрезал я ему,— напали на такого мошенника, пьяницу, подлеца, что и у своего доброчинца... от которого, окромя добра, ничего не видел, последние деньги... трудовые, мозольные

не посовестился взять и пропить... Да, пропить и не отдать ни копейки!..» Смотрит он на меня так жалостно да растерянно, как дитю малое, и шепчет: «Нет, нет, не верю!» — «Трудно, правда, поверить,— говорю я, а сердце у меня как на ножах бьется,— трудно поверить, а правда. Жалко мне вас... Бог видит, как жалко, а ваши деньги ферфал! И как вам было, такому умному, и поверить мерзавцу? Ведь мне давно уже место в тюрьме... а я только от нее тикаю... Ведь нет души живой ни меж своими, ни меж чужими, которая б мне поверила, а вот вы... Не понимаю одного, как жена моя, честнейшая женщина, святая... их бин аид... если есть святая, то она первая,— так как она не остановила вас, чтоб не бросали своих запрацованых пóтом десяти рублей последней свинье?» Смотрит он на меня такими большими глазами, и мне даже показалось, что в них выступили слезы. «А где же,— спрашивает,— ваша жена?» — «Где? — аж крикнул я.— Или висит где-нибудь, или лежит на дне... Ой вей, вей!!. И я вот этими руками выпхнул ее из дому... на улицу выкинул... Она у меня, видите ли, с голоду пухла... Дни и ночи працовала... спины не разгибала... и то для чего? А для того, чтоб своею спиною заступить пьяницу мужа от побоев надзирательских, от тюрьмы... чтоб дать ему змогу пить и пить...» — «Где же ваша жена?» — перепугался он, видно, бо как стена побледнел. «Ой мамеле! Разве я знаю?.. От нудьги... да грызоты... вот перед вашим приходом повеситься хотел, да и то струсил... потом хотел броситься в участок, чтоб разыскали жену, да и то побоялся, что засадят... Ну, есть ли на свете больший мерзавец? Отчего же вы мне не плюнете в глаза? Бейте по щекам подлеца — мне легче будет! Или вам не хочется пачкать и рук?» — говорю такое разное, сам уже не помня себя, говорю и за слезами даже студента не вижу... Вдруг чувствую, что он, вместо того чтоб меня шельмовать, чтоб на меня в глаза плюнуть,— обнял меня, поцеловал и что-то начал такое говорить, что я не понял... да и дослушать не мог, бо у меня в ушах зашумело и в голове стало кружиться... что-то вроде того, что вы честный, мол, честный... что вас и терзает ваше доброе сердце... вас и катует, мол, хорошая, здоровая совесть... вы, говорит, и жену свою страшно любите и без нее не станете жить... что, мол, и все пакости, какие наделали, так это оттого, что по-честному не давала вам

доля жить... да и горе еще к тому семейное вас озлобило... Говорит это он и будто рукою выкидывает из моего сердца злость, будто снимает с моих ран и гной и сукровицу. Разорвал я на себе сюртук, упал к нему, как к родному тате, на грудь и так стал рыдать да лементовать, что чуть не задохся, за малым не порвалось все у меня внутри... Помню только, что об одном гвалтувал: «Ревеко, Ревеко моя! Ябко мое золотое!.. Брильянт мой честный, единый!.. Святая моя мученица... Где ты? Где ты?.. Ой, гевулт! Ой, прости меня... и рятуй!!» Усадил меня гость, дал воды напиться и утешать стал: «Не горюйте,— говорит,— жена ваша на себя рук не наложила... она ведь вас без конца любит и жалеет... да и не такая она! Я сам сейчас брошусь по всем участкам ее искать... и найду, и привезу сюда... а вы в самом деле лучше пока не показуйтесь, чтоб не вышло неприятностей, а чтоб убить время от грызоты, то займитесь моим костюмом... Вот вы говорили, что никто вам не верит, а я первый верю — и материал вам принес...» Эх, ударил меня таково ласково по плечу: «Что не делается,— говорит,— то все к лучшему...»

Ну, вот тут... уже не умею я вам сказать, что со мной сталось... Не могу выразить... и светло, аж больно... и радостно... и тяжко... и все в глазах прыгает... Снимаю я мерку — слезы мешают... руки дрожат... Эх, что и говорить! А как жена приехала, то я кричал и бегал, как мешигине, руки у ней целовал, ноги целовал, плакал, аж заболел даже после всего, чуть не умер... да моя дорогая Ревека с невиданным и неслыханным гоем меня отрятували... Она была у свояка, достала четвертную и искала уже меня... А потом студент собрал справки, сколько я намотал... и решили они с женой рассчитаться и чтобы я выехал из Киева. А вы спросите еще, как рассчитались? А вот как: у студента было заработано семьдесят пять рублей... все отдал, паршивому жидку отдал. У жены были перлы, от матери, а у матери от бабки, которых она не снимала с шеи и по завещанию могла передать только дочке либо взять с собою в могилу. Их продала, да еще презент свояка. А кроме того, многие подарили свои претензии, многие... студент рассказал — подарили, а мы вот переехали в этот городок.

Стал я с женой працовать, ай, как працовать — за четверых... И уже в рот — ни-ни... ани капельки! Из

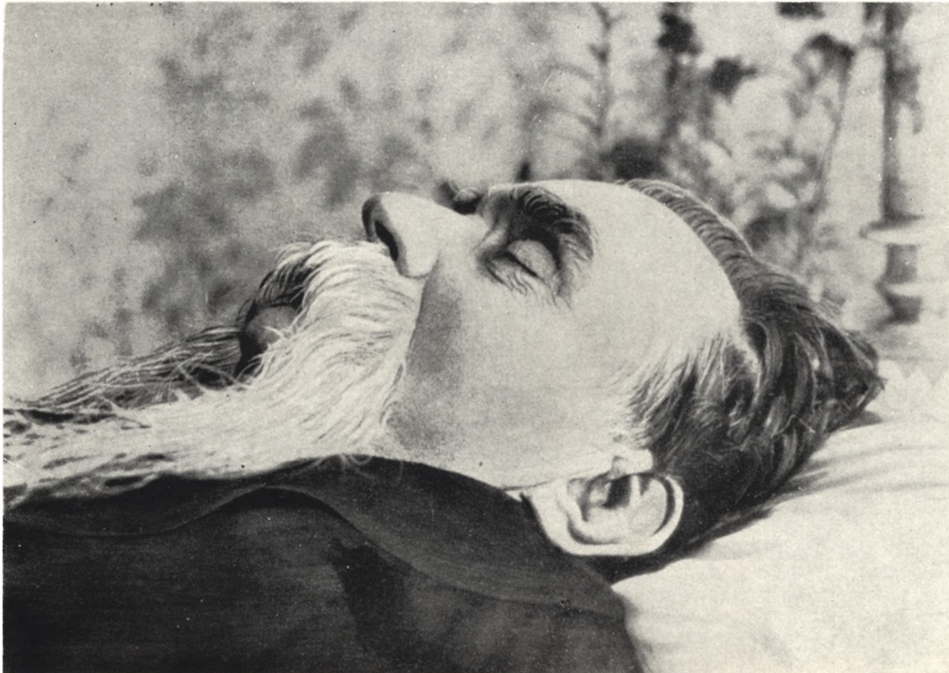
первых заработков выслал студенту... С самого начала я выставил себя на вывеске Непевным, а потом уже все намоглись, чтоб я переменил прозвище, и велели-таки написать на бляте*, что я Честный...

Что вам больше сказать? Как мы живем и как любимся с женой, то дай бог всякому, а вот и она, Ревека, поздоровела, покрасивела и мне подарила вот недавно уже третье дитю... сынка Мойшу и две дочки... Мойшелек мой уже бегает... и такой здоровенький, сличный, а умница... ой-ой-ой!! — и мой собеседник зацмокал самодовольно губами и отер рукой крупные капли пота, катившиеся давно вместе со слезами по щекам...

---

* Блят — тут: лист бляхи.

Статті



М. Старицький на смертному одрі.

[ПЕРЕДМОВА ДО ПЕРЕКЛАДІВ ПОЕЗІЙ М. О. НЕКРАСОВА]

Некрасов належить до гурту ліриκо-демократичних поетів великоруських; його муза — муза помсти і туги — опанувала була всю молодь од 1850 до 1863 р., випестила ціле покоління північних народовців; для того й має він яко поет велику вагу. Некрасова по його музі можна прирівняти до Шевченка, хоча й останній був талантливіший і глибше захоплював як соціальні, так і політичні питання: оба вони стоять за простий, ошуканий і скривджений люд, за темну голоту, оба вони узброяються проти ненатлого панства й уряду. Невважаючи на те, що сам Некрасов походить з великих панів з-понад Волги, надособні обставини його молодості загартували душу поета. Некрасів батько був заковилий свавільник-деспóта; під його залізною, непохилою волею тремтіла уся сім'я і двірня. Багато страшезних картин хижацтва промайнуло перед очима поета: його мати, найкоханша людина, станула в скруті, як свічка, а наймиліша сестра примушена була за нелюбом потопити свої молоді літа... Так-то: лютість, присилування, сльози й стогнання кріпацького люду та смерть найрідніших оточили молоду душу і мали темряву похлиню на розвиття талану його. Сам поет каже про себе в своєму поспів'ї «Муза»:

Ні, опанувала мене вельми зрана
Муза не ласкава, муза не кохана,
Товаришка хворих, журної голоти,
Що й на світ родилась задля сліз,
скорботи;
Зігнута од праці, скрутою забита,
Вона голосила... і була повита
Єї пісня жалем, тяжкою нудьгою...

А не то — й ридала часом наді мною!
Уражалось болем молоде серденько,
І я сам за нею заливавсь ревненько...

В Петербурзі, куди Некрасов молодим ще утік, пробували саме тоді Бєлінський, Добролюбов, а потім і Писарєв, вельми дужі по розуму і душевному грунту люди; вони своїми критичними роботами мали нехибну похлиню на сучасних писателів і виховали цілий рій соціально-демократичних ідей, якими і тепер великоруська література може сміливо гордувати. Отож під їх крилом вияснився і зміцнився талан п. Некрасова; але й саме петербурзьке життя з його кривдою та недужністю, з свого боку, теж кладе карбіж на його утвори. Некрасов почав писати з сорокових років в «Современнику», а через який там час сам стає його редактором і скупляє круги себе найкращих передущих людей; так що впродовж більш 20 років журнал сей мав найбільшу вагу в російській літературі, аж поки його урядом не заборонено. По знищенні «Современника» Некрасов стає редактором «Отечественных записок», де і понині веде свою поетичну роботу.

В поезії Некрасова виявились три головні напрямки: строго народний, де він, виставляючи на очі горе і скруту бездольців, живописує типи народні і здіймається до щиро-художньої сили; петербурзький, де поет скорбно малює недужні сторони тамошнього життя, суворо й помстливо здійма голос проти кріпацтва й зверхнього гніту, часом сягає до правдивої сили, але іноді й фальшує в малюнці; третій сатиричний, де він злобливо кепкує над лицемірним панством,— шкода тільки, що інколи тут впада він до ненатурального стану. Із приложених тут перекладів перші два можуть бути зразком художньо-народного напрямку, третій — петербурзького, а четвертий — сатири.

[ПЕРЕДМОВА ДО ПЕРЕКЛАДУ ТРАГЕДІЇ «ГАМЛЕТ» В. ШЕКСПІРА]

Еще в 1873 году задумал я перевести на малорусский язык лучшие произведения Шекспира с целью как популяризации произведений великого сердцеведа и драматурга, так и обработки родного языка на высших классических образцах. Меня ободряло в этом смелом труде то обстоятельство, что язык у самого Шекспира, будучи образным и могучим, вместе с тем и в высшей степени простонароден, иногда даже до вульгарной грубости, так как драматические произведения того времени еще не занимали места в литературе, но служили лишь для зрелищ, для забавы всякого рода публики. Для первого опыта взял я одну из лучших трагедий, «Гамлета», хотя и труднейшую по языку: в герое ее сосредоточивается необыкновенно высокое нравственное и философское значение человека, одаренного организацией тонкой, чуткой к рефлексам, человека с раздвоенной душой, колеблющейся, но способной действовать беззаветно,— даже до жестокости. Речь Гамлета полна и бурной стремительности страсти, и тонкого анализа малейших движений души; если добавить сюда полный поэтических образов и красот язык Офелии, витиеватую речь отца ее Полония, тонкости оборотов придворных льстецов и торжественность королевского слова,— то тогда только можно понять необычайную трудность задачи, которая мне предстояла. Хотя в моем распоряжении был язык и чрезвычайно богатый лексически, способный передавать и бурю страстей, и нежную песню любви, но все же это был язык раздольных степей и лугов, а не королевских палат, язык,

чуждый напыщенности придворного этикета, чуждый искусственной тонкости метафор и других риторических украшений. Вследствие отвычки употреблять родное слово для выражения высших понятий, каждая шекспировская фраза такого порядка могла звучать в украинском переводе неестественно и натянуто и требовала неимоверных усилий, чтобы, не отступая от подлинника, придать ей возможно большую окраску украинской речи.

Я задался целью не отступать в переводе ни на йоту от подлинника, вступая с душевным трепетом в борьбу с художественнейшим произведением высочайшего гения, сохраняя вполне даже внешнюю его форму, т. е. и прозу, и белые, и рифмованные стихи, и даже размеры. В тоне речи я стремился достигнуть возможной простоты, прибегая к лексическому материалу, патентованному уже этнографией и литературой, за ничтожным исключением общепринятых слов, напр., формы, парадокс, терраса, сцена, которые я оставил без перемены, или таких, вместо точного перевода которых я поставил однозначащие, напр., вместо «сандалии» — постолы, вместо «жезл» — патериця и т. д. В витиеватых фразах Полония и Озрика я допустил напыщенную искусственность, которая подчеркнута и самим Шекспиром, а в стихах, произносимых актерами, согласно подлиннику,— некоторую схоластическую дубоватость. Приходилось мне по несколько раз сызнова переделывать все и проверять мои переводы, приходилось еще изучать Шекспира по трудам талантливейших переводчиков как иностранных, так и славянских, для чего, кроме подлинников (издания Кембриджского, напечатанного Кларком и Рейтом, и Кольеровского), пользовался следующими переводами: превосходнейшим и точнейшим французским W. Hugo, немецким стихотворным Heise, и славянскими — польским Paschkowskiego, и русским Кетчера, сделанным хотя и тяжелой прозой, но очень близким. Что же касается до русского перевода Кронберга, то он, несмотря на блестящий, торжественный стих, менее близок к подлиннику, а потому в помощь служить мне не мог; о переводе Полевого, до сих пор держащегося у нас на сцене, я не говорю, так как он чересчур самостоятелен; достаточно указать на песню Офелии, начинающуюся у Шекспира буквально следующими строфами:

По каким признакам могу я узнать твоего любовника?
По шапочке в раковинах, по посоху и по сандалиям!

Песню эту Полевой перевел так:

Моего ль вы знали друга?
Он был бравый молодец,
В белых перьях, статный воин,
Первый в Дании боец!

Не могу при сем не высказать моей благодарности следующим многоуважаемым лицам, сердечно относящимся к моему труду и бывшим полезными мне то указаниями, то советами, то глубокими знаниями родного языка — О. П. Косач (О. Пчілка) и М. Ф. Комарову, а по изучению и проверке с подлинниками знатокам английского языка — О. П. Цветковской и А. П. Гешвенд.

В настоящее время П. А. Кулиш, славный ратай нашего слова, знаменитый переводчик псалмов Давида, книги Иова и св. писания, приступил к печатанию за границей в своем переводе на украинский язык всего Шекспира; тем не менее я счел не лишним напечатать и мой перевод «Гамлета», так как чем более окажется работ в этом направлении, тем результатнее будет движение в разработке языка. Если перевод мой выйдет и не вполне удачен, то пусть «выбачать» мне дорогие мои земляки; пусть помнят о необыкновенной трудности передачи художественных, точно отделанных оригиналов на наш хотя и богатый, но крайне мало разработанный литературно язык. Я буду счастлив, если найду товарищей, желающих работать в одном со мной направлении, и если даже мои ошибки послужат им в пользу,— так сказать, отрицательным примером,— я буду тем не менее счастлив.

НА РОДИНЕ Т. Г. ШЕВЧЕНКА

В первых числах января привелось мне побывать на родине нашего бессмертного поэта Тар. Гр. Шевченка. Село Кирилловка, Звенигородского уезда, Киевской губернии, в котором провел детство свое поэт,— одно из больших и богатых сел уезда; оно принадлежит к Тарасовской волости, которая состоит из двух только сел Тарасовки и Кирилловки. Внешний вид села дает основание предполагать относительное довольство и благосостояние крестьян. Кирилловка, раскинутая на большом пространстве, вся покрыта садами; местность волнистая. Жителей в ней до 4000 душ обоего пола. Кирилловцы, сравнительно с жителями соседних сел, отличаются миролюбием, вежливостью, почтительностью; занимаются они исключительно хлебопашеством и садоводством. Сколько всей земли находится в пользовании общества — я не мог узнать; слышал только, что самый большой надел в Кирилловке 4 десятины. Помещики и арендаторы, только в виде особого одолжения, дают крестьянам землю внаем за цену от 15 до 20 руб. в год. Большим подспорьем хозяйству крестьян служит садоводство. В селе есть садоводы, пользующиеся известностью как опытные специалисты и любители. Так, от многих слышал я рассказы о кр[естьянине] Петре Ткаче как замечательном любителе садоводства, известном и за пределами своего села. На небольшом участке в полдесятины он развел сад, которому может позавидовать ученый садовод. Необыкновенно чистенький, опрятный садик этот отличается прекрасным подбором деревьев и ежегодным урожаем фруктов,— последнего достиг Ткач, устроив искусственное орошение. Сад свой он любит до страсти, каждое дерево лелеет как свое родное детище. Зато сад

вполне вознаграждает его труды и заботы. В прошлом году, несмотря на всеобщий урожай и дешевизну фруктов, Ткач продавал свои яблоки не дешевле двух рублей за пуд и получил доходу около 600 руб.

Кирилловцы сбывают свои продукты в ближайших местечках: Ольшаной, Корсуне и друг.; в селе есть две лавочки с необходимыми в ежедневном быту товарами. По четвергам бывают базары.

Мне хотелось видеть усадьбу и хату, в которой провел свои первые годы поэт, послушать рассказы и воспоминания, какие сохранились о нем в селе. Приехав в Кирилловку накануне крещения, я обратился за указаниями к первому встретившемуся мне мужичку, который весьма предупредительно изъявил желание быть моим проводником. Дорогою он сообщил мне, что в Кирилловке много «Шевченків», но собственно родных поэта мало. Мы подъехали к ветхой, убогой хате, которая живо напомнила мне рисунок ее, сделанный самим поэтом. В этой хате живет теперь племянник поэта — Прокопий Шевченко. По случаю приготовления к празднику мы застали в хате «сміття по коліно». Хозяина не было дома, молодая хозяйка на мои расспросы ничего не могла сообщить и побежала за свекрухой. Чрез несколько минут вошла в хату чрезвычайно симпатичная женщина лет 50, мать Прокопия, вдова Пелагея Шевченко. Из рассказов ее я узнал следующее.

Отец поэта, Григорий Шевченко, уроженец с. Кирилловки, женился в с. Моринцах на тамошней крестьянке и по просьбе жены поселился на ее «батьківщині», в Моринцах. Вследствие каких-то грабежей, разбоев, бывших в Моринцах, которые Пелагея называла гайдамаччиною (не бунты ли крестьян, бывшие в некоторых местах Киевской губернии?), Григорий Шевченко вернулся в Кирилловку, когда Тарасу было полтора года, и поселился в той хате. Лет через пять умерла его жена, и он женился на вдове, у которой был сын Стефан, часто обижавший Тараса. Пелагея показывала мне куст калины, под которым прятался будущий поэт от побоев Стефана. У Григория Шевченка было три сына от первой жены: Никита, Тарас и Иосиф — и три дочери: Ирина, любимица поэта, Мария и Мария. Последние умерли в детстве. Никита умер вскоре после Тараса, а Иосиф умер во время последней войны в Турции, в погонцах. Пелагея — жена

Никиты, у нее два сына — Петр и Прокопий — и дочь Ирина. Петр живет в новой хате, а в батьковской — Прокопий. Последний служил тоже в погонцах и теперь в числе прочих ведет процесс с казною за следуемые ему 270 руб. Дело свое он поручил одесскому адвокату. От Иосифа осталось четыре сына — Трофим, Андрей, Иван и Васса. Все они живут отдельными хозяйствами.

По рассказам Пелагеи, поэт во время последних приездов в родное село очень скучал, тосковал: «не було йому з ким слово промовить»,— он проводил больше времени в Корсуни, у родственника своего, тоже Шевченка, которого любил, как родного брата, хотя тот был далеким его родичем — братом жены Иосифа Шевченка, родного брата поэта. Пелагея присутствовала, в числе других родных, на погребении поэта и из Киева ездила на пароходе в Канев. Все рассказы Пелагеи о поэте были субъективного характера и не представляют особого интереса.

Простившись с Пелагеей, я отправился бродить по селу и встретил несколько мальчиков-школярей. На вопрос мой, слыхали ли они о Тарасе Шевченко, они отвечали: «Аякже! Це той Тарас, що понаписував книжки-кобзарі»; некоторые из них бросились в свои хаты и вынесли напоказ «Кобзаря». По их словам, в каждой почти хате есть сочинение Шевченка.

Пока дождемся мы устройства школы имени поэта в Каневе, о чем, как нам известно, хлопотали и хлопочут, следовало бы прежде всего открыть в родном его селе народную школу его имени; село большое, а школа одна и притом, говорят, плохая. Общество не отказало бы в содействии. Прокопий Шевченко, как сам он заявил мне, охотно уступает место в своей усадьбе под школу бесплатно. Некому только взять на себя инициативу в этом деле.

ДОПОВІДЬ НА ПЕРШОМУ ВСЕРОСІЙСЬКОМУ З'ЇЗДІ СЦЕНІЧНИХ ДІЯЧІВ

Забота о поднятии значения театра, об улучшении его репертуара, о большей доступности для массы здоровых, доброкачественных зрелищ составляет главную задачу съезда и должна быть дорога всякому, кому дорого наше родное искусство, кто желает поднять высоко просветительный светоч сцены. Но забота об упорядочении условий существования народного театра получает еще вдвое большее значение, так как сцена для простого, серого люда есть понятная, живая, иллюстрированная книга, есть высшая образовательная школа. Сам августейший монарх соизволил милостиво выразить желание преуспеяния народному театру и осчастливил борцов за театральное дело, взявши их под свое высочайшее покровительство. Между тем, малорусская сцена, будучи преимущественно народной и встречая родственное сочувствие во всех слоях общества нашего обширного отечества, терпит беспричинно и незаслуженно до сих пор подозрительное и недружелюбное отношение к себе администрации и цензуры, а посему, кроме общих причин, понизивших вообще значение театра в России, малорусская сцена имеет еще свои специальные беды и напасти, которые гнетут ее и стремятся довести до погибели. Вызванная к жизни, по указу его величества блаженной памяти императора Александра III, малорусская сцена на второй же год своего существования начала преследоваться. Циркуляры стали толковать в ограничительном и даже превратном смысле августейшую волю.

В параграфе третьем высочайшего указа поставлено единственное ограничение для малорусских представле-

ний, чтобы для них «не было устраиваемо специальных малорусских театров». Циркуляры же разъяснили, что под словом «театр» нужно понимать «спектакль», а не здание, а посему и потребовали, чтобы не было специальных малорусских спектаклей или чтобы в каждом представлении было столько же малорусских актов, сколько и русских, т. е. пятиактную малорусскую пьесу можно было ставить не иначе, как пристегнув к ней такую же пятиактную русскую. Десятиактные спектакли, тянувшиеся семь-восемь часов, ужасали публику и заставляли антрепренеров держать двойной состав труппы. Некоторые только, более гуманные администраторы делали послабление, не настаивая на двойных, смешанных спектаклях, а требуя лишь чередования русских и малорусских представлений. Я сам в продолжение двух лет испытывал на себе и на своем кармане такие притеснения; потом они, конечно, ослабели и, благодаря столицам, остановились на требованиях одного лишь русского водевиля. Но, по мере ослабления такого рода преследований, возникали затруднения цензурные, принявшие в последние годы нескрываемое стремление придавить малорусскую драму. В 1889 г. начали запрещать к представлению пьесы не только из интеллигентного быта, но и из купеческого и даже мещанского, если только в них фигурировал сюртук. Мало того, разрешенные прежде к представлению пьесы были даже изъяты из репертуара по распоряжению цензуры (Кропивницкого, например, «Доки сонце зійде» и «Глитай»). Вслед за этим стали безусловно запрещать исторические и бытовые из минувших времен пьесы. Мне, например, были запрещены не за содержание и направление, как соизволил мне разъяснить лично прежний г. начальник управления по делам печати, а единственно лишь за язык: «Богдан Хмельницький» и «Розбите серце»; г. Кропивницкому, по такому же поводу, была запрещена «Титарівна», г. Карому — «Роман Волох», «Сербин», «Що було, те мохом поросло», г. Конисскому «Ольга Носачівна» и «Порвалась нитка»... Рядом с этим поголовным запрещением некоторым лицам разрешались, между прочим, исторические пьесы и из интеллигентного быта, но только такие, которых никто не решился поставить. Вышеприведенным же авторам запрещались к представлению даже бытовые пьесы, если они только были написаны

на мотивы каких-либо русских или иностранных произведений, если имели хоть тень литературных достоинств. Почти совершенно тождественные произведения, написанные на одну и ту же тему, например, «Тарас Бульба» — одним разрешались, другим нет. Почему? Понятно!.. Такими произвольными и ничем не вызванными притеснениями горизонт малорусского писателя сужен до хутора, до хаты, да и в ней еще не дозволено ему касаться общественных сторон мирской жизни, а допущено лишь изображать любовные да семейные радости-печали. Вследствие этого репертуар малорусской сцены стал однообразным и слащавым, а сама она обречена на голодную смерть. Мало того, ни одна пьеса из малорусского репертуара не внесена в список дозволенных для народа спектаклей.

Так как для всякого русского должно быть дорого существование и развитие народного театра, где бы он ни функционировал, на севере или на юге России, так как процветание его не противоречит августейшим взглядам, так как самые притеснения цензурные зиждутся не на законе, а на печальных предубеждениях, то посему я полагаю, что просвещенный съезд отнесется сочувственно к этому заявлению и примет на себя возможное ходатайство о снятии ограничений, тяготеющих над малорусским словом и сценой, и внесении ее репертуара в программы для народных спектаклей,— тем даст он местному писателю хотя малую возможность потрудиться для развития народного театра. Мы просим не каких-либо расширений, а лишь применения к нам существующего закона, в одной мере с нашими старшими братьями писателями. Пусть для нас применены будут и самые строгие законы, но лишь бы не угнетал нас произвол настроений!.. Русское Театральное общество, состоя под августейшим покровительством его императорского величества государя императора, облечено правом ходатайства о нуждах театрального дела в России, а в программу съезда сценических деятелей внесено «изыскание средств к поднятию в идейном, серьезном и художественном значении репертуара, равно и к увеличению народно-воспитательного значения театра», посему заявление мое, не противореча цели съезда, должно быть, по моему крайнему убеждению, и предметом его попечений.

ЗО МЛИ МИНУЛОГО

(Уривки спогадів)

Коли я силкуюся пірнути гадками у дитинства мого глибінь, то мені уявляються, як марево колишнього сну, дві пригоди. Мов тепер бачу — місячна ніч; я з нянькою, мамою й татом у колясі; вона хитається з боку на бік і спускається тихо в долину... Коли це раптом щось як не лусне, і пóвоз швидко покотився вниз... Мама в крик, а за нею, певно, й я... Пам'ятаю лише, що вона мене схопила і притулила міцно до лона, а мій батько потягся вперед помагати возничому здержати коней... Далі якийсь гвалт, брязкіт розбитого скла... і вривається спогад. Потім ще виника з тієї ж доби друга картина: ясний ранок, якась зеленкувата зала, колони й одчинені двері на залитий сонцем рундук... Мене няня веде до нової тьоті віддати добридень; я опинаюся й не зводжу очей, а це враз як гляну — аж край дверей на тумбах стоять чорні люди (звичайно, статуї)... Я в галас і навтьоки!.. Мені вже дорослому розказувано, що справді, коли батьки мої зо мною, що мав тоді два роки, поїхали на одвідини до тітки моєї, батькової сестри, в Опошню, то коні понесли нас з гори й за малим богом не сталося нещастя, і що другого дня я у тітки ж перелякався страшенно чорних фігур.

Після отих подій, що врізались мені в пам'ять так зрана, налягає вже на мої спогади якийсь хвилястий туман; крізь його маячать непевними просвітками — то приїзд у блискучім убранні батька з силою забавок, то його золоті з дзвоном дзигарі, то лави якихсь верховців, то барабани й курява.

Батько мій, Петро Йванович Старицький, був ротмістром в уланах і перші по одруженні роки служив; отож покійній матері й випадало то у своїх батьків сидіти з немовлятком, то їздити з ним до полку, то зоставляти

дідуневі й бабуні унука. Батько мій скоро вийшов в одставку й помер; але про те річ буде далі.

Спогади мої, більше вже систематичні й ясні, починаються з шостого року, з села Кліщинець, де пробував я у Лисенків — дідуня й бабуні по матері. У тім пробуванні не пам'ятаю я щось моєї неньки; вона вже з'являється потім: певно, мама проводила тоді час у полку біля тата, а мене лишала у батьків своїх, бувши певна, що вони любленого внука доглянуть.

Мій дід, колишній пан маршалок, Захарій Осипович Лисенко, одержав освіту в Першому шляхетському корпусі в столиці, де спочатку й служив ще за Катерини II й Павла, а потім знову ратником за Олександра I й одбув «Отечественную» війну. Залишив він зовсім службу полковником і вернувся в рідний край, де й одружився з своєю ж землячкою. У дідів було три дочки — мама моя Настасія і дві тітки мої — Анна й Єлизавета Захаровни — та два дядьки — Михайло-генерал і Сашко; третього дядька, Ілька, не пам'ятаю, бо він умер до мене. З цієї родини найбільшу в моєму житті мають вагу дядько Сашко та тітка Ліза, звичайно, після матері, яка рано вмерла; але в Кліщинцях тієї ранньої доби я пригадую лиш дідуня й бабуню, вельми вже старих, та вряди-годи молодого ще дядька Сашка.

Скільки уявляється моїй пам'яті, дідуньо був на зріст високий, мав сиве хвилясте волосся до пліч і завжди був голений: не пам'ятаю щось і усів... Щодо обличчя, то воно було суворе, але йому в очах з-під сивих брів стільки ласки світилося, що зразу, коли подивишся було в них, усе обличчя здавалось щирим та добрим. Ходив дідуньо у довгім каптані, з патерицею або сидів у великім кресельку за книжкою. Для свого часу був він надзвичайно освічений, знав добре французьку мову, зачитувався Вольтером та й у душі був вольтеріанцем.

Бабуня ж моя заледве грамоту знала й була чистим типом української старосвітської пані; світоглядом, звичаями, мовою вона мало чим одбивалась од селянської поштивої баби. Ходила бабуня в простім убранні, голову пов'язувала по білому немов би очіпку шовковим платком і найбільше любила прясти. Мов бачу її за кужелем: виводить довгу, тонесеньку нитку, а веретено спускається на долівку і сюрчить, бігає дзигою. Лице у бабуні було худеньке, у зморшках, але люб'язне й ласкаве, аж

світилося. Услуговувала при домі сама-но жінота: нянька моя Палажка, середнього віку людина, з дочкою Оленкою — старшою за мене літ на п'ять; баба Сірчиха — ключниця, що наглядала за дівчатами-коберницями й за хатнім господарством, та покоївка Тетяна, молода й дуже гарна. А з челяді у пам'ятку — кухар Петро й Лука Швець — останній найбільше, бо любив рибу вудити й мене до тієї потіхи схилив.

Кліщинський дім був невеликий, мав шість покоїв, передню й двоє сінець. Стояв він на високім підмурку, але був дерев'яний з старим, соломою критим дахом. На гостиннім під'їзді був широченний рундук *, на який вели положисті сходи; над рундуком на чотирьох слупах ** звисав ганок. Двері, обмежені двома вузенькими вікнами, вели в невеличкі сінці, а з них уже другі провадили у світлу передню. В передній було теж двоє дверей: одні — просто в середню, а другі — справа — в диванну. Середня кімната була на три вікна, досить велика, на взірець зали; у їй завжди обідали й вечеряли. В однім кутку її стояли високі, під саму стелю, дзигарі з зозулею; перед дзвоном дзигарі шипіли й гарчали, а по дзвоні вискакувала зозуля й кувала години. Мебіль у середній, та й по других покоях, була дерев'яна, лакована: диван, широкі креселка з поруччями та стільці; сидіння були з тканих умисно на те коців. Долівки, двері й лутки в домі були не крашені, а натерті добре олією, яка, пройшовши в дерево, додавала йому темнуватого, глянцевого вигляду. У середній, та майже й по всіх кімнатах, на вікнах були білі з клинчиками штори, а по долівках — килими, яких у бабуні малось досить. Над диваном шаріли вогнем дві французькі гравюри — Везувій і Етна, а по бокових стінах красувались картини з часів Директорії. За середньою була чайна, на два вікна світлиця. Між вікнами блищало кругле в позолоченій фігурній рамі дзеркало; під глухою стіною стояв трохи більший, ніж в середній, диван з креселками, а над диваном била у вічі велика картина «Мир Европы»: на переднім плані пишалися дві величні фігури царя Олександра I й цариці під руку; по обіруч фігур тислись генерали вже по пояс царям; під ногами у царя кораблі мрілись, а в головах

* Р у н д у к — ганок, присінок.
** С л у п — стовп.

летіло два янголи з довгими сурмами та биндами, на яких написано було: «Слава». Супроти вікон, край дверей, що вели в спочивальню, стояла невеличка шафа з чайним посудом, а край стіни, суміжної з середньою, тулились дві більших шафи з книжками. У кутку біля вікна спиналось високе та глибоке крісло з корельської берези, а над ним красувався портрет Вольтера у білім парику, з книжкою. Над диваном ще, по обидва боки «Мира Европы», висіли вінки з жита й пшениці; не здіймались вони від жнив до жнив. У цій кімнаті завжди пили чай, а часом і снідали. За чайною була спальня, або ще звали її й «спочивальнею»; вона вважалась бабуниною кімнатою, і все було там до її смаку уладновано. Праворуч од дверей здіймалась велика кахльована груба з довжелезною лежанкою; з кахель визирали сині та червоні чудернацькі квітки. Посеред стелі лежав дубовий сволок; він завжди був завішаний низками в'ялених яблук і білих грибів та мотками пряжі. На лежанці стояли товстопузі сулії з наливкою з виборних ягід, бо ще і в льоху малося чимало з наливками барил. Між вікнами, що дивились на другий бік двору, стояла велика бабунина шафа, повна варення, щербетів, повидла, пастили, пряників і других ласощів; там же на поличках лежала й свіжа садовина. Та шафа була мені найлюбіша: дух від неї сповняв знадливими пахощами світлицю. Під глухою стіною стояло двоє ліжок одороблих, дубових, а все покуття вставлене було богами в срібних та золотих шатах; за образами пишались пучечки васильків та жовтих повних гвоздиків, а перед ними блимала раз у раз лампадка. Другі двері з спочивальні вели в дівочу, а звідти вже в чорні сіни.

Диванна була така ж завбільшки, як і середня; попід усі стіни в ній приладнований був низький, зелений сап'яном оббитий диван; в однім кутку її стояв високий столик з цибухами, а в другім — такий же з мідними гудзями, на яких висіли сталеві обручики на шнурах, причеплених до середини стелі. На супротивній стіні було вбито кілька гаків, і тими обручиками бавилися. Треба було через усю кімнату закидати їх на гаки, щоб нанизалися. Отой покій призначений, видимо, був для забав і для курива, хоча дідуньо з бабунею заживали тільки табаку, але за мене через його од стіни до стіни тягся верстак, на якому дівчата килими ткали. З диванної ще була направо

хатина,— спочатку в їй пробував дядько Сашко, коли приїздив на погулянку з Крилова, де він служив у кірасирах, а потім у ній оселилась дядина, вдова по дядьку Ільку, Анна Петрівна, з дочкою моїх літ Анютою. Перше й кімната ота звалась «паничівською» і в їй було повно всякої зброї, а потім уже — всяких жіночих оздоб.

Перед домом спереду росло дві тополі й кущі акації; садка при домі не було, а він лежав за селом аж над горою; за тополями та акаціями розлягалось дворище, широке й просторе, заросле геть роменом та щирицею. Направо тулились невеличкі офіцини *, в яких містили на ніч гостей, а наліво далі стояла велика двірська. Двір оточений був барканом з штахетними вирізами. Саме проти воріт через вулицю здіймалась трьома банями церква, а ближче, край самої хвіртки на цвинтарі, стояла низенька на чотирьох слупах дзвіниця. Пізніше й церква була поновлена, покрашена, і дзвіниця збудована нова, а тоді, пам'ятаю, здавалися вони темними, трухлявими, оздобленими мохом зеленим. За барканом по обидва боки розляглось село. З рундука мрілась за селом гора з вітряками і з покрученим узвозом. Гора врівалась над Сулою страшенними кручами, і здаля оті кручі здавались золотисто-рожевими скелями, химерно кинутими одна на одну. З тилу за домом, проти вікон спочивальні, спиналась висока рублена комора з бляшаним півнем на даху, який крутився по вітру, а далі справа горбилась пекарня. Задній двір був менший і обривався кручею зараз за коморою та пекарнею; під нею хвилювало Сулище, притока Сули. З спочивальні або з кручі видко було на горі за Сулищем якийсь панський будинок, і вся околиця, скільки ока, зеленіла засульними луками, темрилася лугами й синіла сизою млою далеких просторів.

Життя у дідівськім будинку точилось тоді тихе, самотнє. З родичів і гостей мало бував хто. Пам'ятаю тільки сусід, тобто галичан з с. Галицького, яке по Сулі вниз лежало версти за дві. В Галицькому сиділи Лисенки, дідуневі родичі в других, і генеральша Магденкова, своячка. Що ж до будинку на Сулищі, який був найближчий до нас і видний був з вікна, то він належав пану Лисянському; але господар його був далеко, й будинок стояв пусткою з зачиненими віконницями; це мене

* Офіцина — флігель.

завжди вражало. Здалеку наїздив уряди-годи товстелезний пан, лисуватий, чорнявий, з вузенькими чорними вусами, мов п'явками, і з одвислим, пухким підборіддям. Пан той на пальці мав дорогого персня, а в руці золоту табачницю і говорив стиха, засапавшись. То був теж маршалок Золотоніського повіту, пан Ілляшенко, вельми багатий; з ним дуже панькались, бо він позичав гроші й мало хто не був йому винен.

Хатньою мовою була у нас щира вкраїнська: бабуня другої не знала, а дідуньо хоч і закидав по-московському, а то й по-французькому, але вимушений був через бабуню балакати по-нашому, хоч, може, й не чисто. Мама моя, дядько Сашко й тьотя Ліза говорили теж, як бабуня, навіть гості — батюшка й товстий пан Ілляшенко — вживали рідної мови; от тільки генеральша Магденкова та її сім'я говорили вже по-московському, бо були литваками; це мені тоді різало вуха, й я не розумів генеральської мови, а самої генеральші боявся.

День тоді, принаймні осінній чи зимовий (певно, я восени прибув до Кліщинець), сходив у дідів так. Життя починалось удосвіта. Я спав у бабуниній спочивальні, на її ж ліжку, а зранку перебігав і до дідуня. Бабуня прокидалася ще вдосвіта, а дідуньо долежував до світання. Як тільки крізь щілини віконниць свіне́, було, блідий іще промінь, старий вже кличе бабу Сірчиху або мою няньку Палажку, щоб одчинила віконниці, і зараз же їх розпитує про погоду.

— А що надворі робиться?

— Нічого,— відповіда лаконічно баба.

— Як нічого? А дощу нема?

— Моросило немов уночі.

— А хмарно чи сонячно?

— Над Матвіївкою ще стоїть хмара, а над Галицьким уже вітер розвіяв.

— Видиш — вітер є, а ти кажеш — нічого!

— Та вітер здоровий.

— А звідкіль?

— Хто його зна, немов звідти й звідти...

— А, безтолкова,— досадував дідуньо,— да ти ж дивилась на комору, куди півень головою?

— До Лисянського.

— Ну, значить, звідтіль і вітер, і, певно, холодний?

— Аж зашпори заходять.

— Ну, бач, виходить — вітер московський, чого доброго, й сніг принесе... Гм... гм... Нада позвать діда Остапа, щоб омшаник опорядив на зиму, а то бджола змерзне.

Такі довідки метеорологічні дідуньо завжди робив зранку і на них фундував розпорядки. Проте він не дуже-то в хазяйстві копався, не часто зазирав навіть у поле, покладаючись цілком на отамана Дмитра Супоню. Останній взагалі не дуже-то вважав на панські накази. Правда, й дідуневі накази були здебільша химерні: то, бувало, одмінить оранку чи сійбу, спираючись на метеорологічні висліди баби Сірчихи; то загада греблю гатити в жнива, прочитавши в Бердичівському календарі, що серпень має бути дощовий; то забажа сіяти самі коноплі та соняшники, бо генеральша ставить якусь чудернацьку олійницю; то перелічить на протязі квадратового локтя колоски й зерна й на тім зважує цілий добуток, та й продає його Гершкові. Так отож кажу, що дідуньо до хліборобства мало впадав, а кохався в садку й пасіці; проте щодня до його приходили і Дмитро, й Гершко, і щоранку він турбувався про погоду.

Бабуня так обережно вставала, що я ніколи й не чув; вона ще вкривала мене тихесенько ліжником або ще чим-небудь, щоб дитині було тепло й затишно, і я, зaритий у пуховики, вилежувавсь, на більшім просторі розкошуючи. Тільки при дідуневій розмові вже прокидався, бо голос у його був досить гучний.

Почувши його, бабуня накидалася:

— Захарій Осипович, не гомоніть-бо так дуже: дитину розбуркаєте, а воно б ще спало та й спало.

— Ти його, Настенько, збалуєш ні на що,— гримне було благодушно старий.— Йому не бабою бить, а генералом, как його дядько Михайло... От і Суворов вставав до сонця і кричав «кукуріку»!

— Та годі-бо! — пробувала спинити жарти бабуня; але я вже прокидався й сам кричав «кукуріку!».

— Вот і молодец! — сміявся дідуньо.— Ну,— затягав він рипучим голосом: «Frere et Jane, levez vous!» * А я зараз же підхоплював пискливо: «Sone la matinè, sone la matinè, bim, bam, bom!» **

---

* Брат і Жан, вставайте! *(Франц.)*.

** Дзвонять до утрені, дзвонять до утрені, бім, бам, бом! *(Франц.)*.

Бабуня тільки махала рукою й виходила буркочучи з хати, а я перелазив через бильце мерщій до дідуня.

— А я Суворов? — лащився я.

— Будеш, коли вчитимешся.

— А може, краще Фрідріхом Великим? — вагався я в виборі.

Мені ці герої були вже строха знайомі. У дідуня в бібліотеці мались розкішні ілюстровані видання, й дідуньо мені часто, щоб заохотити до книжки, показував їх і поясняв малюнки, які взагалі мене дуже тішили, а найбільше вояцькі побоїща. Отож дві товсті книжки — життєписи Суворова та Фрідріха Великого — мені були найлюбіші.

— А,— термосив мене дідуньо,— а не хочеш бути Жан-Жаком Руссо чи Вольтером, га? Тобі до смаку боєвиє герої? Прочитай обидві книжки та й вибери. Прочитай!

— Там по-гражданському букви,— запинався я,— от у часослові гарні, великі.

— Так ти не вмієш?.. Гай, гай! — дратував дідуньо.

— Я вже склади всі знаю: буки-аз — ба, віди-аз — ва, добро-аз — да... і потрійні: віди-рци-аз — вра, добро-люди-аз — дла, твердо-живіте-ук — тжу... і разом хутко: ба, ва, га, да, па, ра, са, та... А дячок говорить, що треба ще й словотитли знать!..

У Кліщинцях почав я у дячка грамоти вчитись, а потім у Лебехівці був уже навчителем у мене бурсак.

— Авжеж: без титлів нельзя церковних книг разобрать, а вот ти швидше учись, то й апостола прочитаєш,— заохочував дідуньо.

— Та!.. Я швидко прочитаю... От і Суворов читав... а Фрідріх ні... Чого Фрідріх не читав? Йому не давали, дідуню?

— Гм,— усміхнеться старий.— Фрідріху було некогда, а то читав би радніше.

— Чого ж некогда?

— А того, що у його било под рукой царство. У Суворова не било царства, бо он сам служив царю і по царському приказу бив неприятеля, а у Фрідріха било своє царство — німецьке; а в кого єсть царство, тот должен піклуваться щодня, щогодини, щоб усім людям у його царствє било добре, щоб всі билі ситі, одягнені, щоб сильний не обижав меншого...

— А чого ж генеральша б'є людей? — перебивав я старого.

— Хто тєбє казав?

— Лука Швець.

— Не слухай брехень! — зітхне дідуньо.— Нікого біть нельзя... У бога всє рівні... і простиє люді такі ж самі, як і ми... Вони бідніші, правда, но оні в том не виновати...

— А чого ж бабуня лаяла, коли я подарував свою хустку Грицькові?

— Яку?

— А ту шовкову, що мені шию зав'язують...

— Ну, бабуня й сердилась за то, що тобі зав'язано шию, щоб не остудився, а ти сорвал і по вітру гасал розхристаний.

Такого й іншого змісту велися у нас розмови щоранку, поки їх не зривала бабуня.

— Вставайте, вставайте-бо, Захарій Осипович, час: вже кава готуватиметься, а малому ось-ось принесе баба вареники...

— Ну, рушаймо, Миша, живо, по-походному... раз, два, три! — крикне було старий і почне одягатись.

Я теж кидався до одежі, але нянька не допускала мене, не зважаючи на мої супереки, та й бабуня обстоювала, що рано ще дитині «утруждать» себе: малому її підвередитись, мовляла, не довго, хай ще нагулює собі сили.

Хоч дідуньо був і іншої думки, але з бабунею змагатись не важивсь. Таким робом, няня мене одягала, мила, чесала й нарешті ставила перед образи молитись. Молитов треба було прочитати чимало, і я під кінець озирався часто, чи не несе вже баба Сірчиха вареників? Кажуть, що коли я читав «Отче наш», то після слів «хліб наш насущний дай нам днесь» питався іноді у бабуні з досадою: «Чому хліб, а не булку?»

Булка мені, очевидячки, була більш до смаку.

Одягшись, ми виходили в чайну, де вже круглий стіл покритий був білою як сніг скатертиною; на столі червонів томпаковий * самовар і кофейний лембик; про його скажу кілька слів, бо з тим лембиком сталась мені потім пригода. Це справді був мідний лембичок, на трьох ніжках; зверху від шийки йшла тоненька рурочка, загина-

* Томпаковий — із сплаву міді й цинку.

лась униз і, пронявши ніжку, стирчала гостресеньким кінчиком; всередину лембика наливався спирт, шийка затикалась міцно, а під спід ставилась спиртова лампочка. Коли спирт починав парувати, то пара виривалася з силою під сподом з кінчика рурочки, пролітала через лампочку, займалась і огнистим синьо-червоним струмком палахкотіла мало не на лікоть у довжину. Кофейник ставили під це полум'я, яке огортало його з усіх боків, розсипаючись цілими шумливими пасмами скалок. Найцікавіше було мені дивитись, як варилася кава, і бабуня без мене лембика не запалювала. Крім того, стояли вже на столі масло, сметанка парена з шкуркою мало не до дна горнятка, плетенка з коржиками, бубликами й крендельками, часом підсмажена булка у маслі.

За сніданком чи за обідом, та й так, няня не одступалась від мене, щоб дитина не вдавилась, не обварилась, щоб не набила собі лоба або не зробила якої шкоди. Няню я дуже любив за її ласку, упадливість, а найбільш за казки; проте її поміч за столом мене досадувала, й дедалі, то дужче. А коли, було, вийду з нею гуляти, то аби вирвався — тільки мене й бачила: я вже знався з хлопцями на селі, мав приятелів, то, бувало, як дременемо, то аж на Дривальці опинимось (друге село, суміжне з Кліщинцями). От тільки коли приходив навчитель, то няня вже мене кидала на нього, та й то іноді сиділа в куточку, щось шпортаючи, й доглядала, щоб навчитель не «утруждав» панича й не знесилював його ученою мукою.

По каві дідуньо сідав у своє вольтеровське крісло й поринав цілком у книжки, а бабуня часом в'язала панчохи чи якісь хустки, а то мотала з веретен на мотовильце нитки або бралась до мотушки мотати пряжу в клубки. Часом замість мотушки бабуня надівала мені на руки цілі пасмища пряжі, й я мусив тримати їх, аж поки бабуня не розмотувала до нитки. Правда, бабуня мені в ті часи розказувала цікаве, а потім наділяла чи пряником, чи маковником, чи яблуком, і я ніколи не нудився такою роботою, сподіваючись завжди на надгороду. Як ми чаювали дуже рано, то о дев'ятій чи о десятій годині приходив до мене навчитель-дячок. Лекція дячка завжди одбувалася в середній. Дячок Ісай був довготелесий, лисий, з товстим синім носом, окульбаченим здоровими окулярами; окуляри зв'язані були на потилиці повороз-

ками, од яких висіли аж на спину кінці; за окулярами блищали маленькі червоні очі, а ніс так був набитий табакою, що дячок аж гунявий був. В довгій свитці, підперезаній поясом, в чоботях, вимазаних ворванню, намащений оливою, з указкою за ухом, дячок у передній ще крякав, відкашлювався й, облегчивши двома пальцями носа, обтирав його якоюсь темною хустиною й увіходив у середню.

— А хто там? — озивався дідуньо.

— Я, причетний слуга вашої вельможної милості,— одмовляв дячок, посуваючись боязко й кашляючи в долоню.

— А, Ісайя! — обертався до його дідуньо.— Здоров, здоров!.. Миша! До науки! Налєво кругом марш! — командував він до мене й додавав дячкові: — А що, як батюшка, отець Михаїл?

Дячок кланявся й цілував руку у дідуня.

— А, хвалити бога, нічого. Вони учора вранці хрестили у Свирида Коця... сина бог дав... Захаріем нарекли.

— А, тьозка! У Свирида? Прекрасно: то були все у його дочки, а то й син. Що ж — радий?

— Вельми... частували так... Спотикач у його,— так і батюшка пили та хвалили.

— Вот тобі й Свирид!

— Воістину... а матушка їздили у пасіку копать буряки й картоплю.

— Що ж, уродила?

— Набрали дванадцять мішків... Там і на мою частку випало три мішечки... Картопля нічого собі, піскувата, але не така, як во врем'я оно: оскудіває в числі...

— Зайдеш з мішком у двір, то я дам ще своєї.

— Благодареніє щедротам вельможної милості,— кланявся дячок,— вашими добродійствами тільки й державимось,— і, відкашлявшись, вів далі: — Матушка теж напоминались про щепи... та вони самі зайдуть... оце на тім тижні збираються льнувати...

— А, поможи боже! Ну, Миша, скорим шагом! Учись,— наука великоє щастя... от, як вмітимеш читати, то я тобі всі книжки подарю... а от них столько добра, сколько за вік свой не знайдеш.

Ні я, ні дячок не розуміли, про що провадив дідуньо; але останній сумно кивав головою й поясняв:

— Воістину! От як буквар скінчимо, то й горщик молочної каші розіб'ємо...

Я розгортав букваря, досить уже засмальцьованого та подертого, і голосно за указкою дячковою проказував склади, а потім і читав по складах: «Отверзи уста мої, господи, і восхвалю славу твою...»

З півгодини я уважно вичитував: «бог, божеський, боголепний, богоугодіє», а далі вже на словах «странноприімний» і «страстотерпець» утомлявся й починав перебивати свого навчителя всякими запитаннями.

— А що таке страстотерпець?

— В молитвах єсть...— одкаже, було, дяк, смикнувши з свистом табаки.

— А що ж воно значить?

— Що? Молитвословіє...

Мене ця відповідь не задовольняла, й я допитувався далі.

— А що таке кустодія?

— От згадали! — всміхався дяк.— Ще далеко до кустодії: це на страстях у велику седмицю читають... аж при кінці...

— Але що ж воно?

— Гм... що...— чухав він потилицю, а потім обривав зразу:— Та не злягайте-бо грудима, не давіть книжки...

— Обридло! — вередував уже я.— Краще писати...

— Ох, паничу!.. Якби ви були в бурсі, то списали б вам стару панійку за це слово... Бдіте, да не внідете...

Я нишком сіпав за поворозку ззаду дяка; окуляри спадали йому з носа, а я заливався реготом.

Дяк сердився й нахвалявся пожалітись панові полковникові, але я його не пускав: згода наставала небавом, і я приймавсь до писання. Гусині пера темперував * мені дяк, а писав я по чорній дошці білилом; виводив уже я гражданські літери з прописі й переписував навіть слова: «всякая тварь дышит», «бога бойтеся, царя чтите», «сладостно умереть за престол и отечество»... Писати я писав залюбки, але бабуня зривала через яку годину нашу науку.

— Годі вже, годі! — появлялась вона на порозі з чаркою горілки й пиріжком.— Не муч його, дяче: воно ще мале... А от випий чарку березівки та заїж пиріжком...

---

* Темперувати — гострити.

А ти, мій сердешний, біжи снідати,— і вона мене пригортала й голубила.

Дячок підходив до ручки за чаркою й, уклонившись, рушав далі; а ми з бабунею йшли до чайної, де вже на столі стояв другий сніданок: конечне — пироги, маринади, кулешик, галушечки, пампушки, драгоне й інше, вважаючи який день — пісний чи скоромний. Усі пости й середи з п'ятницями додержувались там строго, а бабуня ще й понеділкувала.

Після сніданку до дідуня приходив орендар Гершко, а то й до сніданку. Пам'ятаю, що він був худорлявий, рябий, з вузькою борідкою, в ярмулці й пейсах (тоді ще їх не було заборонено), і перед тим, як зближався до чайної, дуже чепурив свої пейси,— примочував їх слиною, накручував на пальці й приладновував до ярмулки; проте вони в гарячій розмові,— а спокійно Гершко навряд чи й балакав,— підскакували й били його по щоках. Гершко, крім корчми й грошових інтересів, держав ще й млини на Сулі. Млини ті були спочатку власністю одного дідича — діда мого діда, якому належали всі Кліщинці, Матвіївка й Галицьке; але ключ той дітям уже розбився на троє, а онукам аж на семеро. Землю й людей можна було поділити, а млинів рубати на частини не доводилось. Вони складали одну велику будівлю, в якій малося дванадцять кіл. Отож будівля, містки й греблі мусили зостатися в спільній власності, а поділили спадщики лише кола. За ті часи у дідуня було п'ять кіл, у Лисянської два, у Антипова одно, у генеральші два й у Лисенків галичанських два кола.

— Ну, що скажеш, Гершку?— радів, видимо, дідуньо, що малося з ким побалакати, і, зсунувши окуляри на лоба та заживши добру понюху табаки, відсовував книжку.

— Хвала богу, вельможний пане маршалку, у нас усе благополучно... От тільки чув, що в Матвіївці прорвало греблю, то щоб горішня вода не наробила нам шкоди.

— От тобі на! — бентежився дідуньо.— З чого ж то?

— Хіба вони, пане маршалку, дбають? Ой вей! Так же, як і наші пани, вибачайте ласкаво,— поки скличеш усіх, то й лапсердака поб'єш і пейси обсмичеш... Ой, ой!.. А там дідича нема, а господарює простий мужик, то йому в голові гребля? А бодай я так свої діти кохав...

— А! Кателики! — вилається дідуньо: це слово у його

було найбільшою лайкою.— Ти поїдь туди, накричи од мене,— щоб ту ж минуту... а то я з ними по-аракчеєвському!

Не знаю, чи розумів Гершко дідуневу погрозу, але вхваляв її вельми.

— Так, так, пане маршалку, не попускайте! А то, ховай боже, коли звідти хвиля посуне, то греблю на Сулищі вирве,— вона й без того [на] ферфал дише — і наші млини опиняться у Дніпрі.

— Sacre nom de Dieux...* Ти побіжи туда зараз!

— Йо, йо! У мене самого поза шкурою, звиняйте, комашня біга... Ох! — зітхав він і, почухавши за пейсами, додавав уважно: — Наша гребля, кажу, що одводить Сулу від Сулища, вей, вей — аж двигтить: вода вже промила... Я з вухами лягав на греблю — дзюрчить аж у трьох місцях... Ой мамеле! Як Сула вирветься! А вже на Чортовім мосту дві палі вимило... Треба, вельможний пануню, поклопотатися завчасу, а то надбігають кучки й дощі, то щоб не сталося нещастя...

— Я напишу до всіх спільників, а ти теж побіжи, щоб збиралися на шарварок...

— Напишіть, вельможний пане маршалку, і пану Лисянському.

— Какому? — стрепенувся дідуньо.

— А вашому сусіді, що за Сулищем: приїхав оце, прибув сюди, як маму кохаю.

— Настенько, чуєш? — гукав дідуньо.— Какойсь Лисянський осел біля нас.

— О?! — цікавилась і бабуня, виходячи з своєї спочивальні у чайну.— Справжній господар?

— А справжній, пані: отой, що закупив маєтки від покійного пана Романа. За десять літ оце він уперше заглянув і каже, що осяде цілком.

— Ти його бачив, Гершку?

— А бачив, вельможна пані: дуже строгий, балака не по-нашому і не второпаєш... што та пошто,— от як генеральша, а то й гірше ще цвенька... а я тільки очима кліпаю... далібуг, аж сміх бере... тільки кланяюсь. А тут приходить до його Павло Дзюба, рибалка, що й вашій милості часом рибу приносить, що жінка його вовну красить...

---

* Чорт забирай *(франц.)*.

— Ага! Ну, ну...

— Щось немовбито пан заборонив людям рибу ловить у Сулі, при його березі... чи що: хто його розбере — ото й кричав... Ой мамеле, як же кричав, мов на пуп! Я спочатку слухав, а далі назад, вей из мир! Уф, налякав як! Аж запінився, та репетує: «Я вас навчу, проклятих хахлов, я покажу вам, мазепи!» — та як хвисне Павла по писку, щоб я луснув...

— Господи! — сплеснула бабуня руками.— Такого поштивого діда?

— Ах он фармазон! Расстрелять! — аж схопився дідуньо.— Какоє он має право заборонять? Річка вільна — ето не озеро і не став! О, diable! * Пусть он до мене заглянет, я йому покажу мазеп і хахлов! Пришлеци, кателики! Лезуть до нас на здирство, та єщо й кирпу гнут, рукам волю дают!

Дідуньо, пам'ятаю, так розсердився, що й я налякався й кинув їсти вареники.

— Годі вже, Захарій Осипович! — забентежилась і бабуня.— Не гнівайтесь дуже: ще завадить, борони боже, і прийдеться сабур заживати.

Сабур у дідуня був єдиним всемогутнім лікарством проти всього.

— І то правда, цур йому! — аж плюнув дідуньо.

— А ти краще, Гершку, поклопочись за рибу: тепер оце восени лящі ловляться...— одхиляла на інше бабуня,— та коли поїдеш у Матвіївку, то привези яловичини, а то гуси обридли.

— Добре, вельможна пані.

— А той пусть і не дума, щоб я до його писав! Хай перш сюда явиться, то я його по-суворовськи! — не втишався дідуньо.

Гершко низько кланявся й на дибках виходив з середньої. І довго ще по відході Гершка бубонів щось про себе дід, а бабуня з тривогою на його позирала.

Перед обідом, як погода була тепла та сонячна, я завжди гуляв надворі, а то й по селу, з нянькою; там уже, як спіткаю було своїх товаришів-хлопців, то й по няні: вирвусь та й гасаю з ними й по токах, і по левадах, і по ліщині, що густо росла по кручах і лугах над Сулою. В луги й ліщину я любив дуже ходити: там, крім оріхів,

---

* Чорт! (*Франц.*).

росла ще й ожина. Оленка завжди підмовляла мене й свою матір, щоб там гулятись; тільки туди було далеченько, а без дозволу бабуні відбиватись від дому було невільно; бабуня ж пускала хіба в свято зрання, у теплу надежну погоду. Отож пізньої осені й на думку не спадало проситись, бо мене страшенно кутали й мало не цілу зиму у покоях держали. Приходилось бавитися в хаті, і я по сніданку найбільше гуляв з Оленкою, що рада була збутись роботи задля паничівської втіхи.

Гуляли ми в піжмурки, в схованку, в коней, а то й у довгого воза; робили з карт москалів і шикували у лави... У війну найцікавіша була забавка: я удавав Суворова, а Оленка Фрідріха або й Наполеона; розставимо було картяні війська і почнемо, дмухаючи, їх валити,— хто зостанеться переможцем, той і їздить на другому верхи... звичайно, панич ніколи не бував побідеником, і Оленка його завжди возила. Тим-то Оленці війна не подобалась, і вона була до ляльок прихильніша — деколи й я з ляльками її бавився й удавав із себе то лікаря, то навчителя, вельми лютого... Побігаю, було, та й берусь до малювання: змалку воно було моєю пристрастю. Ніхто мене тоді малювання не вчив, і я легким робом доходив штуки: візьму було картину, накрию її чистим папером, та й притулю до шибки і наводжу олівцем через світ риси. Картини мені куповано було у коробейників, звичайно, не мудрі й не дорогої ціни— гривня за пару або найбільш гривеник: то генерал якийсь на коні, а під ним тьма-тьмуща і своїх вояків, і ворожих, то з квіткою пані, а то й святе що. Пофарбовані були малюнки з одного маху руки недбалої й нетямущої: розжeнеться зелена стяга з поля й перетне усі обличчя людям, або червоний колір з генеральської бинди чи коміра розбіжиться геть і перетне річку... Про небо й не кажу: там такі чудасії виходили, яких й наприкінці світа, мабуть, не буде. Так ото, списавши олівцем риси, я хапався замалювати їх акварельними фарбами... Мені моє малювання дуже подобалось і тішило надто, хоч дідуньо над ним і сміявся...

Незабаром, о першій годині, ми й обідали і завжди в середній. Мені ставили високе креселко, і няня, обв'язавши мене щільно серветою, різала мені м'ясо, кришила вареники, студила на злість мені страву й мало не годувала з рук, за що я ображався страшенно: у нас завжди

йшла війна, щоб вона не мішалась до моєї страви; бабуня держала сторону няньки, а дідуньо — мою. Не в пам'ятку вже мені, які були тоді страви, тільки згадується, що дідуньо любив пісний борщ з товчениками або з сушеними карасями, щучу ікру, кашу пшоняну на раковій юшці, солянку з в'юнів, драгоне з чабака і всякого роду вареники — і з картоплею, і з урдою, крім сиру; а бабуня любила гуску з яблуками, індика до підливи, якусь потравку з шафраном та імбирем і затірку та лемішку. На закуску між іншим подавано й кашу; вона мені була так до смаку, що я завжди прохав бабу Сірчиху, щоб частіш її готувала. Певно, пісних страв уживали там більше, бо й тепера вони мені більш до смаку.

По обіді дідуньо й бабуня одпочивали і мене примушували до того, але я опирався рішуче, хіба, набігавшись до втоми, дуже вже знемагався. Восени ж і зимою мені можна було побавитись і без догляду бабуні. В диванну вона мене не охоче пускала, бо там було холодніше, та й у прихожій, мовляла, могло обвіяти; а мене тим більш туди вабило. От, скоро, було, засне бабуня, я вже і в диванній,— дивлюсь і любую, як коберниці перебирають основу мотушками кольористої вовни і як з непомітних пружечків, стьобків виходив чи листок, чи квітка, чи химерний який викрутас. Яскраві, розмаїті фарби вбирали в себе мої очі. Я й старшим уже любив додивлятись, як гаптували на п'яльцях або як малювали: останнє й тепера мені втіху дає.

А в диванній було і цікаво, й весело, а надто без баби Сірчихи. Коберниці раділи, коли я приходив, бо панич давав привід ухилитись від праці й погулятися з ним хоч хвилину; а я зараз і намагався, щоб кидали роботу дівчата, або й Свиридиху благав невідступно... Дівчата ото й починали співати, цокотіти, забавлятись.

Між дівчатами-коберницями наймолодшою й найкращою була Тетяна; вона теж і услуговувала в покоях. Мов мріється мені, що вона була середнього зросту, а тонесенька та гнучка, як лозиночка; очі мала лагідні та хороші, і крились вони довгими темними віями...

По відході баби Сірчихи більшина дівчат розбігалася, а лишалися зо мною тільки двірські: Олена, Тетяна, Мокрина — пиката й кострубата дочка кухаря, та Вустя, кривенька на одну ногу. Ну, ми й починали гулятись — у зайчика, у перепілки, у воротаря, у персня чи й у

піжмурки; здіймем, було, такий гармидер, що й Свиридиха прибіжить спиняти.

Я починав її обнімати й прохати, щоб не сердилась, бо незабаром ось-ось приїде дядько Сашко, то тоді при йому уже нитка увірветься.

Я завважив, що коли натякнув про дядька Сашка, то Тетяна аж на виду помінилася і стала никати по хаті, а як відійшла Свиридиха, то підбігла до мене й нишком спитала:

— Чи то правда, що панич Олександер Захарович приїдуть сюди, чи то ви нарочито так сказали господині?

— А буде дядько, буде,— одмовив я з великим жалем.— Бабуня казали, що прийшов лист... Пропали ми!

— Чого? — аж скрикнула Тетяна й зашарілась.

— Як чого? Він москаль... у зброї... ані підступити... грюкає, стукає... розжене...

— Ха, ха! Що ви, голубчику? Та дядько ваш такі добрі, такі ласкаві, що й не сказати!

— О? То він не розжене?

— Матінко! Вони й мухи не скривдять... Такої душі... От побачите... та ще як полюбите дядька,— ось як! — і вона пригорнула мене і чмокнула в щічку... Не знаю, чи причувала тоді бідна Тетяна свою долю? У мене й самого, невідомо чого, зворухнулося серце, й я хотів поцілувати Тетяну, так Свиридиха гукнула:

— Тетяно! А самовар? Що ти собі думаєш?

За вечірнім чаєм, який одбувався дуже рано, до дідуня приходив отаман Дмитро, і вони вели розмову про господарство. Що б дідуньо не казав, він слухав без супереки й підтримував його думку короткими: «еге», «так», «слухаю, вельможний пане», а накінці вже викладав, що має завтра робити й часом зовсім не те, що загадував пан; а старий пан теж здебільша мовчки згоджувався з Дмитром і квітував його волю державним словом: «так тому й бути»... А коли випадало який-не-який раз докласти дідуневі свого, то вже Дмитро відходив з таким покірливим словом: «як вашій вельможності вгодно!»

Чай дідуньо пив, принаймні увечері, зелений, а вранці здебільша заживав каву. Я теж увечері, напевно, пив чай, бо любив натокмачити у склянку булки й робити з неї бабку. Відпивши чай, бабуня лишала Захарія Осиповича розмовляти про хазяйство, а сама відходила до своєї спочивальні; там уже ждала її Сірчиха й доводила,

що прийшли баби — Дмитриха й Гудзиха: перша у бабуні була за отаманшу по її господарству, а друга, хоч і з части Лисянського, була найкраща ткаля і зналась на крашенні вовни, того-то часто й навідувала бабуню. Обміркувавши хазяйські справи, бабам підносилось по чарці горілки, а Свиридиха ще трактувала їх і вечерею, після якої вони знову вертались до спочивальні на попряхи. Сама бабуня любила страх прясти й виводила з кужеля тонесенькі нитки; такі ж, певно, нитки пряли й баби, і з тієї пряжі ткались потім тонкі сороковки-полотна, яких тоді панство замісто галанських уживало. На бабуниних попряхах розмова йшла про злобу дня на селі, про чутки за сусідніх панів, про базарні новини й про інше. Як що траплялось цікаве чи надзвичайне, бабуня зараз переказувала Захарію Осиповичеві.

Мене не дуже займала ота бесіда, де серед сюрчання веретен точилась тиха і млява розмова про справи, мені геть не цікаві, і я любив більш сидіти коло дідуня у чайній і наглядати, як він розкладував великого, на дві колоди, пасьянса, наполеонівського, як він звав; постерігши трохи його, й я помагав де в чім дідуневі; а той мені розказував про всякі події з минулого. Його минуле було повне широких громадських картин і високого інтересу, але малій дитині ніяково було про все розказувати: отож із його розповідків мені й урізались тільки в пам'ять розкішні палаци, пишні учти за Катерини, білі парики, Суворов та інші вельможі, а далі, що цариця віддає люд на бійку панам. З найбільшим захватом дідуньо говорив про Олександра «благословенного» і про «Отечественную» війну, а проте й Наполеона не кляв, а взивав тільки дурнем, що пішов на Москву, а не повернув на Вкраїну.

Пам'ятаю, що в ті часи, прочувши від бабів, як погано поводиться з селянами пан Лисянський або його економ, бабуня доводила про те зараз своїй дружині, і старий аж схоплювався на ноги від гніву: кине було пасьянса й почне хутко ходити по середній та чайній, пригрожуючи, що поїде сам до губернатора чи й до губернського маршалка скаржитись, бо сам цар, мовляв (Миколай), звернув уже увагу на жорстокість та сваволю панів, та й видав не один указ, щоб прикоротити руки лиходіям.

Коли я не досиджував до вечері, то мене нечуственного роздягали і клали на бабунине ліжко; проте вечеря моя не пропадала, і я, прокинувшись уночі чи удосвіта,

доїдав її в ліжку; а коли вечеряв з старими, то давав їм на добраніч і з нянькою відходив до спочивальні, а старі ще грали у чаїній в мар'яжа.

Роздягши, няня молила мене богу, хрестила і вкривала старанно в ліжку, а сама сідала край його розказувати казок. Вона їх так пишно та занятно складала, що не то я, а й Свиридиха чи й бабуня заслуховувались. Я, було, лежу собі під теплим укривалом, приплющивши очі, і чую, як чарівні та жахливі почування мене огортають і несуть кудись в невідомі, баєчні краї. Лойова свічка підсліпувато моргає за спинами попрях-бабів, а в кутку, коло образів, червоним світлом блимає лампада. Химерні тіні од бабів з веретенами й кужелями тягнуться геть по стінах, тремтять, здіймаються і звисають з стелі марою; а на стелі від сволока лежать рядками ще другі чудернацькі сутіні й гинуть над грубою, де заліг звірищем чорний морок. Мені здається, що звір той ворушиться і от-от скочить на мене. Я закриваюсь ліжником і одвертаюсь до глухої стіни; але й там стереже мене страх і примушує глянути під ліжко. Я розкриваю очі й кидаю тривожний погляд по хаті; крізь морок вбачаються всюди і темні, й ясні сутіні; переплутавшись химерними пасмами, вони снують тремтячи по стінах, а то збігаються раптом на стелі й ховаються за суфітами * груби. Від того ворушиться ще більше залеглий там звір і надає мені жаху. Я зажмурюю очі, й мені вчувається одноманітний голос моєї няні, як тихе дзюркотання води:

— Їде та й їде царенко; під ним кінь вороний, золотеє сідельце, а на йому сагайдак срібний та шлик оксамитний, червоний; спереду на шлику ясні зорі, а на потилиці місяць. Їде царенко у тридесяте панство, у інше царство, що аж за дев'ятьма річками та за трьома морями. Спішиться він визволити з неволі красну царівну, яку заполонив з її кревним людом змій з трьома головами.

Я кидаю оком на грубу й закриваюся рукою, а няня проказує далі:

— Їде не день і не два той царенко; поминув свої межі й перехопився в чужий край. Його зараз обступили дуби широкочолі, а потім окрили бори. Вгорі маячить ледве небо, а навкруги товпляться сосни: пропустять його та й збіжаться позаду, а спереду лавою заступлять

---

* Суфіт — ліпна прикраса.

дорогу. Кінь приска, блима очима, гривою має, а дерева простягають гілля, щоб його зупинити... і дедалі темніша в бору, а здаля вчувається регіт мавок, а то й лісовика кострубатого вигук. Проте царенкові не страшно пітьми: йому світить у грудях надія.

Голос няні притиха й біжить у далечінь, а сама вона то здіймається аж до стелі, то відсувається-відсувається, змаляється до цятинки й гине в сутінях; але то вже не сутіні, а пишні кольористі дерева; вони обступають мене, схиляються верховіттям над чолом і шепотять про якісь несказанні дива... А далі все зника й залягає в будинку тиша аж до світання...

Так точився тоді у Кліщинцях день...

К БИОГРАФИИ Н. В. ЛЫСЕНКА

(Воспоминания)

Я остался круглым сиротою на двенадцатом году и был принят опекуном моим, дядей по матери, В. Р. Лысенком в свою семью, в которой впервые и увидел троюродного брата своего — Николая; мы были почти однолетки (Лысенко моложе меня на год с небольшим) и сразу же сошлись с ним душа в душу.

Хотя мы воспитывались и в разных гимназиях (я — в полтавской, а он — в харьковской), но праздники и каникулы проводили всегда вместе, в одной семье, ставшей и мне за родную. В нашей детской дружбе все было общее: и радость, и горе, и делились мы каждой мыслью, каждым настроением, не скрывая друг от друга ничего. С университета (сначала харьковского, а потом киевского) мы идем почти неразлучно по жизненному пути... Общность убеждений и национальных симпатий сблизила нас еще больше; а далее — я женился на сестре его Софии Витальевне и по родству стал еще ближе. Все это я сказал для того, чтоб пояснить, что отрочество, молодость и годы зрелости брата моего Николая Витальевича протекли при мне и не только внешняя сторона его жизни, но и внутренняя мне так же близка и известна, как и своя собственная. Этими воспоминаниями я хочу поделиться с читателями, будучи убежден, что и бегло набросанные черты жизни и душевного развития нашего славного композитора, культиватора народной украинской музыки, не будут для почитателей его таланта безынтересны.

Фамилия Лысенков происходит от древнего казачьего рода, отличившегося воинскими доблестями и попавшего

в старшину еще при Богдане Хмельницком. Отец Николая, Виталий Романович, принадлежал к дворянам Полтавской губернии и служил по тогдашним традициям в орденском кирасирском полку; а мать его — из фамилии Луценок (тоже родственной Лысенкам) — провела свою молодость в Петербурге и воспитывалась в Смольном монастыре. А потому, насколько отец Николая чувствовал себя малороссом, просто в силу хотя бы того обстоятельства, что вся жизнь его протекала исключительно на юге,— настолько мать его чувствовала себя великоросской и тяготела более к северу.

Н. В. Лысенко родился 10 марта 1842 года в с. Гриньках, Кременчугского уезда, Полтавской губ., в доме дяди его матери Н. П. Болюбаша. Будучи первенцем у родителей и единственным внуком бездетного Н. П. Болюбаша, воспитавшего мать Николая и считавшего ее единственной своей наследницей, новорожденный был окружен с колыбели лаской, любовью и роскошью. Впрочем, нашему будущему композитору не пришлось жить долго в Гриньках: ранняя молодость его протекла больше в Крылове, нынешнем Новогеоргиевске, где стоял орденский кирасирский полк. В Гриньки, к дедушке и бабушке, приходилось ему приезжать лишь с родителями на короткое время, в гости.

Двоюродный дед Николая, Н. П. Болюбаш, владел шестью сотнями крестьян, был маршалком и влиятельным в уезде лицом; он иначе не говорил, как по-малорусски, обожал своего внука, получившего в честь его свое имя, и, наверное, навеял бы и ему народные симпатии, так как и сам любил и дорожил национальной простотой. Жена его, бабушка Н. В.,— Марья Васильевна, была добрейшее существо; хотя она говорила уже смешанным языком, но любила малорусские песни, рассказы и даже сказки. Вообще эта семья Болюбашей представляла из себя тип «старосветских помещиков», начинавших уже выводиться... И вот, к несчастью, Н. П. Болюбаш скоропостижно умер, оставив Лысенкам богатое наследство, но не оказав никакого нравственного влияния на своего любимого внука.

Отец Лысенка был и до получения наследства человек не бедный: имел родовое имение в с. Галицком, Кременчугского уезда, совместно со своими родными братьями Андреем и Иваном, дававшее приличный доход, и

состоял еще эскадронным командиром; это, вместе с субсидиями, получавшимися от дяди, давало возможность молодому супружеству жить припеваючи.

Первое детство Лысенка было обставлено роскошно; разодетый в бархат и кружева, он переходил из одних рук в другие и стал баловнем не только родных, но и офицеров; последние горячо любили своего товарища, Виталия Романовича, его жену и перенесли эту любовь и на сына их Николая. И ласки, и угодливость, и баловство вскоре отразилось на характере ребенка, проявив в нем при деспотизме желаний и настойчивость в требовании исполнения их. Раз, когда он был еще ребенком и раскапризничался не в меру, мать пригрозила, что если он не уймется, то позовут повара Карпа, чтоб его высек... И что же? Ребенок стал еще более кричать: «Карпо, иди секи меня!» — и требовал этого Карпа для экзекуции так настойчиво, что растерявшиеся родители должны были уверить сынка, даже сводив его на кухню, что Карпо отправился в деревню и что когда он вернется, то непременно исполнит его желание. Очевидно, ребенок сознавал, что мать не допустит такого наказания, и требованием экзекуции хотел наказать ее за обидное слово. Эти черты настойчивости и упорства, получившие начало на почве детского своеволия, окрепли впоследствии, при других, уже более серьезных, обстоятельствах, и сослужили ему службу в жизненной борьбе с врагами его мировоззрений. Но в те юные, детские годы никто бы в избалованном барчонке не мог провидеть будущего отрицателя барства и борца за народное счастье, выступившего в поле не с мечом в руках, а с лирой и с песней...

Первое воспитание нашего композитора было поведено на аристократический лад: чистый французский язык, изысканные манеры, танцы и свободное держание себя в гостиной — вот что требовалось от ребенка. Из искусств допускалась еще игра на фортепьяно: во-первых, она составляла бонтонность, а во-вторых, и покойные отец и мать Лысенка очень любили музыку. Мать Николая прекрасно играла на рояле, отец же его хотя и не знал нот, но очень любил импровизировать на фортепьяно и подбирать по слуху всевозможные мелодии. Так как Николай проявил с детства любовь к игре на фортепьяно (иногда по целым часам простаивал и подбирал одним пальцем мотивы), то родители решили, что

у него есть призвание к музыке и наняли ему с пяти лет учительницу музыки. Первые уроки грамоты Николай получил от матери на французском языке, по «Education maternelle». Служивший в том же орденском полку известный поэт Фет даже упрекал мать Лысенка, что она учила сына первой азбуке французской, и взялся сам учить его русской. Так как при уроках поэт заставлял своего ученика писать буквы карандашом, то последний стал приставать ко всем офицерам с просьбой дать карандашик, за что и прозвали его в полку «карандашиком».

Но и в полку долго ему жить не пришлось: в 1848 г. умер неожиданно от холеры дядя Болюбаш, и отец Лысенка должен был оставить службу и переселиться для ведения хозяйства в Гриньки, полученные в наследство. Шум и гам полковой сменился элегической тишью села, а баловство офицеров — баловством бабушки Марьи Васильевны, обожавшей своего внука. Любовь матери и бабушки, которую, впрочем, все мы звали тетей, часто сталкивались в соперничестве, чем пользовался молодой Лысенко для своих прихотей, а им не было ни преград, ни пределов.

Родители Лысенка поселились в доме тетки-вдовы в Гриньках. Этот дом был невелик и укрыт соломой. В это время у Николая был уже брат Витя, умерший четырех лет, а потом явилась и сестра София; если прибавить к увеличенной семье гувернантку, музыкантшу, экономку, няню, мамку и другую прислугу, то будет совершенно понятно, что такое стеснение для Лысенков, привыкших к широкой обстановке, было не по душе. Вследствие этого отец Лысенка задумал построить для себя отдельный удобный дом в другом имении, в м. Жовнине на Суле, лежавшем в двадцати пяти верстах от степных, безводных Гринек. Постройка этого дома почему-то шла медленно и была окончена лишь через четыре года, так что первое детство Лысенка все-таки прошло в Гриньках. Здесь-то над ним и столкнулось два совершенно противоположных и даже враждебных веяния: с одной стороны — французский язык, манеры и аристократическая чопорность (мать и гувернантка), с другой — малорусский язык (бабушка и ее экономка, решительно не умевшая говорить по-русски, няня да бабушкины дивчата), баловство и излишняя простота манер. Первая сторона

преследовала не только простонародное слово, но даже и русское, запрещая всякие сношения с пейзанами, а вторая — наоборот — поощряла всякую простоту, занимала ум и фантазию ребенка сказками народными и песнями, а по вечерам отпускала весь полк служанок для забав с панычом; конечно, забавы эти заключались в разнообразных народных играх...

Протесты матери здесь оказались бессильны: упорная настойчивость и слезы ребенка, поддерживаемые энергией обожавшей своего внука вдовы, перевешивали протесты, тем более, что и отец стал на сторону тетки.

В эти годы, кроме обычного начального учения, шли с мальчиком занятия на фортепьяно; эти занятия он любил, особенно игру в четыре руки, и вообще делал в музыке быстрые успехи. Техника ему давалась чрезвычайно легко, музыкальная память с первых шагов проявилась в необычайных размерах; шестилетний ребенок поражал всех и беглостью и чистотою своей игры, и даже в известной мере чувством при выполнении сложных пьес. Кроме того, он с удивительной легкостью усваивал мотивы и подбирал их с гармонизацией на рояле.

В этот период я и познакомился впервые со своим кузеном. Мать моя, потеряв родителей и детей, жила в 1850 и 51 году в Захаровке и оттуда навещала изредка своего двоюродного брата В. Р. Лысенка в Гриньках, куда брала с собой и меня. Тут-то и завязалась было наша детская дружба, но в ту же осень меня отвезли в Полтаву и определили в благородный пансион при гимназии, где я и был по экзамену зачислен во 2-й класс, а Лысенко был отвезен в Киев и определен в аристократический пансион Вейля, помещавшийся на Фундуклеевской ул. Впрочем, в этом пансионе он пробыл всего месяца три: суровое обращение и плохой, впроголодь, стол заставили родителей его прилететь в Киев и перевести холеного любимчика в пансион Гедуэна, находившийся в Липках; в нем Лысенко и окончил полный курс, т. е. три класса, и оттуда перешел уже в IV класс 2-й харьковской гимназии. Первые месяцы пребывания в пансионе (Вейля и Гедуэна) Лысенко каждую субботу и воскресенье проводил у моей матери, жившей тогда в Киеве для лечения; к ней он, при своем одиночестве, привязался всей душой. Это обстоятельство сблизило мою мать с родными Лысенка, а особенно с отцом, так

что в своем завещании она и назначила его опекуном, а тетю, сестру свою Елизавету Захарьевну, опекуншей надо мною.

Будучи у Вейля, Николай брал уроки музыки у некоего Нейнквича, чеха. Последний сам не играл на рояле, но так умел дивно преподавать, что одними объяснениями достигал выработки учеником туше и понимания им каждой музыкальной фразы. Когда молодой Лысенко приехал на первые рождественские праздники домой и сыграл своей учительше, панне Розалии, пройденные в пансионе пьесы, то она сначала окаменела от изумления, а потом истерически разрыдалась.

У Гедуэна перешел Николай по фортепьяну к Паночини— тоже чеху. Этот уже сам блестяще играл и, давая ученику новую пьесу, не объяснял ее, а демонстрировал собственным исполнением ее красоты. У него Лысенко разучил довольно трудные вариации на оперу «Dame blanche» *, а также более легкие переложения Листа. Паночини особенно напирал на технику и стремился развить у своего ученика блестящую беглость и чистоту туше.

На первые рождественские каникулы я приехал в Захаровку и застал уже там мою мать, выздоровевшую, как мне казалось, совсем. Мы два раза ездили с ней из Захаровки в Гриньки, где нас принимали тепло и радушно. С своим кузеном я встретился с восторгом, как с близким родным, и мы сейчас же побежали в его комнату: передавали друг другу впечатления пансионской жизни, причем, конечно, каждый хвастался и отстаивал свое заведение. Лысенко кичился Киевом, как столицей, своим пансионом, в котором воспитывались и сыновья титулованных польских магнатов, а я насмехался над этим аристократизмом, хотя в душе чувствовал зависть, и отстаивал свою гимназию, доказывая, что она дает больше серьезных знаний. Вскоре, впрочем, мне пришлось совсем переселиться в семью Лысенков и слиться с ней навсегда. Здоровье матери моей снова ухудшилось к лету, и она к осени должна была отправиться в Киев, где уже и осталась навеки. Я стал круглым сиротой, будучи в третьем классе гимназии, и на каникулы, по переводе в четвертый, уже совсем переехал в Гриньки. С этого

* «Біла дама» *(франц.)*.

времени мы стали с Лысенком закадычными друзьями и разлучались с ним лишь на время занятий: он отправлялся в Киев, а я в Полтаву; но и во время разлуки мы переписывались постоянно, и письма наши дышали неподдельной детской привязанностью.

Учился Лысенко в пансионе прекрасно: был в ряду первых учеников и привозил при переходах в высшие классы всегда наградные книги. В музыке Николай оказывал колоссальные успехи, и еще будучи в первом классе, т. е. лет 9-ти, он сочинил уж довольно миленькую польку, с правильным развитием темы и звучной гармонизацией; эта полька и была напечатана в Киеве. Мировоззрение у Лысенка все еще продолжалось аристократическое, поддерживаемое направлением пансиона и домашними традициями — выездами в каретах с ливрейными лакеями и панской обстановкой.

Помещичья жизнь тогда еще текла широкой волной. Праздники, а особенно рождественские, проводились шумно и весело; чуть ли не в продолжение 2 недель семь-восемь соседних семейств, с прибавкой молодежи, съезжавшиеся издалека, переезжали из одного дома в другой, и в каждом гостили дня по два, наедаясь до отвала и натанцовываясь до упаду. Само собою разумеется, что обе кутьи по старосветскому обычаю соблюдались у нас тогда строго и праздновались большей частью дома, с канонадой из мущирей * и двух пушек, доставшихся в наследство от Болюбаша. Отец Лысенка был искренне религиозен, и это настроение отражалось и на нашей молодой жизни. На светлые праздники мы разъезжали тоже по родным и соседям; но разлив рек Сулы и Днепра затруднял сообщения, да и самые вакации были короче. Зато какое раздолье было нам летом! Хотя каникулы тогда были короче теперешних — от половины июня лишь по 10 августа,— но нас в эти два месяца трудно было и залучить в дом: по целым дням мы бегали то по двору, то по саду; играли в мяча, запускали змея, стреляли из лука, ездили верхом (я всегда — плохо, а Николай — превосходно). Что же касается учебников, то летом мы к ним не прикасались; только для музыки Лысенко делал исключение и аккуратно два раза в день занимался игрой на фортепьяно. Он уже исполнял серьез-

---

* Мущир — мортира.

ные концертные пьесы, напр.: «Пробуждение льва» Контского и переложения Листа. Музыкальная память у него развивалась изумительно: раз, два проиграет, бывало, большую пьесу — и уже играет ее на память. Я тоже по ходатайству своего друга начал брать уроки музыки в пансионе, но особенных успехов в ней не оказывал: был счастлив и тем, что мог играть в четыре руки с Николаем.

По вечерам мы забавлялись с челядью в различные народные игры, в которых предводительствовал всегда я. В нестерпимую жару и в ненастную погоду забирались мы в прохладную гостиную, на длиннейший диван, и читали интересные детские книги и журналы. Помню, что нас тогда особенно увлекали «Робинзон Крузо», «Айвенго» и «Граф Монте-Кристо». Тетя любила слушать жестокие романы и часто засаживала нас читать ей вслух, а мать Николая превосходно читала по-русски, особенно стихи, и для нас не было большего праздника, когда она соглашалась прочитать нам баллады Жуковского, а особенно «Ундину», за что мы обязаны были сделать диктовку по-французски, а также заняться и переводами.

Как я выше сказал, семейству Лысенков было тесно в Гриньках, и отец его затеял давно выстроить дом в м. Жовнине. Там было превосходное место на горе, по которой опускался к леваде фруктовый сад, а самая левада была покрыта густыми вербами, яворами, орешником и тянулась почти до Сулы. С горки, где строился дом, открывался роскошный вид на заднепровские дали с синеющими горами и на задумчивые луга, сторожившие прихотливые изгибы Сулы.

Этот дом был готов, когда я перешел в V класс, а Лысенко окончил курс у Гедуэна. Мы были в восторге и те каникулы провели роскошно: и обширный, хорошо устроенный дом, и чудный сад, и прохладные аллеи, и река — все нам доставляло новые радости и развлечения. Чуть ли не большую часть дня проводили мы на берегу тихой и ласковой Сулы; купались в день два-три раза, удили рыбу, гуляли по лугам и вслушивались в народные песни: там недалеко, у мельницы, собиралась улица, пели парубки и дивчата, а иногда и раздавалось унылое, одинокое женское соло. Мы, малыши, боялись тогда подхо-

дить к толпе, а слушали песни только со своей левады; но тем не менее и гулянье молодежи, и песни ее производили на нас впечатление. Я помню, что некоторые мотивы, особенно нам понравившиеся, Николай записывал в ноты и сообщал своей бабушке, любившей очень песни, а особенно родные, народные. У Марьи Васильевны была воспитанница Люба, обладавшая чудным голосом,— она и распевала тогда и русские, и малорусские романсы.

Жовнин был почти по соседству с Галицким и Клищинцами, отстоявшими от Гринек верст на тридцать; а потому теперь мы часто видались с тамошними Лысенками: в Галицком жила семья родного дяди Николая, Андрея Романовича, а в Клищинцах жил мой родной дядя (по матери) Александр Захарьевич. Андрей Романович был женат на белорусске, а потому семья его была обруселой; пелись там больше великорусские народные песни: «Матушка голубушка», «Лучина-лучинушка», «Я пойду, пойду косить», но среди них попадались и малорусские: «Ой хто в лісі, озовися», занесенные, вероятно, Александром Захарьевичем. Последний, вопреки воле родителей, женился на простой крестьянке. Домашний язык у моего дяди был, конечно, малорусский, да и в гостях он любил щегольнуть им. Будучи по фигуре и по чертам лица типичным запорожцем, Алекс[андр] Захар[ьевич] любил и запорожскую удаль, и старые песни; конечно, эта платоническая любовь не облекалась в какие-либо идейные стремления, а составляла лишь его поэтическое настроение, но тем не менее в этом настроении сказывалось враждебное чувство к панскому обрусению и отщепенству от народа. Я с Николаем стали чаще ездить к тем родичам в гости. В Галицком раз достали мы от Андр[ея] Ром[ановича] запрещенные стихотворения Шевченка и целую ночь читали их, восторгаясь и формой, и словом, и смелостью содержания. Что меня увлекал этот звучный страстный стих, было неудивительно — он мне был с детства близок, но Лысенко, привыкший к русской или французской речи, был особенно поражен и увлечен музыкальной звучностью и силой простого, народного слова. С этого времени и я перестал этого слова стыдиться; а потом знакомство и сближение наше с дядей Александром, или Олексашей, утвердило нас еще больше в симпатиях к малорусскому языку и малорусской старине. Дядя знал много запорожских

дум и песен, пел их выразительно, с чувством и производил сильное впечатление. Лысенко впервые стал от него записывать мотивы и слова этих песен, напр., «Ой не гаразд, запорожці, не гаразд вчинили», «Отамане, батьку наш», «Встає хмара з-за лимана».

Для нас не было тогда большего праздника, как поехать к Ал[ександру] Зах[арьевичу] в гости. Все у него было оригинально и полно поэтической шири. Прежде всего радушию и гостеприимству его не было конца; второе — у него были сыновья, мои двоюродные братья — Петр и Порфирий, хотя и старше нас, но все же сверстники, третье — всегда они для нас, конечно, при участии и своего батька, устраивали или охоты, или рыбные ловли. Отправимся, бывало, к заливам Сулы с неводом, с ятерями, с подсаками и наловим, при общем радостном настроении и взрывах восторга, массу рыбы и раков, а то настреляем еще и дичи, т. е., вернее сказать, настреляют кузены, а мы едва еще могли держать ружье в руке. Но тем не менее всякая удача и добыча считались тогда общей, как общее было и веселье. После охоты и ловли тут же на берегу Сулы, при поэтической обстановке и нежно-ласковом вечере, а то и при пышной ночи, готовился на костре ужин; мы все принимали участие в кулинарных трудах, но надсматривал за кашеварами сам дядя, как кошевой атаман. Лучшей ухи из животрепещущей рыбы, лучшего кулиша, заправленного салом и сваренного с дикими утками, я не едал нигде; кроме молодого аппетита, возбужденного свежим ароматным воздухом и физическим трудом, составляющим лучшую приправу к блюду, я полагаю, что эти снеди были и безотносительно превосходны. Здесь же, за вечерею, под звездным небом и рассказывал нам дядя про запорожцев, про их житье-бытье, про бывшую славу и волю, а то и пел песни. Рассказы его и песни западали нам в душу глубоко, будили национальное чувство, уносили фантазию в прошлое, полное чар и величия. Как я сказал выше, дядя наш говорил всегда по-малорусски, и этот язык был единственным языком в его семье; бывая у него, я чувствовал себя, как рыба в воде; но Николаю было сначала несколько трудно подделаться под общую речь, хотя он и старался. Дядя, бывало, говорит: «Ну, тебе, Михайло, можна хоч зараз у кош, а це ще паненя, хоч і з козачим серцем!» У дяди нашелся между прочим

и первый напечатанный «Кобзарь» Шевченка и «Энеида» Котляревского. Потом уже, будучи в 5-м классе, я и сам купил в Полтаве Шевченка и «Энеиду». Бабушка слушала чтение этих книг с наслаждением. Итак, с уверенностью можно сказать, что первые корни национального чувства зародились у Лысенка под влиянием бабушки и при сближении в играх с народом, а потом они проявились поэтически при знакомстве с Ал[ександром] Зах[арьевичем]. Народное настроение стало с того времени проникать и в музыкальный талант Лысенка: во-первых, он стал записывать мелодии старинных песен и подбирать к ним аккомпанемент, а во-вторых — стал присочинять казачки и исполнять их на фортепьяно с таким блеском и шиком, перед которым бледнели и цимбалы, и скрипка с бубном.

По окончании курса у Гедуэна Николай должен был уже поступить в четвертый класс гимназии. Начал он слезно молить своих родителей, чтобы не оставляли его в Киеве, совершенно чужом городе, одного, а чтобы перевели в Полтавскую гимназию, где мы были бы вместе. За перевод из Киева стояли, кажется, все, опираясь на то, что он самый отдаленный от родного поместья город — до 300 верст, тогда как Полтава лежала лишь в 120 в., а Харьков — в 230. Итак, этот вопрос был решен в пользу нашу; но относительно Полтавы и Харькова было колебание; мы же настаивали лишь на одном — чтобы быть вместе. Однако наше желание не сбылось. Полтавский дворянский пансион признан был родителями Лысенка за мужицкий хлев, да и сама гимназия — вульгарной; а в Харькове, в университетском городе, нашелся дальний родственник Лысенков, профессор Борисяк, согласившийся приютить в своих салонах отдаленного своего племянника за солидную по тогдашним ценам плату — 700 руб. в год. Для меня у него не оказалось места, а может быть, опекуны мои считали такую высокую плату для меня непосильной. Одним словом, я остался и на 5-й кл. в дворянском пансионе, и только с 6-го перешел в частный пансион Ганота, а Николай застрял в Харькове, поступив в IV кл. 2-й гимназии, в которой потом и окончил гимназический курс. Сначала он жил у профессора Борисяка, а потом у доктора Гюббинета, державшего у себя три-четыре пансионера из аристократических семейств. Жизнь наша в этот трехлетний

период мало чем отличалась от прежней; конечно, мы росли, крепли телом и заражались мало-помалу всякими юношескими стремлениями. Дружба наша с каждым годом еще больше росла. Мне, как старшему и как представителю более развитой гимназии, Николай более доверял, чем традициям шаблонной морали своих воспитателей, и под влиянием моего дяди и моим более склонялся к демократическим симпатиям, чем к великопанским. Каникулы и праздники неизменно проводили мы то в Жовнине, то в Гриньках. Кроме обычных развлечений в залах и гостиных, а также и удовольствий на лоне природы, мы много тогда читали громко друг другу, переживая душой все перипетии жизни героев. Читали, между прочим, с жадностью из тетиной библиотеки романы Вальтера Скотта, Дюма, Эжена Сю, Бальзака,— конечно в переводе на русский язык, и даже воровали у гувернантки, состоявшей при сестре Николая Софии и меньшем его брате Андрее, Польдекока на французском языке, знание которого мы и развивали на последних романах. Кроме того, родители Лысенка выписывали много газет и журналов («Отечеств[енные] записки», «Современник» и «Журнал для юношества»). В это время Севастопольская война была окончена, наступала заря освобождения крестьян и гуманных реформ. Цензура была ослаблена и дала простор русской мысли. Все заговорило: либеральные идеи закружились и в юных, и в седых головах, общественные интересы и грядущие преобразования стали темой не только у зеленых столов, но и у дамских козеток. С одной стороны, веяние свободы опьяняло молодые умы и сулило радужную, полную заманчивых перспектив жизнь; с другой стороны — у стариков и вообще у всех помещиков вызывало серьезные опасения, что эмансипация разорит дворян и вызовет на свет разуваевых... Все это — и опасения, и лучезарные мечты — поднимало пульс общественной жизни и наполняло лихорадочною тревогой сердца. Стали появляться новые органы печати, и консервативные, и прогрессивные; публика накидывалась на них и проникалась жаждой борьбы. На наши умы, полудетские, полуюношеские, эта общественная струя производила приятное оживление. Конечно, мы не проникали глубоко в значение грядущих переворотов, но они занимали нас, как занимали и вопли коробочек, и вздохи маниловых, и скрежеты собакеви-

чей... (Мы тогда увлекались тоже «Вечерами на хуторе близ Диканьки», «Тарасом Бульбой» и «Похождениями Чичикова»).

В то время Полтава была просто захолустный город, в котором текла патриархальная, почти деревенская жизнь; достаточно сказать, что в нашей столице не было ни театра, ни кондитерских, ни кофеен или ресторанов с биллиардами, ни даже гостиниц с машинами или цыганскими хорами, куда бы стекалась местная молодежь (я не говорю о дворянском клубе). Потребности театральных зрелищ удовлетворял изредка кружок любителей, ставивших исключительно «Наталку Полтавку», «Москаля-чарівника», «Сватання» с каким-нибудь русским водевилем с пением. На эти спектакли поч[етный] попечитель гимназии присылал всегда в пансион 20 билетов. Мне и теперь кажется, что лучше этих спектаклей я ничего в жизни не видел,— до того впечатление от них было сильно.

Вследствие такой патриархальной глуши, гимназист наш, с одной стороны, лишен был соблазнительных приманок разгула, а с другой — был дик и не отшлифован. С харьковским гимназистом-щеголем, изучившим и тайны клопштосса, и цыганский шик, и закулисные ходы, нашему брату нечего было и тягаться, но по умственному и общественному развитию наша полтавская гимназия стояла неизмеримо выше и выпускала воспитанников и с более солидным умственным багажом, и с прогрессивно-гуманным мировоззрением. Не могу не упомянуть о таких незабвенных для нас учителях-просветителях, как Стеблин-Каменский, Стронин. Но несмотря на то, что харьковская гимназия и жизнь могли бы воспитать у Лысенка лишь барские инстинкты, они не оказали на него в этом отношении никакого влияния: противовесом этим наносным веяниям были впечатления детства да творческая душа юноши, увлеченная волной народной музыки и поэзии, а главное, врожденная честность мысли,— они-то стояли на стороже возле нашего композитора и превратили изнеженного, избалованного ребенка-аристократа в убежденного демократа и стойкого борца за право и слово родного народа.

Музыкальные занятия Лысенка в Харькове шли так же успешно, как и в Киеве; учителями его были: сначала Вольнер — бесцветная личность, а потом

Дмитриев — прекрасный виртуоз. Он старался отшлифовать врожденную Лысенку беглость игры и придать ей блестящий оттенок. Изучал с ним Бетховена, Моцарта,— вообще знакомил с классиками. Последним учителем был чех Вильчик.

Игра Лысенка окрепла, стала осмысленной; техника и сила развивались неимоверно, а вместе с ними усваивался изящный вкус в исполнении, сказалась врожденная теплота души. Лысенко у Вильчика стал изучать Шопена. И Бетховена, и Шопена он исполнял уже мастерски и увлекал своею игрою слушателей. Но странно, что после сочиненной им в детстве польки я не помню в этот почти пятилетний период других его композиций. Импровизировать, правда, он мог до бесконечности, но большей частью танцы, напр.— казачки, метелыци, польки, галопы, вальсы и кадрили из малорусских народных песен. На всех вечерах и раутах Лысенко был приятнейший и дорогой гость: он очаровывал общество своей концертной игрой, охотно сам танцевал и играл для танцев; отличался, кроме того, заразительной веселостью и пленял барышень, кроме игры, еще своей холеной красотой.

В VI классе я жил уже не в пансионе, а у учителя французского языка Ганота, где пользовался, конечно, большей свободой. Раз пошел я пофланировать по Александровской улице, чтоб освежить голову, задуренную экзаменною работою, и зашел случайно в книжную лавчонку. Книгопродавец показал мне как новинку «Записки о Южной Руси» Кулиша и его же исторический роман «Чорну раду». Последняя меня поразила: я до сих пор читал на малорусском языке лишь Шевченка да Котляревского; первый, конечно, трогал меня глубоким содержанием и прелестью стиха, но по форме и по лексике этот стих приближался к народной песне. Спешу оговориться, что в то время мы были знакомы еще с весьма немногими произведениями Шевченка: «Катерина», «Наймичка», «Іван Підкова»; ни «Посланіє», ни «Думи» не были еще знакомы нам,— я уже не говорю о «Кавказе» и других подобных произведениях Шевченка. Котляревский же смешил меня юмором, но не будил даже предположения о возможности писать на этом языке что-либо возвышенное, серьезное, могущее изобразить все тонкие изгибы мысли и мельчайшие оттенки красок художественной картины. Лучшие строки «Енеїди», глубокая

сатира пекла как-то ускользали из юношеского воображения за веселостью общего сюжета. Хотя и теперь помню, какую глубокую грусть будили в наших сердцах известные строки: «Так вічной пам'яті бувало у нас в гетьманщині колись...» И вдруг роман! Исторический роман! У меня загорелось сердце, но не было в кармане 3 руб. Я, кажется, две недели собирал гроши и злотые, следил ревниво за лавочкой, чтоб кто-нибудь не унес этой волшебной книги. Наконец, перед отъездом на каникулы, она была мною приобретена, и я просидел над страницами ее ночь напролет, смакуя каждое слово, каждую фразу. Когда я передал Лысенку об этой книжке, то он поспешил купить и «Записки». Приехавши в Жовнин, мы на другой же день обегали сад, леваду, бурты, побывали на Суле и принялись немедленно за чтение романа. На Лысенка он тоже произвел сильное впечатление и содержанием своим и — главное — языком; мы пережевывали каждую фразу и восхищались, как оно выходит и ловко, и звучно, и с какой яркостью рисует даже тончайшие облики картины. Я потом читал этот роман и в гостиной; даже покойной матери Лысенка он нравился, хотя многого она не понимала, а тетя Марья Васильевна да ее приемыш Люба и хозяйка Таня были в восторге. Мы с этим романом ездили потом и к Александру Захарьевичу. Последний отнесся к нему с радостным изумлением; вслушивался, вдумывался и наконец произнес: «Спасибі Кулішу, засвітив і в нашім льоху каганця!»

Язык он одобрял, хотя относительно некоторых выражений и слов делал свои замечания; что же касается изображения сцен и типов давней жизни, то этим он, безусловно, был тронут.

Конечно, кроме «Ради», мы прочли и «Записки». Этнографический материал и призыв к собиранию народных сокровищ до того воодушевили Николая, что он стал собирать и записывать народные песни. Дело началось, конечно, с малорусских романсов, которые он черпал от знакомых барынь, барышень, поповен или даже горничных, напр.: «Там, де Ятрань круто в'ється», «Чи я в лузі», «Дівчино, рибчино, серденько моє», «Баламуте, вийди з хати» и т. д.; но среди них попадались и чисто народные: «Ой місяцю, місяченьку», «Воли ревуть, води не п'ють»... Аккомпанементы к этим песням подбирал Лысенко весьма красивые и виртуозные, хотя, быть может,

и грешившие правилами строгой народной гармонии, которые он усвоил уже потом, после консерватории.

К этому времени неясных национальных стремлений относится один смешной эпизод. Мы с Николаем впервые влюбились, и влюбились в одну и ту же девицу. У соседей наших Ильяшенков гостила маленькая кокетливая блондиночка со вздернутым носиком и искрометными глазками; была она, кажется, католичкой, потому что носила имя Текли, но русским языком прекрасно владела, а глазками еще лучше. Она сразу произвела на нас чарующее впечатление. Мы стали упрашивать маму поскорее уехать в Гусиное к Ильяшенкам, и снова ее увидели, и восторгались обворожительной Теклей... Между тем сама барышня, вероятно от скуки или из шалости, стала кокетничать с нами, дурачиться, бегать взапуски, пожимать руки и увлекла нас до самозабвения. Мы по целым ночам под звездным пологом неба (спали на галерее) толковали о Текле, восторгались ее красотой, уносились мечтами в мир Шехерезады, придумывали способы свиданий и передавали друг другу про всякие завоевания у Теклюни в сфере любви и... не ревновали нисколько друг друга. Наконец, мне пришла в голову мысль написать ей или гимн, или оду, а Николай взялся присочинить музыку. Эта идея нам понравилась. Я взял на себя обязанность, кроме поставки стихов, еще и пропеть этот мадригал. Нужно добавить, что хотя я и брал уроки фортепьянной игры у Едлички, но оказывал в ней неважные успехи, а между тем у меня оказался недурной баритон, и я стал заниматься больше пением, даже рисковал исполнять жестокие романсы в салонах. Потому-то мы и рассчитывали соединением наших талантов сразить окончательно пленительную, но неуловимую кокетку. Был еще спор между нами, на каком языке начертать нашему кумиру послание,— на малорусском или на русском? Но решили писать на последнем, опасаясь, что панна, будучи полькой, может еще поднять на смех хлопский язык. Я принялся за версификацию: у нас в гимназии учитель словесности Сосновский, преподавая правила стихосложения, требовал от учеников и сочинений в стихах — и мы писали... Среди учеников высших классов (5, 6 и 7) лучше всех удавались стихи мне и Вербицкому — тоже пансионеру: нам даже заказывало начальство торжественные приветствия и оды при посещении нашего пан-

сиона сановниками, а товарищи дали нам прозвище поэтов, одобренное надзирателями. Часто, бывало, при передаче пансиона сменяющему надзирателю слышится вопрос: «А где же наши поэты?» — на который почти постоянно следовал ответ: «В карцере». Так вот я и принялся за вирши. Каждый куплет, конечно, обсуждался нами тщательно; у меня остался в памяти лишь один:

О ты, прелестное созданье,
Небесных радостей фиал,
Дай хоть единое лобзанье
За наш сердечный мадригал!

Музыка была написана Лысенком восхитительная (так мне казалось), полная и нежной тоски, и томного очарования, и даже безумной страсти. Это было 2-е музыкальное произведение Лысенка, уже более зрелое, чем детская полька. Лысенко долго штудировал мое пение; наконец он остался им доволен. Ноты были тщательно переписаны, виньетка размалевана. Гувернантка пожертвовала нам ленту или подвязку для свитка, и мы отправились в Гусиное.

Нам посчастливилось: родителей не было дома, а свободная четверка лошадей и фаэтон стояли на конюшне; Созонт, дядька Лысенка, протежировал своему питомцу, и при его влиянии экипаж был заложен и паничи в парадных гимназических мундирах, с красными в золоте воротниками расселись важно, а Созонт в ливрее поместился на козлах. Счастье летело вслед за нами до самого Гусиного. С сердечным трепетом и робким, но сладким волнением вошли мы в гостиную и застали там одну Теклю. Она с неподдельной радостью встретила нас.

— Ах, как это мило с вашей стороны, что навестили меня, бедную... Тетя третий день как уехала, а я одна-одинешенька... вот, как видите, скучаю и тоскую... Все о вас, мои милые, думала, и сердилась, что забыли... а вот и вы!

От ее слов мы взлетели, конечно, до седьмого неба. Николай покраснел и запнулся, как красная девица, а я таки осмелился ей ответить:

— Если вы со скуки вспоминали нас, то мы вашего дивного образа не теряли и на мгновенье: он запечатлелся в наших сердцах навеки!

— Вот какие комплименты! Браво! — вскрикнула панночка, но смешалась и от удовольствия вспыхнула до макушки. Лысенко тоже смутился и начал меня дергать за полу.

Через мгновенье панночка, овладев собой, хохотала уже весело и непринужденно, сверкала глазками и дарила нас пленительными улыбками.

— Вот что,— продолжала она тараторить,— если я запечатлелась, то я вас арестую... Ни, ни, ни! Ни пискнуть!! Вы пробудете со мной до возвращения тети... я здесь теперь хозяйка! Вот буду угощать вас чаем, ужином... а завтра мы устроим какое-нибудь парти-де-плезир *... ведь лошади с вами?

— С нами и лошади, и экипаж,— ответил Николай,— но вот... только... чтоб не беспокоились...

— Вздор! — возразил я.— Мы вполне располагаем временем...

— Конечно, конечно,— подхватила Теклюня,— и знаете что? Завтра мы поедем к Днепру... к тетиным плавням... Там и лодка есть... возьмем закуски и будем кататься в лодке. Ах, как будет весело!! — Она захлопала в ладоши и убежала сделать хозяйские распоряжения. У Николая вспыхнул еще страх за лошадей, взятых самовольно, но только лишь на мгновенье; обаятельный прием и перспектива радостей завтрашнего дня опьянили нас окончательно...

После чаю было, наконец, торжественно преподнесено богине наше музыкально-литературное произведение: оно было принято с восторгом, а после исполнения — даже с трогательным умилением. Теклюня протянула нам свои беленькие душистые ручки и, откинувши голову назад, произнесла: «Позволяю».

Я припал к ручке, а Лысенко к другой; должно быть, мы целовали ручки более положенного, потому что панночка их наконец выдернула, произнеся: «Довольно! На больше — если заслужите!..» Полагаю, что второго такого упоительного впечатления, с первым трепетом неземного блаженства, с первым дыханием неведомой страсти,— в жизни уже не повторилось.

Вечер прошел в волшебном настроении сердечной

---

* Парти-де-плезир — весела прогулянка (*франц.*).

весны. Текля, впрочем, ушла рано, чтобы приготовить все к завтрашнему пикнику и пораньше встать... «Так завтра же мы с вами гуляем!..» — и, убегая, она послала еще нам воздушный поцелуй.

Мы целую ночь не спали; передавали друг другу свои восторги и ожидали с нетерпением счастливой зари.

Но только что начал светлеть восток, как неожиданно ворвался в наш кабинет заика-форейтор и, подавая записку, стал грозно бурчать:

— Ба-ба-ба-рин при-ка-ка-за-ли сю ми-ми-нуту ехать назад... Сее-с-сер-сер-дя-тся страх!..

В записке было грозное подтверждение слов форейтора. Как ошпаренные схватились мы и стали натягивать свое платье. Лошади уже стояли у крыльца. Не умываясь и не прощаясь с панною, мы прыгнули в фаэтон и застегнулись наглухо фартуком. А Созонт еще с едкой улыбкой заметил:

— А что, господа женихи, чтоб не влетело всем нам по самое покорно благодарю!..

Так печально окончился наш первый любовный эпизод.

Этим эпизодом на летних каникулах и начинается наша светлая юность: Лысенко был уже в 6-м классе, а я перешел в 7-й. На ту пору надвигались отовсюду заботы и разные тревоги за будущее. Прежде всего финансовое положение помещиков в последние годы «крепацтва» сильно пошатнулось; крестьяне, ввиду воли, плохо работали; кредит частный пал, а правительственного не было; взыскание долгов росло, а ликвидация всяких хозяйственных предприятий быстро вела к разорению. Как раз перед эмансипацией отец Лысенка выстроил в Жовнине винокурню, основал селитряный завод, а в гриньковской части распочал строить кошары, амбары, клуню и другие экономические постройки, да к ним еще и другой дом,— все это требовало огромных денежных сумм, а их не было. Родители Лысенка были страшно удручены: грозила потеря всего состояния, что несколько позже и случилось; но нам, молодым, было море по колено, а потеря доходов и видимое оскудение даже отчасти нас радовали: если бы этого не было, то Николай остался бы непременно до окончания гимназии у Гюббинета; теперь же таких чрезмерных сумм платить не имелось возможности, и нас вынуждены были поместить, в видах

экономии, вместе на частной квартире у г. Рейнгарда. Лысенко брал в это время уроки фортепьянной игры у лучшего музыканта в Харькове Дмитриева, а потом у чеха Вильчика, напиравшего на виртуозность, на изящество исполнения. Несмотря на усиленные занятия в 7-м классе, Николай не отрывал ни одного часа от музыкальных упражнений и двигался в этой сфере вперед и вперед. Он тогда, кроме пальцеломных этюдов, изучал Шопена, знакомился с Шуманом и работал усердно над чертовскими тур-де-форсами Листа. У его учителя Вильчика по воскресеньям раза два в месяц собирались по утрам разные музыкальные артисты и упражнялись в камерной музыке. Лысенко бессменно вел фортепьянную партию. Иногда эти вечера тянулись с утра до ночи. Лысенко еще постоянно играл у почетного попечителя своей гимназии, князя Голицына; этот меценат приглашал к себе всех артистов и среди них всегда Лысенка. Малорусских национальных стремлений в Харькове не было ни слуху ни духу, по крайней мере, мы на них не наталкивались, а потому при тамошней малокультурной жизни могли выветриться и навеянные детством симпатии. В Дюковском театре изредка шло лишь «Сватання на Гончарівці» да «Шельменко-денщик» с знаменитым артистом Н... в заглавной роли, каковые пьесы мы обязательно посещали; да в книжных магазинах еще появились 2-й том «Записок о Южной Руси» и рассказы Марка Вовчка. Мы, конечно, прочли их с прежним увлечением... но и только... Так прошел год. Лысенко выдержал экзамен с медалью и уже в синем воротнике отправился домой на каникулы. Средства его родителей к тому времени до того истощились, что мы не могли аккуратно платить за квартиру и не имели средств в последние две недели купить табаку. Так что, когда отец и мать Лысенка приехали к нам летом на квартиру, то мы прежде всего бросились к карманам родителя за папиросами. На каникулах уже мы заметили не только в нашей семье, но и у окружных помещиков признаки оскудения; вереницы раутов, переезды из одного села в другое гурьбой были прекращены. Падение «крепацтва» уже было державной волей начертано, ждали указа, а вместе с ним ждали и какой-то ужасной катастрофы. Рассказывались небылицы, передавались слухи о таинственных убийствах; все это обвеивало дворянские семьи паникой, и более зажи-

точные из них собирались бросать свои поместья и переселяться в города. Наша семья тоже серьезно стала поговаривать о переселении, но, к огорчению нашему, не в Харьков, где были наши зазнобы, а в Киев. Последний город был выбран или по удобству путей сообщения (в то время начали впервые между Кременчугом и Киевом крейсировать пароходы), или же потому, что близкие и родственные семьи Болюбашей и Деконоров выбрали для воспитания детей своих Киев. Но в тот год, 1859, разные экономические и финансовые передряги не дали возможности перебраться, и мы к величайшей радости опять возвратились в Харьков. Лысенко поступил на естественный факультет, кажется, в память дяди своего Борисяка, профессора минералогии. По всем склонностям ему бы следовало поступить на историко-филологический факультет, но фамильные традиции его сбили. Так тянулся год в какой-то умственной путанице. Театр мы посещали довольно часто, занимая, конечно, райские высоты; нумерованных мест там не было, а потому, чтобы захватить лучшие, нужно было забираться туда пораньше,— часов с пяти, а то и с четырех после обеда. Бывало, и выспимся там, пока публика станет сходиться. Так вот раз надоело сидеть нам, а Боброва как актриса нам сильно нравилась; ну мы и давай во время игры, а следовательно и тишины в театре, вызывать ее в терцию: партер начал смеяться, а галерчане-товарищи еще поддерживали нашу терцу квартетом... Вышел легкий скандал, за который на другой день Лысенко очутился в карцере: ему, как музыканту, приписали инициативу в этом вокальном концерте. Еще один интересный факт припоминается мне из нашей жизни в тот год. Товарищ наш Косяков по семейным обстоятельствам должен был перевестись из харьковского университета в киевский. Мы его проводили с соболезнованием и вспрыснули дорожку, а он через месяц вернулся, но вернулся неузнаваемым: в ботфортах, в венгерке, конфедератке и с носогрейкой в зубах. Мы изумились этому непонятному маскараду, а Косяков стал уверять, что в киевском университете формы не носят, а все ходят в ботфортах да всевозможных костюмах, что там студенты не то что у нас, а держат в панике город и производят такие дебоши, каких и военным не снилось. Очевидно, Косяков не понял ни национальных стремлений, ни борьбы партий, а обратил лишь

свое внимание на внешность. Тем не менее рассказы его нас увлекли, и когда летом решался в последний раз вопрос, куда ехать, мы налегли тоже на Киев...

Старик Лысенко ездил в Киев летом, нанял квартиру на Тарасовской ул., а мы с Николаем приехали туда авангардом, еще до начала занятий, и были поражены не городом,— он тогда был довольно пустынен, особенно окрестности университета, и, пожалуй, уступал по бойкости Харькову,— а студентами, которые стали появляться на улицах; большинство их было в польских костюмах, среди которых изредка появлялась или выпускная косоворотка, или сивая смушковая шапка. Язык везде царил польский. Пошли мы в театр — ничего не поняли; шла какая-то комедия из варшавской жизни; отправились в бильярдную — и там маркеры и гости говорили по-польски. Наконец, завернули в магазин — и там к нам обратились: «Цо панство хце?» * Наконец, и в кухмистерской нам предложили «яи садзоне» ** и «легумине» ***, о каковых блюдах мы не имели понятия. Лысенко вздыхал, что заехали в Польшу и что, вероятно, придется слушать и лекции на польском языке. Все это смущало его сильно и тянуло к милому Харькову.

Из товарищей харьковских у Лысенка ни одного не нашлось в Киеве, а моих из полтавской гимназии оказалось душ десять. Николай перезнакомился с ними и примкнул, конечно, к полтавскому кружку. Собственно говоря, это не был идейный кружок, а просто более близкие однокашники, льнувшие в чужом городе ближе друг к другу. Они тоже не понимали еще знамения времени, обуревавшего юные умы в университете и отражавшегося даже за стенами его какой-то смутной тревогой. Нас поразила сборная зала в университете, принимавшая с каждым днем более бурный характер, и в ней звучала подавляюще польская речь. Студенты-католики собирались массами, о чем-то вели бесконечные споры, держали иногда речи, иногда слышались из небольших кучек протесты...

Помню, какой-то в красной рубашке кацапик, небольшого роста, просил Христом-богом товарищей, чтоб его

---

* Цо панство хце? — Чого панство хоче? *(Польськ.)*.

** Яи садзоне — яєчня *(польськ.)*.

*** Легумине — ласощі *(польськ.)*.

подняли. Мы подхватили на руки оратора и поставили на окно; с этой высоты он начал громить и укорять густые массы поляков. Речь его была пылка, искренна и сильна. Содержание ее приблизительно состояло в том, что все мы, малороссы и кацапы, сочувствуем стремлению польских студентов стоять за развитие своей национальности, за свои права, за свободу и автономию родной страны, но сочувствуем до тех пор, пока эти стремления не ломают нашу свободу, нашего национального развития и прав нашей родины. А вы-де, господа, начинаете свое дело с насилия над другими. Киев не ваш город, и университет этот наш... да и наука должна быть свободна от национальных давлений. Слова оратора произвели на волнующиеся толпы кунтушей и венгерок неотразимое впечатление. Все смолкло и притихло. Один внушительный по фигуре поляк даже произнес одобрительно: «Добже, шельма, муви!» *

Но другой, рыжий, с остроконечной бородкой и подкрученными вверх усиками, крикнул: «Лже, лайдак! Тен университет есть наш, бо з Вильна пшенесен!» ** Поднялся невыразимый шум, среди которого кто-то в сиряке и сивой шапке орал: «Панове, не будьте необачними! Обміркуймось! Невже тепер ви не шукатимете згоди? Гей, пригадайте даремно пролиту кров!!»

Такие сцены повторялись почти ежедневно и прогрессировали по мере съезда студентов и большего наполнения аудиторий. Национальная борьба, разгоравшаяся в храме науки, будила многие вопросы, спавшие до того времени в нашем мозгу, а в сердце поднимала новую, неведомую до того страсть. Мы с Лысенком просиживали иногда ночи, толкуя о национальных задачах, о прошлом нашей родины и о судьбе-мачехе нашего крестьянина.

Раз собралось в квартире студента, еврея Г. из полтавцев, известного потом публициста, нас, земляков, довольно много; пришли туда и новые киевские товарищи, люди сознательно-национального значения, выработанного здесь на почве борьбы соседних народностей; явился и кацапик в красной сорочке, симпатичнейший

---

* Д о б ж е, ш е л ь м а, м у в и! — Добре говорить, шельма! *(Польськ.)*.

** Л ж е, л а й д а к! Т е н у н и в е р с и т е т е с т ь н а ш, б о з В и л ь н а п ш е н е с е н! — Бреше, негідник! Цей університет наш, бо перенесений з Вільна! *(Польськ.)*.

студент Ч., которого мы не раз поднимали то на плечи, то на окна в сборной зале. Замечу, кстати, что у нас в Полтавской гимназии, несмотря на преобладающий в ней малорусский язык, не было никаких сознательных симпатий к культуре его, к правам национальным, к историческому прошлому, равно не было выработано и политических идеалов. Киев в этом отношении был далеко впереди: здесь было задумано и Кирилло-Мефодиевское братство, здесь и Максимович, и Костомаров, и Кулиш будили прежде интересы к изучению народа, здесь, наконец, и политические брожения поддерживали почин народного чувства, обострявшегося в борьбе. Так вот пришедший кацапчик стал развивать компании ту мысль, что в настоящий момент подъема духа и симпатий к меньшему брату все лучшее русское культурное общество пошло в народ,— изучить его, научить его, слиться с ним для борьбы с темными силами, тормозящими наше развитие и общее благо. Что малороссы хотя и принимают участие в общем движении и трудятся в воскресных и других школах для просвещения народа, но тем не менее не смотрят сознательно в корень и не борются с другой силой, стремящейся денационализировать здешний край. «Ведь у вас, господа,— поднял он голос,— есть своя славная история; народ ваш кореннее нашего русского, да и не мало его, за 15 миллионов; язык у вас богатый и звучный... ждет только литературного развития... По политическим и социальным идеалам мы друзья... а по ярму — братья родные... Так как же нам, товарищи, не соединиться вместе, коли на наших глазах полонизируют и древнерусский город, и науку, и народ! Заявите же и вы, господа, что считаете весь этот Юго-Западный край Малороссией и что стоите за свой народ, за свою национальность, за свою старину и за свою речь... да за политическую, и юридическую, и нравственную свободу народа! Поляки надели кунтуши и проповедуют свой катехизис; наденем же и мы свои косоворотки, поддевки, сиряки, сорочки, жупаны да свиты... и станем проповедовать свое credo. А наше credo — свобода развития всех национальностей, без насилий и притеснений других, демократизм, уравнение прав ассоциации слабых для борьбы с сильными, развитие гуманитарных начал, автономии и свободы!»

Речь кацапа была покрыта дружными рукоплеска-

ниями, пожатием рук и объятием. Предложение пришлось по душе и вызвало оживленную по этому поводу беседу. Бывшие в гостях киевляне, сознательные украинцы, развили еще больше нам, неофитам, мысль кацапа, освоив многими фактами состояние нашей народности и значение ее в будущем.

Лысенко просто преобразился и начал доказывать, что нам всем не только с народом, но и между собой нужно говорить по-малорусски, чтобы сделать этот язык культурным и своим... Много было поднято вопросов, подано предложений и намечено проектов для совместных работ.

Придя домой, Лысенко стал советоваться со мной, какой бы заказать нам костюм, и мы после долгих серьезных дебатов порешили, что на первый раз нужно обзавестись хотя двумя: для будней — чумарка из темно-коричневого драпа, отделанная кожей, и шаровары серые, а для праздников —суконные жупаны, бархатные темно-синие шаровары и шелковые шали для поясов... Пока мы только обдумывали покрой верхних сиряков и выбирали барашек для шапок, нас позвали на генеральную сходку в университет, в студенческой библиотеке, а разом и аудитории. Мы отправились с Лысенком туда вечером и застали, кроме наших знакомых, массу студентов. Собрание было обставлено таинственно: ночь, большая зала, ряды скамеек, столик, тусклое освещение... торжественная тишина, масса голов и опросы входящих: пароль и лозунг? Все это импонировало ужасно: мы почувствовали себя словно в средневековой ратуше на собрании заговорщиков.

Когда выбраны были «голова» и «писарь», тогда предложен был собранию для обсуждения ряд вопросов, касающихся самопознания, убеждений, стремлений истинного малоросса, а также программа деятельности и отношения его к другим национальностям. Вопросы обсуждались серьезно, в строгом порядке, чисто по-парламентски; все заседание велось на родном языке, и мы с Лысенком услыхали впервые серьезную малорусскую речь и заметили, что киевляне, волынцы и даже черниговцы владели ею далеко лучше нас, полтавцев... На этой сходке решено было единогласно, что малорусский народ составляет особую национальность, богатую всеми данными для культурного развития и участия полным

голосом в славянском концерте, что честный, сознательный малоросс должен отдать все свои душевные силы для поднятия в народе самосознания и развития, что ко всем братьям славянам он должен относиться дружески и помогать им в борьбе с угнетателями, что в политических и социальных стремлениях он исповедует те же идеалы, что и передовые его братья великороссы, и что с лучшими партиями этих передовых сил он солидарен. На этой сходке был и кацапик, и депутат от польского кола.

Лысенко вышел из этого собрания словно пьяный и с того момента стал самым рьяным украинофилом, как окрестили нас потом. В скором времени и малорусские, и великорусские студенты облеклись в свои национальные костюмы; массы студентов и в университете, и на Крещатике представляли живописную картину.

Но, помимо школьных деятелей, образовалось тогда еще много кружков, преследовавших те или другие просветительные цели: одни занимались этнографией — записыванием преданий, сказок, пословиц, загадок, суеверий, обрядов и т. п.; другие стали собирать материалы для будущего малорусского словаря; третьи принялись за составление популярных книг для народа; четвертые стали для этого изучать малорусский язык; иные пошли в народ...

Широкая волна кипучей жизни и спешной работы охватывала нас с каждым днем все больше и больше. Лысенко с присущей его характеру настойчивостью принялся изучать язык, для чего он приобретал все изданные и выходившие тогда на малорусском языке книги. Мы выписали «Основу»; с увлечением штудировали статью Костомарова «Две русские народности» и зачитывались произведениями Шевченка, Кулиша, Марка Вовчка и других. Теперь мы уже относились к ним гораздо серьезнее и замечали многое, ускользавшее прежде от нашего внимания... Я стал пробовать переводить на малорусский язык басни Крылова и музу Пушкина (кажется, первое — «Эхо»). Мы с Лысенком примкнули к группе, трудившейся над собиранием материалов для малорусского синтаксиса.

Это было перед объявлением воли народу, начертанной государем, но еще не обнародованной. Подъем духа и у народа, и у культурных классов рос почти по часам,

пресса ликовала, загоралась заря свободы. Надвигалась какая-то полная чар и широкого счастья эра, туманившая головы несбыточными надеждами и заставлявшая отрадно биться наши сердца. Среди общего светлого праздника темные силы притихли и должны были попрятаться в норы.

Лысенко до того был увлечен роскошной весной, что забыл даже свою музыку и в то время мало работал над техникой игры, а если и работал в своей сфере, то главное над записыванием народного музыкального богатства.

Но если Мыкола занимался тогда меньше этюдами и сонатами, то зато больше создавал или пробовал создавать в малорусском вкусе разные танцы, и народные и общеевропейские. Не помню, по воскресеньям или по субботам у нас устраивались «вечорниці»; были выбраны почтенные матроны, которые заведывали хозяйственной частью и наблюдали за строго цензурной порядочностью их. Конечно, все посещавшие эти «вечорниці» обязаны были, без исключения, быть в народных костюмах и говорить по-малорусски; за каждое нарушение последнего условия взымался штраф, поступавший в издательский фонд. Мы по-детски ловили друг друга и взымали штрафы при общем смехе. Угощения на этих вечерах велись в складчину и все кушания и напитки были национальные. В танцах допускались из иностранных лишь полонез и кадриль, остальные же танцы были народные: казачок, горлица, вальс-казак и метелица. Вот для этих-то всевозможных танцев и создавал Лысенко свою прелестную в народном вкусе музыку... Он вообще был душой общества и вносил в него искренность увлечения — и своим заразительным весельем, и своей чудной игрой, и даже своими усердными танцами. Кроме того, где Лысенко ни появлялся, сейчас же составлялся хор, которым он и дирижировал.

Я коснулся киевского движения 60-х годов лишь в той мере, в какой оно имело неотразимое влияние на поворот мировоззрений и симпатий Лысенка; а это время, богатое событиями, сильными характерами, руководителями, исполненными высокого ума и великого сердца, еще ждет занесения на страницы истории.

Замечательно то, что мои врожденные симпатии к своему родному языку встретили в подъеме национального

самосознания 60-х годов лишь свое оправдание и не поразили неожиданным открытием; Лысенко же, хранивший лишь проблески народных симпатий, навеянных ему с детства, теперь, словно слепец после снятия катаракта, прозрел, и это чудо подействовало на него потрясающе: все, что хранилось в тайниках его сердца, вспыхнуло ярким пламенем, в котором сгорели его барские воспоминания, аристократические тенденции, светские привязанности, а все стремления сплотились в одну широкую любовь к своему родному народу и к духовному проявлению его личности... Одним словом, Лысенко восприял новые идеи не спокойно, а с страстностью.

Такими-то завзятыми украинцами мы возвратились на каникулы в Жовнин.

Эти каникулы мы начали тем, что непосредственно сами отправились на «улицу» и старались перезнакомиться со всем селом, имея целью и пропаганду своих идей, и сближение, слияние с народом, и собирание этнографического материала. Лысенко с фисгармонией проникал и на «досвітки», и на «вечорниці», оживлял их своей игрой и выуживал всюду народные мелодии, которые и заносил в свой музыкальный портфель: они потом в его обработке составили драгоценный вклад в сокровищницу духовного богатства нашего народа. Молодежь сельская нас не чуждалась, а потребовала, по обычаю, ведро горилки и разрешила бывать на всех своих сборищах. Более пожилые хозяева смотрели, впрочем, на нас с некоторой подозрительностью. Наше хождение в народ, простой костюм и простая речь объяснялись вообще тем, что царь «за те, що знущались перше пани над людьми, переписав при «волі» і їх у «простоту»; но было и другое толкование: что «пани переодяглись у просте і вештаються, щоб підслухать, записати і донести на нас царю...» В иных местах этнографических собирателей хватали как «шпигов» и заключали в «холодну»...

Эти молодые увлечения народом выветрили и у меня, и у Мыколы всякие воспоминания о барышнях и о Харькове. Ко всем соседним помещичьим семьям мы относились уже с недоброжелательностью и высокомерием, иначе нигде не говорили как по-малорусски. Бывали лишь изредка у Алекс[андра] Захар[ьевича], уже, впрочем, больного. Женитьба его и семья казались нам идеальными, к каким честный украинец должен стремиться.

Лысенко, увлекавшийся всякой идеей народничества до фанатизма, чуть было не женился на одной дивчине из своего местечка; но благоразумие ее взяло верх.

Поздно осенью мы возвратились в Киев, бурливший уже подготовлявшимся польским повстанием. Мы завертелись в водовороте сходок, в буре политических дебатов, в разных представительствах, в отстаивании прав своей народности...

В 1861 г. наше семейство ранней весной двинулось обратно в деревню: опасность ожидавшихся крестьянских бунтов прошла, средств на житье в городе не было, а введение уставных грамот и совершение актов на выкуп наделов требовало личного присутствия владельцев. Теперь в этих выкупных свидетельствах помещики видели единственное средство ликвидировать хоть кое-как свою задолженность.

Мне тоже нужно было по этим самым делам и еще по наследству, назначенному к дележу в ноябре, остаться в Жовнине до зимы. Мыкола уже сам отправился в Киев; а я в ноябре простудился, получил ревматизм и пролежал всю зиму и часть весны то у новых родных Старицких, с которыми сошелся при дележе наследства, то в Жовнине в своей семье. Всякие хозяйственные заботы и по всему имению, и по делам Лысенков удержали меня в селе и на другую зиму, в которую я повенчался с сестрой Лысенка Софией Витальевной и таким образом совсем слился с их семьей.

Я целый год не был в Киеве, а там свершилось в это время много событий, изменивших настроение общества. Была между прочим учреждена комиссия для проверки уставных грамот и наделов в Юго-Западном крае, и для ее задач — мировые съезды. Мой тесть получил место председателя такового в Сквирском уезде, Киевск[ой] губ[ернии]. Вскоре старики отправились в Сквиру, а Мыкола в Киев, оставив нас, молодых, на хозяйстве. Мы дали друг другу слово переписываться, и я написал недели через две шуточное письмо по-малорусски Мыколе, в котором просил его приехать к нам на праздники. На это письмо я вскоре получил ответ от Мыколы, полный укора; он писал, что огорчен моим отношением к дорогому нашему языку. «І ти, що мусив би найбільш своє слово поважати і любити, вживаєш його, як забавку на скалозубство, на жарт, а не береш на орудок широкої

культури»,— и даже просил, чтобы я занялся переводами, кроме басен, и чего-нибудь серьезного из сферы поэзии. Вообще по тону письма было видно, что наши роли теперь переменились: прежде я его подвинчивал в изучении своего языка, в демократизме и в сердечной привязанности к своей родине, а теперь он требовал уже от меня дела, фактического участия в разработке языка, в приспособлении его к высшим формам поэзии и в обогащении его лексикой, черпаемой из народных сокровищниц... Конечно, следующие письма я стал ему писать педантично серьезного содержания.

Рождественские праздники Лысенко провел у нас, и мы с ним затеяли сразу не малую штуку — написать украинскую оперу. Сейчас же от слова к делу: я, не имевший понятий о разработке оперных сюжетов, взялся написать либретто на почве стороженковской комедии «Гаркуша», а Мыкола, не слыхавший и такой, как я, оперы, а знавший лишь по переложениям для фортепьяно несколько итальянских опер, взялся написать музыку. Тем не менее, ничтоже сумняшеся, мы принялись за дело: говорю «мы», потому что, кроме либретто, я подпевал и мотивы, конечно, из итальянского запаса. Работа кипела, и в течение праздников была написана почти треть первого действия. Конечно, в хорах и в некоторых ариях звучала заимствованная итальянщина, но были номера, скомпонованные Лысенком вполне в духе народном, и скомпонованные красиво. У меня сохранился один брульон * либретто из этой оперы, на котором имеется к словам «Ой Дніпре широкий, чого каламутен?» — записанная рукою Лысенка музыка для арии баритона. Шпаргал помечен: «Лебехивка 1864 року». Жаль, что не сохранилось клавира. В то время я искренно восторгался музыкой этой оперы; жена моя пела сотнычиху, я — Гаркушу, а Мыкола — всех прочих действующих лиц и хор. С такими силами мы стали демонстрировать эту оперу нашим родичам и соседям, производя везде неимоверную сенсацию: нам стали даже устраивать рауты с специальной просьбой спеть оперу.

Так как Николаевка, в которой жило родственное нам семейство Деконоров, была от Лебеховки в шести верстах, то прежде всего и чаще всего мы там и бывали.

---

* Брульон — черновик. (*Прим. автора*).

У Деконоров старшая дочь Оля, еще «підліток», была чрезвычайно красива, жива и симпатична; она обладала миленьким голоском, подпевала и особенно восторгалась оперой.

Уехавши в Киев, Мыкола попал в волну новых событий. Поднялись доносы на украинофильство. Результатом этой травли было гонение как на язык, так и на любителей малорусского слова и музыки. Цензура не стала пропускать ни одной книжки на малорусском языке, а исполнение на нем представлений или песен было запрещено.

Когда я на будущую зиму, устроив свои хозяйственные дела, снова возвратился в Киев кончать университет, то застал уже почти безнадежное уныние. Лысенко держал тогда окончательный экзамен и поселился со мной. Конечно, мы с Лысенком стали придумывать хоть какое-нибудь дело, чтобы привлечь к нему более или менее сочувствующих людей, сгруппировать хоть малый симпатичный кружок. У Лысенка были некоторые знакомые, я пристал к ним, и мы общими усилиями устроили с благотворительною целью в городском театре концерт и живые картины. В концертном отделении нам вычеркнули весь текст малорусских песен, а между тем на них-то мы главным образом и обосновали сбор. Что было делать? Живые картины, хотя бы и на гоголевские сцены, публики не привлекут, равно как и игра Лысенка, еще неизвестного как артиста. Наконец придуман был один исход: перевести на французский язык текст народных песен и подать такую программу. Это удалось,— но зато в концерте вышел скандал: когда певец вышел на эстраду и запел известную песенку «Дощик» так:

La pluie, la pluie,
Qui tombe doucement...
Je pensais, je pensais,—
C'est un Zaporogue, maman!—

то поднялся сначала неимоверный хохот, а потом бурный протест и требование народного текста: само собою разумеется, что нам сию же минуту запретили исполнение французских песен по программе, а заставили их заменить другими; потом еще были и беседы...

Добавлю, что во 2-м концерте, состоявшемся через полгода, уже допущены были 2—3 песенки народные.

Очевидно, что запрещение шло не от высших правительственных сфер, а от местной администрации, которая вскоре стала смотреть снисходительнее на безвредную симпатию общества к родному слову.

Концерты нас познакомили с просвещенной, симпатичнейшей семьей Линдфорсов, с которыми мы стали вскоре друзьями; а Мыкола встретил в жене молодого Л. нашу прежнюю знакомую Олю Гревс, с которой как с «підлітком» играли мы еще в Гриньках.

Вскоре мы познакомились с С-вым, преподавателем русского языка и словесности, человеком гуманного направления. Он примкнул к нашему кружку и предложил общую работу: собирать и выбирать материалы для составления грамматики и синтаксиса малорусского языка. Этой работой и прежде пробовали мы заниматься, но бесполезно, так как не было у нас во главе опытного специалиста, теперь же в лице талантливого С-ва у нас явилась полная надежда осуществления наших желаний, и мы принялись дружно за предложенную работу, а особенно страстно отнесся к ней Мыкола. Работа и регулярные собрания то у одного, то у другого сблизили нас всех и сдружили; а и было нас в грамматической компании человек 5—6 не больше, но собрания отмечались особенной сердечностью и время на них шло в веселой работе. Со временем к нашей кучке стали притекать новые силы, а с переводом в киевские гимназии некоторых учителей, бывших наших товарищей, и круг занятий расширился. Лысенко стремился участвовать чуть не во всех рабочих кружках, а ведь у него было и свое личное дело — упорядочение песенного материала, который он собирал неустанно.

Весною Лысенко подал диссертацию и, получив степень кандидата естественных наук, поступил кандидатом к мировому посреднику в Таращанский мировой съезд. Целью его жизни была, конечно, не служебная карьера, а музыка, к которой он теперь еще больше стремился. Последние четыре года, закружившие Лысенка в вихре новых увлечений, отняли у него много времени; педантически заниматься техникой было некогда, а получать серьезное развитие в области теории было негде. Он за это время познакомился с русскими операми Глинки, Даргомыжского, Серова, занимался самостоятельным изучением Шумана и Вагнера, поражавшего его звуко-

выми массами. Но в этих бросаниях из стороны в сторону без системы, без светоча мало было толку. Консерватория стала его заветной мечтой, а для осуществления этой мечты нужны были деньги,— вот он и задумал скопить их на службе.

Весну и лето проработал он над уставными грамотами, отдавая все антракты собиранию музыкального материала, а к осени в его жизни совершилась крупная перемена. Заветная мечта Мыколы окончить консерваторию заставила его выйти в отставку и отправиться за границу к началу лекций в Лейпцигской консерватории; последняя тогда славилась как лучшая в Европе. В начале сентября мы и выпроводили Лысенка в Лейпциг.

В это-то время и были изданы Лысенком за границей 1-й том народных песен и 1-й том музыки до «Кобзаря». Музыка была вполне художественна и свидетельствовала о несомненном таланте у нашего украинского композитора.

В Лейпцигской консерватории Лысенко был два года с небольшим и с свойственной ему страстностью отдался изучению своего искусства. Известный профессор фортепьянной игры Рейнеке, послушав в первый раз Лысенка, заявил с одушевлением: «О, das ist wirklicher Talent!*» — и с особенным вниманием относился все время к своему ученику. У Рейнеке Лысенко проходит полный курс фортепьянной игры, и проходит с блестящим успехом: техника доводится до совершенства, вкус и изобразительность в исполнении под руководством этого профессора приобретают изящество и силу. Лысенко с особенной тщательностью изучает у Рейнеке, при советах и знаменитого Мошелеса, друга Бетховена, весь классический репертуар: Баха, Моцарта, Мендельсона, Бетховена, Шумана, Шуберта и Шопена, единственного славянина, попавшего в среду гениальных немцев. Не только в консерваторских концертах, но и в других Лысенко участвует с выдающимся приемом. В конце первого года он был вызван в Прагу как представитель украинской музыки вместе со Славянским, представителем великорусской, участвовать в грандиозном славянском концерте, состоявшемся в «Конвисткем салю». Известный чешский патриот и музыкант Рейер, прослушавши Лысенка

---

* О, це винятковий талант! *(Нім.)*.

концертное переложение «Гей, не дивуйте!», вскочил со стула и воскликнул: «То духи од степу!»

Теорию музыки (гармонию, контрапункт, фугу) Лысенко проходил у Эрнеста-Фридриха Рихтера и считался лучшим его учеником; на практические задачи Мыкола брал всегда украинские мотивы, обработкой которых восторгал своего профессора. Кроме того, Лысенко проходил еще игру на органе у доктора Паперитца.

На окончательном экзамене, давшем Лысенку право на титул фортепьянного виртуоза, он исполнял концерт Бетховена G—dur с собственной каденцией, восхитившей Мошелеса. Вот какой отзыв об этом экзамене находим мы на страницах «Leipziger Tageblatt» от 10 апреля 1869 г.: «Исполнение г. Николая Лысенка из Киева было поистине выдающимся. Первую часть труднейшего фортепьянного концерта Бетховена (G—dur) он провел с воодушевлением и с артистической передачей (künstlerischer Vollendustig). Блестящая каденция принадлежит, как мы слышали, самому исполнителю. Она оказалась, несмотря на свою длину, вполне соответствующей духу произведения».

По окончании курса консерватории Лысенко с дипломом возвратился в Киев, где и устроился вновь на постоянное житье. Он получил место преподавателя в музыкальной школе Пфенига, а потом Кологривова и, кроме того, массу частных уроков. Он сразу вошел в моду, так что самые аристократические дома старались захватить его в свои салоны. Между тем в Киеве опять стало веселее и шумнее; многие возвратились из дальних странствий, многие из отроков превратились в юношей и стали симпатизировать идеям предшественников, да и в воздухе вообще стало легче,— губительные метели поулеглись; цензура стала мало-помалу пропускать наши книжки; представления на малорусском языке были разрешены.

Мы с Лысенком возобновили снова знакомство с семейством Линдфорсов; в нем всегда мы встречали радушие, сердечность, отзывчивость на все доброе и хорошее и безграничную доброту. Отца их уже не было в живых, а дочери — Марья Федоровна и София Федоровна — держали тогда детскую школу. У Линдфорсов был кружок знакомых, людей с передовым и гуманным направлением, с которыми сошлись и мы дружно. Там-то и зародилась в 1872 г. мысль сформировать труппу лю-

бителей и ставить, по мере возможности, спектакли, как русские, так и малорусские. Для первого спектакля выбрали «Кружевницу» и «Чорноморський побит»; последнюю пьесу компания попросила переделать на оперетку: я написал либретто, а Лысенко музыку. Кроме народных песен и хоров, Мыкола уже создает в ней свои оригинальные арии, дуэты, терцеты, ансамбли и эффектный финал. Оперетта была исполнена, как для любителей, весьма хорошо и произвела громадное впечатление. Спектакль потом повторили с возрастающим успехом. Этот успех ободрил и творцов и исполнителей, заинтересовал общество и воодушевил милейших хозяев продолжать это дело дальше. На третий спектакль желалось всем поставить что-нибудь новое, и мы с Мыколой решили написать оперу на сюжет Гоголя «Ночь под рождество», назвав ее «Різдвяною ніччю».

Приноравливаясь к средствам сцены, оперетка была первоначально написана лишь в 2 актах, разыгрывавшихся в хатах Чуба и Солохи. Либретто было составлено с разговорной прозой и с номерами для пения; последние были широко написаны, как, напр., рассказ Вакулы о путешествии на черте и о приеме его во дворце. Музыка Лысенка на этот раз превзошла даже наши ожидания: она обнаружила в композиторе несомненный талант к музыкальной характеристике и национальному мелодизму. В этой оперетте появились серьезные музыкальные номера и ансамбли, а рассказ Вакулы с широким финалом носил уже настоящее оперное развитие. Исполнена была эта опера сравнительно прекрасно и вызвала у зрителей невыразимый восторг; зал не мог вместить зрителей; от массы публики даже гасли лампы. Второе представление привлекло еще более зрителей. Общее желание было развить сюжет и музыку до настоящей оперной пьесы, какую и дать в городском театре.

Я немедленно развил тексты для музыкальной комедии, распланировал ее на четыре действия и 5 картин. В эту оперу вошел уже совершенно новый акт у Пацюка, изображенного мною хотя и «характерником», но в то же время и патриотом, представителем обломков Запорожской Сечи. Все лето Лысенко, посетив славянские земли для ознакомления с их музыкой, проработал над этой музыкальной комедией. Акт Пацюка (II) был им написан в строго оперном стиле, без разговоров; а в остальных

картинах, хотя им и были допущены разговорные сцены, но музыкальные номера и ансамбли подавляли решительно прозу. Для исполнения этой оперы составился огромный любительский кружок под покровительством тех же сестер Линдфорс. Руководить разучиванием музыкальной части взялся, конечно, Лысенко, а режиссировать прозой и спектаклем поручено было мне.

И осень и зима 1873—74 пошли на разучивание и репетиции этой комедии. Покойные Марковский, Чубинский и Драгоманов принимали в этом деле живейшее участие. Лысенко просто надрывался в труде. При огромном числе уроков он должен был оркестровать оперу, разучивать хоры (студентов и любительниц, совершенно неопытных в чтении нот), заниматься отдельно с солистами и присутствовать еще на моих репетициях, одним словом — исполнять в одно и то же время должности и учителя музыки и пения, и хормейстера, и капельмейстера, и оркестратора, наконец, даже собирателя персонажей, потому что ему приходилось разыскивать по городу голоса. Наконец персонаж был установлен (О. Лысенко— Оксана, Н. Булах — Одарка, Липская — Солоха, Богданов — голова, Новицкий — Чуб, Русов — Вакула, Матвеев — дяк и Габель — Пацюк; последний получил высшее образование и состоит ныне профессором С.-Петербургской консерватории),— и опера была разучена.

Но нужно было еще заполучить театр. Содержателем городского театра был тогда Бергер и потребовал чудовищной платы: по 750 р. за утро, и то буднее. Он отдавал нам хотя и на масляной, но понедельник, вторник, среду и четверг; кроме того, все декорации относил на наш счет. Л. И. Марковский, будучи главным распорядителем, не решался на такой риск; но сестры Линдфорс решили, в случае чего, принять убытки на себя,— и договор был заключен. Опера прошла блестяще, или лучше сказать, принята была публикой с неимоверным энтузиазмом: все четыре представления подряд были набиты битком, с приставными стульями, и вырученной суммой не только были покрыты все расходы по театру, декорациям, переписке нот и пр., но даже излишек в 375 р. был отправлен в Самару голодающим.

После «Різдвяної ночі» все, даже враги, признали у Лысенка крупный музыкальный талант, способный к широкой музыкальной изобразительности. Весь Киев твер-

дил его имя. Сам Лысенко получил большую веру в свое призвание и задумал писать ряд опер, преимущественно на сюжеты Гоголя. Мы с ним обсуждали тогда две темы — «Страшную месть» и «Тараса Бульбу», на которые я написал программные схемы. Лысенко было ухватился за «Страшную месть»; его музыкальное воображение заинтересовано было многими эффектными, полными таинственности и драматизма картинами, и он, импровизируя на рояле, уже намечал музыкальные темы для этих картин, но тем не менее писать этой оперы ему не пришлось.

Сам Лысенко сознавал, что пройденный им курс в Лейпцигской консерватории был не вполне закончен. Хотя он там слушал теорию гармонизации, но кафедры оркестровки там не было, и Лысенко заплатил Рейнеке за несколько частных уроков, а потому в оркестровке он чувствовал себя не вполне сильным: и практики в ней не имел, и отчасти был подчинен немецкому вкусу. Чтобы заполнить этот пробел, он стал мечтать о Петербурге, где в то время царили талантливые представители нового направления изобразительной музыки, как Кюи, Мусоргский, Римский-Корсаков; Лысенку особенно хотелось поучиться у последнего, как у гениального оркестратора. Жена Лысенка, обладавшая небольшим, но чрезвычайно приятным голосом, мечтала тоже о консерватории и о сцене. Их желания пошли друг другу навстречу, и Лысенко рискнул бросить упроченное в денежном отношении свое положение в Киеве и отправиться на риск в Петербург, имея впереди одну лишь заветную цель — приобресть полный запас знаний для служения звукам своей родины. Зима 1875 г. прошла в усиленной работе для составления денежного запаса; он продал 1-й сборник песен Корейву, да еще дали помощь ему и отец и тесть. Но ко времени отъезда его в Петербург разнеслась ужасная весть, поразившая всех, как громом: грозило вновь воспрещение спектаклей, концертов и декламаций на малорусском языке, равно и печатанье на оном книг. С грустью в душе уехал Николай в Петербург. И действительно, такое воспрещение скоро наступило: он успел лишь издать в Петербурге сборник обрядных песен и игр. Кроме этого сборника, Лысенко переделал еще в Петербурге музыкальную комедию «Різдвяну ніч» на оперу, т. е. все разговоры перевел в музыкальные речитативы

и ансамбли, а голосам — сопрано (Оксане) и тенору (Вакуле) дал более широкий, соответствующий диапазон.

Лысенко пробыл в Петербурге два года. Его радушно принял кружок петербургских композиторов: сближение с ними способствовало расширению музыкального кругозора нашего композитора, познакомило его с особенностями русской гармонизации, которая навела его на типичный путь южной гармонизации. Наконец, занятия у Римского-Корсакова увеличили его музыкальную эрудицию и раскрыли перед ним новые тайны звуковых композиций. Петербуржцы даже предложили Лысенку место капельмейстера в частной опере, с перспективой перехода на императорскую сцену, и такое место не только обеспечивало его в материальном положении, но и дало бы гораздо больше времени и средств для его творчества. Но Лысенка тянула домой тоска по родине и желание служить ей лишь одной, не рассеиваясь на общеевропейские сюжеты.

Лысенко возвратился в Киев в 1878 г. и стал снова завоевывать себе материальное положение. Но теперь уже ему пришлось отстаивать каждый свой шаг.

Несмотря на все затруднения, несомненный виртуозный талант Лысенка, его музыкальные знания, наконец, особенный талант преподавания завоевали ему симпатии общества: опять появились уроки и стали расти, захватывая все его время на педагогический труд. Но и в этот трудный для него период он не покидал своего музыкального творчества. К этому периоду относятся его элегантные фортепьянные вещицы — «Мріа», «На солодкім меду», «Вальс меланхолік» и другие. Так как запрещение малорусского слова оставалось по-прежнему, то он в этот период пишет преимущественно для фортепьяно и издает лишь сборники народных песен: этнографический материал можно было проводить, хотя и с большими затруднениями. Среди неусыпных учительских трудов для добывания средств к жизни Лысенко все-таки похищает у своего отдыха и моменты для творчества, и хотя бы для архива, а продолжает писать музыку к словам Шевченка; он словно поставил своей задачей — возродить в художественных звуках народных гениальную лиру поэта,— и дивные мелодии на стоны и вопли души поэта растут, развиваются в своей силе и красоте, окрыляют волшебное

слово и, сплетаясь с ним, завоевывают друг другу бессмертие. Так появляются: «Мені однаково», «Минають дні, минають ночі», «Доля», «Гетьмани, гетьмани» и многие другие романсы, арии, думы и т. п. Об операх, излюбленном роде творчества, в то время нельзя было и мечтать Лысенку: осуществление такого творчества на сцене было немыслимо, а творить безнадежно отказывалась фантазия.

Но в 1880 г. высочайшей волей отменяется тяготевшее над украинским языком запрещение и разрешаются снова, хотя и с ограничениями, сценические представления на малорусском языке и печатание на нем произведений изящной словесности. Этот луч солнца оживил снова сердца истинных патриотов, ибо кто не любит родины, тот не может любить и отечества. У Лысенка воскресла надежда, а с ней и энергия творчества. В 1881 году он приезжает ко мне в село, и мы снова затеваем оперу; но Лысенко предпочел теперь другую тему: «Тарас Бульба». Обдумавши и обсудивши музыкальные моменты, я принимаюсь с горячностью за либретто и оканчиваю его в две недели, в чисто оперном стиле, без всяких разговоров; там же начал писать музыку и Лысенко, да так успешно, что за лето было окончено почти два акта. Музыка «Тараса Бульбы» сделала такой шаг вперед в силе композиции и музыкальной изобретательности, что перед нею музыка «Різдвяної ночі» совсем побледнела. Ободренный и нами, дилетантами, и некоторыми специалистами музыки, Лысенко со страстностью принялся работать и в Киеве над «Бульбою», отрывая для него последние крохи у своего отдыха.

Когда было разрешено публичное исполнение всякого рода музыкальных произведений с малорусским текстом, Лысенко принимается снова за организацию хора и пишет для него массу кводлибетов * на малорусские и славянские мотивы. Вообще творческая деятельность его снова направляется на создание культурной песенной музыки; Шевченко продолжает иллюстрироваться дальше, к нему присоединяется и Гейне в переводе Леси Украинки; издаются написанные прежде романсы, издаются десятками песни, разложенные для хорового исполнения.

---

* Кводлибети — попурі.

Между тем в Киеве снова возникла мысль организовать из любителей украинской сцены драматическое общество и начать ряд спектаклей. Но душа общества, Марья Федоровна Линдфорс, не была уже в живых; сестра ее София Ф[едоровна] вышла замуж за Русова и оставила тоже Киев, а Л. И. Марковский был болен; так и тянулся вопрос о составлении украинской труппы любителей. Впрочем, шестимесячный траур после кончины имп. Александра II заставил отложить этот вопрос, а пришедшее в апреле известие, что составилась уже профессиональная украинская труппа под управлением Ашкаренка, упразднило его совсем.

Лысенко оставил на время «Тараса», исполнение которого требовало серьезных оперных сил, а стал писать для народившейся труппы в более легкой форме комическую оперу «Утоплену», для которой либретто я немедленно написал по Гоголю. К осени уже эта опера была готова. Музыка, как нельзя более, удалась Лысенку; сохраняя колорит народный, она передает весь поэтический лиризм этой майской ночи, этой песни любви, в изысканной форме и вместе с тем рисует изобразительно и комические характеры, и комические сцены. Эта опера была мною поставлена лишь тогда, когда я стал во главе украинской труппы и увеличил силы оркестра и хора, а также увеличил и контингент певцов. Нечего и говорить, что опера пользовалась везде выдающимся успехом и давала полные сборы.

С появлением на украинском горизонте Ашкаренка, а потом и товарищества Кропивницкого, начинается общее увлечение украинской сценой. В 1882 г. «Різдвяна ніч» в оперной переделке ставится антрепренером Пальчинским в Харькове и имеет большой успех. В следующем году другой антрепренер, Медведев, ставит ее в Одессе, еще с большим успехом. А потом я, в 1887—88 гг., не имея оперных сил, ставил ее драматической труппой в столицах, конечно, с купюрами и разговорами, но тем не менее опера давала прекрасные сборы.

Лысенко безвыездно проживал в Киеве, давал уроки музыки, занимался ею в институте, где получил место инспектора музыки, работал и в частной школе Блюменфельда, а потом и в школе Тутковского, в которой состоит преподавателем и по настоящее время. Уроки, уроки, уроки поглощали все его время, истощали до изнурения,

а между тем нельзя было их убавить. Жизнь требовала средств, семья увеличивалась; а если и оставались минуты для отдыха, то нужно было и их отдать какому-либо общественному делу, какой-либо товарищеской работе, так как Лысенко ни от какой обязанности не отказывался. Нужно изумляться, откуда он отрывал еще мгновения для творчества. А оно не прекращалось: за это время Лысенко окончил «Тараса Бульбу» и почти совершенно оркестровал его, написал для детей три оперы, создал много культурных мелодий для одного, двух, трех голосов, издал массу хоров, сборников народных песен, скомпоновал много блестящих пьес не только для фортепьяно, но и для скрипки, флейты и для оркестра.

Несмотря на годы и страшное переутомление в погоне за черствым куском хлеба, несмотря даже на болезнь, причиняющую ему в последние годы сильные страдания,— сила духа и вера в правоту своих убеждений у нашего славного композитора настолько глубоки, что поддерживают и до сих пор в нем неослабно энергию во всех родах его многосторонней деятельности, а перед силой таланта отступают и побеждающие все годы. Болезнь и изнурительный труд не убили в нем творческой продуктивности; он все еще творит и создает новые высокохудожественные произведения: кроме элегических вещиц для фортепьяно, глубоко прочувствованных мелодий для пения, красивых гармонизаций для хора, он в последние годы написал музыку и для моей пьесы «Чарівний сон» и пишет две двухактные оперы — «Сафо» (либретто Л. М. Старицкой) и «Остання ніч» (либретто мое).

До какой степени Лысенко скромен в оценке своих музыкальных произведений и даже робок в предложении их к исполнению, может служить иллюстрацией его поведение с «Тарасом Бульбой». Более десяти лет лежит в его портфеле совершенно готовая опера, и он ее не предлагает киевским антрепренерам, не предлагает из боязни показаться навязчивым. Между тем старые знакомые Лысенка, знающие его талант, Альтани, директор императорской Московской оперы, и Барцал — певец и режиссер оной, просят, чтоб Лысенко дал им эту оперу, и они немедленно ее поставят на императорской сцене; но Лысенко колеблется и не может преодолеть ревнивого чувства к своему языку, который для императорской сцены должен быть заменен русским. Наконец, друзья

уговаривают его сделать эту уступку слову в видах огромной пользы для музыки. Перевод текста сделан, но Лысенко все-таки медлит отослать в Москву оперу, отговариваясь тем, что якобы что-то недооркестровано... Наконец, приезжает в Киев покойный Чайковский, навещает Лысенка и просит демонстрировать своего «Тараса», о котором слыхал в Москве. Лысенко смалодушествовал (это было при мне) и хотел было уклониться, но Чайковский настоял... Почти всю оперу прослушал наш знаменитый маэстро с глубоким вниманием, выражал в иных местах восторженные одобрения; его особенно пленяли те места, в которых наиболее вырисовывался национальный колорит. Чайковский обнял Лысенка, поздравил его с талантливым произведением и просил ехать с ним немедленно в Петербург, где он поставит эту оперу непременно. Помню, что Лысенко был опьянен похвалой такого гениального композитора и собрался было с оперой в путь, да призадумался, и так надолго, что Чайковский успел умереть.

Прошло несколько лет, и в Киев приехал бывший профессор Лысенка Римский-Корсаков, навестил его и приглашал своего ученика в Петербург для постановки «Тараса Бульбы». Лысенко обещал приехать; но и опять не поехал: очевидно, его пугала мысль, что дорогое детище будет преподнесено публике не на родном языке, а может быть, и свойственная истинно талантливым людям скромность делала его нерешительным.

Я кончаю свои воспоминания. Последующая жизнь Лысенка протекает перед глазами всех, но существенных перемен, имеющих влияние на внутренний склад его духа, в ней уже нечего ожидать. Характер его, убеждения вполне сложились, а 60 лет тяжелой жизни доказали, что убеждений этих не могло ничто поколебать. Заканчивая эти строки, я невольно пробегаю мыслью всю жизнь нашего композитора — от счастливого детства избалованного ребенка, окруженного роскошью и обожанием родных, до тяжелых дней старости,— композитора выдающегося таланта, обреченного нести лямку учительского труда для поддержания своей многочисленной семьи. Последующие биографы отметят, конечно, более систематически, чем это сделано мною, влияние на Лысенка окру-

жающей среды и эпохи; они установят преемственную связь его музыкального творчества с предшествующей ему украинской музыкальной эпохой, влияние на музыку Лысенка новых течений музыки европейской,— я же хочу отметить в заключение лишь одну черту характера Лысенка, проходящую красной нитью через всю его жизнь.

Эта черта — сила убеждения, давшая композитору нашему железную волю, согнуть которую не могли ни внешние бури, ни мелочи жизни, обрушившиеся всей тяжестью на него. Если эта сила убеждений да истинный талант и стяжали Лысенку симпатию и уважение родной страны,— то в личной его жизни они являлись только источником материальных бедствий и глубоких ударов самолюбию артиста. Они помешали ему сделать какую бы то ни было карьеру: талант гнушался низменных средств для борьбы с торгашами искусства, пламенная же любовь к родине, которую он всегда открыто исповедовал, явилась причиною всевозможных гонений, преследовавших Лысенка во все время его тернистого жизненного пути. Слабый и поддающийся чужому влиянию в разных мелких вопросах жизни, он не поступался своим profession de foi * ни перед кем и ни перед чем!

Эта сила убеждения и глубокий патриотизм, для которого Лысенко пожертвовал всем — материальным успехом, славой и даже личным счастьем, подымают его биографию до общечеловеческого интереса и по справедливости ставят его в ряды героев человеческого духа.

---

* Переконанням *(франц.)*.

Листи

1871

1. ДО О. О. ЛИСЕНКО

г. Могилев [8 вересня 1871 р.]
27 августа

С Вашим отъездом, мой добрый ангел, Оля, кажись, последний луч надежды на лучшие дни, последний мир душевный — меня бросили: я заболел на второй же день, и заболел серьезно, сначала специально припадок сердцебиения ломал меня в продолжение 10 дней, а потом (или я простудился, или это прямое следствие) — перешло в общий катар и изнурительную лихорадку, которая и мучит меня до сегодня. Вы бы не узнали меня,— так я сильно похудел! Я так слаб, что едва могу перейти комнату. Не правда ли, что грядущее у меня выходит всегда хуже предполагаемого? Заболеть-то финально я всегда думал, но не раньше ноября, а вышло в августе,— именно самом благоприятном для меня месяце! И какая странная судьба с этим переездом в Киев! Сначала обстоятельства имущественные запутывали и, казалось бы, могли задержать до половины сентября; потом — болезнь, потом — отсутствие врача для провод... Но, заболевши, я поставил себе задачу — во что ни стало ехать, и все это казалось так близко, так возможно: затруднения по имению устранил, доктора нашел... вдруг в Киеве холера! Новый неприятель и самый для меня опасный, потому что я и самых простых рвот не переношу! Знаете ли,— мы уже собрались было выехать 16 августа? Вот бы удивили Вас! Теперь же я рвусь в Киев всеми силами души, но когда это осуществится? Я знаю, что и Киев не облегчит моих страданий и что

мне придется выпить чашу до дна; но меня все тянет ближе к Вам, мне все кажется, что хоть некоторые минуты догорающей жизни блеснут там хоть отблеском радости и мира. Здесь же тоска и холод смерти: кругом отвратительные смрадные трупы — и нет ни одного живого человека, даже горы мне кажутся теперь стенами тюрьмы! Напишите же мне, только не уменьшая истины, как велика теперь холера, как сильна по % смертности и какой ход,— вообще когда можно надеяться на погашение?

Нанятую квартиру я себе припоминаю, по рассказам Т. Д., кажется, будет хороша, лишь бы хозяйка не насолила: я ее ужасно боюсь! Приберите там комнаты, чтобы они были веселенькими, а то и без того у меня на душе всегда мрак. Поцелуйте дорогой тетечке обе ручки и скажите, что я ее сильно люблю, как самую-самую близкую родную, и благодарю за все хлопоты. Дядю крепко целую и жду в Могилев; если бы холера задержала нас, то пусть и дядя погостит побольше у нас, винограду поест и покупается,— право!

За Марью Ф[едоровну] благодарю Вас очень; если увидите, то передайте и ей. Устал очень, а то буду и ей писать. Всем добрым знакомым — мой искренний поклон. Будьте здоровы и счастливы,— у Вас столько на это права! Целую Ваши ручки и остаюсь любящий Вас родной *М. Старицкий.*

Варв[ару] Иван[овну] поцелуйте за меня.

1872

2. ДО М. П. ДРАГОМАНОВА

Киев, 20 сентября [2 жовтня 1872 р.]

Удивишься, я полагаю, ты, дорогой мой Михаил Петрович, получа сие послание от некоего своего товарища и дворянина. Как видишь, я еще до сих пор влачу свое существование и хотя нахожусь, в некотором роде, у брега жизни, а все-таки не потерял еще пока способности проникаться ее интересами. Давно мы с тобой не виде-

лись — более 3 лет! В наше время быстрых обменов это не малый срок: сколько ты пережил, наверно, хорошего и сколько завоевал себе новых сил! А я... да что и толковать! Ты знаешь ведь, меня послали в Подолию, на вольный воздух: для такого калеки, впрочем, ни воздух, ни Подолия не поделали ничесоже. Бросил я этот паршивый Могилев и хозяйство, которого я и весть-то не мог, да вот и переехал доживать в Киев; второй год сижу у Новицкого, не знаю только, досижу ли? Организм изломан; здоровье разбито,— как видишь,— ничего нет веселого, а грустнее еще то, что работать почти не могу. Как-то с самого детства судьба моя скверно сложилась: все мне не клеилось. Виновата, конечно, бабушка, закормившая меня варениками да медяныками, отчего организм мой, в ущерб упругости, сделался только мягким да сладким. Было б ли с меня и до болезни что-либо путнее, черт его знает, а теперь, по крайней мере, можно свернуть на болезнь... и то утешение!

Впрочем, ты таки не думай, чтобы я совершенно сложил руки: сколько мне выпадает свободного времени, то я им не брезгаю. Знаешь: «з паршивої собаки хоч вовни пасмо — і то добре!» За прошлую зиму кончил я перевод сказок Андерсена; на первое издание будет их 32 (выбрал самые подходящие). Если книжка пойдет и будет спрос, то можно еще выбрать столько же. Теперь она печатается: кажется, выйдет довольно опрятненькое издание, украшенное портретом Анд[ерсена] и 12 иллюстр[ационными] карт[инками] работы Мурашко и, кроме того, многими виньетками. Стоить будет дорого, так что менее 1 руб. 25 к. книжки пустить невозможно. Надеюсь, что в декабре уже выйдет. После этой книжки думаю издать переводы свои сербск[их] дум, чешских и польск[их] поэтов и т. д.— наберется листов на 10. А затем не знаю, приступить ли к «Робинзону» (я, впрочем, был бы более охоч его не переводить, а переделать на свой кшталт) или к чему другому: как ты посоветуешь?

Что тебе сообщить за наш гурт? Утешительного немного: хотя мы и крепки, но полк наш, способом естественного выбывания и вымирания членов, постепенно редеет, а новых членов нет! Молодое поколение — люди иной фракции: они нас чуждаются, да и заняты более самими собою, нежели чем посторонним, а главное — нет между ними пророка! Мы вот корпим над изданием дум,

да как-то не приведем их к концу: нет рук да и задались чересчур хитроумными замирами! Хоть бы как-нибудь да издавать: а то — сидим, пока кто-нибудь другой не выдаст. Но думы, несмотря на свое громадное значение,— все-таки мертвечина, и на их молодое поколение не подденешь: ему нужно живого слова, живых интересов. Это может дать только журнал или газета. Потребность в своем органе с каждым годом более и более растет, и скоро появятся и на этом поле какие-нибудь Шульгины или Андрияшевы, которые предложат обществу своего печения блюдо, а мы будем чесать головы та ждать слушного часу, а в конце концов звернем все [на] нашу долю щербату! Лет десять уже и мы с тобою толковали все об этом журнале, а между тем гора до сих пор и мыши не родила. Теперь вот пришла нам с Русовым несколько нелепая и смешная мысль — двинуть эту идею. Видишь ли: деньжонок тысяч на 6 предвидится, собрать можно; с такими небольшими средствами здорового журнала затевать нечего и думать; но небольшую еженедельную политико-литерат[урную] газету, вроде «Недели»,— совершенно возможно. Сотрудниками запастись тоже не трудно; но душою издания только можешь быть ты! Без тебя оно немыслимо! Ты — главная сила, за которую, пожалуй, уцепиться может и прочая мелюзга; но если ты на рамена свои не возьмешь издания (официально или нет — это все равно), то оно и погибнет в эмбрионическом развитии. Газета наша должна стать в дружеские отношения с московскими славянофилами и, преследуя широкие идеи единения и примирения славян, заняться исключительно местными интересами края и исследованием и изображением его жизни. Следовательно, в литературном отделе, посвященном местной народной жизни, будет допущен язык местный как лучшее орудие; прочие же отделы могут быть и на языке великорусском, кроме корреспонденций. Полагаю, что разрешение воспоследует. С нынешнею цензурою ладить можно. Значит,— благослови, владыко!

Сообрази все сие, ответь и научи! Да приезжай к нам поскорее, твое присутствие, право, необходимо,— ты оживишь все и внесешь больше руху в нашу болотную отчаянно жизнь. Не говорю уже, что лично за тобою страшно скучаю. Веришь ли ты этому? Конечно, при твоей широкой жизни заметны ли два-три года, прове-

денные вместе? А мне при бедности и мизерности они кажутся лучшими страницами прошлого, и я не знаю, что дал, если бы возможно было воротить хоть один из вечеров у Войцеховского! Людмила Мих[айловна], Лидочка, Ольга П[етровна], ты — все дорогие мне лица... увижу ли я их когда, да и при каких обстоятельствах?! Поцелуй за меня Лиду и ручки Людмилы Мих[айловны]; передай, что я их помню и люблю по-старому... я ведь неисправимый лирик!

Обнимаю тебя горячо.

Твой *Мих. Старицкий*

P. S. Адрес мой: Тарасовская ул., дом Новицкого. Имя, вероятно, ты не забыл.

А что тамошняя «Правда» поделывает? Пиши, пожалуйста, обо всем. Жду скорого ответа.

1875

3. ДО РЕДАКЦІЇ ЖУРНАЛУ «ПРАВДА»

[1875 р.]

В редакцію «П р а в д и»

Посилаю Вам до шановної часописі, високоповажаний добродію, кілька номерів своїх поезій: 10 перекладів із Лермонтова, Некрасова і ін. і 7 № власних. Надрукуйте їх, тільки прошу звернуть увагу, щоб ті ви́тинки (ударення), що у мене стоять на рідко деякім слові, були і у Вас надруковані, а то вірші тратять на мірі. Шкода, що Ви не захотіли друкувати у «Правді» «Д е м о н а» Лермонтова, він би був до місця і у «Правді», і в осібнім зборі утворів. Це і у нас завжди так і робиться.

З великою шанобою до Вас зостаюсь

Михайло Старицький

Посилаю ще Вам кілька книжинок мого перекладу з Лермонтова.

1876

4. ДО М. П. ДРАГОМАНОВА

[Травень 1876 р.]

Вибач і прости, мій дорогий товаришу-друже, що я до тебе не озивався й досі. Правда, один лист я написав був зараз же по твоїм од'їзді, але ти його не одібрав, і я певен, що він застряв десь у Києві, бо мені казано, що Леймінг листи читає... так ото й не хотілося через жандармські руки писати. Ти ремствуєш, що я тобі довго не висилав листів із сербських дум; але тут з ними ось яка штука скоїлась: я одібрав одну добрячу сербську книжку, та і в твоїй знайшов деякі думи хороші; ото я й сів перекладати їх, щоб уставити у мій збірник і виповнити його. Переклав я листів на 10 друку, а той зупинив, бо якраз усі думи належали до Косового поля: думав, що це загаїть часу не більше як тижнів на 2 або 3, а тут вийшло, що цензор держав мою рукопись більш 2 місяців,— усе, бач, шукав там ультрамонтанства! Він просто дурний навіки, але поки не шкодить і твою рукопись сливе всю пропустив, тільки каже, що раньше 2 місяців нічого не пустить, щоб не подумали, «что я поверхностно просматриваю».

Оце учора на превелику силу вирвав у його рукопись і здав до друку: тепер викінчуться думи за 1 місяць. А жіноцькі пісні іще завтра понесу до цензури і почну писати передмову,— так що вся книжка буде готова не раніш як к 1 жовтня. Як напишу передмову, то тоді вишлю на перегляд. Коли б тільки мені знайти певну адресу і, ще б було краще, не на твоє ймення, бо, кажуть, розпечатують.

У нас тепер розпочалася манухія, і ми завзялися дуже щиро: 2 метелики перших з Шевченка уже набираємо, а другі пишемо, навіть Антонович компонує романа!

Твій метелик вийде на тім тижні: буде листів 3 або 6; стоїтиме нам 6 коп., продаватимемо по 8.

Посилаю тобі сербських дум, скільки є; як оце почнуть друкувати, то через два тижні пошлю ще листів 7.

Коли б ти знав, наша надіє і сило, як нам за тобою журно та сумно, який розрух і мішанина без тебе! Невже

наш падлюка уряд іще й довше тебе на чужині держатиме і сиротитиме й без того скривджений і орабований край наш? Господи, що би я дав, щоб тебе знов між своїми побачити і послухати твоє живе скриляюче слово!

Не ремствуй на мене: з Кордишівки я буду більше і частіше писати, там просто іде.

Адрес мій до сентября: Мих[аилу] Петр[овичу] Ст[арицком]у, Подольской губ., Брацлавского уезда, м. Вороновицы.

Новини Людм[ила] Михайлівна розкаже, то й не пишу.

Пригортаю тебе до щирого серця. Твій навіки

Мих. Старицький

5. ДО М. П. ДРАГОМАНОВА

Кордишівка, 2 жовтня [14 вересня 1876 р.]

Спасибі тобі, щире і велике, мій друже Михайло Петрович, за твій лист, що дійшов-таки і до нашого хутора: наче побачився з тобою, дорогий наш вигнанце, наче почув твоє гаряче та правдиве слово. Хотілось дуже тобі з цим листом послати і «Сербські думи», що уже повинні на цім тижні вийти, але Ільницький щось мені все не шле; незабаром таки сам вишлю. Але мені з тими думами вийшло горе: тільки що послав до цензора виготувану другу частину («Пісні битові жіночі») і до Анто[но]вича «Історичний огляд», як несподівана кара, наче грім, вдарила! Ще й цензор падлюка — не міг заднім числом пропустити, а вернув назад: каже, що шліть до Петербурга, а я права більше не маю. Так мої пісні жіночі й посіли! З передмовою — така ж сама сторія: не пуска по-українськи, хоч плач... Думав я, думав,— що діяти? Та наважився пускати й так першу книжку: вона має й своє ціле, бо туди ввійшли всі історичні думи, од початку Скадру, через всю боротьбу з турками, про Лазаря, Марка Корол[евича], до дум гайдуцьких, що я їх помістив кілька. Ця перша книжка вийшла в 27 лист[ів], друга мусила бути в 15 лист[ів], та передмова з оглядом лист[ів] 5. Те все поки лишилося. Не знаю, чи посилати його до Петербурга, чи пождати, як піде перший том. Виручку я призначив на користь бідних слов'ян. Як одбереш цього

листа, то порадь мене, мій порадниче, куди мені з книжками обернутися, куди треба вислати і що? Треба б, здається, і по петербурзьким часописям оповіщення розіслати. А за другу частину як ти пораїш, чи посилати її до Петербурга, чи ні? Одповідь, серце, мені зараз, щоб час не стояв, бо він теперечки саме спірний.

Лисенка тепер твій лист не застав у мене: він, певно, уже в Николаївці,— туди я його й переслав. Здається, для його умисне була придумана кара... щоб ані пісні, ані ноти? Далебі, в Турції краще! Там такої ганьби у мирний час не чувано!

Я ще в городі не був; там, певно, сум і злорадство мошенників. Не знаю, як наше поспільство, яку це подію зробило; пишуть, що ніби збентежились і мирні жителі навіть... та бог його віда: мало ще зовсім на світі чесного люду! Мене таки на хуторі, спасибі, дехто завітав: тепер от і Цвітковський з Гешвендами тута гостює. А Ільницький оце був, та такий смутний: боявся, що його скасують геть; але лавочка зостається, тільки він мусить, кажуть, бібліотеку звинути. Чубинському ж і тобі заборонено на Україні скрізь жити; кажуть, що як не помилують, то це бідного Чуба зовсім знищить, бо він має тут довги і діла,— то все прахом і піде. Жаль. Багатотаки необачного і дигячого було в останні часи: самі роздратували собак, не маючи доброго батога.

Лисенко мав був на цю зиму зостатися в Києві і ставити з Сітовим «Різдвяну ніч»,— та урвалася нитка; не знаю, чи не поїде теперечки знов до Петербурга! А опера зовсім готова, хоч друкуй; були навіть деякі охочі, що брались на свій кошт друкувати, а тепера, либонь, годі. Правда, можна в Лейпцізі видати, тільки що буде лежати... Чи довго? чи ні? Петербурзькі часописи про все це анітелень, як води у рот набрали, хоч їм і писано було... Нема до нас, здається, щирого нікого: усім ми галушкою в горлі стали, та й годі! Що далі робити, хоч би й мені, наприклад? Як раїш? За що братися? Тяжко, друже, що з тобою, голубе, не доведеться швидко побачитись: нема снаги туди добратись, та й здоровля зовсім хирне зробилося; тяжко, знаєш, в такий смутний час і вмирати, було б раньше краще...

Обнімаю тебе щиро, кревно; дорогій Людмилі Михайлівні цілую ручки і Ліду цілую. Дуже, дуже за Вами скучно; хай Вам щастить там на чужій чужині, та бодай

швидше вернулись кращі часи, щоб вільно було пригорнути до серця найщиріших робітників нашої родини! Твій навіки

Мих. Старицький

Людмилі Михайлівні будемо особно писати. Тепер Соня спить. За неї всіх Вас, дорогих, міцно братерськи цілую.

Чув? Географічне товариство теж скасовано.

6. ДО М. П. ДРАГОМАНОВА

Київ, 11 жовтня [23 вересня 1876 р.]

Оце на хвилину забіг у Київ (бо й досі ми на селі бурлакуємо) і одібрав через М. Лисенка твій лист, мій друже коханий. Побіг мерщій до Давиденка і вихопив кілька екз[емплярів] дум, ще навіть не гаразд зброшурованих, а похапцем і без оглаву. Та дарма: сьогодні-таки тобі шлю 1 екз., а 15 у Сербію узяв переслати через когось Вільям; перекажу йому твої адреси.

За прибавку до року — не винен: це без мене справою заправляв Левицький; він і в моїх думах зробив такий же додаток... каже, що це по-старинному добре. У Петербург до редакцій казав Ільницькому зараз вислати. Що-то вони скажуть? Певно, мовчатимуть. А от іще книжка моя і по магазинах не була, а вже у Літова був Шульгін, Юзефович і Обресков: ганяють за думами; чигають на якусь здобич, чи що?..

У Петербург я вже одіслав дві рукописі: 2 ч. дум і всього «Мороза — Червоного носа»; остатній може бути виданим і метеликом. За тиждень мав послати туди ж і Кониський «Літературного збірника» — набралось у нас листів до 8 рукописей: хай іде в друк, якщо пустять. За їдну рукопись (Хрестоматія) йому уже через поліцію переказано, що пограбована лежить у цензурі... Може, так буде й з усіма. Утвори Нечуя були розрішені С.-Петербургом, а після lex Juzephoviana, уже розпочаті друком, виправлені знов до Петерб[урга]!! Цікаво принаймні знати кінець: до чого воно дійдеться?

За «Болгарські пісні» дуже радий, але треба всі оті книжки мати; та й краще було б, якби ти сам вимітив, які

варт перекладати... А то таки багато загине часу, бо я зразу не втну.

Хапаюсь тобі оце писати з книгарні Ільн[ицького]; сам я тут похапцем і виїздю сьогодні ж.

Буду писати обмаря, як осядусь уже, поки не потурбують.

Новин не знаю, бо й нікого сливе оце не бачив. Обіймаю тебе, дорогий наш вигнанце з рідного краю, щиро, братерськи; Людм[илі] Мих[айлівні] цілую ручки, а Ліду пригортаю до серця, і од всеї моєї сім'ї найкревніший привіт!

Твій назавжди *Мих. Старицький*

Брошуру «Турки, татари і українські козаки» буде розіслано вторично мною усім почти руським газетам і журналам. «Сербські думи» теж.

О. Терлецькому послано 20 екз. «Турки і українські козаки», під бандероллю. При «Киевлянині» розсилаю своє об'явленіє.

10 екз. «Про звірі» шлю Вам під бандероллю.[...]

А мене оце тягають по жандармеріях за передмову до «Дум», а надто за посвяту. Чорт їх бери, хай подавляться! Така думка: кинути свій дорогий і рідний край та хоч раз дихнути вільним повітрям; може, воно надихне не рабське сумир'я перед падлюками, а міцне слово правди: тут тепер така мерзота, що й дихати тяжко. Шлю до Вас обох, вельми коханих і рідних, моє щире братерське вітання на далеку чужину. Щасти Вас і крий боже! Чи дороге пак там у вас життя? Якби написали. Лідочку дуже цілую. Щирий до віку

М. Старицький

7. ДО М. П. ДРАГОМАНОВА

Кордишівка, 30 листопада [12 листопада 1876 р.]

Оце аж досі, мій щирий друже, бурлакую я на селі: так занудився, що страх! Вирядив з тиждень назад і сім'ю уже, а самого все ще тримають діла у руках... Нудота страшенна: дощ ляпа, аж вікна плачуть, блукаю один собі по великих хатах та визираю, чи не везуть з пошти якого листа. Тільки й живеш по четвертках та

понеділках, коли до нас забіга пошта. Отже, уже третя неділя ні од кого — ні слуху ні духу: що-то там поробили з моїми «Думами», як їх пристроїли? Та і од тебе хоч би словечко! Чи здоровий, чи запрацьований? Як то Люд-м[ила] Мих[айлівна] пробувається? Лідочка? Так би жадалося хоч одним оком на вас поглянути, хоч їдно щире слово почути! Без лукавства скажу тобі: мов серця шматок увірвано, як ти залишив нас, мій друже, сум за сумом наляга, одна тяжка новина попереджує другу; дивуєшся навіть, як можна жити у такому чадному повітрі, повному Юзефовичів та Шульгіних? І коли-то сонце чи буря розжене оті міазми?

Чи доведеться, милий друже,
З тобою стрінутись, чи ні?
Чи серце струджене, недуже
Засне в далекій стороні?
В тяжку хвилину розставання,
Здавалось,— весело пили
І широ[ко]крилі сподівання
Тобі на провіди несли.
Але в річах тремтів наш голос,
Схилявся кожен над столом,
Немов підбитий, стиглий колос
Під невпросимим тим серпом...
Так горе нишком підкрадалось...
Хтось пісню весело завів,
Але ж і в пісні тій, здавалось,
Гучав сумний, гробковий спів.
І час настав: ми обнялися:
«Прощай, апостоле, прощай!»
Ти сполотнів, і полилися
У тебе сльози невзначай...
«Прощай ненадовго!» Надія
Нас ошукала, брате мій,
І досі тішиться й радіє
Наш лютий ворог навісний;
І досі ніч, нема просвіту,—
Рука спускається слаба:
Мовчать одуренії діти
Здавен забитого раба.
Цілують руку в того ката,
Що їх окручує гуртом,
І свого мученя-собрата
На чужину женуть з сміхом...
Коли ж ми стрінемось з тобою,
Скажи, мій друже, ти мені?
Коли втнемо ми не такої
На нашій рідній чужині?

Ось які вірші вилились оце до тебе: прийми їх за щире поривання. Не знаю я справді, що мені з моїми ліричними творами робити? Оце знов за літо набралось їх чимало, та, певно, жодна цензура не пустить. Переслав я у Київ до Кониського всю поему «Мороз», аби він заслав її до цензури, але й досі — ні од його, ні з Пітера — ні вісті, ні послушанія!.. Писав і до Цвітковського — мовчить; не знаю, чи розіслали навіть куди слід «Думи»?

Як повернусь за тиждень до Києва, то думаю кінчати «Гамлета»; я уже підігнав його трохи за літо, то шкода і кидати: як думаєш? А оце писав до мене Лисенко, аби я готував лібретто до «Марусі Богуславки», бо він «Р[іздвяну] ніч» уже зовсім кінча. Чи не можеш ти мені заслати схеми до «М[арусі] Бог[уславки]» і поради дати? Ти колись засилав Русову, а тепер, якщо ласка, зашли і мені. Адресуй листи уже в Київ, по першому адресу: против З о л о т и х в о р і т, дом Калити. Хіба здохну, а тут більше не зостанусь. Скучив за всіма.

Обіймаю тебе щиро, кохано. Люд[милі] Мих[айлівні] цілую руки і бажаю всім вам найлучшого життя і душевного спокою, а надто бажаю яко найшвидше пригорнути вас, дорогих нам усім, на Вкраїні, дома за кращих і вільніших часів. Коли буде тільки змога, то хоч на малий час, а прибіжу до Вас тим літом. Бувайте ж здорові! Пиши хоч коротко. Вір моїй щирості. Твій навіки

Мих. Старицький

8. ДО М. П. ДРАГОМАНОВА

[26 листопада 1876 р.]

Только что возвратился от Антиповича, где среди многих знакомых и приятелей читалось твое последнее письмо к нему... Благодарю, не ожидал. Такого презрительного с твоей стороны отречения именно не ожидал. Пусть это оскорбление будет последним! И как ты бываешь несправедлив к смертным с высоты своего гнева! Я тебе уже писал, что за все лето не был в Киеве; кор-

ректуру последних листов держал Левицкий, так же, как и твоей брошюры, он и приписал божого... да, правду сказать, особенного и преступления я тут не вижу, это раз. Второе,— в Славянский комитет отданы «Думы» не по моей инициативе, а по совету друзей; да и нужно сказать, что это был не Сл[авянский] ком[итет], а особая комиссия по отправке добровольцев в Сербию, там и делом заправляли наши... нужно же было туда пристроить «Думы», как утверждали, потому, чтобы избавит[ь]ся от инсинуаций «Киевлянина», который мог иначе кинуть и такое грязное подозрение, что в «пользу славян» есть только вывеска для лучшего сбыта товара, тем более, что Юзефовичи уже хлопотали у жандармерии о сожжении книжки. Теперь третье: ты пишешь, что я посвящение сделал без твоего разрешения и насилу, насилу свеликодушничал, что не приказал вырвать из книги компрометирующий твое имя листок. Жаль, что нельзя без скандала исправить дела: я скорблю истинно душой, что невольно причинил тебе огорчение. Что же касается того, что ты посвящение мое называешь перед товарищами навязчивым и неразрешенным, то ты жестоко неправ. Вспомни: 1875 года, 8 ноября, в день моего ангела, ты был у меня с Лидой; тогда только что вышли с печати первые листы «Дум». Ты пробегáл их в кабинете, сидя на кресле, и я к тебе обратился с таковой просьбой: «Позволь мне, Мих[аил] Петр[ович], посвятить эти думы тебе, так как ты первый и виновник этого перевода!» На это ты ответил: «Такие вещи не разрешают, а благодарят только за них». И скрепил сие лобзанием. Мог ли я вообразить, что потребуется формальной бумаги, с утверждением подписей становым? Спасибо еще раз за твою пощаду, потому что иначе, в самом деле, мое положение было б и смешно и жалко: за наше жито та нас і бито! Горько, та нема що робити.

Мих. Старицкий

1876 года, ноября 14, Киев

1877

9. ДО М. П. ДРАГОМАНОВА

[23 квітня 1877 р.]

Давно, мій щирий і коханий друже, не озивався до тебе: по пошті таки просто не хотів писати, бо листи повинні були йти через руки Леймінга і Гейкінга, а це не цікаво, а околіч оця мені випала вперве. Із листа колишнього до Цвітковського звісно мені стало, що ти до мене писав, але я жодного листа не бачив і не одбирав! Мабуть, теж попали до кого іншого. Сердиться на тебе я не сердився, а справді твоя фраза образила була мене страх... ну, та бодай не згадувати! Тут уже, я думаю, місяця з чотири, якщо не більше, од тебе нема ніякої звістки: сумуємо всі в невідомості, а надто були збентежені якимись переказами; та, хвала богові, не справдилися. Тільки вчора приїхала О. П. Косачка і розказала, що в тебе є дочка і що ви з Людм[илою] Мих[айлівною] здоровенькі, — так ми зраділи тим. Тобі цікаво знати про наші новини, але тут не життя, а якась дрімота: перекладаємо і пишемо по закутках нишком, бо цензура нічого в Петербурзі не пропустить, не взираючи, що белетристика не заборонена буцімто; Кониський посилав раз «Читанку» —не вернули і заборонили без всякого казаного приводу; вдруге він послав белетр[истичного] збірника — заборонили за одні буцім вірші, дуже навіть легенькі; втретє він послав переклад оди «Бог» Державіна — і далі мовчать третій місяць. В останні[й] тільки час одібрав листа од Чубинського, в котрім просить висилати через його до цензури «Гамлета» і Некрасова, обіцяє провести... Дай-то боже! А то робити без мети — бере нудота. За кордоном легальні речі друкувати не бачу я користі: все їдно там треба до схову дати... Я тепер виготував всі дрібні старі переклади з Байрона, Гейне, Міцкевича, Лермонтова, Некрасова та сербські ліричні пісні, що тут уже не пропустили: саме смирне. Книжка, проте, має вийти листів у 20. Побачимо, що Петербург скаже. «Гамлета» усього

переклав, тільки ще не зовсім виправив, бо Цвітковські лінуються.

Своїх власних перших і теперішніх, а також остатніх перекладів набереться теж на книжечку, але я думаю, їх тут зроду не пустять. У нас тут утиски щодня робляться більші та більші: саме Григор'єв оце сказав, що уряд, здається, завзявся не проти турків, а проти малоросів... Коли-то воно буде на світ благословлятись?

На мене цілу зиму кувались всякі і різні поклепи і доноси; тепер теж чіпають. Здоров'я зопсувалося зовсім. Чи не початок кінця? Думаю цими днями поїхати за границю: уже й пашпорт беру; післязавтрього обіцяли видати. Якщо не зупинить що-небудь надзвичайне або курс, то мушу з тобою побачитись незабаром... Тільки й живу тією надією: дуже занудивсь за тобою, та й побалакати і порадитись набереться дещиця. Коли одбереш цього листа, то пиши мені (на всякий случай) в м. Немирів, Брацлавского уезда, Подольской губ.— так певніше.

Тут розправа твоя в «Вестн[ике] Евр[опы]» остатня зробила погане враження, а надто партикуляризм, чув, що це з давніх ще твоїх праць.

Не знаю, далі що робити мені? Якщо не побачимось, то пиши, будь ласка! О[льга] П[етрівна] теж привезла сюди переклади з Гоголя і своє: та журиться, куди його приткнути. Вона поздоровішала і з надією. Всі твої знакомі бодрі духом і рук не складають; декого, проте, давно не бачив і в вічі, напр., Подолинського, Синицького, Левицького... Чув, що в останні часи всі радикали признають українофільство за його... Побалакаєм. Уже одбирають лист, бо їде чоловік. Пригортаю тебе нелукаво, щиро, по-братерськи; Людм[илі] Мих[айлівні] цілую руки, Лідочку цілую. Чи правда, що вона приїде? Бувай же здоровий, щасливий з усією твоєю дорогою нам сім'єю і не забувай твого щирого друга

Михайла.

1881

10. ДО РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ «ТРУД»

[23 жовтня 1881 р.]

Покорнейше прошу почтенную редакцию дать место в своей газете моему следующему заявлению:

Желая приступить к изданию всяких беллетристических и стихотворных произведений, как оригинальных, так и переводных, на малорусском языке, а также и обстоятельных работ по части истории, этнографии и экономики Южно-Русского края, я обращаюсь с почтительнейшей просьбой к гг. авторам о присылке таковых по адресу: в г. Киев, в редакцию газеты «Труд» для передачи М. П. Старицкому, с сообщением условий относительно гонорара. С совершенным почтением

М. Старицкий

11. ДО Б. Д. ГРІНЧЕНКА

Листопада 21 1881 р. [2 листопада 1881 р.]

Шановний добродію!

Одібрав оце я од Івана Семеновича листа, а в йому Ваші вірші, що припали мені дуже до серця. Задумавши видавати поки що українські збірники (в 20—25 аркушів) літературно-наукові, а далі, за дозволом, і місячника «Раду», я прошу Вас, добродію, ушанувати мене своєю супрягою; по надрукуванні кожної праці автор її одбере гонорар вищий, ніж тутешні часописи платять. Щодо Ваших двох віршів, мені засланих,— «Галі» і «Невеселі пісні...», то по щирості ліричного запалу вони мені дуже до смаку; одно тільки,— у первій трохи туманно виставлена причина загину молодої дівчини, а у другій — занадто безнадійний колір; поету треба надихати одвагу другим, а не наводити гробковий спів! От яку думку треба проводити, що «най ми і загинемо, а наше діло не вмре, не загине! І хоч не ми, то хоч унуки, а дочекають того свята!» Вірш Ваш, музично видержаний

у мірі, хибить іноді отими глагольними рифмами: бога ради, уживайте їх якнайменше! Пора уже нам дбаліше повертатись з тими віршами, а то подивіться, як він вироблений уже у руських (Лермонтов, Толстой, Минаєв, Немирович-Д[анченко] і др.), а ми все:

Чорне море грає,
Душу звеселяє;
Отам я стояла
Бровами моргала.
Десь козак узявся
На мене напався,

Блаженної пам'яті Тарас Григорович теж не звертав великої уваги на вірш: і міри часто, і рифми не держав— може, за великими замахами своїх думок не мав і часу,— так він же був велетень, йому пробачить можна!.. А нам, грішним, треба уже пильнувати і випускати віршик чистесенький, як перемитий вугірочок.

Буду ж оце чекати на присилку від Вас, добродію, ще, та ще, та ще... Оці два утвори (може, Ви що виправите) надрукую, себто пошлю до цензури, як пустять. А може, Ви ще пришлете мерщій.

Прихильний до Вас покірник

Мих. Старицький

12. ДО О. О. ПОТЕБНІ

21 грудня 1881 р. [3 грудня 1881 р.]

Високошановний добродію!

Вам, вероятно, известно уже, что я предположил начать издание систематическое сборников (за неимением пока возможности выхлопотать право издавать журнал) как всякой изящной словесности, исключительно на малорусском языке, так и всякого рода научных статей (на русском или малорусском — безразлично) о Малороссии и о всем, что к ней хотя и косвенно относиться может. Сборники эти будут выходить, по мере накопления материала и цензурных разрешений, книжками в размере не менее 25 или 30 печатных листов; программа будет подходить приблизительно к таковой наших толстых

журналов с возможно социально-национальным направлением. Хотелось бы страшно, чтобы первая книжка во всех отношениях могла выдержать самую строгую критику и составить заметное явление, оно возможно будет только тогда, если такие люди, как Вы, стоящие на высоте науки и гуманнейших воззрений, согласятся украсить мое издание своим трудом и именем. С робостью в сердце прошу Вас, многоуважаемый Александр Афанасьевич, дайте хотя что-либо на первую книжку. Ввиду замедлений цензуры по малорусским произведениям время еще терпит, и русская статья, так как она будет цензуроваться в Киеве, может быть доставлена и в феврале даже. Гонорар я предлагаю такой же, как и «К[иевская] старина».

С истинным уважением и таковою же преданностью остаюсь покорнейшим слугою

Мих. Старицкий

P. S. Если присланная Вами статья Антоновичу для «К[иевской] старины» еще не занесена в портфель редакции (а она пока у Антоновича), то, может быть, можно было бы ее приспособить к моей «Раде»? Этот вопрос извиняет, конечно, зависть бедного к богатому.

1882

13. ДО О. О. ПОТЕБНІ

Стичня 14 1882 р. [26 січня 1882 р.]

В. шановний добродію!

На днях возвратившись в Киев после месячной отлучки, нашел Ваше почтенное письмо еще от 1 декабря и спешу на него немедленно ответить. Зная хорошо, что Вы постоянно завалены научными работами, я не льстил себя и надеждою получить от Вас определенные срочные обещания, для меня достаточно изъявления с Вашей стороны сочувствия к моему изданию и готовности воспользоваться свободной минутой для принесения ему ценности своим хотя бы и маленьким трудом. Величайшее, сердечное спасибо!

Относительно Вашего вопроса, подойдет ли к моей программе статья «О языке, поэзии и казке», хотя бы и *без явственных применений к местным обстоятельствам*,— отвечаю: «*Конечно, да!*»

А посему не лишайте меня, многоуважаемый Александр Афанасьевич, надежды иметь на страницах моей «Рады» всеми чтимое имя.

С глубоким уважением и преданностью остаюсь

Мих. Старицкий

14. ДО Б. Д. ГРІНЧЕНКА

Січня 20 1882 р. [1 лютого 1882 р.]

Шановний добродію!

Одібрав я Ваші перші й другі вірші, та, спасибі Вам, і покористувався таки з обох засилок, вибравши з них до друку ось які, що здались мені найкращими: «Весна», «О ні, не хочу собі я долі», «Матері», «Домовина», «Сестрі», «І молилась я, сподівалась я», «Минуле» і «Ні, про минулі давні дні». Отож тепера разом і одповідаю за них. Усі сливе підуть без всякої зміни, крім «Весни», «Матері» і «Минуле»; у перших двох я трохи змінив кінець, аби додати їм трохи гражданського жалю; в «Минулому» ж мусив одного куплета викинути цензури ради. У «Весні» ось які три останні куплети будуть:

1

Ой не никла б головонька,
Коли б я не бачив,
Як бідує голотонька
У житті собачім!

2

Ой не нили б мої груди,
Лихом перекуті,
Якби я не бачив всюди
Стогону та скрути.

3

Та й не можна, моя думо,
Сподіватись рая,
Коли сонечко не суше
Сліз гірких ратая.

В «Матері» от так, по-моєму, ефектніше закінчити:

А все ще долі дожидаєш...
Не жди, запроданки! Дарма!
Не завіта вона сама
До нас, недолюдків, ніколи,

Та з її ласки босі й голі
Були і будем... аж поки
Не візьмем тітку за боки!

Проте, як знаєте, одпишіть мені зараз, чи згодні на такі виправки?

Пишіть же, благаю, і надалі; коли б спробували ще не чисто ліричні теми, а ліричні картинки з народного життя, та щоб бриніла і соціальна нота á la Некрасов, напр[иклад]. Не ремствуйте, якщо не швидко появиться з друку книжка: най буде відомо, що на українські книжки — 4 цензури: иностранный цензор, внутренний ценз[ор] в Киеве, Главн[ое] управление по делам печати в Петерб[урзі], і знов внутрен[ний] цензор Киева.

Так ото, здорові бачите, що поки рукопись перейде всі митарства, то пройде з півроку часу... Другі вже мусять хутче йти, бо я думаю не переривати подачу рукописів, щоб не зупинялась фабрика, ото-то прошу і Вас не чекати першої книжки, а засилати на другу і на третю.

Шануючий і прихильний до Вас покірник

Мих. Старицький

15. ДО В. Г. БАРВІНСЬКОГО

Січня 29 1882 [10 лютого 1882 р.]

Шановний добродію!

Радів я і хапався найперве виписати собі і пропагандувати Вашу часопись «Діло», то оце й одібрав у 3-му номері, спасибі Вам, кламство і пасквіль на мене: ще раз спасибі! Що це не щира критика, а нарочита образа, тому докази певні і ось які: Ви узиваєте мої вірші «прозою, а теми їх — позиченими у батька Байрона та дядька Гейне». Щодо музичності і поетичності віршів моїх, то всі найголовніші столичні і місцеві часописі, а також товсті місячники, у яких тільки були критичні огляди, озивались про них яко найлучче: «Порядок» писав (1881 р., здаєсь, грудень), що «Старицкий по справедливости должен считаться выдающимся малорусским поэтом как по звучности, так и по красоте стиха». «Вестник Европы» (теж петербурзький місячник) в книжці за грудень (ноябрь) каже, що поетичні переклади Старицького

мусимо вважати за «образцові»; «Курьер» (моск[овська] часоп[ись]) теж озвався за мої вірші, що вони по музичності і по темам «найсимпатичніші»; «Южный край» (харк[івська] часоп[ись]) і «Мир» (харк[івський] місячник) про мої вірші, а надто ті, що в «Луні», озвались з великою хвалою, а «Зимовий вечір» і по темі, і по сердечності, музичності художнього складу признали найкращим в цілій книжці і передруковували цілком, про наші київські часописі «Зарю» і «Труд» нема чого й говорити — ви ж читали! Одно з двох: або те, що в нас зоветься поезією, у Вас вважають за прозу і наодворіт; або всі наші і російські письмовці та критики мають повстяні вуха! Вибачайте, що не догодили!

Що ж до водевіля, то ще виходить кумедніший погляд, а критична поведенція найнезвичайніша. Почну з того, що яке Ви мали моральне право ставити під водевілем мою повну фамілію, коли в друці стоїть тільки М. С.?.. Жодна редакція, шануюча себе, такого не зробить: це не тільки не гостинно, але й... краще промовчати! Перве, під М. С. міг бути й не я, а друге — коли й я, то, певне, мав якісь резони не виявлятись; тільки «Киевлянин», звісний всім шпиг і донощик, собі дозволя такі неморальні вчинки. Але, врешті, хай буду під М. С.— я! Критик Ваш узива мій водевіль — пустою і мізерною штукою, у якій нема ні дотепу, ні життя, ні правди, ні ідеї. І каже далі, що треба засоромитись, що таке й друкують! (!!!)

Буки-баран-башта!! Чи не треба краще засоромитись за такого критика, що, не знаючи ні краю, ні народа, ні звичаїв наших, аніже найменшого літературного розвиття, кида болотом з-за кордону, аби тільки попасти в тон «Киевлянину»?

Почну з назвиська: критик каже, що воно виплетене,— а насправді це у нас народна пословиця, та ще і щоденна, критик каже, що прозвища Шпортуниха, Тягнирядно, Гнилиця і т. д. видумані, а це прозвища наші народні і найчастіші; та навіть в моїх селах живуть такі селяни. Критик потребує од водевіля класичних характерів, високих велетнів духа, мовляв — опудал з ярликами... а водевіль є не більше по формі і по державу, як жарт, сміховина, кумедна оказія. Прочитайте всі французькі водевілі, руські — що в них? Найбільше в кожнім

яка-небудь пустота для реготу, і рідко де картинка з життя, теж легка, смішлива. З чого до сього часу сміялись у всіх українських водевілях? З мужика ніби дурноголового: завжди він — дурень, жінка — хитра і непутяща, москаль — вища мораль і розум. Я первий, можу сміло сказати, на посміщище у водевіль вивів не мужика, а панів, а що такі панки у нас суть, що це живі типи,— Ви краще прислухайтесь до наших часописів! Ваш велемудрий критик, вчений, та не друкований, чита, а під носом не бачить: вся ідея і штука в тому, що я вивів на посміх усю мізерію їхнього життя, в якому найголовніші питання: чия краща собака? Найбільша обида — заставити дворянина пішки йти, і, врешті, сама найбільша обида у них перед чаркою і горілкою не може витримати. Те, що Ваш мудрагель ганить,— «Южный край» вихваля: «водевіля М. С. без сміху до сліз не можна читати; по типічності мови і етнографічних картинок, по характерності наших полупанків, по сценічності і руху цей водевіль буде мати на сцені превелику силу».

А тепер де не дають його, то скрізь приймають шалено; читайте хоч у «Труді» розправи і дописи з провінцій.

І про саму «Луну». Ви даремно, не знаючи правдешнього діла, пускаєте лиху славу і докоряєте, що «гора родила мишу». Діло було ось як: Кониський торік удався був до головного уряду, щоб йому дозволено було видавати щоденну «Луну» і при їй щотижневі літературні додатки, от як би при Вашому «Ділі»; на зразок, які будуть тижневі додатки, і зібрав він нашвидку отой матеріал, що тепер надруковано в «Луні»; нарочито зібрав саме найсмирніше, щоб запобігти урядової ласки. Додаток цей розрішили, а за часопись діло затяглось до мая м[ісяця], і врешті не дозволено ні часописі, ні тижневих додатків. Так цей зразок і лишився самісеньким. Кониський не захотів його і видавати, але Ільницький виблагав його у Кониського собі на підмогу і ото видав.

Так, бачите, часописі гукали про «Луну», бо за ті кращі часи справді сподівались усі, що розрішать; навіть коли часописі не дозволили, то ще сподівалися усі, що такі смирні додатки дозволять хоч по одному в місяць випускати... Але вийшло все на кепське. У чому ж тут вина і Кониського, питаю я? Хіба в тім, що подарував

Ільницькому оцей збірничок, якого сам за малечого не хотів друкувати? Знаєте, добродію, судити легко,— а треба краще влізти в шкуру другого! У мене є тепер ц і н н о г о матеріалу на 100 арк. др., а скільки ще пустить цензура, то господь віда! Ц е й л и с т п и ш у д о В а с о с о б и с т о, а н е д о ч а с о п и с і, і пишу не з-за авторського гонору, а для того, що щиро вважаю, що ця несвітська критика надрукована нарочито образи ради. Скільки не лайте після цього — мені байдуже: я для України рідної пишу, і мене чита і шанує не тільки Україна, а й Росія!

Ваш покірник

Мих. Старицький

16. ДО Д. Л. МОРДОВЦЕВА

Марця 20 1882 р. [1 квітня 1882 р.]

В. шановний добродію Данило Яковлевичу!

Оце цими днями одібрав я через студента дорогий Ваш басаринок «Сон — не сон», дав переписати, та й до цензури мерщі одтарабаню разом з другими літературними надібками до 1-го тома моєї «Ради». Мені уже на превелику силу частина повернулася з Петербурга, так що можна розпочинати і друк; боюсь тільки, щоб Петербург не задержав решти, що послано до 1-го тома,— то буде забара. Коли б там знайшлась яка спасенна душа, щоб не полінувалась інколи забігти до вашого «чистилища» та довідатись, чи вже, чи ще? А то іноді рукописи лежать по півроку і по року навіть: отака-то для нашої мови пільга! Нема справи, та і рятунку, здається, ми не дочекаємось! Чи при таких же порядках можна що-небудь путяще зробити? Шкода й заходу! Крутійство, та й більш нічого: от маною очі одводять, ніби дозволили, а проте накинули українську літературну справу таким неводом, що годі й думати куди-небудь плисти. Мізерію яку-небудь пустять, та й то зараз здіймається лемент: той кричить, яке ви маєте право зневажати всесвітніх геніїв (Гете, Шекспіра, Міцкевича, Пушкіна), передягаючи їх із славетних мантій у сірі свитки й у дігтяні чоботи? Інший кричить, для чого, для якої потреби ви їх перекла-

даєте, хто буде читать вашу нісенітницю? А четвертий, як Де-Пуле, так уже репетує, що вони викують мову і учинять сепаратизм, що хоч української мови і нема зовсім і народ чудесно розуміє по-великоруськи, але все ж українофіли можуть викувати мову, і тоді й з народом нічого не вдієш, ergo: души українофілів, ненавидь їх, з презирством жени! Нехай би уже вороги знущались: вони, заткнувши вуха і очі, ні на що не вважають — ні на науку, ні на правдоту, ні на факти; їм одного треба, щоб українського ні слова, ні згуку, ані знаку не було, щоб і усі ми були у червоних сорочках на штани та, крім «Камарицького», нічого більш і не відали; ну то що ж з такими говорити? Поки вони — сила, то й слухати нікого не станугь! А от наша безталанна доля, що й свої люди, від яких найбільше чекаєш підмоги й доради, і ті легковажно починають співать ту ж саму ворожу пісню! От хоч би розправа шановного Н. І. Костомарова, бодай писана і з добрим наміром, а наробила великої шкоди: уже одно те, що «Киевлянин» з великою приязню простяг до Миколая Івановича руки, назвав його своїм, а нас усіх зтола сепаративними дурнями, від яких відпльовується Костомаров,— то уже це може свідчити, у чий огород попав шановний добродій п. Костомаров? Я вже й не кажу про те, що сама думка д. Костомарова невірна: раз тільки зоставити мову українську для самих нижчих потреб безграмотного люду (бо грамотний уже матиме собі панську — культурну мову) і тішити себе тим, що всі грамотними не поробляться, то краще зовсім занедбати ту мову. Кажете, що наша інтелігенція одірвалась од народу; якщо так, то перва й найважніша повинність її — злитись з народом, стати в голові його, а для сего — перша засоба зажити його мову, увести її з шаною у сім'ю. Мені здається, що українофіли і єсть та частина інтелігенції, яка хоче засунути ту прорву, що лягла між народом і нами, і стати на послугу народові, з'єднавшись з ним і думкою, й словом. Отож я стверджую, що у нас уже зародилась, хоча й мало, а своя-таки порозуміла інтелігенція, а крім того, є по закутках багато і хоч непорозумілого, а прихильного простим серцем до своєї мови люду; то й нічого унивати, що у нас вироділась інтелігенція і ні для кого перекладати великих поетів, що хто їх читатиме? Знаходяться такі, і чимало, я вже не кажу про Галичину. Та от, наприклад, про свої книжки можу

дати певну статистику. Перекл[адів] «Байок з Крилова» розійшлось 4000, і тепер не можу найти примірника, щоб знов друкувати; «Різдвяної ночі» розішлось 4800 кн[ижок]; уже четверте видання іде; переклад з Гоголя розійшлось 2500 кн[ижок]; переклад з Лермонтова— 3000 кн[ижок]; остатніх перекладів «З старого зшитку», «Думи і пісні» надруковано було 2000, а осталось тільки 300 кн[ижок], а «Сербських дум», що всі кричали «найкраще», «превосходно» переведено, куплено усього тільки 5 книжок!

Значить, єсть же той читець, що купує і якому переклади на нашу мову великих поетів дуже до смаку. Ось учора я одібрав листа од мирового судді, що на Чорноморії, Мови: він просить, щоб туди заслати 100 книж[ок] «Дум і пісень», бо там страх уподобали цю книжечку, а також і переклади Олени Пчілки. Сам Миколай Іванович пише, що він за безліч літ і забув уже українську мову і рідко бачить там коли яку книжку, а про Галичину нічого й не віда, а проте безодмовно кричить, що ми куємо слова, мову і чортзна-що пишемо. Перше — всякий, хто пише, звичайно, пише, як тільки може і як йому здається найпорадніше, найлучче; умисне ніхто не зважиться видумувати непутящі слова, і якщо треба лексикона, то найперве не для писак, а для критиків. Мик[ола] Іван[ович] наставив мені при віршах таких ?!, що тільки руками розведи! Хіба тума не народне слово? Пр[иклад]: «Сидить, як тума», «Горілочка-тума зведе хоч кого з ума». Хіба вгавати не народне слово? Дивись: у Шевченка «Назар Стодоля», у піснях народних: «І дитина в сповиточку кричить, не вгаває». А «безлюдяний» хіба нема? Та єсть іще і «безлюдько! А «тремтіти», «тремтячи» теж не народне? А «млою»? А «гробковий»? На «гробки» ходить увесь хрещений мир у понеділок, і там поминають покійних, а до того причитують і приспівують; то й каже народ, як, бува, хто почне покійний свій рід перегадувать: «О! Вже й почала гробкову». Сам чув і записав. Отож-то й горе, що забувають свою мову, та й пришивають квітки! А з тих квіток іще буває в наші часи й те, що й жандарми часом балакують... і накидаються вороги ще з більшою запеклістю. Вибачайте, що розвів довго: що у кого болить, той на те й скаржиться. Благаю Вас, щирий і коханий добродію, пришліть іще

чого-небудь, хоч крихту для покраси нашої праці; а я Вашим «Сагайдачним» зачитуюсь. Уклоніться низенько Мик[олі] Іван[овичу] Костомарову. Нехай вибачить на слові! А що журнал, чи буде у Вас? Напишіть з ласки.

Щирий і прихильний до Вас

Мих. Старицький

17. ДО Б. Д. ГРІНЧЕНКА

Марця 20 1882 р. [1 квітня 1882 р.]

Шановний добродію!

Ваші вірші з іншими уже давно поїхали до Петербурга, так що остатній лист не застав їх у Києві; та можна ще буде і при коректурі дещо виправити. Здивувало мене, що Ви од деяких віршів цураєтесь, що не Ваші: це, знати, є другий поет за Вашим псевдонімом. Зверну увагу на адреси, а поки хай буде так: всякий своє пізна.

Прислані Ваші вірші підуть до другої уже збірки, аби цензура пустила. Частина уже повернулась з Петербурга. Бувайте здорові і богові милі!

Щирий і прихильний до Вас

Мих. Старицький

18. ДО В. Г. БАРВІНСЬКОГО

[12 квітня 1882 р.]

В редакцію «Д і л а»

Засилаю до шановної редакції листа до п. Куліша, прошу ласки передати його по адресі. При сій нагоді бажав би я знати, чи не візьме на себе турботи редакція вислати по моїй адресі у Київ всі н а й к р а щ і і н а й с ц е н і ч н і ш і утвори до с ц е н и, які вживаються у Галичині, найбільш оригінальні з життя народного і інтелігентного. Коли ласка, то редакція зволить мені одповідати незабаром, кільки грошей на цей кошт мушу я вислати, і по одібранню їх не забавиться прислати.

З великою шанобою прихильний і зичливий

Мих. Старицький

31 марця, 1882 б. р., Київ

19. ДО В. Г. БАРВІНСЬКОГО

[20 травня 1882 р.]

Високоповажний добродію!

Чи не халепа, що Ваш шановний лист до мене пролежав дарма-гарма мало не місяць? Я оце обсівавсь на селі і тільки що приїхав до Києва. Чого Ви знову, добродію, питаєте мене, які мені переписувати театральні справи? Найкращі — от моя одповідь, а в цьому суддя найпевніший Ви. Найпотребніші нам такі утвори, де малюється галиційське життя наше — як народне, так і інтелігентне. По одібранню таких утворів я зараз їх пошлю до нашої театральної цензури, для дозволення на кону, щоб уосени й узиму було що грати. Це, думаю, найкращий спосіб і нашу публіку знайомити і зближати з Галицією, з кревними.

Отож, майте на увазі, як для сії потреби, то переписуйте утвори нашим казенним правописом, себто: де чується **і** — пишіть **і**; де **ы** — пишіть **и**; де **йо** — пишіть **ё**... разом кажучи, кулішівкою, тільки конечне з **ъ** і без латинської **j** або **g**... та ще кожної п'єси по 2 примірники, так потребує наша цензура: один лишається в Петербурзі, а другий вертають з печаткою. Закажіть же, добродію, зараз переписку; а до мене про це діло сповістіть тільки, скільки вислати грошей,— та й уже.

Чи у Вас були у Галичині і звісні Вам мої «Пісні і думи»: «З давнього зшитку», що торік вийшли? Щось не пам'ятаю, щоб хто обізвався, а вже книжка сливе розійшлась. Друкую 2-у частину і готую 2-е видання торішньої. Завтра виходить з друку теж «Гамлет», переклад мій з Шекспіра, з прилогою музики М. Лисенка до пісень Офелії. Друкується й моя «Рада».

До мене обертались товариства «Січ» і «Просвіта», щоб заслав їм «Пісні і думи»; то будьте ласкаві, хоч звістіть мене про їх певні адреси.

А що там у Вас П. О. Куліш пороблює? Чи вийшов уже перший том Шекспіра? Я писав і йому, щоб мерщі вислав, та й Вас прошу. Гроші зараз вишлю; напишіть тільки скільки?

Вельми шануючий Вас і прихильний покірник

Мих. Старицький

8/21 травня 1882 р.

20. ДО В. Г. БАРВІНСЬКОГО

[Кінець травня 1882 р.]

Позавчора писав Вам, вельмишановний добродію, а це знов турбую Вас своїм листом і просьбою. Засилаю Вам 3 крб. і прошу найхутче вислати мені «Хуторну поезію» і «1-й том Шекспіра» Куліша перекладу, а також і ще якусь там його нову брошурку. У нас тут пішла чутка, ніби Куліш має видавати часопись. Чи правда і якого напрямку?

От іще: повернулась з цензури мені нова книжка моїх поезій, що я оце зараз друкувати маю; між ними 15 поезій, і найкращих, цензура зачеркнула... Чи не можна б їх де в Галичині пририхтувати, у «Світі», чи що? Одпишіть, то я зараз вишлю. А як Ви думаєте про переклади Мордовцева? Його романи з українського життя, а надто остатній «Сагайдачний» — чудеснійші!

Переписуйте ж і засилайте найхутче найкращі драматичні утвори. За гроші пишіть — вишлю.

Щирий і прихильний покірник

Мих. Старицький

21. ДО В. Г. БАРВІНСЬКОГО

[26 листопада 1882 р.]

Високоповажний добродію!

Посилаю Вам 10 прим. мого «Гамлета» і 10 книжок «Пісень і дум» 2-ї частини. Продайте їх, а за те висилайте мені Ваше «Діло», бо воно чогось перестало приходити. От би за що просив Вас вельми,— містіть у Вашій часописі більше звісток про всі видання і книжки, які в Вас виходять, про часописі, про їх напрямки... разом,— знайомте нас з Вашими літературними справами і рухом, це нам найнужніше, а Ви на це найменше звертаєте уваги. Де Куліш, що робить?

Шануючий вельми і прихильний

Мих. Старицький

14 грудня

22. ДО М. І. КОСТОМАРОВА

[26 листопада 1882 р.]

Високоповажний і щирошановний
Миколаю Івановичу!

Посилаю Вам тільки що спечену мою книжечку, 2-у частину «Пісень і дум»; «Гамлета», мій переклад, я давно теж Вам послав і шановному добродієві Пипіну; не знаю, чи одібрали? Хотілось би, признатись, чути Ваш дорогий для мене і високий присуд про це діло,— чи путяща хоч трохи робота, чи покидька? Тим паче це для мене б було важно, що «Гамлета» я, по Вашим порадам і показкам, переробив наново, та чи до ладу ж?

Нас всіх огорнув сум і туга прибила, що Ви слабуєте, але остання звістка радує трохи... Храни Вас господь милосердний нам на втіху, на радість, на славу. Вірте, що від усіх нас линуть найщиріші і найпалкіші благання за Ваші дорогі для всієї України дні!

З великою шаною і любов'ю

прихильний навіки *Мих. Старицький*

14 грудня, Київ

23. ДО Д. Л. МОРДОВЦЕВА

[Кінець 1882 р.]

Високоповажний Данило Лукичу!

Переслав уже я Вам до Петербурга давно мого «Гамлета», до котрого Ви пришили, спасибі Вам, іще раніш квітку — оту «заковику». Тепер посилаю ще другу книжечку «Пісні і думи», та не знаю, як вона дійде. Я не знаю, де Ви пробуваєте, то й посилаю добродієві Беренштаму, щоб уже він Вам переслав. Прочитайте, добродію, та якщо ці 2 книжки і 3-я, байки, варт хоч що-небудь, то озовіться добрим словом, а як вони ледачі, то й загніть заковику... бо після виходу хоч знаєш за що, а до виходу — це раніш тільки пустить злу славу... Та бог з ним! Я певен, що Ви з доброго серця пожартували... От тільки вельми погано робите, що слабуєте!

Звістка про це всіх нас сумом окрила: що за доля наша нещасна — найкращі люди то слабують, то никнуть, а недолюдки жирують...

Одпишіть, будьте ласкаві, як Ваше здоров'я? Де Ви пробуваєте? Що пороблясте? Коли повернетесь? А найпаче як Ваше здоров'я? Дуже тривожимось за нашого батька п. Костомарова... Чи маєте про нього звістку?

Щасти Вам боже! Бувайте здорові і дбайте за славу нашої окривдженої родини!

Найщиріший і найприхильніший

Мих. Старицький

1883

24. ДО П. О. ЗЕЛЕНОГО

г. Киев, Мало-Владимирская ул., дом Луцкого

[18 лютого 1883 р.]

Милостивый государь П. А.

В уважаемой газете Вашей № 26 появилась статья, возмутившая тоном своим не только меня, призываемого свистком к ответу, но, смею уверить, и большинство малороссов; очевидно, статья эта попала не по адресу, и ей бы приличнее всего было стоять на первых страницах «Киевлянина»... Известный мне ее автор из-за личных счетов обвиняет меня и в польской интриге и еще более в стремлении создать во что бы ни стало, упразднивши даже логику и грамматику, особый язык от русского, не заботясь даже, насколько от этого искалечен будет малорусский язык; направление такое он считает опасным, ибо вслед за мною могут пойти неопытные читатели и тогда угол отклонения выйдет ужасным...

Для убеждения тех, кому о сем ведать надлежит, автор, стоя будто бы на высоте добросовестно-научной критики, указывает публике 40 улик, уверяя, что это число можно утроить и учетверить. Смею Вас уверить, уважае-

мый редактор, что все приведенные в Вашей газете примеры есть заведомая ложь и даже плажиотаж.

Все слова, приписанные автором моему личному злокозненному ковательству или злостному, ради отличий, искажению — суть чисто народные слова, даже обыденные, на которые я могу представить и из напечатанных народных материалов, и из классических писателей массу оправдательных документов; наконец, все они находятся с примерами и в словаре, над которым в числе других работает и г. Белинский.

Таковы: шитвó, гордя́чий, пишáти, красувáти, трíбний, нетрíбний, дýбнути, насмíти, óдіж, шепотіння, рвія, тума, ненатлий, сказ, пирóжитись, роди́на, обітни́ця, загадáтись, пахти́ти, пронизáти, скáлити. Относительно всех вышеприведенных слов автор доктоpальным тоном утверждает, что их в народной речи нет и что они есть плоды моей больной фантазии. Обращаю Ваше внимание только на два слова — «рвíя» и «тýма», которые несколько реже встречаются, но тем не менее и они народные, а не сочиненные мною: «рвíя» есть слово в Прил[укском] у[езде], означающее бурю в зимнее время, рвущую снег из земли и производящую нечто вроде мятели; писатель Гацук употребляет это слово в переносном значении, для обозначения и нравственной бури, рвущей человека. «Тýма» — тоже народное, занесенное в этнографические сборники: «Горілочка-тума зведе хоч кого з ума!», «Ой козаче-тумо, горда пишна думо!», «Сидить, як тума». Очевидно, слово произошло от тумана и опять-таки вошло в словарь.

Обвинение меня в отступлении от грамматики Востокова опять-таки крайне неосновательно и, кроме сего, обнаруживает и в авторе статьи нетвердые знания оной. Критик уверяет, что прилагательные на ячий могут быть или притяжательные, или лишь произведенные от причастий, а посему слово гордя́чий выковано и крайне неправильно. Смею уверить г. обличителя, что в малорусском языке существуют прилагательные на я́чий не притяжательные и не явно отпричастные: если он сомневается в слове гордя́чий («Таке вже гордя́че, що й при́ступу нема!»), то уже в слове «добря́чий», «мерзля́чий» — «добрячий чоловік»,

«добря́ча горілка», «мерзля́че, як щеня» и т. д.— не следует усомниться! Все подобные прилагательные означают некий избыток качества, увеличительную форму; конечно, не все прилагательные могут употребляться с такими суффиксами, но тем не менее в малор[усском] языке таковые суть.

Критик уверяет, что из группы **ск к** выпадает только перед **н** (?). Не знаю, как по Востокову, но в малорусском языке **к** выпадает и перед **л**. Напр., «Мене стисли», а не «стискли»; прилаг. «сти́слий», а не «сти́склий»; да, наконец, есть и в неопр[еделенном] накл[онении] глагол «стискати» и «стисати» (Под[ольская] и Вол[ынская] губ.). Что же касается до замечания, что может только «кілок стисатись», то оно более чем нелепо и обнаруживает в авторе убожество в распознавании корней; в последнем примере очевидно фигурирует корень не тис, а тес: «тесати», «тесляр»... Да и по-русски тёс, тесать!

Общеизвестное слово «шитво» отрицается и по существу, и по неправильности образования, ибо, как уверяет г. критик, окончание **во** есть след причастия прошедшего на **в**. Может быть, в русском языке и так, но тем не менее в малорусском языке существуют, хотя и немногие, существительные, удерживающие от неопред. наклон. и букву **т**: шитво (в смысле материала для работы), «нема шитва — хоч руки складай», «нанесли стільки шитва, що й не впораюсь»; слово пиво, конечно, есть, но есть и слово питво (в смысле напитков, собрания питий): «їжі понаставляли, а питва ніякого».

Притягивание меня к ответу за отступление от Востокова по части деления глаголов на 2 спряжения неосновательно уже потому, что вопрос этот и в русском языке сбивчив, представляя массу исключений, а в малорусском языке это еще не исследованная совершенно область и «просють», «говорють» положительно верно [в] народной речи.

Как образец аромата острот приведу Вам хотя одну, пущенную по поводу известного слова «обітниця», будто бы выкованного мною из пристрастия к слову «спідниця»! А как образец добросовестности критика следующее: он приписует не существующее у меня нигде слово «одіян» и глумится над своей же шулерской передержкой; так же указывает с хохотом на «твою

тху» — у меня «т в о ю тху» нет! Далее: он укоряет меня в польской интриге, накинувшись на слово «о т ч и з н а», и тут же цитирует стихот[ворение] Лермонтова «Люблю о т ч и з н у я...»; он укоряет меня, что я употребил к «окну» эпитет «мальований», утверждая, что этим выражением навязываю образ римско-католического костела, в окнах котор[ого] цветные стекла... А по-малорусски стекло назыв[ают] «с к л о» или «ш и б к а», а малеванное окно — просто разрисованное.

На основании всех вышеприведенных измышлений, ядовито подтасованных, автор грозит мне, что я стою на о п а с н о й д о р о г е как д л я с е б я л и ч н о, так и для малор[усского] слова!!

Что я стою сам лично на опасной дороге,— это мне хорошо известно; уже по одному тому, что я пишу по-малорусски, я состою под стр[огим] надзором полиции... Писание на этом, лишенном всяких прав языке уже есть по меньшей мере неблагонадежный проступок — даже если дело идет о пошлых анекдотах; стремление же вывести язык из конюшни и корчмы в более облагороженные места есть стремление сепаративное; а если при сем уличается автор еще в намеренном искажении языка ради отдаления его от русского,— то сие уже есть покушение на государственную измену.

Так кричат Катков, Аксаков, Пихно, а за ними и прочие столпы отечества; так кричат безместые Ивановы и Петровы, призывая на мою голову и полицейские и общественные кары, а Катков даже доходит до того, что в одном из №№ «Московских ведомостей» объявляет прямо, что «когда Старицкий и Конисский отделят Малороссию, то советуют взять нам за министра народного просвещения бар. Корфа».

Если бы мы жили в лучших условиях, если бы наши личности были более гарантированные, тогда бы, конечно, всякий литературный спор о правильности лексики и грамматики никогда бы из сферы своей и не вышел... но Вам хорошо известно, что мы переживаем времена тяжелых испытаний не только совести, но и помышлений наших; в такие времена честные органы, к числу которых без сомнения принадлежит Ваш, должны с особой осторожностью касаться тех вопросов, которые и без того находятся под огнем общественной травли.

Не далее как вчера я имел частный разговор с знакомым мне одним жандармом, и он мне советовал поудержаться на некоторое время со своими изданиями, так как обо мне уже, как злостном сепаратисте слова, начинают кое-что поговаривать, опираясь на то, что даже и либеральные органы меня в том изобличают.

Это-то и больнее всего! А если прибавите, что эта лоханка грязи, вывернутая на меня, совершенно не заслужена и есть дело мелкой злобы,— то еще становится больнее.

Я даже отвечать печатно не могу и не хочу: раз,— мне пришлось бы упрекнуть Ваш орган по меньшей мере в бестактности, а второе — рецензента в невежестве и подлости... Бог с ним!

И без того у нас осталось честных органов мало, то нужно дорожить ими, а Ваш тем более — он пользуется общим уважением!

Простите за некоторую нервность,— она совершенно понятна, да еще за то, что не имею удовольствия знать Вашего имени-отчества.

Свидетельствую затем Вам глубокое уважение, состою покорным слугою

Мих. Старицький

6 февраля

25. ДО І. С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО

Київ, 5 марця [17 березня 1883 р.]

Дорогий і вельмишановний
Іван Семенович!

Драматичний комітет мені допоручив переглядіть Ваші «Кожум'яки» і виробить план, як би їх пририхтувать до сцени. Я зробив це і читав свій план, і його дуже хвалили; отож тепер засилаю його до Вас на санкцію. Будьте ласкаві, прочитавши, найшвидше його повертайте назад з одповіддю.

Отож з плана зауважте Ви, що I дію треба зробити зовсім наново, а також здебільша й IV. II дія вирихтується із різних шматочків I Вашої і VI і із нових додатків; III зостанеться без переміни. Також тут треба додати і мені наполовину праці, то чи не дозволите мені узятись за це і чи не признаєте в такім разі правильним,

щоб і я коло Вашої фамілії поставив свою, себто щоб було написано: комедія Левицького — Старицького? Коли згода, то продивіться план, зробіть свої уваги і пришліть мені його з а р а з ж е, тоді я мерщій візьмусь до діла. Хоч у моєму плані і стоять деякі фрази, але це тільки нарис, про що буде розмова,— у настоящій комедії вони можуть бути зовсім інакшими.

Я з своєю «Радою» так мучусь, що не знаю, що і чинити: і досі з Петербурга не шлють мені драми «Не судилось». А решта давно надрукована. Думаю уже випустити 2 випусками, щоб хоч строку не пропустить. Будуть, певно, лаяться, та бог з ними. У нас правди не доскочиш! От за «Гамлета» і «Думки» — скільки і я, і другі одбирали листів з великою хвалою, то що ж? Хвалителі у друку мовчать, а хулителі-сіпаки вигадують усякі брехні-клямство і навіть в сепаратизмі дорікають! Ні? Український писатель поки зовсім безправний чолов'яга, відданий усім на баніцію!

Щиро прихильний до Вас

Мих. Старицький

26. ДО П. О. КУЛІША

[28 квітня 1883 р.]

Опанувала мене велика радість і страх, дорогий і вельмишановний земляче, Олександре Пантелеймоновичу, одібравши Ваш лист. Знаю я добре, що ми з Вами не тільки не сепаратисти, а навіть щирі слуги імперії, та здається тільки, що за такими найбільш уганяють Каткови та Пихни... Бо вони ж у своїх часописях величали Вас, добродію, «и з м е н н и к о м»... отож і боюсь я, щоб знов не підняли якого гвалту на Вас! Проте коли безпечність Ваша певна, то хвала богу, що Ви вернулися, бо справді,— все те, що Ви би за кордоном не видали, для нас мертве.

Раю Вам посилати рукопись, хоч першу, проби ради, прямо в «Главное управление по делам печати», і приложіть 2 марки... може, чи не швидше повернеться назад; але, кажуть, в останні часи знов стало там сутужніше. Що це Ви, шановний добродію, взяли собі у думку, ніби я міг зважитись поправляти Вас? Я посилав до цензури Ваших 6 поезій, три зачеркнуто, а три покалічено.

і я вже мусив їх як-не-як полатати, щоб мати утіху хоч полатаними їх бачити у своїй «Раді».

Шановній добродійці Вашій, нашому пишному барвінку, низесенький уклін і найщирше привітання.

Обнімаю Вас щиро. Прихильний покірник

Мих. Старицький

16 квітня
1883 б. р.

27. ДО І. Я. ФРАНКА

[Травень 1883 р.]

Велике Вам спасибі, дорогий і вельмишановний земляче, за Ваше слово ласкаве. Отож прошу Вас, добродію, наперве, одписать мені зараз, скільки вислати Вам книжок «Ради», то я мерщій і вишлю. Вдруге — запитайте, будьте ласкаві, редакцію «Діла», за віщо вона до мене немилостива і завжди наклада покуту — не висила газети, та й годі. Я газету виписав ще той рік через Оглобліна, далі на цей — через Ільницького; от мені повисилали місяців зо два та й перестали. Написав я покійному Барвінському,— нехай над ним земля пером,— що, мов, не знаю за що, а не висилає мені; він, спасибі, одписав зараз, що буде висилати,— і, правда, я почав одбирати. Коли це через 2 місяці знов — стій! Посилаю йому на продаж книжки і прошу знов, щоб хоч за ці книжки — я грошей не хочу, а щоб висилали... Знов вибачаються за помилку і починають висилати аж до смерті Барвінського, а після похорон його знов стали аж на сей день! Запитайте, будьте ласкаві, у редакції, що воно значить? Чи, може, потрійно треба платити, чи протекцію яку мати, щоб запобігти хоча маленьку пам'ять про себе?..

28. ДО П. О. КУЛІША

[Липень 1883 р.]

Вибачте ще мені раз, що так розбалакався дуже, й дивіться, яко на блягузкання учня перед учителем... Проте якби так переробити до сцени, то п'єса б мала страшенне враження й стала б на кону первою квіткою.

Одпишіть мені, будьте ласкаві, який Ваш погляд на

цю справу? Те, що Ви написали, справив і дав «Байду» до перепису. Всі Ваші другі твори у цензурі і ще не повертались. «Раду» я припоручаю редакційному товариству, бо мені не буде більше часу орудувати нею: кладу весь мій час на сцену.

Перекажіть від мене шановній добродійці Вашій велику шанобу і щире вітання.

Щодо мене, то я б [пл]атив навіть за п'єси до сцени, аби були такі, щоб держались і приймались щиро, від акта по 5 карб. щоразу, крім гонорару, за руську платять тільки по 2 карб. від акта. Така-т[о] потреба в новім репертуарі!

Щасти Вам боже у всьому! З пишною шанобою прихильний покірник

Мих. Старицький

P. S. Знов проказую, що в віршах не перепpавляв, а латав покалічене цензурою. Хіба в мене бракує уже художнього нюху, щоб не завважити, що в оригіналі далеко сильніше... тим-то й цензура черкнула!

29. ДО Б. Д. ГРІНЧЕНКА

Київ, 13 листопада [25 жовтня 1883 р.]

Вибачайте, дорогий добродію, що не озивавсь довго: я з мая місяця вештаюсь усе по Україні, а в Київ сливе зовсім не був. Бачите, я взяв трупу Кропивницького під свою руку і тепер роз'їжджаю з нею по городах... Отож і «Раду» другу частину я припоручив редакцію Трегубову (Єлисей Кипріянович Трегубов. Київ, Колегія Галагана); Ваші вірші я передав йому і одмітив деякі до «Ради».

З першим виданням «Ради» сталася пригода: книгар Ільницький збанкрутував і замотав мені ціле видання, так що моїх більше 1000 карб. ляпнуло. Якщо маєте що, то висилайте хоч на мій адрес, а хоч Трегубову. Про Вашу просьбу за місце хлопочуть.

Прихильний і щирий

Мих. Старицький

30. ДО П. П. СОКАЛЬСЬКОГО

Петербург, 17 марта [29 березня 1884 р.]

Многоуважаемый

Петр Петрович!

Не очень-то веселые сообщу Вам вести из Петербурга, хоть пока и не крайне безотрадные: гр[аф] Толстой, получивши несколько доносов из Киева, обратил внимание на малор[усские] спектакли и предписал Главн[ому] упр[авлению] по дел[ам] печати сообщить административным властям, чтобы они не допускали формироваться исключительно малорусским труппам и наблюдали бы, чтобы малор[усские] спектакли составляли никак не более половины русских, и чтобы рядом з ними шли и русские серьезные пьесы, а не одни водевили... вот и вся гроза! С этим помириться можно, и мне высокопоставленные люди говорили, что хотя малорусчина и не в фаворе, но более грозного ничего предвидеться не может... Ну, с этим положением пока помириться можно, лишь бы нас не съела местная администрация, потому что мы чисто в ее руках: захочет и препятствий чинить не будет, не захочет — запретит, и баста! Я решил теперь с этими требованиями уладиться так: у меня теперь есть 6 лиц специально для русск[их] комедий, да наших может участвовать душ 8,— с этим персоналом я буду и играть русск[ие] комедии, как необходимое дополнение к малорусским спектаклям, которых будет три, четыре в неделю; а два дня будет чисто русская не драма, а опера или опера комич[еская]. На оперу публика скорее пойдет, да и затраты такие самые, как на драму, а между тем оперные силы будут помогать и малорусской опере и самой даже драме... драматические же в[еliko]русские — ни к чему!

Итак на Ваши оперы у меня полный расчет; готовьте их! «Жонатого чорта» я пока только что начал,— все в поездках, и ни одной недели отдыху не было: когда сяду на месте, то подгоню.

Ради бога, не имеете ли Вы ходу к харьковскому губернатору, или, может быть, Ваш брат имеет в Харькове

влиятельных на него знакомых: мне необходимо нужно заручиться письмом и протекциею к тамошней администрации, ибо, не имея заруки, что она меня не съест, я и контракта на театр не подпишу. Вы мне на это письмо отвечайте немедленно в Харьков, где я рассчитываю быть через неделю, и адресуйте или до востребования, или в гост[иницу] «Англия» на Екатеринosл[авской] улице,— только заказным, чтобы не пропало, да кстати приложите и личные рекомендации до брата и кого-либо в Харькове, и укажите путь к заполучению рекомендаций к губерн[атор]у.

Был вчера у Бороздина; очень радушно принял, обещал, когда нужно будет, повлиять и на правит[еля] канцелярии гр[афа] Толстого, теперь же советовал не возбуждать вопросов, пока нет в них необходимости.

Вам он просил очень кланяться и сообщить, чтобы Вы приехали сюда хотя на несколько дней в апреле. Относительно печатания малор[усского] текста к нотам он находится в заблуждении, думает, что просто этого не допустит цензура. Дело в том, что он помнит закон 1876 г., воспрещавший сие, а не знает, что 1880 г. закон отменен: Лысенко ежегодно печатает свои романсы и песни, а в этом году и оперу «Різдвяна ніч»,— раз цензура пропустила по содержанию текст, так и шабаш! Вот он только относит[ельно] «Тараса Бульбы» говорит, что если напечатаете по-малорусски и по-русски, то вряд ли допустят к постановке на имп[ераторской] сцене? Тут, может быть, он и прав, если для Вас сие важно, то печатайте «Тараса» хоть и по-русски, с тем непременным условием, чтобы текст отдельно по-малорусски был отпечатан и представлен особо в театр[альную] цензуру, а потом по разрешении подведен искусно хотя и человеческою рукою под ноты, в нескольких экземплярах. Я намерен оперу сию поставить в Харькове по-малорусски. Что же касается «Жонатого чорта», то нехай уже він, батьку, буде чисто нашим.

Поклонитесь от меня всем моим добрым знакомым и Одессе, нашій добрій неньці. Не прозондировали б Вы, если это можно хитро, мудро, не дорогим коштом, что затевает на будущий сезон Максимов? Нельзя ли его навести на мысль, чтобы он пригласил нас, как гастролеров, на зимний сезон от 15 ноября до 1 генваря (я только это время и могу быть в Одессе)? Хотя я дешево не

возьму, но для него, конечно, выгоднее быть солидарным, чем конкурентом, ибо с будущими силами я его убью!

Мариинский театр не совсем удобен: тесен и для постановки опер мал; но если Максимов заартачится, то возьму вновь Мариинский.

Ну, обнимаю Вас щиро и желаю и здоровья, и побольше музыкального вдохновения, проникнутого нашим народным духом. Деткам всем поклон.

С глубоким уважением и преданностью

весь Ваш *Мих. Старицкий*

31. ДО РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ «ЗАРЯ»

[5 травня 1884 р.]

Письмо в редакцию.

В «Очерках истории украинской литературы» Н. И. Петров, приводя лестный для меня отзыв Николая Ивановича Костомарова о моей драме «Не судилось», добавляет от себя, что «это произведение составляет действительно эпоху в поэтической деятельности г. Старицкого, если только это его оригинальное произведение (стр. 455), поясняя далее, что «драма г. Старицкого «Не судилось» по сюжету очень схожа (?) с драмой г. Кропивницкого «Доки сонце зійде — роса очі виїсть», игранной еще в 1882 г. (??), но какого рода сходство между этими пьесами и как далеко оно простирается,— мы не можем сказать».

Для восстановления истины я считаю долгом заявить от себя следующее: Сюжет для драмы «Не судилось» действительно заимствован мною, но не у какого-либо автора, а у самой жизни, из этюда 1862 года, близко мне знакомого. Драма эта была задумана мною еще в 1876 году, и в том же году не только подробный план, но и два первых действия были окончены; но, вследствие запрета малорусской сцены, работу свою я бросил тогда, не видя в ближайшем будущем цели ее применения. Драму эту, носившую прежде название «Панське болото», в неоконченном виде я читал в 1877 и 78 году многим лицам в Киеве, между прочим — О. П. Косач, Н. В. Лысенку, А. Я. Конисскому, А. Матвееву и Н. А. Шереме-

тинскому, а в 1881 году М. Ф. Комарову, М. Л. Кропивницкому, с которым я тогда познакомился, и Садовскому при первом приезде их с труппою в Киев. Ободренный лестным отзывом самого г. Кропивницкого как знатока сцены, я поторопился ее окончить и сдал в цензуру для помещения в сборнике «Рада», который предполагалось выпустить в начале 1882 г.; но, вследствие не от меня зависящих обстоятельств, книжка вышла только в 1883 году, а к постановке на сцене драма эта до сих пор не разрешена.

При сем добавляю еще, что драма г. Кропивницкого «Доки сонце зійде — роса очі виїсть», поставленная в первый раз в Чернигове не в 1882, а в 1883 году, имеет с моей разве то единственное сходство, что и там паныч влюбляется в простую девушку; все же характеры действующих лиц, драматические коллизии и развитие самой интриги — совершенно иные.

Надеюсь, что редакция даст место моему письму на страницах «Зари» и тем даст мне возможность снять с себя подозрение в какой-то фальсификации, брошенное в меня чересчур неосторожно, чтоб не сказать легкомысленно, г. Петровым.

Примите уверение и проч.

М. Старицкий

1885

32. ДО П. П. СОКАЛЬСЬКОГО

10 сентября, Киев [22 вересня 1885 р.]

Многоуважаемый
Петр Петрович!

Только что приехал в Киев, вызванный ужасной телеграммой, что жена моя при смерти. Застал ее действительно в отчаянном положении: расстроенная, вследствие 2-летней болезни, нервная система получила внезапно страшный удар и подвинула болезнь роковым образом! И все наделало Резникова письмо, как передавали мне, исполненное угроз... К чему же такая бесцельная жесто-

кость? Ведь у него самого есть дети, и им тяжело без матери... впрочем, да простит ему бог!

Я писал Резникову и Вам, что единственная возможность погасить ему прошлый долг — это рассрочка мне платежей по 200 р. в месяц: такую сумму при настоящих моих долгах я уплачивать могу аккуратно. Следовательно, я бы погасил за зиму 1200 р.; да уплачено имуществом уже 1000 р., да за наем театра предвидится барыша 3000 р.— положим 2000, что на мою долю составит 1000 р., итого к концу зимы погасили бы весь долг. Но Павел Дмитр[иевич], говорят, взваливает еще и новые текущие расходы, а приходы будто бы хочет удержать... Я вполне убежден, что позднейшие известия, доходившие ко мне и к Вам из Одессы, безобразные инсинуации, чудовищные по злому замыслу: доносят, будто Пав[ел] Дмитр[иевич], получив мою доверенность, сдал театр, но из полученного задатка внес за себя только плату Вахту, а за меня просрочил, чтоб сделать меня нарушителем контракта!! Из писем, кроме сего, парикм[ахера] Гловацкого и актера Манька видно, что Пав[ел] Дмитр[иевич], отсылая их к мировому, будто бы утверждает, что следуемую с него половину жалованья он передал мне для уплаты им, и признает это уже как поверенный мой (!!)... Я положительно этому не хочу и не могу верить!

Разведайте Вы, добрейший Петр Петрович, это, не давая никакого подозрения, что я мог усумниться в благородстве Резникова. Но все эти пертурбации Мариинского театра на меня все-таки наводят ужас.

Простите, дорогой глубокоуважаемый Петр Петрович, что я своими печалями утруждаю Вас и злоупотребляю Вашею снисходительною добротою: я потому и не писал Вам, не получая ответа на мое последнее письмо, второй раз, что боялся быть слишком назойливым.

Да, вот еще что: я узнал, что жена моя выслала свои последние 400 р. Вам для передачи г. Резникову; между тем со мной съехался по дороге г. Пташников, мой хороший знакомый, бывший неделю в Одессе и видевший Резникова; он передает, что доподлинно уверен и знает, что Павел Дмитриевич продал бы теперь вексель моей жены за ничтожную цену — за 30 к., 20 к.— за рубль. Если он совместно с векселями не будет погашать моего долга по книгах, то тогда их не стоит покупать и за

10 коп., так как они составляют двойное обеспечение — и долг мой по книгах остается этот же; но, если бы г. Резников согласился заквитовать их и по книгах, то тогда приобретение их было бы выгодно за малую цену. Хотя у меня заработанных запасов сразу таких нет, но я бы попробовал призанять: хоть и процент заплатить большой,— то выгодно.

Не получая ни от Вас, ни от Резникова ответа на мое предложение способа удовлетворения ему долга, я выслал 250 р. Минцу для передачи через Вас Резникову; если они Вами получены и не отданы, то этими 650 рубл. можно что-нибудь сделать.

Завтра же я экстренно в 10 ч. вечера уезжаю в Екатеринодар, и завтра же с этим письмом в 1 час дня будет у Вас Пташников. Сердечнейше Вас прошу переговорить обо всем с Резниковым и уведомить меня срочной телеграммой; это хоть немного может успокоить мою больную жену, которую я беру с собою во избежание какого-либо страшного случая. Да вознаградит Вас бог за Ваше участие к нам!

Остаюсь с глубочайшим уважением преданный и признательный по гроб

Мих. Старицкий

Деньги на телеграмму вручил г. Пташникову.

33. ДО П. П. СОКАЛЬСЬКОГО

[18 жовтня 1885 р.]

Глубокоуважаемый Петр Петрович!

Кажется, судьба не устала еще меня преследовать, а вместе со мною и товарищество, в котором я служу: обеспечив его театрами на зимний сезон (в Ростове с 1 окт[ября] по 20 дек[абря], в Воронеже — с декабря по февраль) и просидев в Екатеринодаре без дела через дожди две недели, я успокоился, перевезши труппу в Ростов; на сегодняшний день, воскресенье, назначен был спектакль, 1-й сбор с которого общество ссужало мне для поездки в Одессу... и вдруг комиссия, осматривавшая театр, воспретила в нем представления! Полетели от хозяина театра телеграммы губернатору, архитектору... но нам от этого не легче: труппа села маком,— без места

даже в ближайшем будущем, так как в это время ведь театры сняты. Вместо Одессы меня посылают в Владикавказ и Тифлис пристроить труппу... Вот Вам новое доказательство, как шатко с моей стороны обязательство платить аккуратно Резникову в месяц: уже бы сейчас он имел с меня бесспорную неустойку 5000 р.!! Подписать мировую, по проекту Пташникова,— значит добровольно подставить Резникову голову, лечь беззащитно на плаху!

Итак, на этот мир я не согласен: лучше война! Посылаю вместо себя Ларина, знающего все дела с Резниковым в подробности; у Ларина находятся и все документы к делу и факты нарушений контракта Резниковым...

Советовались ли Вы с адвокатом? Я полагал бы обратиться к Вахтелю-адвокату, человек, кажется, шустрый и толковый... можно даже устроить и консилиум.

Доверенность полную судебную Вам высылаю с правами передоверия. Если начнется война (так как мир возможен только при моих условиях — без неустойки), то на открытие ее употребите деньги из 400 р., ублажив адвоката взять с меня дешевле, ввиду отчаянного моего положения! Выслать дальше деньги я буду в состоянии только тогда, когда пристрою труппу, а если это не удастся, то, может быть, и труппа разбежится с голоду!..

Обнимаю Вас, дорогой и добрейший Петр Петрович; да хранит Вас и Вашу семью бог от всякого несчастия! Передайте Матвееву от меня сердечный привет. Куда писать ему?

С глубоким уважением и преданностью

вечно признательный Ваш *Мих. Старицкий*

1886

34. ДО О. М. ОСТРОВСЬКОГО

[13 березня 1886 р.]

Милостивый государь
Александр Николаевич!

Так как я, вследствие театральной профессии, не имею постоянного местожительства, то посему покорнейше прошу причитающийся на мою долю авторский го-

норар выслать по следующему адресу для передачи мне: Е. В. Б. Николаю Витальевичу Лысенку, в г. Киев, по Крещатику, в д. Лучинского, кварт. № 11.

Примите уверение в совершенном почтении и преданности покорнейшего слуги.

Мих. Старицкий

1 марта
1886 года

1887

35. ДО РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ «МОСКОВСКИЙ ЛИСТОК»

[7 листопада 1887 р.]

Милостивый государь
господин редактор!

Позвольте в уважаемой вашей газете ответить кратко на многословное письмо М. Л. Кропивницкого, помещенное в № 4183 «Нового времени». Г. Кропивницкий частными письмами — мне и третьим лицам — не раз уже делал нападки на мою труппу, но я не считал себя достойным отвечать на них и обнажать перед публикой закулисные язвы. В последнем опубликованном письме г. Кропивницкий силится оправдать перед публикой мотивы разделения труппы, так и свои, якобы случайные, столкновения с собратьями на поприще конкуренции сил; но тóга, в которую автор письма желает задрапировать свою... невинность, выходит ему не по плечу и постоянно сползает. Я мог бы доказать документально и свои убытки при ведении дел г. Кропивницким, и отделение его в тяжелую минуту из-за коммерческого расчета, и «заведомые» его нападки не один раз на нашу труппу (хотя и неудачные, с целью раздавить ее своим могуществом... Но рука не подымается посвящать читателя в эти печальные подробности, которые лучше бы и не заносились на страницы истории малорусской драмы. Толковать о закулисных дрязгах перед публикой — значит не уважать ее; публике интересно только искусство, и светоч его мы должны

держать высоко. Ни на какие новые извращения г. Кропивницким истины я не отвечу ни слова, предоставляя в крайнем случае дальнейшую судьбу их или суду совести, или — формальному, и закончу это письмо словами одного из героев его же, г. Кропивницкого, драмы «Глытай»: «Годі, Йосипе Степановичу! Не пристало путати чужого чоловіка в наші з вами рахунки».

Примите и проч.

М. Старицкий

36. ДО РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ «НОВОЕ ВРЕМЯ»

[7 листопада 1887 р.]

М. г. Позвольте в уважаемой вашей газете дополнить и исправить некоторые факты, сообщенные г. Кропивницким в № 4183 «Нового времени», как материал для истории малорусской труппы. Пропуская неизвестное для меня прошлое г. Кропивницкого, я замечу только, что разрешение малорусских спектаклей последовало не вследствие телеграммы г. Кропивницкого к г. министру, а еще раньше — вследствие монаршей к нам милости.

В конце 1881 года г. Кропивницкий обратился письмами к Лысенку и ко мне, прося земляков пристроить его труппу в Киеве. Я отправился к г. Иваненку, державшему театр «Бергонье», с этим предложением и уговорил его пригласить к себе труппу Кропивницкого вместо ожидаемых им гастролеров. У г. Иваненка никакой опереточной труппы тогда не было, а была лишь русская драма под режиссерством г. Казанцева. Приехавшая впервые труппа г. Кропивницкого в Киев никакого успеха не имела, за что я получал не раз от г. Иваненка упреки. Познакомился я с г. Кропивницким в первый приезд с труппою в Киев и слышал от него неоднократно жалобы на печальное будущее труппы, вследствие неимения средств поставить дело на широкую ногу, и искренние просьбы принять труппу в свое заведывание для упрочения дела: нужно-де монтировать ее новыми сюжетами, хором, костюмами, декорациями — и тогда поплывем на всех парусах; но я решительно отклонил от себя

сию чашу, зная по опыту, что за кулисами скрещивается 25 000 самолюбий, более раздражительных, чем авторские. Еще в начале семидесятых годов я заведовал драматическим кружком любителей сценического искусства и ставил между русскими пьесами и малорусские, в том числе и «Черноморцы», оперетту г. Лысенка и его же оперу «Різдвяна ніч», а потом участвовал в администрации Киевского драматического общества; содействие нашим артистическим стремлениям оказывала в то время покойная М. Ф. Линдфорс, высокой нравственной цены личность. Вместе с этим я тогда занимался и издательской деятельностью * и переводами на малорусский язык сербских народных дум, равно и классиков, как русских, так и иностранных (Лермонтова, Пушкина, Некрасова, Шекспира),— последние, собственно говоря, больше для Галиции. Если мои переводы и были бледными копиями великих оригиналов, то все-таки имею дерзость думать, что они были совершеннее галицийских и родственнее к общерусскому корню... Впрочем — это дело критики.

По отъезде труппы г. Кропивницкий не раз обращался письмами к киевским землякам о понуждении меня, как человека все-таки небезызвестного между малороссами, стать во главе труппы. Я совершенно верю теперешним словам г. Кропивницкого, что для него безразлично было, кто бы ни наклюнулся, лишь бы имел хоть 3000 р. Но никаких, по крайней мере мне, он альтернатив не ставил. Через год или больше, когда труппа г. Кропивницкого была на краю распадения, меня убедил только Н. К. Садовский, бывший у нас в семье как родной, которому я безусловно верил,— рискнуть на это, и я отправился с ним в Харьков заключить с г. Кропивницким и братиею контракты. Г. Садовский, по указанию г. Кропивницкого и моему полномочию, поехал оттуда снимать для меня театры, а Кропивницкий с остатками труппы (без М. К. Заньковецкой и Садовского) отправился до начала моего сезона в Ростов-на-Дону, где дела его пошли прекрасно. По получении от г. Садовского договоров, выгодно для меня заключенных, с хозяевами

---

* Я приступал, между прочим, в то время к печатанию сборника малор[усского] «Рада» и читал Кропивницкому и Садовскому отрывки из помещенной в нем моей драмы «Не судилось».

театров, я известил немедленно о сем г. Кропивницкого; но к ужасу моему получил от него письмо, в котором он просит меня возвратить ему и его труппе контракты, так как ему теперь хорошо... Что же касается договоров на театры, то обязательств он на себя принять не может: это был первый блин комом. Видя невозможность отделаться от меня в силу целой сети возрастающих моих обязательств, г. Кропивницкий подчинился, наконец, исполнению своего контракта со мною; много нового горя пришлось переживать мне, и только сердечные отношения Н. К. Садовского да советы его ободряли меня несколько в этой борьбе личных страстей. К концу сезона, впрочем, и г. Кропивницкий, видимо, примирился с своим положением и начал оказывать мне дружеское расположение. В первый же сезон я увеличил труппу: пригласил на первые сюжеты г-ж Яблочкину, Затыркевич, Боярскую, Злорадову, Онегину и гг. Саксаганского, Карого, Журина и др., завел постоянный хор и, несмотря на удвоившийся бюджет, закончил сезон с прибылью 4500 р. После первого сезона я, по личной инициативе, отправился в Петербург и Москву хлопотать о допущении моей труппы в столицы; но ходатайства мои не увенчались успехом. В продолжение последующих, печальных для моего кармана, сезонов я пытался еще, но безуспешно, проникнуть в столицы; г-н же Кропивницкий в этом никакого участия не принимал, и самое разрешение последовало вследствие созревшего убеждения, что наша труппа преследует лишь цель служения общерусскому искусству.

Увлеченный с одной стороны успехом предприятия, с другой — понуждениями г. Кропивницкого, я расширил дело до грандиозных размеров: сформировал в полном составе русскую труппу (у меня играли и такие силы, как г-жа Глама-Мещерская и гг. Писарев и Бурлак), увеличил малорусский персонал (Светлова-Стояна, например, уже я пригласил в Москве), удвоил хор (он в последний сезон достиг цифры до 60 человек), пригласил хормейстера, капельмейстера, завел собственный оркестр, да, кроме того, прежде служившим у меня увеличил жалованье некоторым на 30%, а некоторым — вдвое... Одним словом, бюджет по труппе из скромной первоначальной цифры 3500 руб. возрос в конце концов до 18 000 р. (с вечерними расходами)! Кроме сего, я затратил большие суммы на новые костюмы и декорации,

работавшиеся у лучших на юге художников. С этакой труппой и обстановкой мы действительно начали делать блестящие дела, в смысле славы и восторгов публики; но даже полные сборы небольших провинциальных театров далеко не могли окупить затрат, а убийственные переезды махинища в 130 человек, с багажом казенным пудов в 300,— разоряли окончательно; долго же нельзя было оставаться в одном месте по бедности малорусского репертуара. Г. Кропивницкий в письме своем сам себе противоречит: в одном месте он не доверяет моим убыткам (хотя их могут доказать книгами), в другом же — говорит, что «провинция не может содержать такой труппы, какая образовалась бы после соединения обеих трупп». Да ведь моя в последний сезон была гораздо большей. Кроме этих обеих половин (за небольшим исключением добавочных третьих сил), еще русская труппа и 30 человек оркестра!

Единственный только гор. Одесса мог выносить мой тогдашний бюджет; посему, заручившись советом и словом г. Кропивницкого служить у меня и в следующем сезоне, я вошел в товарищество с г. Резниковым по Мариинскому театру, обязавшись перед последним держать пополам русскую труппу, а на зиму доставить малороссов. Но г. Кропивницкий при предложении моем подписать новый контракт поставил неожиданно новый ультиматум — чтоб Заньковецкой и Садовского не было в труппе; несмотря на возражения мои, что без М. К. Заньковецкой, без этой звезды, в то время была немыслима труппа, г. Кропивницкий заявил, что это условие sine qua non. Что мне было делать? Терять такую силу, как г. Кропивницкий (тогда и дублера на его роли не было),— значило сильно ослабить труппу, терять г-жу Заньковецкую — еще того более; вышло по малорусской пословице «і туди гаряче, і сюди боляче», а между тем я сам влез в крупные обязательства. Я решился пока не заключать ни с кем из артистов контрактов впредь до улажения дела с г. Кропивницким... Но этого только было и нужно: едва я собрался приехать в Елисаветград (где жили главные силы), г. Кропивницкий составил уже сосьете, в которое вошли и г-жа Заньковецкая и г. Садовский. Далее, несмотря на просьбы мои отыграть товариществом часть зимы в Мариинском театре и оправдать меня перед г. Резниковым, несмотря на письмо ко

мне г. Кропивницкого, в котором он оскорбляется даже предположением моим, чтобы он мог, во вред товарищу, играть в другом театре в Одессе, г. Кропивницкий именно стал играть в другом, Максимовском театре.

Я собрал тогда не вошедшие в товарищество г. Кропивницкого силы, добавил новые и начал работать с ними в Крыму. Вскоре бывшие у г. Кропивницкого в загоне таланты проявили при свободном развитии могучую силу, и небольшая труппа начала быстро расти, крепнуть в ансамбле и завоевывать к себе внимание публики; появились на столбцах газет, в восторженных рецензиях, имена Вериной, Боярской, Манька, Грицая, Косиненко... посыпались им венки. Сам г. Кропивницкий в дружеском письме ко мне радуется этому успеху, обещает всякую помощь и просит сообщить, какие театры я на зиму снял, чтобы по несчастию не столкнуться в одном городе; я чистосердечно благодарю его за участие и сообщаю, что с 1 октября 1885 года я снял Гайрабетовский театр в Ростове *, а с 1 января в Воронеже. Приезжаю я с труппою 3 октября в Ростов и... застаю в другом театре г. Кропивницкого! С болью в сердце я уступил поле г. Кропивницкому, не пожелал вовсе с ним конкурировать и немедленно отправился с труппой в Воронеж, переплатив там за неурочное время 2000 р. лишних...

В прошлую зиму я заключил контракт с г. Парадизом 1 декабря, а г. Кропивницкий заключил контракт с г-жою Щербиною на Москву в 20-х числах декабря на цифру 450 руб. от спектакля; но к праздникам в Петербурге так у него возросли сборы, что товариществу приходилось от спектакля по 750 и 800 руб. Г. Кропивницкий в Москву не поехал. Узнавши в августе, что г. Кропивницкий вознамерился-таки состязаться со мною в Москве, я хотел и теперь избежать этого ненужного ратоборства, но г-жа Линская-Неметти не имела раньше театра, а г. Родон не мог отпустить... Столкновение произошло, и хотя сердечная Москва выразила полное сочувствие моей труппе, но в общем — для дела получились грустные результаты.

М. Старицкий

---

* В Ростове-на-Дону было тогда два театра — Гайрабетовский и Асмоловский.

1888

37. ДО РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ «НОВОЕ ВРЕМЯ»

[29 лютого 1888 р.]

Г. редактор! В интересах устранения недоразумений, позвольте в уважаемой вашей газете поместить эти несколько строк. Существует две редакции музыкальной комедии (комической оперы) «Різдвяна ніч»: первоначальная с разговорами, народными сценами и отдельными номерами, ансамблями и финалами (в каковой редакции эта комическая опера нашей труппой и ставится), и позднейшая — сплошное пение без всяких разговоров. Хотя в обеих этих композициях г. Лысенка много сходной музыки, но тем не менее смешивать их не следует. В обоих текстах сцена Пацюка у меня сделана без всяких чертей, а музыка г. Лысенка к ней носит серьезный оперный характер и требует для исполнения ее солидного оперного певца. Так у нас она всегда и ставилась; но, к великому горю, за несколько дней до постановки «Різдвяної ночі» в Петербурге, певец Пацюк неожиданно и тяжко заболел. Снять оперу с репертуара или выбросить акт Пацюка было невозможно, а потому и написана была капельмейстером для другого русского текста и сборная музыка; «г. Лысенку же ни единого звука из этого чертовского акта не принадлежит».

38. ДО РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ «НОВОСТИ И БИРЖЕВАЯ ГАЗЕТА»

[29 лютого 1888 р.]

Письмо в редакцию

М. г. В интересах восстановления истины, позвольте в уважаемой вашей газете поместить эти несколько строк. Существует комедия «Різдвяна ніч», иллюстрированная музыкальными номерами г. Лысенка, и на тот же сюжет написанная г. Лысенком позже серьезная опера. Смешивать эти два музыкальные произведения невозможно, хотя и первое носит название музыкальной комедии — оперы. На сцене Малого театра ставилась эта опера

в первой редакции, с разговорами и народными сценами, а для исполнения оперы во второй редакции потребовался бы весь специально оперный персонал — до Шпортунихи и Ткачихи включительно. Как в первой редакции, так и во второй сцена Пацюка у меня сделана без всяких чертей, да и самому Пацюку дан несколько другой, против Гоголя, характер. Пацюк «Різдвяной ночі» — старый запорожец, толкующий о своей Сичи и негодующий на молодое поколение, обабевшее, по его мнению, в приволье сельской жизни; он гонит Вакулу с глаз, и когда последний с отчаяния хочет топиться, то, уже из сострадания к могущей погибнуть христианской душе, «старый запорожец» останавливает его, дает под видом какого-то зелья одуряющего спирту и опьяневшему уже Вакуле подсовывает черевики. Живая картина изображает сонное видение Вакулы, которое последний принимает потом за действительность. Музыка для этого акта написана Лысенком чрезвычайно образно и красиво. У нас эта картина всегда исполнялась по лысенковскому клавиру; но здесь случилось неожиданное несчастье: оперный певец, исполняющий серьезную музыкальную партию Пацюка, заболел, а опера стояла на репертуаре: ни снять ее, ни выбросить акта — было неудобно, а потому в три дня была набросана капельмейстером музыка для чертовского балета у нового, по русскому тексту, Пацюка, и поставлена á la hâte. Г рецензент «Нового времени» угадал совершенно верно, что в этом акте ни один звук перу г. Лысенка не принадлежит; меня только удивляет, как не заметил он сцены Оксаны с зеркалом?

Примите и пр.

М. Старицкий

1889

39. ДО М. К. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ

Казань, 27 мая [8 червня 1889 р.]

Дорога наша українська зірочка
Мар'я Константиновна!

Чи Ви одібрали од мене ту телеграму, що я Вам з Москви посилав з одповіддю? Мені станція одмовила,

що Вас буцім дома нема. Ну, думав я, може, в Києві, але ж мусили б до свого куреня вернутись,— проте ні чуточки! А телеграфував я Вам, просячи приїхать до мене у Москву на гастролі; разом я телеграфував і Садовському, і Карому — за «Наймичку» і др. (для Вас же) — і жодної відповіді не одібрав; оце тільки на тім тижні написав мені Карий, що не дозволя!!! Така-то виходить спілка і таке щире завітання мене до свого гурту. Що це за знак, що Ви мені нічого не одписали? Чи Вам не донесли телеграми, чи Ви справді на своїм хуторі не живете? Пишу оце знов до Вас на станц[ію] Бобрик; не знаю, чи дійде, а як дійде, то низесенько прошу одповідь мені дати.

Як же ви поживаєте, голубонько наша сиза, славонько наша гучна та прозора? Там у Вашому курені тепер, певно, рай: садок розвився чудово, пахощі, повітря... Та й курінь Ваш — розкоші! От би спочити у Вас — і душею, і думкою,— там і писалось би... та ба! Ми оце вже рушаємо з Казані; нам тут не дуже попайдило: приймають нас розкішно, але стоять такі тут холода, і дощі, і сніги... що в кожусі я ходжу... Хто ж у літній театр при такій негоді піде?

Ми спочатку грали у зимнім — і повні збори; далі наступила жара (32—35°) — немогота було у душнім театрі сидіти; я зробив контракта з літнім, взяли два збори, а далі холод (до 0) і по сей день... Так ми тепер посунемось у теплі краї — до Самари, Царицина, Астрахані, Баку...

Як же Ваше дороге всім нам здоров'ячко? Соня мені оце писала, що Ви розстроєні приїздили в Київ і турбувались все з поліцією. Невже вона Вас чіпа? Може б, Плеваку написав, коли б знав, у чім річ? Чи то містні суціги утисняють Вас? Господи, я, як прочув, що Ви самі, бідненькі, поневіряєтесь там, то аж заплакав з Санею. Нічого докладно мені не пишуть...

Напишіть, серденько, Ви про себе, а главне, про Ваше здоров'я; адресуйте просто в Самару, бо ми там пробудемо до іюля. Мені буде така радість од Вас хоч стрічечку одну одібрати.

Ховай же Вас боже своєю ласкою і щасти у всьому.

Цілую міцно обидві Ваші рученьки.

Щирий і люблячий довіку

М. Старицький

40. ДО М. К. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ

Тифлис, Большая Водовозная, дом № 24 [20 листопада 1889 р.]

Многоуважаемая и дорогая
Марья Константиновна!

Из письма, полученного в Баку Саней, я узнал во-1-х, что благодаря богу Вы выздоровели и снова приводите в трепетный восторг и южан, и северян, и, во-2-х, что Вы моего письма не получили: первое меня искренне (полагаю — верите) обрадовало, а второе сильно огорчило. В письмо к Соне в Киев я вложил к Вам письмо, надеясь, что она, зная Ваш адрес, передаст его немедленно; но или Вас не было уже в Киеве, или она забыла,— а, очевидно, письмо Вам доставлено не было.

А в нем, между прочим, я писал про вопросы щемящие, затронутые Миколою и по сей час не разрешенные; не получая от Ив[ана] Карп[овича] на мои письма ответа, я знал, что Ваше искреннее и неподкупно правдивое сердце даст ответ. Не странно ли это? Никол[ай] Карп[ович] и Иван Карп[ович] подняли великой важности вопрос о воссоединении братства для прочного удержания шатающегося уже по торжищах нашего знамени; я с восторгом разделил эту идею и сейчас же приступил к практическому уяснению ее, но вышло небольшое на первых порах разногласие,— Никол[ай] Карп[ович] полагал, что нужно присоединиться лишь мне, Вериной да Грицаю, а я думал, что у нас есть очень полезные и даже талантливые 2-е силы, которые усилили бы ансамбль. По этому поводу я писал и Никол[аю] Карп[овичу], и Иван[у] Карп[овичу], но ответа на сии вопросы не получил...

А, между прочим, вышло что-то неожиданное между товарищами: Верина и Грицай получают приглашение оставить нашу труппу, нарушить контракты и присоединиться до Вашего коша!!! Я хорошо понимал, что до окончания сезона дела должны быть status quo, потому что во имя чего бы ни было нельзя нарушить ни юридически, ни нравственно интересов 70 чел[овек], особенно ни в чем не повинной и бедной низшей братии; но хотелось воспользоваться этим временем для переговоров и соглашений, чтобы стоять уже на твердой почве и знать, как ориентироваться в будущем. Я, впрочем, задавшись

мыслию воссоединения, присматривался много в последнее время к своим и нашел, что многие совершенно непригодны для общежития: началось бы возмущение бессильной зависти, и кичащаяся бездарность подняла бы подпольную злобу... Некоторые силы для Вас лишни, а некоторые (напр. Кохановская, Волкова, Пономаренко) — убежден, что были бы полезны, хотя я ваших вторых сил и не знаю. Меня возмутил особенно у нас тот антагонизм, который я встретил по поводу предложенных мною Ваших гастролей; несмотря на поддержку Васи, я встретил со стороны Касиненки, купно с Боярск[ой] и проч[ими], такой отпор с пеною, что побороть его ни логикой, ни чем не смог...

Положим, что мы забрались так далеко, что Вы бы ни за что не согласились ехать за 4000 в[ерст], но тем не менее это трусливое упорство и нравственное насилие возмутительны!

В том письме я еще писал Вам и за «Юрка Довбиша»: что, несмотря на нетоварищеский отказ со стороны Ив[ана] Карп[овича] позволить мне лично поставить хоть одну его пьесу, я с своей стороны даю «Довбиша», и если им угодно его ставить, то пусть вышлют деньги на переписку пьесы и — главное — нот. Узнав от Сани, что Ник[олай] Карпович и теперь желает ставить мою пьесу (не знаю, почему только он не обратился прямо ко мне?), я вновь Вам пишу, что предлагаю ее с удовольствием и предвкушаю наслаждение видеть в ней исполнителями — Вас, Садовского, Саксаганского, Карого! Я предлагаю Товариществу только следующий запрос: так как по правам нашего Драматического общества авторы в первый год разрешения пьесы пользуются льготными правами, то не найдете ли и Вы правомерным предложить мне на первый этот сезон какое-либо вознаграждение, принимая во внимание, что казенных авторских с Ваших мест я могу получить лишь (по 1 р. в Обществе) по 60 коп. с акта!! Попросите, голубочка, Мыколу, чтобы он хотя по этому поводу ответил скорее и поставил бы «Довбиша» в свой бенефис; на некоторые роли я прошу обязательно назначить исполнителей по моему желанию, напр. Юрка — Садовскому...

Хотелось бы и мне очень отдаться лишь серьезной сценической работе,— разумеется, литературной, и я вполне убежден, что она, при взаимных беседах и сове-

тах с Ив[аном] Карп[овичем], пошла бы для обоих плодотворнее; а особенно этому способствовало бы и спокойное расположение духа; ах, дорогая Марья Константиновна, если бы Вы знали, как мне надоела и извела меня эта сценическая пошлость и грязь!!

Вас-то я прошу, зіронька наша, написать мне поскорее, не дожидаясь ответа товарищей, и совершенно откровенно, желают ли они иметь меня в своих рядах или это только пустой разговор? Наступает будущий год, и мне заблаговременно и твердо нужно знать, на что решиться: Вам ведь известно, что, ухлопавши все состояние на малорусскую сцену, семья моя нищенски живет лишь на мой личный труд, а потому рисковать им безбожно!

Целую крепко дорогие Ваши ручки и желаю, чтобы милосердный бог укрепил Ваши силы и продлил надолго жизнь для общей нашей славы!

Обнимаю крепко Ник[олая] Карп[овича], Саксаганского, Карого, Мову и всем, кто меня помнит, сердечный привет.

Остаюсь искренне и глубоко преданным Вам

М. Старицкий

8 ноября 1889 г.

P. S. Еще предлагаю лично для Вас роль А з ы в пьесе того же названия; коли одобрите, то я и посвящу Вам.

1890

41. ДО РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ «ЮЖНЫЙ КРАЙ»

[5 червня 1890 р.]

Письмо к редактору

М. г. редактор! В № 3224 уважаемой Вашей газеты напечатано письмо г. Александрова, уличающее меня в подписании моей фамилии якобы под его пьесой. Так как факты г. Александровым искажены, а о других умолчано, и так как моя пьеса «Ой не ходи, Грицю, та на вечорниці» не напечатана, вследствие чего публика проверить

их не может, то посему я прошу г. Александрова разобраться со мной путем третейского суда, суда совести, от которого, полагаю, ни один честный человек отказаться не может: пусть этот суд решит, кто и откуда заимствовал тему, в пределах обычных, или нет, кто из нас должен быть подписан под моей пьесой и кому из нас надлежит краснеть?

Примите уверения и проч.

М. Старицкий

P. S. Ввиду того, что я пробуду в Харькове только неделю, я бы покорно просил г. Александрова поторопиться выбором судей.

1891

42. ДО М. К. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ

Харьков
Театр Ушинского

[Січень 1891 р.]

Многоуважаемая и дорогая
Марья Константиновна!

Пишу к Вам, а вместе с тем и к Мыколе,— а в чем мое писание состоит, тому следуют пункты:

1) С прискорбием душевным усматривается в последнее время губительное стремление малорусских трупп к распадениям, расколам и глупейшему дроблению на позорные ничтожества, причем искусство нисходит до балагана, а значение нашей сцены с каждым днем опошляется и теряет заслуженный истинными талантами авторитет.

2) Такими малорусскими труппками в последнее время начинают заправлять жидки, чуть ли не шинкари, пронюхавшие новый для себя гешефт из «дурних хахлів», а последние, аки бараны, возмечтавшие о несокрушимости своей славы, охотно идут в новый шиночок.

3) Причиною этому послужила, по моему крайнему мнению, кроме близорукости и дикости взглядов, кроме психиатрического самомнения, еще и легкость пользования материалами для своего существования, так,

напр[имер]: переписал и покрал из нашей библиотеки Нагор[ный] ноты и пьесы — и сейчас же задумал труппу, с которой и просуществовал 2 месяца, а скандалу и пошлости внес на 3 года; захватил ноты и рукописи Дворн[иченко] — новая труппа (опять распавшаяся); Бурлака таким же путем составляет труппу; Потапенко — тоже; Васильев Кропивницкого — тоже и т. д., и т. д. ...Все эти труппки составляются, скоротечно гибнут и портят своим гниением атмосферу... так как они не составляют здоровых отпрысков естественного развития организма, а суть продукты разложения и распадения трупа.

4) Того ради решил я твердо и непреложно, купно с Лысенком, выйти с февраля месяца из Общества драматических писателей и воспретить всем играть мои пьесы, начиная от «Черноморцев» вплоть до «Тараса Б[ульбы]» и «Богдана Хмельницкого» без исключений, предоставив, по особому договору, исключительное право пользоваться ими только одной солидной труппе.

5) В настоящее время предлагают и наши мне новое товарищество на безответственных материально для меня основаниях, с гарантированным приобретением прав на постановку моих пьес; но мне надоела с ними возня, на которую тратится совершенно даром много времени непроизводительно и пошло. Я два месяца только побыл в отпуску в Киеве и написал за это время три солидных пьесы, в которых для Вас совершенно новые и сильные роли... Насколько же плодотворнее была бы моя работа, если бы я поставлен был в лучшие условия?

6) На основе всего вышесказанного, я обращаюсь прежде всего к Вам, дорогая Марья Константиновна, купно с Николаем Карповичем,— не пожелаете ли Вы принять меня вместе с Васей, Саней, Марусей и Людой до свого гурту, чтобы и фирма была позвончее — «Воссоединенной труппой артистов Садовского и Старицкого», а вместе с тем приобресть и исключительное право на постановку моих пьес. N. B.: Я получаю из Общества драм[атических] писат[елей] авторского гонорара в год от 1280—1500 р., а Лысенко до 500 р. Итак, Вы должны будете ежегодно нас гарантировать в этой сумме — и только. По справке наша труппа и теперь за мои пьесы платит в Общество 1320 р., а если Вы будете все пьесы играть—то, следоват[ельно], удовлетворение нас не

представит даже нового расхода, а исключительное пользование увеличит доход несомненно. Теперь, если Вы пожелаете со мной соединиться, то что Вы предложите мне как союзнику? Я теперь даже и актер (драм[атические] и характ[ерные] старики), и отзывы прессы для меня очень лестны, а Маруся моя положительно выработалась; Люда же только желает пробовать... Но мне хотелось бы побольше писать и писать, создавать новые сюжеты, расширить рамки драматического развития характеров и воссоздать, во главе с Вами, новую сильную труппу с солидным репертуаром.

Так вот убедительно Вас прошу, наша дива, ответить мне немедленно на сие послание, ибо время летит и о будущем думать подобает. У меня к тому же и театры припасены на лето и зиму: начнем в Вильно, Минске и т. д. Мечты золотые, условия прелестные!

Теперь еще особая просьба к Вам: не пожелаете ли Вы доставить нам и честь, и огромное удовольствие приехать в Харьков и прогастролировать? Если да, то сообщите, что Вы пожелаете? Лучше делать на известную часть сбора. И на этот вопрос ответьте немедленно.

Буде же мое главное предложение Вам по сердцу, то не найдете ли Вы более удобным сообщить мне о согласии письмом, выписать меня в Москву для окончательных переговоров и подписаний,—тут медлить нельзя,—и для сего перевесть мне на поездку 100 р., ибо у меня своих — сухо.

Целую крепко Ваши ручки; Мыколу обнимаю. Саня, Вася, Маруся обоих вас обнимают.

Вечно любящий, уважающий и ценящий Вас

М. Старицкий

43. ДО М. К. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ

Февраля 4 дня 1891 г. [16 лютого 1891 р.]

Многоуважаемая, дорогая
Марья Константиновна!

Сейчас же отвечаю на Ваше письмо и убедительно прошу немедленно ответить, так как в серьезных делах время очень много сто́ит; сезон кончается, нужно спешить — или присоединиться к кому-либо, или создать отдельное сосьете; Ваше молчание заставило

меня уже войти с некоторыми в переговоры. Итак: 1) Ваше согласие быть с нами на будущий год — один восторг; присовокуплю, что Боярской и Манька при Вас не будет, следовательно — препятствие устранено; 2) желательно бы было слиться и с Мыколою Садовским, чтобы вышло уже нечто крупное и чтобы даже пресса подняла в честь нашу гимн; 3) я во всяком случае из членов Др[аматического] общ[ества] выхожу и хочу представить монополию моих пьес только тому товариществу, где буду и я состоять; 4) из наших желают присоединиться со мною к Вам Верина, Грицай и моя Маруся; из остальных, если пожелает Мыкола кого выбрать (есть, напр[имер], превосходный декоратор и хороший танцор); 5) у меня сняты на лето прекрасные города и на выгодных условиях; 6) у меня есть две пьесы, только что разрешенные цензурой, в которых для Вас роли совершенно новые и, смею заверить, прелестные,— их бы можно было и в Москве поставить.

Кажется, что я предлагаю для Вас хорошее и громкое дело; станьте ж Вы, дорогая Марья Константиновна, как первый талант, и первым человеком, с светочем правды в руках и с миртовой ветвью соединения друзей для поднятия падающего искусства и интереса.

Я пишу и Николаю Карповичу. Понудьте и его ответить мне скорее: я далее текущей недели ждать не могу.

Целую крепко Ваши ручки и остаюсь глубоко чтущий Вас и преданный

М. Старицкий

44. ДО М. К. САДОВСЬКОГО

[Лютий 1891 р.]

Дорогой Николай Карпович!

Я писал уже вам и Марии Константиновне; теперь вторично отослал ей, пишу и Вам. Крайне обяжете, если ответите мне немедленно: ведь я предлагал Вам серьезное дело и смею ждать от Вас серьезного к нему отношения. Время не терпит: если я с Вами не сойдусь в течение не-

дели, то должен буду против воли сходиться с другим сосьете.

А я всей душой желаю слиться с Вами. Итак: 1) я из авторских ухожу и предоставлю монополию на мои пьесы, все без исключения, только тому товариществу, где буду сам; само собой разумеется, что театр мне пополнит мой авторский гонорар, что в бюджет ему не составит никакой разницы; 2) со мной желает перейти к Вам: Верина, Грицай и Маруся моя; остальные по желанию, кроме Боярской и Манько; 3) у меня уже сняты на лето города: Вильно, Минск (Бобруйск), Ковно или Смоленск на хороших условиях.

Театры, оркестр, все вечеровые и авторские — Картавова, а нам числится за труппу 2/3 валов[ого] сбора. В Вильно начать с пасхи и кончить к 8 маю, т. е. до Саксаганского. 4) У меня есть разреш[енные] цензурою две прелест[ные] пьесы, которые можно бы поставить и в Москве; 5) если у Вас остается Ваше товарищество целиком, то присоедините нас, а если Вы пожелаете у себя сделать перебор, то и у нас найдутся добавочные силы.

Итак, если Вы желаете иметь меня в своих рядах, то к Вам дружески протягиваю руки; создадим опять колоссальную труппу с большим монопольным репертуаром и заставим громко нам рукоплескать. Обо всем этом согласоваться и покончить нужно скорее, для чего мне бы нужно было приехать в Москву,— но денег у меня нет, а по сему убедительно Вас прошу по прочтении сего письма немедленно дать мне телеграмму *, принимаете или нет мое предложение, согласны или нет, и, в случае согласия, перевести мне 100 р. для приезда и окончания.

Прошу только сразу ответить, и ответить «категорически», без всяких ухищрений, ибо, надеюсь, за мое доброе желание соединиться с Вами Вы не отплатите мне злом, т. е. промедлением и проведением; мне же также нужно о хлебе насущном думать.

Обнимаю Вас щиро. Весь Ваш

Мих. Старицкий

---

* Телеграмму адресуйте: Марии Старицкой,— а то Маньки перехватят; а депеша необходима до получения письма, чтобы я в среду уже знал, как поступать: начались переговоры, и долго тянуть людей нельзя.

45. ДО І. М. КОНДРАТЬЄВА

Февраля 17 дня 1891 г. [1 березня 1891 р.]

Глубокоуважаемый
Иван Максимович!

Судя по тому, что Товар[ищество] Садовского играет в Москве, а Товар[ищество] Саксаганского в Одессе, да и мы в Харькове, не считая Кропивницкого в Ростове,— т. е. в городах, где взымается от акта солидная цифра,— смею надеяться, что, быть может, уже скопилась мне «малая толика из доброхотных даяний», а посему всенижайше прошу:

а) переведите, будьте добры, моей семье в Киев (адрес Вам известен) сто рублей;

б) переведите и мне в г. Харьков, в театр Ушинского, по Екатеринославской улице, таковую же сумму, т. е. сто рублей.

Кроме Полтавы, в одном Харькове прошло вот теперь моих пьес сверх 200 р., не считая других городов, оттого-то я убедительно и прошу Вас, душевноуважаемый Иван Максимович, окажите мне обычную Вашу любезность.

Обращаю Ваше внимание еще на следующее обстоятельство: г. Кропивницкий ставит мои пьесы, но афиши, не знаю, по какому праву, выпускает с другими заголовками. У меня цензурованные экземпляры озаглавлены так: «Ой не ходи, Грицю, та на вечорниці», сочин. М. П. Старицкого, «Чорноморці» (по Кухаренку), соч. М. П. Старицкого; «Не так склалося, як жадалося», сочинен. М. П. Старицкого; у Кропивницкого на афишах: «Ой не ходи, Грицю, на вечорниці», перед[елка] М. С.; «Чорноморці», перед. М., «Не так склалося, як жадалося», перед. С.

Что сей сон означает? Или желание уклониться от авторских (что убедительно и прошу разведать), или дешевое остроумие с прямым нарушением цензурного устава?

Примите уверение в совершенной преданности и глубоком уважении, с которыми имею честь быть Вашего превосходительства покорным слугою.

М. Старицкий

46. ДО І. М. КОНДРАТЬЄВА

Марта 26 дня 1891 г. [7 квітня 1891 р.]

Глубокоуважаемый
Иван Максимович!

Приношу Вам сердечную благодарность за Ваше доброе внимание ко мне и исполнение моих просьб: благодаря Вам семья моя вовремя получила просимые мною суммы. Таковую же благодарность я свидетельствую и почтеннейшему нашему председателю, разрешавшему мне авансы до 500 р.

Из присланной мне ведомости видно, что мне февраль не вошел в счет, а посему я могу надеяться еще на подлежащие мне некие суммы, на основании этой надежды я позволяю себе почтительнейше просить Вас вновь выслать или лучше перевести телеграммой мне в Киев сто рублей. Адрес мой Вам известен: Киев, Подвальная, дом Тыжера. Если бы даже счета не были окончательно сведены и деньги от агентов сполна не получены, то я во всяком случае позволяю себе рассчитывать на Вашу обычную любезность и доброе внимание, что Вы выхлопочете и перешлете мне хотя бы «авансом» просимые мною 100 р.

Считаю не лишним сообщить Вам, что Кропивницкий, ставя мои пьесы («Чорноморці», «Не так склалося, як жадалося», «Ой не ходи, Грицю, та на вечорниці», «Як ковбаса та чарка, то минеться й сварка» и др.), не ставит на афишах моей фамилии, а ставит лишь инициалы, то «М. С.», то «М.», то одно «С.»!? Что сей сон означает? Прихоть ли самодура? Или уклонение от авторских?

Примите уверение в совершенном почтении и преданности, с каковыми имею честь быть Вашего превосходительства покорнейшим слугою.

М. Старицкий

47. ДО І. М. КОНДРАТЬЄВА

Апреля 10 дня 1891 г. [22 квітня 1891 р.]

Глубокоуважаемый
Иван Максимович!

Сердечно благодарен Вам за переведенные мне сто рубл. и еще прошу убедительно выслать семье моей

к празднику 50 рубл.— полагаю, что февраль истекший покроет эти 150 р. Сам я уезжаю в Минск, где и начну свои операции; туда прошу выслать и окончательный расчет за истекший 1890/91 год. Может быть, я и сам из Минска приеду на несколько дней в Москву, но во всяком случае доверенность на свои два голоса на Ваше имя при сем прилагаю. Адрес мой в Минске — городской театр.

Я чуть было не сделал проступка, предусмотренного 18 пар[аграфом] нового устава; накануне получения Вашего письма хотел было переуступить права свои на гонорар авторск[ий] жене для ограждения интересов семьи. Теперь обращаюсь к Вам, многоуважаемый Иван Максимович, посоветуйте мне, и немедленно, адресуя письмо уже в Минск (я уже 15 апреля там буду), что мне совершить надлежит, чтобы мой авторский гонорар был защищен от вступщиков и третьих лиц — кредиторов: я хочу этим источником дохода оградить семью от моих рисков.

Могу ли я передать или продать на некоторое время доход из моих пьес, оставляя за собой право действительного члена? Или уже, вместе с продажею дохода, я лишаюсь и прав члена? Состоит ли оперный композитор Ник[олай] Вит[альевич] Лысенко членом нашего Общества (его в списках действ[ительных] членов нет) и можно ли ему продать или переуступить доход? Вообще посоветуйте, как оградить этот доход от арестов?

Сообщаю еще Вам, что мне разрешена драматическою цензурою новая пьеса «Цыганка Аза» в 6 действ[иях], сюжет заимствован (повесть Крашевского «Chata za wsią»). Соблаговолите занести ее в списки.

С глубоким уважением и искреннею преданностию остаюсь Вашего превосходительства покорный слуга

Мих. Старицкий

48. ДО М. К. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ

Июня 8 дня 1891 г. [20 червня 1891 р.]

Глубокоуважаемая, дорогая
Марья Константиновна!

Какая досада, какая обида была мне, что я не увиделся с Вами в Минске! Как это Галяминой (как я после узнал» вздумалось дать такой нелепый адрес? Ведь она почти ежедневно бывала у меня! Ко мне Доленко прибежала в $11^1/_2$ час[ов] ночи и объявила, что Вы на вокзале теперь, а вечером-де искали меня по городу... Несмотря на то, что я болен и лежал все время в постели, я схватился, оделся и полетел с нею на вокзал; осмотрел все залы, перешел вместе с нею трижды весь поезд, присматривался трижды ко всем лежавшим женщинам (одна даже чуть не плюнула в глаза)... и все-таки Вас не нашел, получивши к тому добавочную лихорадку.

Наша труппа сегодня уже в Москве и с завтрашнего дня начинает играть на выставке; туда и я отправляюсь больным...

Напишите мне, дорогая, во всяком случае хотя 2 слова в Москву, Малорусск[ую] труппу Старицкого.

На гастроли ли Вы приехали к Саксаганскому или на службу на целый сезон? В первом и во втором случае можете ли Вы быть хотя на некоторое время свободной и уделить и нашему товариществу хотя малую толику драгоценного Вашего таланта или положительно нет? Если «да», тогда бы можно было вместе с Вами и в столицах быть, и по Волге, и Кавказ объехать... Если «да», то сообщите, будьте любезны, и Ваши условия,— и гастрольные, разовые, и месячные; вполне убежден, что во всяком случае товарищество бы сошлось.

Целую крепко обе Ваши ручки и желаю Вам всех на свете благ, а главное — здоровья. Поклонитесь от меня очень и Саксаганскому, и Карому; я с ними в последнее время толковал, что если Вы приедете на гастроли, то и мы будем просить Вас. Ну, будьте здоровы.

Всему товариществу привет.

Глубоко уважающий Вас и горячо любящий

М. Старицкий

49. ДО М. К. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ

Октября 1. [13 жовтня 1891 р.]

Москва. Старо-Газетный
переулок; дом Денисовой;
номера Калининой

Дорогая и многоуважаемая
Марья Константиновна!

Спасибо горячее Вам, и Мыколе, и товариществу за сердечный отклик; он меня глубоко тронул своей сердечностью: значит, и украинское хоть и убогое поле, а всетаки не пустыня; и на нем, значит, живут отзывчатые сердца... и уже становится не так жаль потраченной на него жизни.

Хотелось бы мне очень поработать и создать для Вас, дорогая Марья Константиновна, много ролей, да таких, чтобы зрителей Вы привели в трепет, чтобы занемела от великого восторга зала и разразилась бы исступленными криками... Чтобы Европа даже раскрыла широко перед великим талантом изумленные очи.

В том-то и беда, что при узких рамках, отведенных нам цензурою и жизнью, при бедности вследствие этого нашего репертуара, даже величайший талант имеет мало материала для самошлифовки, а без этой шлифовки он остается величайшим только алмазом... У меня есть теперь для Вас одна пьеса, где совершенно выводится новый характер на сцену, с более тонкими душ[евными] страданиями и не с обычной душ[евной] борьбой; эта драма совершенно закончена и переписана; я только хотел бы еще раньше прочесть Вам, чтобы воспользоваться замечаниями. Есть разрешенная уже «Цыганка Аза», где тоже роль последней не из ординарных. Теперь я хочу еще Вам написать сильно удалую роль с драматическим окончанием и захватующими местами борьбы; да, кроме того, задумал еще такое положение в одной из пьес, где Вы бы играли две роли: у одной бедной крестьянки родились две девочки-близнята; одна из них взята на воспитание барыней, а другая осталась мужичкой... одна — божеское и доброе создание, а другая — испорченное зло; вот они, выросши, будучи страшно похожи др[уг] на друга, и столкнулись в своих интересах... Произойдет интересная борьба и полная чрезвычайных эффектов конклюзия, где

при поразительных контрастах положений и необычайных параллелей талант может сверкнуть неимоверно ярко...

Приехал бы к Вам и сейчас с великою радостью, но у меня денег нет — не на что ехать, да к тому и болен. Вот две недели совсем пролежал (даже поэтому и Вам не отвечал 5 дней), а когда наш брат, чернорабочий, лежит, то деньги не падают. Сейчас вот несу большую повесть Пастухову из малорусской жизни; если даст вперед деньги, то хорошо, а если нет, то и квартирный вопрос вырастет... Меня вот доктора приговорили к неизбежной погибели, если я не полечусь в водолечебнице по крайней мере хоть месяц, что она меня поставит на ноги, а иначе никакие лекарства не помогут... Да и на них-то денег нет!

А переговорить с Вами необходимо и выяснить все положения, чтобы не было недомолвок и чтобы мое положение было обдуманным и прочным. Полезным быть вам всем я очень желаю и даром не возьму и гроша; но нужно, чтобы и мое положение было устойчивым, хоть прежде всего для продуктивности труда, а следовательно, и большей полезности.

Когда Вы из Курска выезжаете и куда? Я слышал, что в Петербург; если так, то Вы, стало быть, Москвы не минете; а потому при невозможности приехать в Курск, хотя бы на сутки остановитесь в Москве, чтобы обо всем можно было переговорить окончательно: про многое даже неудобно писать.

Если Вас и Мыколу не стеснит моя просьба, то помогите мне теперь деньгами, вышлите или лучше переведите банком сто рубл.; эти деньги я пока прошу заимообразно, а то — можете потом зачесть и за мои работы.

Целую крепко Ваши ручки; обнимаю дорогого Николая Карповича и всему товариству бью сердечно челом.

Да хранит Вас господь, наша єдина і розкішна квітка, на славу і на втіху хрещеному миру.

Весь Ваш *М. Старицкий*

P. S. Жду от Вас, голубочко, ответа.

50. ДО М. К. САДОВСЬКОГО И М. К. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ

Угол Никитской
и Газетного переулка,
дом Селезнева,
номера Шпигель

[Початок листопада 1891 р.]

Дорогие Николай Карпович и бесподобная Марья Константиновна!

Ждал от Вас письма, не указали ли б еще чего относительно «Азы»; но, вероятно, Вам за хлопотами и дыхнуть некогда... Понятно! Так вот, я посылаю Вам «Азу», совершенно законченную и очищенную от всякия скверны, как яичко: полагаю, что Вы, наша дива, этой ролью завоюете весь мир.

Напишите мне, голубчики, хоть кто-нибудь, хоть коротесенько: 1) Как распределяете роли? 2) Как понравилась переделка? 3) Когда вообще думаете ставить? 4) Какие у Вас имеются номера, а какие мне привезти нужно? 5) Как Ваши успехи (газеты трубят) и как долго там рассчитываете быть? 6) Нужно ли думать о Москве или нет?

Здесь в Шелопут[инском] театре дела Лентовского очень плохи; полагаю, что он больше месяца не продержится. Он, впрочем, поговаривает, что с 1 декабря играет в Панаевском театре. Так ли?

Неужели Кропивницкий поднимет и в Питере братоубийственную войну? Как они и что?

Все это крайне интересно.

Когда у вас подучат роли и начнутся репетиции, то я приеду; а к тому времени здесь буду хлопотать за музыку — только сообщите, что у Вас есть, чтобы упростить задачу.

Обнимаю Вас крепко и целую ручки дорогой Марье Константиновне; дай Вам бог всяких успехов, а ей — только здоровья, так как успех уже ею завоеван навеки.

Очень прошу,— переведите мне сто рублей: крайне нужны на жизнь и на поездку.

А от Маруси — моей — ни слуху ни духу! Ходит слух, что труппа разбилась на три части: одна застряла в Остроге, другая — в Каменке, а третья — пробралась

в Екатеринослав... но в которой Маруся — неизвестно. Это меня убивает! Всему товариству мой привет!

Весь Ваш *М. Старицкий.*

51. ДО М. К. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ

Ноября 20
угол Никитской
и Газетного переулка,
дом Селезнева,
номера Шпигель

[2 грудня 1891 р.]

Дорогая, родненькая
Марья Константиновна!

За гроши великое спасибо,— я их сегодня получил, а три дня возился через паспорт. Напишите, голубочка, хоть Вы мне, хоть по слову ответьте на мои вопросы, а то на мои два письма и деловых я никакого ответа не получил.

1) Остаетесь ли Вы в Питере или уезжаете и куда? Я Вам и раньше писал, что здесь, в Москве, можно было выгодно снять театр Шелопутина, где играет Лентовский,— или непосредственно от Шелопутина (так как Лентовский условия нарушил), или и от Лентовского — он мне предлагал... Но что я мог бы по этому вопросу ответить, не имея от Вашего товарищества никакого ответа ни указания на мои запросы?

2) В Воронеже еще свободен театр, и можно будет его снять на праздники до конца сезона; там сделаете прекрасные дела: если наша труппа без молодой актрисы, без певицы, без Манька сделала 500 р. на круг, то Вы, захватив лучшее время, сделаете еще более. Только нужно об этом моментально начать переговоры. А проездом и в Москве или Твери можно дать несколько спектаклей (зимою Тверь прекрасна).

3) Сюда, вырвавшись из обломков моей труппы, приехала Наташа Волкова и сидит, яко благ, яко наг; ибо и ее весь багаж товарищество заложило; не пригодится ли она Вам? Амплуа и достоинства ее Вам известны.

4) Что у Вас есть и что нужно из музыки для «Азы»? Нужно же заказать и соркестровать... так чтобы лишнего не делать?

5) Нужна ли Вам музыка «Сорочинского ярмарка»?

6) Как распределены роли «Азы» и когда она приблизительно пойдет и где?

Согласитесь, родненькая голубочка, что все эти вопросы не праздные и на них нужно получить, и немедленно, хотя односложные ответы.

А может быть, у Вас уже полное слияние с Марком начерчено и подписано, а потому все мои вопросы и безынтересны?

Целую крепко Ваши дорогие ручки и прошу их, пускай они немедленно хотя по одному слову ответят на мои запросы.

Мыколу обнимаю крепко.

Всему товариству щиро кланяюсь.

Храни Вас от всего господь, наша радость!

Всем преданный до гроба

М. Старицкий

1892

52. ДО ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ В СПРАВАХ ДРУКУ

[17 березня 1892 р.]

В Главное управление по делам печати
дворянина Михаила Петровича Старицкого

Прошение

Прилагая при сем рукопись «М. П. Старицкий. Малороссийский театр. 2-й выпуск», заключающую в себе драматические произведения на малорусском наречии, разрешенные уже к представлению на сцене, и стихотворения, переписанные общим русским правописанием, честь имею покорнейше просить Главное управление по делам печати рассмотреть эти мои произведения и разрешить их к печати; разрешенную же рукопись переслать в г. Москву, в Театральную библиотеку, Сергею Федоровичу Рассохину для издания.

Москва, 1892 года, марта 5.

Дворянин *Михаил Петрович Старицкий*

53. ДО М. Ф. КОМАРОВА

Киев, Ботаническо-Никольская, дом № 21 — [Прибл. квітень 1892 р.]

Листа од Вас, дорогий друже, я одібрав уже в Києві, де перебуваю другий тиждень. Очевидячки, він проплентавсь в дорозі не малий час. Спасибі Вам щире за тепле слово,— воно тільки єдиною нагородою й може бути: треба їсти чужий хліб, коли свого дастьбі... Шкода тільки, що така безпомічна доля випала на старість разом із тяжкими хворобами. Отже, я, працюючи і на чужій ниві, все живописую тільки своє рідне з минулого і сучасного життя і прихиляю тим симпатії сотень людей до нашого поля, до наших розкіш...

Раніш ніж одібрав лист Ваш, я прочув уже в Києві про Вашу збірку і дуже втішився думкою і метою; а тут чогось чудернацька суперека здіймається, чую я, що збірка має бути не вся на українській мові, а з російською... Мішанина,— кричать,— і ми до такої мішанини втручатись не бажаємо!.. Я маю думи, що вони ні до чого втручатись не хочуть, бо снаги нема, та й хіті бракує! Мертвляччина тут навкруги, цвинтарем тхне, і тільки здалеку серце щемить за дорогою родиною, а, приїхавши сюди, раптом порива утікати, і як не міряй гадками, а правдиво щирих звитяжців тільки й лишилося: Ви в Одесі, Русов в Харкові, Микола в Києві, Цвітковський у Пітері... та й уже, себе не лічачи.

Отож я з дорогою душею радий дослати, що змога, [але] драматичних утворів не маю права на інші руки давати, по умові з Рассохіним, а повісті і вірші — чому ні? На зараз у мене готова «Облога Буші», історичний розповідок за часів Хмельниччини; вона у мене готувалась до «Русской мысли», для того текст писаний по-російськи, крім розмов, а задля вашої збірки треба буде перекласти все на укр[аїнську] мову: це взялась ласкаво зробити моя Людмила і, певно, тижня за три викінчить; штука вийде на 5 арк. друку. А щодо віршів, то я можу їх, скільки хочете,— тільки мої вірші щось цензура все черкає та черкає... Шкода, що я тільки не знав цього поперед,— було б уже готово, а то боюсь за час.

Обнімаю Вас щиро і вітаю сердечно всю вашу сімейку, бажаючи їй всякого блага; товариству — чолом до землі.

Весь Ваш *М. Старицкий*

P. S. Коли ласка, зайдіть, голубчику, до поліції і попитайте, чого вона досі мені не шле на переміну «Свидетельства на право жительства»? Щороку переміняли акуратно, а це затягли... і мені з того турбанина... Попросіть їх, щоб приспішили: я їм прошеніє з документом і 2 марками вислав уже 2-й місяць.

54. ДО М. К. САДОВСЬКОГО

Бирзула, 8 июля [20 липня 1892 р.]

Пишу Вам, дорогой Николай Карпович, из Бирзулы, где поезд стоит три часа. Ну, из телеграммы уже Вы знаете, что поездка моя увенчалась полным успехом, но что это стоило?! Прежде всего должен сказать, что Саксаганский, по наведенным справкам, здесь ни при чем, т. е. в просьбе о разрешении: он просто по окончании сезона явился поблагодарить градоначальника и заручился от него словом разрешить ему спектакли и на будущий год, а дальнейшее противодействие Вам, опираясь якобы на данное слово, обнаружил лично Зеленый (через зятя да еще и через Грекова).

Начну сначала. Приехавши в Одессу 30 июня, я отправился тотчас же к Комарову; он был возмущен внешнею стороною дела и решил на второй день собрать громаду, чтобы коллективно воздействовать на Саксаганского и устроить нравственное давление, а я между прочим отправился по редакциям и везде был встречен с объятиями. Редакциям я настоящей сути не открывал, а сообщил только, что соединился с Садовским и усиленной труппой буду играть в Одессе, что уже снят театр, дан задаток и т. д. Ну, разумеется,— восторг и упоение. Газеты даже привирать начали, а редактор «Од[есского] в[естника]» предлагал за сезон 50 т[ысяч] р. На другой день, заручившись карточкой Комарова, я отправился в канцелярию градон[ачальника] к секретарю и от него

узнал, что Саксаганский Зеленого лично просил, а более и письменно просьбы не возобновлял, и советовал обратиться сначала к правит[елю] канцеляр[ии] (новое лицо), снабдив некоторыми сведениями.

Между тем я со второго дня начал бегать за фраком; во всех магазинах не оказалось не только напрокат, но и на продажу приблизительной мерки; я начал, по указаниям и письмам знакомых, искать по Одессе здоровил (и учителей, и профессора, и миров[ого] судью, и лакея)... но все поиски оказались тщетными. Взявши на другой день в маскарадном магазине темный пиджак, я отправился к правит[елю] канцелярии и нарвался сразу на какого-то бешеного хохлофоба.

Разговор произошел такой.

— Градоначальник дал слово Саксаганскому и ни для кого его не изменит, а две труппы в Одессе играть не будут... пока он жив.

— Но я прошу только с декабря, а по декабрь Вы можете разрешить и ему.

— Извините: дано слово, дано преимущество Саксаганскому...

— Т. е. монополия?

— Хотя бы и так.

— Но ведь Саксаганский отказался, взгляните на это письмо.

— До частной переписки нам дела нет; пусть пришлет формальное прошение с 2 марками; тогда будет обсуждаться Ваше прошение.

— Но у Саксаганского и театров нет. Все сняты мною.

— Тем лучше. У Саксаганского есть разрешение, а театров нет; у Вас есть театр, а разрешения нет... Итак, в Одессе не будет этой хохлацкой белиберды, что самое желательное...

— Вы, вероятно, малоросс?

— Почему Вы угадали?

— Потому что истинно русские люди и компетентные по развитию судьи другого мнения о наших спектаклях: они в них видят благую силу для поднятия народного самопознания и приветствуют нас как братьев — пионеров народного театра...

— Так поезжайте в села просвещать ослов; но я убежден, что там будут хохотать над тем, над чем наши барыни падают в обморок...

— Удивляться действительно нужно вашим барыням, если они от белиберды падают в обморок; что же касается простых людей, то некоторые смеются от простого невежества: история нас учит, что невежество всегда опрокидывалось на истинно прекрасное — или с глупым смехом, или с бешеной пеной самодурства...

— Только не над этакой ерундой, как хохлацкие пьесы и исполнители... Вы меня простите за откровенность...

— Не стесняйтесь: мнения бывают различные... Умные люди говорят и другое... да вот государь император отзывается с симпатией, и большой, о наших представлениях, а развитие народного театра составляет любимую августейшую идею...

Произошла эффектная пауза, после которой мой собеседник осведомился, надолго ли я приехал в Одессу и посоветовал подать прошение и лично объяснить все градоначальнику, что он вообще очень добрый человек и Вас знает...

— Напрасно только Вы сняли театры, не заручившись сперва разрешением.

— На основ[ании] прежней практики: прошения без указания времени и места отклонялись.

Мы расстались, пожавши друг другу руки, и правит[ель] попросил через два дня заехать к нему с прошением, так как теперь [в Одессе] Чичагов, и его пр[евосходительств]у нет минуты покоя.

Я передал содержание моего разговора с правит[елем] канцел[ярии] Комарову, и последний вспомнил, что миров[ой] судья 9-го участка (Больш[ой] Фонтан) товарищ этого пса. Опять я полетел отыскивать этого мир[ового] судью и таки заручился от него обещанием потолковать с правителем.

Между тем беганина за фраком идет, но неуспешно; последние сведения указали какого-то портного, которому какой-то большой заказчик покинул фрак, дурно сшитый... Разыскали мы этого портного — фрак действительно нашелся и приблизительно налез; но где достать жилет и штаны? По адресам этого портного и жилет был разыскан, хотя необычайно короткий, но с распоротой спинкой налез... вот только в штанах... вышла драма. А в газетах уже опять появилось, что Саксаганский отказался, что Старицкий снял все и с оркестром кончил и т. д.

В это время запопал меня Навроцкий в гор[одском] театре и пригласил от имени Грековой в ее ложу; она была очень рада со мной познакомиться, а Навроцкий заявил, что он желает посводничать и соединить меня с Грековым. ...Madame заявила при этом, что у нее давно есть желание совокупиться с малорусск[ими[артистами, да еще с такими знаменитостями... Я с своей стороны предоставил ей свои документы, а Навроцкий взялся уладить четыре дня... Видите ли, предлагают, чтобы мы играли 3 дня в неделю в гор[одском] театре, а 3 дня в Русском (стало быть, остается в Р[усском] т[еатре] лишних 4 дня, вот за что и хлопочет Навроцкий). Я заявил, конечно, что идея эта очень симпатична, но нужно обдумать и пока эти 4 дня не устроятся... нельзя обсчитать... но что я вообще враг конкуренции и рад ей быть полезным... Ну, одним словом,— раскупорили вдову Клико!

На другой день я был у Пеликанова, но не застал,— он все еще не возвращался из Каменца-П[одольского], а потом, купивши никуда не годные штаны и пришивши их к жилету (иначе он не сходился), отправился с прошением пешком к градоначальнику (в моем импровизованном костюме сесть было невозможно). Прождав в приемной почти до 2 часов, я снова увиделся с правителем канцелярии, который уже был со мною любезен. Он сообщил, что генерал провожает морского министра и сегодня не будет, а что он советует мне послать от имени его Саксаганскому телеграмму; я на это ему ответил, что это было бы превосходно и что я вполне убежден, что Саксаганский подтвердит и в телеграмме отречение, но что адрес его неизвестен...

— А где он был?

— В Ташкенте.

— Ну, попробуем.

Я отправил телеграмму в Ташкент, и последовал, конечно, ответ, что адресата не находится.

В субботу уже я наконец имел честь представиться; его превос[ходительство] попросили только приложить письмо Саксаганского к прошению и милостиво разрешили, заспокаивая, чтобы я не сомневался в делах, а если Греков сойдется со мной, то и он сделает хорошее дело. Его пр[евосходительст]во заявили мне только следующее: «Я разрешаю, заметьте, Вам, а Садовский такой неспокойный и вздорящий со всеми человек, что мне ему

разрешать было нежелательно, потому-то я и Саксаганскому сделал предпочтение».

Я разъяснил ему Вашу роль в этом печальном событии, как исполнителя воли братьев, и Зеленый был смягчен, попросил меня сесть; но я отказался.

— Не могу, в[аше] пр[евосходительст]во.

— Почему?

— Все лопнет и разлетится... — И я рассказал мои приключения. Его превосходительство очень смеялся и отпустил меня со всякими пожеланиями.

После этого я таки был и на даче у Пеликанова, и, наконец, застал-таки его. Из долгого разговора с ним я мог понять, что, кроме происшедшей между Вами стычки, еще со стороны близких было большое подвинчивание и густая окраска минувшего... Я разуверил Пеликанова, и он совершенно смягченно распрощался, надеясь, что теперь уже не встретится никаких недоразумений.

Был я и у Бунина, и у помощ[ника] его, который и взымает залоги. Результаты таковы:

а) Залог необходим; размер до 1200 р., но можно и менее.

б) Если Берг не исполнит требований, то театр закроют. Я передал ему и Кантарели; но они самоуверены.

в) С Грековым — он предлагает три дня в неделю — вероятно, за 55 процентов нам чистых.

г) Есть и отличный оркестр для Русского театра.

д) Нужно заблаговременно выслать в канцеляр[ию] градон[ачальника] весь предполагаемый репертуар с указанием в новых пьесах чисел и №№ разрешения.

Вот все. Я немного возвратился нездоровым и уставшим и отдохну дня три в Знаменке, а к воскресению буду и подробно все расскажу.

Обнимаю Вас крепко. Дорогой голубочке Марье Конст[антиновне] целую обидві ручки, всему товариству сердечный привет и поцелуи.

Бувайте здорові.

Весь Ваш *Мих. Старицкий*

P. S. Грошей мне не стало. Занял у Комарова 15 р., которые пусть переведут или перешлют ему немедленно.

55. ДО М. К. САДОВСЬКОГО

Станц. Знаменка
Харьковско-Николаевской ж. д.

[Початок серпня 1892 р.]

Дорогой Николай Карпович!

Посылаю Вам письмо Глебова, из которого Вы узнаете, в каком положении одесское дело. Мое мнение — нам необходимо связаться с Грековым, иначе он пригласит Саксаганского, а то и Кропивницкого; последний через своего поверенного, губернск[ого] секрет[аря] Рассудова, уже пустил в «Одесских новостях» возмутительную самохвальную до неприличия рекламу, на которую я послал ответ в «Одесский вестник».

Дело, конечно, не в конкуренции, хотя и она противна, а в том, что, благодаря могущим быть новым интригам и подвохам, могут признать Русский театр для малорусских спектаклей в пожарном отношении непригодным: «разрешено-де для оперетки в тех обстоятельствах, что нельзя в последний час потребовать капитального ремонта, и главное, что оперетка слабо посещается публикой, а на малорусских спектаклях будет битком, а потому-то для них здание и опасно!» Так и мне говорил помощник полицм[ейстера].

Создавать 2-ю добавочную труппу, по-моему, не резон: она, во-1-х, должна быть не из 5 душ, а полная, следовательно, удвоит бюджет, а во-2-х, сами себе устроим конкуренцию. Лучше бы эти три дня сдать грекам, как я сдавал во время оно,— или самому Грекову.

Глебову я ответил, чтобы держался пока макиавеллиевской политики, т. е. убаюкал бы Грекова, что соглашение непременно состоится, и выторговал бы возможно лучшие условия. А если мы соединимся с ним, тогда упрочимся совершенно в Одессе и на будущее время: ему же желательнее всех мы.

Только что получил еще письмо от Комарова, из которого узнал, что Греков был у него или виделся где, и пишет ко мне, что мне ему отвечать?

Убедительно прошу немедленно мне ответить, какое Ваше мнение и на что нужно решиться: время не терпит, и нам нужно закрепить за собою Одессу, а не выпустить ее из рук на смех врагам.

Виделся с Карым, любопытная была беседа: при свидании расскажу.

Это, впрочем, факт, что на его долю ([Карпенко-Карый] 4 м[арки], Сакс[аганский] — 3, Мова — 2) в Одессе досталось 10 000 рублей! Они начинают в Елисаветграде с 15 августа по 1 сентября.

Как насчет Киева?.. Уже запрашивает на 10 спектаклей.

Приехал бы к Вам, та грошей чортма; свои отдал семье, а ждем от Москвы авторских.

Как там у Вас, спокойно?

Целую крепко ручки дорогой зирочки Марьи Константиновны. «Лимерівну» я ей окончил и привезу.

Напиши, голубочка Маня, в Петербург [нерозб.] за моего «Богдана»,— ведь это же ужасно: пропала без вести пьеса, напиши, родненькая. Всем мой сердечный привет; да хранит вас господь бог!

Обнимаю Вас крепко.

Весь Ваш *М. Старицкий*

P. S. «Гороха-царя» выслал в цензуру.

56. ДО М. К. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ

Знаменка, 15 сентября [27 вересня 1892 р.]

Дорогая голубочка Марья Константиновна!

Вчера выслал тебе два первых, совершенно новых действия «Лимерівни» и 3-е, немного исправленное. Все это у меня давно было готово, но по обыкновению писано карандашом, как я и все пишу; я хотел было сначала прочесть в чернетке тебе, а потом уже переписать; ну, теперь сам исправил, а переписывали наши в 2 руки... Задержал неделю потому, что только на 3-й день прочел телеграмму.

Теперешняя «Лимерівна», по-моему, должна быть прекрасной пьесой, и я ее тебе даю в исключительную собственность; наблюди же, моя родненькая, чтобы народные сцены не были сокращены и чтобы Васильев дал музыку к тем номерам, что написаны. Все задумано красиво и интересно, лишь бы только выполнили, а если Мыкола захочет, то пьеса будет иметь огромный успех; в ней роль для Анны Петр[овны] теперь сделана прекрасно, даже и Шкандыбыхи утончена; твоя роль расширена и получила несколько эффектных мест, роли Василия

и Маруси улучшены, писаря — прибавлено, интрига развита, борьба усилена, мотивировка подведена. Четвертое действие было и без того хорошо; если там в некоторых фразах противоречие с первыми, то можно их исправить... Там только, помнится мне, роль твоей матери бесцветна: уж очень она молчит — и на твое горе, и на свекрухину лайку... Ну, да это как знаете!

А вот в 5-м д[ействии] жалко, что ты зарезалась: две такие сильные натуры (Вас[ыль] и ты), возмущенные в борьбе за свое право... и вдруг, соединившись,— ты режешься! Лучше б кого-либо другого зарезала и ушла с милым протестующей и торжествующей... Напр[имер], Шкандыбыха могла явиться с писарем, чтобы арестовать беглеца, записанного в реестр,— и ей капут!! Впрочем, тут твоя воля, как тебе удобней кончать... только и тут было бы разнообразие: а то все ты умираешь!

Хотелось очень мне было приехать к Жердову, да и грошей не было, и холера вас обступила, и до сих пор в Киеве жарит; я потому туда ни за что и не поеду, а желаю приехать в Севастополь... и за вами я очень соскучился.

Как ты провела лето и укрепилась ли здоровьем? Как начались наши дела в Севастополе? Я ни от кого не имею никаких известий; от Ник[олая] Карп[овича] ответа не получил на последнее письмо... Карпенко даже не зашел на минуту ко мне, так что я не знаю, когда он и выехал...

Напиши мне, серденько, хоть несколько слов: за себя, за «Лимерівну» и за то, когда меня выпишут? Без пененэов же я не могу двинуться. Низкий поклон уваж[аемой] Анне Петровне и всем моим добрым товарищам сердечный привет.

Целую твои обе ручки.

Весь Ваш *М. Старицкий*

57. ДО РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ «КРЫМ»

[2 листопада 1892 р.]

Письмо в редакцию

М. г., г. редактор! Благодаря за сочувственный отзыв к моей личности, выраженный в 16-м № вашей газеты, я в интересах истины должен сделать некоторые поправ-

ки: а) хотя и положил я все силы свои на алтарь малорусской сцены, но никогда не дерзну именовать себя учителем М. К. Заньковецкой и Н. К. Садовского, таланты которых до поступления ко мне уже ярко сверкали и были вполне определившимися; б) гг. Садовский и Заньковецкая мои закадычные друзья, и наши взаимные отношения — чисто братские, а не какие-то принужденно-служебные, и обязательной должности при нашем товариществе я не несу, а помогаю своим знанием и опытом там, где мне любо, и, наконец, в) я состою в этом товариществе полноправным членом и стремлюсь вместе с Садовским вновь сплотить воедино разметанные узкостью эгоизма и самомнения силы... И наша задача почти близится к концу. Приймите уверение и проч.

М. Старицкий

1893

58. ДО Б. Д. ГРІНЧЕНКА

Киев [Середина квітня 1893 р.]

Мариинско-Благовещенская
ул., дом. № 85

В. шановний і дорогий серцю
добродію!

Оце, скінчивши свою тяганину по світу за хворобою, сиджу тепер, або більше лежу, в Києві, повертаючись знов до літературної праці. Отож, кинувши оком на наше поле, я вельми втішився душею, що за минулий час наші молодята не спали, а орали перелог свій по змозі і так дотепно, що й тепера уже зеленіють добрі руна повсюду, яких уже не вивітрить і вітер північний: мова розвилась і посунулась геть уперед, знаття її поширилось, щирими і талановитими ратаями бог не зобидив... А між ними таки появились справжні велетні невмирущого духа, до яких в голові належить і шановний добродій. Чутка вже і раніш до мене доходила про Вашу невсипущу працю, про Вашу всесторонню і плодющу діяльність, але мені бракувало часу і снаги познайомитись з нею коротше... І тепер ще небагато читав я Ваших утворів (а надто прози), проте одразу завважив, що в віршах Ви митець

і володієте ними легко і легурно, не калічачи мови, а вимагаючи її музично співати. Кілька віршів Ваших і по думці, і по формі вразили мене одрадістю: Ви щиросердний поет і мусите світло своє, очистивши од всякого бруду, високо зняти угору... тільки дбайте про форму,— в наші часи вона повинна бути вироблена до завершеної оздоби, до віртуозності.

Оце вчора до моїх рук впав Ваш переклад «Вільгельма Телля»; я його з захватом читав і під радісним впливом хочу зробить Вам, проте, деякі уваги. Взагалі переклад Ваш єсть цікавий принос до нашої скарбниці. Мова чиста, гучна і до виконання на кону дуже легка і ясна. Порівнюючи текст з первотвором, я завважив, що хоча й Вашого перекладу не можна назвати дословним, але він досить близький і жодної авторської думки Вами не покалічено й не пропущено; тільки часами у Вас думки ці виражено простіше, а у німця більш закрутисто; проте я думаю, що Ваш переклад з кону виграє більш.

Одну тільки хибу я завважив у формі окольній, яка зменшує силу вірша, а з того й враження вислову, хибу, яку легко Вам залюбки виправити. От в чім річ.

В римованих віршах (все-таки кращими зразками мусять нам бути Пушкін, Лермонтов, Толстой) міра може розмаїтитися досхочу, але все ж уникаючи одноманітності,— так що здебільша мужня рима повинна чередуватись з жіночою або через вірш, або не більше як через два; в двоголосних віршах (ямб і хорей) може бути чистий ямб, себто щоб усякий вірш кінчавсь на мужню риму (от, напр., «Мцыри» Лермонт[ова]), і така низка віршів виходить досить сильною та співочою; інша річ хорей (—◡, —◡...), що кінчиться на жіночу риму. Коли всі вірші написати поряд чистим хореєм, то поезія вийде тяжка, вахлювата, одноманітна й негучна... Я навіть зараз і не пригадаю поезій чистим хореєм,— всяк їх уника. Здебільша перемежають ямб з хореєм, або хоч і пишуть тою чи другою мірою, то прикінечний слог озброяють почережно то мужньою, то жіночою римою... А то беруть і мішані міри, складаючи їх хитро та штучно і не міняючи уже покладу (напр., Ваша «Беатріче»; Пушкіна «Евгений Онегин»). В триголосних мірах (дактиль —◡◡, анапест ◡◡— і амфібрахій ◡—◡) чистим дактилем і анапестом можуть бути писані вірші, але зроду чистим амфібрахієм... Та це й Вам свідомо, і в римованих

віршах, принаймні тих, що читав я, не завважено мною жодної хиби. Додаймо ще, що наша мова по природі чи не гнучкіша за руську, що наголоси у нас бігучі (не тра тільки надуживать цього до калічення слова), що рими у нас дзвінкі і багаті (уникайте тільки глагольних), ми, доложивши снаги, можемо так висталити й виховати вірші, що й наших старших братів ними за паса заткнути; отож і дбайте, бо кому дадено много, з того й спитається більше.

Тепер перейду до білого неримованого вірша: тут вся краса в ясній і повній музичній мірі і в чергуванні прикінців вірша мужніми і жіночими наголосами. Оце чергування на цей раз так потрібне, що не попуска навіть жодної вилучки. Один тільки гекзаметр має свою законну одноманітну міру; всі ж інші міри, чи довгі, чи короткі, мусять прикінцем вірша чергуватись мужніми і жіночими наголосами,— інакше вони втратять і музичність, і силу, та й стануть якимись незграбами. Я візьму з Вашого ж таки «Телля» кілька прикладів задля урозуміння мого домислу; Ви самі, добродію, завважите, яка міць і гучність з'являється там, де вірш з мого погляду вірний, і як вона слаба, де вірш стає одноманітним й нудним.

Ось трошки виправлений мною зразок з 3-ї сцени IV дії, яко добрий.

Телль *(увіходе з луком)...*

Я тихо жив, нікого не займавши, (—◡)
На звіра лиш свою стрілу пускав, (—)
Не думав я про душогубство, зраду, (—◡)
А ти мене од лагоди зірвав, (—)
Гадючої налив отрути в серце, (—◡)
І до страхів ти споучав мене:
Хто синові метав стрілу у чоло,
Той ворогу у серце досягне!
Мої дітки безвинні й вірну жінку
Од лютості напасника-псаря
Оборонить я мушу. Бо як лука
Тремтячою рукою натягав
І неміщно благав тебе я, ката,
А ти мені з пекельним ще сміхо́м
Звелів стрілять у голову дитині,—
Тоді, в той час, я присягнувсь в душі

Страшенною клятьбо́ю — бог те знає,—
Що після цього влучить перший стріл
Тобі у серце. А в ту мить страждену
Чим присягавсь, те мушу я вчинить,
Не ломлячи присяги перед богом!

А от уже важко (4-а сцена І дії):

Штавдах.

Ні, Вальтере, від вас я не сховаюсь,
Що я прийшов сюди не по-дурному:
Мене гнітять важкі турботи. Лихо
Покинув дома й тут його стріваю.
Несила далі вже того терпіти,
Коли утискам тим нема і краю.
З дідів і прадідів були ми вільні
І добрість звикли ми саму стрівати...

Тут рядом у всіх віршах наприкінці жіночі наголоси і не витримана цезура.

Або ось (1-а сцена І дії):

Руаді.

Ну, швидше, Джені, сіті позбирай!
Устали хмари, вітер вже реве,
Високу скелю вже туман повив,
І холодом повіяло цупким:
Незчуєшся, як буря налетить!

Тут, навпаки, всі прикінчення мужнії... І те й друге, по-мойому,— вада.

У Вашому вірші, крім того, єсть певна цезура, і її треба пильно тримати. Ось якими повинні бути Ваші вірші:

◡—,◡—‖◡—,◡—,◡—◡
◡—,◡—‖◡—,◡—,◡— і т. д. почережно.

Коли б Ви виправили по цьому зразку форму, то Ваш переклад став би виборним по легкості й по музичності вірша і не зійшов би з кону довіку; може би, з'явились коли ближчі переклади, але Ваш би завжди мав перевагу сценічну. Чудово було б, коли б Ви й другі утвори Шіллера переклали, хоть принаймні значніші. Ну, ховай Вас боже на користь родині і нам на втіху.

Прихильний до Вас щирим серцем

М. Старицький

59. ДО О. Я. КОНИСЬКОГО

[11 травня 1893 р.]

Високоповажний, дорогий та любий
Олександр Яковлевич!

Віншую Вас і пригортаю щиро до серця в день цього урочистого для Вас і для нас свята; віншую Вас поза очі, бо хвороба, як туга, пригнітила мене до моєї тюрми і не пуска на світ божий перекинутись хоч словом, хоч привітом з моїми друзями і в спільнім гурті піднять почесний келих за Вашу многолітню, нехибну працю на рідному полі, за Вашу твердість в засадах, за Вашу непродажню любов до нашої кревної справи.

Багато вже пролинуло над нашими чолами часу,— гуркотіли громи, ревіли бурі, віяла заверюха і в непрозорій темряві все крила морозом; всипали оті негоди і Вашу голову снігом, зігнули спину вагою, підбили дужі крила колишні — та дарма — душі не згубили! Стоїте Ви й досі на зруйнованій нашій пустині, як дуб між малим числом неподужніх дерев, що в буреломі зостались; стоїте Ви, хоч і підточені лихом, та ширите все більш щороку своє верховіття, що засягає добром і по сей, і по той бік кордону; а під його холодком щироплодним пригортаєте ще цілу сім'ю, хоч і не з свого кореня, та кревних деревець, зелених і пишних своїм талантом кучерявим. Слава ж величному дубу, що й сам устояв від бур і що під своїми вітами виховав чудовий гайок, нашу потомню надію і силу!

Пригортаю ж Вас до прихильного лона і вкупі з товариством любим волаю: «На многі літа, юбілянте наш славний,— слава тобі, до віку вічного слава!»

М. Старицький

29 квітня 1893 р.
Київ

60. ДО І. М. КОНДРАТЬЄВА

Киев, Мариинско-Благовещенская ул., № 105 [19 червня 1893 р.]

Глубокоуважаемый
Иван Максимович!

Благодарю Вас сердечно за Ваше снисходительное участие к моей нужде, за высланный Вами аванс; но убедительно прошу Вас: довершите уже доброе дело, дайте некоторую льготу на его погашение; иначе я не могу им воспользоваться.

Так как Вы пишете, что все мои произведения теперешние и будущие будете вносить в один список, т. е. на счет Лысенка, то очевидно, что и этот аванс записан на его счет, а кажется, имеется у Вас обычай аванс высчитывать из первых поступлений.

Считаться-то я с Лысенком за пьесы могу, и Вы поступайте в этом случае, как Вам будет удобнее; но аванс, высланный мне, я не могу допустить к вычету ему в текущем месяце, иначе говоря, должен буду его или ему, или Вам тотчас передать.

Видите ли, в этой переуступке временно авторских Лысенко состоит только посредником. Два крупных кредитора, с которыми я покончил этой сделкой миром, иначе не шли на уступку и на рассрочку, как чтобы я свой авторский доход передал третьему лицу, с которым уже они вступят в сделку: они боялись, что другие исполнит[ельные] листы могут обрушиться еще на меня и что ихнее право будет подорвано, а за Лысенка они знали, что исполн[ительных] листов не будет. Так вот Лысенко, ссудивши на задаток денег, теперь по мере поступления выплачивает им условленные суммы. Итак, если бы в расчетн[ом] листе получилось за месяц лишь 2 р., то они претендовать не могут; но если будет стоять, что выдано Старицкому 150, то это будет скандал. А потому, если Вы мне позволите воспользоваться Вашим дорогим для меня вниманием, то благоволите уже этот аванс хоть р а з д е л и т ь н а т р и м е с я ц а (п о 50 р.); во-первых, при таком погашении эти пятьдесят рубл., вероятно, составят излишек против суммы платежа кредиторам, а с Лысенком я соглашусь; во-2-х, если бы не составили излишка, то мне самому покрыть эти 50 р. Лысенку

легко, након[ец], в 3-х, если не в ноябре, то в декабре мой личный гонорар их несомненно покроет.

Посылаю Вам список моих драматических произведений, в отделе оригинальных я поместил и те пьесы, содержание которых напоминает только известн[ые] мотивы, напр., есть сказание про «Марусю Джурай» — я на этот мотив написал пьесу, не воспользовавшись ни единой сценой, ни единым положением. Нельзя же, напр., «Богдана Хмельницкого», содержание которого заимствовано из многих исторических монографий, назвать не оригинальным произведением? «С заимствованным сюжетом» я назвал те драмы, содержание которых взято из повестей и романов, с заимств[ованными] из них целыми сценами.

А как дело с гонораром за Елисаветград? Неужели наши авторские пропали?

Да, еще раз прошу, чтобы агенты за «одмины» брали плату.

Приношу глубокую благодарность за Ваши хлопоты по авансу и тысячу извинений за утруднение Вас своими просьбами. Примите уверение в совершенном почтении и преданности Вашему превосходительству покорного слуги.

М. Старицкий

61. ДО В. ЛУКИЧА

Киев, Мариинско-Благовещенская ул., № 96 [Початок липня 1893 р.]

Високоповажний добродію!

Шановного Вашого листа за № 156 одержав і зараз же Вам одповідаю.

Дякую, що моя драма «В темряві» буде сього року надрукована, бо в тому році її друкувати у Вас було б уже мені незручно і зашкодило б моїм інтересам. «Безталанна» Карого видана брошурою у нас під тим самим назвиськом. Карого ще ось які др[аматичні] твори у нас надруковані: «Наймичка», «Розумний і дурень» і «Бондарівна», а не були видані ще і для того цікавіші, хоч для читачів, ось які: «Чабан», «Гріх і покута»... та ще, може, які мені невідомі, з оригінальних.

Вам широко не може бути відомо, які українські книжки у нас видавались і видаються, хоч їх в останні часи у нас вельми не густо, а на російській мові всього видавництва і знати таки неспроміжно, а се може Вашим інтересам іноді шкодити. От хоч візьмім, на зразок, Ваш присуд премій, поданий в перших числах «Зорі», на мій погляд, буде несправедливим. Одержали 1-у пані Кибальчич, 2-у п. Писанецький (Ванченко), 3-ю Франко. За драму Кибальчич і драму Франка нічого не можу сказати, бо їх не знаю, не читав. А драму Ванченка «Мужичку» (хоч і не читав, але по змісту вважаю або за переробку близьку, або за щирий переклад з російського, єсть дві таких нестотно по змісту драми на російській мові), та і самого Ванченка добре знаю — він служив у мене в трупі спочатку хористом, а далі третьостайним актором. Чоловік без освіти і навряд чи міг би що написати самостійного, оригінального!

А тепер драму Карого «Чабан» я сам читав і находжу її вельми доброю; а нарешті вийшло так, що Ванченку, який не варт і мізинця Карого, присуджують мало що не першу премію, а звісному освітньому драматургу Карому — ані останньої навіть!

Цікаво знати, коли і де оці всі драми будуть надруковані, щоб сказати про них уже певне мніння?

Тепер от за «Облогу Буші». Я й раніш уже бачив, що їй не буде місця у «Зорі» в сім році: величень її засягне за 4500 рядків ваших (стрічок), а сторін (в два стовбці) Ваших вийде аж 30; коли ви будете подавати її по чотири стор[інки] (тобто 1/2 аркуша) на число, то і то її вистачить на 7 місяців з хвостом, а то й на всі вісім. Отож, дбаючи найбільше про інтереси і поширення «Зорі», я написав меншу за «Бушу» з історичного буття, тільки легенду подольську «Заклята печера», вона буде протягом до 6 аркушів Вашої «Зорі», менше на 2 аркуші од «Буші». Коли Ви розпочнете її друкувати з серпня хоч по одному листику (1/4 аркуша) на число, а після Нечуя «Між ворогами» останні 2 місяця по три листики (3/4 арк.) на число, то до нового року зможете її викінчити. На мій погляд, це було б для пренумерації тогорічної корисно, бо «Заклята печера» — і поетична по змісту, і живописує історичний побит... хоч і не впада самому про себе ж казати, але Ви самі, в. поважний

добродію, зауважите, що я говорю правду: після «Заклятої печери» більше візьметься цікавості до «Буші», яка вже чисто історичний, а не баєчний розповідок. Для тамтого року я можу ще Вам прислати драму (по Гоголю), білим і римованим віршем написану, «Тарас Бульба», до якої музику написав М. Лисенко; вона має на той рік іти на імператорській сцені, тільки в перекладі на російську мову, то варто б було подати перше український оригінал. Інтересно б тільки було, щоб «Тарас Бульба» був у першім півроці надрукований, а на другий я Вам дам нову драму.

Вірте моїй щирості, бо я на розвиток як нашої мови, так і нашого театру всі свої маєтки (100 000 карб.) уклав, та й до самої смерті трудитимусь.

Прошу вельми зараз же мені одповісти за «З а к л я т у п е ч е р у» і за «Т а р а с а Б у л ь б у», бо жаль часу даремно тратити: я ним і себе, і сім'ю свою годую. Коли згодитесь «Закляту печеру» в цім році пустити, то я за два тижні пришлю половину, а за два ще і решту. За вірші мої — ті двоє, що не друковані, зовсім цензурні, а в третім (розповідок студента) то треба буде викинути 2 чи 3 вірша.

З великою шанобою зостаюсь назавжди прихильним

М. Старицький

62. ДО І. М. КОНДРАТЬЄВА

Киев, Мариинско-Благовещенская ул., дом № 96 — [13 липня 1893 р.]

Глубокоуважаемый
Иван Максимович!

Спешу сообщить Вам печальную весть: вчера, 30 июня, неожиданно и скоропостижно скончался член нашего общества драмат[ический] известный писатель Иван Николаевич Ге; внезапная смерть его поразила нас всех, знавших его близко, но несчастную жену его выбросила сразу за борт жизни, оставив без всяких решительно средств. Как Вам известно, Иван Николаевич в последнее время жил исключительно лишь литературным, газетным трудом; старые его пьесы уже давали сравнительно ничтожный доход и только поддерживали новые, принятые в репертуар императорской

сцены; теперь и этот ничтожный доход, полагаю, для вдовы тоже немыслим, так как у Ивана Николаевича от первой жены осталось в живых трое детей, из которых двое несовершеннолетних, то по всей вероятности будут авторские доходы отсылаться в опеку, а вот относительно вдовьей части и неизвестно, откуда и каким порядком ее получать?

Но пока будут решаться эти вопросы, настоящее положение вдовы Эмилии Эмильяновны Ге * — невозможно тяжело, и она стоит на рубеже помешательства от ужаса и отчаяния; если наше общество не поспешит к ней хотя единовременным вспомоществованием на помощь, то нет сомнения, что она покончит самоубийством, и сделает даже умно. Она осталась формально без гроша, так как последние наличные деньги потратила на погребение и, кроме того, заложила для этой же цели весь наличный багаж... Пока она будет жить и кормиться в двух знакомых покойнику семьях,— ей не на что и некуда двинуться...

Ради бога, добрейший и глубокоуважаемый Иван Максимович, примите участие в этой бесконечно несчастной вдове, выхлопочите ей хотя единовременное пособие и посоветуйте, что ей делать. Мы все расчитываем на Ваше чуткое к людскому горю серце,— она ждет от Вас этой помощи и хватается за нее, утопая, как за последнюю соломинку.

Примите уверение в совершенном почтении и преданности, Вашего превосходительства покорный слуга

М. Старицкий

63. ДО В. О. ШУХЕВИЧА

г. Киев, Мариинско-Благовещенская ул., дом № 96 — [Літо 1893 р.]

Високоповажний добродію!

Уклін Вам од неба аж до землі і велике та щире спасибі за Ваше ласкаве вітання моєї дитини; і я, і жінка моя зворушені Вашою надзвичайною гостинністю до глибини душі, а дочка Людмила так не натішиться, не

* По паспорту она именуется Антонина Эмильевна Ге.

намилується згадками про Вашу дорогу та приязну сім'ю: вона зачарована всьою Вашою львівською громадою, а надто Вами, Вашою шановною дружиною й Вашими любими діточками; отож знову перекажіть од нас всім їм сердечне спасибі й найкращі зичення.

Шкода, що я хворий ще і зараз не можу рушити з міста далеко, а то мені самому після дониних переказів заманулося до Львова поїхати і обняти всіх дорогих нам земляків. Ну, та вже коли господь віку додержить, то на той рік на виставу збираємося усі бігти. Що з України буде до вистави потрібно, то ми привеземо. Коли цілого музея п. Тарновського взяти буде не можна, то хоть ціннішу частину, а доставимо; його тепера в місті немає, але він чоловік щирий і не пошкодує заходу.

А от мені б хотілось і кращих виконавців-артистів привезти на виставу, щоб там показати художнє виконання наших і ваших ліпших драматичних утворів *. Думаю везти не цілу трупу, бо 70 чоловік візьмуть кошту багато, а невелику — осіб на 8—10 артистів і хору грунтового чол. 8, а решти там у вас добрати. Отож мені цікаві такі питання, на які ласкаво прошу Вас, шановний добродію, об одповідь.

1) Чи можна буде мати дужий польський театр хоч два рази на тиждень? Що то буде коштувати од вечора, тобто: що за самий театр, а що за вечеровий розхід — світло, музика — оркестр, прислуга, афіша і таке інше. Без дужого того театру, пріч усього, не можна поставити широких по обставі п'єс.

2) Скільки дужий театр, при повній салі, містить збору ренських?

3) Крім того дужого театру, де ще можна грати? Скільки і там міститься збору і на яких умовах можна той другий театр мати?

4) Чи можна там у Львові мати додатніх хористів і хористок, тямущих у нотах, і за яку оплату? А також і акторів на другі, треті ролі?

5) Скільки часу можна там буде пробавитись з трупою і в якому місяці найкраще приїхати?

---

* Хоч я тепер з трупою не працюю за браком здоровля, але для Львова ще можу раз потрудитись.

Оті всі питання мені треба заздалегідь знати, щоб завчасно на такий-то час запросити артистів.

Може, з вистави Вашої, поповнивши Вашими силами трупу, можна було б й до Праги чи до Відня поїхати показати українську артистичність?

Ну, щасти боже у всьому Вам і Вашій любій сім'ї. Тисну од щирого серця Вашу прихильну руку і зостаюсь назавжди з великою шанобою і щирим поважанням, навіки прихильний

М. Старицький

64. ДО М. М. СТАРИЦЬКОЇ

21 ноября **[3 грудня 1893 р.]**

Дорогая, родненькая Манюся! Страшно всех нас натревожила твоя болезнь, а десятидневное молчание просто с ума сводило: в такой дальней чужине, без знакомых близких и без денег... Я свои последние десять рубл[ей] послал тебе, но что значит эта кроха? Хотя бы эта злосчастная повесть... Уж давно бы за нее должно быть известие, а вот нет да нет... Я уже писал и Вере Васильевне... И для чего было ее не оставить в «Обозрении»? Там бы и заплатили дороже, а то возиться с этим плутовским и глытайским «Артистом»! На этой неделе я ему вышлю воспоминание о последнем дне Ив[ана] Никол[аевича]. Вероятно, тоже ничего не заплатит и книжки даже не вышлет. От труппы имел письма из Таганрога; там были роскошные дела: покрыли жалованье, дорогу и даже поделили малую толику; вот из этой присылки я дал на дом 50 р., кое-что сделал себе на зиму и то тебе остатки выслал. Ростов же до сих пор молчит, вероятно, там никакой дележки не будет (нужно очистить на дорогу в Москву более 2000 р.), но мне интересно знать, как пойдет «Кривда і правда»? Жду известия.

В Глав[ное] управл[ение] по дел[ам] печати давно уже выслан мой «Т а л а н», а на прошлой неделе и Людины две: «З р а д а» и «Сафо». Справься, получены ли и пущены ли в ход? Этой благодетельной дамы совсем нет в Петербурге или только временно? А другую рекомендацию тебе из Москвы выслали?

Справься между прочим хоть ты уже досконально о замошенниченных Цветом или Светом моих пьесах «Розбите серце» и особенно русский «Богдан Хмельницкий»: я непременно хочу последний пустить на русск[ую] сцену, за что будет пропадать пьеса? Так ты наведи официально справку, была ли подаваема в цензуру от моего имени, т. е. М. П. Старицкого или М. Петровича (я и так предлагал Цвету) или от имени Цвета,— пьеса на русском языке «Богдан Хмельницкий, историч[еская] драма в 5-ти дейст[виях] и 6 картинах, с эпилогом», а может быть, «Гетман Богдан Хмельницкий»? Если такая пьеса подавалась и запрещена, то нужно разыскать экземпляр, в крайнем случае заказать снять копию с хранящегося в архиве, а если не был даже подаваем, то сообщить мне немедленно. Навевши справки в цензуре, постарайся увидеться с студентом Медико-хирургической академии г. Цветом и потребовать от него экземпляры. Я ведь к нему и иск могу предъявить, справку в почтамте можно взять: я ему посылал посылкою. Вообще это темное и грязное дело нужно непременно распутать, а пьесу пустить на русскую сцену: за что я не имею 5 лет никаких доходов? Я и «Юрка Довбыша» тоже пущу на русские подмостки: наши гавенные труппы этих вещей играть не могут. Я писал, а ты с своей стороны подтверди, чтобы мне хотя бы 1-ю и последн[юю] главу «Буши»; остальные можно восстановить... но особенно нужна первая!

Ну, храни тебя господь, мое дорогое дитятко! Когда бы привелось мне еще с тобою увидеться, а то здоровье мое, особ[енно] сердце,— плохо и плохо! Людя и Оксана влюбились в Стешенка, особ[енно] Людя — да! даже целуются. Обнимаю тебя много, много раз.

Твой навеки *М. Старицкий*

65. ДО М. М. СТАРИЦЬКОЇ

[Грудень 1893 р.]

Дорогая Маруся!

Сейчас получил из цензуры безусловно разрешенную мою пьесу «Талан» (из акт[ерской] жизни)... Ты, вероятно, и не знаешь еще про эту радость, все собиралась

только начать приготовления к хлопотам; ну, бог помог, и это может послужить и тебе в пользу. Ты немедленно напиши Александру Петровичу Вырубову (в г. Москву, по Никитской ул., театр «Парадис»), начав письмо: «Узнав из газет, что Вы уже в Москве, спешу сообщить Вам, что я тате уже выхлопотала «Талан» и отправила в Киев (иначе, на основании его прошения, нельзя было) 1 декабря...» и т. д. Между прочим, сообщи и надежду насчет возможности разрешения еще и других пьес (заметь — их у тебя еще 3: «Зрада», «Сафо» и «Тар[ас] Бульба», которого я еще не выслал), что нашли ходы... подчеркни это скромно, но уважительно и больше ничего... Конечно, передай поцелуй Заньковецкой и Садовскому.

Начало такое в письме необходимо; а то выходит странно, что лицо, хлопочущее от Товарищества, ему ничего не сообщает... а ты просто, выходит, не знала досконально, где они...

Я надеюсь, что Выруб[ов] тебе вышлет еще 100 р. Ты в начале письма поставь на всякий случай свой адрес.

Спешу кончить, чтобы сдать почту на вокзале. Сегодня утром я писал тебе за «Бушу», чтобы ты немедленно списала мне 1-ю главу в Публичн[ой] библиотеке («Московск[ий] лист[ок]» 1891 года, конец ноября), а теперь еще повторяю тебе се сугубо. Теперь и авторские, и доходы поднимутся, и тебе будет лучше... Когда бы бог дал за другие еще пьесы.

Храни тебя господь!

Обнимаю крепко, крепко. Всей душой твой

М. Старицкий

P. S. Помни: ты специально живешь в Петербурге лишь для хлопот по цензуре; а если нашла какие-либо и другие занятия, так это по случаю и от скуки.

66. ДО М. М. СТАРИЦЬКОЇ

[Грудень 1893 р.]

Дорогая Манечка!

Поздравляю тебя, голубятко, с праздниками и Новым годом; дай боже тебе всего, всего наилучшего! За

пьесы тебе пока не писал потому, что моих уже там не осталось, а Людина одна, вероятно, в ходу и на днях получится о ней то или другое известие. «Тараса Б[ульбу]» я вышлю через тебя,— значит, ты его и отдашь тебе известным путем, заплатив 2 р., которые я тебе тогда вышлю. Один экземпляр у меня готовый, а денег пока нет переписать другой (или 2)... Да, пожалуй, и политика требует не натаскивать сразу, да и Садовский пусть сначала поставит и усвоит прежние. А вот насчет «Богдана Хм[ельницкого]» — ты его подавай непременно. Только (справься, имеет ли он время) дай его прочесть Федотову и спроси его мнение, можно ли рассчитывать пристроить эту пьесу на императорскую сцену? Вот если бы он взялся,— даже взятку можно пообещать ему,— известный процент из моего гонорара... А разрешить ее разрешат, да еще как русскую — могут в одну неделю.

До сих пор за Людину повесть ничего мне не пишет Вера Васильевна — что-то непонятное!

В Москве пока незавидные дела. Может быть, праздники поднимут и новые пьесы... А то и мы сидим на праздники без денег. Парижский скандал с Деркачом, который можно и должно было предвидеть, вызывает у нашей лакейской печати оплевание всего малорусского, и «Новое время» дает этому почин... Неужели никого в Петербурге не найдется, кто ответил бы ему или дал общее разъяснение по поводу Деркача. Что дивного, что французам не нравится ничто, кроме ихнего, своего? Милославский, известный артист, с лучшими московскими силами, с огромными средствами поехал не à la Деркач, а барином — показать «Русскую свадьбу» и, убив на это до 50 000 р., провалился хуже Деркача! «Власть тьмы» в переводе на франц[узский] язык вызвала во французской прессе страшное порицание: по конструкции ее назвали наивной, а по содержанию «зверством дикарей»; «Гроза» (на фр[анцузском] языке) вызвала неудержимый хохот своей глупостью — «быть настолько дурой, чтобы признаваться мужу в своих шалостях!». Сам корреспонд[ент] «Нов[ого] вр[емени]» говорит, что труппа представл[яет] солидный вид и, вероятно, не провалится так, как здесь все квазирусское проваливалось... Так при чем же здесь вообще малорусские народные пьесы? Если для гг. французов и Толстой и Островский наивны, то нам

и бог велел, а сами-то они с своим единств[енным] Сарду в драматич[еской] литературе до того позади всех, что их и не видно... Только болезненно-чудовищные эффекты и больше ничего!

У нас все по-старому. У дяди Коли я не бываю. Бабуня больна на ногу, и Людя доносилась нарочито со своей ногой до операции. Мне так себе; было очень худо, теперь лучше немного... Скоро все-таки подыхать.

Обнимаю тебя крепко и все то же делают.

Горячо любящий *М. Старицкий*

67. ДО О. Г. БАРВІНСЬКОГО

Киев, Мариинско-Благовещенская ул., № 105

[Друга половина грудня 1893 р.]

Високоповажний добродію!

Допіро тільки маю змогу вислати Вам увесь надібок на перше число «Дзвінка», треба було обрахувати це діло добре, запросити і педагогів, і мудреців, аби «Дзвінок», а надто перші числа, вийшли з усіх сторін догідними.

Формат і візерунок Вам висилаю (щохвилини жду від худож[ника], коли на сьогодні він спізниться, то другою поштою вишлю), на всякім разі майте на увазі, що формат має бути такий, як зложити «Дзвінок» вдвоє, посередині. Тут іще бажано, щоб стрічечки були переділені надвоє, тобто щоб друк ішов на сторінці у дві шпальти (коротшу стрічку легше дитині читати), тільки зверніть увагу, щоб при тому друк був стисліший (тобто щоб більше містилось на аркуші). Або ще й так: речі для меншого віку дітей набирати таким шрифтом, як друкувався «Дзвінок», а для більшого віку — дрібнішим.

Отож ми Вам, шановний добродію, і засилаємо на все це число (конечно в 2 аркуші) весь надібок з лихвою. Наколи б він не вмістився у 2 аркуші, то ми в 2 розправах «Галілей» і «Про воду» зробили розділи на два числа, знати, їх можна надрукувати тільки в половині, а коли влізе який, то і цілком. «Зоря натхнення» * конечне на два числа.

---

* Посилається половина, яка і мусить бути вся надрукована, а друга половина пришлеться на друге число.

Тут маєте надібок і для дітей від 8—10 літ («Про що дзвонив дзвінок», «Розповідок чаїнок», «Байки», «Буланко», «Роберт», «Дещо звідусюди») і від 10—14 («Зоря натхнення», «Про воду», «Галілей»), хоч й ці останні ми складали так, щоби і малі діти, при тлумаченні батьків, могли легко зрозуміти... Все ж перевага виходить за меншим віком.

Другі числа будуть, маєся розуміти, зложені як краще, бо більше часу, а тут хапанина була.

Досі не маю від Вас, шановний пане, відповіді і на перший мій лист, чи згода на наш проспект і на наш напрямок? І чи ви оповістили або оповістить маєте о новім зрості і о нових силах «Дзвінка»? Як тільки відберу від Вас одповідь, що згода, то зараз же Вам вишлю 30 рубл. на січень, і таку ж суму Ви матимете щомісяця за подвоєння «Дзвінка», поки передплата не окупить сама (себто побільшиться на 100 пр.).

На разі же не згода, то просимо всі Вас становче, аби сего надібку, який Вам засилаю,— Ви не давали ні на «Дзвінок», ні нікуди. Всі автори бажають і грошима, і працею піднести угору новий-но «Дзвінок».

Коли перше число вийде, то Ви, крім всього, вишлете ще до Києва на чиє-небудь імення (краще кількох) примірників з 50 — задля реклами.

Прошу уклінно і я, і все товариство редакційне відповісти мені найскорше — з першою поштою. Маємо два чудових худож[ники], які з великою охотою будуть давати малюнки.

Віншуємо Вас з святами і зичимо всього найкращого...

З великою повагою, і шанобою, і прихилом —назавсіди.

Редакція: *Мих. Старицький, Мик. Лисенко,*
Людмила Старицька, Леся Українка.

68. ДО О. Г. БАРВІНСЬКОГО

25 студня [6 січня 1894 р.]

Вчора одібрав від шановного добродія листа і оце додаю ще до першого. Віншую Вас з різдвом святим і дякую за Ваше повіншування — ото раз. Друге — про

«Дзвінок»: матеріал, звичайне, Ви одібрали і він таки на перве число не попав, бо, по розуму Вашого листа, перве число повинно було вийти в той день, як одібрали єсте Ви од мене літерат[урний] надібок... ну, це й добре, бо розривать матеріал і листати його то там, то сям дуже прикро, і ми *steadily* становче на се не згоджуємось.

Коли Ваша ласка, в. поважний добродію, педаг[огічне] товариство,— то друкуйте друге число в 2 аркуші, аби цілком увійшов засланий Вам зміст. Щодо оповіщення, то, звичайно, Вам чекати не було часу, але це велика шкода: Ваше оповіщення не дає жодної реклами, жодної заохоти до пренумерати, воно цілком провадить, що «Дзвінок» такий же буде, як і торік, і тільки що обіцяє на 1/2 арк. побільшать; а оповіщення повинно було висловити, що «Дзвінок» зовсім не таким буде, як торік, а що найкращі сили взялись за його, аби піднести до конкуренції з найкращими європейськими діточими виданнями... Бо щиро признатись (а це мені легше, так як у «Дзвінку» не переважно, а навіть виключно наші писали): тогорішній «Дзвінок» уявляв і по змісту, і по ладу, і по бідноті матеріалу якусь невимовну мізерію, за яку платити 4 карб.— просто був гвалт! І для якого він був віку — теж господь його відає! То трапиться виклад або краще переклад сухий по Брему, то якісь довготелесі вірші, то розповідок, якому б місце було у «Зорі»... Тільки байки Глібова покійн[ого] і нагадували, що це для дітей... Не знаю, як у Вас, а у нас його, певно, жодна дитина в руки не брала... Задля того ми всі думаємо, що треба було б рекламу тому пустити, що іменно «Дзвінок» не тільки по величності, але й по змісту, і по достотам утворів, і по педагогічній системі буде іншим: як же там будете залучати читачів? Грошову підмогу взірно по 30 рубл. на місяць будемо засилати при тій умові, що «Дзвінок» буде в 2 аркуші.

Майте на увазі, що цей аркуш, на якім друкувався «Дзвінок», не єсть повний, а тільки половинчатий: повний містить («Зорі» і другі) 35 000 до 40 000 літер, а «Дзвінок» містить тільки 20 000, і це — чотири рублі!

Ми маємо на увазі вік переважно від 10—13, але й від 8—10; так що в кожному числі думали подавати 2/3 для старших і конечне 1/3 для менших, а, приймаючи на

увагу подвоєння видання, менший вік буде мав $^{2}/_{3}$ першого «Дзвінка», який задля його майже нічого цікавого не давав.

Проф. В. Антонович належить до нашої редакції, і ще маємо знаного педагога. В[олодимир] Бон[іфатійович] ухвалив весь матеріал першого числа і радо прийме участь у сій справі; він Вам буде писати.

Тільки от що: як ви умістите в друге число новорічні дві казки, а вони повинні конечне ввійти, так як і по тій, і по другій виявляються і напрямок, і засади «Дзвінка», та, нарешті, вони мають і літературну вагу.

Будьте ласкавий, відпишіть на цей лист швидше, бо треба лаштувати надібок на третє число, а у нас і руки опустились. Коли бажаєте нашого щирого і ревного співробітництва, то давайте згоду. Маєся розуміти, що й Ваші співробітники мають бути нам товаришами, так їх утвори шановний пан редактор буде додавати, взираючи на зміст.

Все-таки наша рада була б, щоб було ще дотичне оповіщення (більш-менш — наше), у якім би оголосилось, що редакція одібрала і надібок, і згоду від значної сили літератів і з другого числа «Дзвінок» буде отакий і такий... тоді 2-е число можна буде розсилати яко оказне, а саме оповіщення можна посилати з 1-м числом.

Ну, щасти Вам боже у всьому і Вашій любій сімейці, якій від мене перекажіть всякі зичення.

Щиро прихильний і вельми шануючий

М. Старицький

1894

69. ДО О. Г. БАРВІНСЬКОГО

Киев, Мариинско-Благовещенская ул., № 105 — [Січень 1894 р.]

Високоповажний добродію!

Відібрав я Вашого шановного листа, а також і «Дзвінка». Не можу не заявити, що сей перший випуск зробив і на мене, і на всіх нас пренехороше враження,— такий він, замість показного, вийшов мізерний!

Перве діло, що в йому і обіцяних півтора аркуші нема, а тільки аркуш з їдною сторінкою: півтора аркуші містить 24 сторони, а перше число має тільки 20, лічачи і першу палітурку... Що ж се таке? Тут же оповіщення глаголе, що буде півтора, а то й більше аркушів у кожнім числі, а вийшло зовсім друге...

Друге — зміст цього числа теж недоладний: про смерть і похорони Глібова друкується другий раз,— передрук із «Зорі», зовсім не дитячий виклад і для них не цікаве... Вірші «Зóрі» Чайченка передруковуються майже третій раз! Про з а л і з о — дуже короткий і сухий виклад, а Чайченка додаток не зовсім зрозумілий: невже золото не ма[є] жодної вартості, крім пасивної покраси? А хоч би гроші, який вони страшенний поступ зробили у розвитку господарствам всього світу! Тільки один розповідок про «Свят-вечір» та байка Глібова, як передсмертний утвір, на всю книжку — тільки пеклá, тільки й варила!

Третє: не розумію, чому друге число не може бути вповні таким, як заслали? Що пана Шухевича нема? То тим більше: віддати до друку матеріал, та й уже! А то виходить зовсім не те, що бажалося!

Ви пишете, аби готовили матеріал на третє число; але хто його зна, що надрукується в другім, то, може, на третє нічого й не треба!

Там єсть у Вас «Зоря натхнення», перша частина, то другу Людмила вишле. Знов Леся вишле другу частину поеми. П р о в о д у і Г а л і л е я я розділив наполам, іти буде по половині і на третє число. Тільки треба дріб'язки і забави додати.

Коли Ви в другому числі надрукуєте все, як писав, то в нас на третє число тільки треба дослати: розповідок та кінці — поеми, «Зорі натхнення» і дещиці... А може, Ви у другому тільки один розповідок надрукуєте? То в Вас того матеріалу на рік цілий лишиться!

При такім стані опускаються руки. Замість показного числа, яким би можна залучати чительників, перше вийшло гірше, ніж було: ні оповіщення наше не надруковано, ні зміст не поліпшен, ні кількість не побільшена...

Пождемо ще друге число та, певно, й зложимо руки: або всі гідні взятись щиро до праці, щоб вона тільки не була змарнована, або всі й усунемось...

Ну, віншую Вас, шановний добродію, з Новим роком і бажаю всього найкращого і сім'ї, і Вашим всім справам.

Обнімаю щиро дорогого пана і зостаюсь з великою шанобою і прихилом.

М. Старицький

70. ДО В. ЛУКИЧА

Киев, Мариинско-Благовещенская ул., № 105 — [20—22 січня 1894 р.]

Високоповажний добродію!

Борони боже, аби комісія мала чим-небудь в'язати шановну Вашу волю, але про се після... а тепер я коротенько тільки напишу про мої власні справи.

Щодо «Буші»: що замінили «подію» на «повість», то нічого; тільки що повість має трохи ширше значення і вимагає більшої рами... Та це уже Ви вибачитесь перед критикою. Що змінили **од** на **від** — теж нічого, але все ж моя думка, коли безвиключно вживати лише **від**, то може вийти к а к о ф о н і я, напр[иклад], «одвідати», речник буде одвідання, а по-Вашому уже **відвідання**, а у реченні: «Се залежить **від відвідання** шановного пана» — буде тричі поряду... Думаю, чи не забагато? І язику трудно вимовити... Та от і в гарнім розповідку Дн[іпрової] Чайки «Хвиля» стоїть **од** кілька разів. Щодо полонізмів, то я їх заживаю умисне в розмові поляків, щоб обарвити її належним кольором... і за такі полонізми, ради окраси мови, я б прохав лишити; бо якби розмовляв француз, то деякі слова я б лишив французькі, а німцю — німецькі. Друга річ, коли ведеться розмова від автора чи від русина, там уже полонізми касуйте... Тільки от горе! Ті слова, які Ви замість польських подаєте, суть у нас цілком кацапізми! Так: вихід, вхід — по-кацапськи — выход, вход; острів — по-кацапськи — остров, задовольнений — по-кацапськи — удовольненный... А «контетуватись» у нас до сих часів щиро народне слово. Коли запрошують до їжі, то з а в ж д е просють: «Призволяйтесь, к о н т е т у й т е с ь!», «Ну, там уже у к о н т е т у в а л и мене до несхочу!»

«Вітчина» нехай так і буде.

А полонізми у польській мові я б просив лишити, тільки чи не можна оті польські слова по-польськи і писати, як латинські речення по-латині. Напр[иклад], в устах Лянцкоронського згучить лучше «ясний грабя милиться», ніж «ясний граф»? Тільки «грабя» написать по-польськи.

Щодо драми, то Ви ж, шановний добродію, дали місце наперед і надрукували навіть в проспекті — моїй Людмилі на «Аппія Клавдія», а тепер і не упоминаєтесь?

Ще прошу шановного пана мені відповісти, чи буде місце моїй «Заклятій печері»? Хоч при кінці року на останні 6 чи 7 чисел? Се мені заздалегідь треба знати: бо коли не в «Зорі», то деінде я її приладнаю. Також сповістіть і про місце для оголошеної Людмили моєї драми «Аппій Клавдій». Вона її на грунті проспекту готує для «Зорі», а може, прийдеться передати до другої редакції...

Нарешті, за «вийстя», «виспа», «контетний» я не дуже стою; за полонізми в розмові поляків — більше.

Зараз оце надійшла «Зоря» і приємно вразила новими художніми малюнками; зміст теж покращав: Чайченків розповідок гарний, «Хвиля» Чайки — теж, подорожі... От тільки вірші схибили: оці Руданського твори (віршовані приказки, анекдоти) зовсім до художньої часописі не стосуються; окремо їх надрукувати, додатком, то так, а тут вони ріжуть око і чинять страшний дисонанс... Небіжчика Глібова оці вірші теж заслабі. Одного ще у «Зорі» бракує,— це щоб у числі відбивалося сучасне життя, сучасні інтереси... а то закриєш рукою заголовок — годі вгадати, якого року число це... Проте все велика подяка шановному добродію за «Зорю»; наколи б вона ще заваготніла та потовщала на 4 арк., щоб 10 арк. на місяць, то уже б конкурувати могла з нашими «Нивами», «Севером» и др. Але дай боже і нашому теляті вовка дігнати...

Ще завважте, високоповажний добродію, що комісія нараз би засилала Вам речі, та не «б е з р о з б о р у», а з переглядом цілого гурту, а і прислів'я єсть, що «громада великий чоловік»... Ну та, певно, ми не затурбуємо шановної Вашої редакції... Але чи буде се на користь виданню? З високим поважанням

М. Старицький

71. ДО М. М. СТАРИЦЬКОЇ

[Початок лютого 1894 р.]

Дорогая моя дытыно!

Обнимаю тебя крепко, крепко, крепко; дай тебе господь вечных успехов! Скучаю за тобою сильно.

Посылаю тебе только сорок рублей, больше, ей-богу, не могу! Сапоги купил новые (старые порвались), костюмчик сделал (нужно везде бывать, а не в чем) и получил к тому мало. У нас дела средние, а за театр невозможно высокая плата. В четверг идет в 1-й раз «Талан»; кажется, пойдет хорошо, но я ужасно волнуюсь.

Вот что: ради бога похлопочи за «Тараса Бульбу»; ты об нем ничего не пишешь, а я ведь его выслал из Киева тебе еще 20 генваря и умолял отдать через Библиотеку для скорейшего хода.

Имея в виду, что пьеса написана благонамеренно, что таковая уже разрешена Ванченку и еще кому-то, я вполне убежден был и считаю, что она будет разрешена в 3 недели, хоть даже к 20 февралю, то еще полбеды.

Уже роли розданы, музыка заказана, костюмы делают и декорации. И вдруг все эти затраты пойдут прахом!

Я тебе писал, что ваша влиятельная и благодетельная дама уже в Питере; узнай в адресном столе ее адрес и упроси помочь...

Во всяком случае немедленно извести, что, как и есть ли надежда и когда?

За «Зраду» и «Богдана» сведения интересны, но не так наглы, как за «Т а р а с а»!

Целую тебя крепко еще раз. Ради бога — «Тараса»! Он сделает нам на масляной разницу тыс. 5000..., а значит, и мне больше 300 р. и тебе! Ну, храни тебя господь!

Твой навеки *М. Старицкий*

Мария Конст[антиновна] тебя крепко целует. Она теперь вся в Лучицкой, что идет ее бенефисом, а потому писать некогда.

А где мои заложенные вещи? И каким образом их выкупить? За сколько?

72. ДО М. М. СТАРИЦЬКОЇ

[Березень 1894 р.]

Дорогая дочь моя! Ты даже не интересуешься узнать, что делается с твоим отцом и где он находится, несмотря на то, что уведомлена была о новой беде, свалившейся на его голову,— о безобразных исках, арестах и т. п. Ну, так вот я тебя, моя возлюбленная дочь, извещаю, что я нахожусь тоже в Киеве, в среде нашего семейства, по Мариинско-Благовещенской ул., в доме № 105.

Из этого обстоятельства вытекают следующие последствия:

1) Находясь в Киеве, ни я, ни Садовский не можем получить «Крути, та не перекручуй», котор[ое] опять-таки по выезде всех из Москвы злополучно очутилось не в указанном месте.

Если оно не будет переслано к празднику в Киев, то опять будет убыток семье. Похлопочи — ведь и тебе деньги нужны: пусть перешлют по нашему адресу. Все мы выехали в среду на 1-й нед[еле] поста из Москвы, и никакого объявления никто не полу[чил].

2) Без всяких посторонних [хлопот] мне разрешили и «Кривду и правду» (в [ме]сяца), и «Талан» (в 1 месяц), не задерживая Старицкого произведений (!?), и притом обе пьесы тенденциозные; почему б же они задерживали «Тараса», написанного в верноподданнейшем духе и разрешенного уже Ванченку-Писанецкому (я это подчеркиваю, так как пьеса, как историческая, уже пропущена и с этой точки зрения не может быть запрещена), а по идеям она правительственнее Ванченковской. Я скорее могу думать, что в затяжке виновата Библиотека: вероятно, пьеса залежалась — без ходатайства.

3) А что же с моим «Богданом»? Спрашиваю шестой раз. Прочитал ли г. Федотов его за 4 месяца и поступил ли он в цензуру? Или мне не суждено дожить до разрешения богдановского вопроса ни в Галиции, ни в России?

4) В чем же преступность общей идеи в «Зраде»? В том-то и вопрос?

Деньги дней через 2 вышлет Людя, через неделю еще; а на праздник и я.

Будь здорова и счастлива! Обнимаю тебя крепко. Отчего не хочешь обратиться к Рассохиной или Перлову в Москву? А [...] я напишу. Твой до гроба *М. Старицкий.*

73. ДО П. О. КУЛІША

Киев, Мариинско-Благовещенская ул., дом № 105
М. П. Старицкий

[Початок серпня 1894 р.]

Високоповажний, в. шановний і коханий добродію,
пане Пантелеймоне Александрович!

Так, коханий,— я маю право це слово зажити, хоч і не знаю Вас особисто, хоч і щастило мені майже раз чи два бачить пана — не більше, але Ваше слово, голосне та прекрасне, мов срібний дзвін, розбудило мою душу від малку, зворушило в їй одповідні струни, і вони й далі, хоч і порвані лихоліттям та друзями, дзвонять собі тихо сумну та безрадісну пісню... Під неї, певно, і в яму піду, бо вже й тепер її чорну пащу вбачаю... Так як же мені не любить того, що з моїм серцем зрослось, на що потрачена його сила і пал, що через ціле життя перейшло кривавою ниткою? Як же мені не любити того, хто чарами свого співочого слова натхнув і мені «духа свята»? А скільки мені вибивали добродієм очі і приятелі, і лукаві прихильники рідної мови! Все пхали до Тараса Шевченка учитись і раїли збутись Кулішевої отрути... та дарма! Мабуть, отрута була міцна, бо й досі, уже з сивим вусом, а як візьму до рук «Ратая», чи «Псалми», чи «Чорну раду», чи «Хмельниччину», чи «Досвітки», чи й що інше — серце молодіє, і мова, яку часом, було, проклинаєш, лащиться знов до хворого серця і гоїть його замилуванням рідним...

Не в осуду і не в огуду великому нашому співцю сліз крепацьких, чий лемент ворушив мені серце, а скажу, що в занадто простецькій мові його не було і нема чого вчитись; отож всяк, хто пхав до його в науку, лукаво галасував, що дба про чистоту народнього слова,— брехня! — він дбав тільки про те, щоб воно не вилазило з сповитків і не турбувало його, не́ука, своєю новою

силою!.. І як мало виявилось щирих нехибних прихильців! З старих — чоловіка чотири, та з молодих — чоловіка з п'ять... та й творці, а послухачів — дастьбі, та й усі!

Ой сумно з такою торбою стоять край могили, і кинув би її геть, та боляче,— зрослась з шкурою, ну й неси!

Чи з'явиться та просвітна годинонька, коли й наше затіпане, захаяне слово боязко сяде на покуті, чи йому вже з розбитими дзвонами лягати у вічну могилу? Ні друзяків, ні прихильців, а ворогів — господи. І дуки, і поплічники, і підніжки їх — все до нас ненависне і напасне! Всякий утиск не таким би був лютим по скуткам, коли б між нашими одинцями було менше єхидства й лукавства... Гай, гай! Коли б менше було лукавства та язвлення, то Ваші твори повинні б лежати у пишній оправі на всіх українських столах — а то наші народолюбці тільки на лайку багаті. Дивуються, що в історичних утворах добродія розкидано багато зайвої і несправедливої жовчі; але як тій жовчі не клекотать, коли минулі й сучасні часи між гноїщем, накиданим, може, і чужими руками, а появили на світ стільки черви, що оджахнешся з огидою...

Я й тепера оце пишу роман з Хмельниччини, то користуюсь найбільше панськими добутками... А коли б міг бачитись, то покористувавсь би радісно і панською радою і панською скарбницею.

Почувши, що п. Тимченко має до Вас прямувати, не міг зректися утіхи перекинути Вам через його і мій стогін, і моє щире вітання, продовж, боже, Вам віку, бо той певно піде на користь укоханої і славної праці... А то аж сум і зневір'я огорта часами настраждену душу, бо

Тумани з туманами густими
Як хмара злилися,
По Вкраїні, мов повідь весіння,
Страшна — розлилися.
. . . .
І затруюють правду науки
І жизні свободу.
І готують кайдани людському
Безпутному роду!

Цілком Ваший

М. Старицький

1895

74. ДО РЕДАКТОРА ГАЗЕТИ «КИЕВЛЯНИН»

[28 січня 1895 р.]

Милостивый государь!

Неоднократно я заявлял в бывших киевских газетах «Заря» и «Труд», что пущенная прежним Вашим сотрудником («Неизвестным») «заковыка» с сопричастными речениями, находящимися якобы в моем переводе «Гамлета», есть наглый вымысел, но тем не менее и после исчезновения с «заковыкою» прежнего Неизвестного, опять на страницах «Киевлянина» начала фигурировать эта, почему-то полюбившаяся ему, ложь. В прошлом году я напечатал вновь в газете «Жизнь и искусство» письмо, в котором спокойно объяснил г. рецензенту «Киевлянина», что ни одного из цитируемых им выражений в моем переводе «Гамлета» нет, предлагал даже (и теперь предлагаю) для проверки печатный экземпляр; но он вновь, не опровергши моих слов, во вчерашней «беседе» приплел ни к селу ни к городу мое имя и эту измышленную «заковыку».

Полагая, что Вы, г. редактор, стоящий на известной почтенной высоте, руководящий умами юношества, проповедующий с кафедры правду, должны сами гнушаться лжи и сознавать, что такие чуждые чести критические приемы роняют достоинство газеты, я обращаюсь уже лично к Вам с просьбой прекратить это нравственное безобразие, повторяющееся, вероятно, помимо Вашей воли, на страницах «Киевлянина» в продолжение двенадцати лет, и удержать, хотя бы в пределах истины. разнузданное наездничество.

Примите уверение и пр.

М. Старицкий

75. ДО РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ «ПРИАЗОВСКИЙ КРАЙ»

[Середина січня 1895 р.]

Милостивый государь, г. редактор!

В № 10 «Приазовского края», в фельетоне под заглавием «Сказки жизни», подписанном П. О. Тресовым,

появилась заметка о моей драме «Талан», исполненная оскорбительных выходок по поводу якобы тождества вымышленного мною драматического лица Юрия Котенка с существующим живым лицом, «создавшим малорусский театр, обогатившим малорусскую сцену множеством талантливых произведений, отцом всех актеров, славою и гордостью», одним словом — позволю себе раскрыть скобки — с М. Л. Кропивницким, так как другой фамилии здесь, очевидно, подставить нельзя.

Начну с того, что на основании только виденного на сцене посылать автору произведения оскорбительные приговоры — прием, мне кажется, рискованный. Всякому известно, что исполнителями могут уродоваться пьесы на сцене до неузнаваемости их самими авторами; купюры, отсебятины, так называемые с в а у к и, новые сценки для связи — все это может совершенно изменить физиономию произведения, но за все это отвечает лишь режиссер, а не автор.

Пьеса моя «Талан» напечатана в «Театральной библиотеке»,— при «Артисте»,— в № 36, за апрель месяц 1894 года. Согласно надписи на ней, она в таком виде только и может быть дозволяема агентами к постановке на сцене. Для избежания всяких злоупотреблений в так называемых копиях и списках я и напечатал ее почти одновременно с разрешением к представлению и формально просил Главное управление по делам печати не выдавать никому, помимо меня, копий. Итак, я ответственен могу быть и нравственно, и юридически лишь за текст, напечатанный мною и дозволенный в таком виде к представлению и обращению в свете.

Что было играно на сцене ростовского театра малорусским товариществом, по каким спискам, украшенным и дополненным, быть может, собственными воспоминаниями исполнителей, мне неизвестно; но, судя по заметке г. Тресова, что-то другое, а не мое.

Например, относительно фигурирующего в моей пьесе действующего лица Котенка г. Тресов дает совершенно несогласный с моим текстом доклад. По заметке последнего, Котенко выходит выдающимся, чуть ли не первым лицом в пьесе: он во всех действиях только и делает, «что интригует против гениальной актрисы, алчничает на деньги, развращает молодых актрис и хористок, поступает в ущерб родной сцены» и т. д. А в моей

пьесе режиссер Котенко четверторазрядное, аксессуарное лишь лицо, не имеющее никакого влияния на лиц и развитие драмы. Мой Котенко и выступает на сцену лишь в I действии, да в двух явлениях IV; в I действии он действительно, увлеченный кокеткой Квятковской, желает подвести Лучицкую под штраф, но и только; в IV же действии он уже стоит за Лучицкую горой, видя в ней единственную в сборах подпору, а в V д[ействии] даже делает за кулисами в пользу ее, умирающей, денежную подписку. Мой Котенко никого из молоденьких артисток не развращает,— нет ни одной у него подобного рода сцены,— и только одна лишь сожительница его Квятковская в IV д[ействии] в исступлении за отнятые роли и в минуту ревности к Лучицкой бранит его всячески, упрекая и Лучицкой, и хористками... Но Квятковской ни в чем верить нельзя; она и нарисована отчаянной лгуньей и во всех сценах верна лживости своей мерзкой натуры и т. д. У меня, вообще, изображен Котенко не совсем даже отрицательным типом, а заурядной,— отчасти эгоистичной, отчасти бесхарактерной,— личностью, несколько раздраженный, что никто не признает в нем ни режиссерских, ни актерских талантов, отчего у него и является зависть к другим.

Г. Тресов между тем, наделив в своей заметке Котенка самыми черными и грязными красками, уверяет читателей, что он и публика узнавали в этой фигуре портрет живого лица — М. Л. Кропивницкого — и что он сам берется доказать по репликам из моей пьесы это тождество. В добрый час! Я посылаю ему для этого даже пьесу.

Я же, с своей стороны, не только отрицаю, но и отношусь с полным негодованием к такому даже подозрению, находя, что и самая заметка г. Тресова, несмотря на признание за моим коллегой и приятелем известных заслуг, есть все-таки оскорбление его личности.

Стремясь постоянно расширять узкие рамки, отмежеванные цензурой для малорусских пьес, я старался и сам, и в сотрудничестве с другими выводить на сцену интеллигентные классы, и так как в последнее время малорусская речь могла проскользнуть на сцену в одном лишь кружке «сюртучных» лиц, кружке профессиональных малорусских артистов, то я и решился воспользоваться

зоваться этой возможностью для оживления хотя чем-либо однообразия сцены.

Задавшись темой из жизни малорусских артистов, я сознавал и неудобство, и страшную трудность задачи. Малорусские труппы, хотя и расплодившиеся в последнее время, представляют, с одной стороны, все-таки малое поле для наблюдений и для широких обобщений, а с другой стороны — выводимый на сцену малорусский актер вводит в соблазн и зрителя, падкого до открытия псевдонимов, и актера, стремящегося к дешевым эффектам,— угадывать и стараться изображать какого-либо знакомого... Я поэтому и употребил все усилия, по мере моего разумения, чтобы лица моей драмы, а особенно отрицательные, не были снимками с живых лиц: портреты, даже художественные, единичных, конкретных людей не только не дают цены произведению, а роняют и существующие достоинства,— тем более пасквиль, да еще на соработников по созданию и упрочению родной и дорогой мне сцены.

Я и для сюжета своей драмы взял не какой-либо единичный случай, а общее, существующее доныне презрение высшего, так называемого порядочного общества к актеру, которое-то и губит молодую, гениальную силу. Закулисные интриги у меня стоят на третьем плане, и они сами по себе, без Квятковской с маменькой, не имели бы никакого решительного влияния на судьбу Лучицкой. У меня, напротив, весь закулисный мир выставлен симпатичным, полным дружества, преданности делу и взаимно родным; за исключением лишь лживой кокетки Квятковской да тупой заурядности Котенка, там все идеальные лица и, смею заверить, не составляющие портретов действительных, живых лиц...

Что Котенко ни единой чертой не только не напоминает портрета известного сценического деятеля, но даже исключает возможность всякого в том подозрения, то могу доказать я смело, на основании моей настоящей пьесы.

Прежде всего, чтобы вычеркнуть моего приятеля из числа лиц, могущих по догадкам быть прототипами Котенка, я одному драматическому лицу в своей пьесе дал почти дословно имя и фамилию моего коллеги, именно Марк Жальницкий (крапива по-малорусски — жалыва); но это лицо изображает талантливейшую и теплей-

шую фигуру. Потом, всем известно, что Кропивницкий — талантливейший актер, не имеющий пока на свои роли соперника, что он первый фундатор малорусской труппы, что его всегда публика принимала с овациями. Между тем мой Котенко не драматург, не инициатор и даже неважный актер: ни публика, ни пресса не признает его талантов и без Лучицкой не посещает театра,— это во всей пьесе освещено ярко. Какие же такие сходные черты характера или присущий живому лицу исключительный эпизод могут указать на то, что Котенко есть не кто иной, как общеизвестное лицо?

Примите и пр.

М. П. Старицкий

Киев

76. ДО М. М. СТАРИЦЬКОЇ

[Літо 1895 р.]

Дорогая моя, любая дытынонько! Болен я все время и почти прикован к постели: в Москве [нерозб.] на сквозниках простудился, схватил бронхит, инфлюэнцу и в придачу еще вновь ревматизм... Острый период болезни прошел уже с месяц тому назад, а хронический только входит в силу; деятельность сердца совс[ем] ослабела, начался нефрит — ноги опухли почти до колен... На воздух-то я выхожу, но и последнего здоровья не осталось... Увижу ль тебя? Мне все время горько и больно было, что ты так холодна была ко мне в последний приезд? За что? Ведь я тебя всегда любил... А если чем виноват, то прости: неужели в твоем сердце не хватит ко мне доброты и забвения? Да хранит тебя милосердный творец и прикроет своею ласкою во всех твоих начинаниях; пусть сердце твое не ведает разящих утрат и пусть найдет оно в чистом искусстве цель и смысл жизни! Еще одна просьба — не моя, а целой семьи: хотят хлопотать о пенсии, так узнай у Пети Старицкого, когда будет в городе сенатор Старицкий Егор Павл[ович]? Людя хочет просить его замолвить слово (она буд[ет в] Петерб[урге])... Теперь за себя: напиши Заньковецкой (я тоже), чтобы она вручила тебе рекомендательное письмо Суворину (Харьков, сад Тиволи). Обнимаю тебя крепко и призываю на тебя благословение божие.

Твой до гроба *М. Старицкий*

77. ДО РОСІЙСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК

[29 листопада 1895 р.]

Его высокопревосходительству, господину товарищу президента императорской Академии наук, Леониду Николаевичу Майкову

В постоянную Комиссию для пособия нуждающимся ученым, литераторам и публицистам

дворянина Михаила Петровича Старицкого

Прошение

Всю жизнь свою я трудился на поприще слова и добывал этим трудом средства к жизни для себя, для своей семьи и для воспитания четырех детей, из которых последний сын еще малолетен. Со времени напечатания моих первых газетных статей прошло уже с лишком тридцать лет. Сначала я участвовал в киевских газетах — в «Телеграфе», «Труде», а потом «Заре»; в этот же период времени издавал я много брошюр для народного чтения, а также перевел на народный язык «Сербские думы и песни» и, издав их два тома, в 1876 году пожертвовал все издание в пользу Красного Креста. Затем перевел на народный язык лучшие произведения славянских поэтов и издал эти переводы в Киеве в 1882 и 1883 гг. в двух томах, под заглавием «Думы и песни». С 1883 года я направил всю свою деятельность и все остатки отцовского наследия на создание народного театра: сформированная мною для этой цели труппа объездила всю Россию, вызывая сочувствие и восторженные отзывы публики и прессы, осчастливлена даже была высочайшим одобрением незабвенного, почившего в бозе монарха.

С 1875 года я начал писать для народной сцены и драматические произведения как на литературном, так и на южнорусском народном языке, каковы: «Гетман Богдан Хмельницкий» (истор. драма в 5 актах с эпилогом), «Тарас Бульба» (истор. драма в 7 картин.), «Юрко Довбиш» (историч. драма из жизни гуцулов, в 5 д.), «За друга» (быт. драма в

5 д.), «Талант» (драма в 5 д.), «Кривда і правда» (драма в 5 д.), «Пропащий» (драма в 2 д.), «Чорт-побратим» (оперетта в 3 д.),а также «Різдвяна ніч» (малор. опера в 5 д.), «Утоплена» (мал. оперетта в 4 д.), «Сорочинський ярмарок» (мал. оперетта в 4 д.), «Не так склалося, як жадалося» (драма в 5 д.), «Крути, та не перекручуй» (малор. комедия в 5 д.), «Ніч під Івана Купала» (мал. драма в 5 д.), «Зимовий вечір» (драм. картины в 2 действ.), «Чорноморці» (мал. оперетта в 3 д.), «Циганка Аза» (драма в 6 д.), «За двома зайцями» (комедия в 4 д.), «Як ковбаса та чарка, то минеться й сварка» (картины из народн. жизни), «По-модньому» (водевиль) и другие мелкие вещицы. Некоторые из этих пьес напечатаны отдельными брошюрами, а другие вошли в собрание моих драматических произведений, издаваемое в Москве г. Рассохиным (вышло пока 2 тома).

С 1884 года я стал сотрудником газеты «Московский листок» и состою ним и поныне. За десятилетний период напечатаны в этой газете, кроме публицистических статей, стихотворений, заметок, и следующие мои произведения: большой исторический роман (на 40 п[ечатных] лист[ов] «Богдан Хмельницкий», исторические повести — «Осада Буши», «Заклятая пещера», «Мыто», «Непокорный» — бытов[ая] повесть и рассказы — «Над пропастью», «Вот так совесть», «Никола», «Буланый», «Доктор», «Понизил», «Сторож», «Узник», «Жид», «Вареники», «Протокол», «Верба», «Зарница», «Рябко», «В вагоне»... Кроме сего, сотрудничал отчасти в «Артисте» и в заграничных славянских изданиях.

Давши жизнь многим теперешним народным труппам, сам я разорился окончательно, так что для погашения непокрытых моим бывшим состоянием долгов должен был продать и доход из моих драматических произведений одному из членов Общества русских драматических писателей, а сам в последнее время существовал исключительно на гонорар газеты «Московский листок».

Но хроническая фатальная болезнь с каждым днем отнимала у меня здоровье и силы, годы же всяких передряг, нервных потрясений и непосильных трудов уско-

рили приход старости, а она, в союзе с болезнью, разбила уже мои силы вконец... И вот, находясь в беспомощном положении, на краю неизбежной могилы, я ободрен надеждой: меня озарила высочайшая, беспримерная монаршая милость, уделившая от августейших щедрот и для поддержания нас, тружеников слова, известную лепту... А потому, осененный ею, я имею честь покорнейше просить Ваше высокопревосходительство и Постоянную комиссию, буде ее высокая компетенция признает мою деятельность и мои литер[атурные] труды достойными внимания,— назначить мне пожизненную возможную пенсию для поддержания существования моего и моего семейства.

Прилагаю при сем: 1) свидетельство губернского предводителя дворянства о неимении ни у меня, ни у жены моей никакого состояния, 2) медицинское свидетельство о болезни и 3-е удостоверение о моем сотрудничестве в «Московском листке». Прошение сие доверяю дочери моей Людмиле Старицкой. Жительство имею в г. Киеве, Бульварного участка, по Жилянской ул., дом № 77.

17 ноября, 1895 года.

Дворянин *Михаил Петров сын Старицкий*

78. ДО Д. Л. МОРДОВЦЕВА

[Грудень 1895 р.]

Високоповажний і дорогий серцю добродію
Данило Лукич!

Щиро, від самого надра душі дякую Вас за Ваше тепле слово про мене; само воно дорожче тих скутків, які з-за його ласки можуть виникнути...

Справді, потративши на рідну укохану справу ціле життя, винищивши серце болінням за темний свій люд, за петиму мову, було б гірко простягтись у труні під погордим усміхом недбалої юрби, під власним докором, що на баєчну дурницю розмантачені були сили; отож Ви зрозумієте, любий і щирий добродію, який на зимовім заході дорогий і втішний нам, хворим, хоть єдиний промінь зогрітого любов'ю серця.

Не кидаючи рідної мови, компонуючи щороку нові драми, я уже літ з десяток з нужди пишу між іншим і в «Московском листке», але все або розповідки із нашого народного життя і повісті, або повісті і романи із нашої історії... Остатній роман «Богдан Хмельницький» друкується сього року (1-а частина), а на тамтой буде друга,— всього на 100 друк[ованих] аркушів.

Роман, коли дозволите, я хочу присвятити Вам при виданні; для того й прошу, прочитайте його, укажіть хиби і коли знай[дете] дотепним, то благословіть мені присвятити його Вам, яко натхновенному мені своїми цінними утворами смак і прихил до наших минулих славних подій.

Перекажіть від мене щирий і низенький уклін всім, хто мене пам'ятає; чи приведе бог побачитись — про те знає моя щира приятелька хвороба.

Пошли Вам боже всього найкращого, а найпаче доброго здоров'я і довгого віку.

Обнімаю Вас щиро.

Весь цілком Ваш з найбільшою шанобою, і найщиршим прихилом

М. Старицький

1896

79. ДО В. Г. КОРОЛЕНКА

[Травень 1896 р.]

Многоуважаемый
Владимир Григорьевич!

В. В. Лесевич пишет мне из Денисовки, что он передал мой рассказ «Зарница» Вам и что Вы изъявили любезно согласие просмотреть его лично и решить, достоин ли он занять страницы Вашего почтенного журнала.

Горя нетерпением узнать судьбу моего рассказа, а также и мнение о нем нашей крупнейшей литературной силы, я прошу Вас сердечно почтить меня уведомлением, будет ли «Зарница» напечатана, когда и на каких условиях гонорара. Если бы потребовались некоторые (не-

большие, конечно, и не искажающие тона) сокращения, в силу цензурных условий, то я их разрешаю.

Адрес мой:

Киев, Жилянская улица, дом №77.
Михаилу Петровичу Старицкому.

Примите уверение в совершенном почтении и глубокой преданности Вашего покорного слуги.

М. Старицкий

80. ДО М. М. СТАРИЦЬКОЇ

[Початок червня 1896 р.]

Дорогое мое деточко! На Кавказ мы не едем: препятствием стали не так даже деньги (Чернях[овский] мне [виноват] 200 р.), как страшное ухудшение моего здоровья: желудок и сердце отказываются служить совершенно, опять начались припадки угрожающие... По совету врачей поступил я здесь в водолечебницу Успенского; вот третий день как проделываю[т] со мною всевозможные процедуры: промывку желудка, массаж, электризацию, теплые ванны и йод внутрь... что из этого выйдет — одному богу известно,— а мне так кажется, что я уже тебя не увижу... Если чем [виноват] перед тобой, то прости: я всегда тебя любил, но ты в последнее время как-то холодна ко мне стала, а может быть, мне это только казалось,— больные всегда мнительны. У нас в последнее время плохие стали денежные ресурсы: из общества начали мало высылать (правда, за весну еще поступлений почти не было), Пастухов с коронации стал «Бурю» печатать только раз в неделю... Потому-то и тебе не сполна высылаются деньги; впрочем, я перед тобою прав, у меня все занимает дом деньги: до свадьбы 75 р., после — 65 р., потом 100 р. и еще вот уже должны 103 р. Предыдущие с т о р у б л. я занимал и объявил, что это твои деньги, чтоб тебе уже их выслали... да вот все у них недочет! Да ведь те деньги, что и Людя тебе высылает,— тоже домовые: это Шура платит за содержание и квартиру, а их и назначили тебе...

Теперь вот мое лечение и мамино — у нее тоже с ногами плохо!

Сердечная моя просьба к тебе, исполни ее немедленно и напиши (Назарьевская ул., № 21): справься в редакции «Русского богатства», какая судьба постигла мою «Зарницу» и Людино «Пристроили». Справься у самого Короленка. Я получил от Лесевича письмо, в котором он пишет, что ему сильно понравилось и он рекомендовал Короленку, который взялся сам прочесть. Теперь я ему писал в редакцию и не получаю ответа... В Питере ли он?

Как ты располагаешь собою? Имеешь ли что-либо на зиму? Напиши обо всем поподробнее.

Обнимаю тебя крепко. Храни тебя, мою нагідочку, господь и пошли тебе счастья... Не поминай, родненькая, меня лихом!

Весь твой *М. Старицкий*

81. ДО М. М. СТАРИЦЬКОЇ

Назарьевская ул.,
дом № 21

[Липень 1896 р.]

Дорогая Манюто!

Спасибо, что дала хоть справку. По всему видно, что это просто свинская редакция; относиться так пренебрежительно к провинциальным писателям — это просто неприлично, а не отвечать и забрасывать рукописи — это уже подло... Ну их, этих генералов, к нечистой! И просил же Лесевича, чтобы в «Р[усское] богатство» не давал... а он хотел сделать услугу; и относительно его даже Короленко поступил неделикатно,— дал слово лично прочесть и швырнул какому-то прихлебателю... Потом меня извещает, что редакция ответила, а та и не думала; я даже уверен, что никто и не читал: иначе бы они ответили, наверно, что не подходит в цензурном отношении...

Продолжаю письмо через две недели. Все это время поглощен был вопросом: жить или не жить? Меня мама первое время возила в водолечебное заведение Успенського на извозчике (через улицу только), а теперь, благодаря бога, я не только сам хожу, но и на гору всхожу

без задышки и вообще себя чувствую хорошо... Не знаю, как дальше будет, но и за это улучшение я не знаю как и благодарить бога. Буду лечиться до сентября, а то, м[ожет] б[ыть], и до октября. Теперь и маму туда же определил: у нее, к несчастью, формальная подагра с осложнения[ми] общего ожирения; если не принять радикальных мер, то последствия ужасны: быть с слоновыми ногами в такой ранний возраст! Мне в больнице делают утром промывание желудка и электризацию, вечером — ванна и массаж, а с недели начнутся и души. Маме — общий массаж, сухая паровая ванна и души... Кроме того, не есть вообще мяса и ей, и мне! Все это лечение обходится 80 р. в месяц! Напрягаю последние усилия, чтобы ремонтировать ее и себя... оттого так и трудно в деньгах, принимая во внимание, что авторские уменьшились... Латаемся уже моими заработками. Впрочем, я тебе к именинам вышлю 10 р.— больше, ей-богу, пока трудно.

Да, еще за эту злосчастную «Зарницу»: возьми ее немедленно из редакции и пристрой, если сможешь, в «Новом слове»: тамошняя редакция очень симпатична и вежлива; напечатала Косачкиного «Соловья» и хорошо ей заплатила... и вообще запрашивает малорусских писателей... Найди ходы и устрой, чтобы прочли; если найдут, что нецензурна, то, наверно, укажут места и дадут проект изменения их. Мне очень хотелось бы, чтобы ты осталась в Петербурге; ты бы выхлопотала мне разрешение к сцене пьес... а то мои «Тарас Бульба», «Мазепа», «Лимерівна», «Маруся Богуславка», «Вій» ставятся за другими именами, и я авторских не получаю...

За пьесу — непременно прочту и сделаю, а пьесу вышли — здесь нет. Теперь кончил «Богуславку» и берусь написать «Хама»; а потом и твою... Времени мало: прежде был страшно болен, а теперь хотя и лучше, но лечение занимает много времени, а после него отдых или гулянье.

Напиши маме, чтобы она хоть режим выдерживала: а то воды «Сальватор» не пьет, моциона не делает, мясо ест, а растительной пищи не хочет... Изумительная калека: смерти боится, холеры — пуще смерти, а кроме всего, мнительна, а в лечении ломается. Последние гроши тратишь, а результата, по милости ее, никакого!

Обнимаю тебя крепко, крепко, мое дорогое дитя... Дай тебе бог великого счастья и успеха! Людя влюблена в своего кабана, как кошка... Но он в действительности (как я и видел) такая несимпатичная фигура — груб, скуп, [нерозб.], страшно с ней невежлив, а все [наслаждение], полагает, в жратье и сне... Слава богу, что она в слепоте страсти все ему прощает,— но если проснется, то будет горько разочарована... Оксана блаженствует у Косачей. О[льга] Ант[оновна] целует Марка в самое вичко через 2 дня на третий. Юрко начал заниматься к передержке. Андрюша с Леночкой, кажется, разойдутся... Целую тебя, серденько, много, много раз. Пиши почаще.

Твой навеки *М. Старицкий*

82. ДО М. М. СТАРИЦЬКОЇ

Назарьевская
дом № 21

[Серпень 1896 р.]

Дорогая моя Манюсенька!

Как наши мысли и желания встретились! Только что хотел тебе писать, чтоб ты помогла снять Петербург и подходящие города, а ты мне вдруг о том сама пишешь... Нужно тебе знать, что Садовский, потерпевши неудачи в снятии городов, просил меня вместе с Товариществом, чтобы я взял на себя этот труд и дал полную доверенность; я согласился только с будущего лета, так как эту зиму, считаю, поздно... Но вот у них на этот именно зимний сезон нет театров! Так твое письмо, выхо́дит, в руку.

Так вот к делу.

Прежде всего нужно иметь базисом сезона зимнего Петербург от праздников и до поста или даже от 1 декабря и до конца сезона. Тогда предлагаемые тобою театры пойдут на ноябрь. У нас снята на сентябрь Полтава; если направить на север маршрут, то можно взять по дороге Курск, Орел (октябрь) и Новгород (ноябрь 12)... Можно в Курске и Орле побыть больше.

Теперь первое желание, чтобы театры снимались преимущественно на процентных отношениях, а не на

определенной плате: первые условия связывают интересы хозяинов с труппой, а вторые обезразличивают их и требуют залогов и задатков.

Вот обыкновенно какие платятся проценты:

Театр — с декорациями, освещением, отоплением, мебелью (в зале, уборных и на сцене), декорациями; с машинистом, рабочими, капельдинерами, с вечерними расходами, именно: афиши, билеты, расклейка, разноска, анонсы, объявления в газетах, наряд полиции, авторские, оркестр — платится за все это в больших городах при театре, вмешающем до 1000 р[ублей], одна треть валового сбора (33 проц[ента]), а труппа получает 67 проц[ентов]. (Такой, наприм[ер], договор с Киевом на будущее лето). Зимой же процент несколько повышается: мы, напр[имер], платили Неметти 50 проц[ентов], а Родону в Москве 45%, но ихние театры вмещали до 2000 р[ублей] валов[ого] сбора. Так вот и имей в соображении: по крайней мере Петербург нужно на процентах, иначе там возьмут большую плату и вечерний расход влетит в большую цифру, на которую Товарищество не захочет рисковать. В Новгороде, вероятно, маленькая цена, так там и рискнуть можно.

Обратись к Неметти; у нее все уже благоустроено, и реклама в опытных руках,— так недурно бы там пристроиться... Труппа ей известна; много новых пьес.

Теперь за Кононова. Разузнай и напиши подробно: не заброшен ли публикой этот театр, благоустроен ли и на каких условия[х] отдается. Нельзя ли хозяина его склонить на процентные условия и т. д. ...Если еще есть театр, то тоже сообщи. Перво-наперво разведай все за Петербург и сообщи мне поскорее, даже если что интересное, то и телеграммой. Дальнейшие инструкции получишь.

Соображай, что для нас пригоднее тот театр, который больше вмещает, где больше и дешевых мест и где на процентах — со всеми вечерн[ими] расходами.

Спешу. Обнимаю тебя крепко. Пиши и спеши. Важно знать, куда направить маршрут.

Твой навеки *М. Старицкий*

83. ДО М. Ф. КОМАРОВА

Киев, Караваевская ул., дом № 33

[Кінець листопада — початок грудня 1896 р.]

Вельмишановний і дорогий
Михайло Федорович!

Чернігівський делегат проїздом розказував про ювілей М. Л. багато пишного, але дещо із його розповідки вразило мене і хочеться знати, чи то правда? Р а з, моя телеграма з повіншуванням н е ч и т а л а с ь: я її послав рано, і спізнитись вона жодним робом не могла, бодай і звертались на сю причину; друге, я її напрямив в Русский театр,— значить, і з адресом не могло буть плутанини... Крім поштою адреса, телеграми, я ще завтра в нашім артистичнім клубі читаю з Науменком про Кропивницького і кращі місця з його творів... Так, стало буть, телеграмою з моїм вітанням понехтували? Дуже ясний урок! Д р у г е: переказував Г., що ніби при читанні телеграм х т о с ь великим голосом запитав: «А од Садовського де телеграма? Читайте!», а на одповідь «нема» почалось [...].

Обнімаю Вас. Жду одповіді. Весь ваш

М. Старицький

1897

84. ДО О. БОРКОВСЬКОГО

Киев, Караваевская ул., дом № 33

[Червень 1897 р.]

Високоповажний добродію!

В 11-му числі Вашої «Зорі» від 1/13 червця, у розправі під заголовком «Література й життя» (Листи з України російської), підписаній псевдонімом М. Гримач, зведена на мене лжа з метою забруднити моє старе ймення яко робітника на українській ниві; клеветник узиває, нарешті, всю мою літературну діяльність з погляду етики мінусною, себто неморальною... Такої образи честі не дозволила б собі і наша гонительна газета «Киевлянин»,

а своя газета «Зоря» друкує інкримінації на відомого всім і заслуженого українського літератора, на свого співробітника, друкує від якогось лиця, що ховається під псевдонімом, і не приписує навіть від себе, що вона не ручається за вірність фактів, а відповідальність за них склада на оббрехача... Та хоч би вона, редакція, одібрала скаргу від якого-небудь з ограблених — чи Нечуя, чи Мирного, чи Кропивницького, чи Глібова, то ще б мала якесь моральне право надрукувати цю скаргу з додатком від себе, що вона не відає, чи справедлива скарга, чи ні, а друкує для того, щоб дати змогу обвинуваченому оправдатись...

Ви ж, добродію, надрукували без всяких навіть обмовок, себто і самі перед читателями ручаєте, що все на мене надруковане є щира правда і що вся моя літературна діяльність неморальна.

Так як я єсьм ображений Вами і невідомим мені злосним набрехачем, то во ім'я гонору і честі, во ім'я морального і юридичного права, як оббреханий, уклінно прошу Вас виявити мені, хто цей новий етик, що з-за кутка кидає брудом? Мені дійсно це треба знати для того, щоб пана допищика потягти на суд честі товаришів і всіх письменників, щоб перед усіма без машкари довів, чи справедлива його огана і чия літературна діяльність окажеться неморальною?

Жду нетерпляче від пана добродія одповіді; адреса моя занотована на цьому листі зверху.

З високим пошанівком і прихильністю зостаюсь

Мих. Старицький

85. ДО М. Ф. КОМАРОВА

Киев, Караваевская ул., № 33 — [Друга половина червня 1897 р.]

Шановний і дорогий Михайло Федорович!

Як Вам, певно, відомо, що я в Москві ратував за наші цензурні права і що мені пощастило одностайно провести три питання, за які мають височайше бити чолом. «Киевлянин» давно уже за це зняв гвалт (навіть «Московские ведомости» промовчали), і запроданець

його І. Александровський почав на мене вергати всяку всячину, лементуя, що такому докладачу ні в чім не можна няти віри, що всі його просьби — се нахабистий сепаратизм... Але й «Киевлянин» не захотів надрукувати його більших інкримінацій, і шпик цей тинявся з ними по петерб[урзьким] часописям, поки не знайшов «Мировых отголосков», які надрукували його розправу. Ця стаття є чиста клевета, і всі юристи це признають, отож я і підняв на Александровського уголовний позов, маючи дві мети — і заборонити своє йменння, і зломити вплив інсинуацій на ходатайства по українським справам, які оце саме тепер розпочаті суть у Петербурзі... А тепер гляньте, що роблять наші добровільні Александровські. Д. Шраг, будучи у Києві, радився з д. Кониським про мій процес і, звичайно, розказав про це в Чернігові, а Чайченко (напевне ще я не знаю, але Кониський і всі кричать, що він; та і правда, всі подробиці про його розмови з цензором за свої утвори і таке інше свідчать це міцно), довідавшись, черкнув і собі в «Зорю», щоб кинути разом з Александровським в мене брудом: тільки різниця й тут між обома доносщиками — Александровський підписується повно і не ухиляється від суда, бо й обвиняє повно, а М. Гримач ховається за псевдонімом і потайно кусає, по-шулерськи викида карти, напр., пише: а) що був у Александрова з Старицьким суд, і, здається, небезпідставний... і не дописує, що не Александров, а Старицький позвав на суд і що присуд стався такий (він єсть і був надрукований): «признать п'єсу «Ой не ходи, Грицю...» самостійною Старицького, плагіата жодного нема, претензії, заявлені на суді Александровим, признать несостоятельними»; б) що «За двома зайцями» — це ж Левицького, а в книжці, яка лежить перед його очима, й надруковано: пер[еробили] Левицький і Старицький, і перероблено це з доброї його волі й дозволу, в) те ж саме, що «Крути, [та] не перекручуй» — «Перемудрив» Мирного... А в мене й в книжці стоїть — перер[облено] з «Перемудрив» Мирного, і то не то, що з дозволу, а з спільної ради, г) «Не судилось» — написана мною ще в 1875 році під назвою «Панське болото», перший план навіть редагований Матвієва рукою,— оброблено мною і читано при добродієві в 1879 р., розрішено до друку в 1881 р. і надруковано в «Раді» 1882 р., а Кропивницького появилась лише 1884 р. Коли

він мені читав свою драму вперше, то вибачався, що моя драма нагадала йому давню його роботу, яку він був закинув, а тепер обробив. Ні тоді, ні тепер я жодної претензії до п. Кропивницького не мав і не маю і находжу, що його драма з о в с і м і н ш а, ні одного характера, ні одної сцени нема з моєю схожих, ні одного слова у мене не позичено... Тільки й схожості, що і у його, і у мене молодий дворянин закохався у просту дівчину, і з того кохання для бідної дівчини вийшло горе, але і ці паничі і дівчата різні: мій — розбещений, який уганя тільки за тілом, спокуша дівчину, робить їй дитину, а потім уже вигадує з дядьком, як замазати це діло; дівчина у мене від зневаги і зради сама себе труїть, а у Кропивницького панич просвіща дівчину, дає книжки, поводиться з нею чесно, і тільки по непорозумінню, напившись п'яний, щось ляпнув баришні, а та взяла це слово за предложеніє... З цього вийшла пльотка, яка дійшла до дівчини, і та після розмови з його матір'ю просто остудилась чи захопила нервову гарячку і умерла від бога: у Кропивн[ицького] нещастя трапилось від непорозуміння, а не від волі чоловічої... А що схожість сюжета не дає мені жодного права думать, що Кроп[ивницький] позичив сюжет у мене, то ні! Це така взагалі тема, яка раз у раз кидається у вічі і трактується всіма письменниками: у нас — «Щ и р а л ю б о в», «Р у с а л к а» (князь закох[ався] у просту), «Г о р ь к а я с у д ь б и н а», «Г а н н у с я» і т. д. І у Сарду, і у Ібсена, і у др[угих] драматургів таких тем досить...

На превеликий жаль, Кропивницькому ця драма заборонена і її нема в друці, а це дає змогу негідним обрехачам ляпать калюкою з-за кутка. Далі моя «Ковбаса та чарка» розрішена до вистави, здається, в 1874 р., а надрукована у «Луні» 1881 р., і я від Глібова жодних претензій не мав; нарешті він друкує своє «До мирового» в 1892 р. і пише на книжці, що сюжет заімствован, а Чайченко каже, що я у його взяв... і т. д.

Гнусність цієї статті М. Гримача ще вбачається в заміру, що він приганя свої оббрехи якраз до часу, до Александровського, до наших цензурних ходатайств... Книжки мої надруковані 7 літ назад, а він тепер згадав про них, причепив до сих книжок «Не судилось», а про другі утвори, хоч би про «В темряві», «Талан» і інші, й забув і умисне озива мою літер[атурну] д і я л ь н і с т ь

неморальною. М. Гримач знов пише завідому лжу, що в мене нема оригінальних утворів, а в мене їх бодай чи не найбільше: «Не судилось», «Цар Горох», «Кривда і правда», «Розбите серце», «Богдан Хмельн[ицький]», «Маруся Богуславка», ще в співробітництві оригін[альних] дві. (У Кроп[ивницького] в останн[ьому] виданні 6 ориг[інальних] велик[их], 2 водев[ілі] і 4 позичених; у Карого в двох томах ориг[інальних] єсть 8).

І не це дивно, що допищик надіва на себе мало чи не 6 масок і під масками пише і розправу, і допис, і рекламу на себе, і похвалу собі... без лиц в трех лицах божества! А дивно і скорбно теє, що **я**, іменно я, не відаю, за які гріхи стаю метою для всякого паскудича, аби мене обруднити... І дивно ще те, що яка б лжа, яка б клевета на мене не була зведена, ніхто не здійме руки оборонити, ніхто не зупинить оббрехача. Візьміть хоч те: звісно всьому Києву, і Одесі, і Харкову, й далі, що **я** зібрав велику українську трупу, що **я** сполучив в їй всі сили (Саксаганський, Карий, Затиркевич і др[угі] мною взяті), що я уложив на неї всі свої гроші, що, з'єднавши сили і додавши до них костюми, декорації, хор великий, оркестр, зняв я славу українських спектаклів (не умаляючи ні на волос художність артистичних достотн[остей] Кропивн[ицького] і других), що я прошахрував на них всі свої достатки і був покинутий з ісполнит[ельними] тільки листами, а на старість лишився з поденною тільки працею,— невважаючи на це, не тільки ніхто не згадає моїх заслуг, а навіть, коли Кропивн[ицький] в своїх автобіограф[іях], та й другі за ним,— навіть не поминає мого ймення, не натякає навіть на те, що $2^1/_2$ роки служив у мене, пригадуючи служби $^1/_2$ р[оку] у Ашкаренка і 2 місяці ще в когось,— то ніхто не поправить навіть його пропуска! Старицький мовчить, не варто, щоб його й згадати: його не було й званія!.. І кривда панує, оброста мохом, а потім стає правдою; коли за життя мого тільки клеветою та лютими нападами криється моє життя, то що ж то буде по смерті? І ніхто, ніхто не замовить правдивого слова, а ті, яким добро вчинив, першими ворогами стануть. Скільки моїх п'єс іде на сцені під чужим стягом, і скільки людей одбирають з моєї ласки і гроші за них, і хвалу? Та п'єс з десяток є перероблених мною, по просьбі авто-

рів, до сцени і власне моїх, тільки за недозволом мені йдучих під чужим йменням... Отже, і ті дві-три п'єси, які з дозволу певного авторів перероблені мною, за спільною радою, і дозволені з ласки цензури,— і ті п'єси кожному мулять очі, не звертаючи уваги, що в книжці у мене ясно помічено, звідкіля взяті і з ким співробив. Невважаючи на те, що, певно ж, коли це робиться явно, то єсть же на те дозвіл авторів?.. А в чім же є неморальність, коли я з доброї згоди чи навіть з просьби, маючи на меті користь сцени і прокорм трупи, переробляю зовсім негідні драми і даю їм хід? Вам не звісно, що в останні часи цензура пускала тільки негідь, бажаючи задавить нею нашу сцену... так це не морально боротись з цензурою? Кому від цього зло? Цензурі — дуля; публіці — задоволення; актьорам — гроші і хліб; щасливим авторам, які мають привілеї в цензурі,— авторські; сцена — все-таки життя! Добровольці і зобличителі куди гнуть? Розкрить чи так, чи іначе цензурі очі, поставить поліцію на осторожі, а адміністрацію на заборону... З Александровським я суджусь формальним судом, а М. Гримача попрошу на суд честі, товариський. Отож прошу Вас дуже й дуже понудить від себе редактора «Зорі», щоб він мені виявив дійсно автора цієї статті... Я писав Борковському і Грушевському, пишу й Вам, бо хоча й всі певні, що писав Чайченко, для мене треба доказа... А «Зоря» яка помийниця? На свого співробітника, на старого літератора пише паскудства, не обмовляючись навіть, що за вірність фактів вона не одповіда!

Обнімаю Вас щиро. Жду відповіді. Щиро шануючий і прихильний, як завжди.

М. Старицький

86. ДО Б. Д. ГРІНЧЕНКА

[Початок липня 1897 р.]

Високоповажний добродію!

Будьте ласкаві, відпишіть мені, чи не Ваш це псевдонім «М. Гримач»? Таким псевдонімом підписані статті у «Зорі» (ч. 11 і 12).

Простіть за турботу, але не лишіть, прошу, мене без відповіді.

З належним пошанівком

М. П. Старицький

Моя адреса:
Киев, Караваевская ул., дом № 33.

87. ДО І. Л. ШРАГА

[Початок липня 1897 р.]

Вельмишановний і дорогий добродію
Ілля Людвигович!

Посилаю Вам на незабудь мого «Богдана» (драму); попустив трохи помилок п. Науменко, та вже нічого не вдієш,— вибачте!

Обертаюсь до Вашої ласки і щиро прошу, коли мога, поміркуйте за Стешенка: чи не вдалося б хоть приватну яку посаду там у Чернігові йому здобути, а то горе з бідним юнаком, та й годі! Оце Люда їздила упадати за нього в Петербург, і їй пощастило — бачилась з міністром і так прискорила діло, що за тиждень було повершене. Стався присуд такий: залічено те, що він сидів у тюрмі, в кару за його вчинки, та й годі. Зараз казано звільнити його і віддати під явний дозор на 2 роки з забороною на сей час пробува́ти в університетських городах і столицях — та й по всьому.

Поклопочіть, коли ласка, за хлопця; чи не можна б хоть чого-небудь?

На Александровського я скаргу подав: певна і неодмовна клевета, після всіх рад і докази її у мене найді[й]сніші.

А у вас, на превеликий жаль, завівся помагач Александровському і після його статті (суть навіть однакові вирази) пише у «Зорю» сливе те ж, тільки Александровський хоть не криється, а виступа явно, а п. Гримач надіва маску та з закутка ляпає тванню... Підбива його руку, звичайно, залишок самопоклонства і зневаги до других, свого роду мізерне наполеонство,— і тут в загарі напакостити ближньому не розбира уже такий діяч ні засобів, ні правдоти, ні гонору: кламствує, недомовля,

перебріхує, проводить тупі, безглузді думки і взагалі зачіпа честь...

Знаєте, ще у нас не заводилось таких діячів, які б заживали трохи чи не п'ять псевдонімів, під якими з різних кутків можна було б кидатись на прохожих, а часом і себе пропаганувати... Ні в одній національності, крім нашої, такого з'явиська трудно знайти!

Ну, п. Александровського я потягну на суд,— нехай він привселюдно мене обвинувачує або нехай уже обвинувачують його,— а що ж мені чинити з Гримачем? Коли він чесна людина, то мусить відкрити свій псевдонім і згодитись на суд товариський, суд честі: нехай би він присудив, у кого бракує етики.

Коли Ви прибудете до Києва? Чи не зробили б мені утіхи, плюнувши хоть у хату? Бувайте здорові й щасливі!

Щиро поважаючий Вас і незмінно прихильний

М. Старицький

88. ДО Ц. О. БІЛИЛОВСЬКОГО

Киев, Караваевская (Шулявская) ул., № 33

[Початок жовтня 1897 р.]

Високоповажний і вельмишановний добродію.

Не маю слів дякувати Вас за Ваші теплі відносини, за Ваше щире почуття до моєї справи з Александровським *; так, це не моя власна справа, це справа цілого приниженого гурту наших письменників, безправних банітів, на яких має змогу накинути камінь, хто захоче наглумитись, нанівечитись...

І коли тільки ці страстотерпці-письменники зважуться хоть слабий голос підняти за осміяне право нашого слова, то навіть добродушні культуртрегери починають гарчати, а щодо наших злобителів, до українофобів,— то вони здіймають лемент і гвалт, взиваючи зараз ad consules; я вже й не кажу про їх прихвоснів,— ці просто вже лізуть у вічі, як зінські щенята!

---

* На превеликий жаль, він син українського попа і має чесного брата, а сам — перевертень і запроданець.

Отож і цей самий Александровський, репортер «Киевлянина», по наказу пана п'ять чи шість літ глумиться надо мною яко українським драматургом і письменником; вибріхує слова, фрази, підтасовує факти і кепкує над своєю шарпаниною до нéхочу... Невзираючи на мої ввічливі одповіді, невважаючи на мої поправки його брехень, він без сорому і без гонору провадив далі свої бридкі та брудні розправи, але в них поки що не було карних переступів. Сього ж року я, будучи на театральнім з'їзді в Москві, зняв, як добродію, певно, відомо, питання про стан української драми і кону і виявив мотивовані наші бажання про хлопоти височайші за полегкість цензури і зрівняння нас з росіянами, про зрівняння наших труп з російськими у адміністрації, про занесення в репертуари народних театрів українських п'єс. Всі ці бажання ухвалені з'їздом единогласно... І оце-то достоменно сказило наших злобителів. В «Киевлянині», поки ще я був у Москві, з'явилась розправа про з'їзд, де Александровський, зовучи всіх українських драматургів «хищниками», дивується, як з'їзд обезглуздів, ухваливши доклади такого нестатечного чоловіка, як Старицький.

А далі в «Мировых отголосках» п. Александровський («Киевлянин» побоявся друкувати) уже виступив з нахабною по лайці і по клеветі розправою (від 13 мая), у якій він всіх наших більших драматургів — Кропивницького, Карого, Садовського, Ванченка, Манька і інших — узива «хищниками, грабителями», а між ними перше місце відводить мені, яко ватажку і призводнику... а нарешті, просто поклика ad consules, що як можна слухати отаких злодіїв і ширити для них цензурні права, що «Русское общество драмат[ических] писателей» повинно б їх викинути з свого гурту, а не боронити їхні рабіжні права!

Я зрадів цій ганебній розправі, так як Александровський улопався в їй і з формального боку до верха в клевету і дифамацію, ну і щирі українці возрадувались разом, що співробітник «Киевлянина» буде оганьбленим, а за ним понесе соромливий докір і вся українофобська преса. Отже, як виявилось, не всі з нарочитих українців і побратимів по перу потягли руку за мене, а знайшлись і такі, які стали упадливо докладати ворогові нашому

воза. Після розправи Александровського появилась у «Зорі» допись з України — Гримача, у якій цитирувались на свій лад думки Александровського з таким викладом, «що діяльність літературна д. Старицького не тільки не дала жодної користі, але з погляду етики дала мінус». Я написав д. Борковському, щоб він виявив псевдоніма, бо я маю покликати його на товариський суд честі, але редактор мені одмовив; я написав самому Грінченку, що коли він признає свій псевдонім, то щоб зволив стати зі мною до третейського суду, але і п. Грінченко зрікся себе. Далі, я пояснив редакторові «Зорі», що я веду карну справу з Александровським і що, поки вона не скінчиться, мені не вільно відкривати заздалегідь свої карти, а значить, і відповідати на всякі розправи, які б вони не були нападні; те ж саме я сказав п. Грінченку, коли він був у Києві, а разом зі мною і другі товариші; я тлумачив йому, яку вагу має моя справа, і прохав, щоб він не виступав в піддержку Гримача, поки не скінчиться моє діло, бо се був би проти мене не гонорóвий виклик, позаяк я заявляю, що до часу не можу відповідати і що він у такім разі нападав би на неозбройного і лежачого, а вдруге прислужився б своїми суперечними доводами нашому ворогові Александровському... Що ж би Ви думали? У 15-м ч. жовтня «Зорі» появилась уже розправа Грінченка, яка дає готові дóклади в руки Александровського, яких би він сам не достав зроду, і не тільки редакція оголошує супроти мене прóшуки Грінченка, але і висила 2 примірники в «Киевл[янин]». (Це — факт). Що ж се діється? Де ми і що ми? Свій чоловік, споєний нашою кров'ю, банітує нас привселюдно у рідній газеті, стає явно помагачем ворогові, нехтує всякі моральні відносини — і ніхто, ніхто не зупинить такого зрадника громадській справі, ніхто не врозумить редактора, що такі вчинки рідної часописі ганебні і недостойні стяга, який вона держить? Як же ніхто не зважиться зірвати маску з такого зуха, який виступа під п'ятю псевдонімами, для того щоб мати змогу себе пропагувати й хвалити, а на другого кидати з-за кутка калом... І це всі знають і тільки здвигають плечима!

Такої брудоти ще не заводилося ніде, а коли наша національність здатна появити такі продукти, то чи не цур їй? Даймо, що п. Грінченка докази підтасовані і їх

можна скасувати, але важно для Александровського те, що й товариші Старицького по перу лають його, та ще кільки їх?! Уже оце є два — Гримач і Грінченко, а потім буде ще Чайченко, Вартовий, Вільхівський, Перекотиполе... Невже хоч у цьому шахрайстві не може його ніхто уловити? Невже одна людина буде виступати у шести лицях, бити старого робітника, поклавшого ціле життя своє і всі свої маєтки на користь рідної мови, бити у дванадцять рук, а другі будуть стояти та примовляти: «От ловко!»

Але годі про це: у мене дуже наболіло серце... Я втомився і підбився на своїй незораній ниві... великий шмат її уже ліг поза мене... Але чим далі плентаюсь, тим більше вбачаю, що мізерія бере гору, закида брудом співробітників на свою особисту користь... Ну, та цур йому! Ми, може, вже справді і нікчемні, і зайві!

Краще напишу Вам про те, що бажаєте знати, напишу поки що бігуче, а після і докази вишлю.

Почав я свою літературну працю з перекладів і власних пісень («Правда», з 1865 р.): «Сербські думи» 2 томи, перекладні і власні поезії «З давнього зшитку» 2 томи, «Басні Крилова», з Гоголя, казки Андерсена, «Гамлет», «Пісня про купця Калашникова» і інші, а драматичні утвори став писати з 1872 р. Повід цьому дало коло драматичних аматорів, які зібралися в Києві під крилом шановних добродійок Ліндфорсів. Першу п'єсу я написав «Різдвяну ніч», спочатку в 2-х діях, яку ми й грали в 1873 році, а далі переробив її на 5-актну, що й відбулася в великому уже театрі в 1874 р. з бучним поспіхом. У 1872 р. я написав водевіль «Як ковбаса та чарка...», і він був розрішений до представи 1873 р. за підписом Ліндфорса, так як той, будучи у Петербурзі без моєї довіреності, мусив від себе подати; це звісно всім, а між ними і сестрі покійного Ліндфорса Софії Федорівні, ниньки Русовій.

Цей водевіль був перший раз надрукований у альм. «Луна» в 1880 р., а потім у моїх драматичних творах «Малоросійський театр» в 1890 р. Глібова ж «До мирового» надруковано в 1892 р., а кажуть, що його п'єса розрішена до пристави ще в 1874 р. Сам же Глібов помер в 1894 р.

Про цю п'єсу каже Александровський: «Г. Старицкий не щадит не только живых, но и мертвых... Понравился

ему водевиль Глебова, он взял его у покойника и подписал своим именем...»

Що тема у сих водевілях схожа, тому я не перечу; але я взяв свою із нашої сімейної хроніки, де дядько мій пропозивав два села за зайця. Характери у моїм водевілі дійових людей другі, напр., хоть дворянин Шпонька; сценарій трохи одмінний... але факт не лише той, що мій водевіль і до сцени розрішений перший, і два видання з-за життя Глібова витримав, що я від славного нашого байкаря не мав жодного дорікання, далі, що покійний, видаючи свій водевіль, занотував, що сюжет у його позичений... Але найголовніша Александровського клевета, що я ограбував мертвого!

В 1874 р. я переробив для Лисенка на оперетку комедію Кухаренка «Чорноморський побит», брат покійного на це мені дав дозвіл, але й пріч того я маю право, по нашим законам і літературним звичаям, переробляти чуже у другу літературну форму,— се водиться щодня взагалі скрізь... І справді, друга форма потребує другої праці, другої техніки і другого хисту... Коли з намальованої мадонни Рафаеля я зроблю копію, тільки в фігурі з мармуру, то нікому не спаде і в голову узивати мене злодієм і відбирати у мене яко у скульптора достоту?

Про те, що з повістей і романів пишуть п'єси,— це звичайна річ; але пишуть теж із п'єс — лібретта, це теж не новина. Напр., «Травіата» — із драми Гюго «Маргарита Готье», «Опричник» — із драми «Князь Серебряный», «Борис Годунов» — із драми Пушкіна, «Вражья сила» — із комедії Островського... і т. ін. Так і я із комедії зробив оперету. Уже одно число доданих мною віршів до музикальних нумерів (33 номера) показує мою роботу, і далі додано багато нового і змінено першого текста, добавлені дійові люди... змінений сценарій...

Александровський каже: «Г. Старицкий заявляет, что, скомпонував по Кухаренку; тут слово «скомпонував» нужно понимать «переписал», потому что особенно первая часть «Черноморцев» почти дословна». На ділі виходить, що в 1-й д[ії] ледве найдено $^1/_7$ часті Кухаренка, а решта — моє оригінальне. (Порівняйте).

У моїй опереті роль Цвіркунки подвоєно, роль Кулини зроблена, роль Наталки — зовсім нове лице.

Далі в 1875 р. я почав писати «Панське багно», потім «Панське болото», 1878 р., і «Не судилось» в 1880 р. (Та ж сама п'єса).

Так як за ці 5 літ була мертва заборона нашому слову, то і драма моя була закинена. Нарешті я її обробив в 1878 році і читав у громаді. Багато є живих людей, які можуть бути тому свідками. Напр[иклад], Матвєєв (у Одесі) був при самім задумі: з ним я обмірковував перший план, далі Кониський, якому я читав перші уривки, Цвітковський, Житецький... а далі, 1878 року, слухало її чоловік з 50! Між іншими Косачка, Косач, Комаров, Науменко, Антонович, Антипович, Нечуй і другі... В 1881 р. вона була відправлена в цензуру і розрішена в кінці того ж року: друкувалась «Рада» майже цілий рік і вийшла тільки в генварі 1883 р. З Кропивницьким я познайомився в 1881 р. і читав йому розрішену до друку драму при свідках: Садовськім і Йосипку, небожеві Шевченка.

От вам щира, як перед богом, правда про цю п'єсу. Це найщиріша моя власна, прочута і продумана мною в кожній сцені, взята із справжньої події, де всі діячі — портрети живих або вже померлих людей.

Але сталося диво. Коли вже драма моя була надрукована (кінець 1882 р.), приїздить п. Кропивницький і привозить своє «Доки сонце зійде, роса очі виїсть», розрішене до сцени; товариші мої обурились, а Олена Пчілка надрукувала в «Труді» розправу про мою п'єсу, звісну вже здавна, і про Кропивн[ицького]. Я хотів було виступити з докором, але мене зупинив національний такт; не годилося розводити бешкет у молодій, тільки що народившійся справі, та ще зупинило мене і те, що хоча й видно, що мій сюжет навіяв Кропивницькому його драму, але розробка у його зовсім інша, характери другі, дійові люди інші, так що не тільки не можна було його обвинувачувати в плагіаті, а навіть трудно докорити і в літературній неохайності... Так що зоставалась-но одна моральна відповідальність.

На лихо ще, Кропивницьк[ого] драма гралась, а моя лежала в книжці, і цензура дозволила її до сцени лише в 1885 році... Ну, коли появилася на кону після уже моя, то критика, яка не читала навіть моєї драми в «Раді», почала заявляти, що вона схожа сюжетом з Кро-

п[ивницького] або нагадує його і таке інше... А Петров у своїй книжці надрукував при розборі «Не судилось», що є така сама драма і у Кропивн[ицького]... Хто у кого позичив — невідомо. Так і пішла помалу-малу панувати кривда, яка, напр[иклад], у Гримача уже встановилась різко, що Старицький переробив з Кропивницького, і це доказує датами: у Старицького надрукована в 1883 р., а у Кропивн[ицького] розрішена в 1882 р. Але я, крім десятка свідків, буду мати і фактичний доказ, що моя розрішена раніш.

З Кропивницьким про цю п'єсу я жодних суперек не мав, а змагався з ним у часописях ось про що. Він кілька разів, оголошаючи свою біографію, не згадує навіть і словом про те, [що] сам служив у мене більше 2 років, що тільки за моєю грошовою поміччю (до 50 т. убухав взагалі на цю справу, все своє, яке мав, добро) вибухла слава і пиха нашого кону. Я пригласив у трупу Саксаганського, Карого та других... Сам Кропивницький, не мавши змоги вести товариське діло за ро́зладом і безгрошів'ям, благав мене соборне стати в голові, підняти на свої плечі... Я по хворості не хотів цього клопоту, і мене майже примусили... А потім Кропивницький навіть не згадує мене, мовби мене й на світі не було, а він лише сам своїм таланом і своїм коштом спорудив всю Україну... Так от я проти чого виступав з тихим словом, а не з докорами навіть («Новое время», здається, 1887 р.). А справді, чи не гірко це, що поклав всю свою спадщину на український театр, зоставсь жебраком на старість — і ніхто цього не згада, а за Кропивницьким всі гомонять, що він єдиний творець українського театру!

Далі іде п'єса «За двома зайцями» (я тут упоминаю головніш ті, які зачеплені Александровським). Ну, ця п'єса по просьбі і по згоді автора «На Кожум'яках» перероблена наново, і права на переробку мені дадені, і права теж на користування з переробу. Під цею п'єсою, по нашій згоді, стоїть і дві фамілії: «Старицький і Левицький».

Про цю п'єсу Александровський каже, що «Старицкий переделал ее из пьесы Левицкого «На Кожумяках», а скрывает это и выдает за свою оригинальную». Тут клевета в тім, що я ніби таю автора і видаю за оригінальну,— книжка ж моя доводить, що се брехня. А порівняння сих творів доведе, що моєї праці на «Зайців» —

і в техніці, і в розвитку дії і руху, і в домалюванні типів і епізодів — положено чимало.

В такім же співробітництві написано і «Крути, та не перекручуй». Мирний написав був не п'єсу, а просто кілька сцен із свого «Перемудрив» і прочитав мені їх, просячи ради, що з ними робити. Знаючи, що він чудовий повістяр, а ніякий драматург (не має ні техніки, ні хисту: його «Лимерівна», «Перемудрив» і «Згуба» не мають як драми ні літерацьких достот, ні сценічної вартості, вони просто неможливі до постанови), він хотів був з цього написати повість, але я збив на комедію, і він почав пробувати, але не виходило; тоді він згодився, щоб я це зробив. Я сповнив жадання, і моє «Крути, та не перекручуй» появилось спочатку з двома підписами: Мирний і Старицький. Але потім, як побачив на кону її Мирний, то йому не подобалась гра Манька (переборщив), і він мене попрохав, щоб я, коли буду друкувати цю п'єсу, то щоб написав, що із «Перемудрив» Мирного перероб[ив] Старицький, бо і він, мовляв, подав до друку свій первотвір, то йому буде прикро, коли подумають, що він переробив з мене... Отож так тепер і надруковано. Александровський каже про цю п'єсу те ж, що про «Зайців»: «Взял, переделал из «Перемудрив» и скрыл и источник переделки, и переделку, а выдает за оригинальное свое произведение». Знов: книжка доводить, що се клевета. Взагалі видно, що Александровський моїх книжок не читав, для того і влопався. Тим часом я йому двічі писав друковані листи (в «Жизнь и искусство»), коли він виступав з рецензіями, і у цих листах звертав його увагу на мої книжки «Малоросійський театр».

«Циганка Аза» — перероблена мною із повісті Крашевського «Chata za wsią», як занотовано і в книжці, «Зимовий вечір» — перероблено із новелки Оржешкової такого ж назвиська. Про ці обидві п'єси Алекс[андровський] каже теж, що я скрив, що се переробки, а я видаю ніби за свої власні.

Тепер про Александрова і про «Не ходи, Грицю», хоча про цю п'єсу Александровський не згадує. Тут таке діло. Вам відомо, що нам розрішено було театр при Лоріс-Мельникові, а потім, коли знов настав Толстой (при якому було заборонено на смерть 1875 р.), то він, не мігши скасувати царської волі, тамував її циркулярами і цензурою; настали знов такі часи, що жодної

нової п'єси не пуска цензура та й не пуска, а надто мені; хотіла просто виморити трупи голодом. Отож у ті прикрі часи (для мене вони тепер такі ж самі: всім пропуска цензура п'єси, і навіть історичні, а мені за 5 літ оце — жодної!) і мізкували ми, яким би способом обійти цензуру, вишукати собі повітря для духу? Отож я взявся за той спосіб: відшукав старі назвиська, не відомі нікому, навіть цензурі, бо погубились і там первотвори, як, напр[иклад], «Одноокий писар», «Василь і Галя», «Козир-дівчина», і став під цими заголовками ставити свої п'єси, бо ті заголовки були колись цензурою безумовно дозволені... З того ж поводу і були часом для публіки і для критиків курйози: іде, наприкл[ад], під заголовком «Василь і Галя» Бондаренка — моя «Циганка Аза», а далі, коли розрішить мені цензура, років через 2, чер[ез] 3,— появиться «Циганка Аза» Стар[ицького], то всі думають, що я ограбив Бондаренка... А у мене під цим заголовком ішли: «Циганка Аза», «Розбите серце», а оце недавно і Людмилина п'єса «Зрада»; під «Одноокий писар» — «Крути, та не перекручуй», під «Козир-дівкою» — «Сорочинський ярмарок»... Отож з тої самої причини удався я до п. Александрова — небіжчика, з яким я був в добрій лагоді, і просив його, щоб він дозволив мені під його дахом пустити свої утвори.

Найпершу пробу я зробив з його «За Немань іду». Переробив цю його слабу, дитячу п'єску на сценічну оперету і презентував йому: вона і тепер ставиться трупами в моїй переробці під фірмою Александрова і приносить його сім'ї дохід. Небіжчик був дуже радий і утискав мене за мою ласку. Я, користуючись його щирістю, і удавсь при тому до його з такою просьбою. Була у мене п'єса «Маруся Чурай» з історичними дійовими людьми (Богданом Хмельницьким, Богуном) — заборонили з гвалтом; переробив я її на битову — така ж доля. От я і прохаю небіжчика, чи не дозволить він оцю Марусю нещасну під дахом його «Не ходи, Грицю» пустити? З радістю! Я мусив дещо підігнати, щоб таки Маруся нагадувала його п'єсу, бо інакше могла б поліція накрити (його п'єса була надрукована), і пустив свою «Чурай» під фірмою, як стояла у книжках поліцейських, себто у списках розрішених п'єс — «Не ходи, Грицю, на вечерницю» — В. Ал-ова». Пішла моя п'єса з страшенним поспіхом, з гомінкими оплесками, і стала годувати зборами

трупи; бачив її у Харкові кілька разів і небіжчик, ухвалюючи дуже утвір. Але через три роки мені дозволила цю п'єсу цензура: я її пустив під заголовком пісні, бо з цим заголовком вона зажила уже славу. І, на лихо, так сталося, що ми грали у Харкові і йшов «Г р и ц ь» під фірмою Ал[ександр]ова, через місяць ми знов вернулись, і у мене був уже цензурований екземпляр мій, і я поставив «Гриця» під своєю уже фірмою... Але отут і спокусив Александрова агент нашого Общества Бабиков, що, мов, заявіть свої права, бо ця п'єса буде вам давати добрий дохід. Ну, Александров і надрукував в «Южном крае», що, мов, «всем известно, что «Гриць» ставился везде и месяц назад здесь, под моей фирмой, как моя пьеса; а теперь вдруг совершился фокус-покус: та же самая пьеса,— приглашаю публику в свидетели,— стала Старицкого. Что сей сон означает?» Я попрохав небіжчика розсудить се діло третейським судом, бо в офіціальний поткнутись я не міг, і голосно оправдатись теж: вийшло б, що я перед Александровським правий, а перед урядом винуватий у підлогах... Скутком би цього, крім кари мені, могли закрити і трупи... Рішенець суда вийшов такий, що ж о д н о г о п л а г і а т а у м е н е н е м а, що моя п'єса признана с а м о с т і й н о ю, а Александрова претензії признані н е о с н о в а т е л ь н и м и і цілком йому у всьому відмовлено... Між іншим, він, нарешті, прохав, щоб моїй п'єсі дали друге назвисько, а щоб його зосталась тільки «Не ходи Грицю» — але й в цьому йому гостро відмовлено. На цьому суді була майже не вся професорія.

Александровський ще згадує про п'єсу «Т а л а н» і каже, що я в неї натокмачив з 20 п'єс... та ще про «І в а н а К у п а л а».

«Н і ч п і д І в а н а К у п а л а» я переробив із новели Шабельської «Наброски карандашом» і в Харкові їй прочитав; добродійка мені сказала, що сама теж переробила цей розповідок на п'єсу і дала мені цензурований екземпляр в руки... Я хотів був зараз його поставити, але, прочитавши, опустив руки,— так п'єса написана була несценічно, що її можна було поставити тільки раз на прорву... Я попробував прохати, щоб під панії фірмою дозволила мені добродійка поставити мого — не згодилась. Я, порівнявши свою п'єсу з її, знайшов, що весь сценарій у мене другий, що навіть характери вималю-

вані зовсім інше (Прісі і московки), що чимало єсть нових лиць, що навіть ідея п'єси друга (у неї, як і в розповідку, все зводиться на суєвір'я темного люду: московку убивають без причини, а від того лише, що вважають її за відьму; молода дівчина впала з горища і зачепилась за борону — це, значить, подіяла московка)... У мене ж гине московка від подій соціальних і впливу наших законів: чоловіка її після шлюбу взято в москалі, і вона вдовує уже п'ять чи шість літ; нема дивного, що молода натура не витримала вдовства і закохалась... Грінченко займався оце «сыском», та й то знайшов, що тільки в одній сцені 2-ї дії п'єси схожі, та й то ще треба провірити, чи не схожі через розповідок? Александр[овський] знов і про цю п'єсу каже, що я скрив джерело і видаю за оригінальну.

Скільки я написав п'єс? Ось вони:

Оригінальні:

1) «Не так склалося, як жадалося» («Не судилось»)
2) «Кривда і правда» («В темряві»)
3) «Богдан Хмельницький»*
4) «Розбите серце»
5) «Маруся Богуславка».
6) «Цар Горох» (оперета)
7) «Талан»
8) Два водевілі

В співробітництві:

1) «За друга»
2) «Крути, та не перекручуй»
3) «За двома зайцями»
4) «Галя Русина»

На позичені сюжети з повістей, романів:

1) «Різдвяна ніч»
2) «Утоплена»
3) «Сорочинський ярмарок»
4) «Тарас Бульба»
5) «Юрко Довбиш»
6) «Гриць»
7) «Ніч під Івана Купала»

---

* До речі: я його Вам посилаю.

8) «З и м о в и й в е ч і р»
9) «Ц и г а н к а А з а»
10) «В і й»
11) «Ч о р н о м о р ц і»
12) «Г а л и н а» (муз. Монюшка)

Крім сих п'єс, ще суть мої п'єси під чужими фірмами, бо за силою тієї ж напасті на мене я мусив, ради збагачення сцени, дарувати свій труд другим щасливцям, яким назвиська розрішила цензура: отож і виходить, що їхні тільки палітурки з печатками, а моє нутро. Ось скільки таких п'єс:

1) «Л и м е р і в н а»
2) «О с а д а Д у б н а»
3) «М а з е п а»
4) «П і д г о р я н е»
5) «Г а р к у ш а»
6) «З а Н е м а н ь і д у»... і інші.

Всього, стало буть, поки що я написав до 35 п'єс; із них оригінальних 10 (з «Мазепою»), в співробітництві 4, а решта переробки.

З цього перечня ласкавий добродій завважить, що у мене о р и г і н а л ь н и х найбільше, ніж у інших авторів (Карого і Кропивницького), але взагалі кого не спитайте, то всяк скаже і із своїх, що Старицький тільки переробляє; а це залежить від того, що в масі моїх п'єс приходить справді мало чи не дві третини на позичені сюжети; та ще й то, що з оригінальних не всі йдуть на кону: «Богдан» поки тільки розрішений до друку, «М а р у с я» занадто обстановочна, «Г о р о х а» музика не готова...

От це Вам, шановний добродію, короткий огляд моїх творів і різних з ними пригод. У процесі з Александровським дуже важно для враження намалювати картину утисків і нахабних нападів на нас, але щодо Александровського, то треба напирати не на те, що він ляпа, ніби п'єси мої не самостійні, позичені... бо це критичний погляд, який бодай би був і цілком несправедливий, але не п р е с т у п н и й: його карні переступи неодмінні, не оборонні суть от в чім, що він назива моїх кілька п'єс, правда, неоригінальних, а перероблених з інших джерел, і оголоша, що я с к р и в а ю джерела їх, видаю за свої

оригінальні і як за оригінальні беру авторський гонорар. Треба Вам додати, що у нас авторський гонорар поділяється на три розряди: за оригінальні і не на мотив нам дають 85%; за переробки — 75%; а за переклади — 60%... Так от я напираю на те, що Александр[овський] мене обвинувачує, ніби я чуже видаю за своє оригінальне і беру оплату як за оригінальне чи на мотив.

От у цім і єсть його клевета. Напр[иклад], візьмім «Чорноморці». Він каже, що я переписав і беру гроші як за своє оригінальне... А у мене на це певні докази такі: в книжці занотовано, що це перероблено з Кухаренка, у авторських стоїть, що я беру як за переробку... Так що, на мій погляд, доводити про те, що тут багато моєї власної праці, то він буде доводити, що мало, суперека затлумить головну річ і клевета втече... Бо для клевети треба не тільки вияснити, що зведені напасником факти суть брехливі, ганебні для моєї чесні, але ще що напасник звів їх злоумисно, а не по нерозумінню і ймовірності. Ну, та про це я докладніше ще опісля витлумачу мої думки, після того як напишу до Герарда. І без того певен, що обрид страшенно своїм листом, понівечив занадто чужого часу.

От іще про збірку. У нас в Києві замислили теж на сторіччя Котляревського видати збірку найкращих сучасних письменників,— показати, скільки через сто літ посунулась уперед наша мова. Так чи не можна б нам злучити у одно матеріал? Коли ж Ваша має окрему мету, то сповістіть, будь ласка; я теж з охотою можу заслати Вам, що побажаєте: п'єсу, вірші чи поему.

Привітайте мого «Богдана» не злим, а теплим словом: він на превелику силу побачив світ, та й то уже почали ганити... напр. «Русское богатство» з погляду історичного, коли він провірений всіма нашими київськими істориками, які признали, що всі історичні характери вірні і дух епохи, наскільки можна, в драмі змальовано... Ну, та годі, прочитайте самі і скажіть щиро Ваше здання.

Ще раз Вам вклоняюсь до землі чолом і дякую сердечно... В кожнім Вашім слові в листі стільки щиросердного запалу, стільки родинної прихильності, що всі злобителі і напасники перед такою людиною, як добродій,

розвіються туманом... Щасти Вам боже у всьому і дай нашій бездольній родині хоч малу жменю таких людей!

Високошануючий Вас і повік прихильний та вдячний

М. Старицький

89. ДО І. Л. ШРАГА

[18 жовтня 1897 р.]

Високоповажний і шановний добродію
Ілля Людвигович!

З поводу розправи д. Грінченка, надрукованій у «Зорі» від 15 жовтня, я покликаю вищ[ей]менованого автора до третейського суду, суду честі; отож ухильно прошу Вас передати д. Грінченку, що мешкає в однім з Вами місті, мій поклик. Суд повинен відбутись у Києві, позаяк мені, слабості ради, невільно у зимню добу не те що виїздить, а майже з хати виходити; крім сього, суд повинен бути не раніш, як я одберу кінець почавшоїся розправи. Сподіваюсь на ласку, що добродій сповістить мене про згоду п. Грінченка і про медіатора, якого він обере з свого боку, і про інші дрібноти відбування судової справи. Я небавом звіщу теж, кого оберу медіатором, для того, щоб остатні, погодившись межи себе, обрали пана презуса.

З великим пошановком і щирим, нехибним прихилом високоповажного добродія певний услужник

М. Старицький

6 листопада 1897 р
Киев

90. ДО РЕДАКЦІЇ ЖУРНАЛУ «ЗОРЯ»

[22 жовтня 1897 р.]

Високоповажний добродію, шановний пане
редакторе!

В одній російській часописі надрукована була розправа відомого всім українофоба проти українських драматургів і літераторів взагалі, а найголовніш проти мене. В розправі сій ясно показана була й мета її — оганьбити наше ходатайство перед вищим урядом о по-

ширення цензурних прав. З автором її я веду тепер карний процес «за клевету и диффамацию в печати». Позаяк розправи дд. Гримача і Грінченка, найрідніші проміж себе, мають багато спільного з російською розправою, за яку я зняв процес, то з поводу того я не можу до кінця суду відповідати їм, щоб не оголосити заздалегідь всіх доказів моєї правоти, не дати раніш свого зоружжа в руки ворогові. Для того-то я ухильно прошу надрукувати сю заяву від мене, щоб відомо було всім і кожному, що, поки не скінчиться мій карний процес, ні на які проти мене напасті по літерацьким справам я не можу й не буду відповідати. Отож бодай би зачепили мою честь і моє добре ймення на тім же грунті і інші зрідні допищики,— чи Вільхівський, чи Перекотиполе, чи Вартовий або й другі,— я буду до кінця мого суду в Росії мовчати і після уже, узброєний певними доказами, ухваленими на суді, дам всім одповідь.

Поки ж що я мав честь покликати д. Грінченка на товариський суд честі. Не знаючи офіціально, хто такий єсть Гримач, я покликаю через Вашу шановну часопись маскованого ображчика мого на третейський суд честі. Щоб п. Гримач не міг одмовитись якоюсь небезпечністю оголосити в часописі свій псевдонім, я прошу його на слово честі об'явитись мені приватним листом по такому адресу: г. Киев, Караваевская улица, дом № 33 — задля умовин третейського суду. Коли ж п. Гримач ухилиться від гонорового поквитування образи, не об'явивши себе й за місяць, то я буду вважати його за чоловіка, здатного з-за кутка зачіпати честь другого, а не маючи власної честі розібратись гоноровим судом за образу. З великим пошановком і прихилом

М. Старицький

91. ДО М. Ф. КОМАРОВА

Киев, Караваевская ул.,
дом № 33

[Жовтень 1897 р.]

В. шановний та любий серцю
Михайло Федорович!

Посилаю Вам одбиток з «Богдана Хмельницького»; на превеликий жаль, прокралось у книжку багато

друкарських помилок, попсувавших в деяких місцях навіть музичну міру вірша, а то вийшло з того поводу, що п. Науменко уперто захотів сам коректуру тримати... Та ще жаль,— ну, це вже від цензури,— що вирвала цілком мій епілог і винудила замінити його лише картиною живою. Мені здається, що треба б було надрукувати цю драму за границею з додатками, викинутими цензурою, а то заваляються шпаргали і пропадуть... Але як і де? Скажіть мені Вашу думку.

Про Ваші бібліографічні запросини я зберу справки і Вам не забарюсь відповісти.

А «Зоря» знов, не звертаючи на мій лист за «Гримача», не взираючи на моє повідомлення про процес мій з Александровським, який має громадську вагу (коли Ви не читали цієї розправи, то ось її головний зміст: всі українські драматурги (Карий, Кропивн[ицький] і інші) — злодії, а Старицький найбільший. Вся література мал[оросійська] — крадена мізерія. Чи можна ж вважати на таке дрантя і слухать доклади їх! Їм не поширити, а знищити треба права!), не взираючи на те, що я заявив, що з поводу процесу не можу до кінця його ні на яку полеміку відповідати,— все-таки надрукувала знов проти мене образу, і новий Іуда виступив уже тепер без маски. Треба ще додати, що я п. Грінченка упереджав на час, коли він був у Києві, в початку ще серпня,— що, позаяк я до кінця суду з Александр[овським] мушу мовчати на всякі літерацькі на мене напасті, тобто буду до того часу з зв'язаними руками, то гонор і честь вимагають не нападать на безоружного... Але бачите, який гонор у Чайченка? Яке у його розуміння етики? Він нарочито друкує для Александровського матеріали... І коли ці матеріали окажуться навіть брехливими, то все-таки він дає йому умисно, порозуміло в руки таке виправдання, що, мов, коли я що і писав невірне, то за голосом українських же письменників...

Самі доводи п. Грінченка шулерські: він порівнює роки моїх виданих книжок з невиданими миру якимись рукописями, які ніби цензурою пропущені раніш... І по цих порівняннях констатує факт моїх неморальних вчинків... Чесний чоловік повинен був у мене спочатку запитати: а коли вам, добродію, розрішені п'єси? Ось у мене, мов, які маються дати! Тоді б, може, і я заявив про свої;

а, на превелике щастя, мої всі рукописі розрішили раніше.

Тепер і Вам, і п. Матвієву відомо, що моє «Не судилось» (спершу «Панське болото») було задумане ще в 1876 р., наполовину скінчене було в 1878 р., і я три дні його читав у громаді. В 1881 р. читав зовсім готову драму у домі Луцького, на Мало-Владимирській вул., на якій читанці були, між іншим, і Ви. В тім же 1881 р. драму цю я читав Кропивницькому... при Садовськім, при О. П. Косач і при Йосипку... Нарешті — це така моя власна, як ніяка: всі дійові люди у їй живі істоти... вся подія — бувша дійсна драма в житті!

Тепер не знаю, по якій злій долі і сам Петров — правдивий чоловік, в своїй книжці оповіда такий несправедливий факт: «Есть еще такая же самая драма, как «Не судилось», и у Кропивницкого «Доки сонце...». Кто у кого заимствовал — мы не беремся сказать; н о у К р о п и в н[и ц к о г о] п о я в и л а с ь д р а м а в 1882 г., а у С т а р и ц к о г о в 1883 г.!» Вопіюща брехня; маю офіціальну справку — Кропивн[ицький] в перший раз ставив в 1883 г. 27 генв[аря]. «Рада» вийшла теж в марті чи апр[ілю] 1883 р. Стало буть, п о я в и л и с ь в о д н і м р о ц і... а в ц е н з у р і м о я п о я в и л а с ь щ е р а н і ш е, в н о я б р і 1882 р. — раніше Кропивницького на місяць. Нарешті, пригадайте самі, невже Ви щирим серцем не можете посвідкувати, що «Не судилось» — моя драма? Уже, не кажучи про давні роки, а коли Кропивницький привіз уперве свою ще не оброблену драму в Київ, то моя уже була в цензурі...

Тільки що оце одібрав від Шрага лист: Грінченко зрікається навіть третейського суду... Ще написав йому другий формальний виклик через Шрага.

Як же на такі нелюдські вчинки дивитесь Ви, одесити? Невже Ви «Зорі» за її вчинки не пошлете доріканння? Це ж ні одна часопись із найгірших російських не здатна на свого співробітника допускати пасквілі і образи честі!

Та ще майте на увазі, яка твориться його підлість. Г р и м а ч і Г р і н ч е н к о — це одно лице, і кому-кому, а редакції напевне вже се відомо. Порівняйте дві розправи: той же самісенький стиль, ті ж фрази... Та, нарешті, з якої б це речі Гримач мовчав, а Грінченко ні з того ні з сього у чужу розправу досилав свої докази?

І от виходить тепер, що не один Гримач образив мене, а і Грінченко,— тобто два чоловіка! У Грінченка єсть ще кілька псевдонімів — Чайченко, Вартовий, Вільхівський, Перекотиполе... Так ці четверо знов додадуть доказів до Гримача, і кожний з них зробить той же самісенький вивід, що «літературна діяльність д. Старицького з погляду етики мінус»... то вийде, що вісім українських письменників узивають мене неморальним літератором, і «Зоря» (знаючи напевно, що се одна персона) буде друкувати ці образи... Це ж шулерство, підлог... І я не маю способа боронитись... І таких людей, таку часопись можна ласкавити?

Дайте мені раду, дайте мені змогу хоч доказати, що це одно лице чинить на мене напасть, а не два, не три, не ціла зграя... Редакція, зробивши мені подвійну образу, мусить це заявити: це її моральний повин, і Ви з погляду правди мусите на неї подіяти, бо іначе — це була б гвалтовна кривда!

Відпишіть мені, будь ласка, хоч кілька слів, най хоч подумаю я, що не всі на мене вергають каміння...

Послав я оце свого «Богдана» і Матвієву, заадресувавши на Інститут, так коли це не вірна адреса, то оповістіть, з ласки його, чи особисто, чи листом про цеє, щоб він знав, куди удатись.

Всім одеситам від мене щире вітання.

Всяку найкращу шанобу і найліпше зичення Вам і Вашій дорогій сім'ї.

Обнімаю Вас міцно. Весь Ваш

М. Старицький

P. S. Може б, дали звістку книгарям Вашим, чи не візьме хто «Богдана»? А то і про роман «Перед бурей»: він вийде в декабрі великою книжкою (40 лист.).

92. ДО І. М. КОНДРАТЬЄВА

[10 листопада 1897 р.]

Глубокоуважаемый
Иван Максимович!

Будьте любезны, распорядитесь о составлении за истекший месяц счета моему авторскому гонорару и о высылке причитающихся мне денег по известному адресу.

Еще к Вам моя покорнейшая просьба. В изданных г. Рассохин[ым] 2-х томах моих драм[атических] произведений обозначены точно мера заимствования, если пьеса не оригинальна; но в некоторых пьесах обозначения в списках гонорара расходятся с книгой, так, наприм[ер], в пьесе «Ніч під Івана Купала» у меня в книге напечатано — (На мотив кн[иги] «Наброски карандашом» Шабельской), а в списках при этой пьесе стоит — ориг[инальная]. Так как это понять? Быть может, пьесы, написанные лишь на мотив, оплачиваются так же, как и оригинальные, т. е. с них взымается в пользу Общества одинаковый с последними процент, или же пьесы, написанные на мотив, приравнены к пьесам с заимствованным сюжетом? Если так, то с пьесы «Ніч під Івана Купала» неправильно удерживается процент.

Итак, я убедительно прошу известить меня письменно,— приравнены ли пьесы «на мотив» к оригинальным? Если да, то оставить оплату этой пьесы в прежнем порядке, а если нет, то отнести ее к разряду с заимствованным сюжетом.

У меня с неким Александровским поднят процесс за клевету в печати, и мне необходимы и эти сведения, и на случай ошибки — исправление.

Примите уверение в совершенном почтении и глубокой преданности, Вашего превосходительства покорный слуга

М. Старицкий

29 октября

93. ДО ПАНАСА МИРНОГО

Киев, Караваевская ул.,
дом № 33

[12 січня 1898 р.]

Високоповажний добродію, дорогий наш письмовче, Афанасій Яковлевич!

Заманулось киянам видати на спомин імені Котляревського збірку, у яку бажано було б умістить найкращі утвори всякого роду краснописі, щоб після століття не

зчервоніти за книжку, порівнюючи її з «Енеїдою» та «Наталкою»... До ладу було б уяснити, який ступінь зробила література з того часу... Отож я від себе, а разом і від усіх киян ухильно й щиро прошу Вас покрасити наше видання Вашим белетристичним утвором — оповіданням чи очерком... Редакційна комісія до цього видання вже склалася: Житецький, Орест Левицький, Михальчук, а я обраний збирать матеріал, провадити зредаговану збірку до цензури і наглядати за друком.

Жду від Вас ласкавої одповіді. Я вже Вам раз писав, тільки на адресу Контрольной палаты, а тепер пишу уже на Казенну палату... Сповістіть мені, будь ласка, певну адресу.

Віншую Вас з Новим роком і бажаю всього, всього Вам і Вашій дорогій сім'ї найкращого, а всім нам бажаю, щоб Вашого найкращого повістярного талану, що межи всіма сучасними письмовцями на чолі, щоб Ви його, на радість всім нам, не залишили, а поширили на користь і на славу!

Обнімаю Вас. З великою шанобою, щирим серцем і всією душею прихильний

Мих. Старицький

31/XII

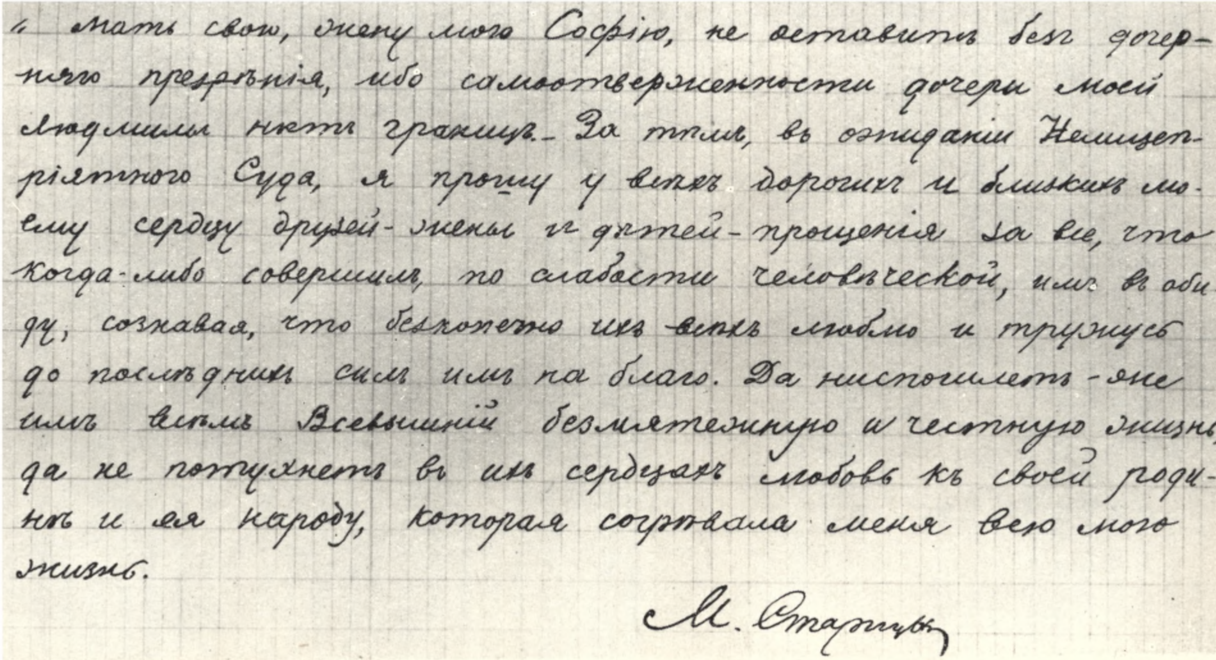
1898

94. ДО І. Л. ШРАГА

[17 січня 1898 р.]

Високоповажний, в. шановний
добродію Ілля Людвигович!

Трапилась мені таки злая пригода. Уосени Садовський прислав мені «Ясні зорі», щоб я повернув їх д. Грінченку, а тоді ще я й в сварці з ним не був, то знов мав інтерес, щоб ця п'єса конечне пішла на Кавказі, будучи певен (і тепер мене ніхто не перекона в супротивнім), що там вона більший матиме поспіх, ніж «Розумний і дурень»... а треба додати, що Садовський з такими п'єсами іменно хтів там виступати. Отже, я й вислав назад до Баку п'єсу «Ясні зорі», намагаючись, щоб він її конечне поставив... а він, на лихо, знов


и мать свою, жену мою Софію, не оставитъ безъ дочерняго презрѣнія, ибо самоотверженности дочери моей Людмилы нѣтъ границъ.- За тѣмъ, въ ожиданіи Нелицепріятного Суда, я прошу у всѣхъ дорогихъ и близкихъ моему сердцу друзей - жены и дѣтей - прощенія за все, что когда-либо совершилъ, по слабости человѣческой, имъ въ обиду, сознавая, что безконечно ихъ ~~всѣхъ~~ люблю и тружусь до послѣднихъ силъ имъ на благо. Да ниспошлетъ же имъ всѣмъ Всевышній безмятежную и честную жизнь, да не потухнетъ въ ихъ сердцахъ любовь къ своей родинѣ и ея народу, которая согрѣвала меня всю мою жизнь.

М. Старицкій

Уривок із заповіту М. Старицького.

мені її назад поверта з оцим листом, який прилагаю... Тепер що мені чинити? Переслати просто до д. Грінченка,— може звести добродій на мене безневинно претензію; відіслать назад Садовському — якась іграшка, а тим часом, може, п'єса саме автору потрібна... І не міг же Садовський сам послати, так ні — через мене...

Божусь, що кажу щиру правду і що я одстоював «Зорі»... Отож і прошу ласкаво Вас захистити мене від недобрих підозрінь...

Душею і серцем прихильний

М. Старицький

5 січня 1898 р.

95. ДО ПАНАСА МИРНОГО

Киев, Караваевская ул.,
№ 33
5 січня 1898 р.

[17 січня 1898 р.]

Високоповажний, дорогий добродію
Панас Яковлевич!

Зараз же на Ваш ласкавий лист, що одержав сьогодні, Вам одповідаю: трапилась оказія, тобто добродій Френкель, який сьогодні їде в Полтаву.

Перве, оповіщу Вас, яка вибрана комісія до редагування і ухвали розвідок, творів, поезій: Павло Житецький, Орест Левицький і Никандр Молчановський. Я, значить, буду відбирати рукописи, передавати їм і оповіщати авторів про скутки, а далі приймаю участь в офіціальних відносинах і цензурних. Про це я надрукував у XII кн. «Киевской старины».

Друге, Вашої драми «Згуби» я не бачив і не читав; на превеликий жаль, коли ставив її у Києві Садовський, мене не було дома, а був я у с. Мазепинцях... Микола Садовський мені хвалив її і набив оскому, щоб прочитати, та не знаю, до кого удатись.

Писав я Вам і просив за роман чи повість,— це не від того, що минаю драматичні утвори, а для того, що вважаю Вас першим на всю Україну й Галіцію повістярем; справді, по щирості, Ваша «Повія», на жаль, невикінчена, і по мові, і по художньому замаху така чудесна річ, що нею можна пишатись... Та ще от що: повістярів на нашій убогій Україні майже нема... Я принаймні не

відаю, хто б зміг до Вас і підступитись. Отож і трудно чекати, щоб хто прислав з повістярного письма щось путяще або хоч що-небудь, певен, що здебільша будуть надсилать вірші і драми... останніх уже обіцяли штук десять.

Коли тут у кого є «Згуба», то сповістіть, я дістану, перечитаю і або зараз же подам до комітету, або полистуюсь з Вами, поділюсь своїми думками; коли її нема, то, будьте ласкаві, вишліть — я не забарюсь Вам відповісти і, коли треба, то й зняти копію, щоб повернути Вам первотвір.

Але, крім «Згуби», кланяюсь Вам до ніг від себе і від усіх чисто — покрасить нашу «Збірку», чи як, Вашим прозаїчним повістярним утвором — розповідком, чи повістю, чи й уривком...

А якби Ви подумали нащот «Повії»? Адже ж вона невикінчена лягла спочивати... Чи маєте кінця або чи можете його обробити? То тут ми міркуємо так, що її можна б всю надрукувати... Одпишіть мені хутенько, яка Ваша думка, то я обміркуюсь.

Дуже всім нам було б втішно й приємно, щоб Ваше ймення панувало у «Збірці».

Коли Ви не одібрали мого листа, то, певне, не одібрали і книжки «Богдан Хмельницький», яку я разом з п'єсою Вам вислав на спогад. Так я оце через добродія другий екземпляр її шлю.

Ну, щасти Вам боже у всьому і Вашій дорогій сімейці, а нам подай боже, щоб наш славний і хвальний письменник не відвертав своєї руки від рідного поля і сіяв би на йому хоч зрідка коштовні перлини...

Всім серцем і душею прихильний

М. Старицький

96. ДО Ц. О. БІЛИЛОВСЬКОГО

Киев, Караваевская ул., дом № 33 30/I 98 — [11 лютого 1898 р.]

Високоповажний добродію,
дорогий Кесар Олександрович!

Слабую я все,— чи з ліжка не встаю, чи з хати не виходжу: ми, здається, разом з д. Кониським лаштує-

мось у велику дорогу,— коли й протягнемо зиму, то чи не останню? А мене ще ота рахуба з д. Грінченком просто заїда: боюся, щоб вона не скінчилась якимось жартом нечемним... Де ж пак,— вибрав з різних городів суддів: ну, як же їм з'їхатись, вибрати презуса, випозначити день суду, місце і т. д? Хто до кого мусить їхати? Кому за ким ганятись? В Києві не захотів вибрати,— це ж щось недоладне... Але цур його й згадувати! Краще про друге.

«Закляту печеру» уже скінчив і дав переписувати; за тиждень, певно, принесуть, але її вийде друку до 7 аркушів... ніяк коротше не можна, от і самі зауважите. Пришлю Вам ще кілька віршів, та ще 3, 4 переклади поезій нового польського поета п. Лесмана.

На мою думку, переклади треба теж ставити, бо вони височайше дозволені, а тільки дурна цензура надуживала і пустила марну чутку, ніби переклади заборонені. А я ж Вам кажу, що власними очима читав 1 артикула у найстрашнішому указі від 16 мая 1876 р., який гласить майже в ті слова:

«Воспрещается печатание на малороссийском наречии всякого рода книг, как оригинальных, так и переводных, за исключением лишь произведений изящной словесности».

Ergo, «изящная словесность» дозволена всяка, як оригінальна, так і перекладна.

Я оце маю тамтого тижня відіслати нашому цензору переклад «Орлеанської діви»: нехай заборонить, то буду скаржитись за порушення височайшої волі.

Одібрав оце якось листи від шановних добродіїв — Еварницького, Янчука, Борковського, Комарова, Карого; всі, спасибі їм, не натішаться моєю драмою «Богданом» і дають йому присуди надто хвальні... А знайбільша Комаров і Еварницький; останній так хвалить, що й мертвий мусив би з захвату з домовини підвестись... А мені всі ці ухвали болісно рвуть серце: нишком хвалять, а голосно і теплого слова не кинуть! Що ж це за трагічний стан нашого письменника? Або хва́ли не щирі, або наших земляків-читачів не захоплює ніщо, і вони геть байдужі до всього рідного? От коли треба укусити кого, то винайдеться собака... та й уже!

Адже ж поява першої серйозної історичної драми на нашім полі не абищо; та хоч би з того погляду, що цензура досі боронила такі речі, приневолюючи нашу

драматургію кружити тільки коло Петрів та Наталок, та й то ще, що тичеться лише до любові, а про другий край селянського життя — ані гу... Це раз, а вдруге і сама драма варт же, щоб про неї сказати хоть що-небудь! І чи не диво,— до сього часу ніхто про неї анічичирк: ні в своїх часописях, ані в московських!.. Один тільки д. Грінченко поміг уже докласти воза, і хоть, може, це не цілком власна його розвідка, але що він подав свій розслід — до його, певно, обернулись,— то це певняк!

Аж сміх бере: п. Анто[но]вич і п. Левицький розказували мені, що як почули, що ніби хтось знайшов у «Р[уськім] богатстві», що в драмі всі історичні факти перекручені, то аж за голови ухопились: як же, мовляв, ми—історики, і дали маху, присудивши премію першу за цю драму? Що мовби жодних хиб не бачили, а тут — на тобі! Кинулись мерщій, прочитали та трохи животів від сміху не порвали: такий неук писав, що страх, що його й через IV клас перепустить не можна в гімназію!.. Бачите як? А проте мовчать і не обізвуться й словом, хоч, виходить, і їх науковий гонор зачеплено; а обидва люди великого письма! [...]

Просить мене п. Еварницький, щоб я писав та й писав історичні драми; що цей рід поезії — моя стихія... Але по правді скажу, що при таких обставинах опадають руки, думка не йде, а гнітиться під вічним страхом, що це все я готую матеріали для помиїв Грінченка... Ні, при такім стані нема волі натхненню! Невже б п. Еварницький не зміг у московських журналах дати хоть коротеньку розслідку про мою драму? Або наш глибокочтимий дідусь д. Мордовець, чи не ушанував би хоч коротеньким словом мене у Петербурзі? Гірко й упоминати про це, а так, аби одвести душу!

У мене єсть такої ж сили драма «Маруся Богуславка»: її я написав два роки назад... А от тепер — просто не можу!

Знов я одержав оце заказ із Москви на історичний роман «Мазепу»: хтів би разом писати по-російськи і по-українськи, щоб хоч у Галичині друкувати поки абощо, та й удався до одеситів, чи не можна цього українського видання прилаштувати до «Южно-руського видавництва», щоб хоч малу оплату дали,— хоч, мовляв, на папір та переписку,— та й не озиваються щось... Бере мене превеликий жаль, що й «Хмельницький» (роман

у 3 част., або 3 романи — на 120 арк. друку) виходить тільки по-російськи, бо там платять гроші, на які я тільки й живу, а по-українському — нема спромоги такого романа видати... Так би хотілося завершити будови нашої літературної мови таким романом, та ба! — «вже до снаги, бач, розплатився»...

Ну, годі! Забалакався та й Вам обрид: все з своїм лихом у вічі, а у кожного й свого досить...

Всіх Ваших громадян щиро вітаю, дякую вельми за пам'ять і бажаю всього найкращого.

Обнімаю Вас.

З глибокою шанобою, щирим прихилом, незмінно вдячний за приязнь

М. Старицький

97. ДО ГАННИ БАРВІНОК

Киев, Караваевская ул., дом № 33 [12 лютого 1898 р.]

Не положіть гніва на мене, високоповажна і глибокошановна добродійко Олександра Михайлівна, бо безневинен: жодного від Вас листа не одержав... А оце сьогодні зайшов до мене Микола і повідомив мене, що Ви озивались до мене і ремствуєте, що не відповідаю, але знов кажу,— безпричинен!

Як же би таки я не відписав заразженько ж нашій славній письменниці, дружині вірній мого славного навчителя, якому я за його українські утвори, за його дивну мову кланявся, кланяюсь і кланятимусь до землі вік.

Я винен трохи сам перед собою, в душі, що образився трохи на великого чоловіка тим, що покійний в листах до мене почав мене узивати все превосходительством, генералом української літератури... Ці незаслуговані чини мені видались просто насміхом, глумом... і я ухиливсь від листування... Але того року був у нашого славетного письмовця і поета п. Тимченко і переказував мені, що Пантелеймон Олекс[андрович] щиро жалкує, що я замовчав,— і я збирався був з ним, Тимченком, навідати сам нашого велетня в хуторі, та збирався, збирався...— сам, бачите, страшенно хворий,— поки й не спізнився навіки!

Від одного д. Шредера чи Трегера (не розберу гаразд по підпису) одержав навіть два листи, але без адресу, без імені і отчества... Як же мені було відповідати не знати кому, не знати куди?

Так от що: я завтра все зберу, що у мене є, і буду чекати від Вас листа: куди скажете,— туди й вишлю... Тільки мені жалко, більше навіть, чим жалко, віддати листи: їх у мене, певне, небагато, і я їх хороню, як святощі... То, може, краще копії з них вишлю?

За два тижні ми святкуємо в нашому Літературному товаристві роковини нашого незабутнього Пантелеймона Олександровича,— нехай над ним земля пером!

З великою шанобою і глибоким прихилом весь до послуг

М. Старицький

$18\frac{31}{1}98$ р.

98. ДО Д. Л. МОРДОВЦЕВА

Киев, Караваевская ул., № 33 — [8 березня 1898 р.]

Високоповажний, вельмишановний, дорогий добродію Данило Лукич!

Не знаю, як і дякувать Вас, батько наш любий, за Ваше ласкаве слово про мене; воно мені піддало трохи живця і одволожило наболіле серце... Справді, нам, українським діячам, що на користь рідного поля несуть і працю, і дорогий час, і щирець свій, і останні гроші, назустріч ідуть тільки лайки, та цькування, та посміх, та глум, та жандармські нашепти — і то відусюди... Я вже не кажу про ворогів, їх повно навкруги, а то часом і свій брат-іуда із-за кутка вкусить... Отож коли почуєш навпаки добре слово, то аж здивуєш: до того не звичен до його, а воно ж єдине тільки й є нагорода за всі поневіряння!

Чолом же Вам б'ю, наш славний письмовче, і чулим серцем до Ваших ніг складаю подяку. Продовж Вам боже вік довгий Україні бідній на користь, а нам, прихильникам Вашим, на радість!

А за Вашу статтю в «Петербургских», то вже не я один, а всі ми Вам зложимо неомірну подяку.

«Киевлянин» наш, проте, уже написав одповідь на неї, загавкав ad consules, по своєму звичаю; тільки гавкання його слабе і може бути розбите на всіх пунктах. Він уже признає мову, а тільки кричить, що вона нам зайва, непотрібна і що українські літератори бавляться нісенітницею, яка навіть для нас (Росії) вадлива, що й галичани дурні, повинні нас послухати, а не хлопоманів,— прийняти літературний росейський язик, а з ним і невичерпне море всяких скарбів.

Хочу йому одповідати, коли «Киевское слово» прийме, а то не маю деінде... А може, Ви, орле, рубнете його своєю міцною рукою знову у «Петербургских»? Відпишіть на це найскоріше.

Ще раз Вам велике і щире спасибі!

З великою шанобою і щирою повагою, з теплим, незмінним прихилом.

Ваш назавжди

Мих. Старицький

24 лютого 98 р[оку] б[ожого]

99. ДО Ц. О. БІЛИЛОВСЬКОГО

[Початок березня 1898 р.]

Вельмишановний і дорогий
Кесар Олександрович!

Не здивуйте, голубе, що й досі не одповідав на Вашого листа і не заслав Вам щирої, щирої подяки за Вашу ласку і приязнь, за Ваше побажання, щоб люди промовили добре слово про мене... За все, за все моя Вам незабутня подяка...

Але мене, крім усіх лих, схопив ще «брюшний тиф», і от тільки сьогодні перший раз присів на годину до бюро, та й знову до ліжка... Така вже, вибачайте на слові, здохлятина!

Не можу багато писати, а коротко скажу, що пише добру рецензію на збірку Олена Пчілка до «Київської старини», моя Людмила написала і однесла сьогодні до «Жизнь и искусство», Бердяєв пише в «Курьер», а польський поет Лесман до трьох польських часописі[в]... Все надруковане я Вам вишлю.

Моя «Печера» уже переписана, тільки от продивлюсь і перешлю Вам; запросив ще кілька літератів до «Збірки»... так щоб уже гримнуть нею.

Не знаю, куди Еварницькому писати?

Пошли Вам господи більше здоров'я і сили працювати так корисно на нашій убогій ниві, а терпіти всім нам доводиться: така уже щербата та паскудна доля українського письменника — і користі кишенної чортма, і вороги обкидають, і свої дурні цькують...

Еге, от що цікаво: чи не посилав Вам часом віршів своїх або під псевдонімом д. Кононенко,— оповістіть, будь ласка!

Бувайте здорові і богові милі!

З великою повагою і шанобою до Вас назавжди прихильний

М. Старицький

100. ДО П. Г. ЖИТЕЦЬКОГО

(Березень 1898 р.)

Вельмишановний і вельмидорогий
Павел Ігнатьєвич!

Велике, щире спасибі за Ваш подарунок коштовний, таке уже спасибі, що й на оберемок не візьмете. Я був, звичайно, накинувся на саме для мене цікавіше — на драму — і став шукати її в оглаві першої книжки, і, шукаючи, зачепився за перше слово та так, не відриваючись, і проковтнув обидві, та ще з жалем оглядав, чи нема чого далі. Таке могутнє Ваше слово, такий пишний виклад, така легурна й співоча річ! Це не «очерки» про поезію, а сама поезія — чарівна і художня... Справді, скільки висіяно в Ваших книжках глибоких домислів, певних дослідів і розкішних прикладів,— що тішишся, смакуєш просто тією художньою красою, над якою Ви поет!

Вельми шкодую, що не виходжу ще з хати, а то давно був би у Вас! Ну, дай Вам господи тільки здоров'я. Обнімаю Вас щиро.

Весь Ваш

М. Старицький

101. ДО ПАНАСА МИРНОГО

Киев, Караваевская ул.,
дом № 33

[6 квітня 1898 р.]

Тільки що прочитав Вашого «Морозенка», коханий наш, дорогий письмовче Панас Яковлевич, і, зачмелений невиразною втіхою від Вашого розповідку, пишу на гарячім учинкові і не знаю, з чого й почати? Мабуть, почну з великого і пекучого докору, що Ви занадто скупі і мало даруєте убогій українській ниві тих перлів-самоцвітів, яких Вам дадено самим богом скарби... Для чого ж Ви їх закопуєте у землю? Це самий тяжчий з гріхів: «всяка вина-бо проститься, вина же проти духа не проститься вовіки». Оддайте ж кесареві — кесареве, Мамоні — наші [нерозб.] потреби, а богові — боже... Або краще: бідному людові, за яким Ви болієте щиро душею,— наші серця, нашу пораду, а Ви своїм яскравим таланом, та гарячим серцем, та гнучкою і виразною мовою можете і панувати над нами, і керувати нашими почуттями... Просто аж болить серце, коли згадаю, що від «Коли ревуть воли» та «Повії» Ви майже нічого не подали нам, а пройшло тому 15 літ! А Ви б могли нас збагатити, бо Ви первий белетриста,— це моє переконання!

По художності замаху, по художній мірі, по досконалості розвідок, по щирості, по знаттю народу, по митецькому вирису — Ви перший... І знову питаю і благаю: пишіте, давайте нам свої неоцінні гостинці, бо треба ж нам похизуватись і перед людом, що маємо свої справжні сили...

От і в «Морозенку» — все в міру, все до ладу, все пронизано такою щирою любов'ю, таким теплим прихилом до обездолених... І мати, і синочок її, і холодна, намерзла пустка стоять перед очима, морозять серце, кригою налягають на мозок; а дитяча любов синка до матері, його одвага задля неї, задля її спокою бігти уночі через ліс — зрушує серце до сліз... А чудові картини його присмертних примар? Не можу висловити, якою художньою силою б'є від Вашого розповідка, як мене він вразив!

Єсть у Сенкевича розповідок «Янгол» — теж малює безпомічність сироти, але зовсім другого змісту: там дівчинка зостається круглою сиротою (мати тільки що вмерла), і ксьондз в казанні каже, щоб сирітка не

побивалась, бо до таких приставляється богом янгол, який догледить і доведе до пуття сиріт... От по похоронах зібрались сусіди і якісь далекі родички сирітки в шинок пом'янути покійницю чаркою і подумати про сирітку: всі були чогось задовольнені і проказували остовпілій дитині, що за нею пильнуватиме янгол, а проте порішили відправити краще дівчинку в друге село до бабусі, щоб тут, бува, не впала вона на кого тяжарем... Начастувалися упадниці за радою добре самі і напоїли якогось мужика, що взявся відвезти зараз у морозяну, завірюшну ніч сирітку у друге село... Їдуть вони лісом, коні в'язнуть... возниця сопе і куня... дівчатко тремтить і про янгола дума. А це в лісі возниця зовсім захріп, коні загрузли, санки стали шкереберть, випав з них і возниця, і сирітка... Остатня пробувала розбуркати дядька, але той лежав нечуственний... Дівчина сіла й почала плакати, а холод став дошкулять. От вона думала, думала і наважилась сама піти лісом і достатись до села... тим паче, що янгол буде з нею. Пішла та й пішла. А далі знесилилась і сіла під хвоєю спочити. Пригадалась їй мати, защеміло боліччю серце, замерзла сльоза... Коли чує — щось шелестить: певно, мама або янгол... Зирк! — аж перед нею горять два ока і вищирились зуби... То стояв вовк. На ранок знайшли тільки юпчину та черевики.

Оцей розповідок, та «Побідний Бартьо», та «Старий ліхтарник» вважаються критикою за найкращі з дрібних речей Сенкевича... Ну, а я скажу, що Ваш оцей розповідок по глибині почуття, по художності барви далеко кращий за Сенкевича. Він таку має загальнолюдську вартість, що його на всі мови перекласти можна.

Одержав я Ваше «Лихо», чудесне, художнє лихо, давно перечитав з смаком двічі і передав зараз до рук Ореста Левицького, тобто до комісії. Боюсь я тільки, щоб цензура не вчинила «Лихові» лиха. Там дуже гострі сцени знущання панії над дівкою і безпросвітний стан голодного люду, у який поставив його уряд, тобто підбурення нижчих верств супроти вищих, а надто супроти найвищого уряду...

Ну, коли я тільки відберу від комісії пораду, що для цензури треба б змінити, чи урізати, чи добавити, то я зараз сповіщу Вас. Сяк-так, а вже будемо борикатись, щоб визволити дорогий гостинець від цензорських лабетів.

Щодо мови, то Ви, дорогий колего, митець-чарівник нашого слова: мова у Вас і гнучка, і виразна, й міцна та чисто народна... Де-не-де тільки, та й то дуже зрідка, трапляються слова, хоча і щиро народні, але грубі, яких би можна у викладі поетичної сцени чи картини не уживати. Напр[иклад], у «Морозенку» кілька раз б'є слово віскряки. Я знаю, що «борульки» звуться й віскряками, але це слово по своєму дійсному значенню зрива огидливий образ і нудоту... Далі кутити — може, вже і встряло у народну мову, але це московсько-купецьке слово, а у нас суть і власне — «гуляти», «бенкетувати», «курити»... От ще «дух випирався» — та й уже. Я пом'янув про ці дрібниці, бо справді вони серед загальних перлів вражають.

Не здивуйте, що так пишу: кажу ж, що зачмелений, захвачений Вашим «Морозенком», то, може, не добре й тямлюсь, але пишу від щирого серця, що воно проказує, поки не прохололо...

Спасибі ж Вам велике, до землі чолом за такі чудові речі, довгого віку, доброго зиску у всьому і поспіху, а для нас більше гостинців. Хоч малу частину уривайте часу від Вашої праці, за добре діло господь допоможе!

Вашій шановній та любій жіночці від мене сердечне пошанування.

Бувайте ж здорові і богові милі!

З великою повагою весь Ваш душею і серцем

М. Старицький

25/III
1898 р.

102. ДО Д. І. ЯВОРНИЦЬКОГО

Караваевская ул.,
дом № 33, Киев

[10 квітня 1898 р.]

Високоповажний, вельмишановний і славний
письменниче наш, любий добродію,
Дмитро Павлович!

Просив я всіх, щоб дали мені повну Вашу адресу, та й досі не маю і пишу навмання уже, керуючи на Московський університет.

Жодний лист мене так не втішив, як Ваш, як Ваша похвала моєму «Богдану». Таж нам, бідолашним україн-

ським літератам, здебільша приходиться чути тільки лайку, напасті й погрози — і то не від ворогів тільки,— то вже річ звичайна,— а від своїх землячків, які так і пруться, щоб з-за кутка лити плюгавості. Ох і тяжка ж доля нашої преси: треба мати велику мужність, щоб виступати на їй, бо, крім заушеній,— нічого, ні користі, ні дяки, не жди, коли хто й похвалить, то хіба потай.

Так отож і почуваєш у серці великдень, коли хто тепле слово промовить... Дуже б утішно було почути від Вас голосно думки Ваші про «Богдана», що подобається, що добре зроблено, що недоладно... бо сидиш у темряві і розумної, освітньої поради такого знальця, як Ви, не чуєш.

Радите Ви мені, любомудрий земляче, писати ще історичні драми, а я оце був і гадки уже закинув писати що на нашій рідній мові: раз, трупи якось здрібнішались, вибились з сил і не можуть великі речі виставлять на кону, а друге, що свої ж люди з задрості й помсти обляпують тванню, а решта мовчить, і блювотина так і присихає, а я тим часом борикаюсь з ворогом за нашу справу, а землячок на мене напада і тому доклада нашому ворогу воза... А тепер отже той наш напасник всіх обляпує, щоб повалити авторитети... а са[мо]му стать на підніжку.

Тепер, коли Ви заохочуєте, то, може, дасте тему. Я тепер пишу великий роман про Мазепу, тільки що ся тема небезпечна для цензури, а в цензурнім смаку я не напишу.

Чув, що Ви теж слабуєте,— погана се справа, по собі чую. Ховай же боже від хвороби, від всякого лиха й напастей та продовж Ваш дорогий нам всім вік на користь рідного поля.

Озовіться, голубе, і напишіть певний Ваш адрес.

Щире, велике спасибі за Ваше тепле слово, а за Вашу розвідку ще буду більш вдячний.

Високо шануючи Вас, і талан, і Ваші праці, зостаюсь весь Ваш душею і серцем

М. Старицький

103. ДО М. Ф. КОМАРОВА

[Кінець березня — початок квітня 1898 р.]

Високоповажний і вельми дорогий серцю
Михайло Хведорович!

Дякую Вас щиро і велико за Вашу ласку, що згодились бути головою в суді моїм з Грінченком; я боявся, зі слів Шрага, що сторона не згодиться ні [на] одного нашого кандидата, бо й Антоновича зацурала; а з їхньої сторони вони презентували, крім Чикаленка, на якого й ми згодились, зовсім нам невідомих людей, напр., Лисевича; але нарешті Людмила поїхала в Чернігів, повезла шість кандидатів, і на Вас погодились.

Тепер от іде ще діло про строк. До тройці Кониський у Києві, а п. Лотоцький — до 10 тільки мая. Ну, останнього можна замінити й другим ким,— п. Антоновичем (думаю, що згодяться), але Кониського мені б шкода було не мати... Та ще от що: мені б найтребніше було суда скінчить до серпня (августа), бо на перші дати буде суд з Александровським, то раз: мені знадобиться бути у Петербурзі, а друге — дані, які винайдуться на третейському суді, можуть мені постаткувать на коронному... Отже, я б прохав Вас низенько і щиро, що коли Вам не з руки бути у маї, то визначіть хоч у іюлі абощо: тоді поїхали б хоч до Чернігова, коли маєм було б неспроможно...

Ще, мені найпотребніше знати хоч завтра за май, бо лікарі вимагають конечно, аби я на цей місяць їхав до Криму, то мені теж кожен день або їхати, або вже ні... Так будьте ласкаві, сповістіть по сьому листу телеграмою мене, на який реченець уже найпевніше мушу я дбати. Коли на май — до тройці,— то я мушу ждати, коли на червень чи липень, то я поїду, але на всякий случай запрошу і суддів...

Хапаюсь, щоб відбуть на залізницю. Ще дякую Вас, бажаю всяких благ, обнімаю щиро і зостаюсь з незмірною шанобою і прихилом

М. Старицький

104. ДО ПАНАСА МИРНОГО

[20 квітня 1898 р.]

Христос вокресе, вельмишановний і вельми дорогий серцю Панас Яковлевич, братерньо обнімаю Вас і лобизаюся тричі... А докори мої не що інше, як захват; коли що читаю занадто хороше — так і кричить щось: ой мало, коли б ще! Отож, чим більше напишете, чим краще напишете, то буду ще голосніше кричати: ой мало, коли б ще!.. Скажете, може, що я вже такий ненатлий, ненаситимий, так уважте ж, добродію любий, що на нашому полі так мало з'являється чого путящого, що мимохіть скаженієш з радості, коли що таке зуздриш.

А я знов цими святками лежав у ліжку. От уже їсть мене поїдом та хвороба, так аж остогидла, певно, вже оце доїсть дотла. Пишу оце роман «Мазепа», срочна робота, насущник... А як його писати, коли й не повернешся... Проте написав оце постом Біliловському * легенду «Заклята печера», таки чимала повість, аркушів на 10, а тепера от розпочав драму «Облога Буші»; хочеться довести до кінця, щоб вийшла краща за «Богдана».

А тут ще Заньковецька Христом-богом просить, щоб приїздив у Крим та поставив на лад її трупу, тобто не її власну, а Найди, але це виходить все одно. Чи чули Ви, вони пересварились з Садовським на смерть і тепер уже пішли нарізно: Садовський — до Саксаганського, а Заньковецька — до Найди.

Ще от вона мене о що благає сльозно. У неї єсть Ваша, подарована їй п'єса «Лимерівна»; роль ця у неї найулюбленіша... Давно вже вона мене просила підробить у цій п'єсі ролі і зробить її сценічнішою, подаючи мені ч е с н е слово і хрест, що Ви за це претензії мати не будете, що Ви це дозволяєте. Увіривши в це і знаючи Вас за щиру людину, я вволив її волю... І Ви, певно, бачили на сцені цю Вашу п'єсу з деякими моїми додатками. І досі я не чую од Вас докору, знати — одобрили або поволили...

Тепер така річ: посварившись, Садовський не дав їй підробленої п'єси і лишив до вжитку собі, а Занько-

---

* Подайте і Ви йому хоч що-небудь.

вецька зосталась з дулею. Отож вона і блага мене на всіх святих, аби я знов доробив по-первому. На лихо, і шпаргалів у мене не лишилося, так що прийшлося б наново працювати. Так от що, одпишіть мені, серце, з а р а з: а) ч и В и д о з в о л я є т е? і б) чи той первий сценарій Вам подобався, чи, може, що не до ладу, то замініть? Нарешті, дать пораду... і в) може, Ви самі це зробите? Будьте ласкаві, одпишіть швидше, бо вона мене принукує і листами, і телеграмами, а як приїду без нічого, то образиться сльозно...

Я, знаєте, в останні часи так наляканий всякими напасниками, які з особистих інтересів, а просто й з помсти виливають помиї з закутка, що боюсь уже й чіпати, й поради навіть давати.

...До речі, будьте ласкаві, напишіть ще мені, що Ви дозволили мені для сценічного вжитку переробить Вашу п'єсу «П е р е м у д р и в» в комедію «К р у т и, т а н е п е р е к р у ч у й, або От т о б і й в и г р а в с п р а в у» і що за те не маєте жодних претензій. У мене було на це право — два Ваших листи, один раніший, а другий в Полтаві. Так один маю, а другий загубився. Отож і прошу Вас пильно не відхилити моєї просьби. Коли Ви не чули, у мене йде процес з Александровським, який напав на мене в образливо грубій статті за мої доклади про цензуру в Москві. Мої доклади були ухвалені всіма і викликали «ходатайства», які уже мають і добрі скутки. Так отой шпик Александровський, щоб принизити мої доклади, оклеветав мене — і я з ним веду діло. Отож і треба мені мати оправдательні документи, бо справді, що я не робив, то на користь рідної сцени, аби обійти суворі гвалти цензури. Жду відповіді. Обіймаю Вас щиро і дружнє, щасти Вам боже у всьому! З великою повагою і прихильний назавше

М. Старицький

Чи не написали б Ви до брата Івана, щоб прислав свою повість до збірки?

105. ДО ПАНАСА МИРНОГО

[20 травня 1898 р.]

Вельмишановний і серцю любий земляче, пане Панасе!

Як я радий, що запитав сам Вас про «Лимерівну», то аж помолодшав. Не будь таких на мене напастей, то, може б, і тепер повірив.

Давно ще завірили мене Садовський і Заньковецька, що Ви дозволили переробити п'єсу, як їй любо. Отож, по їх просьбі, я переробив V дію, а далі, теж по указанію кожного, приточив, що йому бажалося,— Затиркевичці, Карпенку... Але все це зроблено було тільки накидом, необроблене, з тим, щоб Ви одобрили й вигладили. Трупа мала їхати до Полтави... Ну й гаразд! Через кілька часу, майже через рік, я бачився і, між іншим, чув, що Ви ніби ухвалили — ну, я радію... А це знов пройшла чутка, що п'єсу хтось украв, але все-таки її возстановили... Пройшло цілих мало не сім-вісім літ. Трупа Садовського була у Полтаві ще *тричі*, і ні від кого я не чув і в думку навіть не клав, що се Вас обходить,— аж тут на тобі, та ще з маслом!

Мені занадто це прикро, що, одмовляючись її переробляти, я казав, що це мені занадто ніяково, бо вже було раз незадоволення д. Мирного на мою переробку першу, тобто що вона не до смаку зроблена. А це щось швидко й було після нашого бачення у Полтаві. Ну, та тепер гаразд. Переходжу до практичних мір. Що я не зачеплю *нижче тії коми*, то даю чесне, шляхетне слово. Садовський у Саксаганського, там же, певно, ставитимуть *тільки Вашу*. Але хоч би я знав, який єсть оригінал? Бачите, сьогодні я їду в Сімферополь (запросює, на бога, Заньковецька режисером у новім її ділі; її, нещасну, кинули серед шляху, так от вона борсається, щоб спорудити своє діло); то, може, знов (і певно) наможеться ставити цю п'єсу. А коли Садовський не дасть цієї п'єси, то вона може бути возстановлена по спогадах. Так, щоб на мене не впав докір, що під моєю режисурою я не те ставлю, то зробіть так: вишліть мені *Вашу* і особливо, ще яко режисеру, сурйозний лист, що Ви правите, щоб п'єса ставилась так, не інакше і що Ви дозволяєте тільки те-то... Заньковецьку не вражайте,

бо вона прибита горем, а я з цим листом матиму опору... Я буду там місяців 2, не більше, а там уже другий орудуватиме.

Про «Крути»—я згідно Вашій волі і зробив. Погляньте самі на видання моїх драм[атичних] творів Рассохіним. Там тако і надруковано: «Крути, та не перекручуй», переробив із комед[ії] Мирного «Перемудрив» М. Старицький. Тепер про цю книжку й ще, що на такий заголовок і на переробку я одержав право і згоду від автора [нерозб.]. Коли Ви проглянете, то й у тексті знайдете всі уваги Ваші, які ласкаво мені надали.

У мене й в тому листі єсть подане це право, але там стоїть і лайка за Печарицю; то мені б дуже було трібно мати сухого короткого, офіціального на руській мові листа, що, мов, право переробить дадено мною на таких умовах, щоб те-то... і т. д. Продивіться книжку «Малороссийский театр» М. П. Старицкого, II том,— там побачите, що Ваша воля цілком справлена.

Докір, що деякі старі п'єси перероблені до смаку публіки, щоб давала вона збори, мають і рацію, але мають і неосудність. Не пускала цензура жодного репертуару, треба було крадькома вилазити хоть під чужим стягом, треба було дихати й жити, а ірод хотів нас задавити на смерть. А це й у звичайному житті, коли вас душать за горлянку, то тут уже тільки думка, як би вивернутися, не вважаючи чи моральним, чи неморальним способом. Коли чоловік пухне з голоду, то й закон оправдовує його за кражу. Тепер, хвала богу, другі часи; цензура хоть дещицю пуска... і репертуар росте. Тепер от майже 9 років, як я пишу тільки оригінальне, класичне, історичне, не поступаючись і цятиною не тільки задля гальорки, а навіть і на те, чи спроможні трупи ставити широку обстанову. Хай лежать п'єси і ждуть слушного часу, а я не поступлюсь. От мої «Богд[ан] Хмельн[ицький]», «Маруся Богуславка», «Дорошенко», «Облога Буші», «Розбите серце» уже деякі розрішено, але вони не йдуть, бо трупи не мають спромоги. А я теж так, серце моє, як і Ви, думаю і болію душею, що в останні часи гине укр[аїнська] сцена. Наводнили її сміттям і гнилятиною, принизили і принижають до балагану. «Червоні черевички», «Запорозький клад», «Пропавша грамота», «Чмир», «Золоті кайдани», «Жидівка-вихрестка» і інша погань!

Обіймаю Вас щиро, мій дорогий колего,
весь Ваш душею і серцем

М. Старицький

Пишіть по адресу київському, мені дочка Людмила пересилатиме.

106. ДО Ц. О. БІЛИЛОВСЬКОГО

[20 травня 1898 р.]

Високоповажний, дорогий добродію
і любий земляче Кесар Олександрович!

Тільки от коли спромігся вислати Вам свою обіцянку «Закляту печеру»: з нею була ціла оказія! Місяця два назад я її написав і дав своєму зятю Стешенкові переписати. Прислав він її тижнів через три, але так дрібно, просто маком сипану, що годі було її й читати... отож мені, авторові, а що ж цензорові? Він її кине, та й уже! Послав я назад,— він мені її переписав, хоч і не так дрібно, але вже з гріхом пополам можна читати... От як бачите!.. Але це не все: читав я цю легенду Антоновичу; він дуже ухвалив її, тільки одно зауважив, щоб не сталось від якого історика причіпки, ось що: а) не став наймення короля, щоб не визначать дійсної доби, бо тоді можуть знятись питання, а чи був такий-то або чи було саме те й те, та, нарешті, легенда і не мусить мати зовсім певного стану, бо тоді вона не буде легенда, а буде історичним певняком. б) Описаний мною турнір з наслідками, який займав у мене аж три глави, теж Антонович найшов дуже пишним, цікавим, але більше до європейських турнірів, ніж до польських схожим... А порадив, так як легенда ця більш-менш за часів Владислава IV, то що тоді в великій моді були венеційські маскаради. Взяв я і написав наново три глави і дав тут у Києві, аби швидше, переписати; писав один — кинув, писала одна — кинула, писала друга — все загубила! Мусив я знову писать і відіслати таки знову Стешенку... І от одержав листа, що уже готову вислав;

завтра, значить, Людмила одбере, вона і Вам вишле... А я оце налаштувавсь у дорогу: виписує Заньковецька у свою нову трупу, а лікарі рають літом покористуватись Кримом.

Тепер от що: перегляньте цю «Печеру», чи не лишилось де наймення короля або фамілія князя? Вичеркніть! Король — просто тільки король, а князь — Владислав — і годі.

Тепер ще за правопись: Стешенко мені втелющив галіційську, я виправляв, виправляв, але, може, де ще лишилось, то Ви з ласки догляньте. Я пишу так: «Мені хочетця», а він переписує — «хочеться»... Се не гаразд: коли фонетика,— то фонетика! хочетця, хотиться (непевн.). Знов я пишу ёго, а він його... Та, нарешті, у Вас же дотримається одноманітна правопись.

Посилаю Вам ще при листі цім кілька віршів, які я читав у Літературнім товаристві,— оригін[альні] і переклади; коли їх можна зажити, то гаразд.

Ще про діло з Александровським. Коли матимете часинку, то заскочте на хвилину до Герарда і спитайте його, голубе, ось про що: 1) чи одібрав він моє показаніє судебн[ому] слєдов[ателю] (копію його я йому переслав ще 2 квітня) і 2) які ще міропріятія учинити? і 3) як би довідатись, на коли можна чекати більш-менш допроса Александровському? Для мене це дуже важно. Я все більш слабую, і лікарі мене женуть оце в Крим, а Заньковецька блага ще допомогти у її новім ділі — заснования трупи української з чисто класичним репертуаром... Так я сьогодні і їду...

Тим часом, після показаній Александровського, я можу дати відповідь і подати другі докази або й виставити свідків... Отож і боюсь страшенно, щоб не прогавити.

Відписуйте на цей мій лист дочці Людмилі — вона зостанеться у Києві, поки я вернусь.

Обнімаю Вас щиро.

З незмірною шанобою і великим, щирим прихилом цілком Ваш

М. Старицький

107. ДО ПАНАСА МИРНОГО

18 червня
Киев, Караваевская ул.,
№ 33

[30 червня 1898 р.]

Вельмишановний і дорогий серцю
Опанас Яковлевич!

Оце тільки на два тижні забіг до Києва та й знов вирушу звідси на 27 в Єкатеринослав або Харків. Застав я дома Вашого ласкавого листа й гостинця, за який бардзо дякую. Вашу «Лимерівну» репет[ир]ував уже там, але ще не ставив за браком однієї актриси, яка мала прибути через день після мого виїзду. Може, оце без мене й чарувала усіх у Вашій п'єсі Заньковецька. Вашого примірника у неї нема, а єсть звичайний, по якому вона завжди грала; отож цілком поставити Ваш текст було неможливо, але я звернув увагу на ті місця, на які Ви натякали, і виправив, згідно Вашій думці і, по можливості, сценічного руху. Так, в 1-й дії одна дівчина хоче в гусей грати, дехто сміється з неї, що дитячої гри захотіла, бо сама дурненька, інші кажуть грати в горидуба, другі — що без парубків не можна і т. д. Забавка розстроюється. Далі, в 2-й дії зовсім викинути розмову про завішання придуркуватого Карпа було неможливо, бо на тім факті построєна вся дія: налякана його мати через те тільки й згоджується на шлюб сина з Лимерівною. У першій же дії вона привселюдно кричала, що поки жива, не допустить, щоб оці злидні ввійшли в її хату, вилаяла, оганьбила стару й молоду, розплювалася з ними і погнала свого синка в потилицю додому. Значить, для згоди її у II дії треба мати якийсь тяжкий факт, який би зломив її волю залізну. Не знаю я, який у первотворі був факт, то й не міг їм покористуватись, а тут на всю дію — один тільки оцей, що налякав матір Карпа і примусив її поступитись своєю волею. Я зробив от що: Карпо і не думав ніколи навсправжки вішатись, а він тільки хотів налякати матір, але своєю дурною головою так зробив цей жарт, що трохи й справді не зализся, якби не нагодилася на той час Мотря... Тепер, значить, правда характеру не порушена, і Карпо як був, так і зостається нікчемним, млявим пришиблеником. Нарешті, коли буду мав Ваш примірник, то все вчиню по Вашій

волі: що дозволите лишити — зоставлю, що скажете викинути — викину. Знов ще раз прошу пробачення, але зміни ці вийшли з великого непорозуміння; крім того, тут всі додали праці, я тільки пригнав і приладнував всі вставки, дав, так сказати, кілька художніх погладок. А Вашого екземпляра, який Ви подарували Заньковецькій, і тоді, і тепер не видав.

Чи не змогли б Ви, голубе, написати Івану про його твори українські: хай би він їх подав нам хоч під псевдонімом абощо. Я не знаю його адреси — це раз, а вдруге — не відаю, як він прийме на своїм стані високім мій лист,— може просто не одмовити, зацурати, а Вам він, конешне, дасть одповідь. Туго посувається наша збірка: ніхто чого-небудь путящого не шле... та й взагалі мало озиваються... Бодай наших письменників!

Я оце знов написав історичну драму «Облога Буші» (за часи Хмельниччини: геройська оборона твержі жонотою). Написав її білими віршами, як «Богдана» і «Марусю Богуславку», тепер обробляю, вивершую... От ще, як на Вашу думку: деякі монологи (ліричні чи величні) я пишу рихмованим віршем, на взір, як чинить і Шіллер... Воно гучить добре, а тільки боюся, щоб не порушило загального тону.

Трупа у Найди добра, а може бути ще кращою, коли б тільки Заньковецька не пожадала нам довго жити: подалась вона від останніх пригод, кров'ю харкає, а гра... гра ще краще... Дуже, дуже кланялась Вам.

Радію душею, що Ваше сімейне лихо — хвороба — перейшло хмарою і тепер уже у всіх на душі сонячно. Дай боже, щоб вік так було і щоб у щасті дочекались ясного вечора. Тільки працюйте й на нашу ниву, не кидайте пера. Всі нові автори, на превеликий жаль,— мізерія!

Обнімаю Вас щиро, любий мій і дорогий.

Весь Ваш всім серцем і душею

М. Старицький

Відпишіть мені хутчіш, бо я виїду з Києва днів через 10 найбільше, а куди — й сам не знаю.

P. S. Спасибі сердечне за Вашу ласкаву згоду написати мені офіціального листа; на мою думку, він повинен бути написаний по-російськи і вміщать більш-менш ось що:

Многоуважаемый Мих[аил] Петрович!

Меня изумило Ваше письмо,— каким это образом совершенно мне неизвестные люди, без всякого с моей стороны повода, осмелились печатно предъявить к Вам протест в защиту якобы моих авторских прав! Это своего рода литературное наездничество, которое в последнее время развивается еще на почве шантажа. Никогда я к Вам не имел претензий и не имею по поводу пьесы Вашей «Крути, та ие перекручуй», написанной на тему моей комедии «Перемудрив». Прежде всего, я дал Вам на Вашу работу свое позволение и полное согласие не только на словах, но и на письме, сознавая, что благодаря Вашему знанию сцены и техники пьеса утвердится на сцене. Вы даже первоначально и подписали пьесу Вашу «Крути, та не перекручуй» и моим, и своим именем. Но я потом просил Вас, ввиду того обстоятельства, что в переделке я не участвовал и что многие характеры Вы изменили, равно как и сцены, чтобы Вы моей фамилии не подписывали, а писали бы просто «перероб[ив] із «Перемудрив» Мирного М. Старицький», что Вы сейчас же исполнили. За что же иметь мне претензии! Вы сделали все согласно моей воле и ни в чем ее не нарушили, это я повторяю Вам и повторю всякому.

Примите и проч.

Так, думаю, або щось подібного... Головне: що зроблена переробка з Вашого дозволу і з Вашої згоди, і що Ви не маєте за те претензій, і що я тією переробкою не порушив Ваших прав.

108. ДО М. К. САДОВСЬКОГО

[Серпень 1898 р.]

Високоповажний, дорогий
Миколо Карпович!

Тільки оце сьогодні одповідаю Вам на Ваш лист, бо досі не мав у руках своєї п'єси. Ми Вас другого дня ждали на обід, і я хотів попросити свого «Тараса», то діло б уже було давно зроблене... А тепер вийшла через те саме забара, ну, однак я дістав-таки п'єсу і зараз же приймаюсь за роботу.

Одпишіть мені найборше, що Вам достоменно бажається? Мені Ви казали, щоб викинути IV акт (у поляків), а додать трохи закоханої сцени Андрію у III дії; потім V дію у Дубні зірвати на словах Тараса: «Чую, сину!» (і се, значить, буде IV дія). А кару над Тарасом зробити окремо, як у Гоголя — V дію. Чи так? А чи не можна б у III дії в такім разі на коротеньку сценку привести і панну? Все ж таки хоть крапля зосталася причини зради... Далі, може, ще які подробиці Вам хотілося б чи змінити, чи додати? У мене, наприкл[ад], мало мається матеріалу для V дії, та й у Гоголя його брак... Що б тут вмістити?

Приступаю до роботи, але жду найшвидше од Вас хоч коротенької відповіді. Не знаю певного Вашого адресу, то й за цього листа одповідь чи одержали? Обнімаю Вас щиро, також і Івана Карповича; Аф[анасію] Карп[овичу] і всім, хто мене пам'ятає, шлю сердечний привіт.

Щасти Вам боже у всьому.

З щирим поважанням, незмінно прихильний

Мих. Старицький

P. S. Ми в Дарницях до 1 вересня, то й адресуйте листи просто: станция Полтавской жел. дороги Дарница.

109. ДО І. М. КОНДРАТЬЄВА

[1 вересня 1898 р.]

Глубокоуважаемый
Иван Максимович!

Будьте любезны, сделайте зависящее от Вас распоряжение о составлении счета моим авторским за истекшие июль и август месяцы и высылке мне по прежнему адресу причитающейся суммы. Высланный мне аванс в размере 150 р., за который приношу Вам искреннюю благодарность, прошу убедительно, по установившемуся порядку, погасить в три приема, по 50 р. в раз.

Примите уверение в совершенном почтении и преданности, с которыми имею честь быть Вашего превосходительства

покорный слуга *М. Старицкий*

P. S. Мне разрешен к постановке «Тарас Бульба», так что теперь имеется в малорусском репертуаре 2 пьесы приблизительно одного содержания — и тут-то является целая сеть злоупотреблений: ставят мою, а авторские платят за Ванченка-Писанецкого, так как за эту взымают за 4 акта, а за мою за V акт[ов]. (В моей же пьесе актов не обозначено, а обозначено лишь 7 карт.).

Теперь мне известно, что Ванченку разрешена была пьеса под заглавием «Осада Дубна», а он начал приписывать «сюжет заимствован из повести Гоголя» и аршинными буквами — ТАРАС БУЛЬБА; потом прямо начал ставить в скобках «Тарас Бульба»... Теперь же у Кропивницкого на афишах никакого «Дубна» нет, а стоит целиком мой заголовок с фамилией Ванченка. Желательно знать, разрешила ли цензура г. Ванченку такой заголовок или нет. Если нет, то г. Кропивницкий злоумышленно ставит на афишу чужой заголовок. Также в последнее время стала на афишах у него появляться «Майська ніч» и в скобках огромными литерами «Утоплена»... Сомневаюсь я, чтобы хищник-автор дошел до такой дерзости!

Не поставьте себе в труд, многоуважаемый Иван Максимович, навести справку о сем в Глав[ном] управл[ении] по делам печати и оградить интересы члена Вашего Общества [от] узурпатий.

Весь Ваш — *М. Старицкий*

110. ДО І. Я. ФРАНКА

[21 вересня 1898 р.]

Високоповажний добродію!

Прислів'я у нас єсть: «краще пізно, ніж ніколи»... Отож, криючись тим прислів'ям, я маю звагу повіншувати Вас, наш славний і любий поете, з минулим Вашим ювілеєм і побажати Вам довгого віку, а нам ще довгої втіхи від Ваших художніх утворів.

Шкодую вельми, що нічого з моїх шрейбовань не влучило у ювілейну Вашого йменння збірку, та не тільки шкодую, а й скаржусь, що моєю працею понехтували.

Одібрав я був від п. Томашівського листа, в якім запрошено мене прислати що-небудь до збірки, а після тут

були і людці з Галичини, які теж розмовляли про ту справу. Одповів я всім, що з великою втіхою радий все дати, що у мене лежать готові дві історичні драми «Маруся Богуславка» і «Владислав IV»; мені одповіли, що драматичні утвори уже суть, а краще б вірші або що дрібненьке... Ну, мені, кажу, з дріб'язком не хотілось би виступати... Нарешті мені сказали, що за драми попитають і мені заразженько звістку дадуть... Але тієї звістки не одержав я й досі! Значить, зацурали...

Тепер я прошу дозволу у Вас, вельмишановний добродію, присвятити Вам тільки що викінчену нову мою драму «Облога Буші» і запитать, чи можна її надрукувати у «Літературно-науковім віснику»? Коли так, то я би-м просив хоть зо три відбитка і пересилки мені «Вісника». Колись я обертався до редакції, чи візьме[ть]ся вона друкувати історичний роман, але й редакція шановна відмовила, що се завелика штука.

Ще одно: чи не зміг би надрукувати «Вісник» мій епілог до драми моєї «Богдан Хмельницький»? Цей епілог мені цілком заборонила цензура і дозволила надрукувати драму,— без епілога,— цілком приборкану... Тепер я боюсь, що цей епілог зовсім затасується і пропаде пропадом... Хоч би ради пам'ятки його надрукувати, а потім би можна і самого «Богдана» видати в Галичині без пропусків.

Щасти вам у всьому боже!

З великою шанобою і сердечним прихилом.

Мих. *Старицький*

Адреса моя:

г. Киев, Караваевская улица, дом № 35,
Михаила Петровичу Старицкому.

9
18—98 р.
IX

111. ДО І. Я. ФРАНКА

[Вересень 1898 р.]

Високоповажний і любий серцю колего!

Маю тільки хвилину часу, бо шановна добродійка Ваша жінка їде зараз; отож я на словах їй переказав

деякі про́хані про Львів і про театри, бо маю замір під весну прибути в Галичину з своєю трупою (і з Заньковецькою).

Засилаю Вам свого «Богдана», покаліченого цензурою: у всіх діях дещо повикидали, а дещо примусили додати, а найголовне — викинули геть епілог, який має вартість і з художнього, і з ідейного погляду, але прикру задля Москви. Отож не огудьте мене за чужі гріхи і провини.

Писав я уже раз і знову прошу, чи не можна того епілога надрукувати у Вашім «Збірнику»? А то він ще загубиться і пропаде. Потім я міг би видати в Галичині цілком виправленого «Богдана».

«Облогу Буші» уже переписую і Вам незабаром зашлю.

У нашому Літературному товаристві ми будемо рівночасно справляти теж Ваш ювілей.

Засилайте до «Киевской старины» Ваші утвори й поезії: тепер можна їх друкувати.

Весь Ваш *М. Старицький*

Які мені відомості потрібні прелімінарні про театри:

1) Львів

а) Чи можна на марець зняти великий польський театр? Чи зробить з польською трупою спілку абощо?

б) Скільки містить той театр? Чи єсть оркестр і яку бере у вечір ціну?

в) Чи суть лаштунки (декорації) придатні і до наших престав, чи треба везти свої?

г) Кілько часу можна продержатись у Львові? (Трупа велика: 50 чол. і Заньковецька).

2) У яких других городах така трупа може грати і свій кошт окупити?

а) Як Тернопіль? Перемишль? Чернівці?

б) Чи великі там театри, скільки містять і на яких умовах можна їх мати?

в) Чи суть усюди оркестри, чи дорогі?

3) На скільки часу взагалі можна приїхати до Галичини, маючи на увазі, що трупа мусить мати netto 6000 р. на місяць?

4) І чи не можна б через кого довідатись, як Прага? Чи не можна б там захопити на який час їх Народний театр?

М. Старицький

112. ДО М. К. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ

[Листопад 1898 р.]

Дорогая голубочка
Марья Константиновна!

Благодарю тебя сердечно за твою бесценную для меня телеграмму, спасибо, родненькая, что вспомнила и меня, болящего: и такая глупая болезнь, а заставляет лежать в кровати... Впрочем, мне уже сделали полуоперацию, и мне легче... встаю и со вчерашнего дня даже выезжаю. Теперь нужно будет еще дней десять подлечиться гидропатией... Что тебе сказать за Киев? Говорят, что у бедных артистов Карого плохи дела и что они страшно люты... А Коля Лысенко вчера возмущенный пришел, что Саксаганский и вся труппа отказались совершенно принять участие в будущую субботу (21 ноября) в праздновании столетнего юбилея Котляревского в Литературном обществе... Потеряли, видно, всякий такт. Так вот я прошу тебя; немедленно, по получении сего письма, воздействуй, чтобы ты и лично от себя, и чтобы совместно товарищество прислали сочувственные телеграммы киевскому Литературному обществу, прославляющие юбиляра Котляревского.

Письмо это ты получишь в четверг, в этот же день пошли телеграмму на мой адрес; в телеграмме обязательно вырази сожаление, что лишена возможности прибыть в Киев и принять личное участие в родном торжестве... Телеграмма твоя может быть приблизительно такого содержания: «Вітаю від щирого серця шановне Літературне товариство з великим святкуванням нашого первого будовничого рідної літературної мови і дорогої всім сцени. Жалкую вельми, мої друзі, що сама не можу урватись, прибути і прийнять особисту участь в цьому національному святі».

Товариство что-нибудь в этом роде скомпонует от себя.

Недурно было бы и в Орле устроить юбилейный спектакль Котляревского. Поставить «Наталку» (без пропусков), «Москаля-чарівника» и дивертисмент, в котором бы прочесть юмористические места из «Энеиды» и спеть хором, хотя бы и народные песни.

Приехал ли Решетников? Я ему страшно рад; когда б только Науменко с ним не загрызся? Ты, как царица мира, протяни над ними оливковую ветку.

Пусть раздают и учат роли к новым пьесам. Теперь мы можем поставить задачей — исторический, классический репертуар! Только бы еще комика!

Счасти тебе во всем, во всем боже, чего только ты желаешь; для нас только — будь здорова и покойна душой, да пожинай заслуженную тобою славу!

Обнимаю тебя горячо.

Весь твой *Мих. Старицкий*

113. ДО Д. І. ЯВОРНИЦЬКОГО

[19 грудня 1898 р.]

Вельмиповажний і дорогий добродію
Дмитро Іванович!

А мені знов пригода: прибув до Орла, мав замір завітати в Москву і до Вас, любий і щирий земляче, та й занепав. Лежу в ліжку і диктую, як бачите, листа до Вас моїй доньці.

Пробачте, голубе, що потурбую Вас своєю про́ханню, але ж затяглось вузлом і треба конечне, так ось: 1) Ставлю я тут свого «Богдана», і притьмом нам треба мати зразки тогочасних уборів: а) жіночих (гетьманші, гетьманівни, поважної пані і поважної полячки); в) мужничі (гетьмана, генерального судді, генерального писаря і осаула); а також с) драбанта й гайдука. Коли можете, з ласки, то пришліть малюнки, бодай пером чи олівцем накреслені, але тільки конечне с поясняющим текстом (про колір, про матерію, про оздоби і інше). 2) В вересні ще вислав я в Москву, в університет, Николаю Ильичу Стороженку і українського свого «Богдана Хмельницького» (на спомин), і цензурований примірник «Богдана Хмельницкого» (на руській мові);

останній — для перегляду в театральному комітеті, головою котрого і єсть високоповажний пан професор,— чи гідна стане п'єса для імператорської сцени? Отже, і досі не маю я жодної відомості ні від комітету, ні від пана професора, чи одержані навіть ним ті книжки. Думаю, що ні — й це мене вельми турбує.

Будьте ласкаві, зробіть мені сердечну послугу, довідайтесь про сю справу у Николая Ильича, і наколи він не одібрав тих книжок, то справтесь в Університеті: книжки я вислав туди посилкою, а два листи заказними. Ще раз прошу вибачення за турбацію, що начепив Вам свою халепу. Бувайте здорові і богові милі. Пані Заньковецька і все наше товариство шле Вам щирий уклін. Чекаю швидкої відповіді; адреса — Орел, Театр.

Обнімаю Вас щиро, сердечно...

Незрадний старий собака

М. Старицький

1899

114. ДО Д. І. ЯВОРНИЦЬКОГО

[27 січня 1899 р.]

Високоповажний, в. шановний і дорогий
Дмитро Іванович!

Певно, уже Ви вернулись до Москви, то оце й пишу Вам; а в Орлі я й не бачив мого «Богдана» — смертельно лежав хворий, занепав на дифтерит... отака халепа! За малим богом дуба не дав... Так оце тепер заразом уже і дякую Вас щиро та тепло за Вашу ласку, що присилали мені малюнки (а чи одержали той «альбом»? Я з Орла ще вислав назад); віншую сердечно з Новим роком і зичу всього, всього, чого тільки Ваша душа забажа. Тепер оце я відпасався трохи у Києві, а завтра маю їхати в Харків, де й пробуду, може, аж до масниць. Адрес мій в Харкові — «Театр-цирк Никитина». Одпишіть мені, будьте ласкаві, і сповістіть про мого «Богдана» (на руській мові), що заслав я його ще восени ясновельможному пану професору М. І. Стороженку,

а не одержав жодного слова,— чи живий навіть мій цензурований екземпляр,— не відаю! Так яка доля спіткала мою працю і чи є надія побачити цю драму на кону Малого театру?

Ви обіцялись побувати особисто у пана професора, то зробіть мені велику ласку і сповістіть докладно про цю справу,— дякуватиму щиро і пильно до смерті.

Написав я ще одну історичну драму «Облога Буші»; всі хвалять і ставлять вище «Богдана». А тепер оце думаю писати драму із польського повстання проти панів, яке зняв побічний син Владислава IV Костка разом з Богданом... Тут тільки мені потрібно б познайомитись з звичаями, обичаями, розривками і т. і. тогочасної придворної польської магнатерії. Де б знайти джерела — історичні і романічні? Чи не порадите?

Обнімаю Вас. Щасти Вам у всьому боже!

З великою шанобою і прихилом, цілком Ваш

Мих. Старицький

115. ДО І. М. КОНДРАТЬЄВА

[27 січня 1899 р.]

Глубокоуважаемый
Иван Максимович!

Будьте добры, сделайте зависящее от Вас распоряжение относительно расчетного листа моих авторских за истекший месяц и высылке мне причитающегося гонорара.

На постановку М. Л. Кропивницким в Москве пьесы моей, истор[ической] драмы «Богдан Хмельницкий», за установленный гонорар в т[еатре] «Аквариум», я согласен и прошу разрешить ему ставить эту пьесу.

Посоветуйте, как мне устранить или что предпринять для устранения плагиата, который практикуется теперь с моим «Тарасом Бульбой»? Как я писал, так теперь еще более убедился, что под флагом Ванченка идет моя пьеса (из-за грошового расчета: Ванченк[а] пьеса в 4 д[ействиях], а моя в 7 картинах, за мою, значит, больше взымают). Теперь недавно появилась еще, как говорит

И. К. Карый, новый «Тарас» какого-то Тугая, мало разнящийся с моим... то что тогда делать?

Примите уверение в совершенном почтении и искренней признательности. Вашего превосходительства покорный слуга

Мих. Старицкий

P. S. Заметьте еще, что Тугай не состоит членом нашего Общества, значит, его пьеса будет ставиться даром, а потому еще будет больший соблазн к подлогу.

116. ДО Л. М. СТАРИЦЬКОЇ

[Лютий 1899 р.]

Людюня, серденько! Слабую я та й слабую: сьогодня знов гірше — і бронхіт не проходить, і серце болить, і жду знов припадка... Оце ще буде у мене Масловський — харківська слава... Певно, вже я нікуди більш не поїду, хоч би до Києва повернути, щоб вас ще побачити...

Ну, листи мої до Москви, певно, вже ти одержала і одіслала по адресі... Що то, чи вишле 200 карб., чи буде ждати, поки вишлем хоч першу роботу. Думав я, що «Перед бурею» я вже не побачу, аж ось несподівано ти мені прислала книжки... Це чудо; може, в такім разі доведеться мені ще побачить і мого «Богдана»... Тут тепер, як всі кажуть, «Богдан» ішов далеко, непорівняно краще, ніж у Орлі, і Решетников гра далеко краще, ніж Розсудов: Виру6[ов] з Москви на другий день був тут і казав. Маня наша чудесна актриса, я її, поки не заслаб, в 2 ролях бачив, а її приймають не менш Заньковецької.

З своїми книжками «Перед бурею» я зробив так: послав 2 екз[емпляри] в редакції для рецензій, 2 зараз продав, 2 подарував, а молодого Русова послав з рештою по магазинах... Напишу, які скутки. Книжка вийшла здорова, і ціна 2 карб. зовсім помірна. Ти оповісти по магазинах (на комісію жодної книжки не давай), хто скільки захоче — купить. Скажи-таки: до 5 книжок — 20%, тобто 40 к[опійок] на книжці; на десяток — 25%, тобто 50 к. на книжці; на сотню — 30—35%, тобто від 60—70 коп. на книжку... А коли б знайшовся

такий дурень, що купив би все видання, то можна і 40% скинути, тобто віддать гуртом книжку по 1 р. 20 коп.

Не знаю тільки, як зробить з магазином «Киевск[ой] старины»,— йому б можна давать на комісію, але по малу...

Тепер треба буде оповістить в київських газетах, в «Моск[овськім] листку», а я тут в Харкові.

Виправ останні 3 дії «Буші» і держи хоч по одній коректурі. Пантруй, голубко, щоб не покалічили купюрами [як] «Богдана». Треба б було замітку «Южного краю» передать і Ігнатьєву. Боюсь, щоб там не писав рецензії Николаєв,— запобіжи.

Обнімаю щиро і палко тебе, Шуру, Іру і Наташу.

Весь Ваш *М. Старицький*

1900

117. ДО ГАННИ БАРВІНОК

[23 вересня 1900 р.]

Високоповажна добродійко, дорога письменниця наша Олександро Михайлівно!

Одержав я Вашого листа, лежачи на смертельному ложі, без пам'яті, і оце тільки сьогодні, коли перейшов злий напад, одповідаю Вам, та й то з постелі.

Покійного нашого батька і мого навчителя Пантелеймона Олександровича я дуже любив і високо ціную його талановиті труди, які підняли нашу мову до мóгуті; отож та висока прихильність до сили його талану не дає мені права, а більше — зухвальства, що-небудь переробляти чи підробляти у його утворах.

Коли це просто буде механічна склейка тих шматків, що цензура пошарпала, то це я з охотою візьмусь, а коли що треба буде перекраювати та зшивати, то на це у мене рука не підніметься...

Коли хочете, то пришліть хоть Миколі Лисенку ці утвори, а я їх перегледжу і одпишу Вам, як і що.

Тепер майте на увазі і те: кожен режисер, який буде їх ставити, зробить «зводку» по своєму смаку, і цього нам, авторам, заборонити трудно; то як приїде сюди

трупа Кропивницького, то Лисенко може припоручити поставити яку драму, коли у трупі стане сили,— і мої уваги, звичайно, тоді стануть в пригоді...

Дякую щиро Вам, шановна пані, за дорогий для мене подарунок — «Трилогію» невмирущого поета.

З душевним поважанням і щирою прихильністю

покорний *М. Старицький*

11 жовтня
1900 р.
Киев, Караваевская ул., дом № 35

118. ДО М. Ф. КОМАРОВА

Киев, Караваевская, № 35 [4 жовтня 1900 р.]

Дорогий серцю і вельмишановний
Михайло Федорович!

Подихаю я, здається, уже зовсім: з мая місяця одвезли мене в село, і ціле літо пробув, та нічого не засобило... А тепер от по ділу з Александровським треба іще їхать в Петербург, та не знаю, чи й поверну звідти. От іще по цьому ділу мені конечно потрібна справка чи удостовереніє з Вашого окружного суда. Касяненка, відомого п'яницю і послідущого чоловіка, який за чарку горілки буде показувати, що схочете, який уже двічі сидів за клевету у тюрмі, з якого за розтрату товариської каси я правив 1500 карб. і мається в Ростові-на-Дону на цю суму «исполнительный лист»,— такого Александровський наймає за свідка. А цей Касяненко,— як значиться у статті «Одесского вестника»,— був засуджений в кінці 1898 і Вашим окружним в тюрму на шість місяців і одсидів свій реченець, це я добре знаю. Так от мій повірений потребує конечно справку офіціальну про те, і я при сьому листі посилаю прошеніє і довіряю його подати Вам або кого Ви пропишете: в прошенії для цього стоїть пробіл, і Ви його конечно заповните.

Я Вас уклінно прошу, коханий друже, справити мою прóхань якнайшвидше, бо незабаром слухатиметься позов. Я пробіл лишив для того, що, може, Ви, як нотаріус, не захочете подавати прошенія,— хотя це ж не єсть бути повіреним?.. Ну, в такім разі Ви проставите кого схочете і від себе замовте слово, щоб не забарили справки.

В прошенії я прописав тільки, щоб дали справку про те, що Касяненко був засуджений за клевету до тюрми, а чи відбував той присуд, чи ні,— я не питаю; але коли можна, а коли насправді «приговор вошел в законную силу»,— то, будь ласка, щоб і це прописали: як і що? Мені здається, що Касяненко не апелював. А коли апелював? То, певно, треба буде прислати друге прошеніє уже в Судебну палату? То в такім разі хай окружний дасть глуху справку — іно за себе: я ту пошлю, а за палату подам ще.

Хочу видавати свою українську белетристику (повісті і оповідання), їх набралося б томів на VI, та от не знаю, чи знайду видавця, а у самого грошей брак. Видавці «Віку», проте, І т[ом] хочуть видать. Шкода: це все рукописи, без мене і ладу не дадуть... Так за вітром і підуть. Уже раз Мотрина, ховаючи від Новицького мої утвори, закопала два здоровенних зшитка моїх власних поезій в болото, і вони згнили там... Може, й про них можна б сказати разом з Пушкіним:

Украли пук моих стихов!
Жалею я о воре! —

а все ж шкода... може б, що винайшлось і путяще!

А це хіба нормально? Насущника ради, я примушений писати по-російськи романи і повісті з української історії і життя... А «Київська старина» не може сплатити їх хоть дешево, щоб були по-українськи.

Обнімаю Вас щиро. Дай, господи, Вам і Вашій любій, шановній сімейці всякого добра і щастя.

Душею і серцем цілком Ваш

Мих. Старицький

22 жовтня 1900 б[ожого] р[оку]

119. ДО М. Ф. КОМАРОВА

[Жовтень 1900 р.]

Вельмишановний і дорогий
Михайло Федорович!

Зараз же, одержавши Вашого листа, оце послав телеграму до Петербурга за свідоцтвом; а Вас прошу ухильно, мій поваж[а]ний друже, забрати хоч приватну справку, чи присуд над Касяненком увійшов у законну

силу? Чи кара відбулася? А друге: чи можна буде (на случай, коли спізниться свідоцтво) Петербурзькому окружному суду запитать телеграмою одеський суд і чи останній дасть на це одповідь?

Діла з Александровським залишить я не можу: коли б він мене обвиновачував в бездарності і нікчемності моїх переробок, то я б ще міг плюнути на його літературно-критичні погляди, але він мене обвиновачує в подлогах мошенства ради; він доводить, що я маю подвійні екземпляри п'єс: одні друкую для ока громади і на друкованих виставляю, що «сюжет позичен» чи «перероблено з такого-то», а другі екземпляри тих самих п'єс, тільки вже з написом, що вони оригінальні, преподношу своєму Драматич[ескому] писат[ельскому] обществу, і «по подложным получаю гонорар как за оригинальные».

Такої нахабної клевети простить не можна.

Ця справа мене дратує, але більше тим страхом, що я можу не дожити до кінця її і своєю смертю звільню мерзотного напасника... А мені весь оцей час так погано, що й хати не перейду і робити через головні болі не здужаю.

Обнімаю Вас щиро. Прихильний до Вас душею і серцем

Мих. Старицький

P. S. А в «Літературно-науковім віснику» не проходить і номера, щоб мене не щипали Чайченки і другі горобці безпері. Хоч навіть і хвалить, то з такою неповагою, що дивуватись треба п. Грушевскому і нашим землякам, які зарадо виставляють мене на посміх. Здається ж, не мало зробив по всіх родах поезії, отже, не заслужив і того, щоб хоч з повагою лаяли, коли Франкові того хочеться. А то, напр[иклад], пише розбір «Оборона Буші» і взагалі навіть хвалить, а все-таки пише, що «взявши книгу Старицького в руки, я було спочатку жбурнув її в сміття, важучи, що се, певне, таке ж паскудство, як і «Богдан Хмельницький»»...Тепер от пише про «Тараса Бульбу», що видко, що я пишу п'єсу «ходячи по хаті і заложивши руки за чор[т]зна-що...» А взагалі хвалить... І хоч би хто обізвався словом. Ех, гірко умирать, бачачи, що цілим життям своїм і невсипущою працею заробив тільки посміх!

120. ДО І. М. КОНДРАТЬЄВА

[6 листопада 1900 р.]

Глубокоуважаемый Иван Максимович!

Я болен и посылаю в Москву к вам дочь мою, Людмилу Михайловну, уполномоченную мною официально по неотложному и важному делу.

В 1897 г. сотрудник «Киевлянина» (преследующего малороссов вообще, а писателей в особенности), некто И. Александровский, разразился инсинуационной статьей в бывшей петербургской газете «Мировые отголоски» по поводу ходатайства моего о снятии административных и цензурных стеснений с малорусской сцены и малорусских пьес.

В статье этой г. Александровский, доказывая ненужность и вредность поблажек хохлам, называет всех вообще современных писателей-малороссов, по фамилиям, хищниками, а меня, как обильнейшего из них, главным хищником, заправителем шайки; а для того, чтобы больше еще опорочить мою личность и лишить значения мой доклад, он возводит на меня и ряд возмутительных клевет.

Никто против этой грязной статьи, в которой, между прочим, г. Александровский оскорбляет и правление Общества русских др[аматических] пис[ателей] и опер-н[ых] композиторов, называя его споспешником плутней малорусских писателей,— никто, говорю, из моих коллег по перу не возразил даже... Но я не мог пропустить такой наглой выходки и подал в С[анкт]-Петербургский окружной суд жалобу на г. Александровского, обвиняя его в клевете путем печати по 1535 ст[атье].

Вследствие экспертизы, опросов свидетелей и показаний дело это затянулось на три года и только в предстоящем ноябре, вероятно, будет слушаться.

В клеветнической статье своей, а еще более в своих показаниях суд[ебному] следователю, г. Александровский утверждает: а) будто бы я свои переделки («Різдвяну ніч», «Утоплену», «Тараса Бульбу», «Крути, та не перекручуй», «Циганку Азу», «Зимовий вечір», «Чорноморці» и др.) выдаю за свои оригинальные произведения и получаю за них гонорар как за оригинальные; б) будто бы все это делается «при благосклонном содействии» Общества р[усских]

др[аматических] писателей; в) будто бы я имею двойные экземпляры пьес: печатные для отвода глаз публики, с правильным обозначением заимствования, и рукописные для руководства правления Общества; г) будто бы правление покрывает меня перед обиженными первоавторами и отказывает им в жалобах на мое хищничество и д) будто бы даже до настоящего времени, т. е. до 1900 г., я получаю гонорар за переделки как за оригинальные.

Для доказательства этого г. Александровский опирается на старый каталог, оторвав от него первую страничку с годом издания, и на некоторые в чужих труппах афиши с неполными и неточными заголовками моих пьес с заимствованными сюжетами.

Нужно заметить, что еще года за три до появления инкриминационной статьи г. Александровский в своей репортерской заметке о «Цыганке Азе» и «Зимовом вечере» коснулся афиш, в которых хотя и было помечено, что сюжет заимствован, но источника не было указано. Я ему немедленно ответил печатно, что в моих печатных книжках и цензурованных экземплярах все подробно помечено (указал ему издания и предложил для поверки свои) и что я за афиши отвечать не могу, так как не состою ни режиссером трупп, ни корректором афиш... г. Александровский три года и молчал, а потом разразился клеветой, уже в «Мировых отголосках».

Так вот, на основани вышесказанного, для опровержения взведенных на меня Александровским лживых обвинений, позорящих мое доброе имя, кроме представленных уже удостоверений от первоавторов, что они дали мне полное право на переделки, кроме свидетельских показаний и документов, необходимо иметь еще и от правления Общества формальное удостоверение в нижеследующем:

1) Что я никаких рукописных пьес правлению никогда не представлял и не представляю.

При поступлении в члены всяк[ий] представляет афишу в доказательство, что пьесы его идут на сцене, и список уже разрешенных пьес, а потом Общество получает непосредств[енно] сведения о новых разрешениях из Главн[ого] упр[авления] по д[елам] печати и дает о них сведения агентам.

2) Что до нового устава пьесы Старицкого были правильно разнесены по категориям, и об этом не могло быть даже пререканий, так как у Старицкого разрешенных к представлению переводов вовсе не было, а все остальные произведения и стояли в одной категории, как у всех. 3) Что в старом, вышедшем из употребления, каталоге посему-то и не значится обозначения пьес с заимствованными сюжетами или переделок, так как по прежнему уставу из сочинений вообще были выключены лишь переводы, а потом уже в 1891 г. поднят был вопрос о переделках и в новом уставе поднят гонорар за переводы почти до оригинальных (на 15% меньше) и к ним уже причислены и переделки. 4) Что на основании опросов писателей и сведений из Главн[ого] упр[авления] по д[елам] п[ечати], согласно новому уставу, было сделано новое распределение пьес членов, и с новыми обозначениями они вошли в новый, ныне действующий каталог. 5) Что афиши, хотя бы и неправильно написанные, не имеют никакого значения для распределения гонорара и правление никогда ими не руководствуется. 6) Что со времени поступления г. Старицкого в члены Общества не поступало на него жалоб от других лиц за присвоение или хищничество, а потому правление не могло и отклонять их, и что относительно гонорара г. Старицкий все время вел себя вполне корректно и 7) вот какие пьесы г. Старицкого записаны теперь в Обществе оригинальными: 1) «Не так склалося, як жадалося», 2) «Як ковбаса та чарка, то минеться й сварка», 3) «По-модньому», 4) «Талан», 5) «Ой не ходи, Грицю, та на вечорниці», 6) «Богдан Хмельницький», 7) «Маруся Богуславка, 8) «Кривда і правда», 9) «За двома зайцями» и 10) «За друга» (последняя в сотрудничестве).

А вот какие с заимствованными сюжетами-переделками: 1) «Різдвяна ніч», 2) «Утоплена», 3) «Тарас Бульба», 4) «Сорочинський ярмарок», 5) «Ніч під Івана Купала», 6) «Циганка Аза», 7) «Зимовий вечір», 8) «Крути, та не перекручуй» и 9) «Чорноморці».

Переводов, и поныне разрешенных к представлению, нет у г. Старицкого.

Сообразно этому делению распределяется у него и авторский гонорар.

Вот какое удостоверение мне крайне необходимо, и так как в нем все пункты составляют правдивые факты, то я покорнейше прошу правление Общества не отказать мне в моей просьбе и дать справедливую защиту своему члену от клеветника и общего оскорбителя.

Примите уверение в совершенном почтении и душевной преданности, Вашего превосходительства покорный слуга

Мих. Старицкий

Киев, 25 октября
1900 года

121. ДО І. М. КОНДРАТЬЄВА

[6 листопада 1900 р.]

Глубокоуважаемый
Иван Максимович!

Я к Вам написал официальное письмо как к секретарю нашего Общества с просьбой к правлению о выдаче мне нужного удостоверения для суда, а теперь прошу Вас частно, как доброго знакомого с отзывчивым сердцем: дело идет о моей чести, оклеветанной наглым рабом темной, добровольной опричины. Я страшно болен, сам не могу никуда явиться, и вот едет хлопотать за отца молодая, неопытная дочь. Не задержите, бога ради, и дайте просимое удостоверение, чтобы она заблаговременно могла прибыть в Петербург и разобраться с поверенным в массе материалов.

Теперь еще одна к Вам просьба, уже как к агенту Общества.

Мой поверенный из Петербурга пишет, что хотя афиши после Вашего печатного заявления и не могут служить оправданием для Александровского, что будто бы он ими введен был в заблуждение, но тем не менее будет лучше, если Вы представите доказательства, что Вы и хлопотали о том, чтобы афиши печатались точно, согласно с Вашими цензурованными экземплярами. К счастью, у меня следы таких ходатайств есть: письмо от Карого, от Кропивницкого, наконец, нотариальное заявление и ответ на него режиссера Кропивницкого г. Рассудова, в котором он, между прочим, пишет, что

ему упоминал и агент в Москве за неправильность афиши («Тарас Бульба» Старицкого), но что он в извинение свое приводит то обстоятельство, что афиши пишут помощники, а они меняются постоянно, ему же самому при ежедневной игре нет возможности за этим следить; но что, во всяком случае, он не пропускал никогда афиши, могущей порушить права автора.

Помнится мне, что я не раз писал Вам об афишах — «Чорноморці» и о «Тарасе Бульбе»,— а Вы мне о «Цыганке Азе» и о «Крути, та не перекручуй» (названной «Однооким писарем»); одним словом, у нас шла переписка о неточностях, неполноте и неправильности наименований в пьесах, и Вы всегда, по моей просьбе, делали соответственные внушения, а то и по своей инициативе поднимали об афишах вопрос, чему доказательством служит и нотариальный ответ Рассудова.

Так вот я о чем просил бы Вас усердно, если это не составит для Вас затруднения: дать мне, как от агента и секретаря Общества, такое удостоверение:

Что я не раз обращался к Вам с просьбою (ведь это так?) внушить некоторым антрепренерам и Товариществам, допускающим неточности и неправильности в заголовках моих пьес на афишах, не соответствующие моим цензурованным экземплярам, чтобы они впредь были корректными, и что Вы немедленно делали соответствующие распоряжения...

Мне это нужно для доказательства лишь того, что я не оставался безучастным зрителем к искажениям на афишах моих пьес, а протестовал против этого, где мог и как мог, когда до моего сведения доходили слухи о практикующихся искажениях.

Не откажите и в этой просьбе, душевноуважаемый Иван Максимович!

С глубочайшим почтением и преданностью Вашего превосходительства покорный слуга

Мих. Старицкий

122. ДО І. М. КОНДРАТЬЄВА

[22 листопада 1900 р.]

Глубокоуважаемый Иван Максимович!

Сердечно благодарю Вас за то участливое внимание, с которым Вы приняли мою дочь и отнеслись к моей просьбе; простите же великодушно, что я снова позволяю себе напомнить о моем деле: жгучесть вопроса может несколько оправдать меня.

В просимом мною удостоверении мне, кроме всех прочих ответов, особенно важно, чтобы ясно были сформулированы ответы на следующие положения: а) Что при начале Общества р[усских] д[раматических] писателей все произведения членов разделялись лишь на сочинения и переводы; вследствие чего и первые произведения г. Старицкого занесены были в разряд сочинений, так как переводов, разрешенных к постановке на сцене, у Старицкого ни теперь, ни прежде не было.

N. B. Это положение, т. е. что прежде все пьесы разделены были на сочинения и переводы, ясно выражено и в отчете; но представлять целую книжку, даже с подчеркнутыми местами, для убеждения суда может быть затруднительным: пожелают, б[ыть] может, прочесть всю книгу и растеряются в массе материала.

Между тем Александровский упирается исключительно на старый, первый каталог *, где действительно стоят и мои, и всех других авторов переделки под термином «соч[инения]».

б) Что в новом уставе переделки уже выделены из сочинений; а посему правление О[бщества] д[раматических] п[исателей] оповестило всех членов об этом и потребовало сведений о переделках, и с 1894 или 3-го г[ода] (не помню) уже все пьесы членов разделены на 2 категории — оригинальных и переделок с переводами. Что и г. Старицкого пьесы с этого времени разделены совершенно правильно, согласно уставу, и по его распределению занесены в новые каталоги.

в) Что афиши не имеют никакого влияния на распределение гонорара, так как правление Общества

* Предшествовавший каталогу 1895 года.

руководствуется лишь своими исправленными в 1893—4 г. списками, а о новых пьесах получает непосредственно сведения из Главного управл[ения] по делам печати. Гг. агенты Общества взымают одинаковую плату за представления всякого рода пьес и не участвуют в распределении их на классы.

N. B. Это мне необходимо потому, что Александровский, опираясь на неточные афиши, основывает на них обвинение меня в том, что будто бы я, потворствуя, что ли, неточности в афишах, ввожу в заблуждение с корыстной целью агентов и получаю через то незаслуженный гонорар. Мне вот и нужно, кроме документов, имеющихся у меня против афиш, и печатных протестов, еще иметь доказательство, что в искажениях, производимых труппами*, не могло быть для меня никакой корысти.

Прочие вопросы в удостоверении, кажется мне, не подлежат пререканиям, а потому я о них и не говорю подробно.

Жду удостоверения, так как уже получена мною повестка о назначении дела моего к слушанию.

Примите уверение в совершенном уважении, вечной признательности и преданности, Вашего превосходительства покорный слуга

М. Старицкий

P. S. Да, еще об одном. В удостоверении тоже, что я обращался к Вам, нельзя ли подействовать, чтобы афиши не искажали моих заголовков,— желательно, чтобы было выражено, что я просил об запрещении всяких неточностей (а не одних лишь уклонений от платежа).

123. ДО ОЛЕНИ ПЧІЛКИ

[1900 р.]

Кохана Ольго Петрівно! Сьогодня у нас в правленії гостре засідання: Тутковський взагалі против театральної сцени, а Ертель, крім того, проти існуючих програм

* А напрот[ив], эти искажения всегда почти имели цель нанести мне убыток. Это видно из Вашего доклада.

вечорів... і проти репертуара... а цілком підпише похід на все українське. Николаєв, напр., мені казав, що Ваш четвер був чисто український і що публічність збентежена таким пануванням хохлаччини... Це теж, міркую, був внесок Ертеля.

Так коли війна, то треба буде і нам стати озбройно. На сьогодні, будьте ласкаві, поженіть Миколу і Антоновича на правленську нашу раду, що має бути о 9-й годині — так щоб були і не спізнились! Я сам слабий, для того і прошу Вас, як нашу заступницю, настояти на цім або й самій поїхати до Антоновича (я — крім того — пишу).

Друге: нам треба ще більше своїх людей пустить в дійсні члени...

Напр.:

Беренштам
Трегубов
Тихоцький
Єк[атерина] Мельник
Л. М. Драгоманова

І. Новицький (а він поет) та й другі... Хоч би десяток набрать певних голосів, в яких тепер вельми потреба. Зважте, що наші Кононенки і Тимченки... ні разу не підуть, а коли що, то перший подасть напевно голос за Александровського.

Весь Ваш *М. Старицький*

1901

124. ДО І. М. КОНДРАТЬЄВА

[3 травня 1901 р.]

Глубокоуважаемый Иван Максимович!

Убедительно прошу Вас приказать составить расчетный лист моим авторским за истекший месяц и передать его нашему почтенному казначею для высылки мне причитающегося гонорара.

Посоветуйте мне, будьте обязательны, как поступить в следующем случае: некто Хржонщевский уступил мне придуманную им фабулу для драмы за половину

гонорара от сценических представлений. Драма (русская) готова; но какую сделать на ней надпись? Поставить обе фамилии — крайне несправедливо, так как вся литературная работа моя; поставить — сюжет такого-то,— экономически обидно: значит, пьеса заимствованная, переделка, а не оригинальная...

Между тем, кроме голой фабулы, без обозначения характеров и типов, я ничего не имел.

Рассчитывая на Вашу неизменную любезность, что Вы не откажетесь почтить меня хотя двумя-тремя словами, остаюсь с глубоким уважением и душевной преданностью Вашего превосходительства покорный слуга

Мих. Старицкий

20 апреля, 1901 года

125. ДО І. М. КОНДРАТЬЄВА

[2 червня 1901 р.]

Глубокоуважаемый
Иван Максимович!

Благодарю Вас сердечно за совет,— ему я и последую, т. е. на экземплярах цензурованных будет стоять две фамилии: моя и Хржонщевского, а следоват[ельно], и в Ваши каталоги пьеса занесена будет как оригинальная, двух соавторов; но я имею от г. Хржонщевского письменное удостоверение, что ему принадлежит лишь фабула, а все литературное исполнение мне, Старицкому... вследствие чего думаю печатать эту пьесу (в журнале) под такой подписью: «фабула Хржонщевского, исполнение Старицкого». Полагаю, что такое разъяснение на печатном экземпляре не может повредить значению цензурованного экземпляра, на котором будет стоять лишь две фамилии; вопрос, конечно, чтоб признана была пьеса оригинальною. Это можно? А то ведь обидно не разъяснить публике, что все в этой пьесе от A до Z принадлежит мне.

По поводу этого самого «Креста жизни» мне придется ехать в Москву, и, может быть, немедленно: мне советуют пристроить ее на императорской сцене и чтобы Комитет от себя уже послал в театр[альную] цензуру. Московские драматурги так вообще и практикуют. Ин-

тересно бы знать вот что: 1) функционирует ли Комитет летом? 2) Кто его члены и председатель? (Кажется: г. Шпажинский, г. Немирович-Данченко, г. Невежин?) 3) Я помню, что кто-то еще из гг. артистов... (г. Южин и г-жа Ермолова? Если они, то это хорошо, потому что г-жа Ермолова не выезжает на лето из Москвы)... Мне совестно затруднять Вас собиранием этих сведений, но я убедительно прошу поручить хоть секретарю разведать нужное и сообщить мне возможно скорее: мне необходимо решить вопрос — воздержаться ли отсылать в цензуру пьесу и отправиться прежде всего в Москву для пристройки ее в имп[ераторском] т[еатре] или воздержаться от поездки теперь в Москву, а отправить на риск пьесу в театр[альную] цензуру?

При сем прошу сделать зависящее от Вас распоряжение относительно составления списка игранных моих пьес и высылке мне по прежнему адресу причитающегося гонора[ра] за истекший месяц.

Примите уверение в совершенном почтении и неизменной преданности. Вашего превосходительства покорный слуга

Мих. Старицкий

126. ДО Д. Л. МОРДОВЦЕВА

[10 жовтня 1901 р.]

Високоповажний, славетний, дорогий батьку Данило Лукич!

Діло моє з Александровським, коли знаєте, перенесено з літа в Київ і тут матиме правитись,— назначене на 19 грудня (ноября); прибуло воно ще улітку до палати, але я, будучи вельми слабим, не мав змоги удатись сам до окружного і там розгледіти всі папери... Отож на тім тільки тижні упав мені на очі Ваш любий, прихильний світогляд на переробки і позички взагалі і на мої переробки — приватно. Але у Вашій одповіді прокралась, на горе мені, одна помилка або, краще сказати, описка.

В тому місці, де Ви кажете, що позичати теми, сюжети і навіть переспівувати твори з одних форм у другі не має в собі нічого ганебного, неславного і діється по

всіх світах, що і єсть спосіб розповсюдження думок і культури, а Старицький не тільки не крився в своїх переробках і переспівах, а навіть просив дозволу у первотворців і оголошав джерела позичення на друкованих і цензурованих примірниках, наприкл[ад] і, перелічуючи мої утвори на позичені теми, включили Ви в те число і мою драму «Не судилося» (в друці), а «Не так склалося, як жадалося» (по сцені; перше назвисько драматична цензура заборонила)... да ще так гостро висловились про цю п'єсу: «не кроется г. Старицкий и за «Не так склалося, як жадалося», что она заимствована из Кропивницкого «Доки сонце зійде роса очі виїсть»...»

Це, звичайно, описка, бо за цю іменно п'єсу,— за моє «Не так склалося, як жадалося», або в друці (збірник «Рада») «Не судилось», я кричав, кричу і кричатиму навіть на страшнім суді, що вона моя, власна, найоригінальніша, написана мною ще в 1876 році і читана двічі на громаді — по виправці — 1880 р. і перед розміщенням матеріалу в «Раду» в 1881 р. (на цей факт і тепер є 8 свідків), а з Кропивницьким я познайомився тільки в кінці 1881 р. ...і йому читав мою драму, яка і цензурою розрішена раньше його... А п. Кропивницький свою привіз в кінці 1882 р., а в цензуру послав тільки в 1883 р. Так тут я претендувать можу, що Кропивницький у мене позичив... Тільки що у нього і характери дійових людей, і виклад зовсім інший, і не можна було ні до жодної фрази присікатись, бо зовсім все інше... Про це я, а також дехто із моїх слухачів заявляли ще в 1883 р. у київських часописах...

Це все дані непереложні і правда найщиріша. Факт, що послугував темою в моїй драмі,— факт правдивий, з щирого життя, з сусіднього нашого села, якому я був свідком... У драмі навіть всі фамілії справжні з малими одмінами,— так замість Ілляшенків — Ляшенки, а решта — ті ж самі...

Так мені дуже боляче буде і прикро, коли ворог скинеться у своїх доказах на нашого славного і світом шановного літерата, що, мовляв, і п. Мордовцев признає, що Старицький позичив або попросту переробив своє «Не судилось» із Кропивницького «Доки сонце зійде, роса очі виїсть».

Отож прошу Вас уклінно напишіть мені якомайшвидше листа з поміткою, що Ви зробили прописку за мою п'єсу «Не так склалося, як жадалося» (або «Не судилося»), віднісши її до позичок, до переробок, і що Старицький завжди його признавав за самостійний труд та і при порівнянні з Кропивницького п'єсою, не маючій нічого спільного, окрім сходства, та і то неповного,— самої теми. (Звичайно, коли Ви читали обидві п'єси, а коли ні, то засвідчуйте хоть перше).

Цей лист напишіть мені офіціальний на руській мові і помітьте датою, близькою до часу Вашої експертизи... А в листі добавте, що Ви на суді очевисто про се заявите. Ну, як суд відбудеться тепер у Києві, то замісто Вас фігуруватиме Ваш лист (без конверта). Ще увага: коли Ви власною рукою написали розправу експертійну, то не треба свідкувати Вашого підпису, а коли в суді нема Вашої руки,— то треба.

Моя Людмила уклоняється Вам низенько, а я хочу обняти дорогого і достославного нашого літерата і щирого душу-чоловіка.

Подай Вам господи здоров'я, довголіття і чого тільки побажаєте.

Безмежно шануючий, поважаючий і прихильний

М. Старицький

27 жовтня 1901 р.

127. ДО Д. Л. МОРДОВЦЕВА

[Кінець жовтня 1901 р.]

Високоповажний і вельми дорогий серцю батько Данило Лукич!

Кланяюсь земно Вам за Вашу ласку: листа я одержав, а в суд, напевно, уже прийшло Ваше прошеніє, але я, слабуючи, не виходжу з хати і не бачив поки що свого адвоката.

Тепера посилаю дочку свою Оксану у Пітер забрать дві справки в Главн[ом] упр[авлении] по делам печати і віддать до цензури дві мої п'єси українські і одну російську. Чи не могли б Ви своєю карточкою запомогти мені в цензурі?

Або коли Ви до неї недбалі, то маєте великий авторитет по редакціях газет і журналів, і от моя до Вас, як до батька, найуклінніша просьба: дайте раду і свою високошановну руку, куди б мені, до якого журналу пристроїти свою руську драму «К р е с т ж и з н и»? Всі кажуть, що вона з літературного і художнього боку дуже добра і варт товстого журналу. Крім цієї драми, посилаю ще через Оксану і один невеличкий «рассказ по-русски»,— теж щоб його пристроїти... До сеї моєї особистої прóхані прилучається ще і просьба дочки моєї Людмили: чи не можна б нам пришукати де в петерб[урзьких] часописах місця поміщати історичні розповідки із нашого «українського життя»?

І я, і Людмила обнімаєм Вас щиро і зичимо всього найкращого. З душевною пошаною і сердечним прихилом навіки вдячний

Михайло Старицький

128. ДО Д. Л. МОРДОВЦЕВА

[Кінець листопада 1901 р.]

Високоповажний, дорогий батьку
Данило Лукич!

Справа з Александровським виграна, і він ухвален судом за «клеветника» і одержав за свої літературні праці нагороду — тюрму. Але після вироку «Киевлянин», а за ним і «Киевская газета» силкуються всіма силами перебрехать суть позва, докази, реченець і накинуть на самий суд підозру в українофільстві, в потуранні вадливим елементам і групам імперії...

З голоса «Киевлянина»,— а ця газета, здається, між столичними найбільшу має ходу, а чесний орган «Киевское слово», може, і не доходить,— петербурзька, а певно, і московська преса переспівує Александровсько[го] вигадки, вибрехи і дає моєму ділу зовсім несправедливу, химерну і навіть комічну окрасу... І вийде, нарешті,— «последняя горше первого»!

В почтеннейшей, напр[иклад], газеті «Новости» Б у к в а висміює мене, буцім я зчепився з Александровським за «к л а с с и ч е с к о е с в о е п р о и з в е д е н и е «Ковбасу та чарку», ч у д о в и щ н о й обиды за которую уже

снести не мог...» Хоть Буква і симпатично відноситься до мене, але все ж показує мене, сміху ради, публіці якимсь «шутом» і мій позов одяг в шутовську мантію...

А мій позов з Александровським не має навіть літературного характеру: на всі літературно-критичні розправи «киевлянинського» набрехача ще 1890 г. я мовчав, бо не вважав догідним честі відповідать мізерному шпику, та й що одповідать на критичні погляди? Яке мені до їх діло? Собака бреше — вітер носить... Але в розправі 1897 р. у «Мировых отголосках» Александровський зачепив мене зовсім іншим: він заявив, що я «нечестно получаю гонорар путем подписывания своей фамилии под дословно переписанными чужими пьесами, путем представления в Общество драм[атических] писат[елей] каких-то двойных, подложных экземпляров и путем грабежа безответных покойников...» Тут уже поднято г. Александровским прямое обвинение меня в мошенничестве, подлоге и грабеже... Разве можно шутить над таким гнусным изветом? Хіба ж це за «Ковбасу і чарку» звонтпила моя душа?

На суді безперечними документальними доказами доведено, що Александровський оббрехав мене, не маючи жодних хоть півфактів, які б його затуманили... Ну, того-то суд признав його «клеветником», а про кару ми самі прохали, щоб найменшу призначили... Та й зараз би готові просить, щоб її геть скасували...

Але Александровський своїм «органом» хоче затасувати правду... І столична преса потурає цьому...

Звичайно, цей ворог-злобитель мав на меті повалить у багно [й]мення не просто Старицького, а українського письменника, а з ним і взагалі нашу літературу, яка домагається незаслугованих і вадливих для російської літератури прав; але гляньте, якими звірячими і нахабними способами він силкується сього досягти!

Отож благаю Вас, нашого заступника, ударте в дзвони правди і передзвоніть «киевлянинські» брехні і... другі переспіви з них. Ваш дзвін найголосніший!

Возстановіть правду, починаючи з «Новостей» і «Нового времени». Не «законика» і не «Ковбаса» збентежили мою честь, не літературна критика, а обвинение меня в простой краже носовых платков, бумажников и даже часов с лежащих в гробу мертвецов... Неужели

этакой прием критики не встретит серьезного негодования и неужели невинно оскорбленный заслуживает снисходительной насмешки? Это больно!

Обнімаю Вас сердечно і бажаю всього, всього найкращо[го] в світі.

Весь Ваш *М. Старицький*

129. ДО М. Ф. СУМЦОВА

[9 грудня 1901 р.]

Глубокоуважаемый Николай Федорович!

Обращаюсь к Вам с моей убедительной просьбой быть экспертом в моем деле с Александровским: Ваше безукоризненное имя, Ваш ученый авторитет, Ваше безупречное, честное направление могут дать нравственный оплот моему правому делу. Не имея последней уверенности, я бы не рискнул и просить Вас, не осмелился бы подвергнуть эквилибристике Вашу высокую этику. Я просил Валерию Александровну быть от моего имени у Вас и получил от нее радостное известие, что Вы, при известных условиях, согласны принять участие экспертизой в моем деле; я не знаю, как и благодарить Вас за это лестное для мене согласие!

Из статьи Александровского и еще из более резкого его объяснения, читанного на суде, за которое ответственность взял на себя обвиняемый, его оскорбление посредством клеветы сводится к следующему. Г. Александровский именует меня самым бесцеремонным хищником, грабителем, ворующим у авторов-драматургов и литературное имя, и денежную собственность. Эти беззакония я будто-де совершаю путем мошенничества и подлога: а) заведомые переделки, напр[имер], «Крути, та не перекручуй» (из Мирного «Перемудрив»), «Не так склалося, як жадалося» (из Кропивницкого «Доки сонце зійде, роса очі виїсть), «Ніч під Івана Купала» (из Шабельской «Івана Купайла»), либретто «Чорноморці» (из Кухаренка «Чорноморський побит»), «За двома зайцями» (из «Кожум'як» Левицкого), водев[иль] «Як ковбаса та чарка» (из Глебова

«До мирового») и, наконец, «Зимовий вечір» (из Жиакондо «Семья преступника»)... так будто бы я эти заведомые переделки выдаю за свои собственные оригинальные произведения с корыстной целью — для получения незаслуженного и несоответственного гонорара.

Между тем все поименованные выше пьесы значатся и в цензурованных и в печатных экземплярах как переделки, с указанием даже источника заимствования, кроме 2-х — «Не так склалося, як жадалося» (драма в 5 д.) и «Як ковбаса та чарка...» (водевиль), которые я именую оригинальными, имея на то неопровергнутые доказательства, представленные мною на суд.

Тогда г. Александровский в объяснении начал утверждать следующее: б) что будто бы я печатаю инкриминируемые пьесы с корре[к]тными заголовками лишь для отвода глаз, а в правление Общества русск[их] драм[атических] писателей представляю другие, фальшивые экземпляры, в которых эти пьесы выдаю за оригинальные, и таким путем обмана получаю от него гонорар как за оригинальные. (В Уставе нашего общ[ества] от 1892 г. авторский гонорар разделен на два отдела: а) за оригинальные пьесы и б) за переводы, переделки, заимствования; за первые — высший оклад, за вторые — низший). И, наконец, в) что, кроме сего, и этих переделок нельзя считать переделками, так как они представляют дословную переписку пьес первоавторов. Относительно дословной переписки (особенно 3-х пьес — «Чорноморці», «За двома зайцями» и «Як ковбаса та чарка») Александровский говорит и в самой статье, а в объяснении распространяет это мнение на все остальные пьесы.

В опровержение обвинения в мошенническом способе получения мною из правл[ения] Общества р[усских] д[раматических] п[исателей] гонорара, я представил в суд официальные удостоверения от правления О[бщества] и казначея, утверждающие, что не только двойных, но и никаких экземпляров своих пьес в правление не представлял никогда, так как последнее получает сведения из Главн[ого] управл[ения] по делам печати, что я за переделки получаю всегда гонорар как за переделки, что никаких на меня

жалоб от кого-либо за присвоение пьес или неправильное вознаграждение за все 15 лет не поступало и что инкриминированные пьесы всегда считались и записаны в книги и каталоги как переделки.

Вот сущность клеветы Александровского и тех бесспорных опровержений, которые я представил суду. Как видите, этот процесс не имеет собственно литературного характера, потому что и последнее обвинение клеветника сводится к простой сверке экземпляров, даже без участия специалистов... И петербургский поверенный (дело начато было там) советовал мне даже упустить эту часть, чтобы не дать возможности противнику сесть на Пегаса литературной критики и ее широких задач. Но я не захотел воспользоваться выгодою своего положения и дать в руки противника такое оружие, что Старицкий, мол, напал на мою обмолвку про гонорар и про двойные пьесы, а уклонился от решения литературно-этических вопросов.

Жалоба моя подана в Петербурге (по месту преступления) еще в начале 1897 г., и только в конце 1901 года рассмотрена она в окружн[ом] суде — в Киеве. Обвиняемый все время уклонялся от суда,— и я просил наконец П[етербургский] окр[ужной] суд передать дело в Киев, ибо иначе я бы не дождался его решения до смерти. Но из этого вышло одно неудобство: в Петербурге я пригласил экспертом литератора Мордовцева, но в Киев он, по болезни и старости, приехать не мог, а потому я и остался без эксперта, а противная сторона поставила самого злобного украинофоба и отчаянного лжеца проф. Флоринского.

Но, несмотря на такое неравновесие, несмотря на страшную трудность доказать на суде клевету (ведь, кроме доказательств ложности фактов, нужно еще доказать, что в самый момент писания статьи обвиняемый знал, что они ложны, и заведомо, с целью нанесть обиду порочил честь и доброе имя другого),— суд вынес Александровскому обвинительный приговор в клевете. Я сам просил суд назначить моему противнику наименьшую меру наказания и готов его простить в каждую минуту, но Александровский подает апелляцию в Судебную палату и силится доказать, следоват[ельно], что я вор и мошенник! А это им было бы необходимо, чтобы оборвать все ходатай-

ства по расширению прав малорусского языка, да и сама статья Александр[овского] в «Мировых отголосках» имеет такую подкладку: «Как-де можно верить докладам и жалобам этих хищников — Старицкого, Садовского, Кропивницкого, Карого, Манька и Писанецкого, когда они и без того грабители!»

Перехожу к экспертизе.

1) Две из вышеупомянутых мною пьес («Не так склалося, як жадалося» и «Ковбаса») я признаю за свои оригинальные: за первую драму показаниями 7 свидетелей удостоверено, что я ее читал в компании еще в 1876, а потом в отделке для сборника «Рада» еще и в 1881 году, т. е. более чем за шесть лет назад до моего знакомства с Кропивницким, с которым познакомился в 1881 г. и который присутствовал при 2-м чтении этой пьесы; что пьеса Кропивницкого, написанная в 1882 году и появившаяся в свет в 1883-м под названием «Доки сонце зійде, роса очі виїсть», несмотря на уверения Кропивницкого, что он будто бы раньше ее писал, как показал свидетель Садовский, была действительно у Кропивницкого с таким названием, но она была комедией совершенно другого содержания. Итак, свидет[ельскими] показаниями удостоверено, что моя пьеса оригинальная и написана за шесть лет до знакомства моего с Кропивницким, а если кто и заимствовал, то это он, Кропивницкий, которому читалась моя пьеса в 1881 г.

Сравнивая эти пьесы, я находил, что Кропивницким заимствована только общая фабула и отношения первых персонажей; что же касается характеров, развития интриги, самого сценария и изложения, то между этими пьесами нет сходства ни в одной сцене... Но противная сторона желала доказать тождество, доходящее до дословной переписки...

Следоват[ельно], эти две пьесы — моя «Не так склалося, як жадалося», или «Не судилось», и Кропивницкого «Доки сонце зійде...» — даже не нуждаются собственно в экспертизе, но Вы прочтите их для уяснения отчаянной наглости моих противников.

За вторую — мой водевиль «Як ковбаса», имеющий действительно сходство с водевилем Глебова «До мирового», установлено документами, что мой водевиль полгода раньше представлен в Главн[ое] управление по д[елам] п[ечати], что он выдержал при

жизни Глебова 2 издания (в прод[олжение] 13 лет), что Глебов никогда не протестовал и, наконец, что Глебов издал свой водевиль лишь [в] 1892 г. под обозначением, что сюжет заимствован, т. е. переделан из пьесы Шаховского... В этих водевилях интересен лишь вопрос, представляют ли они дословную переписку мою или Глебова? По-моему, кроме общей темы, характеры действующих лиц и изложение — совершенно иные, за исключением обычных народных фраз и сцен при примирении и выпивке...

Перехожу к переделкам, которые у меня и назывались всегда таковыми. Две из них — «Крути, та не перекручуй» и «За двома зайцями» — переделаны по просьбе первоавторов, выраженной в представленных в суд их письмах, из пьес «Перемудрив» (Мирного) и «На Кожум'яках» (Левицкого) и по желанию же самих авторов сделана на моих переделках такая надпись: на «Крути» — перероб[ив] из «Перемудрив» Мирного, а на «Зайцях» поставлены соавторы — Старицкий и Левицкий. В Судебную палату я приглашу и самих авторов подтвердить это личными показаниями. Помимо того, что я действовал по просьбе авторов, следоват[ельно], не нарушил не только законов этики, но и самых щепетильных приличий, способ совместного творчества настолько распространен в литературе, что такой только невежда, как Александровский, мог найти в нем что-либо предосудительное (Островский и Соловьев, Ге и Салов, Сумбатов и Немирович-Данченко и т. д. и т. п.). Экспертиза относительно этих пьес должна решить лишь вопрос, дословно ли они переписаны, рабски ли изложены или в переделки вложен и мой авторский труд, сделавший их сценичными, более яркими и интересными, одним словом, можно ли их назвать переделками?

Одна из них, «Чорноморці», составляет либретто, составленное из драмы Кухаренка «Чорноморський побит». Переделывать либретто из пьес — в обычае, и даже большинство оперных либретт представляют такой род переделок: оп[ера] «Борис Годунов» — из драмы Пушкина, оп[ера] «Псковитянка» — из драмы Мея, оп[ера] «Снегурочка» — из пьесы Островского, оп[ера] «Вражья сила» — из пьесы Островск[ого] «Не так живи, как хочется», оп[ера] «Русалка» — из

драм[атической] поэмы Пушкина и т. д. В либреттах даже считается достоинством близость в первотексту.

Но Александр[овский] уверяет, что я просто дословно переписал, особенно 1-е действие. Я же утверждаю, что в 1-м действии наиболее моего собственного материала — сцен, куплетов, музыкальных ансамблей до 70%! А во всем либретто — моих добавлений до 50 проц[ентов]. Остальн[ые] пьесы мои — «Ніч під Івана Купала» переделана мною из рассказа Шабельской «Наброски карандашом» и «Зимовий вечір» из рассказа Оржешко того же названия; последняя перед[елка] признана на суде и экспертом Александровского Флоринским, что она есть переделка из Оржешко, а не из Джиовани, как утверждал Александровский. Относит[ельно] же первой сторона силится уверить, что моя драма заимствована не из рассказа, а переписана из драмы Шабельской, заимствованной из того же рассказа.

Но сценарий моей драмы совершенно иной, самая интрига и развитие ее другие, характеры даже не те, и если есть аналогичные сценки, то это именно те, которые находятся в рассказе и которыми воспользовались оба переделывателя.

Итак, задачей экспертизы будет разрешение следующих вопросов: 1) Можно ли назвать мои переделки («Крути, та не перекручуй», «Ніч під Івана Купала», «За двома зайцями», «Чорноморці») дословными переписками из своих прототипов?

2) Если нельзя их назвать «дословными», то составляют ли они все-таки приблизительные переписки, без добавления моей собст[венной] литературной работы?

Или же: 3) Они по полному праву могут быть названы переделками, так как в каждой из них изменен совершенно сценарий, состав действующих лиц, иногда и самая интрига, да, кроме всего, добавлено еще моего собственного материала половина.

4) Относит[ельно] моих оригинальных пьес «Не так склалося» и «Ковбаси» установлено свидетелями и документами, что они обе написаны и разрешены цензурою далеко раньше аналогичных пьес других авторов, а потому интерес экспертизы решить еще вопрос, действительно ли они представляют точные сколки, копии позднейших пьес неизвестных мне в те времена авторов.

Впрочем, просьба моя об экспертизе отнюдь не

заключает в себе *желания произвести какое-либо нравственное насилие над Вашим мнением*, я прошу только Вас высказать перед судом свои мысли, какие Вы вынесете из сличения моих пьес с первоисточниками. Ваше авторитетное мнение, свободное, мне дорого и ценно для суда; а зная Вашу компетенцию и неподкупную правдивость, для которой безразлично, к какой бы партии я не принадлежал, зная Вас как ученого, я заранее знаю, к каким выводам Вы придете.

Я оправдан судом, взведенные на меня поклепы признаны лживыми, я убежден, что и высшая инстанция меня оправдает, но мне этого мало: я хочу, чтобы слово беспристрастного честного человека, известного ученого засвидетельствовало, что я и с нравственно-литературной точки зрения имел право написать на своих пьесах «заимствовано» или «переделано»!

Ведь у меня 30 пьес, из которых 16 оригинальных и 14 переделок. А Александровский трактует только 9 пьесок и на основании этой ничтожной трети дает приговор о всей моей деятельности...

Повторяю свою усерднейшую просьбу, не откажитесь быть экспертом моим, Вы окажете великую услугу не только мне, но и всем привязанным к родному слову.

Завтра Вам вышлю все пьесы, предназначенные для экспертизы. Меня задержало дня три то обстоятельство, что мой поверенный уехал из Киева, а без него никто ничего не мог выдать; завтра во всяком случае он возвратится, но и без этого его помощник обещал выдать...

Относительно срока приезда Вашего в Киев (само собою разумеется — все издержки мои) мы будем хлопотать, чтобы дело было назначено к 15 апреля.

Убедительнейше прошу немедленно известить меня о Вашем согласии; последний срок подачи просьбы о назначении нам эксперта — 17 декабря.

Примите уверение в совершенном уважении и глубокой преданности.

Покорный слуга *М. Старицкий*

Адрес мой:

Киев, Мариино-Благовещенская ул., дом № 93,
Михаилу Петровичу Старицкому

P. S. Я еще забыл Вам сказать, что противная сторона — Александровский с Флоринским — силится сделать процесс исключительно литературным. Не имея возможности опровергнуть свидетельских показаний и формальных документов, они сводят все оправдание своей клеветы на то, что мои заимствования — не переделки, а переписки, что я их не имел права называть переделками, а потому не имел и не имею права получать гонорар как и за переделки. Если бы им удалось установить такое мнение о моих переделках, то тогда и ложь, что я их именую будто бы оригинальными, получила бы снисхождение... Вот почему страшно важна для меня теперь экспертиза высоко честного и научно авторитетного человека!

130. ДО Д. Л. МОРДОВЦЕВА

[Грудень 1901 р.]

Високоповажний, гучнославний наш батьку
Данило Лукич!

Я не знаю, як і дякувати Вас за Ваше щире та тепле слово! Якби мені був спосіб протягти з свого ліжка до Вас руки, то я обняв би Вас гаряче... та й хто його зна — може б, і заплакав.

Храни ж Вас господь на довгі ще роки на оборону рідної справи і ратаїв її...

Весь і серцем і душею єсмь

М. Старицький

131. ДО М. Ф. СУМЦОВА

[30 грудня 1901 р.]

Многоуважаемый
Николай Федорович!

Посылаю Вам отчет о моем деле «Киевского слова», статью Александровского и мотивированный приговор окружного киевск[ого] суда. Мне кажется, что из приговора суда уясняется дело совсем. Прочтите еще статью Мордовцева от 9 декабря (воскресение) в «Петербург-

ских ведомостях» (вероятно, университет получает их); в этой статье Мордовцев, как бывший эксперт в Петербурге, высказывает свои взгляды и результаты произведенных им сравнений.

Убедительнейше прошу разрешить скорее мою тревогу согласием быть моим экспертом. Срок подачи заявления сегодня уже истек, но председатель обещал моему поверенному продлить его на дня три-четыре...

Примите уверение в совершенном почтении и искренней признательности, покорный слуга

М. Старицкий

P. S. Дочь моя Людмила едет праздниками в Петербург и оттуда пришлет копию Шаховского. Для дела, впрочем, это не важно: свидетельскими показаниями Русовых и формальными документами установлено, что я писал и подал в цензуру за полгода раньше. Благодарю Вас от полноты души за Ваше участливое и сердечное отношение к моему делу, а значит, и к украинской литературе вообще.

1902

132. ДО М. І. СТОРОЖЕНКА

[Березень 1902 р.]

Глубокоуважаемый Николай Ильич!

Написал я из интеллигентного быта по-русски драму «Крест жизни», которую мне разрешила цензура к представлению. Второй раз я обращаюсь к московскому Театральному комитету за одобрением этой пьесы к постановке на императорской сцене. С первой пьесой («Богдан Хмельницкий») произошел какой-то непонятный мне казус: ни отзыва о ней, ни даже цензурованного экземпляра, несмотря на мои просьбы, Комитет до сих пор мне не препроводил, а прошло уже тому половина земской давности...

Обращаюсь к Вам, душевночтимый Николай Ильич, с усерднейшей просьбой защитить земляка от такой небрежности... Сам бы я приехал лично просить Вас об

этом, да болезнь приковала меня к постели и, вероятно, уже не пустит больше на свет!

Эту пьесу в двух экземплярах (цензурованный и копия) я представил в Петербург директору имп[ераторских] театр[ов], прося в прошении препроводить ее немедленно для оценки в Москву; прошло тому времени месяца два,— и пьеса, наверное, находится уже в московском Комитете.

Подробное заглавие:

«Крест жизни». Драма в 5-ти действиях. Соч[инение] М. Старицкого и А. Тжеска.

В в[еликом] посту определяется репертуар на будущий сезон,— и мне бы хотелось хоть перед смертью увидеть эту пьесу на сцене. Я прошу не о снисходительном отзыве, а о скорейшем лишь рассмотрении этой пьесы.

Простите, что затрудняю Вас своей просьбой, и позвольте мне рассчитывать на Ваше сердечное отношение к ней.

Примите уверение в совершенном уважении и глубокой преданности.

Вашего превосходительства

покорный слуга *М. Старицкий*

133. ДО М. Ф. СУМЦОВА

[1 травня 1902 р.]

Христос воскресе, глубокоуважаемый
Николай Федорович!

Простите великодушно, что не ответил до сих пор на Ваше письмо, но прежде всего меня схватили перед праздниками (и до сих пор продолжаются) такие страшные припадки грудной жабы, каких не пожелаю и своему врагу; а второе — хотелось мне узнать досконально, на какое число назначено будет мое дело в палате, чтобы сообщить Вам точно. Моя дочь Людмила ездила справляться и в палату, и к адвокату не раз, но до сих пор ничего еще не известно... Говорят одно: «Раньше конца мая дело слушаться не будет».

Вот все, что могу пока сообщить Вам. Поздравляю Вас сердечно с наступившими святками и желаю всяких благополучий.

Примите уверения в глубоком уважении и душевной преданности.

Покорный слуга

М. Старицкий

18 апреля 1902 г.
Киев

134. ДО І. Я. ФРАНКА

Киев, Мариинско-Благовещенская ул., д. № 93

[Початок червня 1902 р.]

Високоповажний добродію!

З трудного ліжка шлю Вам, ласкавий пане, моє сердечне спасибі: хоч перед смертю довелося почути «не зле тихе слово»... Я прочитав тільки першу частину Вашої розправи, але й з перших стрічок видно Ваші щирі, приязні відносини на строго критичному грунті. Я виріс і виховався на рідні́м слові, у моєї покійної матері з роду Лисенків не було іншої мови, пріч рідної, і пісні вона лише українські співала... бодай дід мій, в Петербурзі освічений, тримався більше французької мови; зате дядько Олександер одружений був з простою крепачкою і удавав з себе запорожця, ховаючи в душі заповіти козачі. Одначе заледве я вступив у Полтавську гімназію, як лишився круглим сиротою, а потім уже пригріли мене другі Лисенки. В гімназії теж панувала тоді, поза класи та майже і в класах, українська мова, і я на їй пробував ще тоді віршувати; а далі, як перевівся з харківського університету у київський 1860 р., то з тої доби став народовцем заядлим, прилучившись до Антоновичевого гурту, до якого пристав потім і Драгоманів. З перших кроків самопізнаття на полі народнім я загорівся душею і думкою послужить рідному слову, огранувати його, окрилити красою і дужістю, щоб воно стало здатним висловити культурну освічену річ, виспівати найтонші краси високих поезій... разом кажучи, хотів,— як тоді кепкували,— возвести своє слово у генеральський чин... Це бажання, цей напрямок керували мною ціле життя, і я не зрадив їх до могили, бо вірую, що тоді тільки ушанує свою мову народ, коли вона стане орудком культури і науки, коли на їй понесе народу інтелігентний гурт і визволення од економічного рабства, і

поліпшення долі... Але боже! Скільки за те довелось мені на віку перебути і лайок, і каміння, та й не від самих ворогів, а від своїх прихильників! У ті давні часи в досить численній громаді пробували здебільш так звані ліберали російські, які бодай і прихильні були до розвитку українського народу, до поширення його прав, до поліпшення його економічного стану, взагалі до розвитку в імперії автономій і навіть конституцій, але рідної мови вони не знали, споучати її не бажали і в широкому розвитку її не вбачали навіть потреби, обмежовуючи їй місце для хатніх малих ужитків, і гадали, що в імперії мусить бути три літератури: українська, кацапська (для простолюду і приватних потреб) і російська для інтелігенції та науки... Та вам, добродію, мабуть, не згірш, як нам, відома еволюція сих думок. Багато тих лібералів перевелось на культуртрегерів, на банкірів, на генералів, на зрадників, але мала частка вірних існує і надосі, вважа себе за українців, проте рідної мови не зна й не чита на їй, аніже, впевнившись, нібито, що вона не зрозуміла ні їм, ні народу, що її кують якісь маніяки, що вона нікому не потрібна, не признають навіть донинькі таких слів: «жадати, тривати, враження, супокій, брила землі, рука пашні, мрія, жданок» і т. ін. Не признають і перекладів... Переклади — се було й єсть у нас пугало і для уряду, і для жандармської літератури, і для російської, і для наших навіть лібералів, а я уважав і уважаю їх за найцінніший труд у добу виховання мови: вони дають найкращу гімнастику слову, найліпше ширють його і, крім того, збагачують читальні засоби для народа на рідній мові, а з тим укоріняють силу і їй самій... І я найборше узявсь до перекладів і перші 15 л[іт] переважно про їх лише дбав: крім надрукованих, у мене їх лишилося у шпаргалах і розвіялось досить. Отож за ті переклади на мене накидались і «Московські відомості», і «Киевлянин», висміюючи їх, оббріхуючи їх якомога, з закидками явними до жандармерії: «Caveant consules!» — кричав «Киевлянин»..., а за ними часами появлялась розправа і від приятелів, бодай і не така груба, але ще дошкульніша. Додайте ще, що від 1863 по 1871 р. і від 1876—1881 р. були страшенні утиски і цензурні, і поліцейські, і жандармські: мало не щоденні труси, арешти, тюрма, висилки до Сибіру і навіть шибениці... Так при таких обставинах доводилось працювати: жах, лемент, одчай

панували скрізь і не було де шукати ні поради, ні підпомоги, тільки невелике коло українських літераторів та щирої молоді підтримувало мене, іноді чужі люди промовляли слово ласкаве чи ставали попліч життя, а найбільше невгасима жадоба... власної думки.

У перший період утисків до 1872 року було заборонено цілком у Росії наше слово: ми вимушені були співати у концертах народні пісні на французькій мові... sic! Отож з 1872 р. розрішено було український приватний спектакль; з того часу, крім перекладів, які дозволено було до друку, я узявся й до сцени, вважаючи її за могутній орудок до розвиття самоспізнаття народного. Склалося в Києві Товариство сценічних аматорів, і я став на чолі його — режисером і постатчиком п'єс; отож і появились тоді лібретта до музики — «Чорноморці», «Різдвяна ніч», «Утоплена», водев[іль] «Як ковбаса та чарка...». Не можу не сказати кілька слів про пригоду з цим водевілем. Що він написаний мною був в 1871 р.— це факт,— Русови і Ліндфорси свідки, що він розрішен у цензурі в 1872 р., раніш Глібовського — на сім місяц[ів],— це факт, і що Глібовський «До мирового» схожий з моїм — це теж факт. Але з якої причини, яким робом? Ні я д. Глібова, ні Глібов мене не бачили, в Чернігові я не був... Тут одно тільки може бути: я давав свій водевіль, як і другі драм[атичні] утвори, на поправку моєму щирому приятелю, покійному Чубинському... Чи не поправив він, маючи на увазі водевіль кн. Шаховського «Два приятеля», а д. Глібов, видавши свій водевіль, пояснив на книжці, що сюжет позичено їм у кн. Шаховського?.. Я для суда з Александр[овським] кидався і в Москву, і в Петерб[ург] добуть копію того водевіля, але не добув... Так ото і стоїть се питання питанням. Тільки впродовж довгого часу, після двох видань мого водевіля, я не одержував жодної претензії від д. Глібова і познайомився з його водевілем лише по надрукуванні його, себто в 1892 р. ...

Вертаючись до того руху, що спалахнув був у Києві в 1872 р., мушу додати, що він швидко й погас: скасував його височайший указ 1876 р. 16 мая. Тим указом українська мова була цілком заборонена; той указ не дав мені видати і моєї драми «Не судилось», яка була в 1876 р. начерно викінчена і читана Матвієву, Косачці, Кониському, Комарову, а потім уже, по дозволі української

сцени, читана в 1881 р. цілому гурту. Так ото до сього року все стояло облогом, а з 1881 р. знову стала дозволеною, хоч і з тяжкими обставинами, рідна сцена, і я з гарячою вірою завзявся постачати для неї п'єси, а потім з 1883 р. і сам став на чолі трупи, поклавши на її розвиток усю свою спадщину, тисяч на 60! Я примушений був благальними листами Кропивницького, порадами товаришів-друзів за цю справу узятись, бо Товариство драматичне Кропивницького гинуло без капіталу й голови, гинуло з ворожди, міжусобиць, нужди... А грошовитого другого чоловіка, гідного ризикувати шагом, в той час не малось. А Кропивницький в дяку за те, що з моєї руки став чоловіком заможним (за два роки від мене одержав пенсії, бенефісів, проц[ентів], нагород — до 20 т[исяч] карб[ованців]), стає свідком Александровському, спільному нашому ворогові, який і його вилаяв «хищником», який обстоює в своїй розправі, аби вигнали всіх драматургів українських з кола Драматичного товариства і підпира того шпига брехнею... Пробачте за цей відступ: наболіло дуже!

Треба зауважити ось що: бодай, за клопотами міністра Лоріса-Мельникова, з 1881 р. нам і була дозволена сцена, а проте того ж року Лоріса не стало, а намість його осівся знову гр. Толстой, за проводом кого і була в 1876 р. скасована мова. Не важучись удруге перечити царській волі, він циркулярами приватно майже скасував її знову цілком: були заборонені ним українські спектаклі без російських, а останніх потребувалось у вечір не зменш половини дій, тобто — коли стояла на афіші українська драма чи комедія на 5 дій, то повинна була у той же вечір одбутись і російська драма чи комедія на стільки ж дій, а коли хотілось додати ще українського водевіля, то наточить на його тра було і російського, разом кажучи, надобилось відбути у вечір від 10 до 12 дій! Це нищило цілком справу: треба було утримати подвійну трупу і з спектаклів робить якесь потворище... З іншими губернаторами можна було піти хоч на таку згоду, щоб чергувались спектаклі українські з російськими нарівно, а другі скажені трималось дословно наказу. Але, крім того, наказано було в цензурі не пропускати українських п'єс, і проти сього боротись було годі; зоставалось одно: з великим страхом ошукувати поліцію. Я довідався у Петербурзі, що деякі старинні п'єси,

розрішені до пристави, геть погубилися і змісту їх не віда ніхто, а проте назвиська їх, яко дозволених, стоять у поліцейських книжках; таких назвиськ знайшлося чотири, і я під їх крилом став пускати нові утвори... Часами під одним назвиськом щороку йшла нова п'єса... і критика розводила руками, що українські драматурги не можуть видумать нового назвиська, а все топчуться на «Василі та Галі»! З другого боку, до помочі ставали у сій справі і ті драматурги, що мали спершу розрішені п'єси, але п'єси були геть неможливі до постанови на сцені; вони прохали мене покористуватись їхніми дозволами і переробити їх п'єси дощенту або й замінити їх своїми; отож. з того поводу і появились «За двома зайцями», «Крути, та не перекручуй», «Ніч під Івана Купала», «Не ходи, Грицю, на вечорниці»; вони спочатку ставились під заголовками і [й]меннями первоавторів, а далі, коли настала полегкість в цензурі, під стягом правдивої праці, тобто яко п'єси перероблені, на чужий мотив писані, чи оригінальні. Не можу при цьому не згадати покійного Александрова. У його було 2 п'єси, написаних, як сам він казав, для дітей (брошурочки по 8—10 сторінок): «За Немань іду» і «Не ходи, Грицю...». Ми з ним умовились, що я свою «Марусю Чурай», яка двічі була мені заборонена, пущу під стягом його «Гриця» (гаразд, що й сюжети близькі), а за те переroблю йому для вжитку «За Немань іду» у добру оперету. Сталась братерська згода: за перероб «Неманя» д. Александров аж шалів з радості, а я теж за свою «Марусю». «За Немань іду» і досі іде в моїй переробці і дає сім'ї Александрова дохід. Коли ж настала цензурна полегкість, то я свого «Гриця» подав до цензури і одержав дозвоління. Зауважте, що перше коли я давав свого «Гриця» під стягом Алек[сандр]ова, то мусив дійових людей назвати його іменнями і вставити ще один замітний на око факт — його пожежу; а в своїй п'єсі чужу пожежу я викинув і йменння змінив на свої... Що ж би ви, голубе, думали? Покійний, не тим будь пом'янутий, позаздрив на славу «Гриця» і на дохід (він 2 чи 3 роки одержував за нього авторський гонорар) і надрукував у «Южнім краї», таке: «Мій «Гриць», відомий більше двох років харківцям, появився учора на сцені під підписом Старицького, той саме «Гриць», а змінено тільки йменння діячів та викинуто пожежу... Що сей сон визнача?» Я потяг покійного

на третейський суд, і останній вирік, що моя п'єса оригінальна, а його обвинувачування й поступування нечемне... Про «Поклик до слов'ян» цілком справедливо: я драгоманівського і в вічі не бачив... А от чи відомо вам про «Демона»? Громада колись одержала шпаргали неповні перекладів Руданського і наказали мені, щоб я переклав недостаючі до перекладу глави, і тоді видати уже «Демона» цілком, за двома підписами; так і сталося. Але потім знайшовся повний переклад Руданського, який і мав видатись; а мені стало шкода своєї праці, і я доперекладав свого і видав удруге... Все це на суді виявилось... Та годі про це: що, мовляв, у кого болить, той про те і провадить... Пробачте!

Коли моя калитка зробилась порожньою, тоді Кроп[ивн]ицький зложив товариство, а мене лишив з малечею без шага та з наболілим серцем... І я повів-таки справу і спорудив трупу, яка борикалась і в Петербурзі, і в Москві з примачами; але з 93-го р. я мусив по нездоров'ю залишити цю справу і оселитись у Києві.

Маючи більше вільного часу, я став писати тепер оригінальні п'єси до сцени: «Богдан Хмельницький», «Маруся Богуславка», «Цар Горох», «Окривджена», «Оборона Буші», «Остання ніч», «Чарівний сон», «Владислав IV» (не викінчений)... і, крім того, хліба ради, став писати на російській мові історичні романи з українського життя... яких написано уже шість, від доби Богдана до Коліївщини... Але в останні два роки переважно слабую і мало коли з ліжка встаю... От вам і короткий мій curiculum vitae... Оце дочка моя везе мене цього літа за границю на пораду й курацію; буду конечне у Львові і, коли бог дасть, побачусь з вами. Маю до Вашого «Науково[го] вісника» розповідок один (подільська легенда) і повість «Байстря»; перший готовий, тільки переписаний недбало і нашою правописсю, а друга — ще не оброблена... Чи потрібні вам і чи можна нашим правописом вислати рукопись?

Моя прохань велика до Вас, любий добродію: чи не можна б вислати на ім'я професора Владимира Боніфатійовича Антоновича в університеті хоч примірник Вашої критичної розправи?

Дякуючи ще раз Вас уклінно, зостаюсь з високим поважанням і щирим прихилом

М. Старицький

135. ДО ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА РОСІЙСЬКИХ ДРАМАТИЧНИХ ПИСЬМЕННИКІВ І ОПЕРНИХ КОМПОЗИТОРІВ

[17 червня 1902 р.]

В правление Общества русских драматических писателей и оперных композиторов

Действительного члена Общества
Михаила Петровича Старицкого

Прошение

Будучи тяжко больным, я должен, для облегчения болезни, отправиться за границу, а единственными средствами для сей цели может служить лишь аванс, рассроченный погашением на продолжительный срок, так как получаемый мной авторский гонорар составляет и единственные средства к жизни. Посему почтительнейше прошу правление Общества выдать мне в аванс шестьсот рублей и погашать его в продолжение двух лет по двадцяти пяти рублей в месяц.

Киев, 4 июня, 1902 года

Михаил Петрович Старицкий

136. ДО І. М. КОНДРАТЬЄВА

[18 червня 1902 р.]

Глубокоуважаемый
Иван Максимович!

На последнем консилиуме доктора обязали меня немедленно отправиться за границу, не упуская июня месяца, а потому я обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой помочь мне в этом случае, так как от Вашего ходатайства зависит мой выезд. Дочь моя, Людмила Михайловна, сообщила мне о Вашем любезном предложении выдать мне авансом шестьсот рубл., рассрочивши погашение оных на два года, по двадцяти пяти рублей в месяц. Теперь вот об этом авансе я и прошу Вас, а также прошу, если возможно, не затянуть выдачу оного, чтобы я мог 15 июня двинуться в путь.

Пишу Вам, не зная, нужны ли для моей просьбы какие-либо формальности; во всяком случае прилагаю к этому письму и прошение в правление Общества.

Полагаюсь на Ваше сердечное отношение к моим просьбам, а также и на отзывчивость нашего глубокоуважаемого Аполлона Александровича, жду скорой помощи.

Примите уверение в совершенном почтении и душевной преданности. Вашего превосходительства покорный слуга

Мих. Старицкий

5 июня, 1902 года

P. S. Все прежние авансы погашены.

137. ДО І. Я. ФРАНКА

[Серпень 1902 р.]

Вельмишановний і любий серцю добродію!

Одержав я Вашу ласкаву розправу про мою діяльність і дякую щиро за тепле слово, якого я, либонь, і не заслужив; одно тільки я думаю, що моя сила найбільша у драмі, бо технікою її я володаю настільки, що й з любим драматургом російським потягаюся... Проте збоку видніше.

За границю мене лікарі не пустили. Маю з дочкою Людмилою і пашпорти у кишені, і упакований був до виїзду, та й ба... зостався! Тим часом оце завітав на кілька день у Полтавщину, заглянув і в рідне село (за метрикою синові) і ось шлю Вам три пісні з перебутих вражінь.

Завтра заказною бандероллю вишлю вам подольську легенду «Заклятий скарб», і 1-актну самнову віршовану п'єсу «Чарівний сон». Повість «Байстря» кінчаю. Буду ще одшукувать з закинутих зшитків поезії і Вам досилати, а може, й новий який надих спаде на заклякле серце.

Бажаючи всьо[го] найкращого, з великою шанобою і душевним прихилом зостаюсь назавжди

М. Старицький

P. S. Ще у мене є до пана добродія прохань: коли не в труд, то вишліть мені, з ласки, хоч два примірники моєї драми «В темряві», що видана у Галичині: у мене первотвір загубився.

138. ДО І. Я. ФРАНКА

Киев, Мариинско-Благовещенская ул., дом № 93 [Вересень 1902 р.]

Дорогий і вельмиповажний добродію пане Іване!

Турбуюсь, чи дійшов до Вас мій лист і бандерольна посилка, віддані до пошти ще майже місяць назад. Я в них заслав Вам чотири поезії, п'єсу «Чарівний сон» і легенду подільську «Заклятий скарб». У листі, між іншим, прохав переслати мені, коли спроміжно, хоч один чи два примірники моєї драми «В темряві», бо у мене загубивсь первотвір. Тепер ще уклінно попрошу Вас переслати ті юридичні папери (по ділу з Александровським), які моя Людмила Вам заслала: здається — одповідь Александровського і мою контроверсію чи й ще що; суд у вищій інстанції, тобто у судебній палаті, назначено на 2 октября (нашого стилю), а по новому — на 15... А ці бумаги їй, Людмилі, знов будуть потрібні; отож сердечно прошу ласкавого пана добродія не забарити часу на висилку: посилайте наложним платежем, щоб я платив за пересилку гроші.

Прошу ласкаво вибачить мені за турбацію, але вимагає пильна справа. Будьте ласкаві, сповістіть мене коротесеньким листиком, чи одержали мої поезії, п'єсу, повість і листа? Се мене заспокоїть; а то у нас часом можуть літерацькі праці доскочити зовсім іншого, небажаного адресу.

За юридичні папери теж прошу, а за «Темряву» — коли можливо.

Жду з непокоєм Вашого листа.

Обнімаю Вас щиро.

З великою шанобою і щирим прихилом зостаюсь назавжди

М. Старицький

P. S. Людмила Вам кланяється низенько і дякує за Ваше тепле слово. Буде писати, але тепер у неї донька дуже слаба, і вона засмучена до безпам'яті.

139. ДО М. Ф. СУМЦОВА

[Середина вересня 1902 р.]

Глубокоуважаемый
Николай Федорович!

Судебная палата, к величайшему моему горю, отказала мне в вызове второго эксперта на том основании, что Александровский не просил с своей стороны новой экспертизы; я жаловался, но вчера получил извещение, что жалоба моя оставлена без последствий, а дело назначено на 2 октября.

Адвокат уверяет, что это может послужить крупным поводом к кассации, в случае бы решение палаты было неблагоприятным, но мне мало в том утешения, и я предчувствую что-то недоброе...

Мне обидно вдвойне и за себя и за Вас, так как, по моей просьбе, Вы убили много времени и совершенно даром. Но до получения от Вас согласия я не мог подать прошения, а, подавши, ждал и жаловался... И вот оборвали у меня Вашу защиту...

Будьте добры, вышлите мне обратно все пересланные вам материалы по этому делу, а чтобы Вас не затруднить этим, я прошу Валериану Александровну зайти к Вам и получить от Вас бумаги и книги для немедленной пересылки их мне: дело ведь назначено на 2 октября, и осталось лишь 2 недели.

Свидетельствую Вам глубочайшее уважение и преданность и благодарю сердечно за понесенный труд.

Остаюсь покорный слуга

Мих. Старицкий

1903

140. ДО М. Ф. КОМАРОВА

[Січень 1903 р.]

Дорогий, любий Михайло Федорович!

З Новим роком, з новим щастям, з новим здоров'ям! Вітаю і пригортаю Вас до щирого серця, а також вітаю і Вашу шановну родину.

Напишіть мені, голубе, як маєтесь, яке Ваше здоров'я? У мене, дякувати бога, нападів грудної жаби ще нови[х] не було, хоч спочуваю себе не бардзо, а більше кепсько: частіше почина серце боліть і застигатись. Лікарі кажуть, що се добре... проте — аби день до вечора! Хай би перебути зиму, то знов сподіюсь на воду і електричество.

А ви ж то як? Сповістіть, серце!

Обнімаю Вас. Щиро прихильний

М. Старицький

141. ДО М. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

[Початок лютого 1903 р.]

Високоповажний, дорогий добродію,
Михайло Михайловичу!

Дякую Вас щиро за запросини до Вашого збірника, які приймаю за честь і з радістю готовий стать до послуги, чим можу. Отож звістіть, що Вам найпотрібніше,— чи лірика, чи драматургія, чи повістярство,— і я пришлю; та ще би-м просив звістити, на який час конечне це треба і кільки аркушів можна рахувати... тобто не більше чого?

З свого боку теж прошу і вас, любий письменцю, прийняти і в нашім виданні участь, запросини до якого при сьому ж Вам засилаю, а також просимо і вельмишановного пана Чернявського.

Щирим серцем і душею прихильний.

З поважанням *М. Старицький*

142. ДО ПАНАСА МИРНОГО

[28 лютого 1903 р.]

Високоповажний добродію
Панас Яковлевич!

Вважаючи з великою радістю, що наше рідне слово добува собі з кожним роком більшу та більшу силу і завойовує ширше коло читачів і прихильців, ми завдались метою і з своєї руки задовольнити вимогам часу;

отож і намірились думкою видавати щороку по збірнику, на взір бувшої «Ради». Запрошуємо Вас, вельмишановний добродію, зробити нам честь, буть нашим співробітником і доставлять всякі белетристичні твори (поезії, драми, комедії, образки, новели, розповідки, повісті, романи і таке інше), а також наукові, економічні, критичні розправи на українській мові; остатні речі просили би ми засилать і в перекладі на російську, взглядно принукам цензури.

Просимо теж зазивать до спільної праці і всякого нового, нам не відомого ще письменника, бо ми бажаємо скрасити будучий збірник творами відомих всім літераторів і теж дати широку змогу до виступу і розвитку нових сил.

З щирою шанобою і душевним прихилом

Мих. Старицький

P. S. Адрес: Киев, Мариинско-Благовещенская, 93.

143. ДО М. Ф. КОМАРОВА

Мариинско-Благовещенская, № 93
12 марта 1903 р. [25 березня 1903 р.]

Дорогий друже, Михайло Федорович!

Несказанно зрадів я Вашому листу, а найбільш тому, що Вам краще: мене так турбує Ваше здоров'я, що й не повірите,— мені здається, що моє зв'язане з Вашим, і як Вам легшає, то й у мене підноситься дух...

Щодо моїх видань, то справа стоїть так. Дві компанії у Києві беруться видати мої твори: одна, та, що видала «Вік», хоче конечно видавати всі мої поезії самостійні й переспіви, а друга хоче видавати всі драматичні утвори. Перша з осени розпочала розмову, заходили до мене, [перебили] руки, та й годі: нічим не посунула справа. Поезії, бачте, треба спочатку переписати всі на карточки, улаштувати порядок (до цензури), і то хитро... тоді переписати в зшиток і подати до цензури... А для набору треба знов другий порядок (бо я маю право змінять), значить, і другий зшиток. Виходить, потрібно мать три списки — 1 на карточки і 2 у зшитках. Мені радили (навіть близькі до цензури люди), щоб я подав хаотичну нерозбірну мішанину, перетасувавши недоладно своє й

чуже, поеми, лірику, байки, епос, не поминаючи, де оригінальне, де позичене і у кого; а потім при друці, як я маю право змінять порядок, то й розтасувать все до ладу: під I отд[ілом] — свої власні, під II — переспіви, під III — байки... Хто купить, розірве книжки на 3 частини і оправить окремо; тоді й байки можуть піти, а іначе їх не пропустять... Для того-то, вважайте, і треба мені 3 списки!

Така думка про це була й видавничої спілки, і вона взялась прислати мені перепищика,— та й досі не прислала! У Петербурзі хтять теж видавати,— пише мені Лотоцький,— там принаймні хоч за переписку питання і чекання не буде... Як бачите, отакі справи!

Знов, у Києві ж, друга спілка запросила у мене продати право видання всіх драматичних утворів. Уложили навіть ось яку угоду: даю право на 5 літ видати кожної п'єси по 5000 прим., за це я одержую плату по 15 карб. від акта взагалі. Завдатку лежачого 100 карб., повинні видати всі п'єси, а не на вибір; половину плати одержую при дачі розрішеного примірника, а другу — до року... Умовились-то умовились, а грошей не несуть, і діло стоїть облогом.

П'єс же у мене от скільки:

О р и г і н а л ь н о: «Не так склалось» (5 д.), «Богдан» (6 д.), «Буша» (6 д.), «Остання ніч» (2 д.), «Чарівний сон» (2 д.), «Цар Горох» (3 д.), «Гриць» (5 д.), «Розбите серце» (5 д.), «Ковбаса» (1 д.), «Маруся Богуславка» (5 д.), «Талан» (5 д.), «Кривда і правда» (5 д.), «Добувся слави» (1 д.), «Переполох» (2 д.), «По-модньому» (1 д.) — всього 15 («Владислав IV» — не скінч[ена] ще).

В с п і в р о б і т н и ц т в і: «За друга» (5 д.), «Галя Русина» (5 д.), «За двома зайцями» (4 д.) і «Аппій Клавдій» (5 д.) — всього 4.

П е р е р о б к и ч и н а п о з и ч е н и й с ю ж е т: «Галя» (4 д.), «Аза» (5 д.), «Зимовий вечір» (2 д.), «Ніч під Ів[ана] Куп[ала]» (5 д.), «Крути» (5 д.), «Різдвяна ніч» (5 д.), «Утоплена» (4 д.), «Тарас Бульба» (7 д.), «Вій» (5 д.), «Сороч[инський] ярмарок» (4 д.), «Чорноморці» (3 д.), «Юрко Довбиш» (5 д.) і «Мазепа» (5 д.) — 13, та ще «Гамлет» (5 д.), ...а всіх п'єс разом 33, або поки з цензурою,— то й 35 буде.

При київських умовах видавець, при доброму зарібку,

міг пускати книжку по 5 к[оп] (акт), себто 5-актну, найбільшу п'єсу — 25 коп., бо й справді: 15 карб. за 5000 пр. (1 дія), то випада на примірник менше [$1^1/_2$] копійки, так що гонорар майже заніщний! Мені тут навіть дорікали, що се замало і можна правити $^1/_2$ коп. від аркуша, то й при такій оплаті видавець зможе пускати дуже дешево... І от все ж з цими видавничими справами ні се ні те... А книжки у продаж наші йдуть так хутко, що швидко спорожниться цілком наша книгарня.

Поезій моїх буде теж — своїх і переспівів — аркушів на 25—30.

Оригінальних я зібрав уже і дописав на 122 ном[ери], але сила розгубилась і розвіялась по вітру...

Зараз розрішений уже єсть до видання «Богдан», якого уже 2 роки нема в продажу, і «Маруся Богуславка», яка й не була в продажу і уже навіть надрукована, але не взята ще... Ці п'єси теж повинні йти до гурту.

Чи не знайшли б Ви на ці всі українські речі видавця у Одесі? Дуже був би радий і вдячний... А тут поки одна порожня балачка.

Маю ще я на російській мові одно оповідання на $1^1/_2$ арк. (про жида, і досить симпатичного), та ще 4 розповідки (переклади Лепкого)... і не знаю, де їх приткнути. Кажуть, що ув Одесі єсть журнал, то оповідання якраз до його підійде, а Лепкий пішов би до часописі (розповідки коротенькі і досить художні).

Писав я про це Вороному давно, та й досі не одержав від нього ані словечка...

Про київські новини мало знаю, більше сиджу дома, а зимою так увечері нікуди й не вилазив... Та, здається, нічого втішного й не чути, а здебільша сумне: от, наприклад, чув, що ніби Влад[имир] Боніфат[ійович] вельми недугує...

Ну, бувайте ж здорові, вельмишановний та щирий і любий мій друже, і самі, і з усією милою сім'єю; обнімаю Вас гаряче... не спом'яніть лихим словом і простіть, коли в чому скривдив...

Цілою душею і серцем прихильний

Мих. Старицький

P. S. Всі мої Вас вітають найкраще і зичать всього-всього доброго.

144. ДО І. Я. ФРАНКА

Киев, Мариинско-Благовещенская, № 93 [Березень 1903 р.]

Високоповажний, дорогий добродію!

Завзяли-сьмо видавати щороку одну, а коли настачить надібку, то й дві збірки під назвою «Нова рада». Отож, цінуючи, шановний пане, Ваш пишний талан, який покрасив би наше видання і задовольнив художньо чительника, ми уклінно просимо славного нашого письменника вчинити нам честь своїм співробітництвом і засилать утвори по моїй адресі. Коли мога, то просили б на першу книжку засилать до 1-го нашого липця. Просимо теж переказати наші запросини і молодшим письменникам, які нам не відомі. Прошу вибачення за турботу, що чотири листи (Стефанику, Маковею, Лепкому і Грушівському) я настежую до Вас, просячи о передачу: крім добродія Грушівського, решта адресів нам не відома.

Тепер про свої справи. Засилаю вам при сьому листі 20 моїх поезій, ще ніде не друкованих; частину познаходив з мотлоху щпаргалів, а то — нові. З п'яти аркушів, які при сьому листі, I, II і V то нові, а III і IV — старі, які ще не були в друці (за III арк. я певен, а за IV мені здається, що не були... таки не були). Тасуйте їх і подавайте до друку в порядці, який знайдете кращим. Улітку ще Вам дошлю. Коли потрібен чи розповідок, чи яка п'єса, то сповістіть.

Беруться тут 2 спілки видавати мої поезії, але боюсь, що їх так перекалічить цензура, що лишиться саме бадилля... А всіх уже знайдеться у мене зараз: оригінальних поезій до 125... та добереться й до 150, а перекладів і переспівів, яких теж не знаю, чи пустить цензура, набереться аркушів на 20—25. Так що разом — 30—35 арк. друку. «Сербських дум» я сюди не тулю. А як там у Вас, можна б се видати? Зовсім не знаю умовин... Чи, може, так: видати тут, а що викине цензура, то там у вас додатком... Тільки як перекалічить мені цілком, то полови видавать тут я не буду; тоді вже тра буде поміркувати цілком видать за кордоном.

Чи не знаєте Ви, шановний добродію, де знаходиться Винниченко? Чутка пішла, що він подався до Львова... але де? А у його проявився писарський талан з сатиричним потягом... Дуже хотіли б ми мати в нашій збірці

який-кольвек його утвір, та ба... не знаємо, куди удатись. Коли Вам трапиться його бачити, то перекажіть, будь ласка, нашу про́хань.

Ще раз просою зробити мені велику честь і заслати хоч що-небудь, а також закинуть слово і другим, щоб прислали: тепер у Галичині таке пишне гроно художніх письменників, що дай господи нам... і галицькі літерати зроблють певну покрасу нашій «Новій раді».

Бувайте здорові і щасні. Обнімаю Вас щиро.

З великою шанобою і коханим прихилом назавжди

М. Старицький

P. S. Моя Людмила вітає Вас від щирого серця.
Чекаю на ласкаву одповідь.

145. ДО М. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

[Травень 1903 р.]

Дорогий і вельмишановний колего!

Посилаю Вам 5 моїх поезій на 192 рядки. Боюсь, щоб «Хрещенської ночі» не похрестила цензура, а то в цім маленькім гроні поезій, які я вибрав із розмаїтих мотивів,— балада грунт. Отож перегляньте і обміркуйте, може, дещо загостре притупити б, цензури ради, а потім при друці нишком вставити? Чи як? Жду швиденько від Вас, любий добродію, одповіді на це, а також і Ваших утворів: вот за вот! Адресуйте листи просто на станцію Дарницу (Киево-Воронежской ж[елезно́й] дороги): там я буду літувати і там єсть уже поштовий виділ. Всім прихильним чернігівцям — сердечне вітання. Вибачайте, що прози поки не маю нічого викінченого, помірного.

Весь Ваш *М. Старицький*

146. ДО М. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

[3 липня 1903 р.]

Вельмишановний добродію!

Місяць назад... ні, навіть більше, як я вислав Вам чотири поезії і просив Вас одповісти мені і прислати

навзаєм що-небудь свого, але й досі не маю від Високоповажного пана ні слуху ні духу...

Будьте ласкаві, відпишіть мені коротко,— чи одержали мого листа з поезіями, чи останні гідні Вашої збірки і чи сподіватись і нам на Вашу ласку?

З щирим прихилом

зичливий *Мих. Старицький*

20 червня 1903 р.
Дарница

147. ДО І. М. КОНДРАТЬЄВА

[3 грудня 1903 р.]

Многоуважаемый
Иван Максимович!

Убедительно прошу Вас сделать распоряжение о составлении счета моим авторским за истекший месяц и высылке причитающегося мне гонорара по прежнему адресу.

При сем не могу упустить случая напомнить через Вас правлению нашего Общества о Лысенку. 21* декабря сего года празднуется в Киеве юбилей его 35-летней плодотворной музыкальной деятельности. Вместе с Киев[ом] празднуют его юбилей и славянские земли, да и у нас, кажется,— Одесса, Харьков и Петербург (конечно, частно).

Заслуги Лысенка велики и несомненны: он первый собрал и обработал богатейший песенный и муз[ыкальный] народный материал; он иллюстрировал культурною, в духе народном, музыкою почти все лирические стихотворения Шевченка; он написал для исполнения хором более 150 ном[еров]; он написал романсов, кантат и арий до 80; для фортепиано более 75 пьес; для скрипки, оркестра, флейты и струнных квартетов... Кроме того, написал 4 оперы, а 3 еще не окончены.

Популярность его таланта на юге так велика, что проникла даже в села. «Киевская старина» объявила даже подписку для юбилейного подарка Лысенку, и вот в этот момент из рублей и полтинников, среди которых много крестьянских, образовалась уже сумма в 5000 р.!!

* 21 декабря — в театре, а 20 декабря — в Литературно-артистическом обществе. *(Прим. автора)*.

Лысенка положительно можно считать основателем южнорусской музыки и поставить его тем наряду с именем Шевченка.

Зная Ваш просвещенный взгляд и отзывчивое сердце ко всем выдающимся явлениям русской жизни, я убежден, что Вы сделаете о Лысенку сочувственный доклад правлению нашего Драматического общества, от имени которого и будет почтен наш славный композитор в день своего юбилея в том или другом виде памятью.

Примите уверение в совершенном почтении и душевной признательной преданности. Вашего превосходительства покорный слуга

М. Старицкий

20 ноября
1903 года

1904

148. ДО М. П. ЧУБИНСЬКОГО

[Лютий 1904 р.]

Дорогой и многоуважаемый
Михаил Павлович!

Благодарю Вас сердечно за то доброе и радушное участие, которое Вы оказали моей дочери в Харькове; моя семья и я всегда относились к Вам, как к родному, и не ошиблись в Вашем отзывчивом сердце.

Куперник, взявшись за мое дело, сначала отнесся к нему добросовестно, хотя и с первых шагов стал мирволить... Но после 1-й инстанции враждебность его к Людмиле, а с ней и ко мне стала расти до неприличия... Вызывает, напр[имер], меня к себе по делу и заставляет сидеть в приемной $1^1/_2$ часа, будучи совершенно один в кабинете, или приглашает в кабинет и пишет, не изрекая слова, письма, тоже не с час... А спросишь про дело, лаконически отвечает: «Там уже, мол, увидим»,— не удостаивая даже ответа на предложенный мною вопрос. Говорят, что подействовал на него Людин успех, а я полагаю, что просто согласился дружески с той стороной: запил с Александровским брудершафт!

Я вот в сенат не поехал защищать кассационную жалобу, дали знать мне об этом лишь за 2 дня. Возмутительнейшее решение Киевской с[удебной] палаты могло быть утверждено, и дело мое, правое и чистое, как первый снег, могло быть навеки потеряно... Людя полетела и спасла...

Теперь с этим миром Куперник поступил со мной омерзительно: просто вопреки моему желанию совершил его самовольно и с обманом. Видите ли,— в статье своей Александровский уличал меня в грубом плагиате, в грабеже живых и мертвых с корыстной целью и даже в получении чужого гонорара мошенническим способом. Я обвинил его в клевете.

В решении окружного суда установлено: что о плагиате не может [быть] и речи, что оригинальные пьесы Старицкого («Не так склалось...» и «Ковбаса») действительно принадлежат его перу, и что в пьесах с заимствов[анными] сюжетами источники заимствования указаны правильно, и что Старицкий получал гонорар совершенно корректно... а потому-де Алекс[андровский] и клеветник.

Когда противная сторона заговорила о мире, то я, изъявив согласие, поставил на вид Купернику, что не уступлю выяс[нен]ных следствием и судебным решением фактов, продиктовал ему свой ультиматум (заметьте еще, что лежа в 40° жару). Куп[ерник] принес мне другой образчик мировой, с уступками... Я и на уступки пошел, требуя лишь главного, чтоб о плагиате и корыстной цели было упомянуто... Кроме этого, я еще послал к нему, Купернику, Марусю с письмом,— что без «плагиата» не желаю мириться; Куп[ерник] уверил дочь, что о «плагиате» есть и что по получении ответа той стороны он даст немедленно знать... и, ничего этого не сделавши, заключил мир, без «плагиата» и даже с исключением во вред мне прежнего текста... Обо всем этом я узнал лишь из газет...

Обнимаю Вас крепко.

Весь Ваш *Мих. Старицкий*

149. ДО І. М. КОНДРАТЬЄВА

[31 березня 1904 р.]

Глубокоуважаемый
Иван Максимович!

Убедительно прошу, сделайте зависящее от Вас распоряжение о составлении счета моим авторским за истекший месяц и пересылке мне причитающегося гонора[ра], ввиду наступающих святок, путем перевода депешей за мой счет.

Поздравляю Вас с предстоящими праздниками и желаю провесть их в полном благополучии. Доверенность Вам выслал и прошу защитить наши интересы: а то проскользнула было в газетах заметка, будто бы авторы уступают половину (!) своих доходов на истребление японцев!

Примите уверение в совершенном почтении и неизменной преданности. Вашего превосходительства покорный слуга

М. Старицкий

Примітки

Крім семи великих історичних романів і шести повістей, М. Старицький написав ще кілька десятків нарисів і оповідань та два автобіографічних твори: «Зо мли минулого» і «К биографии Н. В. Лысенка». Оповідання й нариси М. Старицького — це та частина його літературної спадщини, яка не тільки не відома сучасному читачеві, але й досі ще повністю не виявлена й не зібрана. Опубліковані в свій час в різних періодичних виданнях, переважно газетах, вони ніколи більше не передруковувались, їх обминула тогочасна критика, як, зрештою, і всю прозову творчість письменника, не знає цих творів в повному обсязі й сучасне радянське літературознавство.

У нашому виданні читач вперше одержує збірку двадцяти трьох оповідань і нарисів з тих, що вдалося розшукати на сьогодні. Одне оповідання («Честный») публікується, мабуть, вперше, бо першодрук його не знайдено.

З опублікованих раніше оповідань не ввійшли до нашого видання з різних причин ще одинадцять творів: «Вот совесть так совесть!» (1891), «Даровой хлеб» (1891), «Узник» (1893), «Свят-вечір» (1895), «Ангел» (1899), «Картинки встречи... Нового года» (1900), «Воскрес!» (1900), «Неудачница» (1901), «Никто — как бог» (1902), «Верба бье, не я бью» (1902), «Писанка» (1902) та оповідання «Беспокойная ночь» и «Пророк», першодрук яких ще не знайдено. У тій частині архіву М. П. Старицького, що зберігається у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, є ще неповні автографи-чернетки трьох оповідань: «Дружка», «Снег идет» і «Святая ночь в Киеве», публікації яких також не знайдено.

До творчого доробку М. Старицького треба додати ще сім оповідань, відомих поки що лише за назвами: письменник називає їх як закінчені в різних листах і замітках, але про них теж не відомо, де й коли вони були опубліковані. Це оповідання «Жандарм», «Жид», «Милиха», «Рябко», «Старости», «Приступ» і «Порядок»; деякі з них були написані українською мовою («Жандарм», «Милиха», «Старости»). Таким чином, зараз уже можна назвати, крім двох автобіографічних творів сорок шість оповідань і нарисів М. Старицького, частину яких, правда, треба ще розшукувати. Не виключена можливість, що при цих розшуках будуть знайдені й інші прозові твори М. Старицького, не відомі сьогодні навіть за назвами.

У різних матеріалах М. Старицького зустрічаються назви ще п'яти його оповідань: «Никола», «Доктор», «Сторож», «Протокол» та «Злодій», але це тільки інші назви опублікованих його творів

«Гаданье», «Благодетель», «Будочник», «Орыся» і «Поярмаркувалы».

М. Старицькому помилково приписуються прозові твори «Семен Палій» і «Бурелом», але перший з них належить В. О. О'Коннор-Вілінській, а другий — це «історичний роман кінця XVI в.» Л. М. Старицької; кілька початкових розділів його під назвою «Перед бурею» надруковано в журналі «Правда» 1893 р. (грудень) і 1894 р. (січень, лютий, березень). Правда, розгорнений план цього роману й характеристику дійових осіб склав М. Старицький.

Якщо всі свої романи й переважну більшість повістей М. Старицький написав на історичну тематику, то в оповіданнях він звертається до сучасної йому дійсності. За соціальною значимістю головне місце займають його оповідання з сільського життя. Письменник, показуючи побут села, не ідеалізує його, не захоплюється також побутовим етнографізмом, якого часом забагато є в його драматичних творах, а в дусі соціально-викривального реалізму створює яскраві картинки сучасного йому сільського життя. В ряді оповідань М. Старицький правдиво малює важке становище сільської бідноти, доведеної до крайнього зубожіння. В пореформеному селі письменник бачить з одного боку неуцтво, темряву, голод і злидні, безправ'я і безпорадність бідноти, а з другого — зловживання, сваволю й здирство поліції, сільського начальства, багатіїв і лихварів, які живуть і жиріють коштом трудящих («Остроумие урядника», «Вареники», «Орися», «Верба», «Дохторит», «Лихо», «Горькая правда»). В цих оповіданнях М. Старицький далекий від ідеалізації села й сільських порядків, на селі він бачить передусім поглиблення класової диференціації, хижацтво багатіїв, зростання куркульської верхівки.

Образам сільських глитаїв-хижаків М. Старицький протиставляє з великою симпатією змальовані образи трудящих: Степана Петренка («Будочник»), вдови Софронихи («Вареники»), Орисі в однойменному оповіданні, вдови Марти і її малолітньої дочки Прісі («Лихо»), кравця-єврея Чесного в однойменному оповіданні та ряд інших. Затуркана, пригноблена начальством і багатіями, біднота не втратила чесності, людяності, гідності. Правда, відчуваючи своє безправ'я, трудящі звичайно мовчки терплять своє лихо, але знаходяться серед них і протестанти, які з великим обуренням і гнівом виступають проти здирства і насильства. Такими, наприклад, є безіменний дід в нарисі «Остроумие урядника», парубок Лука в оповіданні «Верба», навіть десятилітня Пріся в оповіданні «Лихо».

Дещо окремо стоїть образ дрібного здемократизованого панка Гайдовського, «захисника нещасної сіроми», в автобіографічному оповіданні «Пан капитан». Він не визнає кріпосницького ладу, оголошує і самотужки веде боротьбу проти хижого кріпосника пана Заколовського, а разом з тим виступає і проти всіх панів, які «заграбували, занапастили Україну». Одержавши в цій боротьбі тимчасову перемогу, він із захопленням говорить: «Нема більшої радості на землі, як зламати хоч один раз гнобителя мого дорогого народу».

Оповідання М Старицького з сільського життя, навіть ті, де він не зачіпає соціальних взаємин («Понизив!», «Буланко», «Поярмаркувалы»), перейняті глибоким демократичним гуманізмом, щирою любов'ю до трудящих та ненавистю до експлуататорів.

Ці риси властиві також оповіданням «Горькая правда», «Копилка», «Неудачница», в яких М. Старицький показує становище трудової інтелігенції в капіталістичному суспільстві. В названих творах письменник змальовує злиденне життя добре відомого йому середовища — артистів і хористів мандрівних українських труп.

В інших оповіданнях М. Старицький створює образи буржуазної інтелігенції, яка прикривається гаслами служіння народу, а насправді чужа йому («Благодетель») або й просто ворожа. Такою, наприклад, є панночка Катря, яка вважає бідняків злодіями й доводить наймичку-підлітка Орисю до смерті («Орися»).

З життя буржуазної інтелігенції особливо цікаве сатиричне оповідання «Недоразумение» (1899 р.). З огляду на цензуру воно має спеціальний підзаголовок: «З галицького життя», але дійові особи його та обставини взяті з російської дійсності. Героєм оповідання є адвокат і початкуючий письменник Короп, який напідпитку галасливо критикує самодержавство, а на ділі швидко знаходить спільну мову з жандармами.

В оповіданні «Зарница» М. Старицький, наскільки це було можливо за тодішніх цензурних умов, показує життя й боротьбу революційно настроєної різночинної інтелігенції проти самодержавства в 70-х роках XIX ст. Тут письменникові довелося звертатися й до езопівської мови: в'язницю він називає «обитель», «лікарня», арешт — «хвороба» тощо. Оповідання написане в кінці першої половини 90-х років, коли революційне народництво було розгромлене царизмом, а масовий визвольний рух пролетаріату тільки-но починався. Підзаголовок твору — «Оповідання з безповоротного минулого» — говорить про симпатії М. Старицького до епохи 70-х років, багатої революційною боротьбою, в якій він сам також брав участь.

Тексти оповідань «Орися», «Лихо», «Копилка» і «Честный» підготував до друку В. Й. Петраківський, решту оповідань та нарисів — В. У. Олійник.

ОПОВІДАННЯ

Остроумие урядника

Вперше під псевдонімом *Подолянин* надруковано в газ. «Труд» (Київ), 1881, 27 березня, № 5 з такою приміткою редакції: «Маловероятное, но истинное происшествие, случившееся на днях в с. Конатковцах, Подольской губ., Могилевского уезда, 1-го стана».

Текст подається за першодруком.

Становий — становий пристав; в царській Росії на чолі повітової поліції стояв справник, повіт поділявся на кілька станів на чолі з становими приставами, стан в свою чергу поділявся на кілька дільниць, де старшим був урядник.

Талес — покривало, яке віруючі євреї накидають на себе під час молитви.

желтую бумажку... — тобто карбованця.

четырех злотых... — злотий — 15 копійок.

Над пропастью

Вперше надруковано в газ. «Московский листок», 1891, 22 жовтня, № 294.

Текст подається за першодруком.

...Такая пустая и глупая шутка — кінець вірша «И скучно, и грустно» М. Ю. Лермонтова.

Михайлов Михайло Ларіонович (1829—1865) — російський поет некрасовської школи, революційний діяч.

Гаданье

Вперше надруковано в газ. «Московский листок», 1891, 6 грудня, № 339. В листі-заяві від 17 листопада 1895 р. до Академії наук М. Старицький називає це оповідання «Никола».

Текст подається за першодруком.

...перед праздником святого Миколы... — 6 грудня ст. ст.

Благодетель

Вперше надруковано в газ. «Московский листок», 1892, 4 січня, № 4. В листі-заяві від 17 листопада 1895 р. до Академії наук М. Старицький називає це оповідання «Доктор».

Текст подається за першодруком.

Катехізис — тут: виклад основ своїх переконань.

...сунул синенькую... — тобто п'ять карбованців.

В вагоне

Вперше надруковано в газ. «Московский листок», 1892, 21 липня, № 201.

Текст подається за першодруком.

...эти кукуевцы. — Кукуївці — тобто іноземці; слово утворене від назви урочища Кукуй в Москві, де ще в XVI ст. була німецька слобода.

Будочник

Вперше надруковано в газ. «Московский листок». Прибавления, 1892, 23 серпня, № 234. В листі-заяві від 17 листопада 1895 р. до Академії наук М. Старицький називає це оповідання «Сторож».

Текст подається за першодруком.

Полішинель — блазень, комічний персонаж італійської, а потім французької народної комедії.

...улыбнулся Петренко — в першодруку помилково Петраш.

...ни трынки, ни орлянки... — азартні ігри в гроші.

Зерцало — тригранний стовпчик з двоглавим орлом зверху; на гранях стовпчика були вигравірувані три укази Петра І. Зерцала стояли на столі в кожній державній установі (волості, суді тощо).

«Понизив!»

Вперше надруковано в журн. «Зоря» (Львів), 1893, № 11. Як видно з листа-заяви від 17 листопада 1895 р. до Академії наук, М. Старицький надіслав був російський текст цього оповідання до редакції газети «Московский листок», але публікації його там не знайдено.

Текст подається за першодруком.

Вареники

Вперше надруковано в газ. «Московский листок». Прибавления, 1894, 27 лютого, № 9. Автограф-чернетка зберігається в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР (далі — ІЛ АН УРСР), ф. 15, № 23.

Текст з незначними скороченнями подається за першодруком.

Глазетовий — із парчі з шовковою основою і гладким золотим або срібним пітканням.

Буланко

В листі-заяві від 17 листопада 1895 р. до Академії наук М. Старицький називає оповідання «Буланый» як надруковане в газ. «Московский листок», але публікації його в цій газеті не знайдено. Вперше надруковано українською мовою в дитячому журналі «Дзвінок» (Львів), 1894, № 4. При публікації оповідання редакція журналу внесла деякі зміни в мову письменника.

Текст з незначними скороченнями подається за автографом без згаданих редакційних змін. Зберігається в ІЛ АН УРСР, ф. 76, № 70.

...дряпатись у причільні двері. — Тут недогляд; треба — «у затильні двері», оскільки в деяких селянських хатах до сіней було двоє вхідних дверей: спереду та іззатилля.

Одиночество

Вперше надруковано за підписом *М. С.* в газ. «Киевское слово», 1894, 1, 4 і 7 червня, №№ 2292, 2295, 2297.

Текст подається за першодруком.

Фуляр — шовкова хусточка до носа.

«Как хороши, как свежи были розы» — твір І. С. Тургенєва.

Стендаль (псевдонім Анрі Бейля) (1783—1842) — видатний французький письменник, представник критичного реалізму.

...папоротник дает цвет в Иванову ночь... — За народними повір'ями, папороть розцвітає один раз на рік, вночі під Івана Купала — 24 червня ст. ст.

«Нет, только тот, кто знал свиданья жажду» — романс П. І. Чайковського.

Розумовські — сини козака Розума з Чернігівщини Олексій (1709—1771) і Кирило (1728—1803). Олексій завдяки своєму голосу потрапив до придворної капели, став фаворитом цариці Єлизавети Петрівни. Кирило був останнім гетьманом Лівобережної України.

Познишев — герой «Крейцерової сонати» Л. Толстого.

Вагнер Ріхард (1813—1883) — німецький композитор, поет, драматург і теоретик мистецтва.

Трістан і Ізольда — герої однойменної драми Вагнера.

Лоенгрін — герой однойменної романтичної опери Вагнера.

«Пир во время чумы» — назва одного з драматичних творів («маленьких трагедій») О. С. Пушкіна.

Орися

Вперше надруковано в газ. «Московский листок». Прибавления, 1894, 25 вересня і 9 жовтня, №№ 37, 39. Вдруге — в журн. «По морю и суше» (Одеса), 1896, №№ 18—20. В листі-заяві від 17 листопада 1895 р. до Академії наук М. Старицький називає це оповідання

«Протокол». В кінці 1890 р. письменник, бажаючи видати деякі прозові твори окремим виданням, переклав це оповідання і ряд інших на українську мову. Автограф перекладу не зберігся.

Текст подається за машинописною копією перекладу, що зберігається в ІЛ АН УРСР, ф. 15, № 45.

...в невичищеній кофточці і з кучмою, що стирчить... — слова «і з кучмою» додано за текстом першодруку.

Каганець тріщить... — В машинописній копії було одно речення: «Каганець тріщить, страшні тіні мигкотять і тріщать». Виправлено за текстом першодруку.

Верба

Вперше надруковано в газ. «Московский листок», Прибавления, 1895, 26 березня, № 13. Через кілька років М. Старицький на цей же сюжет написав інше оповідання і під назвою «Верба бье — не я бью» надрукував його в газеті «Киевское слово», 1902, 6 і 7 квітня, №№ 5119, 5120. В новому варіанті дію оповідання перенесено в передмістя Києва, дійові особи названі іншими іменами, характеристику батька й дочки дещо змінено.

Текст подається за першодруком.

«Дохторит»

Вперше надруковано в газ. «Московский листок», Прибавления, 1897, 12 січня, № 3. Автограф-чернетка зберігається в ІЛ АН УРСР, ф. 15, № 29.

Текст подається за першодруком.

Запасний магазин — такі комори для зерна були по багатьох селах.

Зарница

Вперше надруковано в газ. «Киевское слово» 1898, 8 липня — 3 серпня, №№ 3768, 3784, 3787, 3791, 3794. Автографи оповідання зберігаються в ІЛ АН УРСР, ф. 15, №№ 32, 51, 52.

Цей твір М. Старицький написав не пізніше 1895 року, тоді ж надіслав його до газети «Московский листок» — принаймні в листі-заяві від 17 листопада 1895 р. до Академії наук він називає його як надруковане в цій газеті. Редакція «Московского листка» не поспішала друкувати оповідання, очевидно, з огляду на його зміст, і воно було надруковане лише 1900 р. під назвою «Похристосовались» і то із значними скороченнями («Московский листок», Прибавления, 1900, 16 квітня — 21 травня, №№ 16, 17, 21). Мабуть, на початку 1896 р. М. Старицький дав це оповідання В. Лесевичу, і воно через нього потрапило до редакції журналу «Русское богатство», але й там надруковане не було. Про долю цього оповідання в першій половині 1896 р. М. Старицький листувався з редакцією журналу і В. Г. Короленком. З тієї частини листування, що відома сьогодні, неясно, чому твір не був надрукований в журналі. (Див. лист до В. Короленка (№ 79) та примітки до листа).

Текст з незначними скороченнями подається за першодруком.

Смольний монастир — монастир у Петербурзі, заснований в середині XVIII ст., закритий 1787 р. При Смольному монастирі

1764 р. було створене «Воспитательное общество благородных девиц» — перший в Росії середній навчальний заклад для жінок.

Спенсер Герберт (1820—1903) — англійський філософ-позитивіст, соціолог і психолог. В своїх працях засуджував класову боротьбу. пропагував класовий мир між пролетаріатом і капіталістами.

Маркс Карл.— Твори Карла Маркса були відомі на Україні починаючи з 40-х рр. XIX ст., переклади їх на російську мову з'явилися в кінці 60-х рр.

«Азбука соціальних наук» — твір Ф. Лассаля, німецького дрібнобуржуазного соціаліста, політичного діяча.

...взяты в больницу...— тобто заарештовані; тут і в інших місцях цього оповідання М. Старицький змушений був так писати з огляду на цензуру.

...просветительская деятельность...— тобто революційна пропаганда серед народу.

Гаерство — блазнювання.

Бестужевські курси — вищі жіночі курси, перший жіночий університет в Росії, відкриті 1878 р. в Петербурзі й названі по імені першого їх керівника К. М. Бестужева-Рюміна. Більшість курсисток брали участь в революційному русі, за що багато з них було заслано на каторгу. 1919 р. Бестужевські курси об'єднано з Петроградським університетом.

Рахманський великдень — припадає на середу четвертого тижня після православного великодня. Назва утворилася від слова «рахмани» — легендарний народ, який нібито живе в далекій країні й не знає календаря, а про великдень довідується тоді, коли допливе кинена в річку шкаралупа з великодніх крашанок.

Пан капитан

Вперше надруковано в газ. «Киевское слово», 1898, 14—30 грудня, №№ 3927, 3935, 3939, 3941, вдруге — в альманасі «Иллюстрированный сборник Киевского литературно-артистического общества», К., 1900.

Текст подається за альманахом.

Підсусідки — селяни без грунту й садиби, наймали землю, за що платили грішми або натурою. До XVIII ст. підсусідки були вільними, пізніше стали кріпаками.

...«мужеского пола» крестьян.— Оскільки в часи кріпацтва оподаткуванню підлягали тільки чоловіки, то під час періодичних переписів («ревізій») на оподаткування жінок до списків не вносили.

Парамея — точніше перемія, церковна читанка, в якій зібрано розповіді про різні свята тощо.

Казак Мамай.— Ім'я «Мамай» не пов'язане з певною історичною особою, а є назвиськом козака (з XVIII ст.— гайдамаки) взагалі. Картини із зображенням козака Мамая в давнину були поширені в різних варіантах Основний сюжет: в центрі картини сидить Мамай, по-східному підібгавши ноги, палить люльку й грає на бандурі. З лівого боку — дерево, на якому розвішана його зброя, і кінь, прив'язаний до списа, встромленого в землю. Часом біля фігури Мамая були намальовані невеличкі постаті козаків, які чинять розправу над ворогами.

...служил в черноморцах, где так свежи были предания Сечи...— Востаннє Запорозька Січ була зруйнована 1775 р.; 1783 р. з частини

колишніх запорожців царський уряд утворив Чорноморське військо, переселене 1792 р. на Кубань.

...ждал... приезда временного отделения...— членів судової палати, яка відала також справами купівлі-продажу нерухомого майна й земель та вводила покупців у володіння.

Недоразумение

Вперше надруковано в газ. «Киевское слово», 1899, 5 січня, № 3947. Автограф-чернетка зберігається в ІЛ АН УРСР, ф. 15, № 43.

Текст подається за першодруком.

Ужас

Вперше надруковано в газ. «Киевское слово», 1899, 13 січня, № 3955 з такою приміткою редакції: «Прочитано было 10 января на малороссийском языке». Українською мовою з деякими цензурними скороченнями під назвою «Жах (Поема в прозі)» надруковано в журналі «Сяйво», квітень 1914 р. з поміткою редакції: «Ненадрукований твір М. П. Старицького».

Текст подається за першодруком.

Лихо

Вперше надруковано російською мовою під назвою «Горе (Картинка из жизни голодных)» в «Киевской газете», 1900, 3—7 березня, №№ 81, 82, 85, вдруге — українською мовою, в журн. «Киевская старина», 1901, травень і окремим відбитком. Машинопис оповідання зберігається в ІЛ АН УРСР, ф. 15, № 40.

Текст подається за публікацією в «Киевской старине».

Необычайная «голодна кутя»

Вперше надруковано в «Киевской газете», 1901, 5, 6 і 8 січня, № 5, 6, 8.

Текст з незначними скороченнями подається за першодруком.

Викупні свідоцтва.— Оскільки при проведенні реформи 1861 р. селяни не мали змоги відразу розплатитися з поміщиками за одержану землю, то царський уряд взяв на себе викупну операцію, примусивши селян сплатити поміщикові 20% викупної суми. Решту — 80% — уряд сплатив поміщикам частково грішми, частково процентними паперами, т. зв. викупними свідоцтвами.

Кірасири — солдати важкої кінноти, носили на грудях кірасу (панцир).

Горькая правда

Вперше надруковано в газ. «Киевское слово», 1901, 19, 20, 21 грудня, №№ 5013, 5014, 5015. Автограф-чернетка оповідання під назвою «Паутина» (перша назва — «За что»), датований «21 августа 1900 г.», зберігається в ІЛ АН УРСР, ф. 15, № 46.

Текст подається за першодруком.

Ніобея — за грецьким міфом, дружина царя Фів Амфіона, мати багатьох дітей (різні джерела називають різну кількість: від шести

синів і шести дочок до десяти і десяти), сміялась з богині Латони, яка мала тільки двох — Артеміду й Аполлона. Латона поскаржилась Аполлонові, і він повбивав стрілами усіх дітей Ніобеї. З горя Ніобея перетворилась на скелю, що ллє сльози. Звідси Ніобея — символ страждання й горя.

«Поярмаркувалы»

Вперше надруковано в газ. «Киевское слово», 1902, 21—23 травня, №№ 5162, 5163, 5164.

Текст подається за автографом.

...то на Семена...— восени, після 1 вересня.

...покупщиков-колиив.— Коліями називали торговців, що продавали м'ясо й сало.

Копилка

Вперше надруковано в газ. «Киевское слово», 1903, 6 січня, № 5389.

Текст з незначними скороченнями подається за першодруком.

...два империала.— Імперіал — золота монета вартістю в 15 крб.

...накупила картонажей — паперових прикрас.

Честный

Публікації твору не знайдено. Недатований автограф-чернетка зберігається в ІЛ АН УРСР, ф. 15, №№ 31, 61 та рукописна копія — ф. 15, № 62. Оповідання написане десь 1902 року, принаймні не пізніше лютого 1903 року, бо в листі від 12 березня 1903 р. до М. Ф. Комарова М. Старицький писав: «Маю ще я на російській мові одно оповідання на $1^1/_2$ арк. (про жида, і досить симпатичного)... Кажуть, що ув Одесі єсть журнал, то оповідання якраз до його підійде...»

Текст з незначними скороченнями подається за рукописною копією.

Трефне — страва, заборонена єврейськими релігійними законами.

П'ятикнижжя — перші п'ять книг біблії, авторство яких приписується Мойсеєві.

...англичане-христиане буров-христиан вырезывают...— Мова йде про англо-бурську війну 1899—1902 рр.

Тора — єврейська назва П'ятикнижжя.

Шабаш — субота, святковий день у віруючих євреїв.

Магальниця — вірніше «нагальниця» (від слова «нагально» — поспішно), тобто людина, змушена робити все поспішно, нагально.

Талмуд — збірник догматичних релігійно-етичних і правових положень іудаїзму.

Меж акимами — тобто поміж мужиками.

Месія — в іудейській релігії рятівник, який нібито має прийти від бога і встановити на землі «царство небесне».

Судний день, або йом-кіпур (день очищення) — одне з найголовніших свят іудейської релігії.

Гой — так євреї називали всіх неєвреїв.

...после Ирбитской...— тобто після Ірбітського ярмарку, що відбувався щороку з 1 лютого до 1 березня в м. Ірбіті; на ярмарку з місцевих товарів найбільше продавалось хутра.

Тфилим (тефіллін) — коробочки з т. зв. заповідями Мойсея, що їх віруючі євреї під час молитви прив'язують на лоб і на ліву руку.

...как Гамана — вірніше Амана. Як розповідає біблійна легенда, Аман — царедворець перського царя Ахашвероша (Ксеркса, V ст. до н. е.) — хотів знищити всіх євреїв у царстві. Цариця Есфір (Естер) поскаржилась Ксерксові, і він дозволив євреям убивати своїх ворогів. Аман, десять його синів та ще 75 тисяч ворогів єврейського народу були знищені. В пам'ять порятунку перських євреїв від знищення було встановлено свято пурім.

СТАТТІ

М. П. Старицькому належить кілька статей, написаних як передмови до власних перекладів. Крім поданих тут, він написав ще передмову до перекладу «Сербських народних дум і пісень», (1876), подану в примітках до першого тома цього видання (стор. 622—623).

В довіднику «Українські письменники. Біо-бібліографічний словник» (том III, К., 1963, стор. 172) М. Старицькому помилково приписується ще стаття «Дещо в справі народного язика», надрукована в журналі «Правда» (1874, № 2) під псевдонімом М. Нетяга. Але М[аксим] Нетяга — це псевдонім Осипа Барвінського, і названа стаття належить йому, як і переклад з сербської поеми «Косове поле» («Правда», 1873, №№ 4—13), теж помилково приписаний М. Старицькому в тому ж довіднику.

До статей додаємо доповідь М. Старицького на Першому всеросійському з'їзді сценічних діячів про становище українського театру в другій половині XIX ст.

[Передмова до перекладів поезій М. О. Некрасова]

Вперше надруковано в журн. «Правда», 1(13) травня 1874 р., № 6, стор. 241—242. Текст подається за цією публікацією. Це, по суті, уривок листа М. Старицького до редакції. На початку редакція додала такий коротенький вступ: «Подаючи ниньки дві поезії з Некрасова, поета вельми любленого в Росії, вважаємо потрібним помістити попереду і коротеньку звістку про сього поета, переслану нам самим перекладчиком, котрий обіцяє ще більше перекладів поезій Некрасова передати до «Правди».

...а четвертий — сатири.— Після цих слів редакція в дужках додала: «сі два подамо у будучому номері». Згадані тут переклади — «Марина, солдатська мати» і «Саме в розпалі жнив'яна годинонька» — надруковані в № 6, а «Чи часом блукаю у нічку беззору» та «Моральний чоловік» — у № 7. Ще в «Правді» того року надруковано такі переклади М. Старицького з Некрасова: поема «Мороз» (№№ 10, 11) і «Думи при вельможних ганках» (№ 12).

[Передмова до перекладу трагедії «Гамлет» В. Шекспіра]

Вперше надруковано в книзі «Гамлет, принц данський. Трагедія в V діях В. Шекспіра. Перекл. на українську мову М. П. Старицький. З прилогою музики М. Лисенка», К., 1882. Текст подається за цим виданням.

W. Hugo — Гюго Віктор-Марі (1802—1885) — великий французький письменник.

Heyse — Гейзе Пауль (1830—1914) — німецький письменник.

Paszkowskiego — Пашковського.

О. П. Косач — Косач Ольга Петрівна (псевдонім — Олена Пчілка) (1849—1930) — українська письменниця, мати Лесі Українки.

М. Ф. Комаров — Комаров Михайло Федорович (1844—1913) — відомий український бібліограф, етнограф, критик та історик літератури.

О. П. Цвітковська — Цвітковська Ольга Петрівна, дружина Ю. Ю. Цвітковського, ліберально-буржуазного громадського діяча, члена Старої громади.

А. П. Гешвенд — сестра О. П. Цвітковської, дружина київського архітектора Гешвенда. За походженням обидві сестри були англійки.

В настоящее время П. А. Кулиш... приступил к печатанию... всего Шекспира. — Перший том творів В. Шекспіра в перекладі П. Куліша вийшов у Львові 1882 р., а його ж переклад «Гамлета» — теж у Львові, 1899 р., з передмовою І. Франка.

На родине Т. Г. Шевченка

Вперше надруковано в київській газ. «Заря», 1882, 26 лютого, № 46, без підпису. Належність статті М. П. Старицькому встановлена упорядниками довідника «Т. Г. Шевченко. Бібліографія літератури про життя і творчість», т. І, К., 1963, стор. 71.

Текст подається за першодруком.

Село Кирилловка... — тепер село Шевченкове, Звенигородського району, Черкаської області (перейменовано 1929 р.).

...племянник поэта — Прокопий Шевченко — Прокіп Шевченко (1854—?), син старшого брата Т. Шевченка Микити (1811—1877 чи 1878).

Отец поэта, Григорий Шевченко... женился в селе Моринцах. — Григорій Іванович Шевченко (1781—1825) одружився 1802 р. з Катериною Якимівною Бойко з с. Моринці.

...по просьбе жены поселился на ее «батьківщині», в Моринцах. — Батьки Т. Г. Шевченка переїхали з Кирилівки до Моринців десь на початку літа 1810 р., а повернулися до Кирилівки 1815 р.

Лет через пять умерла его жена, и он женился на вдове... Мати Т. Г. Шевченка померла 20 серпня 1823 р., батько — 7 жовтня того ж року одружився вдруге на вдові Оксані Терещенко, матері трьох дітей.

У Григория Шевченка было три сына от первой жены... и три дочери... — З першою дружиною у Григорія Шевченка були діти: Катерина (1804—?), Марія (1808—1810), Микита (1811—?), Тарас (1814—1861), Ярина (1816—?), Марія (1819—1842), Йосип (1821—?), та з другою дружиною дочка Марія (1824—1825).

Никита умер вскоре после Тараса, а Йосиф умер во время последней войны в Турции, в погонцах. — Війна Росії з Туреччиною відбувалася 1877—1878 рр., отже, в цей час і помер другий брат Йосип, який під час війни був у погонцях, тобто хурманом в обозі, що підвозив до армії харчі й боєприпаси.

...во время последних приездов в родное село... — Т. Г. Шевченко востаннє був у Кирилівці 28—30 червня і 8 липня 1859 р.

...в Корсуни, у родственника своего, тоже Шевченка — у Вар-

фоломія Григоровича Шевченка (1821—1892), з сестрою Варфоломія був одружений Йосип, молодший брат Т. Г. Шевченка.

...село большое, а школа одна, и притом, говорят, плохая.— Зараз у с. Шевченковому, колишній Кирилівці, є три школи, технікум механізації сільського господарства, лікарня, аптека, дитячі ясла, Літературно-меморіальний музей Т. Г. Шевченка, побудований 1938 р.

Доповідь на Першому Всеросійському з'їзді сценічних діячів

На з'їзді М. П. Старицький виступив з доповіддю 15 березня 1897 року. Доповідь надрукована в книзі: «Труды Первого всероссийского съезда сценических деятелей», частина друга, М., 1898, стор. 260—262. Текст подається за цим виданням.

Очевидно, доповідь М. Старицького була значно ширша від опублікованого тексту, навіть дещо відмінна. В протоколі засідання з'їзду подано такий виклад його доповіді: «М. П. Старицкий, указав в своем докладе на те стеснения, которыми обставлена малорусская сцена и о которых заявляли вышеупомянутые доклады (тобто чернігівської міської управи та М. К. Заньковецької.— *В. О.*), посвящает остальную часть своего доклада доказательствам мысли, что «запрещение и стеснение малорусского языка, малорусской народной драмы и педагогики основаны на совершенно ложных началах, что такие стеснительные мероприятия вредны для всей России, нанося народу материальный и духовно-нравственный ущерб, не оправдываемый ни государственными потребностями, ни высшей справедливостью». М. П. Старицкий просит съезд ходатайствовать о снятии запрещений с южнорусской народной драмы и слова, «чтобы оно могло высказать свою правду и внести ее в общую сокровищницу русского духа». Собрание выразило докладчику свое сочувствие дружными аплодисментами» (там же, стор. 198—199).

...были даже изъяты из репертуара... (Кропивницкого, например, «Доки сонце зійде» и «Глитай»).— Драма М. Л. Кропивницького «Доки сонце зійде, роса очі виїсть» дозволена до вистави наприкінці 1882 року, заборонена була 24 липня 1891 р., вдруге дозволена до вистави після переробки і випущення ряду соціально значимих місць лише 3 лютого 1900 р.; драма «Глитай, або ж Павук» — дозволена 15 грудня 1882 р., заборонена у жовтні 1894, після значних переробок дозволена до вистави 3 лютого 1900 р.

Мне, например, были запрещены... «Богдан Хмельницький» и «Розбите серце».— Драма «Богдан Хмельницький» вперше заборонена 1887 р., після довгих митарств у цензурі дозволена до вистави тільки 1896 р., драма «Розбите серце» заборонена 1892 р., опублікована вперше в цьому виданні, т. III.

Кропивницкому... была запрещена «Титарівна».— Драма «Титарівна», написана за однойменною поемою Т. Г. Шевченка, вперше заборонена в січні 1892 р., потім іще заборонялась під різними іншими назвами. Дозволена під назвою «Глум і помста» в лютому 1896 р.

Карому — «Роман Волох», «Сербин», «Що було, те мохом поросло».— Драма «Сербин» (інша назва — «Лиха іскра поле спалить і сама щезне») І. К. Карпенка-Карого написана 1896 р., «Роман Волох» — очевидно, інша назва тієї ж п'єси, поданої до цензури (подавалась ще і під назвою «Роман і Ялина»); «Що було, те мохом поросло» — інша назва «Підпанки», написана 1887 р., вперше

під назвою «Не так пани, як підпанки» заборонена до вистави 3 липня 1887 р., потім неодноразово заборонялась під різними іншими назвами («Перед світом», «Сільська честь», «Прислужники» та ін.) і дозволена лише 1904 р.

АВТОБІОГРАФІЧНІ ТВОРИ

Біографія М. П. Старицького досі не написана, його різноманітна й багатогранна письменницька, громадська і театральна діяльність докладно не вивчена. В біографічних матеріалах, що зустрічаються в різних статтях і монографіях про нього, знаходимо багато плутанини й розбіжностей як в хронології тих чи інших фактів з життя письменника, так і в тому, що ряд фактів подається без належного обгрунтування.

Коли 1903 року українська громадськість готувалася відзначити 35-річчя композиторської й громадсько-музичної діяльності М. В. Лисенка, редакція журналу «Киевская старина» звернулася до М. П. Старицького, як до його найближчого друга, з проханням написати спогади про композитора, а потім також про своє життя. І от на схилі літ, тяжко хворий, переобтяжений іншою літературною працею, що забезпечувала йому кошти на прожиття, М. П. Старицький пише спогади про М. В. Лисенка, а потім розпочинає писати докладну автобіографію, але обриває її на спогадах про дитячі роки.

Як перші, так і другі спогади, звичайно, не дають повного уявлення про життя й діяльність їх автора,— громадянина і письменника,— проте вони є цінним біографічним матеріалом. Автобіографічні матеріали М. П. Старицького знаходимо також у деяких його прозових творах, зокрема в оповіданні «Пан капитан» та в деяких листах, наприклад, в листі до Івана Франка (початок червня 1902 р.) та інших.

У спогадах М. П. Старицького, як і взагалі у спогадах, писаних переважно по пам'яті, трапляються різні неточності, анахронізми, часом фактичні помилки, тому беззастережно покладатись на них не можна. Крім того, в цих спогадах переважно відсутня хронологізація подій і фактів. В коментарях, по можливості, зроблено потрібні уточнення й виправлення, встановлено датування (за старим стилем).

«Зо мли минулого»

Ці спогади написані, очевидно, після «К биографии Н. В. Лысенка», але подаємо їх раніше, щоб зберегти послідовність розповіді, оскільки вони охоплюють більш ранній період життя письменника.

Недатований автограф та машинописна копія, теж недатована, зберігаються в ІЛ АН УРСР, ф. 15, відповідно №№ 34, 35. Вперше надруковано в журн. «Нова громада», К., 1906, № 8, стор. 60—80. Текст подається за цією публікацією.

Директорія — уряд великої буржуазії, найвища державна колегія, що прийшла до влади у Франції 27 жовтня 1795 р., після падіння якобінців і Робесп'єра. Проіснувала до 9 листопада 1799 р.

...бо були литваками — литваками чи литвинами на Україні часто називали білорусів.

Бердичівський календар — У XVIII ст. місто Бердичів було осередком католицької пропаганди на Правобережній Україні. 1758 р.

католицький орден «босих кармелітів» заснував тут друкарню, в якій друкували т. зв. «Бердичівські календарі».

...по-гражданському букви...— Так зване «гражданське письмо», яким ми зараз користуємося, запроваджене 1708 р. Петром І замість давнього старослов'янського.

Часослов — у православній церкві збірник молитов для щоденних церковних служб.

Титло — особливий значок над словом, який у старослов'янському письмі означав скорочення.

Апостол — церковна книга, до якої входили т. зв. «Діяння апостолів» та «Послання апостолів».

Льнування — давній звичай попадей та дячих їздити по селу й випрохувати в селян різні подарунки — курей, полотно, вовну тощо.

...горщик молочної каші розіб'ємо...— давній звичай на Україні: після закінчення навчання учні приносили вчителеві-дякові горщик каші, кашу гуртом з'їдали, а горщик розбивали.

Велика седмиця — останній тиждень посту перед великоднем.

Шарварок — гуртове лагодження доріг, гребель, мостів тощо.

Сабур — проносне.

Гривня — 3 копійки.

...цар... (Миколай), звернув уже увагу...— Микола І, наляканий селянськими заворушеннями, змушений був 1842 р видати «Положення про зобов'язаних селян» за яким поміщики могли переводити селян з кріпаків у «зобов'язані». Ці «зобов'язані» селяни вже не були власністю пана, і він не міг продати їх, але вони так само мусили відробляти панщину або сплачувати гроші. Другим таким заходом Миколи І було запровадження у 1847—1848 рр. «Інвентарних правил» на Правобережній Україні, які нібито мали обмежити панщизняні обов'язки кріпаків. Обидва заходи нітрохи не поліпшили становища кріпаків і не обмежили сваволі поміщиків.

К биографии Н. В. Лысенка

Вперше надруковано в журн. «Киевская старина», 1903, грудень, стор. 441—482 та окремим відбитком — Київ, 1904.

Текст подається за виданням 1904 р.

Новогеоргіївськ — тепер місто Кіровоградської області.

Мать моя, потеряв родителей и детей...— В багатому автобіографічними матеріалами оповіданні «Пан капитан» (1898) М. Старицький говорить: «Над нашей семьей перешло черной полосой тяжелое горе — один за другим скончались в короткое время отец мой, дед, сестра и два брата». Пізніше померла й бабуня по матері. Про смерть батька, двох братів, сестри і матері говорить і Українець (М. П. Драгоманов) у своїй статті «Михайло Старицький» (журн. «Зоря», Львів, 1892, № 3, стор. 56).

...Лысенко был отвезен в Киев...— М. В. Лисенко почав учитися в Києві з осені 1852 р.

Фундуклеївська вулиця — тепер вул. Леніна

Липки — до революції аристократичний район Києва.

...в IV класс 2-й харьковской гимназии...— До Харківської гімназії М. В. Лисенко вступив 1855 р. і закінчив її 1859 р. (гімназія тоді мала сім класів, восьмикласні гімназії запроваджено з 1875 р., хоч фактично вони існували з 1871 р.).

«Dame blanche» — одна з найпопулярніших опер французького композитора Франсуа Андріена Буальдьє (1775—1834), який 1804—1811 рр. жив у Росії й був придворним капельмейстером.

Я стал круглым сиротой, будучи в третьем классе гимназии...— До третього класу гімназії М. П. Старицький перейшов весною 1853 р., отже, його мати Настасія Захарівна померла десь в цей час. Точних відомостей про роки смерті батька й матері Старицького не розшукано.

Контський Антон (1817—1899) — польський піаніст, педагог і композитор, вчився у Москві, довгий час жив у Росії.

...достали... запрещенные стихотворения Шевченка...— Вірші й поеми Т. Г. Шевченка, які не дозволяла до друку цензура, поширювались у рукописних списках.

...первый напечатанный «Кобзарь» Шевченка — тобто видання 1840 р.

Борисяк Никифор Дмитрович (1817—1882) — геолог, професор Харківського університету.

Лисенко Андрій Віталійович (1845—1910) — молодший брат М. В. Лисенка.

Польдекок — Поль де Кок (1794—1871) — французький письменник, романи якого з життя середньої й дрібної буржуазії першої половини XIX ст. були дуже популярні в Росії.

«Отечественные записки» — російський літературно-політичний щомісячний журнал, виходив у Петербурзі 1818—1884 рр.; в 40-х рр., коли тут співробітничав В. Г. Бєлінський, журнал став найдемократичнішим друкованим органом Росії.

«Современник» — російський літературний і громадсько-політичний журнал, заснований 1836 р. О. С. Пушкіним, виходив у Петербурзі. В другій половині 50-х рр. став органом революційних демократів, ідейним натхненником революційного руху. Заборонений царським урядом 1866 р.

«Журнал для юношества» — щомісячний журнал, виходив у 1860—1861 рр. у Петербурзі.

В это время Севастопольская война была окончена...— Йдеться про Кримську війну 1853—1856 рр. У березні 1865 р. був підписаний Паризький мир.

...гостиниц с машинами...— тобто з катеринками.

«Сватання» — «Сватання на Гончарівці» Г. Ф. Квітки-Основ'яненка.

Стеблін-Каменський Степан Павлович (1814—1885) — учитель Полтавської гімназії, автор ряду статей про І. П. Котляревського.

Стронін Олександр Іванович (1827—1889) — син кріпака, закінчив філологічний факультет Київського університету, учителював у Ніжинській і Полтавській гімназіях.

В VI классе я жил уже...— В першодруку і в окремому відбитку помилково: «В IV классе...» У шостому класі М. Старицький учився в 1856—1857 навчальному році.

...«Записки о Южной Руси» Кулиша и его же исторический роман «Чорну раду».— «Записки о Южной Руси», издал П. Куліш, т. I, СПб., 1856; його ж роман «Чорна рада, хроніка 1663 року» українською мовою вийшов у Петербурзі 1857 р. і того ж року був надрукований російською мовою в журн. «Русская беседа», кн. 6 і 7.

«Наймичка» — поема Т. Г. Шевченка, вперше надрукована в «Записках о Южной Руси» П. Куліша, т. II, 1857 р., без підпису автора.

«Кавказ» — в закордонному виданні, забороненому в Росії: «Новые стихотворения Пушкина и Шевченки», Лейпціг, 1859 р.

Єдлічка Алоїз Вячеславович (1819—1894) — чех за походженням, український композитор, педагог і музикознавець, з кінця 40-х рр. XIX ст. викладав співи й фортепіанну гру в Полтавському інституті шляхетних дівчат.

...Созонт, дядька Лысенка...— Созонт Дерев'янко — кріпак-лакей, що доглядав М. В. Лисенка під час навчання в Харківській гімназії та Харківському і Київському університетах. Про нього сам М. В. Лисенко говорив: «Хочете уявити собі мого Созонта, перечитайте «Капітанську дочку» Пушкіна: Созонт мій жива копія вірного Савельїча, правда, на український лад...»

Дюковский театр — належав харківському антрепренеру Миколі Миколайовичу Дюкову.

...появились 2-й том «Записок о Южной Руси» и рассказы Марка Вовчка...— «Записки о Южной Руси», издал П. Куліш, т. II, СПб., 1857; Марко Вовчок, «Народні оповідання», СПб., 1857.

...Лысенко... уже в синем воротнике...— М. В. Лисенко закінчив Харківську гімназію 1859 р. і восени того ж року вступив до Харківського університету на природничий факультет.

Падение «крепацтва» уже было державной волей начертано, ждали указа...— У березні — жовтні 1858 р. були створені дворянські комітети по підготовці реформи — скасування кріпацтва.

Деконори — правильніше — О'Коннори Тут мова йде про Олександра Олександровича О'Коннора, поміщика з с. Миколаївки, батька першої дружини М. В. Лисенка Ольги Олександрівни.

...мы с Николаем приехали туда авангардом...— Це було наприкінці літа 1860 р.

Бреше, негідник! Цей університет наш, бо перенесений з Вільна! — Тут помилка: не з Вільна, а з Крем'янця. Після придушення польського повстання (1830—1831) Волинський ліцей з Крем'янця було переведено до Києва і реорганізовано в університет, урочисте відкриття якого відбулось 15 липня 1834 р.

Кирило-Мефодіївське братство — таємна політична організація, виникла в грудні 1845 — січні 1846 рр. у Києві, проіснувала до березня 1847 р., розгромлена царським урядом. До цієї організації належали М. Костомаров, В. Білозерський, П. Куліш, О. Маркович та ін., ліве її крило очолював Т. Шевченко.

Максимович Михайло Олександрович (1804—1873) — професор ботаніки Московського університету, в 1834—1835 рр. був ректором, а до 1841 р.— і професором російської словесності Київського університету. Видав три збірки українських народних пісень, альманахи «Денница», «Киевлянин» та журнал «Украинец».

Костомаров Микола Іванович (1817—1885) — український письменник, етнограф та історик ліберально-буржуазного напряму.

...в воскресных и других школах...— Недільні школи, спочатку чоловічі, а потім і жіночі, для навчання грамоти майстрів, ремісників, панських слуг тощо почали створюватися у Києві з жовтня 1859 р. Такі ж школи були й по інших містах. Урядовим наказом від 12 червня 1862 р. всі недільні школи було закрито.

Юго-Западный край — так у XIX — на поч. XX ст. називалась Правобережна Україна: Київська, Подільська й Волинська губернії.

...депутат от польського кола — тобто від об'єднання студентів-поляків, яких чимало було в той час у Київському університеті.

«Основа» — перший український суспільно-політичний і літературно-мистецький журнал ліберально-буржуазного напряму. Виходив 1861—1862 рр. у Петербурзі. В «Основі» вперше надруковано багато творів Т. Шевченка та ряду інших українських письменників.

...статью Костомарова «Две русские народности»... — Ця стаття надрукована в журн. «Основа», 1861, № 3.

Поздно осенью мы возвратились в Киев, бурливший уже подготовлявшимся польским повстанием. — Очевидно, після попереднього відвідання Києва і знайомства з університетом Старицький і Лисенко їздили до Харкова клопотатись про переведення до Київського університету, куди вони офіційно зараховані 16 грудня 1860 р.

Уставні грамоти — акти, що їх складали поміщики після реформи 1861 р. В уставних грамотах визначалась кількість землі, що переходила до селян, її межі, вартість тощо.

...у новых родных Старицких... — На Полтавщині жило ще кілька родин Старицьких, зокрема в самій Полтаві, у Золотоноші та ін.

Я целый год не был в Киеве... — Хронологія у спогадах М. Старицького не точна: з попереднього виходить, що в Києві він не був два роки.

Стороженко Олекса Петрович (1805—1874) — український письменник; його п'єса «Гаркуша. Драматичні картини на три дії» була надрукована в журн. «Основа», 1862, № 8.

Шпаргал помечен: «Лебехивка 1864 року». — Уривок цієї опери надруковано в журн. «Сяйво», 1914, № 4, стор. 114.

Клавір — перекладення оркестрової п'єси, опери і т. д. для фортепіано.

У Деконоров старшая дочь Оля... — Ольга Олександрівна О'Коннор, згодом перша дружина М. В. Лисенка.

Цензура не стала пропускать ни одной книжки на малорусском языке... — Хоч за розпорядженням міністра внутрішніх справ Валуєва (липень 1863 р.) видання художньої літератури українською мовою не заборонялось, але під різними приводами цензура все ж перешкоджала друкові.

Когда я на будущую зиму ...возвратился в Киев... Лысенко держал тогда окончательный экзамен... — М. В. Лисенко закінчив Київський університет 1 червня 1864 р., в травні 1865 р. подав дисертацію, отже, М. Старицький повернувся до Києва на початку осені 1864 р.

...во 2-м концерте, состоявшемся через полгода, уже допущены были 2—3 песенки народные. — Важко сказати, коли відбувся концерт, про який мова йшла попереду. Відомо, що 26 лютого 1864 р., ще до повернення М. Старицького до Києва, студенти університету влаштували вечір на відзнаку третьої річниці з дня смерті Т. Шевченка. Тоді поставлені були п'єси «Наталка Полтавка» І. Котляревського, «Простак» В. Гоголя та два дивертисменти — «Чумацький табір» і «Вулиця», що складалися з сольних співів, дуетів і хорових українських народних пісень. 16 грудня того ж року студенти університету на сцені міського театру поставили «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ'яненка, «Тяжбу» М Гоголя, «Кум-мірошник, або Сатана в бочці» В. Дмитренка та дивертисмент «Гульбище» з українськими народними піснями.

...с... семьей Линдфорсов...— сестри Марія Федорівна (1844—1876), Софія Федорівна (1856—1940), їх брат Олександр Федорович, його дружина Ольга, дочка викладача англійської мови в Київському університеті Гревса.

Вскоре мы познакомились с С-вым...— Мова йде про Євгенія Васильовича Судовщикова, викладача приватного пансіону, автора граматики української мови. Як політично неблагонадійного, Судовщикова було заслано в Костромську губернію, де він і помер 1867 р.

Шуман Роберт (1810—1856) — видатний німецький композитор.

В начале сентября мы и выпроводили Лысенка в Лейпциг.— М. Лисенко виїхав до Лейпціга на початку вересня 1867 р., закінчив навчання в Лейпцігській консерваторії 1869 р.

Рейнеке Карл-Генріх (1824—1910) — німецький композитор, піаніст-віртуоз, диригент, професор Лейпцігської консерваторії.

Мошелес Ігнац (1794—1870) — піаніст і композитор, професор Лейпцігської консерваторії.

...он был вызван в Прагу...— Таке запрошення М. Лисенко одержав через свого приятеля М. Білозерського наприкінці 1867 р.

Слав'янський-Агренєв Дмитро Олександрович (1834—1908) — російський співак і хоровий диригент, організатор хорових концертів, пропагандист російських і українських пісень за кордоном.

...в «Конвісткем салю» — в залі «Умелецької беседи» (Празькій філармонії) М. Лисенко виступав у концерті 26 грудня 1867 р.

Контрапункт — наука про гармонійне об'єднання голосів для одної мелодії; гармонійне об'єднання мелодій.

Фуга — музичний твір, де голосові партії одна за одною повторюють основний мотив, підносячи або понижуючи голос.

Ріхтер Ернест-Фрідріх-Едуард (1808—1879) — німецький музичний теоретик, органіст і капельмейстер.

Паперітц Веньямін-Роберт (1826—1903) — доктор філософії, викладач гармонії й контрапункту в Лейпцігській консерваторії.

Каденція — такт, розмір.

Пфеніг Роберт Августович (1823—1898) — викладач співу в Київському інституті шляхетних дівчат.

Кологривєв Василь Олександрович (1827—1875) — громадський діяч, ініціатор і організатор поширення музичної освіти в Росії, з початку 70-х рр. жив у Києві, сприяв матеріальному забезпеченню Київської музичної школи при Російському музичному товаристві.

...многие возвратились из дальних странствий...— тобто із заслання.

...дочери... держали тогда детскую школу.— Школу для дітей 5—10-літнього віку сестри Ліндфорс відкрили 15 вересня 1871 р. Це був перший дитячий садок у Києві.

«Чорноморський побит» — «Чорноморський побит на Кубані між 1794 і 1796 роками» Я. Кухаренка. П'єса перероблена М. Старицьким і під назвою «Чорноморці» вперше поставлена на домашній сцені в грудні 1872 р.

...назвав ее «Різдвяною ніччю».— Оперета «Різдвяна ніч» була поставлена на домашній сцені у сестер Ліндфорс 15 і 17 лютого 1873 р.

...Лысенко, посетив славянские земли...— Влітку 1873 р. М Лисенко зробив подорож до Сербії (Югославії) та Гуцульщини.

Марковський Леонтій Іванович — знайомий Старицьких і Лисенків, учасник спектаклів 1872 і 1873 рр.; в будинку Марковських містився дитячий садок сестер Ліндфорс.

Чубинський Павло Платонович (1839—1884) — український етнограф буржуазно-демократичного напряму, статистик, професор Київського університету, один із організаторів Південно-західного відділу імператорського Географічного товариства в Києві.

Драгоманов Михайло Петрович (1841—1895) — відомий український історик, критик, публіцист, фольклорист, громадський діяч. Член Київської громади, професор Київського університету, з 1875 року — політичний емігрант, жив спочатку в Женеві, а потім був професором Софійського університету в Болгарії.

Русов — Вакула.— Про виконавця ролі Вакули відомості розбіжні: Олена Пчілка в своїх спогадах говорить, що Вакулу грав Олександр Олександрович Русов (1847—1915), згодом чоловік С. Ф. Ліндфорс, а С. Ф. Русова (Ліндфорс) — що Вакулу грав Микола Русов, брат Олександра.

Матвєєв Антон Олександрович — тоді студент університету.

Габель Станіслав Іванович (1849—1924) — тоді артист міського театру в Києві, згодом професор співу та інспектор Петербурзької консерваторії.

Опера прошла блестяще...— Вистави «Різдвяної ночі» відбулися в кінці січня 1874 р.

Корейво Болеслав Вікентійович — видавець і власник нотно-книжкової крамниці в Києві.

...уехал Николай в Петербург.— М. Лисенко виїхав до Петербурга в середині серпня 1874 і повернувся влітку 1876 р.

...такое воспрещение скоро наступило...— Йдеться про т. зв. Емський указ 18 травня 1876 р. В пункті третьому цього указу сказано: «Заборонити також різні сценічні вистави на малоросійському наріччі, а також друкування на ньому текстів до музичних нот». Цей указ був таємним. М. П. Старицький помиляється, коли говорить, що про майбутню заборону було відомо ще 1874 року; в дійсності такі чутки з'явились лише з початку 1876 року.

...с перспективой перехода на императорскую сцену...— Імператорськими називались театри, що були на державному утриманні.

Лысенко возвратился в Киев в 1878 г.— Тут, очевидно, друкарська помилка: треба 1876 р. Вище сам Старицький говорить, що в Петербурзі Лисенко пробув два роки.

Но в 1880 г. ...отменяется тяготевшее над украинским языком запрещение...— Рік названо помилково. В жовтні 1881 р. усім губернаторам було надіслано таємне роз'яснення Емського указу 1876 року. Пункт третій пояснено так: «...драматичні п'єси, сцени і куплети на малоросійському наріччі, дозволені до постановки драматичною цензурою раніше, а також ті, що будуть дозволені Головним управлінням в справах друку, можуть виконуватися на сцені, однак з особливого на те кожного разу дозволу генерал-губернатора, а в місцевостях, не підлеглих генерал-губернаторам,— з дозволу губернаторів...» Разом з тим зазначалось: «Зовсім заборонити влаштування спеціально малоросійського театру і формування труп для виконання п'єс виключно на малоросійському наріччі».

В 1881 году он приезжает ко мне в село, и мы снова затеваем оперу... «Тарас Бульба».— Тут помилка пам'яті: в листі від 23 грудня

1880 р. М. Лисенко писав М. Драгоманову, що М. Старицький «вирихтував чудесне лібретто 5-акт[ної] опери «Тарас Бульба».

...к нему присоединяется и Гейне в переводе Леси Украинки...— 1892 р. у Львові вийшла збірка «Книга пісень» Г. Гейне в перекладі Лесі Українки і Максима Стависького. Пізніше Леся Українка переклала ще ряд віршів Гейне.

...шестимесячный траур после кончины имп. Александра II...— Олександр II був убитий народовольцями 1 березня 1881 р.

...составилась уже профессиональная украинская труппа под управлением Ашкаренка...— Російська трупа Г. Ашкаренка розпочала українські вистави в Кременчуці у грудні 1881 р., з 15 по 22 грудня грала в Харкові, а з 10 січня 1882 року почала українські вистави в Києві.

...стал писать... комическую оперу «Утоплену» — «Утоплена, або Русалчина ніч», оперета на 3 дії, 4 картини, написана 1881 р. (Див. прим. у 2-му томі цього видання, стор. 601).

Эта опера была мною поставлена лишь тогда, когда я стал во главе украинской труппы...— Українська трупа під керівництвом М. Старицького розпочала свою діяльність 15 серпня 1883 р. в Одесі. «Утоплена» М. Старицького поставлена вперше 26 жовтня 1884 року в Харкові.

С появлением... товарищества Кропивницкого...— Українська трупа, організована М. Л. Кропивницьким, розпочала свою діяльність з кінця жовтня 1882 р.

...занимался ...в институте...— в інституті шляхетних дівчат.

...написал для детей три оперы...— «Коза-дереза» (1888), «Пан Коцький» (1891), «Зима і Весна» (1892). Лібретто до цих опер написала Дніпрова Чайка (псевдонім Людмили Олексіївни Василевської, 1861—1927).

«Чарівний сон» — одноактний «святковий жарт», написаний М. Старицьким 1899 р.

«Остання ніч» — драма М. Старицького, написана 1899 р.

Альтані Іполит Карлович (1846—1919) — російський диригент і хормейстер, в 1867—1882 рр. був диригентом і хормейстером опери в Києві, а з 1882 р.— в Москві.

Барцал Антон Іванович (1847—1927) — чех за походженням, оперний артист, режисер, в Росії жив з 1870 р., працював у Києві, Одесі й Петербурзі, 1878—1903 рр.— у Великому театрі (Москва), а з 1898 по 1921 р. був професором Московської консерваторії.

...приезжает в Киев покойный Чайковский..— П. І. Чайковський приїхав до Києва в грудні 1891 р. на запрошення київського відділу Російського музичного товариства.

ЛИСТИ

М. Старицький — поет, перекладач, драматург, прозаїк, видавець альманахів, театральний і громадський діяч — листувався з багатьма письменниками, редакторами різних періодичних видань, артистами, громадськими й театральними діячами. На жаль, не всі його листи збереглися до наших днів, але й ті, що збереглися, повністю ще не виявлені й не зібрані. Так, наприклад, досі не знайдено листів М. Старицького до М. Кропивницького, І. Карпенка-Карого, І. Нечуя-Левицького, В. О'Коннор-Вілінської, М. Лисенка, Л. Яновської, Л. Кобилянського, О. Пипіна та багатьох інших. Листи до

М. Садовського, М. Заньковецької, І. Франка, В. Короленка, Панаса Мирного, П. Куліша та інших діячів культури, літератури й мистецтва виявлені не всі.

З виявлених досі листів М. Старицького в різний час були надруковані лише листи до М. Драгоманова (за кордоном), Панаса Мирного, М. Коцюбинського, І. Франка (один лист), П. Зеленого, П. Куліша та ще два-три листи. Переважна ж більшість листів, що зберігаються в різних архівосховищах Радянського Союзу, досі не опублікована.

У нашому виданні вперше публікуються майже всі відомі на сьогодні листи М. Старицького, за винятком тих, які або не становлять літературно-громадського інтересу, або в різних варіантах повторюють перипетії його конфлікту з Б. Грінченком.

Листи подаються в хронологічному порядку, за загальною нумерацією.

За винятком одного листа до І. Нечуя-Левицького, кількох до М. Комарова та М. Садовського, всі листи друкуються за автографами або першодруками (де автограф не зберігся) мовою оригіналу, з дотриманням норм сучасного правопису, але із збереженням лексичних особливостей; пунктуація подекуди виправлена. Скорочення в оригіналах розкриті й подані в квадратних дужках. Авторські дати в листах, якщо вони були на початку листа, перенесені в лівий бік, з правого боку перед текстом подається редакторська дата: число, місяць, рік (за новим стилем). Всі недатовані листи мають редакторську дату, обумовлену в примітках

Незначні скорочення тексту в кількох листах позначено крапками в квадратних дужках, так само позначено непрочитані через нерозбірливість чи пошкодження тексту окремі слова (про це в кожному випадку сказано в примітках). Посторінкові примітки належать М. П. Старицькому.

Листи №№ 3, 16, 22, 23, 27, 30, 32, 33, 38—40, 42—44, 48—51, 54—56, 61, 64—66, 71, 82, 87—89, 90, 93, 95, 98, 101, 104, 105, 107, 108, 110—114, 117, 126—134, 138, 139, 142, 144 підготував до друку В. Й. Петраківський; примітки до них склала Є. С. Хлібцевич, доповнив, встановив датування та обумовив його В. У. Олійник. Решту листів підготував до друку і склав примітки до них В. У. Олійник.

1

Публікується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Академії наук УРСР (далі скорочено: ІЛ АН УРСР), ф. 15, № 129.

Прізвище адресата встановлено на основі згадки в листі П. Житецького від 19 травня 1871 р. до М. П. Драгоманова: «Коля с Олей на днях едут к Старицким», тобто М. В. Лисенко і його дружина О. О. Лисенко. Рік встановлено на основі згадки про холеру, що з'явилась у Києві влітку 1871 р.

Лисенко Ольга Олександрівна — перша дружина М. В. Лисенка.

...обстоятельства имущественные запутывали... — Йдеться про маєток Старицьких у с. Садовій, поблизу м. Могилева, куплений в липні 1869 р.

Нанятую квартиру... — 31 вересня 1871 р. Старицькі найняли квартиру в будинку Новицьких на Тарасівській вулиці.

...по рассказам Т. Д. ...— особа не встановлена.

Поцелуйте дорогой тетечке обе ручки...— Очевидно, Ользі Єреміївні Лисенко, матері М. В. Лисенка й свекрусі адресатки.

Дядю крепко целую...— тобто Віталія Романовича Лисенка, який по матері доводився дядьком М. Старицькому, але був і тестем.

За Марью Ф[едоровну] благодарю...— Йдеться про М. Ф. Ліндфорс (див. прим. до «К биографии Н. В. Лысенка»).

Варвара Іванівна (1840—1901) — перша дружина В. Б. Антоновича.

2

Листи М. Старицького до М. Драгоманова вперше опубліковані у виданні «Архів Михайла Драгоманова. Том І. Листування київської Старої громади з М. Драгомановим (1870—1895 рр.)», Варшава, 1938. У передмові до цього видання сказано, що всі листи друкуються за автографами, придбаними 1930 р. Українським науковим інститутом у Варшаві в дочки М. Драгоманова Лідії Шишманової. Примітки до листів у цьому виданні склав Г. Лазаревський.

Автографи загинули у Варшаві під час другої світової війни; листи подаються за першодруком. Тут частково використано примітки Г. Лазаревського.

Датується на основі слів листа: «...второй год сижу у Новицкого» (див. прим. до листа № 1).

Громада — організація української ліберально-буржуазної інтелігенції, виникла у Києві на початку 60-х рр. XIX ст. За зразком Київської, громади створювались також у Харкові, Одесі, Чернігові, Полтаві та інших містах. Після 1876 р. громади існували таємно. Вони видавали наукову й популярну літературу українською мовою для народу, збирали етнографічний матеріал, проводили значну культурницьку роботу ліберально-буржуазного характеру, намагаючись підмінити нею боротьбу українського народу проти соціального й національного гноблення. Склад Київської громади (а також і інших громад) не був однорідним: було праве крило (В. Антонович, О. Кониський), але було й ліве (М. Лисенко, М. Старицький та інші). В діяльності громади брали участь і деякі представники радикально-демократичної молоді. З 70-х рр. Київська громада називалася ще Старою громадою, а молодь, яка ввійшла до неї,— Молодою громадою.

...от некоего своего товарища..— М. Старицький і М. Драгоманов учились разом у Полтавській гімназії.

...нахожусь... у брега жизни...— З початку 1860-х років М. Старицький хворів на серце — наслідок ревматизму — і раз у раз скаржився на поганий стан свого здоров'я.

Давно мы с тобой не виделись...— М. Драгоманов у жовтні 1870 року виїхав за кордон у наукове відрядження й повернувся лише в серпні 1873 р.

...и хозяйство, которого я и весть-то не мог...— Маєтком у Садовій керували управителі, а не сам Старицький. В зв'язку із станом здоров'я київські лікарі порадили йому переїхати на село, але зимувала сім'я Старицького, очевидно, не в Садовій, а в самому м. Могилеві-Подільському.

Теперь она печатается...— «Казки Андерсена з короткою його життєписсю. Переклав з первотвора М. Стариченко», К., 1873. Наступного року М. Старицький видав у Києві окремі казки брошурами (13 брошур) та «Коротку життєпись Андерсена».

Мурашко Олександр Іванович (1848—1906) — тоді викладач малювання в київських школах. Ілюстрував казки Андерсена в перекладі М. Старицького.

Что тебе сообщить за наш гурт? — тобто про громаду.

Мы вот корпим над изданием дум...— йдеться про українські народні думи й історичні пісні, видані у Києві в двох томах 1874 і 1875 рр. під назвою «Исторические песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова». В підготовці цього видання брала участь громада.

Шульгін Віталій Якович (1822—1888) — історик, професор Київського університету, реакціонер і українофоб, видавав газету «Киевлянин».

Андріяшев Олексій Хомич — учитель, а з 1862 р. директор однієї з київських гімназій, видавець календарів і русифікаторських книжок для народу, видавав русифікаторську газетку «Друг народа» (1867—1878) у Києві.

Русов Олександр Олександрович (1847—1915) — статистик, громадський діяч ліберально-буржуазного напряму, член Київської громади, за свою діяльність переслідувався царським урядом.

...небольшую еженедельную политико-литерат[*урную*] *газету...*— Видання газети тоді здійснене не було; пізніше члени громади (М. Драгоманов, Ф. Волков, С. Подолинський, П. Чубинський, Ю. Цвітковський та інші) редагували газету «Киевский телеграф», але через незгоди з видавцем з 1 серпня 1875 р. вийшли з редакції.

«Неделя» — щотижнева політична й літературна газета, виходила в Петербурзі 1866—1901 рр. В 70-х рр. газета була органом народників, мала зв'язки з революційним підпіллям, у 80—90 рр.— орган ліберальних народників. З 1868 р., коли редактором-видавцем став В. Генкель, в газеті друкували свої твори Д. Минаєв, М. Михайловський, Ф. Решетников, Г. Успенський, О. Герцен, П. Лавров («Исторические письма», 1868) та інші.

...хоть один из вечеров у Войцеховского! — В будинку Войцехівського на Жандармській вулиці (потім Маріїнсько-Благовіщенська, тепер Саксаганського) жив М. Драгоманов до виїзду за кордон. У тому ж будинку жив і М. Старицький, квартири їхні сполучались внутрішнім ходом. У флігелі в 1868—1869 рр. жив М. Лисенко.

Кучинська Людмила Михайлівна (1842—1918) — дружина М. Драгоманова.

Лідія — дочка М. П. Драгоманова, згодом дружина І. Д. Шишманова, професора Софійського університету.

Косач Ольга Петрівна (1849—1930) — сестра М. Драгоманова, українська письменниця, відома під псевдонімом Олени Пчілки, мати Лесі Українки.

«Правда» — український літературно-науковий і політичний журнал ліберально-буржуазного напряму, видавався у Львові в 1867—1898 рр. (з перервами), орган народовців. З кінця 80-х рр. журнал став трибуною групи українських буржуазних націоналістів, які пішли на згоду з польською шляхтою. Через відсутність на Україні

прогресивного журналу в «Правді» друкували свої твори Панас Мирний, І. Нечуй-Левицький, М. Старицький, І. Франко, Ю. Федькович та ряд інших передових письменників.

3

Автограф зберігається у відділі рукописів Львівської державної республіканської наукової бібліотеки Міністерства культури УРСР (далі скорочено: ДРНБ у Львові), фонд Барвінських, № 4869. Вперше опубліковано в газ. «Руслан», Львів, 18 лютого 1906 р., № 156.

Текст подається за автографом.

Датується за змістом.

Посилаю Вам... 10 перекладів із Лермонтова, Некрасова і ін. і 7 № власних.— У фонді Барвінських (архів журн. «Правда») зберігаються автографи перекладів Гетьманця (псевдонім М. П. Старицького): з Лермонтова — «Жидівська пісня» (Сумна дума), «І тяжко, і важко, й нема де поради шукать», «Гори ніч укрила», «Ми розійшлись, а образ твій», «Янгол» (По небу опівночі...), «Вітрило», «По шляху один собі іду я...»; з Некрасова — «Що не рік, то й зменшаються сили», «Що ж ти, серце моє, побиваєшся?» та оригінальні вірші: «Швачка», «До Марусі» (Як часом у тебе заграє...), «Нема правди» (Україно, моя рідна нене!), «Ніч насувалась повсюди», «Прощання» (Бувай здоров, мій рідний краю...).

...Ви не захотіли друкувати у «Правді» «Демона» Лермонтова...— Поема «Демон» М. Ю. Лермонтова в перекладі С. Руданського й Гетьманця надрукована в журн. «Правда» того ж 1875 р., №№ 19—22.

Посилаю ще Вам кілька книжинок мого перекладу з Лермонтова.— «Пісня про царя Івана Васильовича, молодого опричника та одважного крамаренка Калашникова (Переклад з Лермонтова)», К., 1875.

4

Текст подається за першодруком.

Датується на основі того, що лист передано через Л. М. Драгоманову, яка виїхала з Києва 29 травня 1876 р.

...зараз же по твоїм од'їзді...— М. Драгоманов виїхав за кордон восени 1875 р.

Леймінг — один із київських цензорів.

...не висилав листів із сербських дум...— Йдеться про «Сербські народні думи і пісні» в перекладі М. Старицького, що були видані того року в Києві.

...шукав там у л ь т р а м о н т а н с т в а! — Тут в значенні: революційної пропаганди.

...твою рукопись сливе всю пропустив...— Йдеться про брошуру «Про українських козаків, татар та турків» М. Драгоманова, що вийшла 1876 р. у Києві.

Манухія — жартівлива назва видання брошур (т. зв. метеликів) для народного читання, здійснюваного громадою.

Антонович Володимир Боніфатійович (1834—1908) — український буржуазно-націоналістичний історик, археолог, етнограф, з 1878 р. професор російської історії Київського університету.

Кордишівка — село кол. Брацлавського повіту на Поділлі, тепер

Вінницької області. У червні 1875 р. М. Старицький продав свій маєток в с. Садовій, а в жовтні купив інший у Кордишівці.

Вороновиці — Вороновиця, тепер місто Вінницької області.

5

Текст подається за першодруком.

У XIX і навіть на початку XX ст. багато українських письменників, в тому числі й М. Старицький, вживали такі назви місяців: IX — жовтень, X — листопад, XI — грудень, XII — студень; січень часто називали стичнем.

Рік встановлено за змістом.

Ільницький Лука Васильович — київський книгар і видавець; пізніше за участь в революційному русі був засланий у Сибір.

...несподівана кара, наче грім, вдарила! — Йдеться про т. зв. Емський указ від 18 травня 1876 р. про заборону друкування книжок, громадської і освітньої діяльності українською мовою.

Скадр — Скутарі, сербське місто; 1479 р. захоплене турками.

Лазар — сербський князь, останній незалежний правитель Сербії, загинув у бою з турками на Косовому полі 1389 р., герой сербських народних пісень.

Марко Королевич — герой сербських історичних пісень.

...друга мусила бути в 15 лист[*ів*]... — Це видання здійснене не було. Частина перекладів з сербських народних пісень увійшла до книжки «З давнього зшитку. Пісні і думи. Переклав М Старицький», К., 1881. В передмові до цього видання М. Старицький говорить: «Издавая в 1876 году в переводе на малорусский язык «Сербские народные думы и песни», я разделил имевшийся у меня материал на 2 тома; в первом поместил исторические и героические думы, а во втором — бытовые женские песни. Первый том захватил лучшие времена и вышел в свет; второму же не посчастливилось. И теперь, вследствие не зависящих от меня обстоятельств, я предлагаю своим землякам только остатки из сербских песен, присоединив к ним таковые же остатки переводов из Байрона, Гейне, Мицкевича и Сырокомли, благодаря некоторой снисходительности цензуры. «Вибачайте, чим багаті, тим і раді!»

Николаївка (Миколаївка) — село кол. Кременчуцького повіту на Полтавщині, де був маєток О'Коннорів, батьків першої дружини М. Лисенка.

...для його умисне була придумана кара... — тобто Емський указ 1876 р.

Чубинському ж і тобі заборонено на Україні... жити... — Особлива рада, призначена царем (міністр внутрішніх справ Тімашев, міністр освіти граф Толстой, головний начальник III відділу Потапов, голова Київської археографічної комісії Юзефович), за доповіддю Юзефовича, визнала особливо шкідливою українофільську діяльність П. Чубинського і М. Драгоманова. Ухвалено було подати про них «особый всеподданейший доклад». Пізніше Чубинському й Драгоманову заборонили жити в Києві; Чубинський переїхав до Петербурга, а Драгоманов ще до того емігрував за кордон.

«Різдвяна ніч» — опера М. Лисенка, лібретто написав М. Старицький за текстом повісті М. В. Гоголя «Ніч під різдво».

Соня — Софія Віталіївна, дружина М П. Старицького.

Географічне товариство теж скасовано. — На доповіді Особливої ради цар власноручно написав, що київський відділ Географічного

товариства в теперішньому складі повинен бути закритий і відкриття його може відбутися тільки за поданням міністра внутрішніх справ.

6

Текст подається за першодруком.

Рік встановлено за змістом.

Давиденко В. І.— власник друкарні, де друкувались «Сербські народні думи і пісні» в перекладі М. Старицького.

Вільям — Беренштам Вільям Людвігович (1839—1904), учитель гімназії, український громадський діяч, член Київської громади, автор ряду статей про українську культуру.

За прибавку до року — не винен...— На брошурі «Про українських козаків, татар та турків» М. Драгоманова було позначено: «Року божого 1876»; так само було позначено і на виданні «Сербських народних дум і пісень» М. Старицького.

Левицький Орест Іванович (1848—1922) — учитель однієї з київських гімназій, український ліберально-буржуазний історик, письменник, писав переважно оповідання з життя України XVI—XVII ст. ст. Член Академії наук УРСР з часу її заснування.

Літов — власник книгарні у Києві.

Юзефович Михайло Володимирович (1802—1889) — голова Київської археографічної комісії, реакціонер і українофоб.

Обресков — один із київських жандармів.

У Петербург я вже одіслав дві рукописі...— Йдеться про переклади М. Старицького сербських народних пісень і віршів Байрона, Гейне, Міцкевича й Сирокомлі. Видані в Києві 1881 р. під назвою «З давнього зшитку. Пісні і думи». Переклад поеми Некрасова «Мороз — Красный нос» надруковано в другій частині збірки «З давнього зшитку» (Київ, 1883).

Кониський Олександр Якович (1836—1900) — український письменник, публіцист і громадський діяч ліберально-буржуазного напряму. Частина його художніх творів і публіцистичних статей перейнята націоналістичними тенденціями.

...lex Juzephoviana — так М. Старицький називає Емський указ 1876 р., ініціатором якого був М. Юзефович.

За «Болгарські пісні» дуже радий...— Очевидно, в листі, про який ідеться напочатку, М. Драгоманов радив М. Старицькому після надрукування «Сербських народних дум і пісень» взятися за переклад болгарської народної творчості.

Буду писати обмаря...— тобто не маючи надії на видання.

Терлецький Остап (1850—1902) — товариш Івана Франка, громадський діяч і журналіст радикально-демократичного напряму, брав участь у виданні соціалістичних брошур українською мовою.

«Про звірі» — брошура Яструбця (псевдонім Ф. К. Волкова) «Про звірів (по Брему). М'ясоїди, або Хижі звіри», К., 1876.

10 екз. «Про звірі» шлю Вам під бандероллю.— Далі йдуть дописки до листа С. В. Старицької та М. В. Лисенка, які ми випускаємо. Під останньою дopискою дата: «22 жовтня».

...а надто за посвяту.— На титульній сторінці «Сербських народних дум і пісень» значиться: «Посвящається моєму щирому другові і товаришеві Михайлу Петровичу Драгоманову».

7

Текст подається за першодруком.

Рік встановлено за змістом, а також на основі листа М. Лисенка до М. Драгоманова, від 18 жовтня 1876 р., де сказано: «Старицьких і досі нема з села. За кілька днів ждемо їх».

«Чи доведеться, милий друже...» — Цей вірш під назвою «На проводи» М. Старицький хотів надрукувати в другій частині альманаху «Рада» (1884 р.), але Петербурзький цензурний комітет не дав на це дозволу, оскільки в ньому «висловлюється надто прозорий натяк на те, що надія не здійснилась, що й досі ще панує лютий, ненависний ворог, що й досі ніч, нема просвітку, опускаються руки, мовчать одурені діти здавен забитого раба».

...всю поему «Мороз»... — Перша частина перекладу поеми «Мороз — Красный нос» М. Некрасова під назвою «Мороз» вперше надрукована в львівському журн. «Правда», 1874, № 10—11.

«Гамлет» — трагедія В. Шекспіра, видана в перекладі М. Старицького на українську мову 1882 р. в Києві.

Ти колись засилав Русову... — це було восени 1871 р., коли М. Драгоманов перебував у закордонному відрядженні. М. Старицький і М. Лисенко тоді такої опери не написали.

...а тепер, якщо ласка, зашли і мені. — Не відомо, чи М. Драгоманов вдруге надіслав свій план опери «Маруся Богуславка». Замість лібретто до опери М. Старицький 1897 р. написав історичну драму на 5 дій «Маруся Богуславка».

8

Текст подається за першодруком.

Антипович Олексій Данилович — учитель гімназії, учасник Київської громади, член Південно-західного відділу Географічного товариства, з лютого 1875 р.— його секретар.

Горько, та нема що робити. — М. Старицький помиляється: насправді М. Драгоманов був задоволений присвятою йому «Сербських народних дум і пісень». В листі від 15 листопада 1876 р. до О. С. Суворіна М. Драгоманов писав: «...горжусь тем, ...что мне посвящен перевод «Сербских дум» Старицкого, который я сам начал еще 1866 г. и потом по неспособности к стихотворству отказался от работы и подбил на нее Ст[арицк]ого...»

9

Текст подається за першодруком.

Датується за змістом, на основі згадок про народження дочки у Драгоманових та приїзд О. П. Косач до Києва.

Гейкінг Густав Едуардович — ад'ютант начальника київського жандармського управління, убитий народниками в ніч на 25 травня 1878 р.

Тільки вчора приїхала О. П. Косачка і розказала, що в тебе є дочка... — Аріадна нар. 27 березня 1877 р. О. П. Косач (Олена Пчілка) приїхала до Києва 10 квітня 1877 р.

...вдруге він послав белетр[истичного] збірника — заборонили... — О. Кониський 23 вересня 1876 р. надіслав до цензури літературний альманах «Батьківщина», заборонений Головним управлінням в справах друку 21 лютого 1877 р. До цього збірника входили й вірші М. Старицького: «Il Beato» (Попід дахами, так високо...), «Швачка», та «До О. О.» (Дивлюсь на тебе, і минуле...).

Книжка, проте, має вийти листів у 20.— Збірка перекладів М. Старицького вийшла лише 1881 р. під назвою «З давнього зшитку. Пісні і думи».

...бо Цвітковські лінуються.— У своїх спогадах про М. Старицького О. Пчілка розповідає, як поет працював над перекладом «Гамлета»: «До свого завдання перекладача Михайло Петрович поставився надзвичайно добросовісно: він познайомився з кращими перекладами «Гамлета» французькими і німецькими; бажаючи досягнути можливої близькості перекладу до оригіналу, він докладно простудіював англійський текст (за допомогою п-ні О. П. Цвітковської, родом англійки) і перевірив за оригіналом свій переклад порядково».

Григор'єв — начальник Головного управління в справах друку.

...уряд, здається, завзявся не проти турків, а проти малоросів...— Йдеться про російсько-турецьку війну 1877—1878 рр. та Емський указ 1876 р.

Думаю цими днями поїхати за границю...— Намір М. Старицького не був здійснений.

...що-небудь надзвичайне або курс...— тобто курс іноземних грошей відносно російського карбованця.

«Вестник Европы» — журнал, виходив у Петербурзі з 1866 до 1918 р. Орган поміркованої буржуазії. Тут друкувалися в різний час твори І. Гончарова, М. Драгоманова, М. Салтикова-Щедріна, І. Тургенєва та інших.

Тут розправа твоя... остатня...— Йдеться про рецензію М. Драгоманова «Ученая экспедиция в Западно-Русский край. Издание императорского Русского географического общества (Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной императорским Русским географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д[ействительным] чл[еном] П. П. Чубинским, в семи томах» («Вестник Европы», 1877, кн. III, березень, стор. 85—109, під псевдонімом М. Т-ов).

Вона поздоровішала і з надією.— У Косачів 1877 р. народилась дочка Ольга.

Подолинський Сергій Андрійович (1850—1891) — революційний народник, пропагандист ідей Чернишевського, деякий час перебував в еміграції (Женева), де видав ряд революційних брошур. Був знайомий з К. Марксом і листувався з ним.

Синицький Данило Олександрович — учитель гімназії, член Південно-західного відділу Російського географічного товариства».

...всі радикали признають українофільство за його...— Так в оригіналі (прим. Г. Лазаревського).

10

Вперше надруковано в газ. «Труд» 12 жовтня 1881 р., № 97. Текст подається за першодруком.

Датується умовно передоднем публікації.

Такий же лист-запрошення до участі в альманасі «Рада» був опублікований і в київській газеті «Заря» 13 жовтня 1881 р., № 224.

«Труд» — економічна, політична й літературна газета ліберально-буржуазного напряму, видавалась у Києві 1881—1882 рр., вихо-

дила тричі на тиждень. В газеті друкувалися численні матеріали про важке становище селянства, національне гноблення на Україні, повільний розвиток освіти тощо.

...Южно-Русского края... — тобто України.

11

Публікується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів Державної публічної бібліотеки АН УРСР (далі — ДПБ АН УРСР), III, 39 444.

Грінченко Борис Дмитрович (1863—1910) — відомий український письменник, критик, історик, етнограф, мовознавець, публіцист, видавець і громадський діяч буржуазно-демократичного напряму.

...од Івана Семеновича листа... — тобто від І. С. Нечуя-Левицького.

...а далі, за дозволом, і місячника «Раду»... — М. Старицький видав тільки дві книги альманаху «Рада» (1883 і 1884).

«...то хоч унуки, а дочекають того свята!» — Дещо змінені слова з вірша М. Старицького «Нива».

Толстой Олексій Костянтинович (1817—1875) — відомий російський письменник (поет, прозаїк, драматург).

Минаєв Дмитро Дмитрович (1835—1889) — російський поет-сатирик, драматург і перекладач.

Блаженої пам'яті Тарас Григорович теж не звертав великої уваги на вірш: і міри часто, і рифми не держав... — Справді, у Шевченка ритміка віршів складна і своєрідна, він часто не вкладався в певну усталену, традиційну систему віршування. Багато його поезій написано не одним, а кількома віршовими розмірами, наприклад, балада «Причинна» починається ямбом, далі йде хорей, потім чотиристопний амфібрахій, а там знову ямб і хорей ще тричі змінюють один одного. М. Старицький же вважав, що весь вірш має бути написаний одним розміром, з дотриманням римування тощо.

12

Публікується вперше за автографом, що зберігається у філіалі Центрального державного Історичного архіву УРСР в Харкові (далі — філіал ЦДІА УРСР в Харкові), ф. 781, оп. І, од. зб. 132, арк. 2.

Потебня Олександр Опанасович (1835—1891) — професор Харківського університету, видатний російський і український філолог та етнограф.

«К[иевская] старина» — щомісячний історично-етнографічний та літературний журнал ліберально-буржуазного напряму, виходив російською мовою у Києві з 1882 до 1906 р., у 1907 р. виходив під назвою «Україна». З кінця 90-х років друкував окремі твори українською мовою.

...то, может быть, можно было бы ее приспособить к моей «Раде»? — В альманасі «Рада» жодної статті О. Потебні не надруковано.

13

Публікується вперше за автографом, що зберігається у філіалі ЦДІА УРСР в Харкові, ф. 781, оп. І, од. зб. 132, арк. І.

...возвратившись в Киев после месячной отлучки... — В кінці

листопада 1881 р. М. Старицький виїхав до м. Могилева-Подільського та до свого маєтку в с. Карпівці, кол. Могилів-Подільського повіту, в маєткових справах.

...статья «О языке, поэзии и казке».— Не відомо, яку саме свою статтю пропонував О. Потебня і чи він надіслав її М. Старицькому.

14

Публікується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів ДПБ АН УРСР, III, 39 443.

...вибравши з них до друку ось які...— Всі названі далі вісім віршів Б. Грінченка надруковані в першій книзі альманаху «Рада» (1883).

У «Весні» ось які три останні куплети будуть...— Перша й друга строфи в такій редакції були надруковані в «Раді».

В «Матері» от так, по-моєму, ефектніше закінчити...— Цей уривок в «Раді» надруковано з такими змінами (перший і останній рядки):

А все ще волі дожидаєш...
...Сліпу не візьмем в тороки!

15

Автограф зберігається у відділі рукописів ДРНБ у Львові, фонд Барвінських, № 5022. Вперше опубліковано в газ. «Руслан», 1906, № 159.

Текст подається за автографом.

Барвінський Володимир Григорович (1850—1883) — український буржуазно-націоналістичний діяч, письменник, критик і публіцист, був редактором органів партії народовців — журналу «Правда» (1876—1880) та газети «Діло» (1880—1883).

...оце й одібрав у 3-му номері, спасибі Вам, кламство і пасквіль на мене...— В газеті «Діло» 13 (25) січня 1882 р., № 3 була надрукована без підпису велика рецензія на альманах «Луна», виданий 1881 р. у Києві. Рецензент (В. Барвінський) зокрема різко критикував вірші М. Старицького, надруковані в «Луні» («Зимовий вечір», «Перед труною», «Сиділи ми, каганчик миготів», «Останні сили дарма трачу», «Серце моє нудне, серце моє трудне», «В грудях вогонь, холодне повівання») за їх нібито безнадійність, а також його водевіль «Як ковбаса та чарка, то минеться й сварка», надрукований в альманасі за підписом М. С., називаючи повне прізвище М. Старицького.

«Порядок» — щоденна політична й літературна газета ліберально-буржуазного напряму, видавалась 1881 р. в Петербурзі.

«Курьер» — «Русский курьер», щоденна ліберально-буржуазна газета, виходила у Москві в 1879—1889 і 1891 рр.

«Южный край» — щоденна політична й літературна газета, видавалась у Харкові з кінця 1880 до 1919 р.

«Мир» — щомісячний політичний, літературний і економічний журнал ліберально-народницького напряму, виходив у Харкові 1881—1882 рр.

...по формі і по держиву...— тобто за формою і змістом.

16

Публікується вперше за автографом, що зберігається в Чернігівському Історичному музеї, АЛ — № 370.

Мордовцев (Мордовець) Данило Лукич (1830—1905) — російський і український письменник, критик і публіцист ліберального напряму. В другій половині 90-х і на початку 900-х років Д. Мордовцев своїми статтями в петербурзьких газетах багато допомагав М. Старицькому, доводячи необгрунтованість обвинувачень його в плагіаті (Б. Грінченком, І. Александровським). М. Старицький тут помилково називає Мордовцева «Яковлевичем».

«Сон — не сон» — оповідання Д. Мордовцева, в альманасі «Рада» (1883) надруковане під назвою «Скажи, місяченьку!».

...забігти до вашого «чистилища»... — Мається на увазі цензурний комітет.

...отака-то для нашої мови пільга. — До указу 1876 р. про обмеження друку й цілковиту заборону вистав українською мовою царський уряд 16 жовтня 1881 р. видав роз'яснення, яке фактично зберігало всі положення указу, але давало право генерал-губернаторам і губернаторам дозволяти окремі українські вистави. Після цього роз'яснення розвиток української літератури й театру штучно гальмувався цензурно-адміністративними обмеженнями та шовіністичною критикою.

Де-Пуле Михайло Федорович (1822—1885) — російський письменник і педагог-філолог. У своїх статтях «К истории украинофильства», «К вопросам об украинофильстве» (журн. «Русский вестник», 1881, III; 1882, II) виступав з ворожих до української мови й літератури позицій, заперечував їх право на існування, обстоював реакційні погляди на неминучість асиміляції українського народу.

...розправа шановного Н. І. Костомарова... — М. Костомаров у своїх статтях «Малорусское слово», «Задачи украинофильства» та ін. («Вестник Европы», 1881, I; 1882, II) помилково твердив, що користування українською мовою на той час обмежувалось лише простолюддям — «мужиками», що ж до тогочасної інтелігенції, то вона, мовляв, як національне явище виродилась і воліє користуватись російською мовою. Визнаючи закономірність розвитку української літературної мови, він обумовлював його лише поступовим інтелектуальним зростанням народу, виступав проти збагачення літературного лексикону письменниками. Саме тому в своїй рецензії на згаданий у листі вірш М. Старицького, надрукований в альманасі «Луна» (1881), Костомаров звинувачував його автора в штучному словотворенні, при чому виявив свою необізнаність з народною українською мовою.

Реакційна газета «Киевлянин» в статтях за 1881 р. («Народная школа на юге России», початок у № 21, «О степени самобытности украинской литературы», початок у № 38) заперечувала самобутність та історичну необхідність розвитку української культури й охоче підхопила думку Костомарова, що українська мова потрібна лише «мужикам».

...про свої книжки можу дати певну статистику.

М. Старицький. «Байки Крилова», переклад, 1-е вид., К., 1874; 2-е вид., К., 1882.

М. Старицький. «Різдвяна ніч», оперета за М. Гоголем, 1-е вид., К., 1874; 2-е вид. К., 1876; 3-є вид., К., 1882.

М. Старицький. «Сорочинський ярмарок», переклад оповідання М. Гоголя, 1-е вид., К., 1874; 2-е вид., К., 1882.

М. Старицький. «Пісня про царя Івана Васильовича, молодого опричника та одважного крамаренка Калашникова (Переклад з Лермонтова)», К., 1875.

М. Старицький. «З давнього зшитку. Пісні і думи», К., 1881.

М. Старицький. «Сербські народні думи і пісні», част. І, К., 1876.

...учора я одібрав листа од... Мови.— Мова (Лиманський) Василь Семенович (1842—1891) — український письменник.

...переклади Олени Пчілки.— Йдеться про переклади з М. Гоголя — «Весняної ночі», К., 1880; «Записки причинного», К., 1881.

Мик[ола] Іван[ович] наставив мені при віршах таких ?!.— При розгляді вірша «Сиділи ми, каганчик миготів» в статті «Задачи украинофильства» (рецензія на альманах «Луна», «Вестник Европы», 1882, т. І, кн. 2).

...Вашим «Сагайдачним» зачитуюсь.— Д. Л. Мордовцев, «Сагайдачный. Историческая повесть», СПб., 1882.

17

Публікується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів ДПБ АН УРСР, III, 39 442.

Прислані Ваші вірші підуть до другої уже збірки...— В другій книзі альманаху «Рада» (1884) під псевдонімом Чайченко надруковано вірші Б. Грінченка «До праці» і «Наша доля».

18

Автограф зберігається у відділі рукописів ДРНБ у Львові, фонд Барвінських, № 5022. Вперше опубліковано в газ. «Руслан», 1906, № 160.

Текст подається за автографом.

Куліш Пантелеймон Олександрович (1819—1897) — український письменник, етнограф, історик та видавець творів ряду українських і російських письменників, альманаху «Хата», фольклорних збірників і т. д. Переклав твори В. Шекспіра на українську мову. Брав участь в Кирило-Мефодіївському товаристві, очолюючи разом з М. Костомаровим його праве крило. В ряді творів П. Куліша виявились його реакційні, буржуазно-націоналістичні погляди.

19

Автограф зберігається у відділі рукописів ДРНБ у Львові, фонд Барвінських, № 5022. Вперше опубліковано в газ. «Руслан», 1906, № 160.

Текст подається за автографом.

...щоб уосени й узиму було що грати.— На початку січня 1882 р. київські газети повідомляли, що Київське драматичне товариство організовує спеціальну групу для українських вистав, називались і учасники групи: Васильєва (псевдонім), Жежелевська, Новицький, Риза, Марченко, Родон. М. П. Старицький брав участь у роботі цього Товариства, а в жовтні 1882 р. був обраний заступником голови. Очевидно, для вистав цього Драматичного товариства й потрібні були українські п'єси.

Друкую 2-у частину...— «З давнього зшитку. Пісні і думи», ч. II, К., 1883.

До мене оберталиcь товариства «Січ» і «Просвіта»...— Товариство «Січ» виникло в кінці 60-х років у Відні, складалося з студентів-українців Віденського університету; в різні часи до членів товариства належали демократично настроєні студенти: О. Терлецький, М. Черемшина та інші. Пізніше це товариство перетворилось на буржуазно-націоналістичну організацію. «Просвіта» — культурно-освітня громадська організація у Львові, заснована 1868 р. «Просвіта» видавала українською мовою книжки, підручники, популярну літературу, календарі. Діяльність «Просвіти» мала спочатку ліберально-буржуазний характер, але з кінця XIX ст. в ній посилились буржуазно-націоналістичні тенденції.

Чи вийшов уже перший том Шекспіра? — «Шекспірові твори. З мови британської мовою українською попоперекладав П. Куліш», т. І, Львів, 1882.

20

Автограф зберігається у відділі рукописів ДРНБ у Львові, фонд Барвінських, № 5022. Вперше опубліковано в газ. «Руслан», 1906, № 160.

Текст подається за автографом.

Датується за змістом: в листі говориться про заборону цензурою віршів М. Старицького.

...вислати мені «Хуторну поезію»... — збірка віршів П. Куліша, видана у Львові 1882 р.

...між ними 15 поезій, і найкращих, цензура зачеркнула...— Тут помилка, треба: 14 поезій. У травні 1882 р. Головне управління в справах друку повідомило київського окремого цензора по іноземній цензурі, що із збірки «З давнього зшитку. Пісні і думи», ч. II, М. Старицького до друку заборонено за «крайню тенденційність» такі вірші: «До молоді», «Чудова ніч, блискочуть зорі», «Бажання», «Україно, моя рідна нене», «Ох, ночі темні, непрозорі», «Вечірня», «Марусі», «Нива», «До Руд-а», «До судді», «На страстях», «Редакторові», «Обід на користь голодних» і «Щоденне оповідання» (останній вірш — переклад з Огарьова, заборонено навіть не за зміст, а лише через те, що твори Огарьова, як політичного емігранта, взагалі було заборонено друкувати).

«Світ» — щомісячний літературно-науковий і політичний журнал революційно-демократичного напряму, виходив у Львові 1881—1882 рр. за редакцією І. Белея; фактичним редактором і головним співробітником журналу був І. Франко.

21

Автограф зберігається у відділі рукописів ДРНБ у Львові, фонд Барвінських, № 5022. Вперше опубліковано в газ. «Руслан», 1906, № 160.

Текст подається за автографом.

Рік встановлено за змістом.

...і 10 книжок «Пісень і дум» 2-ї частини.— Хоча видання позначено 1883 роком, але збірник «З давнього зшитку. Пісні і думи» вийшов іще наприкінці 1882 р.

22

Автограф зберігається у відділі рукописів ДПБ АН УРСР, І, 49 633. Вперше в перекладі на українську мову в скороченому вигляді опубліковано в газ. «Вечірній Київ» 19 січня 1962 р.

Текст подається за автографом.

Рік встановлено за змістом.

Пипін Олександр Миколайович (1833—1904) — російський літературознавець. Значну увагу приділяв історії української літератури.

23

Публікується вперше за автографом, що зберігається в Чернігівському Історичному музеї, АЛ — 369.

Датується за змістом, а також на основі попередніх листів.

...мого «Гамлета», до котрого Ви пришили, спасибі Вам, іще раніш квітку — оту «заковику».— В брошурі Д. Мордовцева «За крашанку — писанка. П. Ол. Кулішеві» (СПб., 1882) є таке місце: «Себто мов той божевільний королевич Гамлет, в перекладі д. Старицького, каже: «Чи жити, чи не жити — ось заковика!» А може, й брешуть: у Старицького, здається мені, не так переложено». Цей жарт підхопила реакційна українофобська газета «Киевлянин» і в багатьох статтях допікала М. Старицькому тією вигаданою «заковикою». В перекладі М. Старицького цей монолог Гамлета починається словами: «Жити чи не жити? Ось в чім річ».

...і 3-я, байки...— Друге видання байок Крилова в перекладі М. Старицького вийшло в Києві 1882 р.

24

Автограф зберігається в Одеському обласному державному архіві, ф. 162, оп. І, од. зб. 6. Вперше опубліковано в журн. «Радянське літературознавство», 1959, № 4, стор. 115—116.

Текст подається за автографом.

Рік встановлено за змістом.

Зелений Павло Олександрович — в 1876—1884 рр. редактор офіційної газети «Одесский вестник» (1828—1893).

В уважаемой газете Вашей № 26 появилась статья...— Йдеться про статтю «Новые способы обработки языка» («Одесский вестник», 2 лютого 1883 р., № 26). Автор її Микола Бєлінський — маловідомий літератор буржуазно-націоналістичного напряму.

...все они находятся... и в словаре...— Йдеться про словник української мови, над яким працювали П. Житецький, М. Драгоманов, М. Старицький, М. Лисенко, В. Науменко та ін. Виданий в чотирьох томах за редакцією Б. Грінченка під назвою «Словарь української мови» (К., 1907—1909).

...писатель Гацук...— Гатцук Микола, український етнограф, фольклорист і письменник, видав збірку українських народних пісень, прислів'їв і приказок під назвою «Ужинок рідного поля» (М., 1857). В кінці збірки було подано словничок, до якого М. Гатцук завів і свої новоутворені слова.

Катков Михайло Никифорович (1817—1887) — російський реакційний публіцист, редактор газ. «Московские ведомости», після польського повстання 1863 р. називав українське письменство «польською інтригою», виступав проти розвитку української літератури.

Аксаков Іван Сергійович (1823—1886) — російський письменник і публіцист, редактор ряду видань (журн. «Русская беседа», газет «День», «Москва», «Русь» та ін.), представник реакційного слов'янофільства, виступав проти розвитку української мови й літера-

тури, проголосивши принцип «українська мова для домашнього вжитку» («День», 1861, № 2).

Пихно Дмитро Іванович (1853—1909) — професор Київського університету, реакціонер і українофоб, з 1879 р. — редактор газ. «Киевлянин».

Корф Микола Олександрович (1834—1883) — активний земський і педагогічний діяч на Україні (Катеринославщина), автор ряду підручників і методичних посібників.

25

Місце зберігання автографа не відоме. Вперше опубліковано в кн.: М. Старицький, Вибрані твори, ЛІМ, Х.— К., 1931, стор. 185—186.

Текст подається за цим виданням.

Рік встановлено на основі згадки про драму «Не судилось» М. Старицького

Драматичний комітет.— У своїх спогадах про М. Старицького К. Мельник-Антонович (дружина В. Б. Антоновича) пише, що після переїзду О. Пчілки до Києва, тобто восени 1881 року, «зразу же М. П. Старицький спільно з Оленою Пчілкою, Лисенком, Ор. Ів. Левицьким та інженером А. Якубенком, який саме тоді з'явився активістом серед українського громадянства, беручи діяльну участь в громадському житті, склали літературно-драматичний гурток з метою поширення та збагачення дуже бідного та задавненого українського репертуару. Михайло Петрович та О. П. Косач подавали свої оригінальні твори, для перекладної літератури притягнено здатних співробітників: Ор. Левицького, доктора Панченка, Якубенка та ін.; також декого з молоді. На редакційних зборах звичайно брали участь Антонович, Житецький та інші громадяни. Дуже гарно була перекладена драма Корженьовського «Kagrassy górali». Ані одна з тих п'єс не повернулась з цензури, чому і сам гурток чи й проіснував зо 2 роки, не пригадаю».

«На Кожум'яках» — комедія на 5 дій І. Левицького, вперше видана окремою книжкою в Києві 1875 р.

...щоб було написано: комедія Левицького — Старицького? — П'єса І. Нечуя-Левицького в переробці М. Старицького вперше надрукована в кн.: М. Старицкий, Малороссийский театр, т. І, М., 1890 під назвою «Панська губа, та зубів нема (За двома зайцями). Міщанська комедія в 4 діях з співами і танцями. Скомп. Старицький і Левицький».

«Не судилось» — драма на 5 дій М. Старицького, вперше надрукована в альманасі «Рада» за 1883 рік. Рукопис драми подано київському окремому цензорові 22 листопада 1882 р. Головне управління в справах друку 11 березня 1883 р. повернуло рукопис драми з дозволом до друку з викресленням окремих місць.

«Думки» — очевидно, М. Старицький має на увазі збірку «З давнього зшитку. Пісні і думи». К., 1881 р.

...відданий усім на баніцію! — тобто на поталу.

26

Автограф зберігається у відділі рукописів ДПБ АН УРСР, І, 29 781. Вперше опубліковано в журн. «Життя і революція», 1926, XII, стор. 69.

Текст подається за автографом.

...Олександре Пантелеймоновичу...— треба: Пантелеймоне Олександровичу.

...ми з Вами... навіть щирі слуги імперії...— М. Старицький писав так, не без підстави побоюючись, що його листи читає жандармерія (див. його листування з М. Драгомановим)

...то хвала богу, що Ви вернулися...— В кінці 1881 р. П. Куліш виїхав до Галичини, де робив спробу досягти угоди з польською шляхтою про спільні дії на західноукраїнських землях, але несподівано порвав з нею стосунки, виїхав до Відня, а потім повернувся на Україну.

...все те, що Ви би за кордоном не видали, для нас мертве.— За Емським указом заборонявся ввіз із-за кордону літератури українською мовою.

...хоч полатаними їх бачити у своїй «Раді».— В першій книзі альманаху «Рада» (1883) надруковано такі вірші П. Куліша: «Поет», «До кобзи та до музи», «На чужій чужині».

...нашому пишному барвінку...— Літературний псевдонім дружини Куліша — Ганна Барвінок. Два її оповідання під цим псевдонімом — «Вірна пара» й «Квіти з сльозами, сльози з квітками» — були надруковані в другій книзі «Ради» (1884).

27

Публікується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів ІЛ АН УРСР, ф. 3, № 1618, стор. 23—24.

Зберігся тільки перший аркуш листа, кінця нема.

Датується за змістом, оскільки в листі говориться про альманах «Рада», перша книга якого вийшла в квітні 1883 р.

Оглоблін М. Я.— видавець, власник книжкових магазинів у Києві й Петербурзі.

...а після похорон його знов стали аж на сей день! — В. Г. Барвінський помер 2 лютого 1883 р.

28

Автограф зберігається у відділі рукописів ДПБ АН УРСР, І, 29 784. Це тільки кінець листа, початок не зберігся Вперше опубліковано в журн. «Життя і революція», 1926, XII, стор. 70.

Текст подається за автографом.

Датується за змістом, а також на основі листа П. Куліша до М. Старицького від 6—7 серпня 1883 р., де він пише: «Любий Ваш лист лежав довго в Борзні. Тепер вже одповідь не застала б Вас у Києві, бо 10-го їдете в Одесу».

...й стала б на кону первою квіткою.— Очевидно, йдеться про драму «Байда, князь Вишневецький», надіслану П. Кулішем до М. Старицького.

Те, що Ви написали, справив і дав «Байду» до перепису.— Йдеться про виправлення драми за порадою М. Старицького. У згаданому вище листі П. Куліш подає ці виправлення Старицькому.

«Раду» я припоручаю редакційному товариству...— З серпня 1883 року М. Старицький став на чолі української професійної театральної трупи й виїхав з Києва. Виданням другої книги альманаху «Рада» клопотались М. Лисенко, Є. Трегубов та інші. Зокрема до П. Куліша в справі надрукування його творів в альманасі двічі писав М. Лисенко.

29

Публікується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів ДПБ АН УРСР, III, 39 441.

Рік встановлено за змістом.

Трегубов Єлисей Купріянович (1849—1920) — педагог, літературний і громадський діяч буржуазно-ліберального напряму.

Колегія Галагана.— Григорій Павлович Галаган (1819—1888) — великий землевласник, займав ряд відповідальних урядових посад, з 1882 р.— член Державної ради, один із керівників ліберально-буржуазного руху на Україні; 1871 р. заснував у Києві закритий середній навчальний заклад — колегію Павла Галагана (названа так на честь його померлого сина).

...одмітив деякі до «Ради».— В другій книзі «Ради» надруковано вірші «До праці» і «Наша доля» Б. Грінченка (під псевдонімом Чайченко).

30

Автограф зберігається у відділі рукописів ДПБ АН УРСР, І, 38 779 Вперше в скороченому вигляді в перекладі на українську мову опубліковано в газ. «Вечірній Київ», 19 січня 1962 р.

Текст подається за автографом.

Датується на основі змісту, а також помітки в одній із записних книжок М. Старицького, що в березні 1884 р. він їздив з Києва до Петербурга, Москви й Харкова.

Сокальський Петро Петрович (1832—1887) — український композитор, музичний критик, фольклорист, громадський діяч.

Толстой Дмитро Андрійович (1823—1889) — граф, реакційний державний діяч царської Росії, з 1882 р.— міністр внутрішніх справ.

...а не одни водевили...— Всупереч урядовій забороні створювати український театр, репертуар організованої 1882 р. М. Кропивницьким трупи (в 1883—1885 рр. нею керував М. Старицький) складався цілком з українських п'єс. Лише щоб створити видимість змішаного репертуару, ставились одноактні російські п'єси й водевілі. Довідавшись про великий мистецький і громадський успіх українських вистав, міністр внутрішніх справ Д. Толстой наказав Головному управлінню в справах друку видати розпорядження про обов'язкову постановку в один вечір, крім української, ще й російської п'єси з однаковою кількістю дій. Це розпорядження в грудні 1883 р. було передане до виконання начальникам губерній, без дозволу яких українські вистави відбуватись не могли.

«Жонатий чорт».— Задум створити оперу за однойменним оповіданням О. Стороженка (лібретто М. Старицького, музика П. Сокальського) не здійснився.

...Ваш брат имеет в Харькове...— Сокальський Іван Петрович, професор Харківського університету, доктор політекономії та статистики.

Бороздін М. М.— друг П. П. Сокальського, мав знайомства в Російському музичному товаристві і в Управлінні імператорських театрів, отже, міг довідатись про все, що цікавило М. Старицького. П. Сокальський 14 лютого 1884 р. дав М. Старицькому рекомендаційного листа до М. Бороздіна.

...а не знает, что 1880 г. закон отменен...— М. Старицький помиляється, кажучи, що Емський указ 1876 р. був скасований. В жовтні

1881 року цар Олександр III затвердив доповідь Особливої ради, яка розглядала питання про цей указ. Його залишено в силі, але зроблено деякі зміни й доповнення, зокрема, що українські п'єси, дозволені цензурою, можуть виконуватись на сцені, але забороняється організація виключно українських театрів і труп, дозволяється друкувати українські тексти під нотами, але російським правописом.

«Тарас Бульба».— Йдеться про оперу «Осада Дубно» за повістю М. Гоголя «Тарас Бульба», музика й лібретто П. Сокальського. Лібретто було написане й дозволене до вистави українською і російською мовами, а надруковане лише російською (1884). На сцені опера не була поставлена.

Максимов Михайло — одеський антрепренер.

31

Автограф не зберігся. Вперше надруковано в газ. «Заря» (Київ) 25 квітня 1884 р. Текст подається за першодруком.

Датується двома днями раніше публікації.

Петров Микола Іванович (1840—1921) — професор російської літератури, з 1918 р.— дійсний член Академії наук УРСР, автор праць з історії української літератури, його «Очерки истории украинской литературы XIX столетия» вийшли в Києві 1884 р. Окремий розділ тут присвячено М. Старицькому.

...отзыв... Костомарова о моей драме «Не судилось»...— Драма «Не судилось» М. Старицького надрукована в альманасі «Рада», ч. І, К., 1883 р., рецензія на неї М. Костомарова — в журн. «Киевская старина», 1883, IX—X, стор. 297—300.

...«Доки сонце зійде — роса очі виїсть», игранной еще в 1882 г. (?) — М. Петров помиляється, драма М. Кропивницького вперше була поставлена 21 січня 1883 р. в Чернігові.

Драма эта была задумана мною еще в 1876 году... два действия были окончены...— В листі від 29 березня 1879 р. М. Лисенко писав до М. Драгоманова, що Старицький «кінча оригінальну 5-актну драму з життя народного й почасти інтелігентного».

Садовський (Тобілевич) Микола Карпович (1856—1933) — видатний український артист і режисер.

...при первом приезде их с труппою в Киев.— Йдеться про приїзд трупи Г. Ашкаренка, в складі якої були М. Кропивницький і М. Садовський. У Києві трупа грала з 10 січня по 7 лютого 1882 р.

...к постановке на сцене драма эта до сих пор не разрешена.— Про цензурні митарства драми «Не судилось» див. т. 2, стор. 600 нашого видання.

32

Публікується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів ДПБ АН УРСР, І, 38 781.

Рік встановлено за змістом.

И все наделало Резникова письмо...— 31 січня 1885 р. М. Старицький уклав грошову спілку з антрепренером російської трупи П. Д. Резниковим, «бажаючи розвинути театральну справу і поставити її на широких і міцних засадах», як сказано було в умові між ними. Трупи М. Старицького і П. Резникова мали грати в Одесі, в Маріїнському театрі. Проте з лютого 1885 р. з трупи вийшов

М. Кропивницький, а з ним М. Садовський, М. Заньковецька й інші визначні артисти. З групою малодосвідчених артистів, які залишилися в трупі, М. Старицький не міг ставити вистав в Одесі, і це привело до порушення умови з Резниковим. Ця умова між ними була розірвана лише 23 серпня 1886 р., але М. Старицький змушений був заплатити П. Резникову велику суму.

Вахт Давид — орендар одеського Маріїнського театру.

Манько Леонід Якович (1863—1922) — згодом відомий український артист, драматург.

Мінц Абрам Семенович — довірена особа М. Старицького.

33

Публікується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів ДПБ АН УРСР, І, 38 780.

Датується за змістом, а також на основі листа М. Старицького до редакції газети «Новое время» (див. лист № 36), де він говорить, що трупа приїхала до Ростова-на-Дону 3 жовтня 1885 р. Перша вистава мала відбутись в неділю 6 жовтня, того дня написано й лист. В Ростові-на-Дону з 27 вересня до 9 жовтня грала трупа М. Кропивницького.

...*товарищество, в котором я служу*...— Йдеться про трупу, очолену М. Старицьким після виходу з неї М. Кропивницького, М. Садовського, М Заньковецької та інших артистів.

Ларін — адміністратор в трупі М. Старицького.

34

Публікується вперше за автографом, що зберігається в Центральному державному архіві літератури і мистецтва СРСР (далі скорочено: ЦДАЛМ СРСР), ф. 675, оп. 3, од. зб. 54.

Островський Олександр Миколайович (1823—1886) — видатний російський драматург, був першим головою Товариства російських драматичних письменників і оперних композиторів. М. П. Старицький вступив до цього Товариства 10 листопада 1884 р.

35

Вперше опубліковано в газ. «Московский листок» 28 жовтня 1887 року, № 300. Текст подається за цією публікацією.

Датується двома днями перед публікацією

...*на... письмо М. Л. Кропивницкого, помещенное в № 4183 «Нового времени»*.— В газеті «Новое время» 8 жовтня 1887 р. був надрукований лист М. Кропивницького під назвою «К истории малорусской труппы» (назву дала редакція). Цей лист був відповіддю М. Кропивницького рецензентові газети «Современные известия», який в своїй рецензії на вистави українських труп М. Старицького і М. Кропивницького висловив побажання про їх об'єднання. В своєму листі М. Кропивницький докладно зупиняється на історії створення української трупи М. Старицького (1883 р.) і її поділу на дві, при цьому всіляко вигороджуючи себе.

36

Вперше опубліковано в газ. «Новое время» 3 листопада 1887 р., № 4196. Текст подається за цією публікацією.

Датується тією ж датою, що й попередній лист до редакції газ. «Московский листок».

...покойная М. Ф. Линдфорс... — див. прим. до «К биографии Н. В. Лысенка».

...меня убедил только Н. К. Садовский... заключить с г. Кропивницким и братиею контракты. — М. Садовський у своїх спогадах «Мої театральні згадки» так говорить про створення трупи М. Старицького: «Ще в той час, коли трупа (Кропивницького.— *В. О.*) вперше грала в Києві, поміж київською громадою українців була нарада, що треба комусь із грошовитих громадян стати на чолі трупи і поставити діло якнайкраще, бо, розуміється, актори всі — біднота, не змогли зразу обставити блискуче всякий спектакль, на це треба було затратити зразу чимало грошей. За це діло взявся М. П. Старицький; отож під руку його трупа й перейшла з зими 1883 року». Це більш об'єктивне і правдиве свідчення: справа створення українського професійного театру була громадською, а не особистою М. Кропивницького, як то виходить з його листа до газ. «Новое время».

Яблочкіна Євгенія Олександрівна — російська артистка.

Затиркевич-Карпинська Ганна Петрівна (1856—1921) — видатна українська артистка.

Боярська (Богемська) Євдокія Прокопівна (1861—1900) — українська артистка на драматичні ролі.

Злорадова, Онєгіна — російські артистки.

Саксаганський (Тобілевич) Панас Карпович (1859—1940) — видатний український артист і режисер, з 1936 р. народний артист СРСР.

Карпенко-Карий (Тобілевич) Іван Карпович (1845—1908) — видатний український драматург, артист і режисер.

Журін — російський артист.

Глама-Мещерська (Баришева) Олександра Яківна (1859—1942) — російська артистка, з 1895 р.— театральний педагог.

Писарєв Модест Іванович (1844—1905) — російський артист, в 1883—1884 рр. очолив організоване разом з В. Андрєєвим-Бурлаком Товариство російських артистів.

Андрєєв-Бурлак (справжнє прізвище — Андрєєв) *Василь Миколайович* (1843—1888) — російський артист.

Світлов-Стоян — український артист, співак.

Sine qua non — обов'язкова умова (*лат.*).

...Кропивницкий именно стал играть в другом, Максимовском театре. — Йдеться про вистави трупи М. Кропивницького в Одесі з 1 грудня 1885 до 23 лютого 1886 р.

Вірина (Колтановська) Олександра Іванівна (пом. 1926 р.) — українська артистка на характерні ролі.

Грицай (Колтановський) Василь Овсійович (1856—1910) — український артист, співак, антрепренер.

Косиненко Юрій Іванович (1857—?) — український артист і режисер. В тексті помилково: Кашенко.

Лінська-Неметті (Колишко) Віра Олександрівна (1857—1910) — російська артистка, орендувала театр у Петербурзі.

Родон Віктор Іванович (пом. 1892 р.) — російський артист, орендував театр у Москві.

37

Вперше опубліковано в газ. «Новое время» 18 лютого 1888 р., № 4301. Текст подається за цією публікацією.

Датується за змістом передоднем публікації.

Лист написано як пояснення до глузливої критичної рецензії на виставу «Різдвяної ночі» М. Старицького, що відбулася 15 лютого 1888 р. в Петербурзі («Новое время», 17 лютого 1888 р., № 4300).

38

Вперше опубліковано в газ. «Новости и биржевая газета» 18 лютого 1888 р., № 49. Текст подається за цією публікацією.

Датується передоднем публікації.

На виставу «Різдвяної ночі», що відбулася 15 лютого 1888 р., газета «Новости и биржевая газета» також надрукувала глузливу рецензію («Новости и биржевая газета», 17 лютого 1888 р., № 48).

Тенденційно настроєна щодо українського театру газета «Киевлянин» охоче передрукувала рецензії газет «Новое время» та «Новости и биржевая газета», не вмістивши, однак, листів-пояснень М. Старицького. М. Лисенко, довідавшись лише про факт, що його твір зазнав довільних змін, виступив у газеті «Киевлянин» (23 лютого 1888 р., № 43) з листом, в якому висловив з цього приводу своє обурення.

Ā la hâte — нашвидку *(фр.)*.

39

Публікується вперше за автографом, що зберігається в Державному музеї театрального мистецтва УРСР (далі: ДМТМ УРСР), № 1544.

Рік встановлено за змістом, на основі того, що в травні 1889 р. трупа грала в Казані.

Заньковецька (Адасовська) Марія Костянтинівна (1860—1934) — велика українська артистка і театральний діяч, перша народна артистка Української РСР (з 1923 р.).

«Наймичка» — драма на 5 дій І. Карпенка-Карого.

...написав мені Карий, що не дозволя... — До вступу в Товариство російських драматичних письменників і оперних композиторів (1897 р.) І. Карпенко-Карий, користуючись авторським правом, дозволяв ставити свої п'єси лише в керованій ним трупі. П'єси М. Старицького і М. Кропивницького широко входили до репертуару всіх українських труп.

...не дуже попайдило... — не дуже пощастило.

Соня — Софія Віталіївна, дружина М. Старицького.

...турбувались все з поліцією. — М. К. Заньковецька була під таємним наглядом поліції за зв'язки в минулому з революційними народниками.

Плевако Федір Никифорович (1843—1908) — відомий московський адвокат.

...аж заплакав з Санею. — Саня — О. І. Вірина.

40

Публікується вперше за автографом, що зберігається в ДМТМ УРСР, № 236.

Саня — О. І. Вірина.

Соня — дружина М. Старицького Софія Віталіївна.
Микола — М. К. Садовський.
Іван Карпович — І. К. Карпенко-Карий.
...подняли... вопрос о воссоединении братства... — Об'єднання труп М. Старицького і М. Садовського не відбулося, але сам М. Старицький з 1892 до 1896 р. входив до складу трупи М. Садовського та був її уповноваженим.
Status quo — існуючий стан *(лат.)*.
Кохановська (за чоловіком — Пономаренко) Ганна Кузьмізна — українська артистка на характерні та комічні ролі.
Волкова Наталія Петрівна — українська артистка.
Пономаренко Микола Тарасович — український артист, потім антрепренер.
Вася — В. О. Грицай.
«Юрко Довбиш» — історична драма на 5 дій М. Старицького.
Мова (Петров) Денис Миколайович (пом. 1922 р.) — український артист, співак.
...роль Азы... — в драмі «Циганка Аза» М. Старицького.

41

Вперше опубліковано в газ. «Южный край» 25 травня 1890 р., № 3226. Текст подається за цією публікацією.
Датується передоднем публікації.
Александров Володимир Степанович (1825—1893) — маловідомий український письменник, автор оперет «За Немань іду» та «Не ходи, Грицю, на вечорниці» (оперета на 4 дії — 1873 р. і на 5 дій — 1884 р.).
...я бы покорно просил г. Александрова потoропиться выбором судей. — В. Александров негайно відповів згодою, а 5 червня відбувся і самий суд. Ще до оголошення в газеті рішення третейського суду В. Александров у тій же газеті «Южный край» (26 червня 1890 р., № 3258) надрукував лист:

> «М. г.! Покорнейше прошу вас не отказать напечатать и это мое письмо.
> В № 3224 вашей газеты я поместил письмо, в котором обвинил г. Старицкого в плагиате. В настоящее время, после того, как г. Старицкий изложил в присутствии приглашенных нами в качестве посредников компетентных лиц историю и обстоятельства возникновения его пьесы и представил цензурованный экземпляр, по которому эта пьеса ставится на сцене, я увидел, что тут нет плагиата, введен же я был в ошибку экземпляром, который я достал ранее как копию с его пьесы и который оказался одним из прежних списков, как то признал и г. Старицкий, почему в настоящее время и отказываюсь от обвинения его в плагиате, полное же определение взаимного отношения обеих пьес видно будет из более обстоятельного разбора вышеупомянутых гг. посредников, которые благосклонно согласились принять на себя этот труд».

Рішення третейського суду було оголошене лише 3 липня («Южный край», 1890, № 3264). У висновках говориться:

> «Ввиду всего вышеизложенного нижеподписавшиеся находят, что нет никаких оснований для обвинения г Старицкого, автора пьесы «Ой не ходи, Грицю, та на вечорниці», разрешенной ему для представления театральною цензурою,

в плагиате, понимая это слово как в смысле юридическом, так и в нравственном. Он мог ограничиться заявлением «сюжет заимствован», так как его пьеса есть самостоятельная разработка этого сюжета. Г. же Александров мог быть введен в заблуждение бывшим в его руках списком пьесы, в котором на общее число 142 страниц действительно на 8—9 страницах встречаются места частью тождественные, частью сходные с соответствующими местами пьесы г. Александрова.

Посредники: Д. Багалей, А. Потебня, А. Русов, Я. Станиславский, А. Шиманов».

42

Публікується вперше за автографом, що зберігається в ДМТМ УРСР, № 1550.

Дату встановлено за змістом і адресою: трупа М. Старицького грала в Харкові з 15 січня 1891 р., а трупа М. Садовського з 26 грудня 1890 р. до 9 травня 1891 р. грала в Москві (М. Заньковецька тільки до початку березня).

Микола — М. К. Садовський.

Нагорний — артист, антрепренер.

Дворниченко Іван Никифорович (пом. 1913 р.) — диригент, антрепренер.

Бурлака (Кірнос) Іван Євстратійович (пом. 1893 р.) — український артист на комічні ролі.

Потапенко Вячеслав Опанасович (1863—1942) — український артист і письменник (псевдонім — В. Безбрежний).

Васильєв (Святошенко) Матвій Тимофійович (1863—1961) — український композитор, диригент, заслужений діяч мистецтв УРСР (з 1947 р.), автор музики до ряду п'єс М. Старицького та М. Кропивницького.

...а суть продукты разложения и распадения трупа. — На відміну від початку 80-х років XIX ст., коли діяла українська трупа М. Старицького і М. Кропивницького та ще кілька труп з російсько-українським репертуаром, в 90-і роки кількість українських труп збільшується до тридцяти. Розквіт і поширення українського театру наприкінці XIX ст. були підготовлені історичним розвитком всієї української культури й свідчили про її зрілість. Проте з успіху українського театру намагались скористатись люди випадкові, які своєю діяльністю лише компрометували його. Вони утворювали невеличкі трупки комерційного характеру, зовсім не дбаючи про мистецтво. Вболіваючи за долю українського театру, провідні його діячі М. Старицький, М. Кропивницький, М. Садовський, П. Саксаганський та інші збільшення кількості українських труп розцінювали тільки як роздрібнення сил і часто несправедливо звинувачували своїх же учнів і послідовників, в даному разі В. Потапенка, М. Васильєва, І. Дворниченка, у зраді мистецьких принципів.

...купно с Лысенком, выйти... из Общества драматических писателей... — Цей намір здійснений не був.

«Чорноморці» — оперета на 3 дії М. Старицького (за Я. Кухаренком).

«Тарас Бульба» — драма на 7 дій М. Старицького (дозволена до вистави 1897 р.), *«Богдан Хмельницький»* — драма на 5 дій М. Старицького (дозволена до вистави 1896 р.).

Вася — В. О. Грицай.

Саня — О. І. Віріна.

Маруся — Марія Михайлівна Старицька (1865—1930), дочка письменника, українська і російська артистка, режисер і педагог музично-драматичної школи М. В. Лисенка. В трупі М. Старицького виступала під псевдонімом Яворська.

Люда — Людмила Михайлівна Старицька (1868—1942) — друга дочка М. Старицького, українська письменниця.

43

Автограф зберігається в ДМТМ УРСР, № 718. Вперше опубліковано в перекладі на українську мову в книзі «М. К. Заньковецька», К., 1937. Текст подається за автографом.

Сосьєте — товариство *(фр.)*. На відміну від антрепризи, тобто керівництва трупи одною особою — приватним підприємцем, існувала ще колективна форма керівництва, при якій трупу очолювала група її провідних артистів — членів товариства.

....превосходный декоратор... — Ян Степняков.

...у меня есть две пьесы, только что разрешенные цензурой... — В січні 1891 р. дозволена до вистави драма «Циганка Аза» М. Старицького. Про яку другу п'єсу йде мова — не відомо, можливо, що Старицький тільки сподівався на дозвіл.

44

Автограф не знайдено. Публікується вперше за копією, що зберігається в ДМТМ УРСР, № 6467.

Датується за змістом цього, а також попереднього листа до М. К. Заньковецької.

Картавов Олексій Федорович (1844—1894) — власник театральних приміщень у Вільно й Мінську, антрепренер.

45

Публікується вперше за автографом, що зберігається в ЦДАЛМ СРСР, ф. 988, оп. 3, од. зб. 4.

Кондратьєв Іван Максимович (пом. 1924 р.) — секретар Товариства російських драматичних письменників і оперних композиторів, прихильно ставився до М. П. Старицького й завжди допомагав йому.

...Кропивницкий ставит мои пьесы... с другими заголовками. — М. Лисенко ще в січні 1886 р. теж скаржився до правління Товариства, що М. Кропивницький ставить п'єси М. Старицького з музикою М. Лисенка, але не зазначає, чия музика.

46

Публікується вперше за автографом, що зберігається в ЦДАЛМ СРСР, ф. 988, оп. 3. од. зб. 4.

...разрешавшему мне авансы до 500 р. — М. Старицький постійно перебував у скрутних матеріальних умовах, а тому часто звертався до Товариства російських драматичних письменників з проханням авансів в рахунок майбутнього гонорару з поступовим погашенням взятої суми.

47

Публікується вперше за автографом, що зберігається в ЦДАЛМ СРСР, ф. 988, оп. 3, од. зб. 4.

Сам я уезжаю в Минск... — В Мінську трупа М. Старицького грала з 23 квітня до 23 травня 1891 р.

...доверенность на свои два голоса... — Дійсні члени Товариства російських драматичних письменників під час зборів користувалися правом двох голосів.

...хотел было переуступить права свои на гонорар авторск[ий] жене для ограждения интересов семьи. — Численні кредитори М. Старицького надсилали виконавчі листи до Товариства російських драматичних письменників для покриття боргів М. Старицького за рахунок його гонорару. Сам М. Старицький також змушений був розраховуватися з ними в такий спосіб.

Состоит ли... Лысенко членом нашего Общества... и можно ли ему продать или переуступить доход? — М. В. Лисенко був членом Товариства з 5 січня 1886 р. М. Старицький офіційно продав свій гонорар 19 червня 1891 р. М. В. Лисенку на п'ять років, до 1 червня 1896 р., за 1500 крб. (Зауважимо, що за 1890 рік М. Старицький одержав гонорару за свої п'єси 1275 крб.).

48

Публікується вперше за автографом, що зберігається в ДМТМ УРСР, № 1549.

Галяміна — артистка трупи М. Старицького.

Доленко Марія Костянтинівна — артистка трупи М. Старицького.

На гастроли ли Вы приехали к Саксаганскому... — М. Заньковецька виступала в трупі П. Саксаганського у червні — липні, потім знову повернулась в трупу М. Садовського. В трупі М. Старицького, яка тоді перебувала в Москві, М. Заньковецька не гастролювала.

49

Публікується вперше за автографом, що зберігається в ДМТМ УРСР, № 1548.

Рік встановлено за змістом.

Микола — М. К. Садовський.

У меня есть теперь для Вас одна пьеса... — Очевидно, йдеться про драму «Розбите серце», присвячену М. К. Заньковецькій. На сцені поставлена не була через цензурну заборону.

...несу большую повесть... — Повість «Осада Буши» (російською мовою) надрукована в газ. «Московский листок», листопад — грудень 1891 р.

Пастухов Микола Іванович (1822—1912) — видавець і редактор газети «Московский листок».

50

Публікується вперше за автографом, що зберігається в ДМТМ УРСР, № 1545.

Датується за змістом, а також на основі попереднього й наступного листів.

Какие у вас имеются номера... — тобто ноти до пісень у драмі «Циганка Аза».

Шелопутін — власник театру в Москві.

Лентовський Михайло Валентинович (1843—1906) — російський артист, режисер, антрепренер, директор організованого ним театру «Скоморох» (1885).

Неужели Кропивницкий поднимет и в Питере братоубийственную войну? — На початку літа 1891 р. М. Садовський і М. Кропивницький, незалежно один від одного, клопотались про дозвіл грати

в Петербурзі й обидва одержали його приблизно на один і той же час та склали умови з театрами. Трупа М. Садовського грала в Петербурзі з 29 жовтня до 31 грудня 1891 року, а М. Кропивницького — з 10 листопада до 22 грудня 1891.

51

Публікується вперше за автографом, що зберігається в ДМТМ УРСР, № 1546.

Рік встановлено за змістом та зв'язком з іншими листами.

«Сорочинський ярмарок» — комедія на 4 дії М. Старицького, музика М. Гротенка.

Марко — М. Л. Кропивницький; йдеться про намір М. Кропивницького і М. Садовського об'єднати свої трупи.

52

Публікується вперше за автографом, що зберігається в Центральному державному Історичному архіві в Ленінграді, ф. 776, оп. 20, од. зб. 222, арк. 31.

Прилагая при сем рукопись... — До збірника входили такі п'єси М. Старицького: «Юрко Довбиш», історична драма на 5 дій, 6 картин, «Крути, та не перекручуй», комедія на 5 дій, «Циганка Аза», музична драма на 6 дій. В квітні 1892 р. драма «Юрко Довбиш» була заборонена до друку і в березні 1893 р. за проханням С. Ф. Рассохіна замінена п'єсою «Ніч під Івана Купала», а останні дві були дозволені до друку. Збірник М. Старицького «Малороссийский театр», т. II вийшов у Москві 1893 р., до нього ввійшли згадані п'єси.

Віршів до цензури було подано п'ять: «На роковини», «Весна», «Бажання», «Нива» і «Непевність»,— всі вони були заборонені до друку одночасно з драмою «Юрко Довбиш».

Рассохін Сергій Федорович — видавець «Театральної бібліотеки» (Москва), видавав драматичні твори М. Старицького.

53

Машинописні копії листів М. П. Старицького до М. Ф. Комарова зберігаються в Одеській державній науковій бібліотеці ім. О. М. Горького (далі: ОДНБ ім. Горького), відділ рукописів, № 522, арк. 604—623. Місце зберігання автографів листів — не відоме.

Публікується вперше за машинописною копією, арк. 621—622. Датується за змістом.

...треба їсти чужий хліб, коли свого дастьбі... — Мабуть, натяк на те, що М. Старицький вклав усі свої гроші в театральну справу, яка довела його до великих збитків.

...симпатії сотень людей... — В машинописній копії: сотні (мабуть, помилка виникла під час передруку).

...прочув уже в Києві про Вашу збірку... — На початку 1892 року М. Комаров звернувся до багатьох українських письменників з проханням надіслати свої твори для збірника «Запомога», що мав бути виданий на користь голодуючих. М. Комаров просив М. Старицького надіслати «драматичний утвір і декілька віршів». Цензура заборонила видання збірника.

Микола — М. В. Лисенко.

...не маю права на інші руки давати... — В машинописній копії: на тії руки. Очевидно, неправильно прочитане слово з автографа.

«Русская мысль» — щомісячний літературно-політичний журнал ліберального напряму, виходив у 1880—1918 рр. у Москві. Тут друкували свої твори М. Горький, А. Чехов та інші прогресивні письменники. Повість «Облога Буші» в журн. «Русская мысль» не друкувалась.

Людмила — дочка М. Старицького.

А щодо віршів, то я можу їх... — В архіві М. Ф. Комарова зберігається рукопис-автограф таких віршів М. Старицького: «Всьому кінець... надії вже нема», «Поштар» (Тут бенкет і гомін, один ти в шумляві), «Виклик» (Ніч яка, господи, місячна, зоряна...), «Край коминка»; надіслані, мабуть, для збірника «Запомога».

54

Публікується вперше за автографом, що зберігається в ДМТМ УРСР, № 1533.

Рік встановлено за змістом і в зв'язку з наступним листом.

Бірзула — станція Одеської залізниці, нині Котовськ.

Зелений — адмірал, градоначальник м. Одеси, крайній реакціонер і самодур.

Чичагов — адмірал, морський міністр.

Навроцький В. В. — видавець і редактор газети «Одесский листок».

Грекова Марія Олександрівна — дружина І. М. Грекова.

Madame — М. О. Грекова.

Кліко — марка французького шампанського.

Пеліканов — агент Товариства російських драматичних письменників і оперних композиторів в Одесі, зять адмірала Зеленого.

Я разуверил Пеликанова... — Під час гастролей М. Садовського в Одесі агент товариства Пеліканов не прийшов до театру одержати гонорар за виставлювані п'єси й не повідомив своєї адреси. М. Садовський вніс належну суму на рахунок генерал-губернатора. Але Пеліканов зажадав потрійної оплати. Справа про цей авторський гонорар розглядалася в кількох судових інстанціях і була остаточно вирішена на користь М. Садовського, але він усе ж примушений був сплатити ту суму, яку з нього вимагали.

Берг — орендар театру в Одесі.

Контарелі — компаньйон Берга.

Знам'янка — станція Одеської залізниці. Тут М. Старицький відпочивав улітку 1892 р.

55

Публікується вперше за копією, що зберігається в ДМТМ УРСР, № 6468.

Датується на основі згадки про лист П. М. Глібова.

Глібов П. М. — адміністратор у трупі М. Садовського. Йдеться про його лист до М. П. Старицького від 26 липня 1892 р.

...в каком положении одесское дело. — Тобто клопотання про дозвіл на вистави трупи М. Садовського в Одесі. Трупа грала в Одесі з 24 листопада 1892 р. до 7 лютого 1893 року.

Греков (Ільїн) Іван Миколайович (1849—1919) — російський антрепренер і артист, 1892—1894 рр. орендував театр для своєї трупи.

«Одесские новости» — газета, видавалась у 1884—1917 рр.

«Одесский вестник» — газета, видавалась у 1828—1893 рр.

...могут признать Русский театр для малорусских спектаклей в пожарном отношении непригодным... — Відмова в оренді приміщень — це один із прийомів царської адміністрації в обмеженні діяльності українського театру.

Марки — система оплати членів Товариства. Із загальної суми, одержаної за театральні білети, після оплати організаційно-господарських витрат (театральне приміщення, реклама, транспорт тощо, а також після розрахунку з артистами на платні) решта ділилась між членами Товариства відповідно до кількості марок кожному.

Как насчет Киева? — Наказ Київського генерал-губернатора Дрентельна «на гарматний постріл» не допускати українські трупи до Києва залишався в силі на протязі десяти років. Наступник Дрентельна Ігнатьєв, дивлячись крізь пальці на те, що Київське драматичне товариство різноманітило свій репертуар українськими п'єсами, відхиляв, проте, всі клопотання про дозвіл на вистави українських труп. У квітні 1892 р. Драматичне товариство запросило на два виступи М. Заньковецьку та М. Садовського, а через рік з 31 березня до 18 квітня відбулися гастролі трупи М. Садовського.

Как там у Вас, спокойно? — тобто чи нема епідемії холери, яка того року була на Україні.

«Лимерівна» — драма на 5 дій Панаса Мирного, літературна й сценічна редакція М. Старицького. Про зміни, зроблені в п'єсі М. Старицьким, див. у статті: С. Зубков, Сценічна доля «Лимерівни» (журн. «Радянське літературознавство», К., 1957, № 6, стор. 59—89).

«Гороха-царя» выслал в цензуру». — Йдеться про комічну оперу «Цар Горох, або Чорт-побратим» (див. прим. до листа № 77).

56

Автограф зберігається в ДМТМ УРСР, № 1560. Вперше опубліковано в книзі: Панас Мирний. Лимерівна, К., вид-во «Мистецтво», 1951.

Текст подається за автографом.

Рік встановлено за змістом цього й попередніх листів.

...в ней роль для Анны Петр[овны]... — для Г. П. Затиркевич-Карпинської.

Жердов — видавець, власник хутора на Чернігівщині, де часто відпочивала М. К. Заньковецька.

57

Вперше опубліковано в газ. «Крым» 22 жовтня 1892 р., № 18. Текст подається за цією публікацією.

Датується передоднем публікації.

«Крым» — газета ліберально-буржуазного напряму, видавалась у Сімферополі з березня 1888 р. до березня 1906 р.

...за сочувственный отзыв к моей личности... — Рецензент газети «Крым» у своїй замітці про початок вистав трупи М. Садовського в Сімферополі між іншим писав: «На афишах малорусской труппы значится, что вторым режиссером состоит М. П. Старицкий. О злая судьба! Как жестоко ты посмеялась над этим маститым и заслуженным деятелем малорусской сцены! Кто, как не Михаил Петрович,

создал первую малорусскую труппу, которая была образцовая во всех отношениях? Кто потратил все силы и средства на театральн[ое] дело, как не тот же Михаил Петрович? Кто, наконец, поставил на ноги Садовского, Саксаганского, Заньковецкую и других так называемых корифеев малорусского театра, как не все тот же Михаил Петрович? И вот в награду за такое беспримерное усердие к искусству Михаил Петрович на закате лет получил должность *второго* режиссера в труппе своих учеников! Обидно, до слез обидно!»

58

Публікується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів ДПБ АН УРСР, III, 39 440.

Датується на основі помітки Б. Грінченка про час одержання: [18]93.IV.8(20).

...*яких уже не вивітрить і вітер північний...*— тобто цензура.

...*Ваш переклад «Вільгельма Телля»...*— «Вільгельм Телль», драма Ф. Шіллера, в перекладі Б. Грінченка, опублікована 1895 р. в львівському журналі «Зоря» (№№ 1—4, 6—14). М. Старицький читав цей переклад в рукопису, надісланому Б. Грінченком до Києва.

...*Ваша «Беатріче»* — «Беатріче Ченчі», поема Б. Грінченка, надрукована вперше в альманасі «Літературний збірник, зложений на спомин Олександра Кониського», К., 1903.

...*Не ломлячи присяги перед богом!* — Цей уривок в «Зорі» (1895, № 12, стор. 229) має іншу редакцію. Очевидно, Б. Грінченко не прийняв зауваження М. Старицького, бо тоді б довелося виправляти (точніше — перекладати вдруге) всю поему. Два наступних уривки з поеми, цитованих у листі М. Старицького, в «Зорі» подано в цій самій редакції.

59

Публікується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів ІЛ АН УРСР, ф. 77, № 108.

...*в день цього урочистого для Вас і для нас свята...*— тобто тридцятип'ятиліття літературної діяльності О. Кониського.

60

Публікується вперше за автографом, що зберігається в ЦДАЛМ СРСР, ф. 988, оп. 3, од. зб. 4.

Датується на основі помітки про одержання: 9 июня 1893.

...*на счет Лысенка...*— див. прим. до листа № 47.

...*список моих драматических произведений...*— При листі цього списку нема.

...*чтобы агенты за «одмины» брали плату* — тобто, коли п'єса на 5 дій і 6 одмін, то щоб брали плату як за 6 дій.

61

Публікується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів ІЛ АН УРСР, ф. 61, № 854.

Датується на основі помітки на листі про час одержання: «Доручено 15 липня 1893», тобто за старим стилем — 3 липня.

Лукич Василь — літературний псевдонім Володимира Лукича Левицького (1856—1938), галицького культурно-громадського діяча ліберально-буржуазного напряму. З 1890 до 1897 р. В. Лукич був редактором літературно-наукового журналу «Зоря» (Львів).

«В темряві» («Кривда і правда») — драма на 5 дій 6 одмін М. Старицького. Надрукована в журналі «Зоря», 1893, №№ 19—23. Того ж року вийшла у Львові окремим виданням.

«Безталанна», «Наймичка, «Розумний і дурень», «Бондарівна», «Чабан» («Бурлака»), «Гріх і покута» (правильно: «Гріх і покаяння», перша назва драми «Батькова казка») — п'єси І. К. Карпенка-Карого.

...Ваш присуд премій...— 1893 року Галицький виділ краєвий проводив конкурс на кращу п'єсу.

Кибальчич (Симонова) Надія Матвіївна (1856—1918) — українська письменниця ліберально-буржуазного напряму, відома під псевдонімом Наталка Полтавка.

Ванченко (Писанецький) Костянтин Іполитович (1863—?) — український артист, антрепренер, автор кількох п'єс.

«Облога Буші» — повість М. Старицького, надрукована в журналі «Зоря» 1894—1895 рр. Докладніше про неї див. том 5, кн. 3 нашого видання (стор. 743—745).

«Заклята печера» — історична повість М. Старицького, надрукована під назвою «Заклятий скарб» в журн. «Літературно-науковий вісник», 1903, т. XXI, січень — лютий — березень. Докладніше про цю повість див. в примітках до 7 тома нашого видання.

62

Публікується вперше за автографом, що зберігається в ЦДАЛМ СРСР, ф. 988, оп. 3, од. зб. 4.

Датується на основі згадки про смерть І. М. Ге.

Ге Іван Миколайович (1842—1893) — російський драматург і журналіст.

...выхлопочите ей хотя единовременное пособие...— На цьому листі є помітка, що 12 листопада їй надіслано 100 крб. допомоги. Крім того, в газ. «Киевское слово» 27 вересня 1893 р. № 2049 надруковано повідомлення, що Петербурзький літературний фонд призначив удові І. М. Ге пенсію по 15 крб. на шість місяців.

63

Публікується вперше за автографом, що зберігається у філіалі Центрального державного Історичного архіву УРСР у Львові (далі — філіал ЦДІА УРСР у Львові), ф. 375, оп І, од. зб. 12, арк. 96—97.

Датується за змістом. Подорож Л. М. Старицької до Львова саме влітку 1893 р. стверджується її листом від 12 вересня до О. Г. Барвінського.

Шухевич Володимир Осипович (1850—1915) — український етнограф, педагог, голова галицького товариства «Руська бесіда», редактор журналів «Дзвінок», «Учитель», громадський діяч буржуазно-ліберального напряму.

...на той рік на виставу збираємося усі бігти.— Йдеться про промислову, сільськогосподарську та культурну виставку краю у Львові, яка відкрилась у серпні 1894 р.

Тарновський Василь Васильович (1837—1899) — український громадський діяч ліберально-буржуазного напряму, збирач української старовини, засновник Історико-етнографічного музею в Чернігові та Історичного музею козацької старовини в Києві.

...мати дужий польський театр...— тобто велике театральне приміщення.

64

Публікується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів ІЛ АН УРСР, ф. 15, № 120.

Рік встановлено за змістом.

Хотя бы эта злосчастная повесть...— Не відомо, про яку повість йде мова.

Я уже писал и Вере Васильевне...— В. В. Замржицька, знайома М. Старицького.

...не оставить в «Обозрении».— Мабуть, М. Старицький має на увазі щомісячний літературно-політичний і науковий журнал «Русское обозрение», який виходив у Москві в 1890—1898 pp. Журнал під назвою «Обозрение» в Росії не видавався.

«Артист» — щомісячний театральний, музичний і художній журнал, виходив у Москві з вересня 1889 до лютого 1895 року.

...я ему вышлю воспоминание о последнем дне Ив[*ана*] *Никол*[*аевича*] — тобто І М. Ге (див. прим. до листа № 62). Не відомо, чи М. Старицький надсилав ці спогади до журналу «Артист», публікації їх там не знайдено.

«Кривда і правда» («В темряві») — драма М. Старицького, поставлена вперше трупою М. Садовського 21 грудня 1893 р. в Москві.

«Талан» — драма на 5 дій М. Старицького.

«Зрада» — драма на 5 дій Л. Старицької.

«Сафо» — драматична картина на І дію (лібретто для опери) Л. Старицької, музика М. Лисенка. Надрукована в журналі «Життя і слово», 1896, кн II—III.

«Розбите серце» — див. прим. до листа № 49.

...русский «Богдан Хмельницкий»...— Драма М. Старицького «Богдан Хмельницький» на російській сцені поставлена не була.

...хотя бы 1-ю и последн[*юю*] *главу «Буши»...*— Російський текст повісті «Осада Буши» («Московский листок», 1891) потрібний був М. Старицькому для перекладу твору на українську мову.

Стешенко Іван Матвійович (1873—1918) — український письменник, громадський діяч буржуазно-націоналістичного напряму, чоловік дочки М. Старицького Оксани Михайлівни.

65

Публікується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів ІЛ АН УРСР, ф. 15, № 118.

Датується за змістом

Сейчас получил из цензуры... пьесу «Т а л а н»...— Драма «Талан» М. Старицького дозволена до вистави Петербурзьким цензурним комітетом 24 листопада 1893 р.

Вирубов Олександр Петрович — меценат, матеріально допомагав трупам М. Кропивницького та М. Садовського.

66

Публікується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів ІЛ АН УРСР, ф. 15, № 125.

Датується за змістом та в зв'язку з попередніми листами.

Федотов Олександр Пилипович (1841—1895) — російський театральний діяч, артист, режисер, педагог.

В Москве пока незавидные дела.— Трупа М. Садовського, до складу якої входив і М. Старицький, грала в Москві з 5 грудня 1893 року до 27 лютого 1894 р.

Парижский скандал с Деркачом...— Деркач (Любимов) Георгій Осипович (1846—1900) — український артист, антрепренер. У грудні 1893 — січні 1894 рр. відбулися гастролі української трупи Г. Деркача в Парижі. Французьким глядачам були показані «Наталка Полтавка» і «Назар Стодоля». Вистави пройшли з великим успіхом, про що повідомлялось у паризькій пресі, а також у рецензії паризького кореспондента газети «Новое время» (6 грудня 1893 р.). Проте адміністративно-організаційна нерозпорядливість дирекції трупи в складних умовах закордонних гастролей привела до фінансового краху. Зневажливо-вороже ставлення офіційних російських кіл до українського театру сприяло тому, що в пресі і в першу чергу в «Новом времени» ширились повідомлення саме про мистецьку невдачу цих гастролей.

Милославський (Фрідебург) Микола Карлович (1811—1882) — російський артист, режисер, антрепренер.

«Русская свадьба» — драма П. Сухоніна.

«Власть тьмы» — драма Л. Толстого.

«Гроза» — драма О. Островського.

Сарду Віктор'єн (1831—1908) — французький драматург.

У дяди Коли я не бываю. Бабуня больна на ногу...— М. В. Лисенко та його мати О. Є. Лисенко.

67

Автограф зберігається у відділі рукописів ДРНБ у Львові, фонд Барвінських, № 2636. Вперше опубліковано в журн. «Жовтень», 1960, № 12, стор. 109—110.

Текст подається за автографом.

Датується на основі помітки на листі про час одержання (за н. ст.): «11/I—94».

Барвінський Олександр Григорович (1847—1927) — український культурно-освітній і громадсько-політичний діяч буржуазно-націоналістичного напряму, письменник і педагог.

«Дзвінок» — дитячий журнал, виходив у Львові (1890—1914).

«Галілей» — розповідь Олесі Зірки (за Гіссандьє), надрукована в журн. «Дзвінок», 1894, № 6 (Олеся Зірка — псевдонім Ольги Косач, молодшої сестри Лесі Українки).

«Про воду» — надруковано під назвою «Як ходить вода», без підпису, в журн. «Дзвінок», 1894, № 4.

«Зоря натхнення» — казка Л. Старицької («Дзвінок», 1894, №№ 6, 7).

«Про що дзвонив дзвінок» — «Про що дзвонив «Дзвінок» українсько-руським дітям на Новий рік», за підписом Чижик, надруковано в журн. «Дзвінок», 1894, № 2.

«Розповідок чаїнок» — надруковано під назвою «Оповідання чаїнок» (переклад Оксани Старицької) в журн. «Дзвінок», 1894, № 3.

Байки — невідомо, чиї байки було надіслано. В «Дзвінку» 1894 року друкувались байки таких наддніпрянських письменників: Л. Глібова, О. Романової, Б. Грінченка, С. Руданського.

«Буланко» — оповідання М. Старицького («Дзвінок», 1894, № 4).

«Роберт» — «Роберт Брюс, король шотландський», поема Лесі Українки («Дзвінок», 1894, №№ 11, 12, 13).

«Дещо звідусіль».— Матеріал під такою назвою в «Дзвінку» не був надрукований.

Досі не маю від Вас... відповіді і на перший мій лист...— Цей лист не знайдено.

68

Публікується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів ДРНБ у Львові, фонд Барвінських, № 2635.

Рік встановлено за змістом.

...Ваше оповіщення не дає жодної реклами, жодної заохоти до пренумерати...— В першому номері «Дзвінка» за 1894 р. було вміщено таке повідомлення: «На сей рік постановило «Руське товариство педагогічне», яко видавець, змінити формат «Дзвінка» і об'єм єго збільшити. «Дзвінок» виходити буде відтепер 2 рази в місяць в форматі великої октави (як сі запросини) в півтора аркуші друку».

...в друге число новорічні дві казки...— «Зоря натхнення» Л. Старицької та «Про що дзвонив «Дзвінок» Чижика.

...треба лаштувати надібок на третє число...— Літературний матеріал на третє число надіслано 11 січня 1894 р., але з листа Л. Старицької, яка надсилала цей матеріал, не можна встановити, що саме було надіслано.

69

Публікується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів ДРНБ у Львові, фонд Барвінських, № 2635.

Датується за змістом у зв'язку з попередніми листами.

...про смерть і похорони Глібова...— передрук із «Зорі» — «Смерть і похорон Л. Глібова» (без підпису), «Зоря», 1894, № 2.

Вірші «Зорі» Чайченка передруковуються майже третій раз! — Вірш «Зорі» Б. Грінченка вперше надруковано в журн. «Дзвінок», 1890, № 5, вдруге — 1894, № 1. У відповідь на це зауваження В. Шухевич писав у листі від 22 січня н. ст. 1894 р. до М. Старицького: «Годі мені згодитись і з деякими Вашими поглядами: от хоч би приміром про вірш Чайченка «Зорі»... Се таке чудове, що хоч би щороку перепечатував, а взглядно заповняв тих кілька бракуючих стрічок» «Зорі» все радо читаються». І далі: «Що Ви знайшли невідповідного у Чайченковім «Залізі» і «Золоті» — сего вже не знаю. Малі діти дуже радо се читали...»

«Залізо» — «Дзвінок», 1894, № 1, без підпису.

«Свят-вечір» — оповідання Данила Лепкого (1858—1912), західно-українського письменника, надруковано під назвою «Святий вечір», «Дзвінок», 1894, № 1.

...байка Глібова...— «Огонь і Гай», «Дзвінок», 1894, № 1.

70

Публікується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів ІЛ АН УРСР, ф. 61, № 855.

Датується на основі того, що цей лист М. Старицького є відповіддю на лист В. Лукича від 16 січня н. ст. (4 січня ст. ст.) 1894 р. і, як видно з помітки на ньому, в редакції «Зорі» його одержано 29 січня н. ст. (17 січня ст. ст.) 1894 р.

...аби Комісія мала чим-небудь в'язати...— Очевидно, це та ж сама редакційна комісія, яка підписала лист до О. Г. Барвінського (див. лист № 67): М. Старицький, М. Лисенко, Л. Старицька,

Л. Українка. З приводу цього проекту В. Лукич в листі від 16 січня н. ст. 1894 року писав до М. Старицького: «За виявлену охоту з боку Вп. панів помагати «Зорі» вибраним літературно-науковим матеріалом я можу тільки хіба подякувати іменем редакції. Певно, се буде велика підмога, наколи до редакції надходитиме вже готовий, провірений і вибраний матеріал, то тоді вистарчить і менше докладний перегляд з боку редакції. Взамін за ласку Вп. панів редакція готова відноситись до бажань і проектів Комісії з великою увагою і прихильністю. Одначе се річ зовсім справедлива, що редакція не може бути Комісією зв'язана і змушена: 1) містити без розбору усе, що шан[овна] Комісія зволить надіслати...»

Далі в тому ж листі В. Лукич говорить про ті мовностилістичні зміни, що він їх зробив у повісті «Облога Буші» М. Старицького, а в кінці просить, щоб Комісія надіслала оповідання, новели й вірші для «Зорі» та обіцяний літературний огляд.

Дніпрова Чайка — псевдонім української письменниці демократичного напряму Людмили Олексіївни Василевської (1861—1927). Її поезія в прозі «Хвиля», надрукована в журн. «Зоря», 1894, № 1.

«Вітчина» нехай так і буде.— В повісті «Облога Буші» М. Старицький писав «вітчизна», В. Лукич вважав це полонізмом і виправив скрізь на «вітчина».

Лянцкоронський — дійова особа в повісті «Облога Буші».

Чайченків розповідок гарний...— «Підпал», оповідання Чайченка (Б. Грінченка), «Зоря», 1894, № 1.

...оці Руданського твори...— йдеться про співомовки «Prosie się», «Каньовський і Радивіл», «Ratuj, bracie», «Szukaj sensu», «Камінний святий», «Лист», «Пан і Іван в дорозі» («Зоря», 1894, № 1).

Небіжчика Глібова оці вірші теж заслабі.— Йдеться про вірш «Під калиною» Л. Глібова («Зоря», 1894, № 1).

«Нива», «Север» — ілюстровані літературні журнали, виходили в Петербурзі.

71

Публікується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів ІЛ АН УРСР, ф. 15, № 122.

Датується за змістом, на основі згадки про прем'єру драми «Талан».

В четверг идет в 1-й раз «Талан»...— Прем'єра відбулася 10 лютого 1894 р. Роль Лучицької виконувала М. К. Заньковецька, якій автор присвятив п'єсу.

...отдать через Библиотеку...— М. Старицький має на увазі бібліотеку імператорських театрів у Петербурзі. Подані через цю бібліотеку п'єси проходили цензуру значно швидше, ніж представлені приватними особами.

Имея в виду... что таковая уже разрешена Ванченку...— Йдеться про драму «Тарас Бульба під Дубном» (за М. Гоголем) Ванченка-Писанецького.

...влиятельная и благодетельная дама уже в Питере...— В. В. Замржицька.

...не так наглы...— тобто не такі пильні, термінові.

...разницу тыс. 5000...— Треба читати: тисяч 5.

72

Публікується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів ІЛ АН УРСР, ф. 15, № 124.

Датується на основі змісту.

Лист має незначні пошкодження; вставлені за змістом слова взято в квадратні дужки.

...о безобразных исках, арестах и т. п.— Йдеться про борги ще по театральній трупі М. Старицького, з якої він вийшов 1891 р.

«Крути, та не перекручуй» — комедія на 5 дій М. Старицького, перероблена з комедії «Перемудрив» П. Мирного.

Все мы выехали в среду... из Москвы...— У Москві трупа М. Садовського грала з 5 грудня 1893 р. до 27 лютого 1894 р., а з 20 квітня до 20 травня 1894 р.— в Києві.

Или мне не суждено дожить до разрешения богдановского вопроса ни в Галиции, ни в России? — Про заходи М. Старицького щодо надрукування драми «Богдан Хмельницький» в Галичині чи постановки її на сцені в цей час відомостей не знайдено.

Рассохіна Єлизавета Михайлівна — стояла на чолі Московського театрального агентства, яке влаштовувало ангажементи артистам, відало гастролями, набором труп та ін.

Перлов — театральний псевдонім Михайла Семеновича Пружникова, українського артиста, який кілька років грав у трупі М. Старицького.

73

Автограф зберігається у відділі рукописів ДПБ АН УРСР, І, 29 783. Вперше опубліковано в журн. «Життя і революція», 1926, XII, стор. 70—71.

Текст подається за автографом.

Датується умовно серпнем 1894 р. за змістом, зокрема на основі згадки про працю над романом про Богдана Хмельницького. Збереглася також відповідь П. Куліша на цей лист, але вона, на жаль, має таку дату: «Р. б. 1894, місяця зарева, 11 дня». Який місяць П. Куліш називав «зарево» — не встановлено, можливо, що серпень.

...хоч і щастило мені майже раз чи два бачить пана — не більше...— Про одну зустріч М. Старицького з П. Кулішем під час III археологічного з'їзду в Києві (перша половина серпня 1874 р.) розповідає О. Пчілка в своїй «Автобіографії».

...Ваше слово... розбудило мою душу від малку...— Йдеться про захоплення М. Старицького романом «Чорна рада» П. Куліша. Див. «К биографии Н. В. Лысенка» в цьому томі.

...як візьму до рук «Ратая», чи «Псалми», чи «Чорну раду», чи «Хмельниччину», чи «Досвітки»...— Ратай — один із псевдонімів П. О. Куліша; «Псалми» — «Псалтир, або Книга хвали божої», переспів український Павла Ратая, Львів, 1871; «Хмельниччина (Історичне оповідання)», СПб., 1861; «Досвітки. Думки і поеми», СПб., 1862; вид. 2, К., 1878.

...в занадто простецькій мові його не було і нема чого вчитись...— Неологізми (напр., байдужість, мрія, темрява, привабний, дочасовий та ін.), введені М. Старицьким в його оригінальні поетичні твори й переклади, викликали осуд і заперечення не тільки з боку російської реакційної критики (напр., газета «Киевлянин»), але й прихильних до української літератури людей (напр., М. Костомарова

в його рецензії на альманах «Луна»), а також найближчих товаришів письменника, які часом різко заперечували, а то й висміювали його «ковальство». При цьому опоненти М. Старицького посилались на народну мову й на твори Т. Шевченка, доводячи, що в його поезіях таких слів нема, отже, їх не можна вживати. Звичайно, такі посилання викликали протест з боку М. Старицького і разом з тим, в запалі полеміки, сприяли формуванню в нього помилкових поглядів на мову Шевченка. Зрештою, треба пам'ятати також, що тоді ще не було розпочате наукове вивчення мови Шевченка, отже, й не дивно, що в М. Старицького з цього приводу були хибні погляди.

Я й тепера оце пишу роман з Хмельниччини... — Йдеться про роман «Богдан Хмельницкий» (пізніша назва — «Перед бурей»), працю над яким Старицький почав 1 серпня 1894 р.

Почувши, що п. Тимченко має до Вас прямувати... — Тимченко Євген Костянтинович (1866—1948) — український мовознавець, влітку 1894 р. їздив до П. Куліша на хутір Мотронівку в справі видання Кулішевих перекладів творів Шекспіра.

74

Вперше опубліковано в газ. «Жизнь и искусство», 17 січня, 1895 р., № 17.

Текст подається за цією публікацією.

Датується передоднем надрукування.

«Жизнь и искусство» — щоденна літературна, політична й художня газета, виходила у Києві з кінця 1892 до 1902 року, обстоювала реалізм у літературі, театрі та образотворчому мистецтві.

...прежним Вашим сотрудником («Неизвестным»)... — Під цим псевдонімом у 1880-х роках виступав Коган. Докладніших відомостей про цього співробітника «Киевлянина» поки що не пощастило розшукати.

75

Вперше опубліковано в газ. «Приазовский край», 26 січня 1895 р., № 24.

Текст подається за цією публікацією.

Датується серединою січня за змістом.

«Приазовский край» — щоденна прогресивна політична, економічна й літературна газета, виходила в Ростові-на-Дону з 1891 до 1918 р.

...в фельетоне под заглавием «Сказки жизни...» — Це — загальна назва ряду фейлетонів, кожен з яких мав свою додаткову назву. В газеті «Приазовский край» 12 січня 1895 р., № 10 надруковано п'ятий фейлетон П. Тресова «Сказки жизни» з підзаголовком: «Несколько слов о литературной и артистической чистоплотности».

...я... формально просил Главное управление по делам печати не выдавать никому, помимо меня, копий. — 25 серпня 1894 р. М. Старицький звернувся до Головного управління в справах друку з такою заявою: «Честь имею почтительнейше просить Главное управление по делам печати не давать посторонним лицам, без моей письменной просьбы, заверенных копий моих драматических произведений, так как этим путем нарушаются мои авторские права и копии попадают в руки таких лиц, которые искажают только мои произведения» (ЦДІА у Ленінграді, ф. 776, оп. 25, од. зб. 417).

Ще до опублікування цього листа М. Старицького в газ. «Приазовский край» з протестом проти здогадів П. Тресова виступив керівник української трупи О. Суслов.

76

Публікується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів ІЛ АН УРСР, ф. 15, № 123.

Датується за змістом в зв'язку з наступним листом.

...хотят хлопотать о пенсии... — див. наступний лист.

Старицький Петро (Петя) — якийсь родич М. Старицького.

Старицький Єгор Павлович (1825—1899) — судовий діяч, з 1879 року — член Державної ради, потім начальник департаменту законів Державної ради.

Суворін Олексій Сергійович (1834—1912) — російський буржуазний журналіст, видавець. З 1876 р. — власник газети «Новое время».

77

Публікується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів Інституту російської літератури (Пушкинский дом) АН СРСР, ф. 540, 1895 р., спр. № 353.

Майков Леонід Миколайович (1839—1900) — історик російської літератури, в 1893—1900 рр. — віце-президент Академії наук.

...в «Телеграфе» — тобто в газеті «Киевский телеграф».

...и, издав их два тома, в 1876 году... — Тут неточність: «Сербські народні думи і пісні» вийшли 1876 р. в одному томі.

...под заглавием «Думы и песни». — Йдеться про збірники «З давнього зшитку. Пісні і думи», ч. І і ІІ, К., 1881, 1883.

«За друга» — п'єса, написана в співавторстві з Безбрежним (В. Потапенком).

«Чорт-побратим» — комічна опера на 3 дії (інша назва «Цар Горох»), подана до цензури на початку 1893 р., заборонена до вистави і до друку в лютому 1893 р. Оскільки текст п'єси досі не розшукано, подаємо повністю доповідь, зроблену 3 лютого 1893 р. цензором Коссовичем в Петербурзькому цензурному комітеті:

«Комическая опера на малороссийском наречии, под заглавием «Черт-побратим», напоминает по содержанию ту серию французских оперетток, в роде «Belle Helene», в которых легко вышучивается многое, к чему обыкновенно в жизни относятся с уважением.

Содержание оперетты фантастическое. На сцену выводится продажный двор царя Гороха. У царя одна дочь. Министры хотят выдать ее за князя армянского. Королевна влюблена в русского князя Романа. Интриги при дворе отодвигают русского князя. Его сажают в тюрьму и снова выпускают. Королевна заболевает холерой. Это дело черта, бывшего помощника князя русского, поссорившегося с ним. Но князь одним удачным словом прогоняет черта и женится на королевне.

Король Горох представлен добряком, которого все кругом обманывают. Он большой обжора и любитель женского пола. Жена его совершенно ему под пару. Оба ежеминутно засыпают на сцене. Министр финансов Хареско Каравейко великий вор, обирает и короля, и народ. Министр военный Лупейко-Станилейко тщеславный глупец. Почти на каждом шагу кричит — драть. В таком роде и все действующие лица оперетки. При том автор тщательно заботится,

где только возможно, придать действию местный славянский колорит. Так, напр., десятники, разгоняя народ, приговаривают — честью просим.

Вообще оперетка «Черт-побратим» представляет собой новый жанр, пока еще не употреблявшийся в малороссийских пьесах, предназначаемых для сцены. По мнению цензора, совершенно неудобно давать дозволение на такие пьесы на малороссийском наречии, в котором, хотя и добродушно и безотносительно, по-видимому, вышучивается довольно зло королевская власть»

На звороті іншою рукою написано: «Определено: По изложенным цензором основаниям признать пьесу подлежащею запрещению как к исполнению на сцене, так и к напечатанию,— о чем и донести Главному управлению по делам печати» (ЦДІА у Ленінграді, ф. 777, оп. 4, од. зб. 4, арк. 56).

Таке повідомлення було надіслано до Головного управління в справах друку 9 лютого 1893 р., і п'єса не побачила світу.

«Не так склалося, як жадалося» — інша назва п'єси «Не судилось» («Панське болото»). Відомості про перелічені тут п'єси М. Старицького див. у примітках до 2, 3 і 4 томів нашого видання.

...вошли в собрание моих драматических произведений, издаваемое в Москве г. Рассохиным (вышло пока 2 тома).— «Малороссийский театр», т. І., М., 1890 («Сорочинський ярмарок», «За двома зайцями», «Як ковбаса та чарка, то минеться й сварка», «Ой не ходи, Грицю, та на вечорниці», «По-модньому»); «Малороссийский театр», т. II, М., 1893 («Крути, та не перекручуй», «Циганка Аза», «Ніч під Івана Купала»).

С 1884 г. я стал сотрудником газеты «Московский листок»...— У справі є таке свідоцтво редактора-видавця газети «Московский листок» М. І. Пастухова: «Сим удостоверяю, что М. П. Старицкий более десяти лет состоит сотрудником издаваемой мной газеты «Московский листок». В течение этого времени в моей газете были помещены многие произведения г. Старицкого, между прочим, исторический роман «Богдан Хмельницкий», историческая повесть «Осада Буши», историческое предание «Заклятая пещера», повесть «Непокорный» и другие. Кроме романов и повестей, в моей газете были помещены многие из его небольших рассказов, а также и стихотворения».

«Заклятая пещера», «Мыто» (надруковано під назвою «Червоный дьявол»), *«Непокорный»* (український варіант має назву «Розсудили») — див. прим. до них в томі 7 нашого видання.

«Над пропастью»...— Оповідання «Над пропастью», «Никола» («Гаданье»), «Доктор» («Благодетель»), «Сторож» («Будочник»), «Вареники», «Протокол» («Орыся»), «Верба», «Зарница», «В вагоне» надруковані в цьому томі нашого видання, див. прим. відповідно до кожного з них. Оповідання «Вот так совесть» надруковане під назвою «Вот совесть, так совесть!» 1891 р., «Узник» — 1893 р. Публікації оповідань «Буланый», «Понизил», «Жид» і «Рябко» в газеті «Московский листок» не знайдено.

...и в заграничных славянских изданиях...— тобто в західноукраїнських журналах «Правда», «Зоря» та інших, де друкувались його твори.

...должен был продать и доход из моих драматических произведений...— Див. прим. до листа № 47.

...назначить мне пожизненную возможную пенсию...— 1 грудня

1895 р. Комісія Академії наук для допомоги вченим і літераторам повідомила М. Старицького, що йому на 1895 р. призначена одноразова допомога в сумі 40 крб., а для одержання допомоги на 1896 рік треба подати нове прохання. 20 грудня М. Старицький звернувся з відповідним проханням, і йому було призначено 480 крб. пенсії на 1896 рік. Пенсії в розмірі 420 крб. М. Старицький одержував також 1897 та 1898 рр.

78

Публікується вперше за автографом, що зберігається в Чернігівському Історичному музеї, АЛ — 708.

Датується за змістом.

Щиро... дякую Вас за Ваше тепле слово про мене... — Коли М. Старицький звернувся до Академії наук з клопотанням про призначення йому пенсії (див. попередній лист), то Л. Майков доручив Д. Мордовцеву дати свої висновки про творчість прохача. У своєму відзиві, датованому 26 листопада 1895 р., Д. Мордовцев між іншим писав: «...в течение более чем тридцатилетней литературной деятельности своей г. Старицкий с редким усердием, доброжелательством и умением потрудился в пользу нравственного развития простого народа и оказал последнему ценные заслуги как развитием и обогащением народного театра, так и благотворным влиянием на добрые чувства своих мало просвещенных читателей. Не лишним нахожу пояснить при этом, что для поднятия народного театра г. Старицкий с редким бескорыстием употреблял все имевшиеся у него средства, вложил в это полезное дело все свое состояние, и когда дорогое ему дело достаточно окрепло, сам он потерял здоровье и достояние и остается теперь без всяких средств к существованию и поддержанию семейства».

Л. Старицька, яка ще залишалась у Петербурзі, повідомила про цей відзив батька, і М. Старицький одразу ж написав Мордовцеву лист.

79

Публікується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів Державної бібліотеки СРСР ім. В. І. Леніна, ф. 135, папка 34, од. зб. 13.

Датується на основі позначень на листі: перед початком з лівого боку рукою В. Короленка — «Отв. $\frac{14}{16}$ июня 96», праворуч — «1896», під ним: «май — июнь». М. Старицький помилково називає в листі Володимира Галактіоновича Короленка «Григоровичем».

Лесевич Володимир Вікторович (1837—1905) — російський реакційний філософ, один з основних співробітників журналу «Русское богатство».

...Вашего почтенного журнала? — Журнал «Русское богатство» виходив у Петербурзі в 1876—1918 рр.; спочатку — орган ліберального народництва, потім т. зв. «народних соціалістів», з 1894 р. В. Короленко був членом редакції журналу, а з 1904 року — редактором-видавцем.

У Державному музеї театрального мистецтва УРСР зберігається автограф листа-відповіді В. Г. Короленка від 14 червня 1896 р. Короленко пише: «Милостивый государь Михаил Петрович. В. В. Лесевичем действительно была передана мне рукопись, Ваша «Зарница», и в редакции сказали мне, что Вам уже послано извещение по этому

поводу. Прошу простить, что не сделал этого лично, но чтение ее совпало для меня с массой спешной работы и с приготовлением к отъезду в Мамадыш Прошу принять уверение в совершенном уважении. Готов к услугам В. Короленко».

У м. Мамадиші 28 травня 1896 року розпочався третій розгляд «мултанської справи», де В. Короленко виступав одним із захисників вотяків (удмуртів), обвинувачених у ритуальному вбивстві. За вироком 4 червня всі підсудні були виправдані. Останні кілька днів В. Короленко від нервової перевтоми зовсім не спав, крім того, під час суду він одержав повідомлення про смерть дочки. Звичайно, йому було не до рукопису, але М. Старицький усього цього не знав.

80

Публікується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів ІЛ АН УРСР, ф. 15, № 126.

Датується за змістом і на основі попереднього листа.

Черняхівський Олександр Григорович — лікар, чоловік дочки М. Старицького Людмили Михайлівни.

...[*виноват*] — в автографі нерозбірливо, вставлено за змістом.

Пастухов с коронации стал «Бурю» печатать только раз в неделю.— Коронація царя Миколи II відбулася 14 травня 1896 р. Роман «Буря» друкувався в газ. «Московский листок» з 26 лютого до 28 травня двічі на тиждень, у червні — один раз, а з липня знову двічі.

...*до свадьбы...*— 27 січня 1896 р. Л. М. Старицька одружилась з О. Г. Черняхівським.

...*какая судьба постигла мою «Зарницу» и Людино «Пристроили».*— Про «Зарницу» див. прим. до попереднього листа; нарис «Пристроили» Л. Старицької надруковано в журн. «Русское богатство», 1896, вересень.

81

Публікується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів ІЛ АН УРСР, ф. 15, № 119.

Датується за змістом; можливо, лист почато в кінці червня, але закінчено в липні.

Ну их, этих генералов, к нечистой! — Про причини невдоволення М. Старицького редакцією журналу «Русское богатство» див. прим. до листа № 79. Через кілька років М. Старицький знову звертається до В. Короленка і пропонує йому для журналу один із своїх творів та переклади на російську мову чотирьох оповідань Б. Лепкого (про ці переклади див. прим. до листа № 143).

...*быть с слоновыми ногами в такой ранний возраст!* — С. В. Старицькій в 1896 р. було 47 років.

...*принимая во внимание, что авторские уменьшились...*— В січні 1896 р. М. Старицький одержав авансом 150 крб., в травні знову 150 крб. Ці гроші з нього вираховували щомісяця по 50 крб.

«Новое слово» — щомісячний науково-літературний і політичний журнал, виходив у Петербурзі в 1894—1897 рр.; був спочатку органом ліберальних народників, а потім — легальних марксистів. На сторінках журналу виступали й революційні марксисти.

...*напечатала Косачкиного «Соловья»...*— Оповідання Олени Пчіл-

ки «Соловьиная песня (Перевод с малорусского)» надруковане в журн. «Новое слово», 1896, № 6, березень, стор. 177—190.

...а то мои «Тарас Бульба», «Мазепа», «Лимерівна», «Маруся Богуславка», «Вій» ставятся за другими именами.— Під чиїми іменами ставились ці п'єси, не виявлено.

Теперь кончил «Богуславку» и берусь написать «Хама»...— Не відомо, чи була написана ця драма, зберігся план і стисла характеристика дійових осіб.

Оксана — молодша дочка М. Старицького.

Ольга Антонівна — друга дружина М. В. Лисенка.

...целует Марка...— Йдеться про М. Л. Кропивницького, трупа якого грала в Києві з 26 червня до 27 серпня 1896 р. у Києві.

Андрюша с Леночкой...— йдеться про Андрія Віталійовича Лисенка та його дружину.

82

Публікується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів ІЛ АН УРСР, ф. 15, № 121.

Датується за змістом.

Садовский... дал полную доверенность...— Йдеться про довіреність М. Садовського, видану 31 липня 1896 р. М. Старицькому на право наймати для трупи театральні приміщення, приймати технічний персонал, клопотатися про дозволи вистав і т. д.

Кононов — власник театру в Петербурзі.

Важно знать, куда направить маршрут.— Маршрут трупи М. Садовського в зимовий сезон 1896—1897 року такий: Київ, Полтава, Єлисаветград, Чернігів, Мінськ.

83

Публікується вперше з незначними скороченнями за машинописною копією, що зберігається у відділі рукописів ОДНБ ім. Горького, № 522, арк. 604—605.

Датується за змістом.

...ювілей М. Л.— Йдеться про 25-річний ювілей сценічної діяльності М. Л. Кропивницького, що відбувся 22 листопада 1896 р. в Одесі.

...моя телеграма з повіншуванням не читалась...— Очевидно, М. Старицького було неправильно поінформовано: на ювілеї зачитувано вітальні телеграми від Старицького, Карпенка-Карого, Саксаганського та майже від усіх українських труп.

84

Публікується вперше за автографом, що зберігається у філіалі ЦДІА у Львові, ф. 309, оп. І, од. зб. 2245, арк. 52, 53.

Датується за змістом.

Борковський Олександр (1841—1921) — редактор львівського журналу «Зоря».

...підписаній псевдонімом М. Гримач...— Це псевдонім Б. Д. Грінченка. В названій статті Б. Грінченко говорить про неоригінальність п'єс М Старицького, надрукованих у двох томах його «Малороссийского театра», а також драми «Не судилось» і робить висновок, що «театрові, може, се й зручніше, але літературі діяльність д. Старицького не єсть ніяке надбання, а з погляду літературної етики навіть просто мінус».

Псевдоніми Б. Грінченка: М. Гримач, В. Чайченко, Б. Вільхівський, Вартовий, Перекотиполе та ін.

85

Публікується вперше за машинописною копією, що зберігається у відділі рукописів ОДНБ ім. Горького, № 522, арк. 616—619.

Датується за змістом і в зв'язку з попереднім листом.

...я в Москві ратував за наші цензурні права...— Йдеться про доповідь М. П. Старицького на Першому всеросійському з'їзді сценічних діячів. Текст доповіді див. у цьому томі.

...мені пощастило одностайно провести три питання...— На з'їзді було заслухано доповіді про становище й потреби українського театру і драматургії: 1) Чернігівської міської управи, 2) гуртка чернігівської інтелігенції на чолі з М. К. Заньковецькою, 3) М. П. Старицького, 4) І. К. Карпенка-Карого і П. К. Саксаганського, 5) І. Л. Шрага. 20 березня з'їзд ухвалив одну спільну по всіх доповідях резолюцію: «І) Клопотатись про підпорядкування малоруських спектаклів загальним правилам і про відміну існуючих нині обмежень в дозволі цих спектаклів; 2) Клопотатись про підпорядкування малоруських п'єс цензурі на однакових умовах з драматичними творами, написаними російською мовою; 3) Клопотатись про занесення малоруських п'єс в списки п'єс, дозволених для народного театру»

«Московские ведомости» — газета, виходила в Москві в 1756—1917 рр., з 1863 р. одна з найреакційніших газет в Росії.

Александровський Ізмаїл Володимирович — журналіст, співробітник газети «Киевлянин».

...поки не знайшов «Мировых отголосков», які надрукували його розправу.— Йдеться про статтю «Драматурги-хищники» І. Александровського, надруковану в цій газеті 1897 р., № 130.

Шраг Ілля Людвігович (1847—1919) — адвокат, громадський діяч буржуазно-націоналістичного напряму, жив у Чернігові.

...був у Александрова з Старицьким суд...— див. прим. до листа № 41.

«За двома зайцями»... перероблено це з доброї його волі й дозволу...— Див. лист № 25 та прим. до нього.

«Не судилось»... розрішено до друку в 1881 р. і надруковано в «Раді» 1882 р. ... — Тут помилка пам'яті: драма «Не судилось» дозволена до друку Петербурзьким цензурним комітетом 5 березня 1883 року й того ж року надрукована в альманасі «Рада», ч. І.

...а Кропивницького появилась лише 1884 р.— Йдеться про драму «Доки сонце зійде, роса очі виїсть», дозволену до вистави наприкінці 1882 р.

«Щира любов» — п'єса Г. Ф. Квітки-Основ'яненка.

«Русалка» — драма О. С. Пушкіна.

«Горькая судьбина» — твір О. Ф. Писемського.

«Ганнуся» — можливо, оповідання Г Ф. Квітки-Основ'яненка.

...Кропивницькому ця драма заборонена, і її нема в друці...— Драма «Доки сонце зійде, роса очі виїсть» заборонена в липні 1891 р., надрукована лише 1903 р.

«Розбите серце» — драма М. Старицького, 1892 р. заборонена до вистави й до друку.

...ще в співробітництві... дві...— «За друга» з Безбрежним (В Потапенком) і «Галя Русина» з Сусловим (О. Рєзниковим).

Затиркевич — тобто Г. П. Затиркевич-Карпинська.

Грушевський Михайло Сергійович (1866—1934) — український буржуазно-націоналістичний історик, ідеолог української контрреволюційної буржуазії, в той час працював у Львові. Листування М. Старицького з М. Грушевським не розшукане.

86

Публікується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів ДПБ АН УРСР, І, 32 505.

Датується за змістом цього й попереднього листів.

87

Публікується вперше за автографом, що зберігається в Чернігівському Історичному музеї, АЛ $\frac{203-59}{603}$.

Датується на основі помітки І. Шрага: «Відп. 7 липня».

Посилаю Вам... мого «Богдана»... — «Богдан Хмельницький» після десятирічної цензурної заборони був надрукований в журн. «Киевская старина», 1897, кн. IV—V.

Науменко Володимир Павлович (1852—1919) — історик, редактор журналу «Киевская старина», в роки громадянської війни на Україні активний діяч буржуазно-націоналістичної контрреволюції.

88

Публікується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів ІЛ АН УРСР, ф. 72, № 115.

Датується на основі листа-відповіді Ц. Білиловського від 16 жовтня 1897 р.

В листі М. Старицький подає ряд дат, але до них треба ставитись обережно, оскільки всі вони подані по пам'яті й не завжди точні.

Білиловський Цезар (Кесар) Олександрович (1859—1934) — український поет, видавець альманахів «Складка».

Ad consules — до консулів, тобто до уряду *(лат.)*.

У 15-м ч. жовтня «Зорі» появилась уже розправа Грінченка... — Йдеться про статтю Б. Грінченка «З поводу «Малоросійського театру» д. Старицького», журн. «Зоря», 15(27) вересня 1897 р., № 18.

Почав я свою літературну працю... («Правда» з 1865 р.). — Тут помилка: журнал «Правда» почав виходити з 1867 р., а 1865 р. вірші М. Старицького друкувались у львівському журналі «Нива».

...«Басні Крилова...» — «Байки Крилова». Вибрав і переклав М. Старицький, К., 1874.

...з Гоголя... — «Сорочинський ярмарок». Із «Вечорів на хуторі біля Диканьки». Переклав М. Старицький, К., 1874.

«Пісня про купця Калашникова» — «Пісня про царя Івана Васильовича, молодого опричника та одважного крамаренка Калашникова». (переклад з М. Лермонтова), К., 1875.

...водевіль «Як ковбаса та чарка»... був розрішений... за підписом Ліндфорса... — Цей примірник зберігається в Центральному театральному музеї ім. О. О. Бахрушина, інв. № 15 960.

Глібова ж «До мирового» надруковано в 1892 р... — Правильно: 1891 р.

Сам же Глібов помер в 1894 р. — Л. І. Глібов помер 29 жовтня 1893 р.

«Травіата» — опера італійського композитора Джузеппе Верді за драмою «Дама з камеліями» О. Дюма-сина, лібретто Ф. Пяве; Маргарита Готьє — головна героїня драми.

«Опричник» — опера П. І. Чайковського за однойменною трагедією І. І. Лажечникова, лібретто М. І. Чайковського.

«Борис Годунов» — опера М. П. Мусоргського за однойменною трагедією О. С. Пушкіна.

«Вражья сила» — опера О. М. Сєрова за п'єсою О. М. Островського «Не так живи, как хочется».

Косачка, Косач — О. П. Косач (Олена Пчілка), Петро Антонович Косач (1842—1909) — батько Лесі Українки.

Антипович Олексій Данилович — учитель київських гімназій, учасник Київської громади, член Південно-західного відділу Географічного товариства.

...і Йосипку, небожеві Шевченка.— Йдеться про Йосипа Варфоломійовича Шевченка, сина В. Г. Шевченка.

А. Петров у своїй книжці...— Див. прим. до листа № 31.

...розрішено було театр при Лоріс-Мельникові...— Правильно: Лоріс-Меліков Михайло Таріелович (1825—1888), граф, державний діяч царської Росії, в 1880—1881 рр. був міністром внутрішніх справ.

На час виходу розпорядження 16 жовтня 1881 р. (див. прим. до листа № 16) міністром внутрішніх справ був М. П. Ігнатьєв.

...вийшло б, що я перед Александровським правий...— В автографі описка: треба читати «перед Александровим». Про справу з Александровим див. лист № 41 та примітки до нього.

Шабельська Олександра Станіславівна (справжнє прізвище Монтвід-Толочинова, 1845—1913) — російська письменниця. Збірка її оповідань «Наброски карандашом» видана 1884 р.; на сюжет оповідання з цієї збірки «Накануне Ивана Купала» авторка написала українською мовою драму «Ніч під Івана Купайла».

«Цар Горох» — інша назва «Чорт-побратим» (див. прим. до листа № 77).

«Галина» — драматична опера на 4 дії, відома під назвою «Галька»; в червні 1887 р. заборонена до вистави й до друку з таким мотивуванням: «Может породить неприязнь низшего сословия к высшему», хоч дія опери відбувається в Галичині за часів кріпацтва.

Герард Володимир Миколайович — петербурзький адвокат, вів судову справу М. Старицького проти І. Александровського, поки вона розглядалася в Петербурзькому окружному суді.

...на сторіччя Котляревського видати збірку...— Збірник, присвячений І. П. Котляревському, що готувався до сторіччя «Енеїди», вийшов під назвою «На вічну пам'ять Котляревському», К., 1904.

...мого «Богдана»... уже почали ганити... напр., «Русское богатство»...— Йдеться про рецензію на драму М. Старицького «Богдан Хмельницький», надруковану в журн. «Русское богатство», 1897, кн. IX.

89

Публікується вперше за автографом, що зберігається в Чернігівському Історичному музеї, АЛ $\frac{203-59}{603}$.

Медіатор — посередник.

Презус — голова (суду).

90

Вперше надруковано в журн. «Зоря», 1 листопада 1897 р., № 21 під назвою: «М. Старицький. З поводу розвідок дд. Гримача і Грінченка про «Малоросійський театр» д. Старицького».

Автограф не знайдено, текст подається за цією публікацією.

В листі від 23 листопада 1897 р. до О. Борковського М. Старицький сам називає дату написання цього листа: 10 жовтня.

Разом з листом для публікації М. Старицький надіслав О. Борковському ще приватний лист, в якому докладно зупиняється на значенні статей Б. Грінченка в ситуації, що склалася в зв'язку з його судовою справою проти І. Александровського.

91

Публікується вперше за машинописною копією, що зберігається у відділі рукописів ОДНБ ім. Горького, № 522, арк. 613—615.

Датується за змістом на основі згадок про статтю Б. Грінченка.

А «Зоря» знов, не звертаючи на мій лист за «Гримача»...— Див. лист № 84.

«Не судилось» (спершу «Панське болото»)... наполовину скінчене було в 1878 р., і я три дні його читав у громаді...— В листі від 23 березня 1879 р. до М. Драгоманова М. Лисенко писав, що М. Старицький «кінча оригінальну 5-актну драму з життя народного й почасти інтелігентного».

...Кропивн[ицький] в перший раз ставив в 1883 г. 27 генв[аря]...— Драма «Доки сонце зійде, роса очі виїсть» М. Кропивницького вперше поставлена 21 січня 1883 р. в Чернігові.

Порівняйте дві розправи...— Йдеться про статтю М. Гримача «Література й життя (Листи з України російської)», «Зоря», 1 червня 1897, № 11 та Б. Грінченка «З поводу «Малоросійського театру» д. Старицького», «Зоря», 15 вересня і 1 жовтня 1897 р., №№ 18, 19.

А то і про роман «Перед бурей»: він вийде в декабрі великою книжкою...— Роман «Перед бурей» М. Старицького друкувався 1897 р. в журналі «Киевская старина», але окремим виданням вийшов лише 1899 р., оскільки наприкінці 1897 р. в друкарні була пожежа й підготовлене окреме видання згоріло.

92

Публікується вперше за автографом, що зберігається в ЦДАЛМ СРСР, ф. 988, оп. 3, од. зб. 4.

93

Автограф зберігається у відділі рукописів ІЛ АН УРСР, ф. 5, № 900/58. Вперше опубліковано в книзі «Літературний архів», 1930, кн. 1—2, стор. 171.

Текст подається за автографом.

Рік встановлено за змістом.

Михальчук Костянтин Петрович (1840—1914) — український філолог.

...тепер пишу уже на Казенну палату.— П. Мирний служив у Казенній палаті.

94

Публікується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів ДПБ АН УРСР, III, 39 439.

«Ясні зорі» — драма Б. Грінченка.

«Розумний і дурень» — п'єса І. Карпенка-Карого.

95

Автограф зберігається у відділі рукописів ІЛ АН УРСР, ф. 5, № 894/176. Вперше опубліковано в книзі «Літературний архів», 1930, кн. 1—2, стор. 171—172.

Текст подається за автографом.

Френкель Сергій — педагог, громадський діяч.

Молчановський Никандр (1856—1906) — український історик, громадський діяч.

«Згуба» — комедія на 5 дій П. Мирного, закінчена 1896 р. Надрукована вперше 1907 р. (Панас Мирний. Книжка третя творів).

Мазепинці — село на Поділлі, кол. Літинського повіту.

«Повія» — роман з народного життя П. Мирного. Перша і друга частина його були надруковані в альманасі «Рада» М. Старицького. Повністю роман вперше опубліковано лише 1928 р.

...покрасить нашу «Збірку»... — тобто збірник, присвячений І. П. Котляревському.

...не одібрали і книжки «Богдан Хмельницький»... — Йдеться про окремий відбиток драми, надрукованої в журн. «Киевская старина» 1897 р. На відбитку М. Старицький зробив напис: «Високоповажному, дорогому письменнику нашому, талановитому краснописцю Панасу Яковлевичу Рудченку — від щирого і прихильного колеги автора, на спомин. Мих. Старицький».

96

Публікується вперше з незначними скороченнями за автографом, що зберігається у відділі рукописів ІЛ АН УРСР, ф. 72, № 111.

«Закляту печеру» уже скінчив і дав переписувати... — Ц. Біліловський тоді готував видання п'ятого альманаху «Складка», але воно не було здійснене. Рукопис повісті «Заклята печера» з посвятою Д. Л. Мордовцеву зберігається в ІЛ АН УРСР, ф. 72, № 257.

...у найстрашнішому указі від 16 мая 1876 р... — Емський указ було підписано 18/30 травня 1876 р. Цитовані далі слова взято з другого пункту.

...переклад «Орлеанської діви...» — І. М. Стешенка.

Еварницький (Яворницький) Дмитро Іванович (1855—1940) — видатний український історик, археолог, етнограф і письменник.

Янчук Микола Андрійович (1859—1921) — український, російський та білоруський фольклорист, етнограф і письменник, автор п'єс «Пилип-музика», «Вихованець» та ін.

...п. Анто[но]вич і п. Левицький розказували мені... — Йдеться про історика О. І. Левицького.

Знов я одержав оце заказ із Москви на історичний роман «Мазепу»... — Редакція газети «Московский листок» 5 січня 1898 р. писала М. Старицькому: «Ваша идея заняться «Мазепой» — дело хорошее. Роман Полевого «Бесово отродье», начавшийся с января, пойдет до 1 марта. После него можно будет начать «Мазепу». Н[иколай] И[ванович Пастухов] не прочь платить Вам за роман по мере получения фельетонов. [...] Итак,— значит, «Мазепа». Теперь вы можете взяться за подготовку материалов, а с февраля начните уже высы-

лать фельетоны, чтобы к 1 марта мы имели запас, и притом достаточный...» Роман «Молодость Мазепы» М. Старицького був надрукований 1898 р. в газеті «Московский листок», №№ 182—363.

Всіх Ваших громадян щиро вітаю...— тобто гурток українців у Петербурзі.

97

Автограф зберігається у відділі рукописів ДПБ АН УРСР, І, 29 782. Вперше опубліковано в журналі «Життя і революція», 1926, XII.

Текст подається за автографом.

...зайшов до мене Микола...— М. В. Лисенко.

...в листах до мене почав мене узивати все превосходительством, генералом української літератури...— В одному з листів П. Куліша до М. Старицького читаємо: «Коли б же Ви, Ваше українське превосходительство...»

Від одного д. Шредера чи Трегера...— Йдеться про Володимира Івановича Шенрока, який працював тоді над біографією П. Куліша (надрукована 1901 р. в журн. «Киевская старина» і окремим виданням). В. Шенрок листовно звертався до М. Старицького, прохаючи його надіслати свої спогади про П. Куліша та його листи.

...в нашому Літературному товаристві...— Йдеться про Літературно-артистичне товариство, засноване в Києві наприкінці 1895 року. Товариство влаштовувало літературно-художні вечори, присвячені пам'яті видатних російських, українських та західноєвропейських письменників, композиторів тощо. В листі від 25 січня 1898 р. М. Лисенко писав Ганні Барвінок, що вечір, присвячений річниці з дня смерті П. О. Куліша, з «рефератом, декламаціями і співами хора і соло його любимих пісень» призначено на 10 лютого.

98

Публікується вперше за автографом, що зберігається в Чернігівському Історичному музеї, АЛ — 372.

А за Вашу статтю в «Петербургских»...— На початку 1898 р. в російській пресі розгорілася давня полеміка навколо питання про самобутність та потребу розвитку української мови. До цього спричинилась постанова галицького сейму про відкриття класів з українською мовою викладання в тернопільській польській гімназії. Крайньо шовіністичну позицію в цій полеміці зайняла газета «Биржевые ведомости». Д. Мордовцев у статті «От лингвистов «Биржевых ведомостей» к лингвистам-авторитетам» (газ. «С.-Петербургские ведомости», 1898, 31 січня) палко відстоював самобутність української мови, її право на існування як окремої мови, а не діалекту.

«Киевлянин» наш, проте, уже написав одповідь...— Шовіністична газета «Киевлянин» заявила, що хоч і не можна заперечувати доказів Д. Мордовцева, проте порушення питання про викладання українською мовою в гімназіях є «шкідливою витівкою» («Киевлянин», 1899, 18 лютого, № 49).

99

Публікується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів ІЛ АН УРСР, ф. 72, № 112.

Датується на основі помітки Ц. Білиловського: «Получ. 6/III 1898».

...пише добру рецензію на збірку Олена Пчілка до «Київської старини...» — В журн. «Киевская старина» (1898, кн. II), надрукована рецензія М. Кононенка на альманах «Складка» 1897 р.

...моя Людмила написала і однесла сьогодні до «Жизнь и искусство»... — Рецензія Л. Старицької на альманах «Складка» надрукована в газ. «Киевское слово», 1898, № 3657.

Бердяєв Сергій Олександрович (1859—1914) — журналіст і поет.

Кононенко Мусій Степанович (1864—1922) — український поет. В деяких його творах наявні буржуазно-націоналістичні тенденції.

100

Публікується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів ДПБ АН УРСР, I, 48 872.

Датується умовно березнем на основі згадки про хворобу.

Житецький Павло Гнатович (1836—1911) — видатний учений філолог, член-кореспондент Петербурзької Академії наук.

...за Ваш подарунок коштовний... — Йдеться про дві книги П. Житецького: «Очерки из истории поэзии (Пособие для изучения теории поэтических произведений)», К., 1898 та «Теория поэзии», К., 1898.

101

Автограф зберігається у відділі рукописів ІЛ АН УРСР, ф. 5, № 895/177. Вперше опубліковано в книзі «Літературний архів», 1930, кн. 1—2, стор. 172—175.

Текст подається за автографом.

«Морозенко» — оповідання П. Мирного. Вперше надруковане в журн. «Киевская старина», 1898, кн. 8. П. Мирний подарував М. Старицькому окремий відбиток цього оповідання з таким написом: «Щироповажному ратаєві рідної мови — Михайлу Петровичу Старицькому від усього серця. Автор. 1 липня 1898 р.»

...Мамоні — наші [...] *потреби.* — Тут одно слово не прочитане; можливо: насущні.

...від «Коли ревуть воли»... — Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» П. Мирного та І. Білика вперше виданий 1880 р. в Женеві.

Сенкевич Генрик (1846—1916) — видатний польський письменник.

Одержав я Ваше «Лихо»... — Йдеться про повість «Лихо давнє й сьогочасне», вперше надруковану в «Літературному збірнику на спомин О. Кониського», К., 1903.

Далі кутити — друкарська помилка: замість «рутити» (міцно спати) в «Киевской старине» було надруковано «кутити».

102

Публікується вперше за автографом, що зберігається в Дніпропетровському Історичному музеї.

Поштова дата на конверті: 29 березня 1898 р.

...Дмитро Павлович. — Помилка: треба Дмитро Іванович.

...і пишу навмання уже, керуючи на Московський університет. — Д. Яворницький був тоді професором Московського університету.

Тепер, коли Ви заохочуєте, то, може, дасте тему. — У відповідь на цей лист Д. Яворницький 31 березня 1898 р. писав М. Старицькому: «Ей, голубчику Михайло Петрович, занедбайте Ви Вашого супостата, беріть знов у руки перо і пишіть! Пишіть хоч про Ма-

зепу, а ще краще про Сірка, або Чалого, чи Калниша... Тему Вам трудно виявити на папері; краще було б, якби ми улітку де-небудь здибались коло курганів, як я виїду на розкопи, і побалакали б по душі...»

103

Публікується вперше за машинописною копією, що зберігається у відділі рукописів ОДНБ ім. Горького, № 522, арк. 620—621.

Датується за змістом.

Дякую... що згодились бути головою в суді моїм з Грінченком.— Третейський суд між М. Старицьким і Б. Грінченком відбувся 23 серпня того ж року. Про його наслідки було опубліковано в «Літературно-науковому віснику» (1898 р., т. IV) таке повідомлення: «Від д. Грінченка одержали ми такий лист з просьбою о поміщення:

Високоповажаний добродію, пане редакторе!

У торішній «Зорі» оповіщено було, що д. Старицький покликав мене на третейський суд з поводу моїх розвідок («Зоря», 1897) про його драматичні твори і що я згодився на той суд. Суд відбувся 23 серпня ст. ст. сього року в Києві. Посилаючи Вам укупі з сим листом копію з акту судового, дуже прошу Вас, високоповажаний добродію, надрукувати се в «Літературно-науковому віснику» — по змозі у найближчій книзі. З великим ушануванням та повагою Борис Грінченко. 1898. VIII. 26. З Чернігова.

Третейський суд, вибраний в справі М. П. Старицького і Б. Д. Грінченка з приводу статей д. Грінченка, надрукованих у «Зорі» року 1897-го, про твори д. Старицького, зібрався 23 серпня 1898 року Прибули: голова суду М. Ф. Комар, судії: від д. Старицького: В. Б. Антонович і О. Я. Кониський, від д. Грінченка: А. В. Верзилів і Г. О. Коваленко, а також сторони: Б. Д. Грінченко і за М. П. Старицького — Л. М. Старицька-Черняхівська, котра подала довіреність від батька свого д. Старицького.

Приступаючи до розбору сієї справи, суд вважав своїм обов'язком насамперед подати раду сторонам порозумітись в сій справі і помиритись. Вислухавши обопільні пояснення, сторони згодилися помиритися на таких умовах:

Б. Грінченко, зостаючися при своїх літературно-критичних поглядах на ті драматичні твори М. Старицького, про які говориться в вищезгаданих статтях в «Зорі» 1897 року, бере назад свої слова: «літературна діяльність д. Старицького з погляду літературної етики — навіть просто мінус».

М. Старицький бере назад свої погляди про те, що д. Грінченко поводився в сій справі невідповідно національній і особистій честі.

Сей мировий акт, за підписом суду і сторін, має зіставатися у голови суду, а сторонам видаються списки сього акту за підписом голови, і кожна сторона має право надрукувати сей акт.

Голова суду: М. Комар. Судії від М. Старицького: В. Антонович, О. Я. Кониський, судії від Б. Грінченка: А. Верзилів, Гр. Коваленко. Сторони: за М. Старицького —

Л. М. Старицька-Черняхівська. Борис Грінченко. З оригіналом згідно. Предсідатель суду М. Комар».

Чикаленко Євген Харлампович (1861—1929) — громадський діяч буржуазно-націоналістичного напряму, поміщик, автор брошур про сільське господарство, фінансував «Киевскую старину», «Раду». 1919 р. емігрував за кордон.

Лисевич — особа не встановлена.

Лотоцький Олександр Гнатович (1870—?) — публіцист, український громадський діяч буржуазно-націоналістичного напряму, після 1917 р.— емігрант.

Хапаюсь, щоб відбуть на залізницю — тобто, щоб здати лист на вокзалі до відходу поїзда.

104

Автограф зберігається у відділі рукописів ІЛ АН УРСР, ф. 5, № 896/178. Вперше опубліковано в книзі «Літературний архів», 1930, кн. 1—2, стор. 175—176.

Текст подається за автографом.

Лист недатований, перед початком вгорі чиєюсь рукою олівцем написано: «(З коверти) Киев, 28 квітня 1898». Проте це датування, взяте, очевидно, з поштового штемпеля, викликає сумнів: лист починається словами «Христос воскресе», а великдень 1898 р. був 5 квітня. Христосувались же на великдень і протягом першого тижня після нього, отже, лист міг бути написаний між 5 і 12 квітня, певніше — 8 квітня.

...написав оце постом Білиловському легенду «Заклята печера»... — Історію написання повісті «Заклята печера» («Заклятий скарб») див. у примітках до сьомого тома нашого видання.

Найда — справжнє прізвище Руденко Іван Мефодійович — керівник драматичних аматорських гуртків і української професійної трупи.

Давно вже вона мене просила підробить у цій п'єсі ролі... — Про переробку М. Старицьким драми «Лимерівна» П. Мирного див. статтю С. Д. Зубкова «Сценічна доля «Лимерівни» («Радянське літературознавство», 1957, № 6).

Чи не написали б Ви до брата Івана, щоб прислав свою повість до збірки? — Рудченко Іван Якович (1845—1905), відомий під псевдонімом Іван Білик,— український письменник і критик. Мабуть, М. Старицький мав на увазі його повість «Слідом за людьми», яку хотів вмістити до збірника, присвяченого пам'яті І. П. Котляревського.

105

Автограф зберігається у відділі рукописів ІЛ АН УРСР, ф. 5, № 897/179. Вперше опубліковано у виданні «Літературний архів», 1930, кн. 1—2, стор. 176—178.

Текст подається за автографом.

Датується за чиєюсь позначкою на листі «(З коверти) 8 травня 1898, Київ».

Отож, по їх просьбі, я переробив V дію... — Це було на початку 1892 р. Змінами, зробленими М. Старицьким, П. Мирний був задоволений,— див. його лист до М. К. Заньковецької від 9 лютого

1892 р. (Панас Мирний, Твори в п'яти томах, том п'ятий, К., 1955, стор. 371).

...приточив Затиркевичці — Г. П. Затиркевич-Карпинська виконувала роль Лимерихи.

Карпенко Петро Миколайович — видатний український артист, в «Лимерівні» виконував роль Карпа.

...бо вже було раз незадоволення д. Мирного на мою переробку першу... — Це було до того, як П. Мирний прочитав перероблену п'яту дію (див. його лист до М. К. Заньковецької від 24 жовтня 1891 р. в згаданому виданні).

Печариця — персонаж з комедії «Перемудрив» П. Мирного.

«Дорошенко» — мабуть, йдеться про драму «Гетьман Дорошенко» Л. М. Старицької. М. Старицький часом називав її п'єси як свої.

«Червоні черевички» — оперета В. Захаренка.

«Запорозький клад» — оперета К. Ванченка (Писанецького).

«Пропавша грамота» — оперета М. Кропивницького.

«Чмир» («Чумазий») — комедія М. Кропивницького.

«Золоті кайдани» — драма І. Тогобочного.

«Жидівка-вихрестка» — драма І. Тогобочного.

106

Публікується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів ІЛ АН УРСР, ф. 72, № 114.

Датується за змістом цього та попереднього листів. (Згадка про поїздку до Сімферополя).

...легенда ця більш-менш за часів Владислава IV... — Владислав IV, король польський (1632—1648).

107

Автограф зберігається у відділі рукописів ІЛ АН УРСР, ф. 5, № 898/180. Вперше опубліковано в книзі «Літературний архів», 1930, кн. 1—2, стор. 178—180.

Текст подається за автографом.

Рік встановлено за змістом, число — з поштового штемпеля на конверті.

...на своїм стані високім... — Брат П. Мирного Іван Якович у травні 1898 р. був призначений членом ради міністра фінансів.

Туго посувається наша збірка... — збірник пам'яті І. Котляревського.

108

Автограф не знайдено. Публікується вперше за копією, що зберігається в ДМТМ, № 6466.

Датується серпнем 1898 р. за змістом: а) в листі мова йде про драму «Тарас Бульба» М. Старицького, дозволену до вистави 1897 р.; б) не згадується зовсім про М. К. Заньковецьку, яка тоді перейшла до іншої трупи; в) в листі є згадка, що в Дарниці М. Старицький пробуде до вересня.

Іван Карпович — Карпенко-Карий.

Афанасій Карпович — Саксаганський.

109

Публікується вперше за автографом, що зберігається в ЦДАЛМ СРСР, ф. 988, оп. 3, од. зб. 4.

Датується на основі помітки про одержання: «22 авг. 98».

110

Автограф зберігається у відділі рукописів ІЛ АН УРСР, ф. 3, № 1626, стор. 377—379. Вперше опубліковано в збірнику «Радянське літературознавство», К., 1957, № 19, стор. 132—133.

Текст подається за автографом.

...повіншувати Вас... з минулим Вашим ювілеєм...— 25-літній ювілей літературно-громадської діяльності І. Франка відзначався 18 жовтня 1898 р. (ст. ст.).

...ювілейну Вашого йменя збірку...— літературний альманах «Привіт д-ру Івану Франку в 25-літній ювілей літературної його діяльності складають українсько-руські письменники», Львів, 1898.

Томашівський Степан (1875—1930) — галицький український історик і публіцист буржуазно-націоналістичного напряму.

...прошу дозволу... присвятити... драму «Облога Буші».— Драма «Облога Буші» в «Літературно-науковому віснику» надрукована не була. Під назвою «Оборона Буші» надрукована в журн. «Киевская старина», 1899, кн. 3, 4.

...чи не зміг би надрукувати «Вісник» мій епілог...— Епілог драми «Богдан Хмельницький» в «Літературно-науковому віснику» не був надрукований. Вперше опублікований у нашому виданні (див. том 4, стор. 161—173).

111

Публікується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів ІЛ АН УРСР, ф. 3, № 1620, стор. 289--290; додаток — ф. 3, № 1638, стор. 577.

Датується умовно за часом приїзду дружини І. Франка до Києва та на основі згадки про майбутній ювілей І. Франка.

...маю замір під весну прибути в Галичину в своєю трупою...— Цей замір не був здійснений.

Засилаю Вам свого «Богдана»...— В бібліотеці І. Франка, що зберігається в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, є примірник драми «Богдан Хмельницький» з таким написом: «Письменнику і співцю нашому, Добродію пану Івану Франку від щирого серця.— Автор М. Старицький».

...епілога надрукувати у Вашім «Збірнику».— Тут помилка: треба в «Літературно-науковому віснику». Див. прим. до листа № 110.

112

Публікується вперше за автографом, що зберігається в ДМТМ УРСР, № 1547.

Датувати треба приблизно 16 листопада 1898 р. на основі згадки про святкування сторіччя української літератури — ювілею І. Котляревського та слів у листі: «Письмо это ты получишь в четверг, в этот же день пошли телеграмму...»

Решетников Григорій Іванович (пом. 1908 р.) — російський і український артист.

Науменко Іван Олександрович (пом. 1913 р.) — український артист і антрепренер.

113

Публікується вперше за автографом, що зберігається в Дніпропетровському Історичному музеї.

Лист писано рукою Л. М. Старицької.

Дату встановлено за поштовим штемпелем: «Орловское ж.-д. почт. отд. 18 $\frac{7}{XII}$ 98».

Ставлю я тут свого «Богдана»...— Йдеться про постановку драми «Богдан Хмельницький» під режисурою автора в трупі І. Найди.

Стороженко Микола Ілліч (1836—1906) — професор Московського університету, голова Московського театрально-літературного комітету.

114

Публікується вперше за автографом, що зберігається в Дніпропетровському Історичному музеї.

Дата встановлена за поштовим штемпелем: «Київ, 15 янв. 1899».

Певно, уже Ви вернулись до Москви...— У вересні 1898 р. Д. Яворницький писав М. Старицькому: «20-го цього місяця я знімусь з Москви і подамся геть аж у Херсонщину, де пробуду, мабуть, аж до кінця січня 1899 року».

Костка Наперський (Напірський) Лев-Олександр — керівник повстання проти шляхти 1651 р. в Краківському воєводстві (Польща). Задум написати драму М. Старицький не здійснив, зберігся лише план твору «Костка Наперський».

115

Публікується вперше за автографом, що зберігається в ЦДАЛМ СРСР, ф. 988, оп. 3, од. зб. 4.

Датується на основі помітки про одержання: «17 янв. 99».

Тугай — псевдонім І. Карпенка-Карого (див. журн. «Україна», 1945, № 6). П'єса Карпенка-Карого про Тараса Бульбу не відома.

...Тугай не состоит членом нашого Общества...— На той час І. Карпенко-Карий вже був членом Товариства російських драматичних письменників і оперних композиторів.

116

Публікується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів ІЛ АН УРСР, ф. 15, № 127.

Датується за змістом, зокрема на основі того, що трупа М. Заньковецької грала в Харкові з 25 грудня 1898 р. до 28 лютого 1899.

...чи вишле 200 карб., чи буде ждати, поки вишлем хоч першу роботу.— Йдеться про редактора газети «Московский листок» М. І. Пастухова та історичний роман «Руина» М. Старицького, початий друком у цій газеті 16 березня 1899 р.

«Перед бурею»... несподівано ти мені прислала книжки...— Окреме видання роману «Перед бурей» (перша частина трилогії про Богдана Хмельницького) вийшло в Києві 1899 р.

...доведеться мені ще побачить і мого «Богдана»...— тобто драму «Богдан Хмельницький», надруковану повністю, з епілогом

Розсудов — Михайлов-Розсудов Михайло Іванович (1861—?) — український артист.

...а молодого Русова послав...— Михайла, сина О. О. і С. Ф. Русових.

Виправ останні 3 дії «Буші»...— Драма «Оборона Буші» друкувалась 1899 р. в журн. «Киевская старина», березень і квітень.

117

Публікується вперше за автографом, що зберігається в Чернігівському Історичному музеї, АЛ — 708.

...як приїде сюди трупа Кропивницького, то Лисенко може припоручити поставити яку драму... — В листі від 30 листопада 1900 року до Ганни Барвінок М. Лисенко писав, що М. Кропивницький обіцяв поставити драму «Байда» П. Куліша.

...за дорогий для мене подарунок — «Трилогію»... — П. О. Куліш, Драмована трилогія. І. Байда, князь Вишневецький. II. Гетьман Петро Сагайдачний. III. Наказний гетьман Северин Наливайко, Харків, 1900.

118

Публікується вперше за машинописною копією, що зберігається у відділі рукописів ОДНБ ім. Горького, № 522, арк. 605—606.

Касяненко — Косиненко Юрій Іванович (1857—?), артист, служив у трупах М. П. Старицького, М. Л. Кропивницького та ін. В кінці 1898 р. був засуджений Одеським окружним судом за наклеп.

...їх набралося 6 томів на VI... — Так стоїть у машинописній копії; можливо, тут неправильно прочитано: треба «томів на II». На чернетці оповідання «Воскрес» (ІЛ АН УРСР, ф. 15, № 25) М. Старицький склав проспект видання своїх повістей і оповідань на два томи.

«Вік» — тритомна антологія української літератури, присвячена століттю з дня виходу «Енеїди» І. Котляревського, видана в Києві 1900—1902 рр. У першому томі — поезія, в другому і третьому — проза. Цікаво відзначити, що жоден з прозових творів М. Старицького до цієї антології не був уміщений. Крім антології, це видавництво випускало окремими виданнями твори різних українських письменників: І. Франка, М. Вовчка та ін., але твори М. Старицького видані не були.

Мотрина — служниця у Старицьких.

Новицький — начальник жандармського управління.

...сказати... з Пушкіним... — Неточність: далі цитується епіграма І. Дмитрієва (з Лебрена).

119

Публікується вперше за машинописною копією, що зберігається у відділі рукописів ОДНБ ім. Горького, № 522, арк. 622—623.

Датується на основі листа М. Ф. Комарова до М. П. Старицького від 6 жовтня 1900 р.

Драматич[*еское*] *писат*[*ельское*] *общество* — тобто Общество русских драматических писателей и оперных композиторов.

...дивуватись треба п. Грушевському... — М. С. Грушевський був тоді одним із редакторів журналу «Літературно-науковий вісник».

...коли Франкові так хочеться. — І. Франко був одним із редакторів «Літературно-наукового вісника». М. Старицький помилково вважав, що неприхильні до нього статті друкуються в журналі за ініціативою Франка. Насправді І. Франко високо цінував творчість М. Старицького, його видавничу й театральну діяльність.

...пише розбір «Оборона Буші»... — М. Старицький має на увазі

розбір драми «Оборона Буші», зроблений С. Томашівським («Літературно-науковий вісник», 1899, т. VIII). Слів, цитованих М. Старицьким, у статті нема. Правда, С. Томашівський пише: «Довгий час не міг я її прочитати, скажу правду, я не рвався до неї, бувши заодно під враженням попередньої драми д. Старицького «Богдан Хмельницький». Тепер же, коли хв[алена] редакція звернулася знов до мене за оцінкою і сеї драми, поборов я великі упередження, прочитав «Оборону Буші» і — ніде правди діти — не пожалкував того».

Стаття С. Томашівського про драму «Богдан Хмельницький» надрукована в «Літературно-науковому віснику», 1898, т. IV. Тут автор приходить до висновку, що «взагалі сказати, драма невдатна ні для сцени, ні для читання».

Тепер от пише про «Тараса Бульбу»... — В журналі «Літературно-науковий вісник», 1900, т. XII, під рубрикою «Новини нашої літератури» надруковано статтю: Г. Г-а «Тарас Бульба», нова перерібка М. П. Старицького». Автор (Гнат Хоткевич), між іншим, пише: «Недурно про спосіб писання д. Старицького ось що базікають у нас. Шановний автор садовить в одній кімнаті стільки хористів, уміючих писати, в скількох актах має бути п'єса, і дає кожному по зшиткові. Кожний зшиток помічений дією і в ньому через сторінку або дві написано «пісня», потім «хор і танці» і т. д. І от, розсадивши таким робом своїх клевретів, сам поважний драматург ходить по хаті, заложивши руки за чортзна-що, і диктує панам статистам та хористам всі п'ять актів укупі... Шановні читачі, се тільки так благузкають у нас на Вкраїні, та, читаючи, так здається...» В кінці статті Г. Хоткевич зазначає, що, незважаючи на ряд недоліків, драма М. Старицького багато краща, ніж попередня недотепна Ванченкова (К. І. Ванченко. Тарас Бульба під Дубном).

120

Публікується вперше за автографом, що зберігається в ЦДАЛМ СРСР, ф. 988, оп. 3, од. зб. 4.

121

Публікується вперше за автографом, що зберігається в ЦДАЛМ СРСР, ф. 988, оп. 3, од. зб. 4.

Датується на основі попереднього листа.

...а Вы мне о «Цыганке Азе...» — В листі від 23 вересня 1898 р. з написом «секретно» І. Кондратьєв писав до М. Старицького: «...а другую меру необходимо принять против наших членов Общества, которые допускают недобросовестные действия. Для этого прежде всего необходимо заявление от лица, интересы которого страдают от таких действий... Поэтому надо начать с пьесы «Цыганка Аза». Раз Вы усмотрели из посланной Вам афиши, что многие номера исполняют[ся] труппой Мирова-Бедюха из Вашей пьесы, то гонорар за такую пьесу не может принадлежать одному Ванченко... Посылаю Вам (под бандеролью) новую астраханскую афишу и прошу Вас, если окажется, что и тут есть Ваши №№ пения, то пришлите на имя Комитета Ваше заявление (только относительно пьесы «Цыганка Аза»)». Тут йдеться про п'єсу «Цигани на Подоллі» Ванченка-Писанецького, що мала підзаголовок «Циганка Аза».

122

Публікується вперше за автографом, що зберігається в ЦДАЛМ СРСР, ф. 988, оп. 3, од. зб. 4.

Датується на основі помітки про одержання: «12 ноябр. 900». На цьому листі, як і на листі № 120, є напис: «Комитету».

123

Публікується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів ІЛ АН УРСР, ф. 15, № 444.

Датується умовно 1900 роком на основі характеристики становища в Київському літературно-артистичному товаристві, зробленої Лесею Українкою в листі від 15 квітня 1900 р. до сестри О. П. Косач: «Остатніми часами в Литературном обществе почались різні звади і скандали, касації виборів і т. д.; люди вештаються, по сто раз перемолочують різні «інциденти», кричать до самооглушення, розбивають один одному слух і нерви і все-таки ні до чого путнього не договорюються». Оскільки лист зберігається в архіві М. Старицького, а не О. Пчілки, то, певно, він не був вручений адресатці. Отже, його можна датувати другою половиною квітня, бо О. Пчілка 15 квітня 1900 р. виїхала з Києва до Гадяча.

Тутковський Микола Аполлонович — композитор, власник музичної школи в Києві.

Ертель Олександр Іванович (1855—1908) — російський письменник.

...поженіть Миколу... — М. В. Лисенка.

Беренштам — див. прим. до листа № 6.

Трегубов — див. прим. до листа № 29.

Мельник Катерина — друга дружина В. Б. Антоновича.

Драгоманова Людмила Михайлівна — дружина М. П. Драгоманова, після його смерті переїхала до Києва.

124

Автограф зберігається в ЦДАЛМ СРСР, ф. 988, оп. 3, од. зб. 4. Вперше майже повністю опубліковано в журн. «Радянське літературознавство», 1962, № 1, стор. 102—103.

Текст подається за автографом.

Хржонщевський Адам Никанорович — військовий лікар, син професора Київського університету.

Драма (русская) готова... — Йдеться про драму «Крест жизни», докладніше про її цензурну історію та публікації див. у статті В. У. Олійника «Про нові списки драми «Крест жизни» М. П. Старицького», журн. «Радянське літературознавство», 1962, № 1.

125

Автограф зберігається в ЦДАЛМ СРСР, ф. 988, оп. 3, од. зб. 4. Вперше майже повністю опубліковано в журн. «Радянське літературознавство», 1962, № 1, стор. 103.

Текст подається за автографом.

Датується на основі помітки про одержання: «22 мая 901».

...думаю печатать эту пьесу (в журнале)... — Журнальна публікація драми «Крест жизни» не відома. Перше видання здійснене літографським способом: «Крест жизни. Драма в 5 действиях Т. Старицкого. Издание С. Ф. Рассохина. Москва» (1908 р.), Т. Ста-

рицького — тобто Тжаска и Старицького; А. Хржонщевський не хотів назвати своє ім'я.

...пристроить ее на императорской сцене... — тобто в московському Малому театрі.

Шпажинський Іполит Васильович (1844—1917) — російський драматург, з 1890 р. був головою Общества русских драматических писателей и оперных композиторов.

Немирович-Данченко Володимир Іванович (1858—1943) — російський письменник і театральний діяч, один із засновників Московського Художнього Академічного театру, його директор і режисер.

Невєжін Петро Михайлович (1841—1919) — російський прозаїк і драматург.

Южин (псевдонім кн. Сумбатова) *Олександр Іванович* (1857—1927) — видатний російський артист, театральний діяч, драматург, історик і теоретик театру, педагог і публіцист.

Єрмолова Марія Миколаївна (1853—1928) — велика російська артистка.

М. Старицький помилявся: до Московського відділення Театрально-літературного комітету в сезон 1901—1902 рр. входили: голова — професор М. І. Стороженко, члени: Іванов Іван Іванович (1862 — пом. в кінці 20-х рр.) — російський критик і історик літератури — та О. І. Южин-Сумбатов.

126

Публікується вперше за автографом, що зберігається в Чернігівському Історичному музеї, АЛ — 376.

...Ваш любий, прихильний світогляд... — довідка про літературну діяльність М. Старицького, подана до суду Д. Мордовцевим, який виступав експертом у справі обвинувачення І. Александровського в наклепі на М. Старицького.

127

Публікується вперше за автографом, що зберігається в Чернігівському Історичному музеї, АЛ — 708.

Датується за змістом, на основі попереднього й наступних листів М. Старицького до Д. Мордовцева.

...віддать до цензури дві мої п'єси українські і одну російську. — Йдеться, мабуть, про українські п'єси «Остання ніч» та «Чарівний сон» і російську — «Крест жизни».

...посилаю ще через Оксану і один невеличкий «рассказ по-русски»... — Не відомо, про яке оповідання йде мова.

128

Публікується вперше за автографом, що зберігається в Чернігівському Історичному музеї, АЛ — 379

Датується за змістом, на основі згадки про суд з І. Александровським.

Справа з Александровським виграна, і він ухвален судом за «клеветника»... — Суд відбувся 18 листопада 1901 р.; Александровський був визнаний винним у наклепі й засуджений до ув'язнення на сім днів. М. Старицький через хворобу на суді не виступав, його представляла дочка Людмила Михайлівна.

Буква — псевдонім російського письменника Іполита Федоровича Василевського, співробітника газет «Русские ведомости» й «Новости».

Ваш дзвін найголосніший! — У відповідь на це прохання Д. Мордовцев надрукував статтю «Дорогу правде» («Санкт-Петербургские ведомости», 9 грудня 1901 р., № 338), в якій виклав суть конфлікту між М. Старицьким та І. Александровським і кваліфікував справу як кримінальну, а не літературну.

129

Публікується вперше за автографом, що зберігається у філіалі ЦДІА в Харкові, ф. 794, оп. I, од. зб. 1473.

Датується на основі листа-відповіді М. Сумцова, де він пише: «Я получил 11 дек[абря] Ваше письмо, а 14-го книги...»

До написання цього листа спричинилося те, що І. Александровський оскаржив вирок у Київській судовій палаті. Передбачався новий розгляд справи. Потрібно було, щоб до того часу про творчість М. Старицького з'явилась прихильна критична стаття, написана безстороннім і авторитетним критиком, Таким на той час на Україні був передусім Іван Франко. І дочка М. Старицького Людмила Михайлівна 5 грудня 1901 р. звертається до нього з листом, в якому просить «висловитись друкованим словом, що українська критика ніколи не казала про мого батька того, що казав у своїй розправі д. Александровський». Таку статтю І. Франко написав і опублікував у «Літературно-науковому віснику» 1902 р., кн. 5—7. Треба було також протиставити Флоринському іншого експерта, який знешкодив би інсинуації цього реакціонера-українофоба, і М. Старицький звертається до М. Сумцова.

Сумцов Микола Федорович (1854—1922) —український літературознавець, етнограф, фольклорист, з 1919 р. дійсний член АН УРСР.

Я просил Валерию Александровну... — Валерія Олександрівна О'Коннор-Вілінська (1866—1930) — українська письменниця, сестра першої дружини М. В. Лисенка.

«Зимовий вечір» (из Жиакондо «Семья преступника»)... — Тут помилка: це твір італійського драматурга Паоло Джакометті «Громадянська смерть», перекладений О. М. Островським на російську мову під назвою «Семья преступника».

Флоринський Тимофій Дмитрович (1854—1919) — професор слов'янознавства Київського університету, виступав у «Киевлянине» з антиукраїнськими статтями, які передруковувались іншими реакційними виданнями й виходили окремими брошурами. Писав також доноси царській охранці на діячів українського визвольного руху.

...Старицкого, Садовского, Кропивницкого, Карого, Манька и Писанецкого... — Усіх цих драматургів Александровський звинувачував у плагіаті.

Шаховськой Олександр Олександрович (1777—1846) — російський драматург, театральний діяч.

Соловйов Микола Якович (1845—1898) — російський драматург.

Ге Григорій Григорович (1867—?) — російський артист і драматург, його п'єса «Трільбі» написана на сюжет однойменного роману де Мор'є.

Салов Ілля Олександрович (1834—1902) —російський письменник.

Мей Лев Олександрович (1822—1862) — російський поет, його історичні драми «Царська наречена» і «Псковитянка» лягли в основу лібретто однойменних опер М. Римського-Корсакова.

Ожешко (Оржешко) Еліза (1842—1910) — видатна польська письменниця.

130

Публікується вперше за автографом, що зберігається в Чернігівському Історичному музеї, АЛ — 708.

Датується за змістом і в зв'язку з попередніми листами М. Старицького до Д. Мордовцева.

Я не знаю, як і дякувати Вас за Ваше щире та тепле слово! — Йдеться про статтю Д. Мордовцева «Дорогу правде» (див. прим. до листа № 128).

131

Публікується вперше за автографом, що зберігається у філіалі ЦДІА, в Харкові, ф. 794, оп. I, од. зб. 1474.

Датується на основі слів: «Срок подачи заявления сегодня уже истек...» В попередньому листі до М. Сумцова (див № 129) М Старицький писав, що «срок подачи просьбы о назначении нам эксперта — 17 декабря».

Отчет о моем деле... — «Из залы суда. Литературное дело», газ. «Киевское слово», 1901, №№ 4984—4989.

Прочтите еще статью Мордовцева... — «Дорогу правде».

132

Автограф зберігається у відділі рукописів ІЛ АН УРСР, ф. 15, № 131. Вперше в скороченому вигляді опубліковано у вступній статті до п'єси «Крест жизни» М. Старицького, К., 1956.

Текст подається за автографом.

Автограф цей — чистовик. При ньому є конверт з написом: «Его превосходительству Николаю Ильичу Стороженку, г. заслуженному профессору Московского университета». Наявність листа і конверта з такою неповною адресою в архіві М. Старицького говорить про те, що лист призначався для передачі М. Стороженкові через когось, але чомусь переданий не був.

Датується за змістом, на основі слів, що минуло два місяці з часу надіслання п'єси «Крест жизни» до директора імператорських театрів.

...прошло уже тому половина земской давности... — Земська давність — десять років.

Эту пьесу... я представил в Петербург директору имп[*ераторских*] *театр*[*ов*]*...* — П'єсу «Крест жизни» М. Старицький надіслав до Петербурга 21 січня 1902 р.

Соч[*инение*] *М. Старицкого и А. Тжеска.* — В автографі листа написано «А. Тжеска», а на рукописному примірнику драми рукою М. Старицького — «А. Тжаска».

133

Публікується вперше за автографом, що зберігається у філіалі ЦДІА в Харкові, ф. 794, оп. I, од. зб. 592.

134

Автограф зберігається у відділі рукописів ІЛ АН УРСР, ф. 3, № 1638, стор. 569—576. Вперше опубліковано в збірнику «Радянське літературознавство», 1957, № 19.

Текст подається за автографом.

В публікації лист датовано квітнем 1902 р., але це редакторське

датування нічим не обумовлено й викликає заперечення: з листа довідуємось про одержання М. Старицьким журналу «Літературно-науковий вісник» за травень 1902 р., отже, лист був написаний не раніше початку червня. Це датування підтверджується й листом-відповіддю І. Франка, датованим 24 червня н. ст. (11 червня ст. ст.).

Я прочитав тільки першу частину Вашої розправи...— тобто початок статті «Михайло П. Старицький», надрукованої в «Літературно-науковому віснику», 1902 р., кн. V, VI і VII.

...дядько Олександр...— Олександр Захарович Лисенко.

...пригріли мене другі Лисенки...— батьки М. В. Лисенка.

...до Антоновичевого гурту...— Йдеться про громаду (див. прим. до листа № 2).

Caveat consules! — Хай чатують консули *(лат.)*. Тут в розумінні звертання реакційних кіл до уряду з вимогою заборони української мови й літератури, небезпечних нібито для єдності імперії.

...водевіль кн. Шаховського «Два приятеля»...— Точна назва водевіля О. О. Шаховського «Ссора, или Два соседа».

...скасував його височайший указ 1876 р. 16 мая...— Помилка: треба 18 травня (ст. ст.).

Косачка — О. П. Косач (Олена Пчілка).

Кропивницький... стає свідком Александровському...— На суді 18 листопада 1901 р. М. Кропивницький свідчив на користь І. Александровського.

Я потяг покійного [*Александрова*] *на третейський суд...*— див. прим. до листа № 41.

Про «Поклик до слов'ян» цілком справедливо: я драгоманівського і в вічі не бачив...— Йдеться про вірш «Поклик до братів слов'ян» М. Старицького, надрукований 1872 р в львівських журналах «Основа» і «Правда». Пізніше М. Драгоманов заявив, що вірш належить йому, а Старицький, мовляв, без його згоди й відома переробив і надрукував під псевдонімом Гетьманець. На Драгоманова посилався Александровський під час судового процесу. Розглядаючи в своїй статті обидва вірші — Драгоманова й Старицького — І. Франко робить висновок: «Коли глядіти неупередженим оком на ті обидві пісні, то треба признати, що хоча вони й виплили з одного круга симпатій та бажань, та проте з огляду на будову і з огляду на основні ідеї та заакцентування поодиноких точок — два майже зовсім окремі твори». Однак згодом (1910 р.) Франко говорить, що вірш М. Старицького був «перерібкою такої ж вірші М. Драгоманова».

...яка борикалась і в Петербурзі, і в Москві з примачами...— тобто з першими видатними українськими артистами, такими, як Кропивницький, Садовський, Заньковецька та інші.

«Окривджена».— П'єса М. Старицького з такою назвою не відома. Можливо, це одна з назв якоїсь його іншої речі.

...став писати на російській мові історичні романи з українського життя... яких написано уже шість, від доби Богдана до Коліївщини...— М. Старицький має на увазі такі історичні твори: «Богдан Хмельницкий» («Перед бурей»), 1895 р.; «Буря», 1896 р.; «У пристани», 1897 р.; «Молодость Мазепы», 1898 р.; «Руина», 1899 р.; «Последние орлы», 1901 р.

Curiculum vitae — життєвий шлях, біографія *(лат.)*.

Маю до вашого «Науково[*го*] *вісника» розповідок один (поділь-*

ська легенда) і повість «Байстря»...— Повість «Заклятий скарб» (подільська легенда) надрукована 1903 р. в «Літературно-науковому віснику», т. XXI, січень — лютий — березень; другий твір під назвою «Безбатченко» побачив світ лише 1908 р. в альманасі «Нова рада».

135

Публікується вперше за автографом, що зберігається в ЦДАЛМ СРСР, ф. 675, оп. 3, од. зб. 56.

136

Публікується вперше за автографом, що зберігається в ЦДАЛМ СРСР, ф. 988, оп. 3, од. зб. 4.

Майков Аполлон Олександрович (пом. 1902 р.) — скарбник Товариства російських драматичних письменників і оперних композиторів.

137

Публікується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів ІЛ АН УРСР, ф. 3, № 1614, стор. 79—80.

Датується серпнем з огляду на інший лист М Старицького до І. Франка, надісланий місяцем пізніше (див. № 138).

За границю мене лікарі не пустили.— Зберігся лист київського лікаря Ф. Яновського до невстановленого адресата, теж лікаря, в якому Ф. Яновський просить дати пораду М. Старицькому в справі закордонної подорожі для лікування. Очевидно, після консультації лікарі прийшли до висновку, що така подорож недоцільна.

...шлю Вам три пісні...— М. Старицький надіслав не три, а чотири вірші: «На ріднім попелищу», «Борвій», «І гвалт, і кров» та «Занадто вже», які Франко того ж року надрукував у «Літературно-науковому віснику».

«Чарівний сон» — святковий жарт на одну дію. Вперше надрукований в альманасі «З-над хмар і долин» (Одеса, 1903), а пізніше в «Літературно-науковому віснику» (1905, кн. II, III).

138

Публікується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів ІЛ АН УРСР, ф. 3, № 1620, стор. 245—247.

Датується на основі прохання повернути матеріали до судової справи з Александровським в зв'язку з тим, що суд призначено на 2 жовтня.

...переслати ті юридичні папери... які моя Людмила Вам заслала...— Л. М. Старицька разом з великим листом від 16 грудня 1901 р. (І. Франко досить широко використав його в своїй статті про М. Старицького, довільно, правда, цитуючи) надіслала зокрема 26 листів різних українських письменників та копії листів П. Мирного, І. Нечуя-Левицького і М. Садовського (оригінали цих листів були додані до судової справи).

139

Публікується вперше за автографом, що зберігається у філіалі ЦДІА в Харкові, ф. 794, оп. I, од. зб. 1475.

Датується за змістом, на основі слів у листі, що до нового

розгляду справи з Александровським, призначеного на 2 жовтня, залишилось два тижні.

...Вы убили много времени и совершенно даром.— М. Ф. Сумцов пізніше на основі підготовленого для експертизи матеріалу написав велику статтю й під назвою «М. П. Старицкий как драматург» надрукував 1908 р. в «Известиях отделения русского языка и словесности Академии наук», т. XIV, кн. I.

Валериана Александровна — В. О. О'Коннор-Вілінська.

140

Публікується вперше за машинописною копією, що зберігається у відділі рукописів ОДНБ ім. О. М. Горького, № 522, арк. 620.

Датується на основі листа-відповіді від 27 лютого 1903 р.

141

Автограф зберігається в Чернігівському літературно-меморіальному музеї М. М. Коцюбинського, інв. № 1758. Вперше опубліковано в журналі «Україна», 1928, № 3 (28), стор. 88.

Текст подається за автографом.

Датується на основі того, що це відповідь на надіслане 1 лютого 1903 р. запрошення до участі в альманасі, який готували М. Коцюбинський і М. Чернявський.

Дякую Вас щиро за запросини до Вашого збірника...— Йдеться про альманах «З потоку життя», виданий 1905 р. у Херсоні.

...теж прошу і вас... прийняти і в нашім виданні участь...— М. Старицький в той час готував альманах «Нова рада». До цього листа додано запрошення до участі в альманасі, надіслане багатьом українським письменникам. Писане воно чиєюсь іншою рукою, тільки підписане М. Старицьким (зразок його — лист № 142).

Чернявський Микола Федорович (1868—1946) — український письменник, брав участь у виданні альманахів «Дубове листя», «З потоку життя», «Перша ластівка».

142

Публікується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів ІЛ АН УРСР, ф. 5, № 899/181.

Лист писано рукою Л. М. Старицької, підписаний М. П. Старицьким.

Датується за поштовим штемпелем: 15 лютого 1903 р.

143

Публікується вперше за машинописною копією, що зберігається у відділі рукописів ОДНБ ім. Горького, № 522, арк. 607—609.

...заходили до мене, [перебили] руки...— В машинописній копії зроблено пропуск для непрочитаного слова. Вставлено за змістом.

...тоді й байки можуть піти, а інакше їх не пропустять...— Байки І. Крилова в перекладі М. Старицького були подані до цензури в березні 1900 р., а вже 5 травня Петербурзький цензурний комітет повідомив Головне управління в справах друку, що «байки Крилова перекладені дуже близько до оригіналу. Таким чином, брошура ця, по-перше, перекладного змісту, по-друге, належить до числа творів дитячої літератури», а тому підлягає забороні. В червні 1901 р. Петербурзький цензурний комітет знову розглядав рукопис «Півсотні байок» М. П. Старицького — «збірник байок різних авторів, як

малоруських, так і російських, перекладених на малоросійське наріччя» і також заборонив до друку з тих же міркувань.

«Добувся слави», «Переполох» — тексти цих водевілів досі не розшукано. Розгорнений план комедії «Переполох» зберігається у відділі рукописів ІЛ АН УРСР, ф. 15, № 94.

«Аппій Клавдій» — драма Л. М. Старицької-Черняхівської.

«Галя» — точна назва «Галина», переклад опери «Галька» С. Монюшка, заборонений цензурою 1887 р.

«Вій» — текст не знайдено.

...то випада на примірник менше [1$^1/_2$] *копійки...* — Тут в машинописній копії пропуск; мабуть, треба півтори.

...швидко спорожниться цілком наша книгарня. — Тобто книгарня «Киевской старины».

Поезій... я зібрав уже і дописав на 122 ном[*ери*]... — тобто 122 вірші.

Маю ще я на російській мові одно оповідання на 1$^1/_2$ *арк. (про жида, і досить симпатичного)...* — Мабуть, йдеться про оповідання «Честный».

...та ще 4 розповідки (переклади Лепкого)... — Йдеться про переклади на російську мову оповідань Б. Лепкого «Хлопка», «Для брата», «Дидусь», «Повышение» (в оригіналі — «Аванс»). Зберігаються у відділі рукописів ІЛ АН УРСР, ф. 15, № 60. Ці переклади М. Старицький влітку 1902 р. надсилав В. Г. Короленку для надрукування в журналі «Русское богатство». 11 вересня 1902 р. В. Короленко відповів М. Старицькому: «Многоуважаемый Михаил Петрович. Рассказы Богдана Лепкого (по крайней мере присланные Вами 4 наброска) для «Р[усского] богатства» не подходят. У себя, на родине, они, без сомнения, имеют большое и хорошее значение, но для нашей публики их пришлось бы снабжать комментариями. У нас поляки не играют роли утеснителей, ни попы — освободителей, как в Галиции. Что касается Вашей собственной рукописи, то ее всего лучше прислать в Полтаву (Александровская ул., д. Старицкого). Я здесь пробуду весь октябрь. Прошу принять уверение в совершенном уважении. В. Короленко. 11 сент. 1902. Полтава».

Лепкий Богдан Сильвестрович (1873—1943) — український письменник буржуазно-націоналістичного напряму, перекладач, учасник «Молодої музи». В ряді ранніх творів реалістично зображав злиденне життя галицької бідноти.

Вороний Микола Кіндратович (1871—1942) — український письменник, перекладач і театрознавець.

144

Публікується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів ІЛ АН УРСР, ф. 3, № 1620, стор. 497—499.

Датується на основі коротшого тексту запрошення до участі в альманасі, датованому 12 березня 1903 р.

«Нова рада» — український альманах під редакцією М. П. Старицького, О. П. Косач, Л. М. Старицької, І. М. Стешенка, К., 1908. В передмові до цього альманаху говориться: «Випускаємо збірник «Нова рада», присвячений пам'яті Михайла Петровича Старицького».

Маковей Осип Степанович (1867—1925) — український письменник, критик і літературознавець.

Винниченко Володимир Кирилович (1880—1951) — український письменник, активний буржуазно-націоналістичний діяч, один із ватажків націоналістичної контрреволюції на Україні в 1917—1920 рр. Його твори, написані до революції 1905 р. і в час революції, мали переважно реалістичний характер. Пізніше в своїй творчості Винниченко зійшов на занепадницькі позиції.

145

Автограф зберігається в Чернігівському літературно-меморіальному музеї М. М. Коцюбинського, інв. № 1756. Вперше опубліковано в журн. «Україна», 1928, № 3 (28), стор. 89.

Текст подається за автографом.

Датується на основі наступного листа.

Посилаю Вам 5 моїх поезій... — М. Старицький надіслав такі вірші: «Чертог сіяв. Вона на сцені грала», «Мов бачу тихую оселю», «Весна. Ранок пахощами віє», «Кепкували з мого слова» і баладу «Хрещенська ніч» (надрукована в «Літературно-науковому віснику», 1906, кн. 5 під назвою «Гетьман»). Перших три вірші надруковані в альманасі «З потоку життя», Херсон, 1905, стор. 263—264.

146

Автограф зберігається в Чернігівському літературно-меморіальному музеї М. М. Коцюбинського, інв. № 1757. Вперше опубліковано в журн. «Україна», 1928, № 3 (28), стор. 89.

Текст подається за автографом.

147

Публікується вперше за автографом, що зберігається в ЦДАЛМ СРСР, ф. 988, оп. 3, од. зб. 4.

...21 декабря сего года празднуется в Киеве юбилей его 35-летней плодотворной музыкальной деятельности. — 19 грудня 1903 р. після вистави оперети «Чорноморці» (текст М. Старицького за Я. Кухаренком, музика М. Лисенка) артисти трупи П. Саксаганського і М. Садовського піднесли ювілярові срібний вінок; 20 грудня М. Лисенка вшановували в Літературно-артистичному товаристві, ювілярові було піднесено 79 адрес, на його ім'я надійшло біля 200 вітальних телеграм. Вранці 21 грудня в Київському міському театрі відбувся концерт з творів М. Лисенка, а ввечері йшла його опера «Різдвяна ніч».

...празднуют его юбилей и славянские земли... — тобто Галичина й Буковина. 24 листопада 1903 р. урочисте засідання й концерт відбулися в залі Львівської філармонії. На святкуванні у Львові був присутній сам М. Лисенко, звідти він поїхав до Чернівців, заїхавши по дорозі до Станіслава (тепер Івано-Франківськ) та Коломиї.

...на юге... — тобто на Україні.

...образовалась уже сумма в 5000 р.!! — Гроші призначались частково на видання творів М. Лисенка, а частково на придбання йому дачі; але М. Лисенко повернув усі подаровані йому гроші на організацію музично-драматичної школи в Києві, яка розпочала свою роботу з осені 1904 р.

Публікується вперше за автографом, що зберігається в ЦДІА в Ленінграді, ф. 1081, оп. I, од. зб. 406.

Датується за змістом.

Чубинський Михайло Павлович — знайомий Старицьких, син П. П. Чубинського.

Куперник Лев Абрамович (1845—1905) — київський адвокат, виступав захисником М. Старицького на суді з І. Александровським.

Говорят, что подействовал на него Людин успех... — На судовому засіданні Київського окружного суду 18 листопада 1901 р., де вперше розглядалась ця справа, М. Старицький через хворобу був відсутній, за нього виступала дочка Людмила Михайлівна. Своєю промовою на суді вона викликала оплески присутніх в залі, і голова суду змушений був зауважити, що «тут не театр». М. Сумцов, який познайомився із змістом промови Л. Старицької за газетним звітом, в листі від 19 грудня 1901 р. до М. Старицького писав: «Меня глубоко тронула прекрасная речь Вашей дочери... Во всяком случае Ваша защита представлена блистательно».

Я вот в сенат не поехал защищать кассационную жалобу... — Київська судова палата 20 листопада 1902 р. скасувала вирок Київського окружного суду від 18 листопада 1901 р. і визнала Александровського виправданим. М. Старицький оскаржив ухвалу судової палати, і справа перейшла на розгляд до сенату. Сенат скасував рішення Київської судової палати і за проханням Старицького передав справу до Харківської судової палати. На засіданні сенату М. Старицький і Л. Куперник не були присутні.

Теперь с этим миром Куперник поступил со мной омерзительно... — Новий розгляд справи з Александровським у Харківській судовій палаті був призначений на початок лютого 1904 р. Александровський через свого захисника за посередництвом Л. Куперника почав шукати шляхів до примирення з М. Старицьким.

...послал к нему, Купернику, Марусю с письмом... — дочку Марію Михайлівну.

Обо всем этом я узнал лишь из газет... — В газеті «Киевское слово» 4 лютого 1904 р. була надрукована така заява І. Александровського: «И. В. Александровский признает: 1) Что М. П. Старицкий в своих театральных пьесах, заимствованных из произведений других авторов, указывал источники самих заимствований. 2) Что употребленное в статье Александровского выражение, что М. П. Старицкий «переписывал» чужие пьесы, есть выражение метафорическое. 3) Что, делая позаимствования для своих пьес из произведений других авторов, М. П. Старицкий не руководствовался корыстными целями и гонорар от Общества Р. Д. П. и О. К. получал вполне корректно. 4) Что о сильных и резких выражениях, допущенных И. В. Александровским в его статье по адресу М. П. Старицкого, он, И. В. Александровский, выражает свое сожаление».

У цій заяві нічого не було сказано про те, чого вимагав М. Старицький: його вимога полягала в тому, щоб Александровський визнав свою помилку відносно п'єс «Не так склалося, як жадалося» та «Як ковбаса та чарка, то минеться й сварка», оригінальність яких він заперечував.

Мирової угоди з Александровським Л. Куперник не мав права підписувати, це могла від імені батька зробити тільки Л. Старицька, тому Харківська судова палата цю мирову угоду не визнала закон-

ною й, на прохання Л. Старицької, передала рішення справи самому М. Старицькому. Але він незабаром помер, і справа припинилась.

Цілком несподівано вона виникла через шість років після смерті М. П. Старицького й мала знову розглядатись в Харківській судовій палаті, але від імені М. Старицького на цьому розгляді не міг уже ніхто виступати, бо з його смертю всі видані ним довіреності втрачали силу. «Живі судитимуть мертвого, і він не матиме оборонця серед живих»,— з сумом писала з цього приводу Л. М. Старицька в одному з своїх листів.

Чим закінчився цей новий розгляд справи — поки що не відомо.

149

Публікується вперше за автографом, що зберігається в ЦДАЛМ СРСР, ф. 988. оп. 3, од. зб. 4.

Датується на основі помітки про одержання: «20 марта 904». Це останній з відомих листів М. П. Старицького.

СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ

Стор.

ЗМІСТ

ОПОВІДАННЯ

СТАТТІ

АВТОБІОГРАФІЧНІ ТВОРИ

ЛИСТИ

МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ СТАРИЦКИЙ

Сочинения

Том 8

(На русском и украинском языках)

*

Видавництво «Дніпро»,
Київ, Володимирська, 42.

*

Редактор *С. А. Захарова*
Художник *В. І. Смородський*
Художній редактор *М. П. Вуєк*
Технічний редактор *Є. А. Зіскіндер*
Коректор *З. Г. Коваль*

Виготовлено на Київській фабриці набору
Державного комітету Ради Міністрів УРСР по пресі,
Київ, вул. Довженка, 5.

Здано на виробництво 16/VII 1965 р.
Підписано до друку 11/X 1965 р.
Формат паперу 84×108 1/32. Фізичн. друк. арк. 23,5.
Умовн. друк. арк. 39,48+3 вкл. Обліково-видавн. арк. 40,657.
Ціна 1 крб. 40 коп. Замовл. 509. Тираж 19 000.
Т. П.— 1965 — поз. 3.

1 р. 40 коп.